585

НОВЫЙ МИР

Ж-184385

11-12

МОСКВА
1945

НОВЫЙ МИР

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Москва, 1945 г. № 11—12 *Год издания XXII*

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
АНАТОЛИЙ КАЛИНИН — Товарищи, *роман. Окончание*	2
ВЕРА ЗВЯГИНЦЕВА — Лирика	72
Т. ЛОГУНОВА — В лесах Смоленщины. *Окончание*	73
АЛЕКСАНДР КРАВЦОВ — Картина, *стихотворение*	111
ЛЕОНИД МАРТЫНОВ — Стихотворения	112
КОНСТ. ФЕДИН — Гармонь, *рассказ*	114
НИКОЛАЙ РЫЛЕНКОВ — Стихи	117
АНАТОЛИЙ СОФРОНОВ — Хмель-хмелек, *стихотворение*	118
АННА АНТОНОВСКАЯ и БОРИС ЧЕРНЫЙ — Ангелы мира, *роман. Продолжение*	120
С. МАРШАК — Из Вильяма Шекспира. *Сонеты*	192
М. МОРОЗОВ — О сонетах Шекспира	198
ДЖОН Б. ПРИСТЛИ — Трое в новых костюмах. *Перевод с английского Юрия Шер*	200
ВСЕВОЛОД МАМОНТОВ — Воспоминания о художниках	259
А. ПОПОВСКИЙ — Кок-сагыз	276
О. РЕЗНИК — Художественная публицистика в годы войны	286
Б. МЕЙЛАХ — Ленин и «Толстовские дни» 1910 г.	307
БОРИС АНИБАЛ — Замечательные земляки	314
В. ЩЕРБИНА — Морская библиотечка	316
Г. БРОВМАН — Два альманаха	321
М. ПОЛЯКОВ — Роман о Ермаке	324
Р. ВОИНОВ — Стихи Анатолия Ольхона	326
С. АНДРЕЕВ-КРИВИЧ — Новая биография Лермонтова	327
НОВЫЕ КНИГИ	330
ПАРОДИИ И ШАРЖИ. — *Сергей МИХАЛКОВ. Назойливый комар. Басня. — Худ. КУКРЫНИКСЫ. В. Катаев. (Дружеский шарж). — Я. САШИН. Рукоделье (Л. Мартынов). — Сергей ВАСИЛЬЕВ. Казаки с багром. (А. Софронов). — А. РАСКИН. Пародии на фельетонистов (Г. Рыклин, Евг. Бермонт).*	338
Содержание журнала «Новый мир» за 1945 год	342

Библиотека

ТОВАРИЩИ

*Роман**

АНАТОЛИЙ КАЛИНИН

*

VIII

Утром Тимофея Тимофеевича Рубцова чуть свет разбудила жена Прасковья, прибежавшая от колодца с пустыми ведрами.

— Окулируются, — сказала она, переводя дух.

— Кто? — спросил Тимофей Тимофеевич, приподнимаясь на локтях с кровати.

— Все. Правление. Властя. Там на площади народу — страсть.

Тимофей Тимофеевич оделся и вышел во двор. Красные, белые, желтые черепичные крыши казачьих куреней блестели, смоченные ночной росой. Роса лежала на ульях, на жестяном козырьке ворот, на листьях лопуха, росшего в тени, возле плетня. В утренней лиловой дымке, вдоль главной улицы, пронзавшей станицу насквозь, с запада на восток, стояли влажные тополя. Из каждого двора поднимался зеленоватый столб дыма.

Сладко, с неуловимой примесью полынной горечи, пахло кизяком. Все было, как всегда, как было каждый день до этого. Но, подходя к площади, Тимофей Тимофеевич услышал скрип колес, беспокойное мычанье коров, гомон толпы, и у него вдруг тоскливо и тупо заныло сердце.

На станичной площади томилось от жары подготовленное к эвакуации стадо коров. Жался к церковной ограде косяк племенных лошадей. Стояли линейки, нагруженные кошелками и узлами, можары, доверху насыпанные пшеницей и ячменем, арбы с сеном, брички, бедарки, бочки с водой, трактора. Вздымали свои цинковые рукава комбайны. Горой возвышалось над всеми красное горбатое туловище молотилки.

Люди, собравшиеся на площади, то бросали оклунки и чемоданы на подводы и подсаживали на узлы детей, то начинали все это опять лихорадочно стаскивать на землю. Другие — таких было больше — стояли молчаливой массой вдоль всей площади и, не шелохнувшись, смотрели на то, как идут сборы. И третьи — этих было меньше — тащили из черных, настежь распахнутых дверей колхозной кладовой мешки с пшеницей, бидоны с медом и маслом, хомуты и шлейки, круги сыра, новые цинковые ведра, лопаты, банки с колесной мазью и ящики со стеклом. Люди растаскивали все это по дворам, возвращались и снова несли.

Увидев все это, Тимофей Тимофеевич растолкал толпу локтями, вырвал из рук какой-то женщины оцинкованное ведро.

— Кто дозволил грабить, брось! — секущимся голосом крикнул он.

— А что же, германцу оставлять? — спросил за его спиной язвительный голос.

Тимофей Тимофеевич сразу сник, ведро выпало из его рук, и он, ссутулившись, отошел в сторону.

— А ты как же, Тимофей Тимофеевич, неужто остаешься? — увидев его, спросил председатель колхоза.

Тимофей Тимофеевич посмотрел на него, усы у него дрогнули, он ничего не ответил и отвернулся.

— Стыдно тебе, у тебя ведь сын в армии, — с укоризной сказал председатель колхоза.

— Ты моего сына не трогай, — глухо сказал Рубцов.

— Да, да, — развязно вмешался участковый милиционер Митрохин. — Нехорошо...

Митрохин по виду тоже собирался в эвакуацию, но по его лицу не было заметно, чтобы это его огорчало. Через плечо у него была перекинута винтовка, на шее, дулом вперед, висел автомат, а сбоку на плетеном шнуре болтался кавалерийский маузер. Он должно быть уже успел спрыснуть предстоящую дорогу, потому что от него даже на расстоянии попахивало спиртом.

---

* См. «Новый мир» № 10 с. г.

— Ты, — повернувшись к нему, как на пружине, вдруг злобно закричал Тимофей Тимофеевич, — наперед всех бежишь?

— Правильно, пускай сами бегут, а нам нечего бояться. Хватит, — заметил над его ухом жаркий голос. Брызги слюны попали Тимофею Тимофеевичу на шею. Он оглянулся и увидел Гришку Суслова, продавца лавки сельпо. Гришкины глаза на красном, пьяном лице смотрели, как у кота.

— Брысь! — брезгливо сказал Тимофей Тимофеевич и, круто отвернувшись, быстро зашагал прочь. Не оглядываясь, он слышал, как заскрипели колеса тронувшихся бричек, взрокотали тракторы и загремели хедерами комбайны, и по его сердцу ножом полоснул взметнувшийся над площадью истошный, в голос, женский плач.

Он пришел домой, сел за стол в горнице и долго сидел неподвижно, как влитый в скамью. Он вспомнил пьяное лицо Гришки и подумал, что вот ему, Гришке, все равно, какая будет в станице власть — русская или немецкая — лишь бы была водка.

— Пакость! — громко сказал Тимофей Тимофеевич.

— Что ты, Тимоша? — заглянув из передней комнаты в дверь, испуганно спросила Прасковья.

Не ответив, он тяжело встал и вышел на крыльцо. В сознании никак не могло уложиться, что армия, в которой служил его сын, теперь отступала через Дон на восток, оставляя казачью землю немцу. Ему вспомнилось, как бывало Андрей с крыльца садился на лошадь, когда он был еще маленький и не мог закинуть ногу на конскую спину.

«Эх, Андрюшка, Андрюшка», — думал Тимофей Тимофеевич. Ведь совсем недавно он хвалился старикам газеткой, в которой вычитал слова донского писателя-земляка, говорившего, что если немцы начнут новую войну, то донцы напоят своих коней из Шпрее.

С трудом поднимая тяжелые ноги, старый казак спустился с крыльца и прошел в сад. Долго смотрел, как из черных глазков ульев взад и вперед снуют пчелы, как облачком вьется принесенная ими с полей золотая цветочная пыльца.

Он прошел через сад и, отворив заднюю калитку, увидел под обрывом излучину Дона, блеснувшую ему в глаза светлой, режущей синевой. Двор выходил прямо к Дону. С детских лет Тимофей Тимофеевич по вырубленным в глинистом обрыве ступенькам каждый день спускался к реке. Но теперь он, словно увидев ее в первый раз, на мгновение прикрыл глаза рукой.

Сбивая ногами сухую глину, он спустился вниз, откинул с кола цепь, которою был причален к берегу каюк[1], и, оттолкнувшись ногой, быстро сел в него и стал грести на тот берег. Его опахнуло пресным дыханием реки. Вода под бабайками[2] перекипала — темнозеленая, густая — и поддавалась с трудом. Еще до середины реки он вспотел, чего с ним раньше никогда не бывало. Он бросил весла, и каюк пошел по течению, медленно прибиваясь к другому берегу.

Дон морщился мелкой, блестящей рябью. Над водой, жируя, всплескивал краснобрюхий сазан. Тимофей Тимофеевич вспомнил, что вчера на рукаве поставил вентеря и сегодня утром забыл их опорожнить. Сейчас он подумал об этом равнодушно и сам удивился своему равнодушию.

Каюк прибило к лесу, откуда начинался заливной луг. Недавно скосили сено, и оно еще лежало в валках, вылеживаясь нужный срок. Но Тимофей Тимофеевич подумал, что теперь оно, должно быть, так и не будет свезено в стога. Есть грустное очарование в зрелище скошенного луга. Он знал это очарование с детства. Валки сена лежали волнами от кромки берега до самого горизонта. Как росла луговая трава массивами, так и упала под косой. За волной подорожника лежала волна волошки и — дальше — красивой, цветущей голубыми цветочками травы, называемой на юге Петров батиг, т-е, кнут по-украински. Многоцветные тонкие ароматы трав сплетались в один — устойчивый и хмельной. В нем уже угадывалась легкая печаль увядания. Чернела обкошенная стена овса.

До самого обеда пробыл Тимофей Тимофеевич на лугу. Он медленно шел среди валков сена, вдыхая исходивший от него сладкий дух, слушая сокровенное бормотанье перепелки и плеск Дона, набегавшего на берег. Как всегда, тишина луга, с детства знакомые запахи и звуки подействовали на него умиротворяюще, и он почувствовал себя совсем успокоенным.

Но порывом ветра донесло отзвук приближающейся канонады, и у него снова тупо заныло сердце.

Снова он окинул взглядом луг, реку и станицу на том берегу, окутанную дремучей синевой виноградных садов.

И вдруг заторопился домой. Оттолкнув каюк от берега, налегая на бабайки, он увидел серую колонну пехоты, которая в клубах пыли втягивалась в станицу с западной стороны.

Поднимаясь на крыльцо, Тимофей Тимофеевич заметил за окном винтовку и, открыв дверь, увидел Андрея. Он сидел за столом под образами. Рядом с ним за столом был другой солдат.

---

[1] Каюк — плоскодонная лодка.

[2] Бабайки — весла.

— Батя! — вставая из-за стола и протягивая к нему руки, сказал Андрей, называя его так, как привык называть в детстве.

IX

— Отступаете, сынок? — спрашивал Тимофей Тимофеевич сына после того, как прошла первая радость встречи, и они уже сидели все вместе вокруг стола.

— Отступаем, — ответил Андрей, не поднимая глаз от стола. И он вспомнил про письмо отца. Андрей знал, о чем спросит его отец и заранее готовился к этому, но теперь он все же не знал, что ему отвечать.

— Кушай, Андрюша, — говорила Прасковья, ног не чуявшая под собой от радости, подвигая ему то вареники, то пирожки, то кружку с молоком. Ее печалило, что Андрей почти не дотрагивался до еды.

— Кушайте, служивый, не знаю, как вас величать, — обращалась она к товарищу Андрея.

— Петром, — отвечал товарищ, набивая варениками рот. Как все выросшие в городе люди, он любил простую деревенскую пищу и теперь, не разбирая, подвигал к себе все, что стояло на столе. Ставила мать Андрея на стол вареники — он ел вареники. Потом брался за пирожки, закусывал их огурцами и запивал молоком.

— Неустойка выходит? — спрашивал Тимофей Тимофеевич, напряженно держа на коленях свои туго сцепленные руки.

Андрей не ответил. Он знал, что отцу сейчас лучше не возражать. В казачьих семьях существовал хороший обычай, по которому младшие во всем беспрекословно подчинялись отцу. Дети вырастали и сами уже, оперившись, обзаводились семьями, но слово отца попрежнему оставалось для них святым, как закон.

— А про тебя тут спрашивали, Андрюша, — чтобы отвести разговор в другую сторону, сказала мать.

— Кто? — медленно двигая челюстями, спросил Андрей.

— А Настя. Она тут к нам каждый день прибегала, все спрашивала, нет ли от тебя письма.

— Где она? — равнодушно спросил Андрей. Только на миг он вспомнил смешливое, чернобровое лицо Насти и тотчас же о ней забыл. Мысли Андрея сейчас были заняты другим. По недоброму голосу отца он предчувствовал приближение грозы и не знал, как ее предотвратить.

— В станице. Да я сейчас за ней сбегаю, — Прасковья накинула на голову летний платок.

— Не нужно, — Тимофей Тимофеевич остановил ее рукой. Повернувшись к сыну, он тихим голосом спросил: — Ну, а мы тут как же будем, сынок? Нам что делать?

— Итти, батя, — сказал Андрей и прямо взглянул отцу в глаза.

— Куда итти?

— С армией, — снова опуская глаза вниз, тихо ответил Андрей.

— А это? — Тимофей Тимофеевич обвел рукой углы куреня.

— Да дай ты хоть поесть человеку! — плачущим голосом сказала Прасковья. Для нее сейчас не существовало ничего на свете — ни войны, ни смуты в станице, ни страха перед немцами. Ничего, кроме сына. Она видела только его — живого, здорового, невредимого, и только этой радостью было полно ее материнское сердце.

— А то может еще отобьете, сынок? — в голосе Тимофея Тимофеевича звучала надежда.

Андрей опять промолчал. Что он мог сейчас сказать отцу? Что армия соберется с силами, задержится на одном месте и не станет больше отступать? Не где и когда это будет — он и сам этого не мог сказать.

— Соберетесь с силами, с духом и еще, может, оттоните немца? — спрашивал Тимофей Тимофеевич. — И мы бы, старые люди, в этом деле вам подмогли.

Андрей быстро взглянул на отца и опять опустил глаза.

— А то правда, сынок. Тут у нас ведь немало есть таких, какие еще в Первой Конной служили, с Ворошиловым, с Буденным. Верно, сынок. Оставайтесь со своей ротой в станице, мы вам поможем и еще, может, сообща, всем обществом их отобьем. Да тут за нас каждая балочка, каждый кустик будут воевать. Оставайтесь, сынок.

— Мы, батя, собой не вольны, — глухо сказал Андрей.

— Как же это так не вольны? — переспросил Тимофей Тимофеевич.

— У нас, батя, приказ есть, командиры. Что они скажут, то мы и должны выполнять. А так, если каждый солдат будет делать по своему разуму, то это получится, как в старой сказке, где лебедь, щука и рак...

— В сказке? — повторил Тимофей Тимофеевич, и голос у него задрожал. — Плохая это у вас сказка, сынок, получается. Сами уходите, а людей бросаете немцу в зубы. Пускай, мол, они как знают.

— Мы не бросаем. Разве мы совсем уходим?.. — голос Андрея осекся.

— Нет, бросайте! — повышая голос, повторил Тимофей Тимофеевич и медленно побледнел. — Командира приказ... А если вам командиры прикажут до самого краю света отступать вы тоже их будете слушать?

— Нет, этого они нам не прикажут, — Андрей покачал головой.

— А если не прикажут, так, значит, и нечего вам больше отступать. Оставай-

тесь, сынок, — голос Тимофея Тимофеевича снова упал, и в нем послышались теплые, заискивающие нотки. — Да мы его, бестолкового, всем миром враз отобьем.

— Нет, батя, пока нельзя нам оставаться, — твердо сказал Андрей.

— Значит, уйдете, сынок? — тихо спросил Тимофей Тимофеевич.

Андрей опять посмотрел на него и ничего не сказал.

— Ну и уходите, — Тимофей Тимофеевич резко встал, отшвырнул табурет ногой. — Уходите, бросайте нас тут. Для того мы вас растили, чтобы вы кинули нас в трудную минуту на погибель?

— Тимоша! — заплакала Прасковья, ухватив мужа за рукав. Ее сердце не могло вынести этой встречи сына с отцом, которым через час предстояло снова разлучиться, может быть навсегда.

— Уйди! — хрипло крикнул Рубцов оттолкнув жену от себя. Ничего не видя перед собой, он, шатаясь, ощупью нашел дверь и вышел во двор. Спотыкаясь, он прошел через сад, опять спустился к Дону и сел на камень, на котором Прасковья обычно полоскала белье. Долго сидел бездумно, слушая плеск волн. Посредине Дона мерно покачивался на воде буек. Казалось, он плывет все время вверх, против течения. На самом деле буек стоял на одном месте, и идущая с верховьев волна не могла его сбить, унести за собой.

«А может и правда — мне с ними итти?» — откуда-то из тумана выплыла запоздалая мысль. Тимофей Тимофеевич посмотрел на буек. Он стоял, все так же раскачиваясь на волне. Тяжелые массы воды набегали на него, и он упрямо выдерживал их напор. «Нет, стоять на своем, — твердо подумал Тимофей Тимофеевич. — Крепко стоять ногами на земле».

От этой мысли ему стало легче. И ему вдруг стало стыдно своего поступка. Андрей. в сущности ни в чем не был виноват. Он ведь, как солдат, лишь выполнял приказ начальства, велевшего ему вместе со всей армией отступать на восток. Окажись Тимофей Тимофеевич на месте сына, и он также не осмелился бы нарушить приказ. Должно быть для армии еще не пришла минута остановиться и обрушиться на врага.

«Ведь уйдет не простившись, уйдет», — вдруг испуганно подумал Тимофей Тимофеевич, зная характер сына, который весь вышел в отца.

Он торопливо вскочил и стал карабкаться на обрыв. Взбежав на крыльцо, он не увидел приставленной к стене винтовки и, взявшись за ручку двери, на миг остановился, чувствуя будто тонкой иголкой прошивает ему сердце.

В горнице было пусто, так пусто, как никогда еще не было до сих пор. Прасковья лежала на кровати вверх лицом, с мокрым полотенцем на лбу. На столе стояли неубранные тарелки с блинцами и пирожками, кувшин с молоком.

Почуяв мужа, Прасковья повернула к нему бледное, без кровинки лицо.

— А Андрей? — звенящим шопотом спросил он.

— Ушел, — беззвучно, одними губами ответила Прасковья и снова отвернула лицо к стене.

Загремев сапогами, он выбежал наружу, выскочил за ворота, побежал в край улицы, на выгон. Далеко на горизонте он в облачке пыли увидел две маленькие серые фигурки, уходившие по тракту на восток. Тимофей Тимофеевич замахал им руками, хотел крикнуть и не смог. Фигурки таяли у него на глазах и скоро совсем исчезли где-то за голубой чертой. Только пыльное облачко еще долго стояло над шляхом. оранжево сияя в лучах солнца.

Он вернулся домой и долго стоял у крыльца, вздрагивая всем телом и всхлипывая так, что со стороны могло показаться, будто где-то рядом хрипло лает старый дворовый пес.

Часа через два после того, как ушел Андрей, с запада к станице подъехала небольшая колонна автомашин. С передней машины посыпались солдаты в мышастого цвета куртках и в ярко-желтых кожаных крагах. Так как двор Рубцовых стоял с краю станицы, они бросились прямо к нему. Впереди бежал долговязый немец с автоматом, болтавшимся у него на животе. Толкнув ногой калитку, он остановился на пороге и, приставив автомат к животу, выпустил длинную трескучую очередь по двору. Куры, пасшиеся во дворе на траве, закудахтав и захлопав крыльями, разлетелись прочь. Лишь сизорябая квочка, крупная, любимая курица Прасковьи осталась посреди двора, трепыхаясь и забрызгивая траву кровью. Вокруг нее желтой россыпью кишели несмышленые цыплята.

Тимофей Тимофеевич стоял возле крыльца. Он не тронулся с места, хотя пули взбили у самых его ног столбики рыжеватой пыли. Руки его были опущены по бокам шаровар, вдоль казачьих красных лампасов.

— Русский зольдат есть? — по-русски спросил немец, шаря белесыми, точно выцветшими глазами по двору.

Тимофей Тимофеевич не ответил, только руки его слегка вздрогнули и конвульсивно сжались.

— Улийки! — вдруг радостно сказал немец, увидев шеренгу новеньких, окрашенных веселой светлозеленой краской ульев, стоявших под вишнями в саду. Тимофей Тимофеевич сам всегда ладил жилища для своих пчел, украшая ульи замысловатой деревянной резьбой. Длинными,

саженными прыжками солдат побежал в сад. Он подбежал к крайнему улью, в котором у Тимофея Тимофеевича жил самый сильный, густой и работящий рой, и, умело поддев под кровлю дуло автомата, ловким, заученным движением взломал доску.

Пчелы смерчем вырвались из черного пролома и в лучах солнца заметались по саду, точно желтые огоньки. Солдат залез в улей обеими руками и вытащил оттуда незапечатанную рамку с молодым медом, который Тимофей Тимофеевич собирался качать лишь на будущей неделе. Вокруг долговязого немца с гусиным гоготаньем сгрудились другие солдаты. Они рвали на куски янтарные, пронизанные солнцем соты, совали их себе в рот, жевали, и по их лицам, по рукам тек густой, золотистый мед — кровь трудов Тимофея Рубцова.

Он ушел в курень, чтобы не видеть этого разбоя, лег на лежанку вверх лицом и затих. Он лежал так неподвижно до вечера с побуревшим лицом. Только пальцы его медленно и трудно перебирали на груди мелкие перламутровые пуговицы черной сатиновой рубахи, будто клавиши невидимой гармони.

... В это время Андрей и Петр, догоняя роту, уходили по шляху все дальше на восток. За станицей Андрей сошел с дороги и поднялся на курган. До этого кургана он, мальчуганом, бегал вместе со своими сверстниками взапуски. Он упал на курган и остался лежать вниз лицом. Петру показалось, что он услышал сдавленные, всхлипывающие звуки.

— Ты что, Андрей? — приближаясь к нему, с беспокойством спросил Петр.

— Иди вперед. Я догоню, — не поднимая головы от земли, ответил Андрей.

Петр отошел в сторону и сел на придорожный степной валун, обточенный ливнями и ветрами. Рота, уходя вперед по тракту, оставляла курчавый хвост пыли. Он таял где-то вдали.

Андрей неподвижно лежал на кургане. Если бы Петр прислушался, он услышал бы, как Андрей, прижимаясь грудью к земле, жарко лепечет сухими, обкусанными в кровь губами: «Прости, батя, прости».

X

К вечеру они дошли до излучины Дона. Андрей помнил, что раньше в этом месте всегда ходил паром. К тому времени рота уже переправилась и ушла вперед по старому царицынскому тракту.

К Сталинграду сходились все те части из состава южных и юго-западных армий, которые уцелели и успели уйти после летних боев на просторах донской степи. Паулюс и Готт хотели окружить главные силы этих армий между Доном и Северным Донцом, но этот план им не удался. Офицеры и солдаты, пешие и верховые, кто на паромах и через наплавные мосты, а кто на лодках, на баркасах, на автомобильных камерах и просто вплавь переправлялись на левый берег Дона и шли к Волге. Ночами вдоль правого берега Дона мертвенно синим пламенем горели костры, отражаясь в черной, как вороненая сталь, поверхности реки, и ветер нес над степью удушливо сладкий бензиновый запах.

Когда Андрей и Петр пришли к переправе, берег уже обезлюдел. Влажный песок был закидан окурками, консервными банками, гильзами патронов, усеян серыми кучками золы, изрыт во всех направлениях полукруглыми ямками солдатских каблуков, изрезан узкими колесами подвод и широкими, чешуйчатыми отпечатками автомобильных скатов.

На всем берегу не было ни души. Не было и парома. Андрей и Петр увидели его причаленным к противоположному, левому берегу. Он тихо покачивался на воде. С последней частью, должно быть, ушел и комендантский взвод, и паром некому было пригнать обратно.

— Вот и остались мы с тобой, как говорится, на мели, — уныло сострил Петр.

— Ну, нет, — покачал головой Андрей, окидывая взглядом берег. На белом песчаном берегу не было видно ни бровнышка.

— Вплавь? — посмотрев на свои руки, сказал Петр.

— А это? — Андрей указал на противотанковое ружье.

— Ружье утопим.

— Нет, это не годится, — Андрей покачал головой. — И потом... — он не докончил, но Петр перехватил его взгляд, брошенный на сапоги. Сапоги были яловые, на кожаном подборе, с толстым рантом. Андрей получил их всего неделю назад.

— Тю-тю, — Петр протяжно свистнул. — С этого бы ты и начинал. А то — ружье. Ну скажи, жаль расставаться с сапогами? Ведь, правда, жаль?

Андрей, не отвечая, шарил глазами по береговой кромке, ощупывая, словно раздвигая взглядом густые синезеленые камыши.

— Давай я переплыву и пригоню паром, — нетерпеливо сказал Петр.

— Нет, ты его не пригонишь, — раздумчиво ответил Андрей. — Посмотри, они, должно быть, подрубили дно. Это, чтобы немцам не достался. Кто-то ж догадался, умная башка!

Петр взглянул на левый берег и увидел, что паром быстро погружался в воду. Она уже заливала его палубу. Даже на правом берегу было слышно, как победно рокочет вода, вливаясь в прорубленные борта лодок. Вскоре и палубы не стало видно под водой. Остались торчать лишь деревянные поручни да чугунный каток, до блес-

ка натертый проволокой, протянутой от берега к берегу через всю реку, — с тонким, жалобным звоном она трепетала в воздухе, как струна.

— Теперь нам осталось только по этой проволоке итти, — насмешливо сказал Петр.

— Подожди, — с сердцем перебил его Андрей.

Он прислушался. Стал слышен низкий, рокочущий звук. Он быстро приближался, и скоро уже можно было различить повизгивающий скрежет стальных гусениц.

— Танки, — волнуясь и расстегивая ворот рубахи, сказал Петр. — Уж теперь, Андрей, тебе придется расстаться со своими сапогами.

Андрей не отвечал. Осматривая берег, он все-таки нашел хитро спрятанный в камышах небольшой деревянный плот. Обычно с таких плотов донские рыбаки закидывают удочки.

Андрей быстро спустился к реке, отвязал от колышка плот и позвал Петра. Они положили на него свои вещевые мешки, шинельные скатки, оружие и прикладом бронебойки оттолкнулись от берега.

— Ну, теперь мы с тобой, как потерпевшие кораблекрушение, — облегченно рассмеялся Петр.

— Похоже, — налегая на весло, согласился Андрей. Он нашел на плоту всего одно весло, и управляться ему было трудно. Но Петр помогал ему прикладом противотанкового ружья. Так они добрались до середины Дона.

— Ты слышишь? — прислушиваясь, сказал Петр.

Отдаленный рокочущий звук приблизился, и совсем отчетливо стало слышно, как, постукивая клапанами, работает мотор танка, как лязгают гусеницы, вращаясь вокруг стальных катков.

— Успеем? — с беспокойством спросил Петр.

Андрей измерил взглядом расстояние, еще отделявшее их от левого берега. Дон, выгибаясь в этом месте излукой, разбух от текущей с верховьев воды. Они проплыли только половину пути и едва достигли середины реки. А на середине вода, круто поворачивая и устремляясь резко вправо, бурлила черными воронками, перекипала желтым кружевом пены.

— Успеем, — налегая на весло, ответил Андрей.

В ту же секунду плот завертелся, как волчок, и волна, перехлестнув через край, обдала их водой. Андрей еле успел подхватить вещевые мешки.

— Ч-черт! Я промок до нитки. Страшно не люблю...— отфыркиваясь, сказал Петр.

— Ты же вырос на море? — с удивлением спросил Андрей.

— Море! — у Петра заблестели глаза.— Разве с этим можно сравнить?

Андрей промолчал. Он ревнивой любовью любил Дон. Мальчуганом он исплавал его вдоль и поперек, излазил все его лиманы и рукава. Вечером, бывало, пригонит к реке лошадей и, раздевшись, моет их, трет мягкую атласистую кожу племенной кобылицы.

Или на рассвете выйдет с отцом на каюке ставить вентеря. Зорька только чуть прорезалась, и вода на стремнине Дона окрасилась в бледнорозовый цвет. Хорошо пахнет молодой лист камыша. Вспугнутые лодкой, заснували, захлопотали в чакане, вдоль берега, разбуженные нырки. Тяжело вырвалась из камыша утка и полетела низко над рекой. Отец Андрея, встав во весь рост в лодке, в фуражке и с расчесанной надвое русой бородой, с первого выстрела подваливает утку. Она тяжело шлепается в воду и плывет, распластав пестро расцвеченные крылья. Они догоняют ее на каюке, и отец позволяет Андрею, перегнувшись через борт лодки, вытащить ее из воды.

— Ты посмотри, — тронув Андрея за плечо, сказал Петр.

Андрей вздрогнул, словно очнувшись от сна. Он взглянул на покинутый ими правый берег и увидел глянцево-зеленую орудийную башню танка, вынырнувшую над песчаным гребешком.

Приземистая, плосколобая машина перевалила через гребешок и, вздымая гусеницами белую песчаную пыль, стала спускаться к воде. У самой воды танк остановился, отразившись в блестящей поверхности Дона перепончатыми траками гусениц, как большое, покрытое стальной чешуей животное, неведомо как забредшее на берега русской реки.

Хобот пушки медленно поворачивался вместе с башней танка и остановился, раздвинув камыши. В черном жерле трепыхнул острый огонек, и снаряд, проклекотав над рекой, упал на левом берегу — и черный, раскидистый куст поднялся в том месте.

— Наугад стреляют, — сказал Петр.

— Для очистки совести, — спокойно подтвердил Андрей. Они уже причалили к левому берегу и сидели, спрятавшись в чаще камыша. Снаряд упал за их спиной.

Люк танка с лязгом откинулся, и из него высунулась круглая, черная голова в шлеме и в очках. Потом показались плечи, и маленький, коротконогий танкист в сером комбинезоне вылез из танка. Косолапя, он спустился к реке и, наклонившись, стал пригоршнями набирать воду из Дона.

— Вот погоди, я тебя сейчас напою, — злобно сказал Петр, шаря возле себя автомат.

— Нельзя, — Андрей тугими пальцами, как тисками, сжал его кисть.

Не отрываясь, он смотрел на правый берег. Танкист пил воду, жадно набирая из Дона полную горсть и окуная в нее ли-

цо. Андрею казалось, что он слышит, как хлюпают губы немца.

Низовой ветер выплескивал воду из его рук, крупные и прозрачные капли, ослепительно вспыхивая в лучах солнца, летели прочь.

XI

В сумерки они догнали роту. Одновременно с ними в роту вернулся связной, посланный капитаном Батуриным для связи с ближайшим штабом. Вместе с связным приехал на юркой зеленой машине адъютант генерала, красивый малый с птичьим выражением круглых недобрых глаз. Генерал собирал по степи остатки частей, разрозненные группы солдат и сводил их вместе. Адъютант показал капитану Батурину на карте место расположения батальона, в который вливалась рота, и привез приказ генерала подготовиться к ночной операции. Намечалось посадить всех боеспособных на машины, ночью подвезти к линии фронта и, пробив внезапной атакой брешь, выйти из кольца.

— Ночью их танки не смогут помешать. Кроме этого, у них тут не густо, — сказал в заключение капитану Батурину адъютант, очевидно, не свои слова.

Ночью подошли машины. Свет в фарах был потушен. Капитан Батурин сел в первую машину, рядом с шофером, и рота тронулась. Ехали по скошенному лугу, среди темневших копен сена. Колеса мягко шуршали резиной в молодой подросшей траве. В тихом, ночном воздухе был разлит тот нежно-хрустальный, томительный звон, происхождение которого не сразу можно определить.

— Что это? — спросила Саша, сидевшая в кузове машины в тесноте, рядом с Андреем. Петр сидел напротив, у другого борта. Лицо его смутно белело из темноты.

— Как вам сказать... — ответил Андрей. — Это и кузнечики, и лягушки, потом есть такие ночные птицы, жуки! Все вместе.

На темном небе густо высыпали мелкие, неяркие звезды. От скошенного луга поднимался крепкий, ароматный настой и, перебивая едкий запах бензина, облаком окутывал солдат.

— Это пахнет волошка, это кашка, — говорил Андрей.

— А это? Будто медом?.. — спрашивала Саша.

— Это сурепка. Знаете, такая желтая трава.

— Как вы все знаете? — удивлялась Саша.

— Я вырос в степи, — грустно сказал Андрей.

Свет звезд не мог рассеять темноты. Где-то очень далеко впереди, на восточной окраине неба, трепетало бледное, матовое зарево, похожее на степной мираж. Клочья света метались на горизонте, отблесками пробегая по степи.

— Прожектора, — сказал негромкий голос.

— Это, братцы, Сталинград, — отозвался густой, баюющий басок. — Я тут в девятнадцатом под Царицыном два раза раненый был.

— Еще в третий раз успеешь, — многозначительно пообещал ему первый голос.

Солдаты плотнее сдвинулись в кузове и затихли. Ночь была тепла, но встречный ветерок забирался под гимнастерки и холодил тело.

— Дайте я накину на вас шинель, — сказал Андрей.

— Нет, ничего, — Саша зябко повела плечами. Андрей быстро раскатал свою шинель и укутал ее плечи.

— Спасибо, — она благодарно вскинула на него глаза.

В том, как она посмотрела на него снизу вверх, почудилось что-то ласково-доверчивое и беспомощное. Она точно признавала свою женскую слабость и позволяла ему, по праву сильного, заботиться о ней. В рассеянно-зыбком, звездном полусвете ее девичья головка на тонкой белой шее показалась ему чистой и нежной озерной лилией, выглянувшей из воды.

И Саше лицо Андрея, выступавшее из темноты, уже не казалось таким будничным и обыкновенным. Поглядывая на него сбоку, она угадывала крутую линию его подбородка и твердую складку рта.

Капитан Батурин несколько раз останавливал колонну и выходил из машины. К нему подходил Тиунов. Засветив ручной фонарик, они накладывали на карту компас, сверяя маршрут. До слуха солдат долетали обрывки их сдержанного разговора.

— Скоро поворачивать, капитан?

— Что-то долго нет балки.

— Один развилок уже проехали. Ты видел?

— Как бы не приехать прямо в плен.

Солдаты теснее сдвинулись в машинах, согреваясь теплом своих тел.

И снова машины шли по мягкому луговому бездорожью, подминая скатами стебли буйных трав.

Въехали в балку. Из темноты надвигались лохматые очертания дикого кустарника, одиноких деревьев, копен сена. Саша прижалась плечом к Андрею.

— Что это? — спрашивала она шопотом.

— Где?

— Вот там, справа. Словно кто-то стоит...

— Это карагач. Дерево такое, — успокаивающе говорил Андрей.

— А там, впереди?

— Засветилось?

— Да, да...

— Лисица, — усмехался Андрей.

Для него ничто не могло быть загадкой в степи, где он родился и вырос. И правда, перед самой машиной через дорогу мелькало длинное, синее в свете звезд, туловище лисы с распушенным хвостом. На миг рубинами вспыхивали ее близко поставленные глаза. Саша плотнее закутывалась в шинель и придвигалась к Андрею.

Он не шевелился. Казалось, тонкий запах, исходивший от ее волос, вплетался в ароматы лугового сена и все же выделялся из них. Сквозь гимнастерку он чувствовал ее тепло и испытывал прилив гордой, мужской силы от сознания того, что она доверчиво отдается ему под защиту. Среди бойцов, ехавших в машине, одна она была женщина, вынужденная равно со всеми делить трудности походной солдатской жизни.

Похолодало. Свет звезд стал ярче, а темнота сгустилась. От луга потянуло полночной сыростью. Резко запахло ржавой, болотной цвелью. Чистый, мелодичный звон медленно угасал. По земле уже поползли первые вязкие клочья тумана.

Капитан Батурин снова остановил колонну и вышел из машины.

— Будем ожидать, пока сядет туман? — подходя к нему спросил Тиунов.

— Да.

— Не опоздаем?

— Нет, — коротко и озабоченно отвечал капитан.

Он поглядывал то на небо, то на часы, подсчитывая количество машин в колонне и досадуя на отставших. Скоро подошли все машины. Рота остановилась в балке. Края балки рисовались на фоне неба справа и слева четкими гребешками, а извилистое дно уже затянула туманная кисея. В тумане очертания людей и машин расплывались, приобретали неправдоподобные, уродливые формы.

Из мглы вдруг вынырнула маленькая машина и остановилась в голове колонны, фыркая и вздрагивая мелкой, частой дрожью. Лица сидевшего человека не было видно, но солдаты по голосу узнали генерала, который распоряжался на переправе в Ростове. Не выходя из машины, он вполголоса, отрывисто задавал вопросы капитану Батурину.

— У вас все готово?

— Готово, товарищ генерал.

— Задача ясна?

— Ясна.

— Помните, после того, как будет пробито окно, самое главное — удерживать фланги прорыва до тех пор, пока пройдут вторые эшелоны и обозы беженцев. Вы обеспечиваете правый фланг?

— Да, товарищ генерал.

Слова глохли в тумане. Когда генерал поворачивался в машине, светлыми точечками взблескивали стекла пенсне.

В стороне Тиунов разговаривал с новой ротной санитаркой. Это была почти девочка, подросток. Она пришла в роту в Ростове, и капитан Батурин, подумав, согласился ее оставить. Теперь Тиунов с отеческой жалостью рассматривал ее маленькую фигурку и круглое личико в ямочках, с большими, серьезными глазами. Он с сомнением думал, что из этой девочки вряд ли получится выносливая санитарка. В довершение ко всему она шепелявила. Но держалась она с гордой независимостью. Во всей ее фигурке было что-то напоминающее маленького зверька, готового вот-вот укусить.

— Тебя как зовут? — спрашивал Тиунов.

— Ляля, — отвечала девушка голосом, неожиданно для нее звучным и сильным.

Тиунов не мог удержать улыбки, так соответствовало это имя внешнему облику девушки.

— А что вы сметесь? — обидчиво спросила Ляля, и ее маленький ротик приоткрылся, обнажив мелкие зубы.

— Я не смеюсь, — потушив улыбку, уверил ее Тиунов. — Ты в бою не испугаешься, Ляля?

— А чем я хуже других? — подозрительно спросила Ляля.

— Нет, не хуже, — он все больше подчинялся чувству симпатии к этой девушке. — Ты крови не побоишься?

— Не побоюсь, — не сразу ответила Ляля. Ему показалось, что ее голос чуть дрогнул.

— И перевязывать ты умеешь?

— Умею, — помолчав, совсем тихо ответила Ляля.

— А раненого вынесешь? — с суровостью спрашивал Тиунов.

Ляля молча опустила голову и затеребила подол красноармейской гимнастерки. Она была ей велика и сидела на ней мешком.

— Смотри, Ляля, это трудно, — глядя на нее, продолжал Тиунов. — Очень трудно.

— Что вы меня пугаете, товарищ политрук, — поднимая голову, зазвеневшим голосом сказала Ляля. — Я и сама понимаю, что трудно. Я ведь уже не маленькая.

— Нет, что ты, Ляля, — смутился Тиунов. — Я только хотел посоветовать тебе не теряться. Ну, сначала, конечно, покажется трудно, а потом привыкнешь. Ты должна очень скоро привыкнуть, Ляля, — уверенно сказал Тиунов.

Когда он оставил ее и подошел к капитану Батурину, генерал отдавал последние распоряжения.

— Так не забыли — три ракеты? — спрашивал генерал.

— Нет, не забыл, — отвечал капитан. — Сперва одна зеленая, а потом две красных.

— Едем, Николай, — генерал наклонился к шоферу.

Машина задрожала, тронулась с места и тотчас же пропала во мгле. Только красная капля сигнального еще долго блуждала в туманной ночи.

Капитан приказал спружаться с машин. Красноармейцы попрыгали на землю. В том, как они разбились на кучки, как примолкли и стали делиться табачком, сказывалось предчувствие ими близкого боя. Те, что были постарше, сосредоточенно и медленно затягивались едким табачным дымом. Молодые курили короткими, частыми затяжками, бросали недокуренные папиросы на траву и через минуту опять распускали шнурки кисетов.

— Что-то похолодало, братцы, — подходя то к одной, то к другой кучке, заискивающе говорил молодой боец. Ему никто не отвечал. Потоптавшись, он отходил в сторону.

Другой солдат сел на траву, развязал вещевой мешок и стал жадно есть. Он уже давно насытился, но все набивал и набивал рот пищей.

Разговаривали вполголоса — совсем не о том, что засело у всех в мыслях.

— Однако, туман, — посмотрев на небо, сказал бородатый.

— Туман, а тепло, — глубокомысленно добавил сосед.

— Это всегда так.

— Нет, богатые в этой местности корма, — поворошив ногой скошенное сено, сказал третий солдат, таким тоном, точно это составляло сейчас главный предмет его мыслей.

Молодой солдат, бесцельно побродив по балке, опять подошел к товарищам и, постукивая зубами, сказал:

— Похолодало, братцы, а?

— Ты бы покурил, Иван, — посоветовал ему рассудительный голос.

Туман сгустился, но стало теплее. Влажная трава подернулась сизым дымком. Все запахи рассеялись, заглохли, остался один росный запах теплой земли.

— Увидим ракеты? — с беспокойством спросил капитана Тиунов.

— Должны увидеть, — всматриваясь в ту сторону, где скрылась машина генерала, ответил капитан.

Андрей помог Саше донести телефонный аппарат и катушку с проводом до того места, где капитан Батурин приказал разбить свой ка-пе, отошел в сторону, лег на один борт шинели на траву и укрылся с головой другим бортом. Петр несколько раз подходил к нему и голосом, в котором звучало нетерпение, спрашивал:

— Скоро?

Он то поглубже засовывал в карман свои большие покрасневшие руки, то вынимал их из карманов и принимался дуть на пальцы.

— Что? — приподнимая голову, сонным голосом переспрашивал Андрей.

Махнув рукой, Петр отходил от него и шел в другой конец балки.

Андрей вскоре задремал. На его щеки медленно падали капельки росы. Ему казалось, что это падают лепестки с цветущих вишен в саду, куда летом он всегда уходил спать. И запах скошенного луга он принимал во сне за нежный аромат вянущих вишен.

Его разбудил тревожный возглас молодого солдата:

— Глядите!

Вправо от балки с земли взвились в небо, разрывая туман, ракеты и заколыхались на тонких стеблях над степью, как три больших цветка — один зеленый и два ярко-красных.

XII

Ночь словно кто-то зажег сразу со всех сторон, и она мгновенно озарилась светлыми точками, блестками, мимолетным пламенем вспышек, цветной тканью скрестившихся в воздухе пуль. Чистый и тонкий купол дремлющей тишины, казалось, разлетелся в клочки, и степь потрясли страшный грохот, скрежет и треск. Минометы и пулеметы стреляли отовсюду, противник был справа, слева и впереди. Оказалось, что рота лишь чудом могла неслышно войти в балку в туманной мгле.

Но, как ни ярок был свет вспышек, они только на секунду, то в одном, то в другом месте освещали луг и гасли. Солдаты, как слепые, бежали по лугу, повсюду натыкаясь на серую пелену тумана. Петр смутно угадывал фигуру Андрея, бежавшего впереди. Несколько раз он куда-то пропадал, потом опять появлялся, вынырнув из темноты перед глазами Петра, и они продолжали бежать вперед, припадая к земле и вставая с земли.

Вокруг них бежали, падали, вставали и снова бежали другие. Часто они останавливались и начинали незряче шарить руками в мутной, туманной завесе. Туман был, как серая повязка на глазах людей. В озарении вспышек могло показаться, что эти взрослые и серьезные люди затеяли на лугу детскую игру в ловитки. Но многие оставались лежать неподвижно или же долго бились, трепыхались на траве.

Команды не было слышно, и Андрей с Петром избирали верное направление по звукам выстрелов и огням. По мокрой, скользкой траве они лезли на отлогий склон балки. Противник находился там, где жарче пылали зарева и гуще вскипала стрельба. Вся рота знала, что пробиться на восток можно только через фронт. И все шли на сближение с врагом.

Но чем выше они взбирались по склону, тем чаще им приходилось припадать к земле. На самом гребешке балки стоял немецкий танк и пушечно-пулеметным огнем встречал роту. Окутанная пламенем выстрелов башня танка светилась в ночи, как большая круглая печь.

Они лежали на траве, втягивая голову в плечи и слушая над собой завывающий свист металла, потом вскакивали и, перебежка за перебежкой, медленно приближались к танку. Петр подумал, что, и отступая, они продолжали наступать на врага. Эта новая мысль была так упоительна для него, что он встал с земли и, размахивая оружием и руками, во весь рост побежал навстречу брызжущим ему в лицо потокам огня.

— Ты с ума сошел! — догоняя его, крикнул Андрей. Он дернул Петра за рукав, и они опять упали на траву.

Пылающая башня танка, разбрасывая искры, преграждала путь роте. Все короче становились перебежки, дольше лежали красноармейцы, прижимаясь грудью к земле, дым стал поедать туман, загорелся луг, и пламя, затрещав, побежало по валкам сена, острыми язычками вставая с земли. Сквозь поредевшую мглу снова глянуло над степью ночное небо, все в мелких звездах, как решето.

Перебегая вместе с ротой, капитан Батурин прилег под копну сена. Он с беспокойством подумал, что до рассвета остается не больше двух часов. Рота уже вытягивалась из балки, но танк, стоявший на гребне, продолжал держать весь правый фланг. Если его не уничтожить, он может закрыть за спиной роты пробитую брешь и отрезать путь вторым эшелонам.

Капитан хотел послать на правый фланг Крутицкого, но тот предупредил его, сказав, что нужно поторопить подносчиков патронов, и проворно побежал на четвереньках назад. Капитан хотел вернуть его, но раздумал, с интересом заметив, как умело и быстро передвигается старшина по земле таким примитивным способом.

Подбежал Тиунов и как-то боком, тяжело опустился рядом с капитаном на копну.

— Ну как? — нетерпеливо спросил капитан. Он посылал Тиунова поднять залегший перед немецкими пулеметами третий взвод.

— Пошли! — Тиунов мотнул головой в ту сторону, откуда доносились крики и частая стрельба.

— Ра-а-а, ра-а-а!! — слышалось в паузы между яростными вспышками стрельбы.

— Ты не ранен, Хачим? — подозрительно спросил капитан. Только сейчас он заметил, что Тиунов как-то неестественно держит левую руку на весу.

— Нет, капитан, — бодрым голосом сказал Тиунов и, разгибая руку, помахал ею в воздухе.

На самом деле, поднимая третий взвод в атаку, он был ранен пулей в мякоть и, чтобы не потерять кровь, с помощью зубов затянул руку выше локтя носовым платком и опять надзинул простреленный рукав. Он сообразил, что капитан пока об этом не должен знать, потому что он непременно погонит его в обоз, к поварам.

— Сходи, Хачим, посмотри, что там можно сделать, — сказал капитан, привстав на коленях и глядя на правый фланг.

— Хорошо, капитан, — Тиунов оттолкнулся от земли правой рукой и, вскочив, побежал, занося плечом вперед.

— Подожди, Хачим! — крикнул ему вдогонку капитан.

Но Тиунов не оглянулся. Он слышал, как его окликнул капитан, но возвращаться не захотел, зная, зачем его могли окликнуть.

Перебегая балку, он увидел новую ротную санитарку Лялю. Она стояла на коленях среди раненых, лежавших вокруг нее между копнами сена на лугу. Раненых было много. Они стонали, хрипели, все сразу звали сестру. Она ползла с бинтом и ватой в зубах к одному, но в это время за ее спиной начинал кричать и жаловаться другой. Ей казалось, что этот стонет громче всех, она поспешно ползла к нему и слышала крик уже в новом месте.

Едкий дым застилал балку. Ляля в растерянности остановилась на коленях посреди раненых и, ссутулив узкие плечи, закрыла лицо руками. В такой позе и увидел Тиунов ее маленькую, исполненную отчаяния фигурку на коленях, среди пляшущих на лугу острых языков огня.

— Ляля! — крикнул Тиунов.

Она открыла лицо и подняла на него большие, детские глаза, наполненные слезами.

— Товарищ политрук, — всхлипывая, сказала она, — что я могу с ними сделать? Их много, они все кричат, а я одна.

— Ляля! — в изумлении повторил Тиунов. Он остановился, не зная, что ей сказать, и сказал то, что обычно говорят детям: — Как тебе не стыдно, Ляля, ты ведь уже большая.

Она недоверчиво посмотрела на него исподлобья, увидела его серьезное лицо с укоризненными глазами и, вытерев слезы розовыми подушечками ладоней, молча поползла к раненым. Перебегая балку и оглянувшись, Тиунов еще раз увидел ее маленькую фигурку в зареве горящего луга. Она склонилась над раненым, держа в руках развернутый бинт.

Перебежав балку, Тиунов упал на склоне в цепи бойцов, неподалеку от немецкого танка, рядом с каким-то солдатом, лежавшим в траве. Солдат повернул голову,

и Тиунов узнал Середу. Глаза их встретились.

Тиунов приподнялся на коленях и стал смотреть на танк. Его огненная башня четко рисовалась на гребне балки. Перед танком залегла густая цепь красноармейцев. Над их головами шуршала, шевелила усиками пустая, луговая трава.

Тиунов подумал, что танк, занимающий такую выгодную позицию, уничтожить нелегко. Услышав вой летящего снаряда, он инстинктивно пригнул голову, опять на какую-то долю секунды встретился с глазами Середы, и выражение их его поразило.

Тиунов посмотрел на танк и опять перевел взгляд на Середу. Тот приподнял голову и тоже долгим взглядом посмотрел на танк.

И вдруг, тряхнув головой, Петр вскочил с земли и побежал по направлению к танку. Тиунов хотел ему крикнуть, но не успел. Он только успел заметить, что Середа бежал не по прямой к танку, а забегал ему со стороны.

Большая копна сена посреди луга разгорелась и осветила всю балку ярким, дрожащим светом. По дороге Петр поднял Андрея, потом к ним присоединился третий солдат. Из танка к ним навстречу протянулись огненные нити пулеметных струй. Но Тиунов заметил, что пулеметчик не рассчитал и взял слишком высоко. Бежавшие уже миновали ту зону, куда достигал огонь танка. Впереди попрежнему мелькала высокая, широкоплечая фигура Петра.

Не добегая до танка, Петр перепрыгнул через окоп. Оглянувшись, он увидел, как из окопа выскакивали немцы и хотели стрелять ему в спину, но их с криками окружили Андрей и другие красноармейцы роты. Тесная кучка людей сбилась в одном месте, и над их головами замелькали в воздухе приклады. Слышались глухие удары и стоны. Точно кого-то упорно загоняли в землю, а он никак не хотел поддаваться и глухо, протяжно вздыхал.

Добежав до танка, Петр остановился, может быть пораженный устрашающим видом его массивных размеров вблизи. Броня танка тускло светилась. Под броней что-то заворчало, заскрежетало, и танк медленно стал поворачиваться к Петру. Он отпрыгнул в сторону и пошарил рукой на поясе гранату. С гранатой в руке, едва коснувшись ногой ползущей гусеницы, он вскочил на танк и постучал литой подковкой каблука по толстой, листовой броне. Рокот оборвался, и танк остановился.

Петр подождал еще немного и в упоительном ожесточении стал наносить каблуками удары по неподатливой броневой стали. Все в балке видели, как его высокая, длиннорукая фигура заплясала, заметалась на танке в каком-то диком, неистовом танце.

Тяжелая крышка у ног Петра отодвинулась, и из темного отверстия люка показались сначала поднятые кверху руки в черных кожаных рукавицах, а за ними блестящие очки танкиста.

Луг догорал. Половина его выгорела дотла, и на черной вылизанной земле тлели искры, угасая и опять разгораясь под ветром. Стрельба глохла и звучала уже где-то в отдалении, на флангах.

— Хотя бы я знал фамилию этого смельчака, — задумчиво говорил на ка-пе капитан Батурин, имея в виду того солдата, чью фигуру видела вся рота на танке. Капитан потянул в себя воздух и с жалостью ощутил едкий, удушливый запах сгоревшего луга, того самого луга, который еще так недавно был полон тончайшими ароматами трав и цветов.

— Да, это герой, — наклоняя голову, согласился с капитаном Крутицкий.

— Фамилию героя? — подходя к ним сзади, весело повторил Тиунов. — Середа.

— Середа? — рассеянно переспросил капитан.

Крутицкий осторожно кашлянул и отступил в сторону. Взгляд капитана упал на раненую руку Тиунова, которую он, согнув в локте, поддерживал другой рукой.

— Т-ты почему не вернулся, к-когда я тебя позвал, — сердитым, тонким голосом закричал капитан. — Я командир роты и прошу этого не забывать. Сейчас же марш в обоз. Марш, марш.

— Иду, капитан, иду, — примирительно улыбаясь, сказал Тиунов.

После того, как подошли вторые эшелоны и обозы беженцев, рота снова погрузилась в машины, и колонна с потушенными фарами вскоре выехала на шоссе. Колеса, шурша, разрывали мелкий речной гравий. Справа и слева уплывали назад темные массивы пшеницы, островки мелколесья, ртутно-белые пятна озер. Матово-бледное зарево на востоке разрасталось и уже занимало полнеба. Рота ехала к нему навстречу. Из зарева выступали впереди какие-то темные громады, уступы строений.

Вдруг сразу потянуло пресной речной сыростью.

— Вот она, братцы, и Волга, стало быть, — вполголоса сказал теплый, окающий басок.

У самой городской черты, за тонкой кромкой шлагбаума, перечеркнувшего шоссе, вспыхнул и заметался из стороны в сторону красный сигнал. Темная фигура замахала руками, залязгала затвором, грозным голосом закричала:

— Стой! Кто такие? Пропуск! Стрелять буду!

Первая машина затормозила, и за ней остановилась на шоссе вся колонна. Сбавив обороты, глуховато заворчали моторы. Ехавший в первой машине капитан Батурин открыл дверцу, стал показывать документы. Солдат с окладистой темнорусой бородой высоко поднимал в руке фонарь, старался осветить ему лицо.

— Ну, чего разорался? Не видишь — свои. Тоже караульщик,— раздался с борта машины злой голос.

И тогда голос другого солдата у шлагбаума успокоенно и радостно сказал:

— Пропускай, Степан. Наши. Свои.

XIII

Светало, и солнце, высунув гребешок над туманной чертой, ливнем своих опаловых лучей залило степь, луг и склоны балки, озарив место ночного боя. Туман развеялся, поднялся кверху и повис над землей грядой белокудрявых облаков. Багряные стрелы лучей бежали за темными, лиловыми тенями, которые балками уходили на запад и таяли где-то вдали.

Как же все переменилось и преобразилось со вчерашнего дня! Ветер еще раздувал серые тучки сгоревшего сена и, развернув белый налет золы, выхватывал искры, кружил их над землей. Черная пленка дыма, не расступаясь, держалась в воздухе, закрывая края балки и отражая солнце. Там, где стояли копны сена, теперь возвышались сугробы пепла, и над ними витал один лишь удушливый запах гари.

Огонь дочерна вылизал балку, покинутую ротой после ночного боя. Но за обгоревшими гребнями склонов, по обеим сторонам балки, там, куда не успел проникнуть огонь, все так же необозримо зеленела и пылала красками степь. Солнце, поднимаясь выше, прогоняло из низин последние ночные тени, и земля, все более хорошея, открывалась взору. И, как вчера, повсюду из утренней дымки выступили очертания курганов, так обычных для этих мест.

С наступлением утра в степи вокруг курганов началась оживленная суетня. Отряхиваясь, вставали с травы солдаты, ночевавшие под защитой зеленых склонов, как под стенами домов. Из бурьяна, на вершинах заблестели стеклышки полевых биноклей и стереотруб. Артиллеристы на руках выкатывали наверх, на огневые позиции, пушки, спугнув с насиженных гнезд огромных пепельно-серых орлов.

Это было то время лета 1942 года, когда восемь немецких армий, сосредоточенных между Курском и Таганрогом, пришли в движение и тараном десяти танковых дивизий раскололи юго-западный фронт на два крыла. Правое крыло фронта отходило за Дон на участке Богучар—Серафимович. Левое крыло примкнуло к южному фронту и отступало к Ростову. Подвижные группы противника вышли к Каменску, с целью отрезать пути отхода советским армиям, находившимся западнее Северного Донца.

После захвата Ростова сражение переместилось в большую излучину Дона. В пространстве между Доном и Волгой сходились остатки отступавших частей, спешно перебрасывались новые дивизии и создавались оперативные резервы с целью восстановить на протяжении четырехсот километров фронт, который мог бы прикрыть Сталинград.

Вокруг одного кургана, самого большого в степи и, должно быть, очень древнего, стоявшего как-то на отшибе от других, движение было особенно заметным и постоянным. Машины, мотоциклы, верховые, посыльные и связные беспрестанно съезжались и сбегались к нему и разбегались от него во все стороны по степи. Голубые жилки проводов на тонких жёрдочках лучами расходились к степным горизонтам, и толстый, тяжелый кабель, извиваясь в траве, полз на вершину и скрывался в темной, глубокой норе. Из норы стайками выплывали клочья табачного дыма, вырывались на зеленый простор звонки телефонов, охрипшие голоса связистов и дремотно бормотал полевой телеграф.

Чуть в стороне, на окраине веселой, бархатно-зеленой лужайки, в стеблях кукурузного поля пряталось этакое легкое, крылатое, фанерное создание, нечто среднее между обыкновенной стрекозой и летательным аппаратом братьев Райт. Кокетливо приподняв крылья и хвост, оно стояло в грациозно-непринужденной позе. И другое такое же создание кружилось над лужайкой, спиралью идя на посадку.

Склоны кургана густо поросли чебрецом — мягкой, пушистой и душистой травой. Кудрявой бахромой он окаймлял голую, гладкую вершину. Птицы вытоптали ее, выбили, сходясь на дуэлях в свадебные вешние дни. Над нею вечно струилось, переливалось, будто какая-то кисейная ткань, летнее марево. И вот теперь, в этот ранний утренний час, в струящихся потоках марева стояли на вершине два человека.

— А поприбавится курганов в степи, — задумчиво окинув взглядом горбатые горизонты, сказал соседу генерал в дорожном сером комбинезоне, в пенсне.

Сосед промолчал. Слегка расставив ноги и согнув непокрытую, каштановолосую голову, он упорно и неподвижно смотрел в подернутую легкой ветреной зыбью степь. Какая-то тяжеловесная скованность, оцепенелость были в его небольшой плотной фигуре, одетой в полувоен-

ный костюм без всяких знаков, в наклоне густоволосой головы крупной, хорошей формы. Услышав слова генерала, он даже не пошевелился, точно они относились совсем не к нему.

— А это что за вешки? — спросил генерал, указывая на цепь темневших в отдалении больших двухсвайных столбов. Они, как Гулливеры, шли через всю степь, пересекая ее от гребня до гребня.

— Эти? — пошевелился сосед.

— Да. Ты ведь должен знать, Бугров. Ты, можно сказать, здешний старожил.

— Это трасса, — коротко ответил сосед, и что-то дрогнуло в его лице.

— Трасса?

— Да, трасса, — повторил Бугров, и оцепенение как будто сбежало с его фигуры. — Это изыскатели ставили свои вехи. Тут ведь намечалось прорыть русло волго-донского канала. Ты что-нибудь об этом слыхал? Большие суда должны были пойти из портов Черного моря в Каспий, а в другую сторону — на Москву. Ты только подумай, какая идея — связать воедино хлебные недра Дона и Кубани с бакинской нефтью, с индустрией центра. И это еще не все. Через Волго-Дон наша Балтика соединялась с бассейном Средиземного моря кратчайшим южным путем. Это второй ГОЭЛРО. И, как все великие идеи, эта тоже гениально проста. Ты взгляни на карту — достаточно сделать перемычку между двумя речными излучинами в этом узком, степном дефиле.

— Теперь я начинаю понимать, почему беглые стремились на этот простор и оставались здесь жить, — вполголоса сказал генерал. Он тоже снял фуражку, и ветер зашевелил его белесые, гладко причесанные волосы. — Эта целина, виноградники, рыбные кондайки, луга... — Генерал сделал легкое движение рукой, объединяя этим жестом и дремучую синь садов, выступавших из дымки неясным пятном вдали, и светлую излучину реки, и зеленеющую вдоль ее берега кайму придонских заливных пастбищ.

— Луга, — повторил Бугров, и скорбная усмешка тронула уголки его жесткого рта. — Теперь от них мертвечиной веет, пустотой, а ты бы приехал сюда на полтора годика раньше, генерал. Тут какие прерии были, какие в них гуляли чистокровные дончаки! По этим лугам бродили косяки элитных маток, генерал. И если бы мы не вырастили в колхозах строевого коня, совсем бы плохо пришлось нашей кавалерии в этой войне.

Их разговор то и дело прерывали посыльные, вестовые и офицеры связи. Соскакивая с машин и лошадей, они торопливым шагом взбегали на курган. Генерал брал из рук стоявшего за его спиной адъютанта большую целлулоидовую сумку, делал на карте свои отметки карандашом, и адъютант с картой стремглав бежал в темную нору, вырытую в земле. Спустя минуту из норы уже неслся истошный голос телефониста, отдававшего кому-то приказание таким тоном, точно передавал сам генерал.

Восточный гребень степи уже рисовался в отдалении ясной, вымытой росами чертой, а западный еще оставался сумеречно смутным, и над ним медленно поднималась туманная завеса. В лучах солнца багровые клубы тумана казались заревом большого степного пожара, охватившего весь горизонт. Птицы, прикорнувшие в траве, начали разрозненно посвистывать в степи.

— Проснулись, — усмехнувшись, сказал Бугров, неопределенно кивнув крупной, тяжелой головой.

— Должно быть очень жаркий будет день, — посмотрев на солнце, негромко заметил генерал.

Ветер приносил горьковато-сладкие запахи пшеницы, полыни, лугового сена. Но все они тонули в крепчайшем, мятном аромате чебреца, окутавшем курган. Смоченный росой чебрец источал резкий и густой запах.

Туманная завеса, поднимаясь выше, над кромкой горизонта, открыла на западе овальный свод голубоватого просвета, и оттуда, как из тоннеля, хлынули в степь и потекли по всем дорогам обозы, толпы пешеходов, машины, стада скота. Вся степь покрылась рыжеватыми клубочками пыли. Приближаясь, они разрастались и сливались в одно огромное, изжелта-серое облако. Стал слышен отдаленный артиллерийский гул. Пасшийся рядом с курганом в лощине чей-то белый, стреноженный конь поднял голову и запрядал ушами.

— Они вероятно попытаются выйти к Цымлянской, — снимая пенсне и протирая их платком, вполголоса сказал генерал.

— Что такое? — не расслышав, переспросил его Бугров.

Генерал не ответил, и тот, думая, что он ослышался, нагнув лобастую голову, опять стал смотреть в степь. Но спустя минуту он снова повернулся к генералу.

— А ты знаешь, Иван Лукич, что первые шесть виноградных лоз в станице Цымлянской посадил собственноручно Петр I.

— Интересно. — Генерал близоруко посмотрел на него своими серыми, широко расставленными глазами. В них появлялось какое-то детское, вопросительное выражение, когда он снимал пенсне.

— Да, он. Как это у Пушкина... — Бугров пожевал бритыми губами...

Приготовь же, Дон заветный,
Для наездников лихих
Сок кипучий, искрометный
Виноградников своих.

— Я думал, Бугров, что секретарю обкома положено быть монументально суровым, я бы сказал — железным, а ты поэт, — усмехнувшись, сказал генерал. Он помолчал и, согнав с лица усмешку, позвал:

— Николай!

Адъютант вынырнул из-за его спины, мигая круглыми, совиными глазами.

— Слетай-ка сам к Цымлянской, Николай, и посмотри, как там на переправе, — медленно сказал генерал.

— Есть.

Адъютант дотронулся рукой до козырька и стремглав побежал с кургана по направлению к кукурузному полю, маузер в желтом деревянном чехле болтался в такт на его боку. Спустя несколько минут одно из грациозных крылатых созданий выкатилось из кукурузной чащи на зеленую лужайку и, поднявшись в воздух, затрещав, как молотилка, стало быстро удаляться на юго-запад.

— Знаешь, Бугров, — проводив самолет глазами и возобновляя прерванный разговор, продолжал генерал, — вот ты здесь говорил о Волго-Доне, виноградных лозах, местных мустангах и прочих вещах, а я слушал тебя и, признаться, с завистью думал о размахе твоих интересов. У наших работников — большой масштаб знаний. Понимаешь, в этом есть что-то возвышенное, на этом не замечаешь, как сам растешь. Я порой думаю, что в этом и есть сила работников нашей партии.

— Нет, — покачал головой Бугров. — Не это главное... Вот тут неподалеку в одной станице у меня знакомый колхозник есть, Тимофей Рубцов. Я к нему частенько наведываюсь, и мы вдвоем на лодке уплываем на охоту. Тут такие утки водятся... — он почмокал языком. — Этот мой друг Тимофей Тимофеевич мне, бывало, говорит: «Я тебя, Митрич, не за твое высокое секретарское звание уважаю. И даже не за твою простоту, не за то, что ты со мной на охоту ездишь, хотя мне таким знакомством перед своими станичниками и приятно похвастать. Уважаю и люблю тебя, Митрич, за то, что ты свой. Совсем свой, будто из одного корня со мной вышел, как, скажем, мой брат Максим или сын Андрей. Такое у меня разуменье, Митрич, будто я самолично тебя на это министерское кресло посадил. И если ты обмишуришься, то я же могу тебя обратным манером оттуда попросить. А вместо тебя сядет, скажем, мой Андрей, потому что он тоже свой. Вот за это самое, Митрич, я тебя уважаю и люблю».

Бугров помолчал и, помрачнев, добавил:

— В той станице, где живет этот мой знакомый казак, теперь немцы.

И прежнее оцепенение набежало на всю его небольшую плотную фигуру с крутолобой головой. Его короткие, чуть расставленные ноги, как будто вросли в землю.

Сзади них, из норы, попрежнему неслись звонки телефонов, осипшие голоса связистов, косноязычное бормотание телеграфа. Степь дымилась призрачными испарениями росы. Мимо кургана ехали повозки, верховые, машины, шли пешеходы, табунщики гнали лошадей, женщины подталкивали ручные тележки. Дымя, медленно ползла по дороге колонна гусеничных тракторов. Лучи солнца, пробиваясь сквозь пелену пыли, скользили по гладко отшлифованной облицовке радиаторов, и резким слепящим блеском вспыхивала вырезанная на металле заводская марка «СТЗ».

Бугров, нахмуря крутой лоб, неподвижно смотрел с кургана на проходившую мимо колонну — какая-то мысль должно быть тяжело засела в нем.

— Нет, весь тракторный завод мы вывезти не можем, — пошевелившись, негромко сказал он, и упорный блеск загорелся в его небольших, твердых глазах.

— Почему? Транспорт? — спросил генерал.

— Не-ет. Не только это, — не сразу ответил Бугров. Он помолчал и, оживившись, продолжал: — Не только транспорт. Понимаешь, пока остается завод — остается вера, что город не будет сдан. Помнишь, Сталин запретил эвакуацию Царицына в девятнадцатом году? Кроме того... ведь это же царицынские рабочие, пролетарский костяк еще тех времен. Вывезти их с заводом — все равно что вынуть из города сердце. Нет, этого мы не можем. Мы будем латать на заводе танки и прямо из ворот посылать их в бой. Да, да, генерал. Не можем, — повторил он, покачав головой.

И, просветлев лицом, как-то оживившись всей фигурой он снова стал смотреть в степь глазами, из которых исчез их прежний, угрюмовато-упорный блеск.

— Кукурузник трещит — кажется, возвращается Николай, — сказал генерал.

На юго-западе в светлой синеве неба показалась темная точка и, быстро увеличиваясь в размерах, превратилась в подобие зеленокрылой стрекозы. Снижаясь, она сделала круг над курганом и запрыгала на зеленой лужайке. И вот уже адъютант бежал на курган, придерживая одной рукой болтавшийся маузер, а другую руку на бегу поднося к козырьку фуражки.

— Ну? — ступив к нему шаг навстречу, строго спросил генерал.

— Товарищ генерал, к цымлянской переправе подходят танки, — останавливаясь и задерживая дыхание, сказал адъютант.

— Танки?

— Да, не меньше двух полков. За ними следует мотопехота 50 машин. Я сам сосчитал. — адъютант перевел дух.

— Хорошо. Ступай. Нет, погоди. Сделай пометки на карте, — генерал передал

ему полевую сумку. Круто повернувшись на каблуках, адъютант побежал в нору.

— Лихой парень, — проводив его глазами, улыбнулся Бугров. Но взглянув на генерала, он увидел выражение озабоченности, выступившее на его лице. И то же выражение озабоченности передалось ему.

— Я думаю, Бугров, бросить туда полк самоходок, — вполголоса сказал генерал.

— Не мало, Лукич?— с сомнением спросил Бугров.

— Можно будет еще снять зенитки с обороны штаба.

Они стояли на кургане и разговаривали тихим, задушевным тоном, как два брата.

— Погоди, Лукич, снимать зенитки, кажется, опять гости, — тронув его за плечо, с горькой усмешкой в голосе сказал Бугров.

В небе появился тонкий, назойливый звук. Шесть блестящих точек вынырнули из-под облачной гряды и, не снижаясь, строгим курсом шли прямо на курган. На дорогах в степи люди и повозки заснували, как муравьи.

— Товарищ генерал, летят, пойдемте в щель, — появившись за их спиной, настойчиво сказал адъютант.

— Придется опять менять ка-пе. Нащупали, — устало вздохнул генерал, покорно подчиняясь адъютанту.

XIV

У подошвы кургана, с его восточной стороны, сидели на траве офицеры связи и вели свой разговор.

Их было трое. Они принадлежали к тому летучему племени людей на войне, которые не знают, куда через пять минут забросит их военная судьба, спят, не раздеваясь, в штабах, на лавках и на земле, среди пения зуммеров и треска бодо, и мчатся по воле начальника в неизвестность, в распутицу, в ночь — чаще всего туда, где витает смерть.

У старшего из них, майора, из-под чернобархатного околыша фуражки белела повязка. Полузакрыв глаза, он лежал на траве, на боку, подложив под голову полевую сумку. Напротив него, поджав ноги под себя, по-турецки, сидел капитан с красноватым обветренным лицом, с коротким ястребиным носом и подстриженными щеточкой рыжеватыми усами. Усы придавали ему молодцеватый и даже несколько щегольской вид. Третий устроился чуть в сторонке на бруствере глубокого, черного окопа, свежо и прохладно пахнувшего землей. Это был почти совсем мальчик, лейтенант, с чернокудрявой, красивой головой, с красными щеками и ярко-синими глазами.

Тут же, неподалеку, в лощинке стоял неказистый, уж очень древнего и сугубо гражданского вида газик с измятым, изувеченным крылом, лежал боком на траве мотоцикл, а поодаль, на зеленом склоне, пощипывал тразу начисто белый, точно намыленный, стреноженный конь. На него время от времени поглядывал капитан с рыжеватыми усами.

Они говорили о женщинах. Собственно, говорили только двое, так как майору было не до разговоров, и он, лежа на траве, молчал. Его скулы и всю голову разламывала страшная, нечеловеческая боль, которая не утихала с тех пор, как вчера его выбросило из газика взрывной волной. Боль не проходила, а как будто даже усиливалась. Временами казалось, что кто-то грызет ему затылок и клещами выламывает ему зубы. Он сжимал челюсти, давя клокотавший в горле стон.

Рыжеватый капитан и молоденький лейтенант вели разговор о женщинах с увлечением, вполне понятным для военных людей. Все другие общежитейские темы они давно исчерпали, а произносить слова о танках, снарядах, обходах и прорывах им страшно надоело.

С полуулыбкой на румяных, красиво очерченных губах лейтенант утверждал, что все эти разговоры о женской верности, по его мнению, чистейшая иллюзия, самообман.

— Хорошо, — соглашался он с капитаном, который ему возражал, — если в обычной спокойной жизни это еще имеет какой-то смысл, то война внесла здесь свои поправки. И, пожалуй, не следует слишком строго осуждать женщин.— Встряхивая кудрями, падавшими ему на лоб, он принялся развивать свою мысль:— Долгая разлука с мужем, заботы по хозяйству, нужда, труд на производстве — не слишком ли это много для одной слабой женщины? Вначале, правда, она еще может крепиться, но ведь и камень капля долбит. Когда-нибудь и у нее может появиться мысль, что самые лучшие, молодые годы проходят бесплодно. А потом закрадутся сомнения в том, как ведет себя муж там, далеко, на войне. Известно ведь, в каком свете иногда непрочь выставить нашего брата солдата. Недавно мне один знакомый фронтовой поэт показывал свои стихи. В них он обращается к своей драгайшей супруге с такими словами: «Прости меня, но мы имели право на мимолетную солдатскую любовь». Ну как после этих слов не закружиться ее бедной голове?

— Та що вы таке кажете, — совестливо возражал капитан, искоса бросая взгляды на майора, — ну, а диты?

— Что ж дети, — сказал лейтенант с улыбкой, которая как будто говорила, что он предвидел этот вопрос. — Детям свое. Вот мы проходили через станицы, и солдаты заводили знакомство с казачками — разве дети могли им помешать? Да вы и сами не без грешка, капитан.

— Та вы таке скажете, — передергивал плечами капитан, совсем как жеманная барышня или как петух, когда он вспрыгнул на изгородь, пошевеливает крыльями и охорашивается перед тем, как подать голос.

— Да, да, капитан, я ведь знаю.

Поминутно встряхивая кудрями, лейтенант рассуждал об этих вещах с самоуверенным видом бывалого человека. И то, что он говорил, никак не соответствовало его внешности, его молодым летам. Но от этого слова в его устах приобретали еще более откровенный смысл. На самом деле он не был таким испорченным, каким хотел казаться в глазах старших.

Но майору, который лежал в стороне и, не принимая участия в их разговоре, слышал каждое его слово, он казался именно таким. Прислушиваясь, майор с возрастающим возмущением думал о том, как мог этот мальчишка лейтенант так говорить о женщинах. Майор вспоминал свою жену и думал о том, какой она всегда была верной, внимательной. Когда они поженились, она, не раздумывая, поехала за ним на погранзаставу, променяв столичную жизнь на таежную глушь. А ведь она тоже была молодой, красивой, полной сил и желаний.

Он попытался представить себе ее внешность и не смог. Только на миг где-то в тумане промелькнули родные серые глаза и исчезли. И его охватило раскаяние в том, что он часто вел себя по отношению к ней, как эгоист. Она была так заботлива и нетребовательна, а он порой пренебрегал ее интересами.

Но слова лейтенанта о женщинах незримой отравой проникали в его сердце и в мысли о жене. С отвращением и грустью поглядывая на красивого лейтенанта, майор думал, что этот женский баловень должно быть имеет основания так говорить. И чувство возмущения все больше охватывало майора. К этому прибавлялось тайное сознание того, что сам он некрасив и никогда не мог похвалиться успехом у женщин.

Но больше всего его раздражала глупая пошлая песенка, которую время от времени принимался напевать лейтенант. Мелодия песенки была известная, а слова грубо исковерканы и заменены новыми, и должно быть поэтому она была так прилипчива. С недавних пор песенку распевали чуть ли не все офицеры в штабе.

Слушая лейтенанта, капитан передергивал плечами, стыдливо похохатывал, но, оглядываясь на майора, спохватывался и, хмурясь, напускал на себя серьезный вид. Майор смотрел на них упорным, осуждающим взглядом. Испытывая неловкость, капитан думал, какой, должно быть, сухарь этот майор, черствый и скучный в компании человек.

На кургане трещали звонки, охрипший, надорванный голос телефониста вызывал какую-то «арфу». В дымке утра рисовались на вершине сухощавая фигура генерала и рядом с ним плотная фигура другого человека в полувоенном костюме. Как муравьи, кишели посыльные и адъютанты. В отдалении погромыхивала артиллерия и слышался напряженный, то нарастающий, то ослабевающий вой самолетов. Западная окраина степи была задернута желтобурой завесой взвихренной мглы.

— Все равно, война, — откидывая движением головы падавшие на лоб волосы, говорил лейтенант.

Майору хотелось крикнуть ему, что всю эту гнилую философию давно заклеймили порядочные люди. Майор даже приподнялся на локте, чтобы крикнуть лейтенанту эти слова. Но страшная боль свела ему скулы и заставила его опять уронить голову на полевую сумку. И он замычал, обхватив голову руками.

В это время на склоне кургана показалась фигура адъютанта генерала. Он направлялся быстрым шагом к офицерам и, махая рукой, что-то кричал:

— Капитан Осередько! — донесся его зычный голос.

Капитан молодцевато вскочил и, придерживая рукой шашку, позвякивая и посверкивая шпорами, побежал на курган. Спустя минуту он, все так же придерживая шашку и как-то на цыпочках, сбежал с кургана, распутал передние ноги коня и, вскочив в седло, не оглянувшись, поскакал в ту сторону, где над горизонтом вихрилась мгла. Синий верх его кубанки еще долго мелькал на буграх и степных перекатах в золотистой чаще пшеницы.

— «Садко в недоумении, как это все понять...» — проводив его глазами, замурлыкал лейтенант.

— Лейтенант Батурин, прекратите эту дурацкую песню, — воспаленно блестя темными глазами, чугунным голосом сказал майор.

Лейтенант повернул к нему голову, песенка замерла у него на губах, и майор увидел жалкое, пристыженное выражение на его лице. В этот момент на вершине кургана поднялась беготня и послышались крики «летят». Майор повернул голову и увидел шестерку «Юнкерсов», которые подходили к кургану с запада на небольшой высоте. Из пшеницы, из кукурузы, из бурьянов, окружавших курган, одновременно захлопали, застучали скорострельные пушки и пулеметы, и небо вокруг самолетов покрылось белыми барашками разрывов.

Интерес майора к словам лейтенанта пропал. Вставая с земли и с трудом заставляя подняться свое контуженное тело, он устало подумал, что вот опять нужно итти прятаться в щель. Он успел заметить, что лейтенант остался сидеть на

бруствере окопа, не изменив позы. Послышался пронзительный вой над головой и тонкий свист, земля содрогнулась и заколыхалась в тяжелой, раскатистой дрожи, и черная пыль взвилась к небу, застилая курган.

Когда пыль рассеялась, майор увидел, что лейтенант лежит на том же месте, на бруствере окопа, запрокинувшись навзничь, и к нему уже бегут два санитара с носилками. Кудрявая голова лейтенанта была безвольно откинута назад и сползала в окоп. Майор вылез из щели и, прихрамывая, быстрыми шагами побежал к нему. На миг он встретился с его незакрытыми глазами, и майору показалось, что он прочел жалобу в его ярко-синих, девичьих глазах.

Майор наклонился над ним, до его слуха опять донесся с вершины кургана сырный голос адъютанта генерала: «Майор Скворцов! Майор Скворцов!». Хромая, майор побежал на курган. Уже отбежав, он слышал, как голос санитара за его спиной с ужасающей деловитостью спросил:

— Готов?

— Почти, — ответил другой санитар.

Спустя полчаса майор ехал на своем разболтанном газике по старому царицынскому тракту на восток. Он вез в город поручение генерала командирам частей ускорить строительство дот'ов и рытье траншей, так как немецкие авангарды в большой излучине Дона уже навели переправы.

Голова у майора уже перестала болеть и была на диво легкой и ясной. Поглядывая из машины по сторонам, он с радостным изумлением думал, как он мог до сих пор не замечать, до чего хороша в этих местах степь, и у него на уме неотвязчиво вертелся мотив этой глупой, нелепой песенки о Садко.

XV

В городе было сухо, пыльно и тесно. Сюда набились обозы армий, отступивших с низовьев Дона и Северного Донца. Сюда сходились части правофланговых украинских армий, успевшие выйти из харьковского мешка. С Миуса пришли арьергарды левофланговой, южной армии. Вся армия ушла из Ростова на Кубань, но мелкие, разрозненные группы отправились вверх по Дону, как и рота, в которой служили Андрей и Петр. Тут были бригады морской пехоты, снятые с кораблей Черного моря и спешно брошенные на Волгу. Все это сбилось на узкой и длинной ленте сухой приволжской земли. В городе стоял разноголосый гомон, дым и смрад. Отступающие обозы схлестнулись на переправах с резервами, которые переправлялись из-за Волги на оборону. Стояли на пристанях покатые, затянутые в серый брезент машины, получившие в народе название «катюш». Моряки прохаживались по улицам в своих кокетливо расстегнутых гимнастерках, открывающих полосатые флотские рубахи. Стайками ходили курсанты северокавказских офицерских училищ, в брюках навыпуск, с цветными кантами по швам.

Сквозь скрип колес, шум голосов, рокот моторов, вой пароходов и катеров, сновавших по реке взад и вперед, сквозь этот сплошной и неумолкающий гул еле слышно пробивался отзвук отдаленной артиллерийской стрельбы. Но временами вдруг наступали паузы звенящей, неправдоподобной тишины. Город замирал, весь уйдя в слух. И тогда был отчетливо слышен редкий, тупой и настойчивый канонадный звук.

На окраине рабочей слободки, в домике слесаря тракторного завода, капитан Батурин расположил командный пункт роты. Белый, с голубыми ставнями домик своими светлыми, веселыми оконцами выходил прямо в степь, а крыльцом в тихую, обсаженную молодыми тополями улицу, имевшую мирный полудеревенский вид. Улица поросла густой, рыжеватой лебедой и по ней бродили козы, волоча по земле концы длинных веревок. В воротах домиков рылись куры, а на подоконниках всюду стояли глиняные горшки с гвоздиками яркого цвета. И эти алые гвоздики, в соединении с голубыми ставнями, с козами и с тем, что сразу за усадьбами и огородами начиналась степь, придавали бы слободской окраине совсем уже сельский мирный вид, если бы не заколоченные окна в большинстве домиков, хозяева которых выехали невесть куда, снявшись с насиженных мест.

Хозяйка, молодая бездетная женщина, вымыла в комнатах полы и посыпала их душистой травой, застлала кровать белым тканевым одеялом и поставила на стол сковородку с яичницей.

— Пьете? — строго спросила она, нацеживая в стакан из граненого графина желтоватую лимонную настойку.

— Пью, — со вздохом сознался капитан.

Придвинув ему хлеб и соленые огурцы, она села на другом конце стола и, подперев рукой русоволосую голову, упорным, внимательным взглядом стала смотреть на то, как он ест. Капитана Батурина смущал и беспокоил этот взгляд.

— Муж? — чтобы как-то нарушить молчание, спросил он, посмотрев фотографию на стене.

— На фронте, — коротко ответила она, как бы исключая всякие дальнейшие разговоры на эту тему.

Вымытые полы хорошо пахли дождевой водой, к этому прибавлялся грустноватый аромат степной травы и особый запах обжитого домашнего тепла. После бессонной ночи, напряжения боя и перехода капитана Батурина непреодолимо потянуло ко сну.

— Спать будете? — вставая и поправляя волосы пухло-белыми, голыми до плеч руками, деловито спросила хозяйка.

— Спать, — виновато согласился капитан.

Она быстро разобрала постель, надела на подушки чистые кружевные наволочки и, прикрыв с улицы ставни, ушла на другую половину дома. Сняв сапоги и раздевшись, капитан Батурин с жалостью посмотрел на чистую, свежую простыню и погрузился в мягкую прохладную перину. В комнате было полутемно. Сквозь щели в ставнях просачивались слабые полоски дневного света и ложились на пол. За окнами звучали голоса игравших на улице в лапту детей.

...Капитан Батурин был молодой человек с белой головой. Его волосы казались подернутыми тусклой, синеватой изморозью. Капитану было всего 25 лет. Он поседел в первый день войны, когда в эшелоне, который эвакуировался из Львова в глубь страны, сгорели его жена и дочь.

Он прибежал на станцию после того, как эшелон, подожженный германскими самолетами, уже догорел и то, что осталось от ехавших в нем людей, выносили и складывали сбоку на платформу. А то, что осталось, было страшно похоже на обугленные дрова. Их складывали отдельно — те, что побольше, с одной стороны, а те, что поменьше — с другой. Те, что поменьше, были детьми. И вот среди этих черных маленьких головешек капитан Батурин нашел свою дочь.

Он бы, пожалуй, меньше мучился тогда и потом, если бы среди обгоревших поленьев не нашел ее в тот день. У него бы еще оставалась какая-то надежда, что они живы.

Он нашел дочь среди детских трупов потому, что ее маленькая белокурая головка не совсем сгорела. На тонкой шейке осталась нитка бус из фальшивого яхонта, которые подарила ей мать. Капитан Батурин поцеловал головку и шейку дочери, а бусы осторожно снял и взял с собой.

С тех пор он положил целью своей жизни истреблять тех, кто убил его жену и маленькую дочь. Он не называл немецких солдат людьми. И его чувство ненависти к ним стало для него таким же органическим, казалось, как потребность двигаться, дышать.

Теперь он лежал на кровати в чистой, прохладной комнате и думал об этом. Хозяйка несколько раз входила в комнату, что-то брала и выходила, бесшумно открывая и закрывая дверь. Капитан Батурин видел ее белую фигуру, слышал шелест платья и вспоминал, что вот так же его жена по утрам бесшумно двигалась по комнате, ступая на цыпочках, чтобы не разбудить его.

Незаметно для самого себя капитан Батурин уснул.

Но его скоро разбудили. Сквозь сон капитан услышал, как в передней комнате хозяйка сердитым голосом выговаривала кому-то, что человек должно быть умаялся с дороги, потому что как плюхнулся в постель, так и заснул, а ему не дают поспать. А другой, мужской голос отвечал ей, что ничего не поделаешь, раз так велит начальство, и он тут тоже подневольный человек.

— Придется разбудить, милая, война,— убеждал хозяйку незнакомый капитану мужской голос.

— Кто там? Войдите! — недовольным голосом крикнул капитан, свешивая ноги с кровати и надевая гимнастерку.

— Вы здесь старший начальник? — пригибая голову под низкой притолокой и входя в комнату, спросил военный в фуражке с чернобархатным околышем. Из-под фуражки белым ободком выступала повязка. Это был майор, приехавший в город с приказанием от генерала командирам частей и подразделений поторопиться с рытьем укреплений.

Капитан Батурин ответил ему, что он командир роты, а кроме него в слободке расположены еще другие части и, возможно, крупные штабы.

— Командир роты? — разглядев на его гимнастерке знаки капитана, с сожалением переспросил майор. Капитан Батурин ясно прочел в его голосе удивление, что он до сих пор командует ротой, тогда как в нынешнее тяжелое время, когда майоры нередко руководят дивизиями, в его звании следовало бы командовать по меньшей мере батальоном.

— Моя рота идет от самого Львова, — сухо сказал капитан.

— Ну, это все равно, — снимая фуражку и проводя рукой по затылку, устало согласился майор. — Я передам вам, а вы сообщите выше.

И положив фуражку на подоконник, присев к столу, он негромким голосом стал излагать последние данные о противнике и суть своего поручения.

Хозяйка открыла ставни, так же методично, как до этого капитану, собрала майору поесть, может быть лишь чуть громче обыкновенного гремя тарелками и резче двигая руками, и так же, нацеживая из граненого графинчика в стакан лимонную настойку, спросила:

— Пьете?

— Пью. Спасибо, — взглянув на хозяйку, ответил майор, и веселые искорки на миг вспыхнули в его усталых глазах.

Капитан смотрел, как он ест, и его все больше охватывало глухое, беспричинное раздражение против этого человека. Мало того, думал капитан, что он не дал ему поспать часок после нескольких бессонных ночей, он в дополнение ко всему

устроился в чужой квартире, как дома, и должно быть чувствует себя совсем неплохо, с жадностью поглощая пищу и чавкая на всю комнату.

А майору, который сытно поел и выпил водки, лицо сидевшего перед ним капитана начинало казаться все более умным и симпатичным. Это впечатление усиливалось оттого, что он, несомненно, уже где-то встречал его или кого-то, очень похожего на него. Отодвинув от себя пустые тарелки и оглядев заблестевшими глазами стены чистенькой комнатки, майор сказал, что вот в таком же точно домике он жил с семьей на погранзаставе до войны.

Постепенно майор разговорился и стал рассказывать капитану о своей довоенной жизни. Он стал говорить о том, какая у него жена хорошая, расчетливая хозяйка, как они, прожив больше шести лет, ни разу не поссорились друг с другом. Симпатичное, интеллигентное лицо капитана все больше располагало майора, и его все меньше смущало то, что он видел его в первый раз.

Молча слушая, капитан старался не глядеть на майора. Он испытывал горькое чувство, впитывая в себя слова о чужом счастье.

Майор же, ничуть не заботясь о том, что его слова могут быть неприятны другому, становился все более откровенным. Два раза он подвигал к себе графинчик с лимонной настойкой и наполнял свой стакан. Контуженная голова его слегка кружилась в теплом, приятном тумане. Ему казалось, что в лице капитана с седыми волосами он впервые нашел именно такого человека, которому можно, наконец, вполне довериться. Майор сказал, что он на-днях получил письмо от жены и, вынув из кармана, стал его читать.

Если бы он мог знать, что каждое слово письма отзывается в душе капитана острой пронзительной болью. Капитан, слушая его, с трудом сдерживал сотрясавшую все его тело дрожь, думая, что никогда еще в жизни не встречал такого законченного эгоиста, как этот майор.

— А вам жена часто пишет? — спросил майор, желая сделать капитану приятное этим вопросом.

— М-моя семья п-погибла, — заикаясь и не сразу ответил капитан.

Майор испуганно взглянул на него и, покраснев до корней волос, стал суетливо прятать письмо в карман, шаря руками на груди и не находя кармана.

В это время зазвонил на столе телефон. Капитан снял трубку и после паузы, медленно и все еще заикаясь, сказал:

— Б-Батурин.

На секунду майор встретился с взглядом капитана и вдруг вспомнил, где он видел похожее лицо и почти такие же глаза.

— У вас есть брат? — доставая папиросу и закуривая, спросил он, когда капитан положил трубку.

— Брат? — рассеянно переспросил капитан. Он все еще продолжал думать о том, что ему сказали по телефону.

Но потом он спохватился и лицо его оживилось.

— Да, да, есть. Лейтенант. Вы его знаете? — быстро и с надеждой спросил он.

— Как его зовут? — не отвечая и пристально вглядываясь в его лицо, спросил майор.

— Николай. Вы его встречали? Он где-то здесь на фронте...—По лицу капитана пошли красные пятна, и оно еще больше побледнело. Мать и брат—было то последнее, дорогое, что еще оставалось у него в жизни.

— Нет. Того зовут Александром, — медленно выговаривая слова и отводя глаза в сторону, солгал майор.

— Александром, — с разочарованием и недоверием повторил капитан.

— Да. — Майор резко встал из-за стола, не глядя, нашел на подоконнике фуражку. — Прощайте.

Прихрамывая, он пошел к двери, унося с собой жгучее ощущение стыда в соединении с брезгливостью к себе и с жалостью к другому человеку, которому он только что причинил страдание. Но у самой двери он покачнулся и на секунду остановился. Страшная боль, как молотом, ударила ему в голову, и он должен был взяться рукой за притолоку, чтобы не упасть. А капитан, глядя ему в спину, подумал, что этот человек, должно быть, смертельно устал.

— Останьтесь. Отдохните, — сказал капитан.

— Нет, нет. Прощайте, — не оглядываясь и переступая через порог, повторил майор.

Поздно вечером пришел с завода отец хозяйки. Он не удивился присутствию в доме чужого человека, снял черный парусиновый пиджак, повесил на гвоздик у двери и, вымыв руки, прошел в светлицу. У него было спокойное лицо с седоватыми усами — хорошее лицо рабочего.

— Захар Прокофьевич Безуглов, — коротко сказал он, знакомясь с капитаном.

Капитан ждал, что он начнет расспрашивать его обо всем, как это было всюду в других местах, через которые проходила рота. Но хозяин в разговор не вступал. Дочь собрала ему на стол, и он молча стал есть, сутулившись, касаясь концами усов края тарелки. Пообедав, он придвинул стул к окну и, толкнув рукой раму, закурил трубку.

В комнату поплыл запах молодого тополя. Слободская улочка была в этот час почти безлюдна. Лишь кое-где у ворот раздавался девичий смех и светились угольками папиросы красноармейцев.

С Волги ясно доносились гудки пароходов, протяжные крики: «Чайку-у-у» и звон якорной цепи. Трубка, разгораясь, освещала усы хозяина, и в квадрате окна его широкое, темного цвета лицо выступало, как в рамке.

Капитан Батурин тоже придвинул свой стул к окну и закурил. Так они долго просидели молча. От всей фигуры хозяина на капитана веяло устойчивым спокойствием и сосредоточенной думой.

XVI

На крутом и высоком правом берегу рыли окопы, прокладывали в земле штольни, сверлили лисьи норы, ставили стальные колпаки, отлитые в цехах местных заводов и мастерских.

— Опять доты, — говорил Петр.

Андрей молча копал землю. После того, как был вырыт в земле просторный и глубокий котлован, он вырубил лопатой ступеньки для входа. Потом вдвоем с Петром они укрыли землянку таврovыми балками. Андрей предложил оставить отверстие для дымохода.

— Это зачем? — удивился Петр. — Или ты тут зимовать собираешься.

Андрей опять промолчал, нагребая лопатой на балки щебень и песок. Он достал откуда-то тонких досок и обшил ими стены землянки внутри. Потом сбегал на пристань и вернулся оттуда с ведерцем белил. Петр с возрастающим изумлением наблюдал, как он подбеливает мочалой стены землянки и, отойдя в сторону, примеривается кистью и глазом, правильно ли провел полосу.

— Нет, я вижу ты в самом деле устраиваешься тут по-хозяйски, — не выдержал Петр.

— А то как же?

— Так тогда бы ты и корову сюда привел.

— И это бы не помешало, — серьезно сказал Андрей.

— И долго ты тут собираешься жить?

— Долго, — односложно отвечал Андрей.

— Ну, этого ты не можешь знать, — рассердившись, решительно заявил Петр.

Но уверенный тон Андрея, вся его исполненная решимости фигура, серьезное, сосредоточенное лицо с плотно сжатыми губами и застывшими связками желваков под смуглой кожей щек — все это подействовало и на Петра. Он взял гвозди, молоток и стал помогать Андрею. Работать Петр умел. Он сколотил из досок и приладил дверь. Потом врыл в землю четыре столба и соорудил стол. И даже полочку пристроил на стене. Вдвоем они сделали двухъярусные нары, при чем Петр заранее выговорил у Андрея себе место наверху. Андрей согласился, забивая в стену деревянные колышки для оружия и для одежды. Они устраивали свою землянку по-хозяйски, удобно и прочно.

Ночью Петр записал в своем дневнике:

«Мы сидели в землянке, когда началась бомбежка. Землянка вдруг задрожала и сверху посыпались глина и песок. Нас могло бы засыпать, если бы Андрей не догадался обшить стены и потолок досками. Я даже подшучивал над ним по этому поводу. Меня поражает его домовитость. Стоит нам где-нибудь остановиться всего на один час — и он, как птица, по прутику начинает вить гнездо. Если бы я не подсмеивался над ним, он бы, пожалуй, уже носил в своем вещевом мешке целый склад всяких жестянок, консервных банок, гаек и чурбачков. Он не может пройти по дороге без того, чтобы не поднять старую подкову или гвоздь.

Когда мы выбежали наверх, над Волгой уже колыхался парус огня и запах гари ударил нам в лицо. Андрей сказал, что это горит нефть. Фрицы угодили в баки на пристани, и сразу вспыхнул большой пожар. Он разрастался и скоро занял все небо. Сначала был один очаг, но потом начались пожары и в городе, загорелись деревянные домики в слободе, на левом берегу, и лес, и все это слилось в один поток. Стало светло, как днем. Искры дождем сыпались с неба и гасли в реке.

Жив ли я останусь или нет, я не виню себя за то, что в эту ночь оказался здесь. Помню, как-то мы с отцом ходили в море на баркасе, и разыгрался шторм. Я стоял у руля и хотел увернуть баркас от большой волны. Но отец сказал мне, что никогда не нужно уходить от волны, а лучше стараться встретить ее носом судна. Что-то говорит мне, что Сталинград будет гребнем войны.

Мы стояли и смотрели, как самолеты кувыркались в огне и пикировали на пристань. В сплошном грохоте нельзя было понять, где бьют зенитки, а где рвутся бомбы. Рядом с нами стояла Саша. Она живет в соседней землянке.

Вскоре фугаски стали падать совсем близко, и мы ушли в землянку. Андрей разделся, лег на нары и сейчас же уснул. Он может спать в любую бомбежку. А вот я не могу. Пусть обстрел, бой с танками, атака в штыки — к этому можно привыкнуть. Но к фугаскам я до сих пор не привык.

Но кажется стихает. Андрей хранит за целую роту. Спать, спать...»

Петр закрыл книжечку и подошел к лампе, которая стояла в нише, вырубленной в стене. Лампой служил медный стакан от снаряда. Петр вспомнил, что Андрей строго наказывал ему тушить огонь перед сном. Андрей всегда с таким трудом доставал у шоферов бензин. Но Петр страшно не любил засыпать в темноте. Он только убавил в лампе огонь и, стараясь

не разбудить Андрея, полез к себе на верхнюю нару.

Грохот вверху затихал. Изредка слышались раскаты — это рвались одиночные бомбы. Кровля землянки чуть заметно дрожала, Петр, по детской привычке, подложил себе правую ладонь под щеку и тотчас же уснул...

Утром в дверь землянки просунулась голова в пилотке, и теплый грудной голос спросил:

— К вам можно?

Андрей уже встал и, сидя на наре, без рубашки, пришивал воротничок к гимнастерке, а Петр еще спал сладким, утренним сном на своем месте вверху. Но услышав голос, он открыл глаза и быстро сел на наре, свесив ноги вниз.

— Ой, вы еще спите?! — виновато сказал голос, и дверь испуганно закрылась.

— Нет, ничего. Можно, — поспешно крикнул Петр и, быстро спрыгнув с нары, стал одеваться. Дверь снова открылась, желтый, солнечный зайчик упал на пол землянки, и в землянку вошла Саша.

— А я к вам по-соседски, — сказала она, оправдываясь и стараясь не смотреть в сторону Андрея, который сидел без рубашки. Андрей, отвернувшись, стал надевать гимнастерку.

— Садитесь, — суетливо говорил Петр, подвигая Саше пустой ящик из-под гранат, служивший им вместо стула.

— Спасибо, — сказала она, усаживаясь

Она окинула стены землянки мимолетным, исполненным живости взглядом, заметила аккуратно побеленные стены, белые каемочки, проведенные Андреем, и одобрительно сказала:

— Как у вас здесь хорошо.

— Это все он, — кивнул в сторону Андрея Петр.

— Совсем, как дома, — говорила Саша сильным, грудным голосом. Казался неожиданным ее сильный, звучный голос. Саша сняла пилотку, и светлая волна мягких, чуть вьющихся на концах волос рассыпалась и ушла ей на плечи.

— Я и не знала, что вы такой хозяин,— улыбаясь Андрею, сказала Саша, освоившись и покойно положив на колени свои белые, узкие, удивительно маленькие руки.

На миг Андрею стало больно видеть ее, с такими нежными руками, в грубой солдатской одежде. Но Андрей вспомнил свою мать, ее черные, обезображенные тяжелой работой руки, и на секунду у него шевельнулось что-то нехорошее в груди против Саши. Точно она была виновата в том, что мать Андрея свою молодость, красоту и свои тоже когда-то красивые руки загубила в нужде и в труде.

А Петр снова представил себе, как Саша минувшей ночью, приподнявшись на цыпочки, стояла на бруствере окопа под бомбами в зареве пожара, стояла и не боялась. Но, словно отгадывая его мысли, она пошевелилась на ящике, на котором сидела и, вздохнув, сказала:

— Ужасно страшно сегодня ночью было. Правда?

— Вы боялись? — с недоверием посмотрев на нее, спросил Петр.

— Да, очень, — она кивнула головой. — Я никак не привыкну к фугаскам, — добавила она виновато.

— И я не привыкну, — сказал Петр и покраснел. В другое время он никогда бы не сознался в этом. Андрей с удивлением посмотрел на него. Он не принимал участия в разговоре. Он сходил с котелком на кухню и принес чаю. Потом наколол сахару и разлил чай по кружкам. И все это молча, стараясь им не помешать. А Саша, мелкими глотками отхлебывая из кружки чай и ровными блестящими зубами откусывая сахар, с неуловимым лукавством в глазах поглядывала то на одного, то на другого, как бы отмечая про себя разницу между ними. Один был смуглый, коренастый, другой — большой, но еще нескладный, с ребячьими суровыми глазами.

— Ой, я и забыла, — вдруг забеспокоилась Саша и поставила кружку на стол.

— Что? — спросил Петр.

— Меня к вам капитан Батурин послал.

— Капитан? — с укоризной сказал Андрей.

— Да. Он мне поручил передать, чтобы вы пришли к нему. А я забыла...

— Оба? — быстро спросил Петр.

— Нет, он один, — она кивнула в сторону Андрея.

— Не знаете зачем? — с беспокойством спрашивал Петр.

— Кажется, в разведку итти. Но хорошо не знаю. Как я могла забыть... Мне пора итти. Как я у вас засиделась, — сокрушенно говорила Саша.

И она исчезла так же быстро, как появилась.

Она побыла у них совсем немного и в сущности ничего такого не сказала и ушла, но после ее ухода в землянке остался легкий, неясный след радости. И каждый из них сейчас думал об этом.

Андрей в затруднительных положениях всегда мысленно прибегал к авторитету отца. И теперь он подумал: а что бы сказал об этом отец? И он живо представил себе жесткое, неодобрительное выражение его лица и его суровые, проницательные глаза. Отец Андрея, по-своему любивший мать и относившийся к ней с грубоватой лаской, тем не менее всегда считал и говорил, что женщина в мужском деле приносит только вред. И Андрей на миг даже представил себе голос отца, когда бы он круто и враждебно отрубил: «Баба на войне — лишний человек».

Но тут же Андрей вспомнил ласковое лицо Саши, ее волосы, руки, и его покоробило от этих несказанных слов отца,

от этого грубого и оскорбительного для Саши слова «баба». И может быть в первый раз за всю свою жизнь Андрей позволил себе в душе не согласиться с мнением отца.

А Петр, в рассеянности снимая со стены пилотку, тоже думал о Саше. Но мысли его о ней были не так определенны, а скорее расплывчаты и туманны. И он никак не мог разобраться в них и собрать их в одно.

— А ты куда? — спросил Андрей, видя, что Петр тоже навешивает оружие и надевает пилотку, собираясь итти.

— Я тоже пойду с тобой, — ответил Петр.

— Но ведь тебя не вызывали, — с удивлением сказал Андрей.

— Я пойду, — упрямо повторил Петр, и зрачки его, потемнев, сузились, как на огонь.

Андрей молча пожал плечами.

XVII

Саша вернулась к себе в землянку, постояв на пороге, окинула взглядом свое небольшое, полутемное жилище и, пройдя в угол, где стоял ее покрытый серым фланелевым одеялом топчан, стала раздеваться. Снимая гимнастерку, она почувствовала вялость в руках, истому во всем теле. После беспокойной ночи и дежурства у телефона ей очень хотелось спать.

Кроме Саши в землянке жили ее давнишняя подруга Клава, старшая «писарька», как ее называли в роте, и новая санитарка Ляля. Клава еще не приходила на обед, а Ляля спала, свернувшись калачиком на своем топчане. Под одеялом обрисовывался комочек ее полудетского тела.

Лялю привел к девушкам Тиунов в первый день ее появления в роте.

— Вот вам дочка будет, — сказал он, улыбнувшись. И, уходя, полушутливо добавил:

— Кто ее обидит — мою дружбу может потерять.

Саша посмотрела на Лялю и улыбнулась. Ее пухловатые щеки окрасил легкий и нежный румянец, а светлые завитки волос разметались на подушке вокруг головы. С полуоткрытым влажным ртом и прижатыми к подбородку острыми коленками она казалась совсем девочкой.

Саша присела на топчан и стала снимать сапоги. Они были грубые, тяжелые, с широкими голенищами, с тупыми носами, сшитые не по ее ноге. Она с трудом стащила сапог и медленно растирала пальцами затекшую ногу, быстро сняла юбку и легла на чистую простыню, натянув до самого подбородка одеяло.

Несмотря на то, что ей очень хотелось спать, она, как обычно, достала из-под подушки раскрытую книгу и поднесла ее к глазам, отыскивая на недочитанной странице отчеркнутую легкой царапиной строчку. Но через минуту она отвела глаза, полистала холодными пальчиками шелестящие страницы и, вздохнув, отложила книгу.

Стены землянки слегка пошатывало перекатывающимися волнами далекой канонады. Ей нравилось это ощущение тишины, подчеркнутой ревом стихий, злобствующих где-то над ее головой. Легкое покачивание убаюкивало.

Саша покойно положила руки вдоль тела и закрыла глаза. Уже погружаясь в сон, она услышала, как скрипнула дверь и легкие, быстрые шаги, пробежав по земляному полу от порога к топчану, остановились у ее изголовья.

— Шурка, — спросил хрипловатый голос Клавы. — Ты спишь, Шурка?!

Сон еще не погасил сознания, но тело на чистой простыне не захотело пошевелиться, и Саша не открыла глаз.

— Шурка! — тише повторила Клава.

Она подождала еще немного и отошла. Притоптывая каблучками легких шевровых сапожек, Клава стала двигаться по комнате, вполголоса напевая и юбкой распространяя ветер. Не открывая глаз, Саша угадывала ее движения. Вот она бросила на стол беретку и, распустив по спине густые, черносмолистые волосы, расчесывает их гребешком. Разъединив их на две волны и короной собрав впереди, она потерла кулачками щеки и влажными пальцами пригладила перед маленьким зеркальцем брови. Потом подошла к изголовью Саши и стала рыться под ее топчаном.

Саша открыла глаза.

— Шурочка, — встретившись с ее глазами, просительным полушопотом заговорила Клава, — я хочу надеть твои чулки со стрелкой.

— Возьми там, в чемодане, — Саша высунула руку из-под одеяла и указала под топчан.

Клава быстро достала чулки и, устроившись у нее в ногах, стала снимать свои изящные черные сапожки.

— Ты добрая, Шурка, — говорила она, натягивая длинный, прозрачный чулок на полную ногу.

— Добрая, — повторила Клава, снова надевая сапожки и двумя пальцами приподнимая сзади край юбки, чтобы увидеть ногу в чулке. Она прыгнула на постель к Саше и стала щекотать губами ее шею и плечи. — Ух, как я тебя люблю.

— Пусти, Клава, — Саша уперлась в грудь подруге, однако не настолько сильно, чтобы ее обидеть.

— Завидую я тебе, — притихнув, жалостно сказала Клава. Подобрав под себя ноги, она уселась на топчане.

— Чему, Клава? — спросила Саша, с улыбкой глядя на здоровое бело-розовое лицо подруги. Она подвинулась на посте-

ли, предчувствуя, что между ними сейчас начнется один из тех откровенных разговоров, которые они так любили.

— Твоей спокойной жизни. Вот ты всегда такая разумная. Ты со всеми ясная, и тебя никто не тревожит.

— А кто же тебе мешает, Клава?

— Я так не могу. Я веселую жизнь люблю, — вздохнула Клава. Она подвигала ногами, устраиваясь поудобнее на постели. — Я молодая, мне развлекаться надо. В мирной жизни я как-то об этом не тревожилась: ну, работала в колхозе, ну, когда сходишь с девчатами в кино, пройдешься с парнем по аллее. Все было раньше известно — смолоду побесишься, походишь в девках, а там, гляди, и выйдешь замуж. А тут все сразу вывернулось наизнанку, и как подумаешь, что, может, тебя через пять минут убьют, а ты еще даже своему суженому в глаза не взглянула, так и оборвется в груди сердце. Так сделается себя жалко.

Клава вздохнула.

— И не только себя. Поглядишь на солдатика — и так это заболит о нем сердце. Жена у него где-то далеко, а сам он с утра до ночи в огне. Каждую секунду его ранить может или убить. А приголубить его некому. Иной раз такой еще желторотенький, совсем молодой. Как этот твой... Петр.

— Почему мой, Клава? — Саша недовольно сдвинула тонкие брови.

— Ну не буду, — Клава прижалась щекой к подруге. Она помолчала и, не поднимая головы, лукаво спросила. — А может твой?

— Нет, Клава, — чуть покраснев, Саша серьезно покачала головой.

— И этот, другой? — приподнимая голову, недоверчиво спросила Клава.

— Андрей?

— Да, Андрей.

— И он не мой, — Саша улыбнулась.

— Ну, как его, Петр — этот еще теленок, — задумчиво сказала Клава. — У него и глаза, как у бычка. А вот другой, Андрей...

— Что?

— Так, ничего. — Она потянулась. — Так ты с ними с обоими ровная?

— С обоими, — подтвердила Саша.

— Вот видишь, какая ты ясная, — Клава снова жалостно вздохнула. — А я так не могу. Ты знаешь, зачем я сейчас твои чулки надела? — Она пошевелила ногой.

— Зачем?

— У меня сегодня вечером свиданье,— она опустила глаза и потеребила уголок одеяла. — И ты знаешь с кем? Со старшиной.

— С Крутицким? — не удержала легкого движения Саша. Она вспомнила, как еще в первые дни отступления старшина предлагал ей пересесть на его подводу и как она отказалась.

— С ним. А что, разве он плохой?

— А как же этот..? — неуверенно спросила Саша.

— Сердюков?

— Да.

— Сердюков хороший парень, — беспечно ответила Клава.—Ну, так он все время в своем взводе, ходить к нему опасно, еще по дороге может какая мина убить. Да самой и неудобно. А этот под боком.

— Клава! — предостерегающе сказала Саша. Ей послышалось шевеленье в том углу, где спала Ляля.

— Она спит, — небрежно отмахнулась Клава. Она и раньше высказывала Саше свое неудовольствие тем, что в их интимный мир насильно втолкнули Лялю.

Но Ляля не спала. Она сидела на постели, обхватив коленки руками, и смотрела на них из угла своими детскими, полными ужаса глазами.

— Вот что ты наделала, Клава, — шопотом сказала Саша.

— А ничего я такого не сделала, — вставая с топчана и потягиваясь на носках, громко возразила Клава. — Ты думаешь, она маленькая. Ты бы посмотрела, как она своего политрука так и ест глазами.

— Что ты сказала? — выпрямляясь на постели в белой короткой рубашке во весь свой маленький рост, тоненьким голоском спросила Ляля.

— Ну, ну, я ведь пошутила, — примирительно сказала Клава.

— Я не буду больше с вами жить, — гневно выкрикнула Ляля.

Спрыгнув с кровати, она быстро накинула на себя гимнастерку, всунула ноги в сапоги и стремительно выбежала из землянки, опахнув ветром презрения ошеломленную Клаву.

— Вот что ты наделала, — с укоризной глядя на подругу, повторила Саша.

— Обтешется, — грубым, протяжным голосом сказала Клава. Она заспешила. — Ну, мне надо итти. — Еще раз посмотревшись в зеркальце, она побежала к двери, но с полдороги вернулась, опять на мгновенье присела к Саше на край постели и жарко зашептала:

— Ты не думай, Шурка, что я такая дурная. Это я только на языке. Ты думаешь, этот старшина мне очень нужен? Да ведь он же баран, и глаза у него бараньи, — она с насмешливой важностью повела глазами очень похоже на то, как это делал Крутицкий, так, что Саша не могла удержать улыбки. — Я только послушаю, какие он сладкие речи говорит, и посмеюсь над ним в душе. И никто другой мне не нужен, ну совсем никто. Просто я такая веселая. А для своего милого женишка Володьки, который сейчас тоже на фронте, я какой была, такой и останусь. Я ему, Шурка, каждую ночь письма пишу и сама реву, как дура.

Она встала и опять уж прежним, беспечно шаловливым тоном повторила:

— Ну, пошла. А то не дождется разлюбезный кавалер меня на свидании...

После ее исчезновения Саша долго лежала на спине с открытыми глазами, смутно улыбаясь. Клава всегда вносила какое-то легкое волнение в ее душу. Как будто пробегал по ней озноб, что-то похожее на морскую зыбь в тихую погоду. Это ощущение беспокоило Сашу, но она не могла сказать, что оно было ей неприятно. Саша и не осуждала Клаву, и не одобряла ее образа жизни.

Она опять взяла книгу и, не читая, задумчиво полистала страницы. Но мысли ее унеслись далеко, она думала о Петре, об Андрее, но было в этих мыслях что-то непонятное и тревожное, и она постаралась отвлечься от них. Однако ей это не удавалось. Еще и еще раз она возвращалась к вопросу Клавы: «А может твой?»

Мысли терялись и обрывались...

XVIII

Капитан Батурин сидел в своем блиндаже, как назывались землянки офицеров в отличие от землянок солдат. Кроме названия, в остальном они почти ничем не отличались. Блиндаж капитана Батурина, где стоял его телефон, был лишь чуть выше и просторней.

Батурин вполголоса разговаривал с Крутицким. У обоих были серьезные лица.

Ночью из батальона передали по телефону, что по непроверенным сведениям немецкие авангарды проникли за городскую черту. Противник стремился с марша выйти к Волге и отрезать фланг. В этом случае те, кто дрались на фланге, оказались бы зажатыми на маленьком пятачке песчаной и голой волжской земли.

— И мы оказались бы на окраине этого пятачка, — сказал капитан.

Он медленно перебирал рассыпанные на столе четырехугольные яхонтовые бусы, прикасаясь к ним бережно и осторожно, точно лаская. Никто не знал его личной истории, и многим казалась странной эта привычка капитана. Но на войне привыкают к многим странностям людей.

— Это значит?..— поднимая высокие холеные брови, спросил Крутицкий. Он хоть и занимал всего-навсего скромный пост старшины роты, но всегда был тщательно выбрит, подтянут и красив безупречной, так сказать, штабной красотой.

— Будем драться, — сказал капитан Батурин и, быстро собрав бусы на столе, сжал их в горсть. Но тотчас же он разжал ладонь, точно боясь им сделать больно, и оставил их свободно лежать в руке. — Но нам поручили уточнить, — добавил капитан.

— Что? — спросил Крутицкий, выше поднимая бровь. Она казалась нарисованной на его белом, выхоленном лице.

— Верно ли, что они проникли в слободку.

— А-а, — понимающе сказал Крутицкий.

— Да, вот за этим я и вызвал Рубцова,— сказал капитан.

— Что ж, Рубцов хороший солдат, — подумав, заметил Крутицкий, хотя он, в отличие от капитана Батурина, не знал ни одного солдата роты ни по фамилии, ни в лицо.

Рядом с сединой капитана Батурина гладко выбритое лицо Крутицкого казалось особенно молодым. Но это был тот тип лица, который остается моложавым на всю жизнь. Выдают обычно глаза, сытые и безразличные ко всему.

Капитан Батурин казался старше своих лет. Жила в его глазах глубокая, далеко спрятанная боль. Но порой в них мелькало светлое, озорное выражение, и тогда капитан Батурин казался моложе Крутицкого.

— Да, — вдруг что-то вспомнив и улыбнувшись, сказал капитан Батурин. — Я вызвал одного Рубцова, а они непременно придут вдвоем с Середой.

— Почему?

— Они не могут иначе, — уклончиво ответил капитан. — Да вот они, кажется, идут. Сейчас вы сами увидите.

У входа в блиндаж послышались шаги нескольких человек и потом кто-то непромко постучал в дверь.

— Да, да, — крикнул капитан, — войдите.

Дверь открылась, в блиндаж вошел Андрей и за ним Петр.

Капитан бросил Крутицкому мимолетный взгляд и хотел улыбнуться, но увидел серьезное, бледное лицо Петра. И, словно не заметив его присутствия в блиндаже, он обратился к Андрею:

— Вы знаете, зачем я вас вызвал?

Из слов Саши Андрей знал, что его как будто должны послать в разведку, но, подумав, он ответил:

— Нет.

— Так вот, нужно пойти в разведку, — сказал капитан. По лицу его пробежала тень, он остановился. Все знали, что капитан Батурин во время разговора мог вдруг остановиться. И тогда он начинал заикаться.

— Да, и установить связь с п-правым соседом. Ясно? — заикаясь, продолжал капитан.

— Ясно, — сказал Андрей.

— Нащупать стык.

— Нащупать стык, — не двигаясь, повторил Андрей.

— Кроме этого, — начал капитан и, на секунду заколебавшись, быстро посмотрел на Крутицкого. Но, не прочитав в его

глазах ничего, он продолжал. — Я вас должен предупредить, что немцы проникли в город, — капитан внимательно вглядывался в лицо Андрея, смутно выступавшее в тусклом свете блиндажа. Андрей ждал, как влитый, застыв посредине блиндажа. На смуглом скуластом лице Андрея капитан Батурин увидел обычное сосредоточенное выражение.

— Да, и быть может уже находятся в слободке. Так вот нужно посмотреть, что там есть у противника. Ясно?

— Ясно, — ответил Андрей.

— Сколько т-танков, — заикаясь, продолжал капитан и, быстро сложив на столе из бус четырехугольник, поставил сверху башню, и Андрей увидел танк.

— Пушек, — сказал капитан, сломав четырехугольник и разбросав бусы далеко друг от друга по столу. Андрей спокойно следил за его руками. — Ясно? — спросил капитан.

— Ясно, — ответил Андрей.

— Ну вот, — другим голосом и не заикаясь, сказал капитан Батурин. — Вам помощники нужны?

— Разрешите мне, — выступая из-за спины Андрея, глухо сказал Петр.

— Вы здесь? — спросил капитан с искренним удивлением, потому что он уже забыл о его присутствии в блиндаже.

— Я могу пойти, — бледнея, повторил Петр.

— Нет, вы в другой раз, — сказал капитан.

— Товарищ капитан... — волнующимся голосом сказал Петр.

— Нет, нет, — строго повторил капитан. — Я уже сказал. А теперь идите...

Он проводил глазами ссутулившуюся фигуру Петра, который направился к двери, и на миг капитану стало его жаль.

— Середа! — окликнул капитан. Петр остановился и повернулся к нему. — Да, да, вы пойдете в другой раз, — мягко сказал капитан.

Когда шаги наверху затихли, Крутицкий, повернув к капитану лицо, с удивлением спросил:

— Почему вы отказали... этому...

— Середе? — улыбнувшись, подсказал капитан.

— Да, Середе.

Капитан помедлил с ответом.

— Как вам сказать... Здесь нужно осторожно посмотреть, сосчитать, ничего не пропустить. Вот когда нужно будет что-нибудь взорвать или сделать налет, то тогда можно, пожалуй, послать и Середу...

И собрав со стола бусы, он бережно стал ссыпать их в левый карман на груди.

XIX

По многим признакам капитан Батурин не сомневался в том, что немцы проникли в город, и его улицы вместе с площадями, парками, жилыми домами, вокзалами, цехами заводов и мастерских отныне становились фронтом. Этими признаками были не только усиление артиллерийской стрельбы (снаряды теперь уже разрывались в черте города), но и оживление на волжских переправах и особое движение на улицах, понятное для всякого, кто не новичок на войне. А капитан Батурин не был новичком. Он хорошо видел, как связисты тянули вдоль улицы черный увесистый кабель и, взгромоздившись на телеграфные столбы, пересвистывались друг с другом, точно птицы. Как шныряли из двора в двор переборчивые, штабные квартирьеры, облюбовывая лучшие дома для начальства, и располагались в узких простенках между домами щеголеватые машины, сияющие никелем фар.

Разведка могла лишь подтвердить то, что капитан видел своим чутьем. С проникновением германских авангардов на окраины город и войска, которые сходились к нему, как к магниту, со всего юга, оказывались в черте смертельной угрозы. Капитан понимал, что остатки отступивших частей, уже отравленные ядом поражения, став на оборону города, нуждались в каком-то внутреннем обновлении. Разумеется, было бы проще заменить их новыми. Но для этого нужно иметь под рукой резервы, а волжские переправы были закупорены встречными потоками и разбиты авиацией. Размышляя об этом, капитан разложил на столе части нагана, вытирая их тряпочкой, смазывал и опять пригонял на место. И еще раз, вздохнув, он вспомнил Тиунова, с которым он привык за этот год делить все свои мысли и недоумения. Но Тиунов был далеко, в госпитале, где-то во втором эшелоне.

Батурин вложил в рамку барабан с гладкими, вороненными пазами, прокрутил его пальцем и прислушался к шуму, доносившемуся из-за двери. За дверью оживленно и громко разговаривали два голоса — мужской и женский. Нахмурившись, капитан подумал, что это должно быть ординарец Василий опять затеял шашни с кем-нибудь из девушек роты. Он хотел встать и пойти к двери, чтобы пристыдить своего неисправимого ординарца. Но, прислушиваясь, он решил, что мужской голос принадлежал не Василию. Этот голос за дверью настойчиво спрашивал:

— Нет, ты мне должна говорить всю правду, Ляля. Почему ты не можешь?

— Не могу я с ними жить, — возражал ему девичий голос. Капитану Батурину почудились в нем слезы.

— Ляля, Ляля, какой у тебя, как это говорят... неуживчивый характер.

— Ну, если вы так говорите, товарищ политрук, то я останусь с ними жить, — девичий голос задрожал, и легкие шаги стали быстро удаляться от блиндажа.

– Ляля! – крикнул вдогонку мужчина.

На лице капитана промелькнула радость. Он уже не сомневался теперь, кому принадлежал этот голос. Но, идя к двери, он постарался придать выражение сурового неодобрения своему лицу.

Однако дверь уже открылась, и Тиунов, входя в блиндаж с рукой на белой перевязи, остановился, полуобернулся к порогу и покачал головой в мерлушковой шапке.

– Какая маленькая девочка – и какое большое упрямство.

– Хачим, – глядя на его перебинтованную руку, с укоризной сказал капитан.

– Подожди, капитан, не стреляй, – заметив в его руке наган, с притворным испугом замахал здоровой рукой Тиунов. Сняв шапку, он бросил ее на стол и тяжело опустился на табурет. – Жарко, капитан. А у вас тут прохладно, хорошо, – он с одобрением оглядел блиндаж.

– Хачим, – улыбаясь, повторил капитан.

– Эва, капитан, – поморщившись, быстро и сердито заговорил Тиунов, – ты что же хотел, чтобы я в этом втором эшелоне пропадал. Кормят там, как маленьких детей: манную кашку дают, чай. Нет, ты меня больше не посылай во второй эшелон. И моя рука уже скоро будет совсем здорова, – он осторожно пошевелил перевязанной рукой.

Улыбаясь, капитан смотрел на его доброе широкое лицо, с крупными блестящими глазами.

– А ведь мы с тобой еще и не поздоровались, капитан, – укоризненно сказал Тиунов и протянул ему через стол здоровую руку. – Ну, здравствуй. – Он снова с одобрением осмотрел блиндаж: – Нет, вы очень хорошо устроились. Летом прохладно, а зимой будет тепло. Но в первом взводе еще глубже вырывали землянки.

– Так ты где же был, Хачим, во втором эшелоне или на передовой? – улыбаясь, спросил капитан.

– Гм, – Тиунов запнулся, смутившись. Но тут же заговорил с жаром. – А ты как думал, капитан, разве мог я с пустыми руками к тебе приходить? Какой я политрук, если все буду от тебя узнавать. Из второго эшелона я сначала в окопы пошел, а оттуда – к тебе. Ты знаешь, что в первом взводе Сердюков запил? И ты знаешь, капитан, кто виноват? Семенова. Старший писарь.

– Клава?

– Она.

Капитан сделал движение к двери, намереваясь позвать ординарца, но Тиунов предупредил его жест.

– Не спеши, капитан. Если надо будет, мы ее потом позовем. Она, конечно, виновата, но какой это мужчина, если от одной пустой женщины голову потерял. Эта Клава сначала Сердюкову голову кружила, а теперь старшине.

– Старшине?

–Ну да. Крутицкому. Сердюков с горя запил.

Он помолчал и, взяв со стола шапку, смахнул мерлушкой со лба капельки пота.

– А во втором взводе я обещал повара за макароны трибуналу предать.

– За макароны?

– Да. Он соображение имел каждый день бойцов одними макаронами кормить. Утром – макаронная каша. Днем – суп из макарон. И вечером опять макаронная бабка. А я, когда на переправу ходил...

– Ты и на переправе был?

– Надо же было посмотреть, как паромы через Волгу туда-сюда ходят. Сколько я там видел баранков, капитан. Тучи. Все равно их всех не успеют переправить, а без корма они скоро будут погибать. Я и говорил повару – ты не пугайся самолетов, иди на переправу и проси у любого чабана два-три барана. Он ведь тоже советский человек и никогда тебе не откажет для бойцов. Конечно, ты ему расписку должен выдавать.

Умолкнув, он снова обежал глазами блиндаж, заметил топчан, покрытый серым одеялом капитана, и в противоположном углу другой топчан, ничем не прикрытый, и сказал:

– А наверху – уф, как жарко. Для меня тут найдется местечко, капитан? – Он улыбнулся виноватой, ребяческой улыбкой.

– А как по-твоему, Хачим? – сурово спросил капитан.

– Ты не обижайся, капитан, я ведь долго тут не был, может в чем-нибудь могу тебе помешать. Ну, тогда я сейчас...

Он вышел и скоро вернулся с маленьким чемоданчиком и привязанной к нему ремнями черной лохматой буркой. Он всегда возил ее с собой вместо одеяла. Развязав ремни, он застлал буркой голые доски свободного топчана, а чемоданчик положил в изголовье.

– Ты мне позволишь, капитан? – он повесил оружие на деревянный колышек, вбитый в стену, снял сапоги с мягкими подошвами, без каблуков, и лег на бурку, подложив здоровую руку под голову, а больную осторожно положив на грудь.– Устал, – признался он, потягиваясь и шевеля белыми и маленькими, как у женщины, ступнями.

Капитан подсел к нему на край топчана.

– Что ты думаешь о нашем положении, Хачим? – негромко спросил он.

– А ты что думаешь, капитан? – в тон ему спросил Тиунов.

– Я вот жду, должна вернуться разведка... – помолчав, уклончиво сказал капитан.

...Вечером Андрей вернулся из развед-

ки, доложил капитану Батурину все, что было нужно, и прошел к себе в землянку. Петр лежал на наре. Он, придя днем от капитана, лег вниз лицом и так лежал, не вставая. На звук шагов Андрея он повернул голову.

— Ну что? — спросил он голосом, в котором были и нетерпение и обида.

Андрей вернулся в мрачном расположении духа и совсем не склонен был разговаривать. Но ему стало жаль Петра, пролежавшего в ожидании его прихода весь день. И он, бросив на стол белую, запыленную пилотку, угрюмо сказал.

— Немцы в городе.

— Да ну-у, — протянул Петр, садясь и свешивая ноги с нары.

Словно в ответ на его слова рядом с их жилищем громыхнул артиллерийский разрыв, сверху из щелей досок струйками зашуршала сыпь, и по бревенчатой, затрещавшей кровле вразброд застучали комья земли, осколки металла и камня.

Утром отец Андрея, Тимофей Рубцов, выйдя во двор, поднял на огороде афишку, как называли повсюду листовки, которые с воздуха сбрасывали немцы. В афишке, написанной жирными печатными буквами по-русски, говорилось:

«Доблестные гренадеры 6-й германской армии под командованием генерал-полковника Паулюса переправились через Дон и повсеместно достигли Сталинграда. Отныне судьба этой большевистской твердыни на Волге предрешена».

Сидя на ступеньке крыльца, Тимофей Тимофеевич прочитал афишку и, разгладив ее на колене, долго сидел, задумчиво глядя прямо перед собой. Потом он аккуратно оторвал четвертушку и стал сворачивать цыгарку, спрятав оставшуюся бумагу в карман. Он решил при этом строго наказать Прасковье, чтобы она собирала на огороде все афишки и приносила ему. У Тимофея Тимофеевича только что вышла вся курительная бумага, а на немецких афишках бумага была тонкая и мягкая — для курения в самый раз...

XX

Лето было на исходе. К грохоту канонады, смраду горящего металла и пеклу негасимых пожаров прибавился резкий, сухой ветер, швыряющий в лицо горячий песок и зной, исходивший от нагретых солнцем каменных стен. Даже вечером палящий жар струился от мостовых. И только в желтом, мглистом сумраке землянок солдаты находили желанную прохладу.

А на левом берегу Волги, за спиной дравшихся в городе солдат, в иссиня-темном лесу с утра до вечера, не расступаясь, лежала густая, лиловая тень. Верхушки кленов уже золотила первая, легкая ржавчина увядания. Но ниже кроны деревьев были подбиты темной, зеленой листвой. И в лесу, среди густо столпившихся стволов, царствовал зеленоватый, призрачный полумрак. Лишь кое-где ненадолго пробьется луч солнца и вырежет на земле, в корнях деревьев, четкий рисунок разлапистого кленового листа.

Изредка ветер принесет в город волнующие ароматы леса. И острой грустью охватит сердца живущих в огне и в дыму солдат. Вспомнят они, что кроме войны, обступившей их со всех сторон, есть еще и другая жизнь на земле.

После того, как Андрей ходил в разведку и, вернувшись, подтвердил капитану Батурину, что немцы проникли в город, в жизни роты произошли большие перемены. С упорными сдерживающими боями и с контратаками части медленно отступали к Волге и все более оказывались прижатыми к ее крутому суглинисто-песчаному правобережью...

«... Препровождаю вам, генерал-полковник, новый приказ Верховного командования, — писал главнокомандующий армейской группой немецких войск фельдмаршал Вейхс генералу Паулюсу, командующему 6-ой армией, осадившей Сталинград. — От себя, неофициально, могу добавить, что ваши действия в главной квартире расцениваются весьма высоко, и укреплению этого мнения особенно способствовал выход ваших гренадеров к Волге. Войска нашей армии показывают в битве за Сталинград готовность к действиям, далеко превышающим обыкновенную меру, и выдающийся наступательный дух при тягчайших условиях ведения боев. Выражаю свою признательность и благодарность за эти чрезвычайные достижения.

Я полагаю, что после рассечения сталинградской группировки, столь успешно проведенной вами, вся ваша личная проницательность, генерал-полковник, как и действия ваших офицеров и солдат, будут направлены на дальнейшую изоляцию и уничтожение окруженных групп по частям. Заверение фюрера, что Сталинград так или иначе будет взят, не может не оказать благотворного влияния на ваших солдат. Теперь дело идет о том, чтобы продержаться до окончательного овладения городом и этим завершить поражение врага.

Рекомендовал бы вам вновь донести до сведения войск все более выясняющееся из новых сообщений экономическое значение Сталинграда, чтобы каждому солдату на фронте стало ясно, какое большое значение имеет для русских потеря этого пункта. Такое указание окажет подбадривающее действие на войска и разъяснит им значение того успеха, которого мы добиваемся и который нас вскоре ожидает».

... Рота находилась на окраине клочка

приволжской песчаной земли. В своих разговорах солдаты называли его пятачком. И с каждым днем этот пятачок уменьшался.

— Теперь это уже не пятак, а двугривенный, — перешучивались солдаты.

Та невидимая, но вполне реальная линия, куда может достигать прицельный огонь противника, давно уже проходила позади землянки Андрея и Петра. С течением времени они попривыкли к ударам мин, рвавшихся с пустым, лопающимся звуком через правильные промежутки времени позади них, и к шарахающим шрапнельным налетам, осыпающим кровлю землянки, точно крупный июльский град.

Для того, чтобы сходить за обедом с бачком на кухню и вернуться обратно в землянку, им нужно было дважды, согнувшись, пробежать или переползти через зону огня на виду у сидевших в ста метрах немецких солдат. Кухня стояла в котловане у самого берега Волги, за земляным гребешком. Капитан Батурин приказал, чтобы за пищей ходили в предрассветные сумерки и с наступлением темноты. На остальное время довольствие выдавалось сухим пайком. Но находилось немало охотников, которые научились угадывать промежутки между разрывами немецких мин. Наловчившись, они в такой промежуток во весь рост переходили через гребешок. И среди этих охотников первым был Петр.

— Жируешь, — каждый раз неодобрительно ворчал Андрей.

Вначале эта опасная игра забавляла Петра и вносила некоторое разнообразие в их жизнь. Но потом и она надоела ему. И в те часы, когда не нужно было итти в окопы, он больше лежал на наре вверх лицом и упорно смотрел в потолок.

Андрей в это время обычно или смазывал оружие, разобрав его по частям, или складывал из обломков кирпичей печку, которую он принялся ладить к зиме.

— Почему я не пошел во флот? — свесив ноги с нары, спрашивал Петр. — Сейчас бы ходил по морю. А тут сидишь, как в дыре...

Он спрыгивал на пол и, положив руки на плечи Андрею, глядя на него сверху вниз, почти кричал:

— Как в мышеловке! Ну, чего ты молчишь?

Андрей осторожно высвобождал свои плечи из его рук и снова принимался молча и бесшумно двигаться по землянке, заправляя на ночь бензиновую лампу, забивая молотком расшатавшийся колышек в стене, выметая сибирьковым веником сор.

Он не разделял настроения Петра. В отличие от него, Андрей будто даже повеселел за последнее время, и вся его небольшая, прочно слитая фигура выражала собранность и деловитость. По своему складу он любил во всем определенность. Пока он отступал с ротой по степи, он испытывал внутреннее томление, потому что не знал, когда прекратится отступление и что будет со всеми завтра. Теперь же он знал, и к нему опять вернулось привычное состояние равновесия. Он по крайней мере знал, что рота остановилась на маленьком пятачке. Впереди с трех сторон был противник, позади — река. Командование сказало, что отступать дальше нельзя.

И сообразно с этим он стал устраивать свою жизнь. Ночами он натаскал с берега бревен и нагреб лопатой побольше земли на кровлю землянки. Потом глубже отрыл окоп и обложил его мешками с песком. При этом он исходил из глубокого убеждения, что окоп тоже был для солдата домом. А ко всему, что касалось домовитости и оседлой жизни, Андрей был неравнодушен с детства. Исподволь отец приучал его сносить в дом каждый прутик, каждый поднятый на дороге гвоздь. С восьми лет он знал свои обязанности по хозяйству — почистить коровник, убрать двор, с вечера надергать из стога корове сена. А когда он подрос, отец определил его помощником табунщика в колхоз. «Нечего баклуши бить», — говорил Тимофей Тимофеевич сыну. И до самой осенней поры, когда нужно было итти в школу, Андрей исполнял свои обязанности по уходу за лошадьми. «Весь в меня, по хозяйственной стрункe пошел», — хвалился Тимофей Тимофеевич сыном.

Эту свою струнку Андрей проводил и на фронте. Знал он, что жизнь себе нужно устраивать устойчиво и прочно. Как могучее обдонское дерево дуб, должна устоять она на любом ветру. Укрепляя землянку и наблюдая, как не поддается она опустошительным артиллерийским налетам, Андрей, радуясь, думал, что бы сказал, посмотрев на его солдатское жилище, отец.

Петр тоже помогал ему носить бревна, насыпал песком мешки, забивал что-то молотком. Но делал он это лишь потому, что не мог сидеть на месте, когда работал Андрей. И преображался Петр только тогда, когда к ним приходила Саша.

Она посещала их жилище все чаще и просиживала все дольше. Придет, сядет посреди землянки на свой ящик из-под гранат, снимет пилотку, уронив на плечи волну мягких, вьющихся на концах волос, и сидит, покойно положив на колени узкие белые руки.

— Как у вас хорошо, люблю я у вас бывать.

От звука ее голоса, от ее особого поворота головы, когда она отбрасывала волосы назад, от всей ее тонкой, перехваченной желтым ремнем фигуры на них веяло росной свежестью летнего утра. Как будто кто-то вносил в землянку влажный

букет смоченных дождем полевых цветов. Андрей явственно видел, что их жилище вдруг приобретало новый, другой вид.

— Петя, почитайте стихи. Вы так читаете... — говорила Саша.

Петр вставал с места и начинал расхаживать по землянке, размахивая руками, с выступившими красными пятнами на лице.

Такая в мире тишь,
Ночь обложила небо звездной данью,
В такие вот часы
Встаешь и говоришь
Векам,
Истории
И мирозданью...

Из открытой двери в землянку врывались голоса боя: трескотня автоматов, короткий вскрик раненого, вздохи мортир. Казалось, звуки всего охваченного сражением города сразу вмещались в стены их маленького жилища.

Смеркалось. По стенам землянки, покрытым зыбкой сеткой голубоватых сумерек, пробегали красные, синие и желтые отсветы орудийных залпов. Иногда вдруг вспыхивало так ярко, что вся землянка сразу заполнялась трепетным, красноватым пламенем зарева. Становилось совсем светло.

Андрей смотрел на Петра, и он точно вырастал в его глазах, становился выше и шире в плечах. Почему-то Андрей вспоминал, как в дни отступления они не раз лежали рядом в степи, в траве, под ночным звездным небом и слушали пение неугомонных кузнечиков. В полумраке землянки загадочным блеском блестели глаза Саши, устремленные на Петра. Что мог означать их блеск? Внимание? Восхищение? Любовь?

Наверху на мгновенье замолкали звуки боя. В дверях землянки стояли негустые городские сумерки, расшитые многоцветными нитками пулеметных трасс. И потом вдруг город вновь оглашался гулким треском, скрежетом и торжествующим завыванием злобствующего огня и металла.

— Чайку бы попить, — жалобно, совсем по-семейному говорила Саша.

— Вот скоро совсем стемнеет, и можно сходить, — пошевелившись, отвечал Андрей.

— Я сейчас принесу, — схватив котелок, срывался с места Петр.

— Куда вы, вернитесь! — кричала ему вдогонку Саша.

Но он уже не слышал, исчезнув за дверью с котелком. Саша и Андрей смотрели из двери землянки, как он медленным, спокойным шагом проходил через зону огня.

— Сейчас стрелять начнут, — схватившись за рукав Андрея, говорила Саша.

Чувствуя на своей спине их взгляды, Петр еще более спокойным шагом приближался к гребешку. Вот он, балансируя, начинал переходить через гребешок, держа в руке на отлете котелок. Издалека слышался нарастающий вой мины.

— Ой! — вплотную прильнув к Андрею, вскрикивала Саша. Но в эту секунду голова Петра скрывалась за гребешком. В том месте, где он только что стоял, вздымался черно-белый куст земли. Веером брызгали осколки. Но они уже не могли поразить Петра.

— Какой он... — задумчиво говорила Саша.

Андрей в душе не мог одобрить поступка Петра. Чаю ведь можно было напиться и после наступления темноты.

— Хороший, — вслух говорил Андрей.

Она уходила опять, в сущности ничего такого не сделав и не сказав. Но после ее ухода в землянке оставался все тот же неясный след радости.

— Скука, Андрей, — бесцельно походив по землянке и снова впадая в свое прежнее настроение, говорил Петр.

Не отвечая, Андрей смутно улыбался в темноте. Он вдруг мыслями уносился очень далеко и в туманной дымке видел Сашу в летнем платьице и в фартуке на крыльце своего дома в станице. Что-то шаря руками на столе, он продолжал улыбаться невидимо для Петра. Но потом рядом с сашиным лицом из темноты выплывало колючее лицо отца. Андрей видел его проницательные глаза и слышал его осуждающий голос.

И Андрей неприметно вздыхал.

XXI

Какая-то тонкая нить должно быть незримо протягивается между близкими и родными людьми. В тот день, когда Андрей думал об отце, Тимофей Тимофеевич у себя дома, в станице, тоже думал о сыне.

В эту ночь Тимофею Тимофеевичу приснилось, будто он с маленьким кудрявым Андрюшкой плывет на лодке по Дону. Встав в лодке во весь рост, Тимофей Тимофеевич стреляет из ружья в пролетающую над их головами утку. Птица тяжело шлепается в воду, и Андрюшка, перегнувшись через борт, сильными загорелыми ручонками втаскивает ее в лодку...

Проснувшись, Тимофей Тимофеевич долго лежал, продолжая в мыслях видеть Андрея и представляя его то совсем маленьким, когда он на толстых, кривых ножках хворостинкой гонял по двору гусят, то подростком в коротких штанишках с помочами, то почти совсем уже взрослым, с темным пушком на верхней губе.

И так живо проходили перед его глазами эти картины из жизни Андрея, что Ти-

мофей Тимофеевич, носивший глухую тоску по сыну со дня их нелепой размолвки (в которой он, никому в том не признаваясь, винил себя), в это утро встал в особенно хорошем расположении духа, чего с ним давно уже не бывало, и, одевшись, подошел к окну.

Но, глянув в окно, он увидел через улицу на площади солдата в серой куртке, мерно ходившего взад и вперед возле станичного клуба с примкнутым к винтовке плоским штыком, и сразу все вспомнил. И то приподнятое настроение, с которым он проснулся в это утро, сразу исчезло.

Станица лежала за окном, родная, знакомая каждым переулочком, каждым листочком на ветках росших вдоль улицы тополей, и все же была она теперь какая-то чужая, пугающая, непохожая на себя. Что-то новое, страшное видел Тимофей Тимофеевич в полуденной пустынности добела выжженной солнцем площади и в стае ворон, черными хлопьями круживших над выцветшим куполом старой церквушки.

Так же стояли тополя, окруженные матовым сиянием серебристой листвы. Так же, медленно и тяжело плескаясь, протекал внизу, под обрывом, Дон. Так же резко, сладко и одуряюще пахнул вечерами под окнами дурнопьян. Но жизнь будто остановилась под крышами куреней, скорее она была похожа на страшный и неправдоподобный сон. Души людей словно окутала тонкая, крепкая и густая сетка. Бились они в этой сетке, умирая, как рыба, выброшенная из воды на песок.

Все сразу так перевернулось, что Тимофею Тимофеевичу временами казалось, что и Дон в один день вдруг взбунтуется и погонит мутную волну от низовьев вверх. Он, пожалуй, и не удивился бы этому, потому что с недавних пор уже ничему удивляться не стал.

В большом кирпичном здании станичного клуба, где раньше комсомольцы по воскресеньям ставили спектакли, теперь вделаны в окна решетки, и за этими решетками сидят учитель, который выучил грамоте Андрея, доктор, лечивший всех ребят в станице, и престарелый агроном. А караулят их вместе с солдатом в серой куртке тот самый Фрол Ступаков, что в тридцатом году зарезал кассира почты, Степан Арьков, бежавший с соловецких островов, и его брат. И верховодит ими Григорий Суслов, по-уличному Гришка, а теперь господин атаман, поставленный немцами над людьми.

Гришка ходит в фуражке с околышем и в шароварах с лампасами, хотя никакой он не казак, носит на ремешке, на кисти руки, плетку с проволокой на конце, сбивает ею листья с лопухов и порет людей. Но к Тимофею Тимофеевичу он пока подходит не с плеткой, а с лаской, хочет его улестить и зовет его старостой в общину.

Тимофей Тимофеевич знает, что на деле хозяин в станице не пьяница Гришка, который велит называть себя господином атаманом, а старый, жестокий и развратный комендант Зельц. Он поселился в большом каменном доме, где раньше жили сиротские дети. Детей немцы выбросили на улицу, и сердобольные люди разобрали их по домам. Около квартиры коменданта тоже день и ночь ходят солдаты с плоским штыком. А в подъезде сидит такая же, как хозяин, старая и злая, волчьей окраски, собака.

Когда Зельц едет на тачанке по станице, рядом с ним на мягких подушках сидит, подняв уши, собака, на облучке сидит солдат с автоматом, а за тачанкой в опор скачут на лошадях Степан Арьков и его брат. Люди, завидев комендантскую тачанку, опрометью бегут в калитки, наглухо закрываются ставнями, лезут на чердаки и забиваются в погреба. Горе тому, кто зазевался, не снял шапки перед немцем, не понравился ему или его собаке лицом. Среди дня человека схватят под локти, поволокут в дом на площади, где был станичный клуб, и человек сгинул там, пропал, как в огне.

Людей, как скот, каждый день гуртами отгоняют на станцию и в товарных вагонах с пломбами отправляют невесть куда. Красивых девчат и замужних женщин хватают и волокут в белый каменный дом на утеху Зельцу. Солдаты шныряют по дворам, стреляют кур, режут свиней и моют руки в молоке. А сказать ничего нельзя, потому что у них для русских приготовлены всего три слова: «шайзе», «вег» и «капут». Прасковья, которая хотела заступиться за последнюю курицу, получила от солдата сапогом в живот и вот уже месяц лежит на кровати пластом.

Вздохнув, Тимофей Тимофеевич отошел от окна и вышел на крыльцо. Сквозь туман, застилавший глаза, окинул взглядом поросший ржавой, вянущей лебедой двор. Когда-то на нем пестрой россыпью кишели утки и куры, резвились в траве поросята. А теперь двор был запущен и пуст. В саду, под вишнями, стояли поломанные ульи без пчел. Как мертвая, облизанная ветрами кость, белели издали голые, объеденные лошадьми вишневые стволы. Стоявшие в саду солдаты привязывали своих лошадей прямо к молодым деревцам.

Хозяйство было заброшено и оставлено без присмотра. Плетень упал, ветер разметал по двору стог сена, валялась на земле сорванная с петель половинка ворот. И не было у Тимофея Тимофеевича сил за все это взяться, исправить и починить.

Вдруг Тимофей Тимофеевич Рубцов почувствовал себя стариком. Странная слабость объяла руки, дряхлая дрожь появилась в коленях. А ведь всего пол-

года назад он, приезжая на мельницу, без чужой помощи подхватывал с земли и легко нес шестипудовый куго набитый зерном мешок. Как-то проходя мимо зеркала, Тимофей Тимофеевич мельком глянул на свое отражение и сам испугался, увидев незнакомого, сгорбившегося человека с тусклым взором, с поседевшей бородой.

С равнодушием взор его скользил по двору Так ли он лелеял и укреплял свое хозяйство, так ли учил сына Андрея?! Теперь же у Тимофея Тимофеевича не было желания ни к чему приложить свои руки. Знал он, что опять придут солдаты и все затопчут, разломают и разобьют.

Постояв, он вышел за ворота и увидел шедшего по улице атамана Гришку с плеткой на руке. Гришка шел зигзагами, навеселе, раскачиваясь на тонких ногах, обутых в сияющие на солнце хромовые сапоги, и, как всегда, сбивая концом своей плетки листья с придорожных лопухов.

Увидев его, Тимофей Тимофеевич круто повернулся к калитке и хотел уйти во двор, но тот уже заметил его и закричал:

— Что, Тимофей Тимофеевич, уже не здоровкаешься с знакомыми людьми?

Тимофей Тимофеевич остановился в калитке, вполоборота к Гришке, и не ответил.

— Ну как, надумал в старости итти? — остановившись перед ним и заложив руки в карманы казачьих, с лампасами шаровар, спросил Гришка, покачиваясь на нетрезвых ногах.

Тимофей Тимофеевич опять промолчал, боясь поднять от земли глаза.

—Гляди, даю тебе до воскресенья последний срок, — помахал плеткой Гришка.

Тимофей Тимофеевич вернулся в дом и лег на лежанку вверх лицом. Прасковья слышала, как он долго и трудно переворачивался и приглушенно бормотал: «Андрюшка, Андрюшка», должно быть во сне. Но он не спал. Дорого бы отдал Тимофей Тимофеевич, чтобы узнать, жив ли его сын Андрей и где он теперь.

XXII

А сын его Андрей в это время по-пластунски полз, прижимаясь к земле, извиваясь всем телом, стараясь не звякнуть оружием, не хрустнуть веткой, не уронить нечаянного звука.

Ночью капитану Батурину позвонили из батальона и посоветовали внимательно присмотреться к тому, что происходит у противника. Капитан был рад полученному предупреждению не только потому, что оно позволяло его роте не быть застигнутой врасплох, а и потому, что оно подтверждало его собственные неясные предположения о намерениях немцев. Каждый офицер настойчиво ищет в себе полководческий дар и желает найти доказательства своей проницательности. Капитану Батурину не было чуждо это чувство. И теперь ему было приятно сознавать, что его собственные догадки совпадали с предположениями начальства.

Всю ночь вокруг большого, многоэтажного здания, стоявшего в ста метрах от роты, происходило сдержанное, упорное, незатихающее движение. Временами оттуда доносились слабые звуки, слышались тупой лязг, шелестящие шорохи, громыханье. Шурша сапогами в песке и осторожно позвякивая оружием, подтягивалась пехота, приходили и уходили машины с приглушенными моторами, с потушенным светом, подкатывались пушки на тугих, резиновых скатах, скрадывающих тяжесть предмета. Земля мелко трепетала, и эта дрожь отзывалась в окопах и землянках роты.

Ночь была темная, густая. Развалины разбитых снарядами и фугасками строений, грудившихся по берегу Волги вокруг пятачка, смутно выступали из темноты, расплываясь и меняя очертания, как руины какого-то очень древнего города, давно покинутого и забытого людьми. В проломах стен, между черными силуэтами выгоревших внутри зданий четкими квадратами рисовалось вверху темнобархатное мягкое небо. На темном небе особенно ярко выделялись крупные, полнозрелые звезды. Они неподвижно стояли в просветах зданий. Внизу, под берегом, мелко искрилась река.

Вокруг здания все время зыбко колебались лохматые, удлиненные тени, вдруг резким голубоватым блеском вспыхивала полированная сталь зигзагом чертил темноту уголек папиросы.

По своему опыту капитан Батурин знал, что немецкие офицеры, тайно готовясь к атаке, должно быть строго приказали солдатам не курить. Но солдат спрячет папиросу в шапку, в карман, в рукав и все равно ведь будет курить перед боем.

Но в полночь, когда над черным массивом леса за Волгой вырезался тонкий и хрупкий, как льдинка, месяц, на немецкой стороне сразу прекратилось движение, заглохли звуки, погасли огоньки папирос и наступила тишина. И она была то главное, что окончательно укрепило капитана Батурина в его подозрениях. Если в мирной жизни тишина обещает человеку покой, то на войне с течением времени он научился придавать совсем другое значение тишине.

Батурин стоял на кровле своего блиндажа рядом с Крутицким. После минувших знойных дней и ночей выдалась чистая и прохладная ночь. Она была безветренной, но по воздуху почти неощутимо передавалось дыхание реки, смягчая жар, исходивший от стен зданий и каменных мостовых. Радуясь прохладе, капитан снял

фуражку. В неярком свете молодого месяца его обнаженная седая голова была точно слитой из белого чугуна. А лицо стоявшего рядом с ним Крутицкого в кисейной сетке лунного света было красиво какой-то женственной, почти неправдоподобной красотой.

Взглянув на него, капитан подумал, что вот таких мужчин, как Крутицкий, непременно должны любить самые молодые и красивые женщины. «А вот я, с моими седыми волосами, — подумал капитан, — теперь, пожалуй, никому не нужен».

Но тут же он нахмурился, поймав себя на мысли, оскорбительной для памяти его покойной жены. И удивляя Крутицкого, он сухим, сердитым голосом сказал:

— П-проверьте, как с подвозкой патронов.

— Я уже проверил, — легко попадая в служебный тон, ответил Крутицкий.

— Н-никогда н-не лишне п-повторить, — сказал капитан.

— Есть проверить, как с подвозкой патронов, — опуская руки вниз, вдоль туловища и все больше удивляясь, повторил Крутицкий.

Но в глубине души он был рад твердым ноткам, зазвучавшим в голосе капитана. Крутицкий принадлежал к числу тех военных людей, которым служебный язык ближе, понятнее и привычнее всякого другого. Он хуже чувствовал себя тогда, когда капитан Батурин в обращении с ним вдруг переходил с уставного языка на неофициальный.

Он спустился вниз, в соседний блиндаж, потом до капитана донесся мелодичный голос Саши, вызывавшей «ромашку», и вскоре Крутицкий вернулся и доложил, что приказание исполнено.

— Хорошо, — рассеянно кивнул головой капитан.

И, снова удивляя Крутицкого, он совсем другим, размягченным голосом сказал:

— Пахнет-то как, Иван Семенович, пахнет как!

Горячие камни мостовой, ракушечный берег реки, левобережный лес, выступавший из темноты, источались разнородными запахами, заполнявшими ночь. У капитана Батурина с новой силой заныло сердце. Как всегда в последнее время, в минуты наиболее полного ощущения жизни, он подумал, что они (так он в своих мыслях называл жену и дочь) уже навсегда лишены возможности порадоваться тому, как хороша вот такая ночь, как и всему тому, что делает счастливым человека на земле.

И тотчас же он вспомнил о тех, кто лишил их этих радостей жизни. Ароматы леса и реки сразу отступили от него, куда-то ушли. И он остался наедине со своей неутолимой ненавистью. И уже никакие другие желания не существовали для него в этом мире.

Тишина нарушалась мягким шорохом речных волн, набегавших на берег и шевеливших гальку. Вокруг здания уже не колебались тени, и оттуда больше не доносились никакие звуки. Капитан подумал, что там у них наверное уже все изготовлено, каждый занял свое место и впился всем своим существом в оружие в ожидании назначенного часа.

И у него внезапно созрело решение. Как это часто бывает у людей, оно возникло из неуловимого сплетения разрозненных и случайных мыслей. Он смотрел на лицо Крутицкого, разговаривал с ним и вбирал в себя все то, чем полна была волжская ночь. Думал о дочери и о жене и прислушивался к подозрительной суетне немцев. В этом огромном мире он остался почти совсем одинок. Где-то рядом был на фронте младший брат, но прошло больше года, как они потеряли друг друга. Может его тоже уже не было в живых... И еще оставалась в далекой деревушке за Волгой старушка-мать.

Мысли перенеслись к бездумной поре мальчишества. Оно всегда оставалось в его воспоминаниях самым светлым пятном. Он перебирал своих сверстников, ранние забавы, первые уколы судьбы. Как это все далеко и недосягаемо теперь. Каким все это прекрасным кажется отсюда, с берега Волги, через двадцать с лишним лет. Может быть, это не он, а кто-нибудь другой стоит сейчас на волжском берегу с седой головой, в окружении бушующей стихии войны.

Капитан все больше отдавался своему чувству сладкой грусти. Взгляд его рассеянно скользил по изломистой кайме берега, оттененного рекой, по контурам зданий и лохматым нитям колючей проволоки, синей в сиянии высоких звезд. И вдруг решение само собой отлилось у него в голове. Он даже вздрогнул, точно его ударило током, и, обращаясь к Крутицкому, слегка охрипшим голосом сказал:

— Пожалуй, следует отменить вчерашний приказ.

— Как? — переспросил Крутицкий. Он подумал, что ослышался. Вчерашний приказ предписывал командирам взводов и отделений перейти к жесткой обороне и не отступать ни на шаг. Это было естественно, в условиях пятачка, осажденного противником почти со всех сторон. И слова капитана об отмене этого единственно правильного приказа показались Крутицкому совсем противоестественными. В первый момент он не решился поверить в то, что их услышал.

— Да, отменить. Мы первые нанесем удар, — испытывая радостное волнение, сказал капитан.

— Вот как? — с растерянностью переспросил Крутицкий.

— И не ожидая рассвета, — продолжал

капитан. — солизимся с ними вплотную и навяжем им рукопашный бой.

Крутицкий не мог скрыть следов смятения, проступившего на его лице. Но он постарался придать ему привычное выражение служебной готовности. Оно как будто говорило: «Я весь внимание. Я слушаюсь. Я жду...»

— Атаку начнем в три часа, —капитан взглянул на часы.

Крутицкий молча кивнул головой.

— Я вас попрошу передать об этом командирам взводов, — сказал капитан.

— Есть. — встрепенулся Крутицкий и стал быстро спускаться вниз по ступенькам в соседний блиндаж.

Капитан с уверенностью мог рассказать все, что происходило в душе у старшины. Всякий раз его повергало в растерянность и недоумение все то, что, по его мнению, делалось вопреки общепринятым законам службы. А капитан Батурин считал, что далеко не всегда нужно следовать этим законам. За эти полтора года он окончательно убедился в том, что каждый день вносит свои, новые изменения в старые, академические представления о войне.

Капитан снова всем своим существом ощутил свежесть ночи, прелесть запахов, источаемых лесом, землей и рекой. Чувства тоски не стало, оно точно растворилось и нашло себе выход в принятом решении. Молодой месяц уже исчез, потемнело и стало прохладней. Между черными островами зданий на землю медленно опускались клубы предрассветного тумана.

Вернулся Крутицкий и бесшумно остановился рядом.

— А что, Иван Семенович, какова Волга? — спросил капитан, глядя вниз на темную мерцающую массу воды и подставляя ее прохладе грудь и лицо.

— Хорошая река, — согласился Крутицкий.

Капитан Батурин взглянул на него и умолк. Внизу послышались шаги. Зашуршала земляная сыпь. Кто-то поднимался к ним по ступенькам из соседнего блиндажа.

— Кто бы это? — вслух подумал капитан.

Неясная фигура выступила из темноты, остановилась в трех шагах от них, и голос Саши сказал:

— Товарищ старшина, в первый взвод я не смогла приказ передать.

— Это почему же? — сухо спросил Крутицкий.

— Где-то оборвалась связь, — упавшим голосом ответила обескураженная его тоном Саша.

— Значит нужно ее восстановить, — холодно сказал Крутицкий.

Капитана Батурина удивило то, как он сухо и небрежно разговаривал с Сашей. За дни отступления капитан успел достаточно оценить ее исполнительность и аккуратность. Крутицкий же разговаривал с ней так, как обычно разговаривают с женщинами мужчины, уверенные в неотразимом влиянии своей красивой внешности.

Саша медлила уходить. Из темноты смутно выступало её лицо:

— Надо будет послать туда связного, — сказал капитан.

Крутицкий поднес ко рту руку и сдержанно сказал: «кгм». Капитан Батурин понял, что он недоволен.

— Однако пора, — взглянув на часы, забеспокоился капитан и стал торопливо спускаться в блиндаж.

Ночью Андрей вернулся из боевого охранения и, вешая на колышек автомат, сказал:

— В три часа атака.

— Немцы? — не поворачивая головы, с нары спросил Петр.

— Нет, наши, — в тон ему ответил Андрей.

— Вре-ешь!? — быстро приподнимаясь на локтях, спросил Петр.

Андрей молча пожал плечами.

— Нет, ты скажи, правда? — спрыгивая с нары, спросил Петр.

И, по лицу Андрея поняв, что правда, он преобразился. Он снял со стены автомат, разобрал его, смазал и наполнил запасной диск патронами. Потом пересчитал гранаты и запалы и стал одеваться. Кроме автомата, перекинутого через плечо, и гранат, которыми Петр был обвешан кругом, он пристегнул к поясу трофейный плоский немецкий штык в ножнах.

— А это зачем? — с удивлением спросил Андрей.

— А если?..—И Петр выразительно провел ребром ладони по горлу.

— Нет, ты эту музыку сними, — с сомнением взглянув на его снаряжение, посоветовал Андрей.

— А что? — вызывающе спросил Петр.

— А то, что когда мы поползем, оно может загреметь. А нам до самых ихних окопов придется ползком, — пояснил Андрей.

— Это ты, пожалуй, прав, — неохотно снимая с пояса штык, разочарованно сказал Петр. Но гранаты он все же взял.

— Они не будут греметь, — поглубже засовывая их в карманы, оправдывался он под укоризненным взглядом Андрея.

Они вышли из землянки, присоединились к своему взводу и, пригибаясь, двинулись по ходу сообщения, наверх. Над головами солдат распростерлось усеянное густой звездной россыпью мягкое, темное небо. Но солдаты не могли его видеть, потому что каждый, согнувшись, видел только спину своего товарища, идущего впереди. И лишь на одно мгновенье, уже наверху все увидели небо.

Но тотчас же по цепи передалась негромкая команда:

— Ложись.

Все пластунами припали к земле. По цепи передалась другая команда и, послушные ей, все поползли вперед, к груде зданий, неясно толпившихся впереди, в темноте. Земля была влажной от выпавшей за ночь росы, но камень городской мостовой так и не успел остыть и теперь хорошо согревал озябшие тела солдат.

— Я об этот булыжник все колени ободрал, — посапывая рядом с Андреем и по-лягушечьи двигая руками и ногами, сказал Петр.

— Услышат, — шопотом остановил его Андрей.

Все отчетливее выплывали впереди из темноты груды строений. В квадраты окон насквозь просвечивало звездное небо. Как будто звезды поселились где-то в глубине зданий и, дрожа в окнах, посылали на булыжную мостовую, на спины ползущих по ней скупой, зеленоватый свет.

— Нет, и правда, как лягушки. Встать бы! — сказал Петр.

— Да замолчи ты, твою душу! — свирепым шопотом прикрикнул на него Андрей.

Петр умолк. Они вплотную подползли к проволочной спирали, окружавшей окопы немцев. Их саперы уже прорезали в проволоке проходы для своей пехоты. Петр и Андрей подползли к одному такому проходу.

От фланга к флангу по цепи прошелестел сдержанный говорок.

— Пора, — шепнул Андрей.

В ту же секунду Петр сквозь отверстие в колючей проволоке по-заячьи перекатился через бруствер немецкого окопа и упал на солдата, спавшего в огневой ячейке в каске и с автоматом. Солдату так и не суждено было уже проснуться, потому что Петр стиснул его в жестком, смертельном объятье, все крепче и крепче сжимая его горло.

XXIII

Утро застало роту в стенах того самого здания, где накануне сидели немцы, накапливаясь с вечера для атаки, и откуда они теперь отступали в беспорядке, забыв и думать об атаке, а думая лишь о том, как бы выйти из рукопашного боя.

Здание было самым большим и центральным в группе новых, многоэтажных домов, террасой спускавшихся к Волге.

Повсюду вокруг здания виднелись следы рукопашного боя. На земле, на брустверах окопов и на каменных ступеньках подъездов лежали солдаты в серых куртках.

На ступеньках окопа откинулся навзничь пехотинец в каске с орлом, задушенный Петром. Рядом был пригвожден штыком к земле другой солдат. Еще дальше — немец, рыжеволосый гигант; он должно быть бежал в здание, к большому подъезду с мраморными львами, дремлющими на высоких, каменных подушках, но, не добежав до двери, рухнул вниз лицом, в лапы мраморному льву, густо замочив их своей кровью. Его длинные, неестественно яркой окраски рыжие волосы над обескровленным, желтым, как восковая маска, лицом казались откинутым назад бутафорским париком.

Но еще не все здание было очищено от немцев. В правом крыле, в самой верхней угловой комнате на пятом этаже оставалась группа отрезанных от земли и лишенных всякой связи с другим миром солдат. Оттуда из окна все время с короткими паузами протяжными очередями стрелял вниз станковый пулемет. Его огонь беспокоил роту и сковывал ее действия, мешая развернуть боевые порядки, для того чтобы перейти в новую атаку, предпринятую капитаном Батуриным с целью выбить противника из другого дома, стоявшего через улицу напротив.

Капитан Батурин послал отделение красноармейцев по лестнице наверх, но оно скоро вернулось, потеряв двух человек. На лестничной площадке пятого этажа немцы установили другой станковый пулемет.

— Они нам с тыла будут угрожать, — озабоченно сказал Тиунов, заглядывая капитану в глаза. Они стояли в окне первого этажа, куда капитан перенес для удобства свой командный пункт после того, как здание было занято ротой.

— Позвоните в первый взвод и скажите, чтобы прислали красноармейца Середу, — выглядывая из окна на верхний угол здания, сказал капитан Батурин Саше. Она сидела в углу комнаты у телефона, безучастная ко всему окружающему, кроме своего хрипевшего и трещавшего аппарата. При последних словах капитана она на мгновенье подняла голову, встретилась с ним глазами и опять отвернулась.

«Вдвоем придут или не вдвоем?» — улыбнувшись, подумал капитан. Он снова выглянул из окна и быстро спрятался за стену. Пуля, взвизгнув, щелкнулась в цементную облицовку окна и осыпала ему лицо каменной порошей. На крыше противоположного здания сидел снайпер и зорко наблюдал за улицей. Черный глазок его винтовки сторожко смотрел из-за кирпичной дымовой трубы.

— Ты не ранен, капитан? — с тревогой спросил Тиунов.

— Н-нет, — сказал капитан, проводя рукой по щеке.

Вскоре пришел Петр, один. Первое, что он увидел, переступив порог комнаты, была тонкая спина Саши, согнувшейся над телефоном. Он не сразу узнал ее всегда чистый и нежный голос в этом грубом, охрипшем, почти мужском, каким она раз-

говаривала по телефону. Она не видела его прихода и не оглянулась.

Капитан Батурин подвел Петра к отверстию окна так, что их не мог видеть снайпер, сидевший за трубой, и, указывая на верхний угол правого крыла здания, спросил:

— Вы видите этот пулемет?

— Вижу, — ответил Петр.

— На самом верху...

— Да, — сказал Петр.

— А эти костыли в стене?

— Скобы?

— Вот, вот, кажется, их так называют,— обрадовался капитан.

— Да, вижу. Это пожарная лестница,— сказал Петр.

— Вы смогли бы добраться по ней д-до п-пулемета? — начиная заикаться, спросил капитан, с волнением глядя в скуластое, мальчишеское лицо Петра.

— Смогу, — опуская руки вниз, сказал Петр, и глаза у него заблестели.

— Но это очень трудно, — поспешно сказал капитан.

Петр чуть заметно пожал плечами.

— И опасно.

С легкой улыбкой Петр движением головы откинул со лба кудрявый чуб.

— Это добровольно, вы можете и не пойти, — волнуясь, сказал капитан. У него вдруг возникло странное желание, чтобы этот молодой солдат со скуластым, чуть присыпанным золотистым песком веснушек лицом отказался.

— Разрешите мне спросить? — глухо спросил Петр.

— Спрашивайте,—капитан Батурин кивнул головой.

— Нам этот пулемет мешает?

— Да, — подтвердил капитан.

— И если мы его оттуда не снимем, то они опять у нас могут это здание отобрать? — не сводя с капитана своих светлых, жестких глаз, спрашивал Петр.

— И это может быть, — согласился капитан.

— И опять нас в землянки загнать? — Петр легким движением кивнул в сторону берега Волги.

— Возможно, — уклончиво ответил капитан.

— Товарищ капитан, я сниму этот пулемет, — бледнея, вздохнул Петр. По его лицу пошли красные пятна. Он помолчал и уже другим, изменившимся голосом спросил: — Так разрешите мне итти?

— Да, да, идите, — быстро сказал капитан. Он боялся, что сейчас вернет его.

Чувствуя на своей спине чей-то взгляд, капитан оглянулся и увидел побледневшее лицо Саши. Она подняла голову и смотрела на них из угла, страдальчески изломав тонкие брови. Их глаза встретились. Саша недовольно поморщила лоб и снова склонилась над телефонным аппаратом.

Через минуту капитан Батурин из окна увидел Петра, спускавшегося по ступенькам подъезда мимо белых мраморных львов. Он постоял на месте и двинулся по бетонной дорожке вправо, вдоль каменной стены полуподвального этажа. Из противоположного дома застучали винтовочные выстрелы. Гранитная облицовка здания за спиной Петра мгновенно покрылась красными выемками от пуль. Но они уже не могли достать Петра, потому что он повернул за крыло здания.

Ноги Петра погружались в мягкую медно-красную листву, нападавшую на землю с деревьев, росших вдоль стены. От окна угловой комнаты пятого этажа, где у немцев стоял пулемет, Петра скрывал и защищал выступ, образуемый стеной. Капитан Батурин видел, как он без помех добрался до пожарной лестницы, поставил одну ногу на нижнюю скобу и, закинув голову, посмотрел наверх. Тонкие стальные полосы, загнутые по концам и через большие промежутки вделанные в кирпичную стену, начинались от самой земли и ровной, прямой дорожкой уходили вверх по стене.

Петр снял ногу со скобы и перевесил за спину автомат, висевший до этого у него на груди, дулом вперед. Теперь он не должен был ему мешать. После этого он оглянулся, взялся обеими руками за стальные скобы, решительным, сильным движением подтянул свое тело и полез вверх. Его фигура в полинявшей зеленой гимнастерке и таких же брюках резко светлела на красной стене дома, далеко заметная всем, кто смотрел на нее снизу, с земли.

Увидел ее и Андрей. Он лежал со своим взводом неподалеку от здания, за бруствером наспех отрытого окопа в ожидании сигнала к атаке. Атака откладывалась, потому что пулемет, установленный немцами в окне угловой комнаты верхнего этажа, стрелял красноармейцам в спину и не давал им поднять головы. И когда фигура Петра распласталась на красной кирпичной стене дома, все поняли, что он послан уничтожить этот пулемет, который мешал им встать.

Андрей не сразу догадался, что это был Петр. Издали его фигура была совсем маленькой, а чем выше она забиралась, тем казалась все меньше. Но по движениям и по всей повадке человека, который лез по отвесной стене, Андрей скоро узнал в нем Петра. Прижимаясь к земле, медленно поворачивая голову, Андрей стал зорко наблюдать за каждым его движением.

Петр миновал уже третий этаж и продолжал быстро лезть по стене. Гимнастерка его от пота прилипала к лопаткам. Скобы так далеко отстояли друг от друга, что перед тем, как поставить ногу, ему приходилось подтягиваться на руках. Каждый раз после этого он испытывал дрожь в мускулах и отдыхал.

Скобы не были зашлифованы, острые

грани впивались в его ладони, и на них появились пузыри. Они лопались, тело саднило острой, неутихающей болью. Руки Петра стали красными от ржавчины, разъедавшей металл.

Скобы были коротко вделаны в кирпич и не давали ему выпрямиться, чтобы, плотнее прижавшись к стене, облегчить свой вес. Тело наливалось свинцовой тяжестью, и он пальцами судорожно цеплялся за стальные скобы, чтобы не упасть.

Закидывая голову вверх, он видел узкую металлическую лесенку. Ему казалось, что она бесконечно уходит вверх по стене. Еще дальше трепетал лоскут голубого неба. Петр посмотрел вниз, но ему вдруг показалось, что он отрывается от стены и со стремительной быстротой летит в бездонный колодец. Он на миг прикрыл глаза и потом опять полез вверх, стараясь смотреть только на кирпичную стену, которая была у него прямо перед глазами.

Когда он миновал третий этаж, откуда-то издалека, через громады домов в упор по стене здания ударил миномет. Мина разорвалась где-то внизу. Теплая волна прижала Петра к стене, грозя расплющить, и потом рванула его в сторону. Осколки с визгом пронеслись у него над головой. «Сорвется», — подумал капитан Батурин, глядя в бинокль. Он видел, как покачнулась фигура Петра и заколебалась на скобах. Но Петр удержался и, не оглядываясь, с кошачьей быстротой полез по лестнице вверх. Капитан разгадал его план. Петр спешил быть поближе к пятому этажу. В этом случае немецкий миномет не мог стрелять из опасения поразить своих, сидевших в угловом окне верхнего этажа.

Из верхних и нижних окон других зданий открыли огонь немецкие автоматчики. Но за дальностью их огонь был слепым и рассеянным. Капитан Батурин приказал завязать с автоматчиками отвлекающую перестрелку. Немедленно та и другая стороны стали осыпать друг друга звучными длинными и короткими очередями, забыв о солдате, который продолжал лезть по стене.

Перед четвертым этажом Петр вздрогнул и на миг отшатнулся назад. Маленькая, серая пташка с шорохом вылетела из-под водосточной трубы перед самым его лицом. Петр увидел за трубой крохотное ласточкино гнездо, слепленное из соломинок и глиняных крупиц.

Он проводил глазами растаявшую в небе темную точку и облегченно рассмеялся. Ему почему-то стало легче. Он посмотрел вниз, заглянул наверх и нашел, что ему не так уж много оставалось лезть до пятого этажа.

Но в это время с крыши противоположного дома его заметил снайпер. Пуля щелкнула в стенку над головой Петра и, засюрсюкав, ушла вправо. Переждав, он снова двинулся вверх по лестнице и тотчас же другая пуля по-шмелиному пропела над его ухом.

Он сообразил, что снайпер стреляет с опережением и быстро спустился на две скобы вниз. Третья пуля ударилась в стенку как раз там, где только что была его голова.

На земле прекратили перестрелку, и все, остановив дыхание, наблюдали за страшной игрой, происходившей наверху. Капитан Батурин, позабыв об осторожности, стоял во весь рост в проломе окна. Слышен был лишь ропот раненых в подвальном этаже, куда их сносили санитары. Капитан услышал возле себя шорох и, скосив глаза, увидел Сашу. Бросив в углу телефон, она приблизилась к окну и с неподвижным, побледневшим лицом, большими, похорошевшими глазами смотрели на стену, по которой лез Петр.

Стрелявший с крыши снайпер должно быть увлекся и высунулся из-за трубы. Давно подстерегавший его с земли и зорко наблюдавший за ним из своего окопа Андрей коротко приложился к винтовке. Над окопом поплыло маленькое колечко дыма, и потом сухо треснул выстрел. Снайпер сделал два шага вперед и стал задом пятиться к краю крыши. У самого карниза он остановился, заламываясь навзничь, кругообразно замахал руками и, нелепо переворачиваясь в воздухе, рухнул вниз. В том месте, где он упал, на булыжной мостовой расползлось большое темное пятно. С земли взметнулся торжествующий крик роты. Петр оглянулся и посмотрел вниз.

Утомленный своею игрой с немецким снайпером, он отдыхал, обвиснув всем телом на скобах. Глянув вниз, он увидел подернутую солнечной рябью Волгу, черную стену леса и ближе, у подножья здания, крохотные фигурки красноармейцев роты. Они лежали на земле в ожидании сигнала к атаке, ничем не защищенные сверху, и им в спины с пятого этажа настойчиво и злобно бил пулемет. Где-то среди них наверное лежал и Андрей. Ужаленный этой мыслью, Петр быстро полез по лестнице вверх, преодолевая последние метры и нащупывая рукой в кармане шершавое тело гранаты.

Капитан Батурин видел, как он поровнялся с окном угловой комнаты и, взмахнув рукой, швырнул гранату в окно. По всему зданию прошел гулкий, раскатистый взрыв, потрясший стены. Придерживаясь одной рукой за скобу, а другой скользя по стене, Петр поставил ногу на кирпичный выступ и стал медленно подвигать ее к подоконнику. Он осторожно оторвался от скобы, на секунду остался без опоры, цепляясь ногами за каменный выступ, и, балансируя в воздухе рукой, с

силой оттолкнулся от стены и впрыгнул в окно комнаты.

Испуганно протрещал и смолк автомат. В эту минуту с земли встала цепь красноармейцев и, закричав, пошла в атаку. «Жив или не жив», — подумал капитан. Другой взрыв, прозвучавший уже ближе, где-то над головой, потряс стены.

— Узнай, Хачим, — с беспокойством сказал капитан.

Тиунов быстро вышел и сейчас же вернулся.

— Жив, — сказал он, возбужденно снимая и надевая шапку и смахивая ею капельки пота со лба. — Он, капитан, и другой пулемет снимал. Теперь, ты слышишь, он спускается сюда.

В гулком здании в наступившей тишине стало слышно, как кто-то быстро, вприпрыжку спускается по лестнице сверху вниз, по-мальчишески перемахивая сразу через несколько ступеней.

Капитан Батурин видел, как Саша с бледным лицом быстро отошла от окна в свой угол и низко склонилась над телефонным аппаратом.

Очутившись на земле, Петр не сразу разыскал свой взвод и, пристроившись к нему, в цепи бегущих солдат догнал Андрея.

— Ты? — на мгновенье скосив глаза в его сторону, коротко спросил Андрей.

— Я, — так же коротко ответил Петр.

И они молча побежали рядом, в тучах летящего металла.

XXIV

Раненые прибывали. В офицерской школе капитана Батурина учили, исходя из опыта прошлого, арифметике смертей на войне. По этой арифметике пропорция раненых к убитым определялась, примерно, как три к одному. Но эта война и здесь сломала привычный ход вещей. Каждый день появлялись новые изощренные орудия истребления, еще сегодня действовали одни, а уже завтра вводились в бой другие, и соотношение раненых к убитым стало определяться разно, иначе. В роте капитана Батурина на каждого одного убитого было раненых по пять и по шесть человек.

Их сносили в подвальный этаж здания, занятого ротой. И когда на миг над городом взлетала невидимая палочка дирижера, управляющая хором гаубиц, минометов и «катюш», красноармейцы, которые сидели в верхних этажах и вели из окон перестрелку с противником, слышали сквозь толстые плиты каменного пола сдержанный ропот своих раненых товарищей, лежавших внизу. Он доносился снизу, как гневно-печальный шум морского прибоя и, сливаясь всеми голосами в один, исходил как будто из недр земли.

Раненые лежали в подвале на полу так же густо, как лежат на скошенном поле снопы хлеба. Коса войны косила всех подряд. Здесь лежал проживший полвека кряжистый мужичок и двадцатилетний юнош, годившийся ему в сыновья.

Санитары и санитарки не успевали ухаживать за ними, и капитан Батурин послал в подвал Сашу. Она ходила среди раненых, лежавших вповалку на земляном полу, и поправляла им бинты, поила из фляги спиртом.

Под низкими сводами подвала колебался сырой, пещерный полумрак. Зыбко мигал язычок коптилки, бросая на пол и на стены текучий полусвет. В желтых сумерках глаза всех солдат ярче блестели темным, горячечным блеском.

Когда в верхние этажи ударял снаряд, по всему зданию проходила мощная судорога. Дрожали железобетонные перекрытия и могучие быки, подпиравшие каменный свод. И в такие мгновения ранеными овладевал жгучий ужас перед опасностью быть заживо похороненным под обломками камня. Взрослые, суровые, бесстрашные люди начинали метаться, ползли к выходу, все сразу звали сестру.

— Сестрица, сестрица...

— На воздух!

— Вернемся, братцы, в окопы, придушит нас.

— Где командиры, забыли нас!

— Нет, не забыли, — тонкая фигура Саши заступала узкий проход, преграждая им путь. На мгновенье все замолкали. В проходе сбивалась хрипящая груда окровавленных тел. Голос Саши светлой жилкой пробивался сквозь плотный гул мужских голосов.

— Кто звал командиров? Вы слышите там бой?

Притихнув, все слушали. Тупые, осадистые удары проходили сквозь каменный потолок.

— Где же быть командирам? — спрашивала Саша. Солдаты начинали расползаться по углам. В самом деле, где быть командирам, когда идет бой? Саша медленно шла вдоль прохода, дотрагиваясь рукой до шестигранных быков, подпиравших каменный свод.

— Это железобетон, а это стальные рельсы, — уверенно говорила она. — Под таким перекрытием можно просидеть год — и не придушит.

На самом деле она совсем не верила в прочность этих рельс и быков, и при каждом новом ударе по зданию все ее тело пронизывал холод. Но она все так же медленно шла вдоль прохода. Небритые, суровые, ожесточенные войной люди смотрели на ее хрупкую девичью фигуру, проплывающую мимо них в зыбком, подвальном полумраке, и с жалостью думали о

том, как могла она оказаться вместе с ними в этом темном сыром подвале. И успокоенные именно тем, что она находилась среди них, они затихали, слушая ее и веря ей, как верят дети всему тому, что говорит им мать. Ее мягкий голос, плескаясь под сводами подвала, омывал теплом сердца этих взрослых детей.

— Ночью, — говорила Саша, — всех погрузят на паром и перевезут через Волгу на тот берег, в госпиталь. Там все будут лежать в лесу, в тишине. Можно спокойно написать письмо семье и вызвать к себе жену или мать. А потом — разрешат — и съездить домой...

Капитан Батурин, спускаясь по ступенькам в подвал, услышал голос Саши и остановился, держась рукой за холодную, скользкую стену. В желтом конусе белого света, падающего на пол от тусклой лампы, он увидел ее фигуру с тяжелой волной светлых волос и темные тела раненых, сгрудившихся на полу. Их выступающие из темноты лица были так сосредоточенно внимательны, а то, что она говорила, так просто, хорошо и, должно быть, близко сердцам этих людей, что капитан Батурин не стал спускаться дальше. Он почувствовал, как волнение спазмой пробежало по его горлу, и осторожно боясь зашуметь, стал подниматься по ступенькам наверх.

Подвал был переполнен ранеными, и санитары и санитарки носили новых и укладывали их рядом с теми, кто лежал уже давно. Скоро были забиты все проходы, и солдаты сбились на земляном полу плечом к плечу.

Это вносило опасное осложнение в жизнь всей роты. Пока в подвальном этаже дома лежали раненые, их товарищи, оставшиеся в строю, были связаны по рукам и ногам. Вокруг пятачка все уже стягивалась подкова осады. Унести раненых на руках — в случае отступления — было невозможно, так как для этого нужно было взять из строя людей, а в роте и так оставалось совсем мало стрелков. Бросить товарищей в подвале казалось столь чудовищно невероятным, что об этом никто и не подумал. Но и того, чтобы вся рота ставила себя из-за этого под угрозу полного истребления, нельзя было допускать.

Раздумывая об этом, капитан Батурин находил единственный выход — эвакуировать раненых за Волгу. Но это осложнялось тем, что на фланге дивизии противник вышел к самому берегу и поставил над рекой огневой заслон. Весь день его снаряды и мины вздымали над Волгой жемчужные гейзеры брызг, а пулеметы взбивали на берегах песчаную пыль и рушили рядами кустарник. Ночами же над темной гладью воды причудливо свивались многоцветные линии трасс и метались вверх и вниз по реке прожекторные лучи, пронзая волжские глубины сияющими потоками и освещая подводные миры серебристых рыб, перламутровых раковин и песчаных жил.

Капитан Батурин посоветовался с Тиуновым, и они решили перед рассветом, когда обычно над рекой наступало недолгое затишье, отправить на левый берег паром. Сопровождать раненых должна была Саша. Но ей одной было не управиться с переноской их на паром и с парома опять на берег, и в помощь Саше капитан Батурин отрядил двух солдат. Его выбор пал на Андрея и Петра. Все эти дни они мелькали перед его глазами, не выходя из боя и не отдыхая. Батурин по собственному опыту знал, как важно хоть на короткое время выхватить солдата из огня, чтобы не сломалось у него что-то внутри...

В наиболее глухое время ночи — перед рассветом — паром, мелодично звеня натянувшимся буксирным тросом, начал пересекать реку. Неподвижные тела раненых чернели на дощатой палубе, добела вымытой волжской водой. Андрей и Петр, как и все, легли на доски, чтобы их фигуры не выделялись издали на фоне неба.

Стрельбы не было слышно, реку окутывало туманное покрывало тишины. Зловеще красив был с палубы парома город, с тонкой пенкой вишневого зарева, с хвостами искр, машущих из черных провалов окон, с четкими зубцами развалин. С его пожарищ несло едким удушливым угаром, и он сплетался с пресной сыростью ночной реки.

Задыхаясь и всхлипывая, пыхтел мотор маленького буксирного катера. Правый берег растаял позади, а впереди начала смутно угадываться темная кромка левобережья. Громко застонал раненый.

— Сестрица, пить...

— Тише. Сейчас, — вполголоса сказала Саша.

— О чем ты думаешь? — спросил товарища Петр.

Лежавший на палубе Андрей повернул к нему тяжелую голову, медленно посмотрел на него и не ответил. Под палубой мягко плескалась волна. Андрей смотрел, как вода, искрясь, обтекает дощатые борта лодок парома и, журча, уносится вниз по течению реки, и думал о том, что вот так же она катила с верховьев гребешки своих тяжелых волн с давних времен, наверное, еще и тогда, когда водил по Волге свои быстроходные струги Степан Разин. И, заворочавшись на палубе парома, Андрей захрустел пальцами и что-то пробормотал.

— Ты что? — спросил Петр.

— Так. Ничего, — не сразу и глухо ответил Андрей.

Оставаясь незамеченным, паром пересек Волгу, и раненых снесли на берег. Тотчас же, пользуясь тем, что еще было темно, на паром стала грузиться стрелковая часть, только что прибывшая из Си-

бири. Под тяжелой пушкой провалились доски, и мокрые по пояс красноармейцы, вытаскивая из воды ее черное, полированное тело, сочно ругались, впрочем, шопотом, чтобы не нарушать тишины.

— Ну дьяволы, — покрутил головой Андрей.

Город с его пожарами, гулкими площадями и высокими стенами многоэтажных домов остался позади, и всем троим странной показалась тишина, обнявшая их на левом берегу. Казалось, она вот-вот взорвется, рассыплется на мельчайшие кусочки и завоет, закружится в огне, подхватит их с собой. Медленно рассветало, над Волгой клубился густой туман. В нем тотчас же исчезли контуры отчалившего парома.

— Успеют? — углубляясь в лес и оглядываясь на паром, с беспокойством спросил Петр.

— Успеют, — с уверенностью сказал Андрей. — Сибиряки такой народ...

Но, как бы в противовес его словам, на правом берегу сразу вспыхнуло полдюжины прожекторов, и три широких рукава света почти одновременно уперлись в утлое суденышко, которое в этот момент приближалось к средине реки.

— Ой! — вскрикнула Саша, ухватившись за руку Петра.

Было хорошо видно, как засуетились, заволновались на пароме ослепленные люди. Резко засияли полированные части оружия. И тотчас же стал слышен пронзительный, нарастающий вой летящей мины.

— Утопят, — волнуясь, сказал Петр.

— Перелет. Ложись! — успел крикнуть Андрей. Они упали, и тут же, за их спиной, в нескольких шагах что-то оглушительно лопнуло, и на них посыпалась земля.

— Смотрите! — поднимая голову, крикнула Саша.

Бившие с берега рукава света упирались в глухую, белесую стену тумана, и на этой стене, как на экране, с ослепительной быстротой разыгрались события. Паром уже нащупали минометы и пулеметы, тишину ночи потряс залповый огонь артбатарей, завязавших дуэль через Волгу, и река озарилась цветными огнями. Дощатый паром вдруг вспыхнул, точно костер, разломился надвое и стал быстро погружаться в воду. С его палубы попрыгали в реку люди. Скоро на том месте, где только что был паром, ровной, спокойной зыбью переливалась вода. Прожекторы еще раз пробежали по блестящей поверхности реки, на миг осветили плечи людей, упрямо плывших к берегу с поднятыми над головами винтовками, и погасли.

— Что же это... что же это? — жалобно всхлипнула Саша. И, прижавшись головой к плечу Андрея, она заплакала по-женски, навзрыд.

— Глупенькая вы, — с грубоватой нежностью сказал Андрей, обнимая ее за плечи. — Вы видали, они попрыгали в воду, а оружие свое не бросили. И тут нечего плакать, они доплывут.

Андрей помолчал и уверенно добавил:

— Непременно доплывут.

XXV

Они сдали раненых в госпиталь и остались на левом берегу до вечера, чтобы с наступлением темноты переправиться обратно в город. Петр предложил, не откладывая, попытаться переправиться на лодке, но Андрей решительно отрубил:

— И думать нельзя. Ты ведь сам видел... — Он намекал на недавнее происшествие с сибирячками.

— То был паром, а тут на лодке. Маленькая мишень, — уговаривал Петр.

— Все равно на рожон лезть.

— Рота ведет бой, а мы тут, как дачники.

— Роте мы не поможем, а если погибнем — вред принесем. Непременно утопят, — сказал Андрей.

— Это трусость, — резко бросил Петр.

Андрей пожал плечами.

— Давайте пойдем в лес, — примирительно сказала им Саша.

И они пошли в лес. Сразу за брезентовыми палатками госпиталя начиналась смешанная чаща разлапистых кленов, приземистых дубков, белых пирамидальных тополей и мелкого разнолесья. Деревья стояли так густо, что часто их корни свивались вместе, а ветви сплетались вверху, образуя непроницаемую лиственную крышу. И лишь тополя росли островами, отдельно от других. Они высоко возносились над массивом леса своими серебристо-матовыми стволами.

Первые, негреющие лучи восхода скользнули по лохматому гребню леса, и тотчас же над городом и над рекой громко раскололся покров тишины. Тупо грохнула артиллерия, застучали пулеметы, утробно загудели в небе и на земле моторы машин. Но в первозданную чащу трубные звуки боя с трудом пробивались сквозь глухую стену деревьев и сплетение ветвей. Они приходили сюда, как далекое, замирающее эхо. Казалось, кто-то яростно, настойчиво ломится снаружи в мир диких запахов, птичьих голосов и звериных троп. И если вершины деревьев временами еще колебали волны разрывов, то могучие стволы стояли внизу недвижимо, вцепившись корнями в землю. Лишь порой пробегала по ним от подножья до вершины густая, судорожная дрожь. С ветвей падали листья, и, медленно кружась в воздухе, как желтые огоньки, опускались на землю.

— Неправ-да, неправ-да-а, — громко и протяжно сказала Саша, и звук ее голоса тотчас же утонул где-то в лесу.

— Что неправда? — с изумлением спросил ее Петр.

— Все. Эта тишина. Запахи. То, что мы очутились здесь. Нет, этого не может быть.

— Мне тоже не верится, — грустно улыбнулся Андрей.

Петр угрюмо промолчал. Он быстрыми шагами шел впереди. Ему казалось, что чем скорее он пройдет через лес, тем скорее пройдет этот день. Он только начинался, но для Петра время уже потянулось медленно. Всеми своими мыслями он был там, в роте, и теперь шел среди деревьев, едва замечая расступавшийся перед ним лесной мир.

А лес, охваченный тихим, холодным пожаром сентября, был красив тихой, умиротворенной красотой. С легким шорохом поддавались под ногами красные сугробы опавшей листвы.

Россыпи желудей, гладких и ядреных, как обточенная водой речная галька, и темнобагровых, точно раскаленные угли, густо устилали землю.

— Как хорошо, — останавливаясь, говорила Саша.

Петр оглянулся, и в разгоряченном нежно-овальном лице, в тонком румянце и блеске глаз не сразу узнал ту Сашу, которую он не далее, как вчера, видел в темном подвале, среди хрипящих, окровавленных тел. И глазам Андрея в новом освещении открывалась ее строгая красота...

— Вы что-то скучный, сердитый сегодня? — приближаясь к Петру, спросила Саша. — Или вам не нравится здесь?

— Нет, нравится, — ответил Петр.

Но сказал он не то, что думал. Он шел вместе с ними по лесу, а в мыслях был не здесь. Сердцем он чувствовал тихую прелесть осеннего леса, его запахов, красок и тишины, но они не рождали в нем ощущения покоя. Шагая среди деревьев, он неизбежно прислушивался к звукам боя, глухо проникавшим сквозь зеленую толщу из города, с правого берега Волги. И он видел в своих мыслях попеременно фигуры перебегавших улицу солдат в серых куртках, седую голову капитана Батурина в окне командного пункта, лица своих товарищей, покрытых копотью, кровью, землей. И у него было такое чувство, словно он в чем-то провинился перед ними.

Прибавляя шаг, Петр начинал итти быстрее, стремясь в движении рассеять свои мысли.

— Петя, ау! Куда вы! — звала его Саша.

Не отвечая, он уходил все дальше, оставляя их вдвоем с Андреем.

— Что с ним? — морща лоб, озабоченно спрашивала Саша Андрея.

— Пусть, — с грустной усмешкой говорил Андрей. — Это с ним бывает.

Он не испытывал чувства раздвоенности, как Петр, зная, что днем им все равно не переправиться в город, и полностью отдавался строгому очарованию осеннего леса. Это очарование он видел не в том, что видела в лесу Саша, не в ярком внешнем убранстве природы. В мягкой, полной глубокого значения тишине он находил непоколебимую устойчивость жизни. Вокруг бушевали стихии войны, а могучие стволы, как и раньше, как всегда, прочно держались своими корнями в земле. Глаз Андрея замечал внутреннюю жизнь леса. Густо толпившиеся деревья, свиваясь корнями и сплетаясь ветвями, вели жестокую, смертельную борьбу за место под солнцем. Сухие сучья и упавшие трухлявые стволы были жертвами этой борьбы. Мертвые плети ползучего кустарника безжизненно свисали с ветвей молодого, могучего дуба, непреоборимо растущего вверх. Раскидистый и щедро красивый, он победно шумел густокудрой молодой кроной.

И хоть властвовали в лесу скорбные запахи увядания, но под покровом опавшей листвы пригревшись, ароматно дышала молодая трава. Древесная кора берегла к весне почку, источая сладкий, медовый дух. И свежие натеки светлого, янтарного клея на ветвях деревьев указывали на постоянное движение под корой могучих соков, несущих жизнь.

Лес был наполнен прохладой, запахами хмеля, светом восхода. У Андрея давно уже не было так хорошо на душе. И ему вдруг захотелось сказать Саше то, что он давно хотел и не мог ей сказать.

— Саша, — догоняя ее, изменившимся голосом сказал Андрей.

Она посмотрела на него в полоборота и, пораженная выражением его лица, заторопилась.

— Куда же он уходит? Давайте догоним!

И побежала вдогонку за Петром. Его фигура мелькала где-то далеко впереди, среди стволов деревьев. Андрей побежал за Сашей, приотстав от нее на два шага.

— Петя, ау! — звала Саша.

Петр, не оглядываясь, быстрыми шагами уходил вперед. Андрей бежал рядом с Сашей и чувствовал, как с каждым новым шагом расплескивается его решимость, бледнеют слова, которые он хотел ей сказать.

На опушке они догнали Петра.

— Вы убегаете от нас... Мы вас звали-звали, — жалобно сказала Саша.

Петр остановился и оглянулся. На его лице отразилось колебание. Он посмотрел на Сашу, оживленную, разгоряченную ходьбой. Подбородок его чуть дрогнул, и он быстро перевел взгляд на Андрея.

— А то, может, попробуем на лодке, Андрей? — неуверенно сказал Петр.

— Что ж, можно и на лодке... — усталым голосом неожиданно согласился Андрей.

XXVI

В роту приехало начальство, и капитан Батурин нерадничал.

С командиром дивизии и его адъютантом приехали член военного совета армии Бугров, незнакомый капитану маленький генерал и майор в фуражке с черно-бархатным околышем. Они оставили машину за земляным гребешком и по ходу сообщения, извилисто прорытому в земле вдоль немецких позиций, поднялись к подножью здания, занятого ротой. Во время этого восхождения по крутизне волжского правобережья маленький тучный генерал с трудом поспевал за всеми на своих полных, коротких ногах. Он снял с головы фуражку и поминутно вытирал платком глянцево обритый череп.

Капитан приготовился к обычным расспросам и наставлениям, но командир дивизии от расспросов уклонился, а, поздоровавшись, движением руки указал в сторону майора в танкистской фуражке и сказал:

— Вот ваш новый командир полка. Знакомьтесь.

Капитан хотел ответить ему, что они уже знакомы, но встретился глазами с майором и промолчал. И ему показалось, что майор поблагодарил его взглядом, точно ему было неприятно припоминать обстоятельства их знакомства...

Бритоголовый генерал, как только отдышался немного и огляделся по сторонам, выкатил глаза и хлопнул себя ладонями по бедрам:

— Узнаю эти места. Тут в девятнадцатом моя батарея стояла. Ах, елки точеные.

На его слова не обратили внимания. И лишь адъютант командира дивизии из вежливости повернул к нему лицо.

— Что ж, пройдем в окопы, Бугров, — сказал командир дивизии. Тот в знак согласия наклонил свою крупную голову с гривой волос, седеющих на висках.

— Только не всей свальбой. Разделимся, — поспешно добавил командир дивизии, заметив движение бритоголового генерала. И капитан Батурин сразу понял, что генерал был в их компании лишним человеком.

По ответвлению центрального хода сообщения, прорытого под стеной здания, командир дивизии направился в первый взвод. Капитан Батурин остался на капе управлять боем, а к командиру дивизии приставил для сопровождения Крутицкого, больше полагаясь на то, что благоразумный старшина не поведет гостей туда, где их жизни будет угрожать опасность. Довольный поручением, Крутицкий медленно поплыл впереди начальства по глубокому извилистому ходу в своем новом кителе, который у него был сшит лучше, чем у командира дивизии. Проводив их глазами, капитан улыбнулся, подумав, что, если судить по осанке, старшина был больше похож на генерала.

К Бугрову сам подошел Тиунов, и они, разговаривая, неспеша свернули в правый отросток хода, прорытый к месторасположению второго взвода. Белое дно мерлушковой шапки Тиунова заколыхалось в извилинах хода. Капитан Батурин подумал, что Хачим сделает все, как нужно.

Оставалось еще найти провожатого для маленького генерала. Но он сам вывел капитана из затруднения, заявив, что ему провожатых не нужно.

— В наше время обходились без свиты, — сказал он, втискивая свое квадратное тело в черную, земляную щель. И пошел по ходу наискось через улицу, блестя влажным черепом и обмахивая его большим платком в крупных лиловых горошках.

Майор остался с капитаном Батуриным на капе.

— Ну что ж, повоюем вместе, — доставая портсигар, сказал он усталым, совсем не начальственным голосом. И, протягивая раскрытый портсигар капитану, спросил:

— Курите?

— Курю, — беря папиросу, сказал капитан.

— Это хорошо. Это помогает, — заключил майор, пряча портсигар в карман. И замолк, ни во что не вмешиваясь, со стороны наблюдая, как капитан разговаривает по телефону, рассылает связных, переругивается с командиром артбатареи, который запоздал перенести огонь.

И лишь один раз, нарушив молчание, грубовато посоветовал:

— А вы не суетитесь. Начальство приедет и уедет. А вы делайте свое дело.

На миг капитан Батурин встретился с его глазами и подумал, что с этим человеком ему, должно быть, действительно придется немало вместе повоевать. И эта мысль не была ему неприятна.

Первым вернулся бритоголовый генерал и, хлопая себя ладонями по бедрам, стал рассказывать капитану о том, как он — елки точеные — встретил в окопах своего старого царицынского однополчанина, солдата, воевавшего в его бригаде еще в девятнадцатом году.

— Он меня сразу узнал. Я ведь здесь был вместе с товарищем Сталиным. Один раз он мне такой нагоняй всыпал, — радостно отдуваясь, сказал генерал, точно для него могло быть приятное в том, что ему всыпали нагоняй.

Капитан рассеянно слушал его и с тревогой думал о том, как бы не опростоволо-

сился в первом взводе Сердюков. Он вспомнил слова Тиунова о пьянстве Сердюкова и уже раскаивался, что послал с командиром дивизии Крутицкого, вместо себя. Еще не поздно было исправить ошибку, но капитана остановила мысль, что командир дивизии может разгадать его сомнения.

В это время прибежал связной от командира третьего взвода. Он сообщал, что на его участке немцы перешли в атаку, и спрашивал, что делать.

— А что в таких случаях делают, дружок, — вмешался тучный генерал, — огоньком их встретить, огоньком.

Связной неподвижно стоял перед капитаном, ожидая его приказаний.

— Ну, чего же ты стоишь, дружок, — с недоброй ласковостью в голосе спросил связного генерал. — Я, кажется, уже сказал.

— Они привыкли, чтобы все приказания передавались через меня, — заступился за связного капитан.

— Кгм... — генерал побагровел, но ничего не сказал, а отошел в сторону и стал усердно вытирать темя платком.

Майор погасил улыбку. Этот капитан с седыми волосами и молодым, грустным лицом нравился ему все больше. Майор подумал, сказать ли ему сейчас о брате, и опять решил не говорить.

— Передайте, что я сообщу на батарею. Вас поддержат, — сказал связному капитан.

Связной быстро повернулся и побежал по ходу направо. Капитан проводил его глазами и опять стал думать о том, что происходит сейчас в первом взводе. Он уже твердо уверил себя в том, что совершил опрометчивость, послав с командиром дивизии старшину. Командир дивизии, без сомнения, быстро раскусит его напускную важность и посмеется над ним, а заодно и над командиром роты, пославшим такого провожатого. И капитану так стало стыдно за себя, что он покраснел.

В это время Крутицкий вел начальство по окопам второй линии обороны. К ним присоединился командир первого взвода Сердюков, лейтенант с широкоскулым лицом простого деревенского парня и с большими печальными глазами. Сзади скучающей походкой шел адъютант с большим маузером на левом боку. Ручка маузера вся в мелких инкрустациях черненого серебра выглядывала из желтого деревянного футляра.

Крутицкий шел впереди генерала плывущей походкой, пригибая голову (когда ход становился мелким) и протискиваясь боком, чтобы не запачкать китель (когда ход был чересчур узким), и время от времени пояснял:

— Это спираль Бруно.

— Это ловушка для танков.

— Это окоп полного профиля.

Генерал вначале подумал, что он робеет в присутствии начальства и поэтому никак не может найти, о чем говорить. Но потом он присмотрелся к Крутицкому и к его новенькому, выутюженному кителю, сидевшему на нем, как на манекене, прислушался к словам, которые тот произносил с самым невозмутимым, серьезным видом, и развеселился. И генерал с наигранным простодушием тоже стал спрашивать:

— Здесь минное поле?

— Да, минное поле, — говорил Крутицкий.

— А это дот? — с тонкой иронией спрашивал генерал.

— Нет, это дзот, а вот это дот, — вежливо поправлял его Крутицкий.

Лейтенант Сердюков шел за ними и, прислушиваясь к их разговору, недоумевал. А адъютант командира дивизии шел позади всех и по выработавшейся в нем привычке пропускал мимо своих ушей разговор начальства.

— Что же это мы не идем в первую линию? — останавливаясь, спросил Крутицкого командир дивизии.

— Там опасно, товарищ генерал, — осторожно сказал Крутицкий.

— Неужели? — весело сказал генерал и решительно свернул в правый отросток хода, к первой линии окопов.

Над их головами проносились мины и снаряды, наполняя воздух горловым клекотом, шелестом и свистом. Деловито перестукивались пулеметы. Утро только начиналось. Солнце окровавленным шаром выплывало внизу из Волги.

Когда они проходили мимо лежавших в окопах с винтовками и автоматами красноармейцев, те поворачивали головы и медленно провожали их глазами.

— Братцы, генерал.

— Рискует.

— Не боится по окопам ходить.

Им должно быть и на самом деле приятно было видеть в окопах генерала, и они, припадая к оружию, веселее застучали и затрещали выстрелами.

На командном пункте роты услышали стрельбу. Капитан Батурин забеспокоился. Он стал звонить в первый взвод, думая, что там завязалось важное дело. Но его успокоили, сказав, что это обычная утренняя «музыка».

— Ну, ну, музыканты, — ворчливо сказал в трубку капитан, — смотрите, генерала мне не подстрелите!

Немцы ответно открыли огонь. Улица огласилась звонкой трескотней. С воем пролетела мина и оглушительно разорвалась недалеко от того места, где шел командир дивизии и другие лица.

— Это немцы стреляют, — посмотрев на Крутицкого, усмехнулся генерал.

— Немцы, — подтвердил Крутицкий.

— А это наши, — добавил генерал, при-

слушиваясь к отдаленному разрыву артиллерийского снаряда.

— Да, — сказал Крутицкий. Он попрежнему не улавливал в его голосе насмешки.

Генералу стало скучно, и он почувствовал прилив глухого раздражения. Он отвернулся и стал разговаривать с Сердюковым. С виду угрюмоватый Сердюков охотно разговорился. С казачьим бойким говорком он стал рассказывать генералу, как из кирпичных развалин напротив позиций взвода немцы житья не дают бойцам.

— Головы нельзя поднять. Вон и сейчас лупят из минометов, — облизнув сухие губы, сказал Сердюков.

— Что ж вы их не выбьете оттуда? — спросил генерал.

— Да я говорил капитану, чтобы штурмом их взять, а он приказал подождать.

— Почему? — генерал потемнел.

— Сначала, говорит, нужно мины под стены подвести. А если штурмом — лишние потери будут.

«А ведь он прав», — подумал генерал.

— Наш командир роты из запаса, товарищ генерал, — вставил Крутицкий.

Генерал нахмурился. Он вспомнил седую голову капитана Батурина, свою первую встречу с ним на переправе и другую встречу в ночной степи. И генерал с неудовольствием подумал о том, как мог капитан наряжать в провожатые к командиру дивизии этого человека. И, разговаривая с Сердюковым, генерал старался больше не смотреть в сторону Крутицкого, с трудом сдерживая раздражение.

Рядом снова упала мина и обдала их комьями земли.

— Товарищ генерал, нас засекли, — побледнев, сказал Крутицкий.

— Вы можете итти назад, а я сам найду дорогу, — резко сказал ему генерал.

Крутицкий заколебался, не зная, что ему предпринять. Издалека стал слышен нарастающий вой новой мины. И тогда он повернул назад и, ссутулив плечи, рысцой затрусил по извилистому ходу на капе.

Провожая его глазами, генерал все больше впадал в мрачное настроение. Поразмыслив, он усмотрел в том, что капитан Батурин прикомандировал к нему глупого и самонадеянного старшину, пренебрежение к себе. Адъютант по его лицу сообразил, что ожидается гроза. и весь подобрался, сжался, бесшумно ступая за генералом.

Но гроза миновала. Генерал остановился и разговорился с двумя солдатами. И этот разговор вернул ему прежнее, хорошее настроение. Пожилой солдат, с большой русокудрявой бородой, маленькой саперной лопаткой углублял свою огневую ячейку. Генерал остановился возле него и спросил:

— Что ж, старина, долго еще мы с тобой будем отступать?

— Начальству виднее, — солдат приставил к ноге лопатку и хитро улыбнулся глазами.

Генерал улыбнулся.

— А все же?

— Да уж до самой глубины дошли, товарищ генерал, — приглаживая пальцем светлые усы, сказал солдат.

— До глубины?

— Ну да. До самого корня русской жизни немец дошел, до Орловщины и Поволжья. А я так думаю, что хоть он и отменно вооруженный, а вытащить этот корень ему будет не под силу.

— До корня? — задумчиво переспросил генерал. — Это ты, пожалуй, верно говоришь. — Голос его повеселел.

— А то как же. Конечно, верно, — повторил солдат.

Его товарищ, молодой и высокий, тоже с саперной лопаткой, подошел к ним.

— Разрешите и у вас спросить, товарищ генерал?

— Спрашивай, — повернулся к нему генерал. У солдата было совсем молодое, еще расплывчатое и неосмысленное лицо. Но где-то в самой глубине его зрачков пряталась горькая, преждевременно созревшая усталость.

— А как начальство думает, скоро мы наступать будем? — приближаясь вплотную, язвительно спросил солдат.

— Гм, как тебе сказать... — генерал достал из кармана платок, снял пенсне и стал протирать стекла. И его лицо с широко расставленными глазами стало другим, добрым.

— Иди, иди, Иван, — пожилой солдат сердито замахнулся на молодого саперной лопаткой. — Бишь, чего захотел.

— Нет, почему же, — надевая пенсне, сказал генерал. — Что должны скоро наступать — это я тоже чувствую, а вот когда именно — ну, уж этого, братец, я тебе не могу сказать, — он развел руками.

— И на том спасибо, — отходя, пробормотал молодой солдат.

В приподнятом настроении генерал вернулся на командный пункт роты. Где-то у него еще оставалось желание вменить в вину капитану его нерадение к начальству. Но хорошее ощущение, оставшееся у генерала после слов солдат, не располагало его сейчас к неприятному разговору. К тому же генерал своими глазами мог убедиться, что хозяйство роты находилось в порядке. А у него было правило никогда не вмешиваться и не читать подчиненным нравоучений там, где все шло нормально.

К его приходу на капе вернулись и Бугров с Тиуновым. По их просветленным лицам капитан сообразил, что они остались довольны посещением рубежа и друг другом. И капитан почти с нежно-

стью посмотрел на смуглое, черноглазое лицо Хачима.

Но по лицу командира дивизии нельзя было понять, доволен ли он посещением роты. Капитану оно показалось каким-то загадочно веселым. Несколько раз он замечал взгляды, которые тот бросал на Крутицкого. И капитан терялся в догадках о значении этих взглядов.

– Есть ли у вас местечко с хорошим обзором? — спросил командир дивизии. Он помолчал и добавил: — Чтобы можно было оттуда взглянуть на город.

– Да, есть, — капитан Батурин указал на окно угловой комнаты верхнего этажа здания.

– Сходим, Бугров, — командир дивизии тронул члена военного совета за локоть.

– Но это окно под обстрелом, — заметил капитан Батурин.

– Э, капитан. Солдаты там живут?

– Живут.

– Ну вот. Слышишь, Бугров, — и командир дивизии решительно взял своего крутоголового спутника под руку.

Маленький, тучный генерал посмотрел на верхнее угловое окно здания и, вздохнув, направился за ними, вытаскивая из кармана белый в лиловых горошках платок и невнятно пробормотав сквозь зубы какое-то ругательство. из которого можно было разобрать только слова: «Ах вы, елки точеные...» и «чорт бы побрал этого умника, выдумавшего многоэтажные дома».

XXVII

В угловой комнате верхнего этажа жили теперь Андрей и Петр.

Они поставили на подоконник «максим» с заправленной в него блестящей, чешуйчатой лентой, и его темный, круглый глазок смотрел вниз в зияющий, стиснутый каменными стенами пролет улицы, изрытой воронками, исполосованной зигзагами окопов и запроможденной грудами булыжника.

В углу комнаты остался пролом — след гранаты, брошенной в окно Петром. В остальном же комната сохранилась и осталась чистой, опрятной и веселой. Она была маленькой, но казалась просторной, потому что в ней стояли всего лишь одна узкая кровать, круглый вертящийся стул и небольшой орехового дерева рояль с приподнятой крышкой. Быть может жил в ней до войны одинокий холостой музыкант.

– Посмотри, отсюда виден весь город,— подойдя к окну, в первый раз сказал Петр.

Андрей подошел и тоже заглянул через подоконник вниз. Дымный город в желтой бахроме пожаров показался ему сверху еще более страшным. В разных концах его вставал густой, трепещущий лес бурых, лиловых и черных дымов. Они извивались и разделялись на множество ветвей, врастая в небо, точно исполинские деревья. Пламя перемахивало с дома на дом, через пролеты улиц и бежало по карнизам крыш, шелуша масляную краску, пожирая железо и превращая дерево в черную труху. В огне утробно вздыхала кровельная жесть. С грохотом рушились стены зданий, и черный, сверкающий занавес мглы застилал горизонт. Когда она рассеивалась в том месте, где только что возносился вверх многоэтажный корпус, чернел пустырь и над грудой щебня клубилась пыль.

Андрей постоял у окна и молча отошел, с неуверенностью ступая по дощатому полу. Он вдруг показался ему шатким и непрочным. И Андрей вспомнил их старое, уютное жилище, глубоко врытое в землю и надежно защищенное сверху от снарядов, фугасок и мин.

Приходившая к ним по вечерам Саша садилась за рояль, и мягкие звуки, выливаясь из окна, смутно беспокоили солдат, которые сидели внизу, в окопах, напоминая им об их прошлой жизни. Поворачивая головы, они смотрели вверх, прекращая перестрелку. И вдруг взрывы яростной стрельбы врывались в тишину улицы, очарованной мелодией.

В это утро Андрей по обыкновению встал раньше Петра, сменил в пулемете ленту и остановился у окна, привлеченный величественным зрелищем восхода. Солнце вставало из Волги, кутаясь в кисейную дымку утренних туманов. Красные полосы пробегали по стенам комнаты, трепетали в перламутре клавишей, в ореховой отполированной крышке рояля. Громады черных, обугленных кварталов, пустоглазые, пронизанные насквозь лучами заводские корпуса, изломы и зубцы развалин поднимались из багряной пенки утра. В полудремотных улицах только начинали звучать редкие выстрелы. Но в комнату их звуки приходили с опозданием, точно издалека. Андрей отдавался ощущению тишины. Он любил этот мягкий, неуловимый перевал между утром и днем.

Петр спал на кровати, подложив под щеку ладонь. Комната все более заполнялась светом. Крышка рояля уже не отсвечивала легким багрянцем, а сияла хрустальным, брызжущим блеском, и перламутр клавишей, переливаясь, как будто безмолвно звучал. Андрей стоял, не двигаясь.

Направо от города, за террасами жилых кварталов и лесом индустриальных труб, сквозь сетку спутанных телеграфных проводов маячила дымчато-синяя, туманная полоса. В изменчивых волнах марева таяли горизонты. Это была степь. Андрей подумал, что теперь в станице должно быть давно уже отмолотились и

свезли хлеб в амбары. Старики давят в чанах виноград, а женщины закатывают кадушки с соленьями в погреба и убирают с крыш фруктовую сушку.

Он не мог представить себе, что все в станице было не так, как прежде, а совсем иначе, что хлеб остался стоять в степи на корню и все заглушила собой дикая, сорная трава. В его мыслях станица оставалась такой же, какой унесла ее с собой память.

Петр зашевелился и всхлипнул во сне. Андрей на цыпочках отошел от окна и сел на стул. Погрузившись в свои мысли, он нечаянно уронил руку на клавиши рояля. Сдавленный звук вырвался из-под отполированной крышки. Андрей вздрогнул.

— Ты что? — садясь на кровать и моргая белесыми ресницами, спросил Петр.

— К нам, кажется, идут, — прислушиваясь, неуверенно сказал Андрей.

— А, тебе послышалось, — сердито сказал Петр, опять ложась и поворачиваясь на другой бок.

— Нет, правда, идут, — уверенней повторил Андрей. Он уловил говор и шарканье ног на лестнице, где-то внизу.

— А ведь верно, — свешивая ноги с кровати, сказал Петр. Шаркающие звуки приближались, поднимаясь по лестнице выше.

— Вставай, — нетерпеливо повторил Андрей и стал быстро приводить в порядок комнату. Он передвинул стул, повесил на гвоздь пилотку Петра, смахнул рукавом с рояля пыль.

— И поспать не дадут, — обертывая ногу портянкой и надевая сапоги, проворчал Петр. Он едва успел задернуть кровать одеялом и перепоясаться ремнем, как на лестничной клетке напротив их комнаты послышались голоса. Дверь открылась и вслед за командиром дивизии и его адъютантом в комнату вошли крутоголовый человек в полувоенном костюме без знаков и маленький плотный генерал в расстегнутом нараспашку кителе. Из-под кителя белела взмокшая от пота нижняя рубашка.

— А-а, — обрадованно произнес маленький генерал, шире распахивая китель и подставляя грудь свежему утреннему ветру, плывшему в комнату из окна.

Андрей и Петр отошли в сторону и встали у стены. Командир дивизии остановился у окна. Размашистый взлет бровей, крутизна плеч и густоволосый затылок его спутника показались отдаленно знакомыми Андрею. Две фигуры — одна тяжеловесная, большая и другая юношески тонкая, сухая — четко выделялись в светлом квадрате окна, залитые светом восхода.

— А ведь, правда, хорошее место, Бугров?

— Неплохое.

— Что, если сюда перенести наш эн-пе[1]?

— Не рано?

— Нет, об этом стоит подумать. Ты видишь это движение?

— Да. Если сопоставить это с разведсводкой...

— Отсюда можно посчитать все их батареи. Там в сквере — раз, за насыпью — вторая. Ты видишь?

— Вижу. Третья у рынка.

— Да, это уже посерьезнее. Это штурмовая. По-моему у них здесь на километр не меньше двадцати стволов.

— Это что, — приподнимаясь за их спиной на цыпочках, сказал маленький генерал. — В девятнадцатом мы под Воронцово стянули по сорок стволов на каждую версту. Это был огонь.

Ему не ответили. Постояв, генерал отошел к Андрею и Петру и стал спрашивать у них, не скучно ли им здесь живется.

— Нет, не скучно, — выслушав его, отвечал Андрей. Но Петр перебил его, сказав, что в городе надоело.

— Да, да, — покачал головой генерал. Он оглянулся на окно и понизил голос:

— Мы не так воевали. Я в гражданскую кавбригадой командовал. Выведешь конников в степь и — в атаку.

Он опять оглянулся на окно, подошел к роялю и потрогал клавиши одним пальцем. Ветер ворвался в комнату и принес запах горелого железа. Бугров пригладил рукой взлохмаченные волосы.

— Ты видишь эту синюю полосу, генерал?

— На юго-западе?

— Да.

— Вижу.

— Это степь. Я представляю себе, как она теперь позарастет. Этой осенью мы, разумеется, уже не сможем посеять, а к весне все переплетут сорняки. Ты имеешь представление о здешних сорняках — донник, осот, чернобыл. Придется все выжигать.

— Я все больше думаю, что ты фантазер, Бугров. Прежде надо весь этот... как ты его называешь...

— Чернобыл?

— Да, чернобыл из города выжечь. А ты строишь какие-то планы на весну. Право, сегодня на этом осажденном пятачке это сильно смахивает на фантазию.

— Нет, не фантазия, генерал, — серьезно покачал головой Бугров. — Это очень реальное дело — хлеб. Какие там фантазии, если мы уже год со всеми своими армиями и тылом сидим на шее у сибиряков. Украины мы лишились давно, а теперь в сущности потеряли Дон и Кубань. А ты представляешь себе, что означает эта последняя потеря в общем хлебном балансе страны? Это значит еще не на одну

[1] Эн-пе (НП) — наблюдательный пункт.

дырочку придется затянуть ремешок. Вспомни, во все времена хлеб был скрытой пружиной борьбы. Это грубая проза, но это так.

Он помолчал. Яркое лезвие света из окна резнуло его, и он прикрыл затрепетавшие веки.

– Индустрию мы запрятали за уральский хребет. а хлеб..

Он остановился, пробежал пальцами по волосам и, качнув головой, зло продолжал:

– Им удалось отнять у нас главные хлебные районы, генерал. Это был самый верный способ затянуть петлю на горле страны советов. И если мы еще не голодаем, то лишь потому, что у нас теперь пшеница растет там, где раньше рос один саксаул. Твоя голова, генерал, полна своим: пушками, танками, ожиданием резервов. А небось, когда к тебе запаздывают вагоны с хлебом, ты уже наверное бежишь на ве-че[1], клянешь почем зря интендантов и вопишь, что тебе срывают операцию. Я угадал?

– Бывает и так, – с усмешкой кивнул головой генерал.

– И ты прав. Тебе важно, чтобы солдат был сыт. И если я говорю о планах на весну, это совсем не из области фантастики. Восстанавливать жизнь мы будем по пятам наших наступающих армий. За первыми эшелонами солдат у нас сразу должен пойти второй эшелон плугатарей.

– Ну хорошо, пока не будем говорить об отдаленных временах, – после молчания, сдержанно кашлянул генерал. – Ответь мне все-таки на этот вопрос, о котором ты догадываешься. Ты мне обещал склепать из разного барахла на заводе батальон танков?

– Обещал.

– Где они? Ты понимаешь, что означает сейчас для нас один батальон?

– Понимаю. Они готовы.

– Уже?

– Да. И экипажи ждут приказа.

– Ну, за это спасибо, Бугров. Теперь мы заживем. Ты даже не представляешь, какое большое дело ты сделал.

– Это не я, генерал. Это рабочие.

Внизу под окном реже звучали выстрелы. Скоро они совсем затихли.

– Не пора нам итти, Бугров?

– Пожалуй.

– Проходя мимо Андрея, он остановился и, вглядываясь в его лицо, спросил:

– Вы казак?

– Казак, – подтвердил Андрей.

– Из станицы..? – он назвал станицу, в которой родился и вырос Андрей.

– Оттуда.

– Вы Тимофея Тимофеевича Рубцова сын. Да? – оживляясь, спросил он.

– Его, – волнуясь, подтвердил Андрей. Он вдруг вспомнил, что этот человек часто приезжал из города к его отцу, и они вдвоем уплывали по Дону на охоту.

А крутоголовый человек помолчал и, глядя на Андрея, грустно спросил:

– Отец у немцев?

Андрей молча кивнул головой.

– Хороший старик. Жаль, – и, повернувшись, он сутуло шагнул через порог.

Капитан Батурин все это время оставался внизу, на командном пункте. Он с беспокойством поглядывал на верхнее угловое окно здания. Рядом стоял Крутицкий. Майор Скворцов уехал в полк.

Утренняя «музыка» окончилась, и в окопах началась шумная, муравьиная суетня. Замелькали белые, смуглые, крепкие, стройные, волосатые сильные тела обнажившихся солдат. Они тут же поливали друг друга из котелков желтовато-мутной речной водой. Резкими блестками засияли маленькие зеркальца и стальные лезвия бритв. А на колючей проволоке затрепетало желтое, застиранное солдатское белье, и его усердно сушил колючий, злой каспийский ветер.

– Помылись, побрились, закурили – и уже счастливы. Как в сущности немного нужно человеку, – задумчиво сказал капитан.

Ветром донесло обрывок песни.

« Ой да ты калинушка», – пел в окопах молодой голос. Капитан помолчал, прислушиваясь.

– А все же до крайности противоречивая натура – человек, – продолжал капитан. – Всем нам до чертиков надоела эта война. а в сущности мы втянулись. И когда прозвучит последний вы рел, пожалуй, многие сначала почувствуют себя не в седле. Как вы думаете, а?

– После войны будет каста военных людей, – сказал Крутицкий. Капитан Батурин с любопытством посмотрел на него и, сощуривая глаза, медленно возразил:

– Кадры профессионалов, армейское ядро – да. Каста – нет.

– Я убежден в этом, – сказал Крутицкий. Он слыхал, как на переправе через Волгу рассуждали об этом два генерала.

«... Ой да ты не стой, не стой, на горе-е кру-той», – мощно поднял песню слитный хор мужских голосов.

– Кастовость, – прислушиваясь. сказал капитан, – это значит ограниченность и отделение от народа. А вы потребуйте запереть эту песню среди стен.

– Мы говорим об армии.

– Это нельзя отделить.

– И все-таки вы увидите, что каста будет, – упрямо повторил Крутицкий. Услышав разговор генералов, он потом думал о нем и пришел к выводу, что это было бы очень удобно. Он любил размеренную армейскую жизнь, установлен-

[1] Ве-че — высокие частоты. В этом случае высокочастотная линия связи.

ный круг поступков, очерченных определенной чертой. Такая жизнь была свободна от обычных превратностей и случайностей человеческой судьбы. Правда, сейчас была война, которая внесла с собой много непонятного и неудобного в армейский быт. Но войну Крутицкий считал исключительным явлением в жизни армии, выпадающим из установленного круга вещей. Когда-нибудь она должна закончиться, и тогда начнется привычный распорядок смотров, докладов по начальству, восхождения по служебной лестнице со ступени на ступень.

— Вы говорите вздор, — сердито сказал капитан Батурин на его последние слова.

— У каждого свой взгляд, — порозовев, твердо произнес Крутицкий, для которого авторитет генералов, говоривших на переправе через Волгу, был выше авторитета капитана.

Капитан отвернулся от него и снова стал смотреть на угловое окно. Там мелькали какие-то фигуры, потом их не стало видно. Ушедшие что-то долго не возвращались. Капитан то поглядывал на верхний угол здания, то прислушивался к звукам на внутренней лестнице дома.

— Идут, — сказал Крутицкий. На лестнице послышались кашель, позвякиванье шпор, шаги.

Капитан вышел на лестницу встречать. Первым спускался член военного совета Бугров с несколько грустным и рассеянным выражением крупного лица. Командир дивизии приотстал от него на две ступени и щурился на солнце сквозь стекла пенсне.

— Уезжаем, капитан, — сказал он, не останавливаясь, и прямо спускаясь в подъезд с мраморными львами, дремлющими на гранитных подушках.

Проходя мимо Крутицкого, он взглянул на него и тонко улыбнулся. Капитан Батурин видел его улыбку и, поняв ее значение, ужаснулся.

Последний, замедленным шагом, сходил по ступеням адъютант.

Капитан Батурин перевел взгляд на Крутицкого и увидел на его лице нерастаявшее отражение улыбки начальства.

XXVIII

Крутицкий пришел к себе в блиндаж и медленно стал снимать китель. Он продолжал улыбаться. Он все еще жил в блиндаже, в то время как все давно уже переселились в здание, отбитое у немцев. Но старшине полагалось поближе быть к обозу, кухням и другим хозяйственным службам роты. Он так и сказал об этом капитану Батурину.

— Степанов! — позвал он своего ординарца. По должности ему не полагалось иметь ординарца. Но он взял для этой цели бойца из хозяйственного взвода, считая, что старшине приличествует иметь ординарца.

Степанов вошел и хмуро остановился у порога. Это был орловский мужичок, маленький ростом и весь заросший темным, мохнатым волосом. Он двигался бесшумно и больше молчал.

— Никто не приходил? — спросил его Крутицкий.

— Нет, — угрюмо ответил Степанов.

— На вот, почисть, — Крутицкий подал ему китель.

— Титель? — не двигаясь переспросил Степанов.

— Я тебе уже говорил: не титель, а китель, — сказал Крутицкий.

— Все равно ведь, — проговорил Степанов, — вот ведь сколько на груди ваты понаверчено. Как у бабы. Чистый титель.

Он вышел и стал щеткой чистить китель, продолжая что-то ворчать себе под нос. «Подумаешь, генерал». — можно было разобрать из его слов. Степанов плюнул на щетку и с ожесточением заелозил по кителю. Он считал желание старшины иметь ординарца чистой блажью, а занятие это для себя постыдным. Никакого сравнения не могло быть с его прежними обязанностями санитара. К тому же товарищи подсмеивались над Степановым, пеняя ему в глаза за то, что он отсиживается во втором эшелоне.

Думая об этом и все больше расстраиваясь, он достал из внутреннего кармана кителя пачку дорогих папирос, которые курил старшина, и, взяв одну, закурил. Демонстративно куря папиросу, он вошел в блиндаж, держа перед собой за плечики китель.

— Опять брал папиросы? — сердито сказал Крутицкий.

Степанов не ответил и молча вышел. «Нет, обязательно нужно заменить», — посмотрев ему вслед, подумал Крутицкий. Он заставлял своего ординарца чистить ему сапоги, одежду.

Однажды капитан Батурин сказал ему:

— Откуда у вас эти замашки?

Крутицкий возразил ему, что в армии не может быть равенства.

— Не может быть равенства чинов, — подтвердил капитан. — Но перед конституцией и мундир генерала, и гимнастерка солдата равны.

Теперь, вспоминая этот разговор, Крутицкий подумал, что капитану и тут мешает найти правильное понимание вопроса то, что он не кадровый, а из запаса.

«Увидим», — подумал Крутицкий, улыбаясь. Он обвязал шею белым полотенцем, сел к столу, придвинул к себе зеркало и стал бриться. Он опять вспомнил взгляд, брошенный на него генералом, и мысленно

повторил: «увидим». Он не сомневался, что командир дивизии, не в пример другим, сумеет понять и оценить его знание военной службы.

Намыливая щеточкой подбородок, он рассматривал в зеркале свое отражение. Его губы сами складывались в улыбку. Побрившись и смочив лицо одеколоном, он надел китель и, застегнув его на все пуговицы, сел писать письмо жене в Арзамас. Написав письмо и поручив Степанову снести его на полевую почту, он нагнулся и стал рыться под койкой, доставая из своего чемодана бутылки, продолговатые и круглые баночки с консервами, стаканы, круги колбасы, печенье, и выкладывая все это на стол. Разогнувшись, он окинул взглядом стол и подумал, как должна быть довольна Клава, которая обещала к нему притти. Он постоял и, опять нагибаясь, достал еще из чемодана лимон. Он так увлекся, что не слышал, как открылась дверь и легкие быстрые шаги прошелестели от порога и остановились у него за спиной. Он обернулся.

— Клавочка, это вы?

Клава стояла перед ним, опустив длинные ресницы и теребя в пальцах стебелек травы. Только уголки ее пухлого, румяного рта неуловимо трепетали.

— Садитесь, Клавочка, — говорил Крутицкий. — А я, признаться, уже грешил, думал, что вы не придете.

— Ну вот, глупости, — она чинно уселась на стул и поправила на коленях складки юбки. — Откуда у вас могло появиться такое воображение?

— Вы кушать хотите? — он придвинул к ней стол, наблюдая за тем, какое это произведет на нее впечатление. У нее заблестели глаза. Все в роте ели простую, грубую пищу, она сама тоже ела эту пищу, и ее удивило обилие этой всячины на столе.

— На войне, как и вообще в жизни, от человека требуется применение умственных способностей, — доставая из портсигара длинную, дорогую папиросу, довольно сказал Крутицкий.

Она не заставила долго себя приглашать, придвинулась к столу и деловито зазвенела баночками, вилками и ножами. Как истая женщина, она любила вкусно поесть. Ее полные, круглые руки замелькали над столом, открывая консервы, нарезывая колбасу, намазывая на хлеб масло, влажные губы приоткрылись, обнажив два блестящих полукружья густых, проворных зубов.

Крутицкий снисходительно наблюдал за нею сквозь облако табачного дыма и, сбивая ногтем пепел с папиросы, говорил:

— Старшина, конечно, чин небольшой, а в нашей роте на него даже смотрят, как на вредного человека. Правда?

Клава кивнула головой. Крутицкого и правда в роте не любили.

— А без старшины — ни шагу. Патроны подвезти — старшина, раненые — тоже на моей шее. И кроме этого всю роту одень, обуй и накорми.

— Да, — полным ртом невнятно сказала Клава.

— А вам, Клава, я нравлюсь? — подсаживаясь к ней ближе, спросил Крутицкий.

Она повела полным плечом и блеснула на него глазом. «Ну, что еще за глупости», — говорил ее взгляд.

— Выпьем, Клава, за любовь, — сказал Крутицкий, наливая из бутылки в стакан вино. И, поднимая стакан в руке, добавил: — Между прочим, это генеральский портвейн.

— За любовь? — раздумчиво переспросила Клава, и лицо ее, побледнев, строго похорошело. — За любовь можно выпить.

И, чуть сдвинув брови, она медленно выпила из стакана все вино до дна, вынула из рукава кружевной платочек и тщательно вытерла им яркие губы. Ее щеки окрасились тонким румянцем, а маленькие уши запылали.

— Вот это по-солдатски, — весело сказал Крутицкий и, придвинув к ней свой стул, положил ей руку на плечо.

— Фу, какой вы надушенный, — отодвигаясь от него, сказала Клава. — Ужас как не люблю надушенных мужчин.

— Клава, — низким голосом сказал Крутицкий.

— Нет, мне пора итти, — вставая, вздохнула Клава. Закидывая руки вверх и поправляя волосы, она потянулась теплым, ленивым движением, и желтые искорки вспыхнули в ее глазах.

— Не уходите, — удерживая ее за рукав, сказал Крутицкий. — Мы с вами еще не выпили за дружбу. Кушайте, это шпроты. Выпьемте, Клава, за нашу дружбу. — он снова налил в стаканы вина.

— За дружбу? — повторила Клава. Она окинула быстрым взглядом выутюженную фигуру Крутицкого и уклончиво сказала. — Нет, за нашу дружбу как-нибудь в другой раз. Меня могут хватиться.

— Успеется, — небрежно сказал Крутицкий. — Скажите, что вас вызывал старшина.

— Нет, нет, — решительно сказала Клава, — я и так у вас загостилась. Что скажут капитан Батурин, Тиунов. До свиданья.

Она прибежала в свою маленькую комнатку под лестницей, где жили теперь девушки, и упала на подушку, смеясь и вздрагивая всем телом. Саша и Ляля смотрели на нее, не понимая.

— Варан, — поднимая голову от подушки, сказала Клава. — Ба-ран.

— Кто? — улыбаясь, спросила Саша.

Клава рассказала им о своем свидании с Крутицким, как он угощал ее и как они вдвоем выпивали за любовь.

— Между прочим, это генеральский портвейн, — передразнивая, покачала она плечами..

— Ну, а что было дальше? — с любопытством спросила Ляля.

Саша взглянула на Лялю и улыбнулась. Лялины глазки сверкали, а маленький влажный ротик нетерпеливо приоткрылся. «Пообтешется, будет как все», — вспомнила Саша слова Клавы. Ляля и правда за это время «пообтесалась». Она и внешне уже не была похожа на девочку, стала женственнее, круглее. И только вздернутый носик портил впечатление.

— Ну, я все поела, попила и... ушла, — захохотала Клава и опять ушла вниз лицом на подушку. Но в ее смехе зазвенели слезы.

—Что с тобой? — встревоженно спросила Саша.

— Воло-одька не пи-и-шет, — поворачивая к ней заплаканное лицо, протяжным голосом сказала Клава. — Я ему каждый вечер письма пишу, а он уже полгода молчит. Может, он уже убитый или себе другую завел.

— Успокойся, Клава, не завел, — мягко сказала Саша.

— Завел, — поднимая голову, упрямо сказала Клава. — Я его, подлеца, знаю. А я, как дура, себя берегу для него, сохну·

— Сохнешь? — улыбаясь, переспросила Саша, обнимая полные, круглые плечи подруги.

— Сохну, — с ожесточением повторила Клава. — Тебе хорошо, Шурка, улыбаться, у тебя, должно быть, рыбья кровь. Ты вот между двумя ходишь и не сбжигаешься. А я так не могу. Не могу.

Легкая тень, движение досады скользнули по лицу Саши. Она молча отошла от Клавы, взяла на столе пилотку и гребешок и стала причесываться и одеваться. Клава вскочила с постели, пробежала к Саше, приласкалась к ней.

— Ты на меня обиделась, Шурка? Ну не буду, не буду. Ты не слушай меня, я нехорошая, злая, дурная. Я сама не знаю, что говорю. Ну скажи, обиделась?

—Нет, Клава, — спокойно ответила Саша, зажав в губах шпильки, собирая сзади волосы и перевязывая их бархатной черной тесемкой.

— Нет, обиделась. Я ведь вижу. Ты уходишь?

— Ухожу, — надевая пилотку, медленно ответила Саша, и ее нежное лицо точно подернулось дымкой.

— Куда, Саша? Туда? — посмотрев куда-то вверх, спросила Клава.

— Да, Клава, туда, — помолчав и вздохнув, твердо сказала Саша.

XXIX

Придерживаясь за гладкие перила лестницы, Саша легко и быстро взбежала на верхний этаж. У самого последнего пролета она замедлила шаги, постояла на железобетонной площадке и после этого постучала в дверь.

— Входите. Это вы, Саша? — отозвался за дверью голос Петра.

— Ой, как высоко вы забрались, — останавливаясь на пороге и переводя дух, сказала Саша.

В комнате клубился сумрак наступающего вечера. Серые тени зыбью трепетали на полу и на стенах, стирая очертания предметов.

— Высоко? А вот Петру нравится, — усмехнулся Андрей.

Он сидел на подоконнике. Бледнорозовое небо за его спиной было подернуто дымной пеленой, и первые звезды тлели на нем, как угли под пеплом. Внизу глухо шумело сражение, медленно успокаиваясь и входя в берега ночи, как море после шторма.

Саша прошла от порога и опустилась на круглый стул у рояля.

— Что вы нам сегодня сыграете? — приближаясь к ней, спросил Петр.

Приходя к ним, Саша всегда играла что-нибудь на рояле. И, привыкнув к этому, Андрей и Петр каждый день с нетерпением ожидали наступления вечера.

Она повернулась на стуле к роялю и в задумчивости как бы нерешительно опустила руки на клавиши.

Саша играла не бог весть как хорошо, но Андрею и Петру, может быть потому, что они давно уже не слышали никакой другой музыки, кроме музыки боя, казалось, что никто не мог играть лучше ее.

Плеск звуков то усиливался, то переходил в тихие переливы. Вечерняя зыбь точно пришла в движение и равномерно заколыхалась в комнате. На голубоватой стене вырезывался тонкий профиль Саши. Петр постоял около нее, медленно отошел и сел на кровать. Может быть, под влиянием грустных мелодий на дне его души зашевелилось смутное беспокойство. Чтобы заглушить это чувство, он стал прислушиваться к шумам, доносившимся в комнату с улицы из окна.

Внизу по булыжной мостовой шел танк. Он напряженно завывал мотором, тарахтел гусеницами и погромыхивал крышками люков. Громкий, оглушающий лязг раскатывался в городском квартале.

Нежная мелодия билась в стенах комнаты, как птица, отзываясь в груди Петра неясным томлением. Тихая, медленная музыка всегда навевала на него унылую тревогу. И, глядя на строгий профиль Саши, он все ждал и тайно предчувствовал, когда из-под ее пальцев вырвутся другие звуки...

Андрею же казалось, что еще никогда она не играла так хорошо. Он прислонился спиной к раме окна. В комнату плыли едкие запахи металлической окалины, жженого кирпича, дизельной смеси. Но сквозь них Андрей различил далекий, тончайший аромат степной полыни. Должно

быть он пробивался в город вместе с дуновением ветра. Капли звуков падали в сердце Андрею и сливались в нем в одну прозрачную струю. Она росла, превращалась в медленную реку и уже несла его куда-то, мягко покачивая на волнах.

И, закрыв глаза, он увидел степь, а над нею опрокинутое, полуденное небо. Высоко в знойном небе плавал большой орел. Он то затребал воздух косо срезанным крылом, то стоял на месте, трепеща в лучах солнца золотисто-желтой точкой и словно задумавшись о своей орлиной судьбе. Андрей и любовался могучей птицей, и думал, что она, должно быть, чувствует себя совсем одинокой так высоко, вдали от земли.

Он открыл глаза. Зыбкий полумрак комнаты как будто весь был свит из невидимых музыкальных волокон. Они проходили сквозь сердце Андрея. И он почувствовал, что дороже этой девушки с трогательно нежной линией склоненной шеи у него нет никого на свете.

Он взглянул на Петра и увидел, что его глаза тоже устремлены на Сашу. Андрей облизнул пересохшие губы. Необъяснимая грусть медленно всасывалась в его сердце.

Вдруг снизу донесся шум: гулкий топот бегущего человека, сдержанный говор.

— Was? — громко спросил на той стороне улицы голос по-немецки.

— Будем и у вас,—с насмешливой серьезностью ответил ему через улицу русский бас.

Саша уронила руки на клавиши. Петр встал, шагнул к ней и опять сел. Ветер влетел в комнату, прошелестел в складках шинелей, висевших на стене, и затих.

И тотчас же он будто вырвался в аккордах окрепших звуков и широкой струей полился в окно, выходившее в город. Руки Саши взлетали и опять опускались. Ее волосы развеялись вокруг лба и трепетали на тени.

Где-то в городе разгорался пожар, и в комнате посветлело. Скоро вся комната озарилась дрожащим багрянцем. На стенах шевелились языки пламени, пробегали желтые полосы, вырезывались фасады зданий, зубцы стен, силуэты башен. Они рушились, исчезали и опять появлялись.

Петр встал и прошелся по комнате. Раскаты светлых звуков, мощное зарево, присутствие в комнате Саши — все это соединялось в нем в одно растущее чувство подъема. Накипь уныния и тревоги точно смыло с его души.

Он остановился за стулом Саши. Зарево обливало ее узкие плечи, окрашивало легким румянцем ее голову, шею и руки на клавишах рояля. Петр будто впервые увидел ее. И ему вдруг захотелось обнять эти близкие девичьи плечи.

Андрей встал, накинул шинель и опять сел на подоконник. Похолодало. Он заглянул вниз и увидел пустынную улицу, объятую ночной тишиной. В разных концах города звучали выстрелы, слышались глухие взрывы, крики людей. Но на улице перед домом не было ни души. А из верхнего, углового окна здания на пустынную ночную мостовую лились волны торжественной музыки.

Внезапно музыка оборвалась. Саша опустила руки на колени и повернулась на стуле спиной к роялю.

Внизу, по мостовой, гулко протопали шаги, тишину ночи прорезала автоматная очередь и вслед за нею донесся сердитый возглас:

— Санитара-а!

Саша встрепенулась.

— Мне пора итти.

Петр сделал к ней движение, намереваясь что-то ей сказать, но ничего не сказал. Она вышла, и вслед за этим стало слышно, как ее каблучки застучали по ступеням лестницы.

На подоконнике неподвижно и грустно сгорбился Андрей. Он пошевелился и глухо спросил:

— Ужинать будем?

— Что? — рассеянно переспросил Петр.

— Ужинать, — повторил Андрей.

— Хорошо, — равнодушно согласился Петр.

Андрей взял котелки и пошел вниз. Петр побродил по комнате, сел на подоконник и достал из кармана маленькую книжечку в черном кожаном переплете.

Он теперь редко заглядывал в свой дневник. Его жизнь была похожа на калейдоскоп, в котором мелькали куски каких-то картин, обрывки впечатлений и мыслей. Слабые и смутные, яркие и пронзительные, точно вспышки молнии, они были похожи на игру света и теней. Немец, задушенный в окопе... красная кирпичная стена здания... волжский паром... Саша — все слилось в одном вихре.

В дневнике его мысли, как подхваченная ветром осенняя листва, то мчались вразброд, то осаживались на дно души, медленно там шевелясь. Дневник был отражением его жизни. И с сокрушением пробегая глазами исписанные странички, он видел в них себя так ярко, как если бы это был не он, а кто-то другой, и он смотрел бы на него со стороны.

«Отбили. А наш пятачок все уменьшается. Андрей совсем замолк. О чем он думает?»

«Мы на таком лоскутке земли, а у них в руках почти весь город. И все-таки пока мы отсюда не уйдем, они не могут с уверенностью сказать — да, город наш».

«Осень. На Азовском море сейчас штормы. Помню, выйдешь на берег, а море все кипит, ревет, и волны ходят, как большие горы.

А здесь уже вот вторую неделю затишье, дожди... Изредка разорвется мина».

«Андрей молчит, хоть умри. Из него каждое слово нужно вытягивать клещами».

«И каждый вечер в час назначенный... Была Саша».

«И все-таки это незабываемо, как детство... Как образ матери. Как первые слезы любви»...

При свете месяца Петр с трудом разбирался в недомолвках, в торопливых набросках слов. Они были для него то же самое, что для человека, идущего по лесу, зарубки, сделанные топором на стволах деревьев.

На лестнице зазвучали тяжелые шаги. Возвращался Андрей. Петр закрыл свою черную книжечку и спрятал ее в карман.

Вошел Андрей, держа на отлете в каждой руке по котелку. Он молча прошел от порога и поставил котелки на подоконник. Густо и сытно запахло разваренной гречкой.

Петр взял свой котелок, повернул в нем ложкой и отодвинул его от себя. Андрей сел на другом конце подоконника и молча стал есть, медленно двигая челюстями и звучно поскребывая ложкой по стенкам и дну котелка.

В городе было тихо. Петр посмотрел вниз, оглянулся назад на выступавший из мрака комнаты рояль и поелозил на подоконнике.

— Андрей!

Андрей перестал есть, поднял голову и посмотрел на товарища.

— Андрей, не скреби так ложкой,— Петр поморщился.

Андрей ничего не сказал и опять стал есть, тише двигая ложкой. В темноте Петр не мог видеть выражения его лица.

— Ты мне ответь, Андрей. — после молчания сказал Петр, — долго еще мы тут просидим? Как думают наши командиры — скоро они собираются наступать? Я вижу ты трубу принес, печку ладишь. Может тебе нравится эта наша жизнь, оборона, затишье? Ты когда-нибудь думал об этом? Или тебе все равно...

Андрей опять поднял голову, посмотрел на Петра и не ответил.

— Молчишь? — едко сказал Петр. — Ты все время молчишь, Андрей. Я тебя знаю уже полтора года и все это время ты молчал и сопел.

Андрей с тщательностью выскоблил котелок, вытер ложку платком и спрятал ее в голенище сапога. После этого он встал с подоконника, отнес котелок в угол и повесил его там за дужку на гвоздик.

— Знаешь кто ты, Андрей? — зло продолжал Петр. — Молчальник. Ты наверное и в комсомоле все время молчал. Есть у нас такая порода людей — их называют мертвые души. Как пришли они в комсомол, сели в уголке, примолкли и с тех пор — как рыбы. Конечно, это самое удобное...

Андрей двигался по комнате, не глядя на Петра и не поворачивая к нему головы. В углу он взял винтовку и зачем-то переставил ее на другое место. Потом подошел к пулемету и постоял. Выглянул из окна на улицу.

— И сегодня она играла, я думал ты слушаешь, а когда она ушла — тебе сразу захотелось ужинать, — Петр спрыгнул с подоконника и подошел к роялю. — Ты дуб, Андрей. — Он постучал согнутым пальцем по крышке рояля и повторил: — Да, дуб. Де-ре-бо.

— Петр, — глухо сказал Андрей.

— И знаешь что, — в злом увлечении говорил Петр, — не знаю, как ты, а мне это надоело. Вот и сейчас я говорю, а ты как немой. Как горохом об стенку... Так лучше по-другому... Все равно ведь лучше нам расстаться, Андрей.

Андрей подошел к кровати, повернул голову и молча слушал.

— Ну да, — угловато передернул плечами Петр, — расстаться. В конце концов это не так трудно устроить. Я так не привык, а тебе это все равно. Я могу попросить Сердюкова, чтобы меня перевели в другое отделение. Или ты попроси...

Андрей снял со стены висевшую над кроватью шинель, прошел в угол, взял свой вещевой мешок, винтовку и направился к двери.

— Подожди... Андрей, — позвал Петр.

Андрей задержался на пороге, постоял несколько секунд неподвижно и, не оглянувшись, вышел. В здании гулко раздался звук его шагов, удаляясь вниз по ступеням.

После его ухода Петр бесцельно побродил по комнате, постоял около рояля. Он подошел к окну и долго смотрел в безмолвный город. И, достав из кармана дневник, положив его на подоконник, он при свете молодого месяца записал:

Славлю друзей по оружию
Суровых и памятных лет,
Святую солдатскую дружбу,
Лучше которой нет.
Не ту, что заздравной чаркой
Беспечно обходит пиры,
А ту, что в окопе цыгарку
Разделит на пятерых.
Не ту, что в теплой постели,
Не ту, что в дыханье роз,
А ту, что одной шинелью
С тобой укрывалась в мороз.
Не ту, что сегодня оставит,
Поклявшись вчера горячо,
А ту, что, спасая, подставит
Под пулю свое плечо.

Он подумал и повторил первые четыре строки. Месяц ушел за силуэты домов. В окно глядел рассвет.

XXX

Для постороннего наблюдателя судьба людей, осажденных в городе и прижатых к берегу Волги, не могла вызвать сомне-

ний. После июльско-августовских боев и отступления советских армий на внешний обвод укрепленного района; после концентрических ударов танков Готта и гренадеров Паулюса с запада и юго-запада и выхода их северное города к Волге и после того, как они прорвались 13 сентября сквозь внутреннюю городскую черту, казалось, не было такой силы, которая могла бы их остановить. И, казалось, не было смысла удерживать по берегу Волги узкую полоску земли, когда был потерян почти весь город.

Вначале немцы посмеялись над упрямством защитников пятачка и широко оповестили, что горстка безумцев обречена. Но когда обреченные (всеми правилами военной науки) люди не захотели сложить оружия, насмешки врага сменились тревогой.

С наступлением осени в городе подули пришедшие с Каспия ветры, пробирающие до костей, пахнущие морской солью, сырой астраханской рыбой, ароматами каракумских песков.

Свирепые, пронзительные, сухие, они дули день и ночь. И даже в те редкие минуты военного затишья, когда в обезлюдевших кварталах переставали стрелять пушки и пулеметы, город гремел, дребезжал, грохотал,—это трубили неугомонные ветры в желобах сорванных водосточных труб, протяжно гудели в железных каркасах обугленных заводских корпусов и теребили лохмотья кровельной жести на крышах домов.

Как всегда, волжская осень была угрюмой, суровой, скупой. Она не притягивала взора яркостью увядающих красок, не обнимала душу мягкостью благоухающих ночей, не звала человека полюбоваться собой. Река тяжело будто не зная цели, несла свои воды свинцового цвета. Обнажившийся лес на левом берегу был безрадостно тускл и угрюм. И город, стоявший на вылизанном пожарищами месте, казался совсем голым.

Но была и другая осень. Она начиналась сразу за городскими окраинами, на запад от города, в казачьей, донской степи. Там, куда только хватил глаз, стояли курганы, одетые, как смушкой, косматой седой полынью. Красивая дикой, зловещей красотой лежала степь в плену буйствующих трав. В их невиданном разливе чуть не с крышами тонули казачьи станицы и хутора. И едва ложились зыбкие сумерки, по травам, вплотную к окраинным уличкам станиц и хуторов, безбоязненно подходили серые хищники и, подняв кверху морды, долго выли, уверенные в своей безнаказанности в этот страшный для людей год.

— Ты чуешь, воют? — толкая локтем под бок, будила Тимофея Тимофеевича в полночь Прасковья.

Тимофей Тимофеевич приподнимал голову от подушки и слушал. Кроме высокого и стенящего волчьего воя, который трепетал над станицей, словно тонкая струна, он слышал слабо доходившие, редкие, тупые удары. В щелях ставней пробегали смутные отсветы.

Он одевался и выходил на крыльцо. В конце база[1] медленно поднималась с земли поджарая, серая тень, неспеша отходила и садилась подальше.

— Кыш! — шел на нее Тимофей Тимофеевич, махая рукавами нагольного тулупа.

Он долго стоял, озноемый ветром, отвернув ухо малахая и повернув лицо на восток. Удары, приходившие с ветром отсюда, были так слабы, что порой он принимал их за стук своего сердца. Так же слабо по восточной окраине неба пробегало сияние, и потом опять смыкалась вокруг темнота. Иногда далекий гул вдруг куда-то пропадал, и тогда, как ни напрягал Тимофей Тимофеевич слух, он не слышал ни звука. Только попрежнему стлался над станицей высокий вой.

Он возвращался в горницу и ложился рядом с Прасковьей.

— Гукает? — спрашивала Прасковья.

— Гукает, — односложно отвечал Тимофей Тимофеевич.

— Ох, господи, — вздыхала Прасковья, шептала в темноте молитву и переворачивалась на другой бок.

И это повторялось каждую ночь. До утра он несколько раз выходил на баз, подолгу стоял, слушая, на крыльце, потом возвращался в дом. Прасковья спрашивала у него всегда одно и то же, он отвечал ей и ложился, чтобы вскоре выйти опять.

Тимофей Тимофеевич знал, что не он один несколько раз за ночь выйдет послушать на баз. На соседнем крыльце он слышал покашливанье Игната Снеткова, крестного Андрея. Через улицу, напротив, он видел мелькавшую во дворе бородатую тень. Еще через дом тоже сновали темные фигуры, тоже, должно быть, не спали люди; вместе с Тимофеем Тимофеевичем по ночам из каждых дверей выходили люди послушать, что принесут им осенние ветры с излучины Волги...

XXXI

— Что ж, вот пришло время и нам расставаться, Хачим. От самого Львова мы с тобой коротали этот поход. Всяко за это время было. Думалось и возвращаться будем вместе, в одной роте. Но так получается, что не пришлось. Начальству, должно быть, виднее...

Капитан Батурин отвернулся и стал смотреть вниз, на реку. Они сидели под обрывом, на крутом волжском берегу. Внизу дугой выгибалась река, разделяясь на два рукава и обтекая длинное тело острова, поросшего лесом и желтой, выгоревв-

[1] Баз — двор в казачьей станице.

шей травой. Был час затишья, и лишь изредка в Волгу залетали одиночные снаряды, глухо разрываясь в воде и шлепая, как большая рыба хвостом. И так же при падении они поднимали пенистые, зеленовато-белые гребешки воды. Капитан Батурин рассеянно скользил взглядом по реке.

Ночью капитану позвонили из штаба полка, и глуховатый голос майора Скворцова в трубке спросил:

— Как у вас там дела?

— Стреляем, — ответил капитан.

— Я знаю, что не кашу варите, — насмешливо сказал майор. — Тихо?

— Пока тихо, — подтвердил капитан.

— Значит, скоро быть жаре, — уверенно сказал майор. Он помолчал и добавил: — Так вы готовьтесь сдавать роту, капитан.

— Как сдавать? — с недоумением переспросил капитан. «Ну, вот и довоевался», — промелькнуло у него в голове. И он вспомнил приезд командира дивизии в роту и загадочное выражение его лица.

— Так и сдавать. Как это делается. Вы сдадите, а другой командир у вас примет роту, — весело сказал майор. — Вы что же молчите?

— Есть сдать роту, товарищ майор, — устало сказал капитан. Трубка телефона запотела у него в руке. «Довоевался», — опять подумал он.

Но майор точно отгадал на расстоянии его сомнения и другим, озабоченным тоном сказал:

— Вы ведь знаете, что Агеев убит?

— Убит? — переспросил капитан, и это известие на миг вытеснило из его сознания все другие мысли. Агеев был командиром батальона, в который недавно влилась рота, и капитан Батурин еще мало его знал. Но капитану было жаль его острой, солдатской жалостью, как бывает жаль всякого человека, выбывающего из строя товарищей на войне.

— Да, убит. Подорвался на мине, — повторил майор. — И генерал приказал вам немедленно принять батальон. Вы слышали — немедленно.

— Да, — сказал капитан.

— Тут я к вам послал одного лейтенанта. Передайте ему роту и ступайте в батальон. Вы кажется немножко с ним знакомы. Он только что из госпиталя. Вы будете рады.

Майор помолчал и многозначительно повторил:

— Будете рады.

Капитан положил трубку и с безразличной вялостью стал припоминать всех лейтенантов, с кем он был здесь знаком и кто из них был ранен и лежал в госпитале. До него только начинал доходить смысл слов, произнесенных командиром полка, и сознание, что утром ему нужно будет покинуть роту, с которой он прошел больше года войны, никак не хотело в нем укладываться. Капитан лег на койку и до самого рассвета, подложив руки под голову, пролежал с открытыми глазами без сна.

На рассвете он в сопровождении Тиунова обошел рубеж, попрощался с командирами взводов и отделений. И все невероятнее казалась ему мысль, что он уже чужой в роте и, быть может, уже через час кто-то другой займет его место. Правда, он уходил в батальон, это было совсем близко. Но так человек, переселяясь в новый дом, который находится по соседству и, может быть, выстроен лучше, всегда с сожалением и грустью покидает старый, где он прожил всю свою жизнь.

Солдаты уже проснулись, зябко поеживались, делились табачком, заряжали диски автоматов. В чистом утреннем воздухе громко звучали их голоса, поверочные выстрелы винтовок, побрякиванье котелков. Снималось с огневых гнезд боевое охранение, уходя на сон.

Капитан смотрел на их молодые, пожилые, бородатые, безусые, открытые и суровые лица. Все они были ему знакомы, почти каждого из них он хорошо знал. И о каждом капитан мог вспомнить, при каких обстоятельствах произошло их знакомство. Первые бои на границе, степные пожары, горькая пыль отступления, снежные вьюги, разбитые переправы, — все промелькнуло у него в голове.

В окопах уже узнали о том, что капитан Батурин уходит из роты, и солдаты жалели о нем. Они провожали его фигуру, когда он проходил вдоль окопов, глазами, в которых светилось нечто большее, чем обычное уважение подчиненного к начальнику, молча протягивали ему свои кисеты с махоркой, когда он останавливался и заговаривал с ними, и отвечали ему скупыми словами, согретыми теплотой, необычайной в устах этих мужественных, суровых людей.

— Товарищ капитан, не идите через этот бугорок. Там на крыше ихний снайпер следит, — сдержанно посоветовал ему солдат с безбровым ребячьим лицом.

Нет ничего дороже грубоватой, солдатской ласки. Капитан Батурин знал это чувство. И ответная волна поднималась у него в сердце, горячим обручем сжимая горло.

Но, пожалуй, больше всех жалел о его уходе Тиунов. Он ходил вместе с ним по окопам роты, неслышно ступая в своих сапогах на мягкой подошве, без каблуков, и тень грустной серьезности все больше набегала на черты матово-смуглого, скуластого лица Хачима. Его полные, простодушно вывернутые губы были сжаты в плотную жесткую складку. За все утро он не сказал ни слова. Несколько раз капитан ловил на себе скользящий, точно подернутый сизым дымом взгляд его черно-блестящих глаз.

Тиунов никогда не выражал капитану своих чувств. Но для капитана в его мол-

чании скрывалось гораздо больше, чем он мог бы высказать на словах. Давно уже не одними служебными узами связала их война. И теперь Тиунов воспринимал для себя уход капитана из роты так, как если бы он понес большую и непоправимую потерю на войне. И он только успокаивал себя мыслью о том, что рано или поздно это все равно должно было случиться, потому что не век же капитану было командовать ротой.

На обратном пути они встретили старшину. Для капитана Батурина он не был приятным лицом в роте. Но сейчас, взглянув на Крутицкого, капитан не испытал неприязненного чувства. Он и к нему успел уже привыкнуть за это время.

Вдвоем с Тиуновым они спустились к Волге и сели под обрывом. Ординарца Василия капитан предупредил, чтобы он сказал ему, когда придет из батальона новый командир роты. Река чуть приметно шершавилась мелкой, чешуйчатой рябью. Легкий, низовой ветерок гнал ее против течения вверх. С противоположного берега из лесу тянуло теплым, горьковатым запахом прелой листвы. Капитан, щурясь, смотрел, как солнечные зайчики скользят по поверхности реки, и разминал в пальцах твердый красноватый кусочек глины. Тиунов молчал.

– Где твоя фляга, Хачим? – повернувшись к нему, спросил капитан.

Тиунов молча отстегнул с пояса флягу в кожаном чехле, отвинтил пробку и, налив в нее водки, протянул капитану. Капитан медленно выпил и, отдавая Тиунову пробку, сказал:

– Выпей и ты, Хачим.

Тиунов молча покачал головой.

– Почему, Хачим?

– У нас привыкли выпивать, когда веселая душа, капитан, – глядя на него, серьезно сказал Тиунов. Голос его дрогнул, и он, отвернув лицо, стал смотреть на летавших над Волгой бакланов. Они низко проносились над рекой и стремительно взвивались кверху с трепещущим серебром рыб в клювах.

– Ну, а я, пожалуй, еще выпью, – наливая себе, вздохнул капитан. Он выпил, и лицо его медленно краснело, оттеняя пепельную седину волос. Он расстегнул воротник гимнастерки.

– Мало для меня в этом радости, Хачим. Если бы я делал военную карьеру, как, скажем, Крутицкий... Но ты знаешь, что это мне не нужно. Думал я пройти с ротой до конца, а потом... уехать куда-нибудь в глухую деревню учителем, воспитывать детей.

– Приказ, капитан, – печально сказал Тиунов. Казалось, впервые он позволил себе в душе не согласиться с приказом начальства.

– Семьи у меня нет. Вот все, что у меня осталось от семьи, – капитан вынул из кармана нитку бус, показал их на ладони Тиунову и, сжав кулак, опять спрятал в карман. – И рота стала для меня чем-то вроде второй семьи. Я только сегодня это по-настоящему понял. Кто знает, если бы прошли мы этот год по гладкой дороге, и я бы думал, как другие... Как мне сегодня майор сказал: один сдал, другой принял. Но я так не могу. Горе связало всех нас тугим узелком. И я тебе одному признаюсь, Хачим, нелегко мне сейчас развязывать этот узелок.

Капитан нащупал сбоку себя рукой комочек сухой глины и, сощуривая глаза, бросил в реку. Комочек, булькнув, упал в воду, и вокруг него разошлось густое кружево мелких кругов. И тотчас же к этому месту под водой метнулась серебристая стайка мелких рыб.

– Я не так о себе жалею, Хачим. В конце концов я ведь тоже ухожу не к чужим. Но ты сам знаешь, как мы собирали роту. По одному солдату, да что там по солдату – каждого человека по клеточкам нужно было собрать и вразумить прежде чем он стал таким. Конечно, ты тут сделал больше меня, Хачим.

– Не я один, капитан, – глухо сказал Тиунов, и легкий румянец выступил у него на скулах.

– Ну, я-то знаю. И хорошо, если попадется умный, спокойный командир. А то ведь может за отсутствием других подвернуться начальству под руку какой-нибудь юнец. Вчера он еще в училище штаны протирал, а сегодня его поставили над целой ротой. И вот начнет он по-индюшиному горло драть, дергать бойцов, думая, что раз они на войне, то значит им положено умирать. А что толку в глупой смерти? И такой юнец в один день может всю роту разбазарить. А как она собиралась, он даже и не подумает.

Капитан опять налил себе водки, быстро выпил и, навинтив пробку на фляжку, отдал ее Тиунову. Тиунов с тревогой посмотрел на его лицо и пошевелил губами.

– Ты что-то хотел сказать, Хачим?

– Нет, капитан.

– Ты уж меня извини, – виноватым голосом сказал капитан. – Ты знаешь, что я охотник небольшой, а от этих трех наперстков, конечно, пьян не буду. Что такое сегодня со мной творится – я и сам не пойму. Как будто я и правда ухожу от вас куда-то за тридевять земель. Просто нашустил на себя блажь. Ведь все равно остаемся в одном батальоне.

Он постарался придать своему голосу бодрый и веселый оттенок. Но, должно быть, против его воли сквозили в нем другие нотки. И лиловато-розовый, лихорадочный румянец покрывал его щеки.

Посредине реки упал снаряд, воронкой закружил на одном месте желтую, ноздреватую пену и разогнал во все стороны бугры опадающих волн. Эхо раскатилось по реке и ушло вниз, к морю. И долго еще с низовьев доносился его трубный, ту-

етой, трудно умирающий звук. А над местом падения снаряда с резкими пронзительными криками вились птицы, хищно выхватывая из кипящей пены оглушенных, беспомощных рыб.

— Кажется, идет Василий, — вставая, сказал капитан. Встал и Тиунов.

На обрыве, из-за кустарника показалась голова ординарца Василия в офицерской фуражке, подаренной ему Крутицким.

— Пришел? — спросил капитан.

— Ждет, — коротко ответил Василий.

И, повернувшись, молча пошел вверх по тропинке в мрачном расположении духа. Он тоже по-своему переживал уход капитана из роты. Правда, капитан обещал забрать его с собой в батальон. Но Василию жалко было покидать и роту, и он находился в затруднении, не зная, что ему выбрать.

Капитан Батурин шел вслед за ним, неся в себе горечь и раздражение к тому чужому, незнакомому человеку, который пришел на все готовое в роту и теперь сидит, ждет его на ка-пе, там, наверху.

Ка-пе размещался все в той же комнате полуподвального этажа. После того, как немецкие снайперы из противоположного дома пристреляли окно, его заложили кирпичом и замазали глиной. Оставили только узкую, продолговатую щель. В нее хорошо был виден уличный перекресток: трансформаторная будка с черным черепом, нарисованным на серой стальной дверце; обугленный высоковольтный столб, свитый огнем в спираль; опрокинутый вагон трамвая, сброшенный с рельс фугасным разрывом. Из щели на пол падала узкая полоса дневного света.

Капитан Батурин спустился в комнату по каменным ступеням и увидел человека, сидевшего на стуле вполоборота к двери. Он курил, неумело держа папиросу в растопыренных пальцах. Чем-то дорогим и незабываемым, как воспоминание детства, повеяло на капитана Батурина от его юношески небрежной позы, от этой чернокудрявой головы с круглым, крутым подбородком.

Капитан Батурин сделал несколько шагов и остановился. Человек повернул к нему голову, и на военной гимнастерке блестящими каплями вспыхнули знаки лейтенанта. На капитана Батурина с вопросительной робостью глянули и вдруг осветились яркой неудержимой радостью родные синие глаза...

— Брат! — вставая, сказал лейтенант. Капитан Батурин в растерянности остановился, протянул вперед руки и хотел что-то сказать, но спазма перехватила ему горло. Внезапная бледность покрыла его лицо, и он почувствовал дрожь в коленях. Он оглянулся на Тиунова и ординарца, как бы ища у них поддержки.

— Ты, что же, не узнаешь, Володя? — подходя к нему, растроганным смеющимся баском сказал лейтенант.

— К-коля, — неверными руками обнимая его плечи и заикаясь, сказал капитан. Он опять оглянулся и что-то поискал глазами около себя. Догадливый Василий быстро придвинул ему стул.

— Ну да, я. Экие у тебя стали нервы, — усаживая его на стул, с жалостью сказал брат.

Тиунов и ординарец Василий смотрели на них, и им передавалось волнение их встречи. Тиунов отошел и тихо сел в стороне. Что-то вроде ревности шевельнулось у него в груди. Он вдруг почувствовал себя одиноким и лишним в этой комнате.

— Откуда? — закурив и помолчав, тихим голосом спросил капитан. «Эка распустился, расхныкался», — с брезгливостью подумал он о себе.

— Из госпиталя.

— Был ранен? — испуганно спросил капитан.

— Контужен. Тебе разве майор Скворцов не говорил?

— Н-нет.

— Бомбежка. Месяц провалялся без памяти, насильно разжимали зубы и кормили через трубку какой-то жидкостью. Мерзость.

Капитан Батурин с нежностью всматривался в его лицо. Брат был младшим в их небольшой семье и очень походил на мать. Те же глаза, мягкие курчавые волосы, крупный, красивый рот. Только, пожалуй, нос — широковатый, с крутыми ноздрями, как у отца. Почти два года прошло со времени их последней встречи. Что-то новое выступило в его лице за это время, какая-то неуловимая черточка делала его другим. Может быть эти складочки в уголках рта, бросавшие тень скорбной возмужалости на все лицо. Капитан Батурин чувствовал, как опять начинает пощипывать ему горло.

А брат тоже смотрел на него и с острой жалостью думал: «Как же ты изменился, затянулся, милый. Совсем, должно быть, умыкала тебя война. Волосы стали у тебя белые, как у старика, и весь ты стал сутулый, как будто давит тебя к земле какой-то груз. Только вот одни глаза — те, пожалуй, не изменились».

— Чорт, какой крепкий табак, — капитан Батурин смял и затушил в пальцах папиросу. — Что же это я так плохо тебя принимаю... Ты ведь, наверное, проголодался, хочешь есть. Совсем забыл... Василий!

— Нет, спасибо. Я позавтракал у майора. Вот если найдется холодная вода. Пока вас нашел — устал. Окопы во все стороны ведут — чорт их разберет.

Василий принес в котелке мутновато-желтую речную воду. Она сохранила в полумраке подвала свою первоначальную студеную свежесть. Брат выпил всю, с жадностью собрал с края котелка капли губой.

– Хороша, – он провел по губам рукой вкусным жестом.

Капитан смотрел на него любовными глазами. Так всегда делал отец, вытирая усы. Но у брата усы еще только чуть пробивались.

– Матери писал? – спросил капитан.

– Нет. Сначала не мог, а потом решил, что не стоит. Да и почта отсюда бог знает как ходит.

– Стара она стала, слепа, – грустно сказал капитан.

– Стара, – повторил брат.

Они помолчали. Тиунов смотрел на них из своего угла и не находил ничего общего в их чертах. У капитана было суровое, усталое лицо с тонкими, словно запекшимися губами. А его брат был еще совсем пухлогубым юношей с белыми, здоровыми щеками и неистребимым блеском молодости в глазах. Война еще не успела оставить на его лице свой неизбежный след. «Нет, никто бы не мог сказать, что у них одна мать», – думал Тиунов.

Но когда они заговорили о матери и на их лицах набежало облачко печали, сходство вдруг выступило у них откуда-то изнутри. И глядя, как они, разговаривая, улыбаются, обрадованные встречей, Тиунов опять ощутил острый приступ чувства одиночества.

– Из госпиталя, наверное, выписался по срока? – спросил капитан.

– До срока, – признался брат.

– Я так и знал, – с укоризной сказал капитан.

– Но ты сам посуди, я и так провалялся почти полтора месяца. Это же смертная мука. И какой смысл – если уже совсем здоров? Правда, еще немножко побаливала голова, – он дотронулся рукой до густоволосого затылка.

– И теперь болит? – недоверчиво сказал капитан.

– А что ей сделается. Батурины живучие, – махнув рукой, беспечно возразил брат.

Капитан улыбнулся. Совсем так, бывало, любил говорить отец. Нет, брат не изменился.

– Главврач, конечно, не выпускал, – встряхнув головой, продолжал брат, – но, между нами, я обманул дежурную сестру, и она мне выдала обмундирование. Ночью я ушел и прямо – в отдел кадров дивизии. Оттуда направили в полк. И вот майор приказал принимать твою роту. Представь, какое совпадение.

– Это будто по наследству, Хачим, – оглядываясь на Тиунова, виновато сказал капитан. Ему было приятно, что он по счастливому стечению обстоятельств должен сдавать роту брату, и в этом сознании растворилась вся горечь капитана, вызванная его уходом из роты.

– А ведь время и мне торопиться, – посмотрев на часы, сказал капитан. – Так будешь принимать? Давай я повожу тебя по взводам, познакомлю с людьми.

– Не стоит, пустая формальность. Давай лучше потоворим. Сколько мы с тобой не виделись, сколько с тех пор всего, всего переменилось. – Брат удобнее уселся на стуле, закурил папиросу и сочувственно спросил: – Ведь ты теперь остался один?

– Один, – сказал капитан и нахмурился. – А то, может, пройдем по окопам? Как-никак – целое хозяйство.

– Да нет, успею, – небрежно сказал брат.

«Нет, не похожи», – решил Тиунов.

Запел зуммер полевого телефонного аппарата. Капитан снял трубку. Недовольный голос майора Скворцова спросил:

– Еще не наговорились, капитан? Пора вам итти, батальон без командира. Генерал звонил, спрашивал.

– Иду, товарищ майор, – сказал капитан.

Он положил трубку, встал и надел через плечо полевую сумку.

– Ну я пошел, Николай. Начальство торопит. После еще встретимся, поговорим. Об остальном тебе Тиунов расскажет. – Он повернулся к ординарцу: – Ты как, Василий, здесь останешься или пойдешь со мной?

– Разрешите мне остаться, товарищ капитан, – бледнея, сказал ординарец. Он уже успел сделать для себя вывод. Решив остаться при новом командире, он как будто и капитану Батурину не изменял, и счастливо избегал необходимости покидать роту.

– А... Ну, оставайся, – нахмурившись, сказал капитан. Он подошел и обнял Тиунова. – До свиданья, Хачим. Поручаю тебе брата.

– До свиданья, кунак, – тихо ответил Тиунов, и усы у него задрожали. Кунак, что означало – товарищ, друг, было в устах Хачима высшим проявлением любви к человеку.

XXXII

В начале октября на юго-запад от Сталинграда, под местечком Садовое был убит немецкий офицер. При нем нашли сумку, в которой лежали документы и карты. Среди них была схема, показавшаяся вначале непонятной. На белом листе, извиваясь, разбегались в разные стороны стрелы, ощетиваясь острыми жалами в красные кружочки городов. И рядом с каждым кружочком стояла цифра, выписанная черной тушью. По этим цифрам и стрелам, нарисованным на листе бумаги, выходило так:

Борисоглебск – 5–10 июля
Поворино–Сталинград – 25 июля
Сальск – 1 августа
Саратов – 5–10 августа
Куйбышев – 10–15 августа
Новороссийск – 15 августа

Уральск — 1 сентября
Баку — 20—25 сентября

А на обратной стороне листа красным, как видно, крошившимся карандашом твердая мужская рука быстро и решительно набросала пометки:

«1. Силы, нацеливаемые на разрыв связи в северном секторе.

2. Силы для прогрессивного окружения Москвы.

3. Максимум сил на юг.

4. Идея маневра в наступлении: занять порты Мурманск и Астрахань; Ленинград и Москва наступлением браться не будут: атака пойдет из района Орел; окружить Москву; окружить армии между Донцом и Доном; после падения Ростова атака должна пойти на Новороссийск, Кавказ, Баку».

Кроме этой схемы в сумке офицера нашли маленькую, губную гармонику тонкой и дорогой работы — красное дерево с медью и серебром. Она была уже не новая и изрядно зализанная по краям. Должно быть владелец гармоники нередко прибегал к ней в драгоценные минуты затишья и лирического раздумья на войне...

А за неделю до этого проездом из Ростова в Сталинград в доме Тимофея Тимофеевича Рубцова остановились два важных офицера. С того первого дня, когда по следам ушедшего Андрея первая группа солдат ворвалась во двор и стала ломать пчелиные ульи, ни одного часа не обходилось без постояльцев. Двор Рубцовых выходил к самому царицынскому тракту. Каждую проходящую машину и подводу так и тянуло завернуть в рубцовские голубые ворота под жестяным козырьком и остановиться на ночлег. Ворота больше не закрывались с того первого дня. Вначале Тимофей Тимофеевич еще пробовал запирать их на ночь, но после того, как одну половинку ворот сорвали с петель, он махнул рукой.

Солдаты заезжали во двор, закатывали полевые кухни и сразу начинали рубить в саду деревья и разводить огонь. Не спросясь, они начинали шарить в курятниках, хлопать крышками закромов и лазить на чердак.

— Курка, яйки, свинка, — галдели они на дворе.

Тимофею Тимофеевичу страшно хотелось схватить их за руки и вытолкать их взашей за ворота. Но каждый раз он давил в себе это желание, чувствуя на своей спине тревожные глаза Прасковьи, слезно просившей его ни в чем не перечить чужакам. И чувствуя, как непреоборимое желание поднимается у него в груди, он мычал и, глотая слюну, судорожно тряс головой, как немой.

Прасковья вот уже полтора месяца не вставала с кровати. Солдаты и ее хотели заставить услуживать им по кухне и пробовали силой поднять ее с постели, но тут уж Тимофей Тимофеевич с решимостью заступил им дорогу. И наверное было что-то такое в его глазах, потому что немцы отступили.

С болью в сердце он наблюдал, как его жена, казачка, с детства воспитанная при матери в духе строгой нетерпимости ко всякому баловству, должна была молча, смирясь, терпеть около себя охальства посторонних мужчин. Не стесняясь, они расхаживали при ней по дому в коротких штанах и, бесстыдно оголяясь, принимались искать у себя вшей.

Тимофей Тимофеевич с женой больше не спали в горнице, а спали в передней, за печкой. В горнице не переводились квартиранты, приезжая и уезжая почти каждый день. Бывало Прасковья наблюдала за тем, чтобы в горницу не занесли грязь со двора и заставляла Тимофея Тимофеевича у порога снимать сапоги. А теперь грязь лежала в горнице на вершок от пола и окурки шуршали под ногами, как сухая листва. И стоял в доме густой, сладковато-затхлый, устойчивый запах. Несмотря на то, что немцы каждое утро и вечером натирались разными пахучими мазями, повсюду им неотступно сопутствовал этот запах.

Но два новых постояльца, остановившихся в доме Тимофея Тимофеевича проездом, не были похожи на прежних. То, что это важные офицеры, он сразу понял по тому, как забегал вокруг них комендант Зельц, стараясь им угодить. Маленькая, серая, приплюснутая машина въехала во двор и тотчас же два денщика стали выносить из нее чемоданы. И пока офицеры, закуривая, разминали ноги во дворе, денщики успели и мусор вымести из комнаты, и расставить по углам красивую мебель, привезенную Зельцем из бывшего станичного клуба, и закуску приготовить на столе. Денщики внесли в горницу какие-то черные ящики, протянули по стенам проволоку и повесили лампочку, в которой потом, вечером, вспыхнул электрический свет. И когда все это было закончено, они вышли, остановились у двери с двух сторон, и офицеры вошли в дом. Прасковья все это видела из своего угла, и лежала за печкой ни жива, ни мертва.

Один офицер был высокий, худой немец, с седыми бровями, нависшими на глаза. Серый френч, сшитый из тонкого сукна, лежал на нем складками, а гладкие брюки, вправленные в широкие, с короткими голенищами сапоги, казались внутри пустыми — так худы были его ноги. На сером сукне френча резко выделялись узенькие погоны с золотым кантом и двумя звездочками.

На втором офицере Тимофей Тимофеевич увидел черные погоны. И такая же черная была у немца фуражка. Он снял ее и положил на подоконник, как только вошел в дом. К околышу фуражки лепилась большая, блестящая кокарда, с изображе-

нием костей: такие изображения Тимофей Тимофеевич не раз встречал на бутылках с денатуратом.

Второй офицер, красивый и тучный, по виду годился первому в сыновья. Но Тимофей Тимофеевич понял потом из их разговора, что по чину он был старше. И комендант Зельц увивался перед ним больше, чем перед высоким.

Они выпили с дороги, закусили. Потом молодой снял с себя френч и сапоги и, подложив под голову руки, лег, вверх лицом на кровать. Высокий офицер достал из кармана губную гармонику и, согнувшись на стуле, долго наигрывал на ней что-то такое, что отзывалось в сердце Тимофея Тимофеевича острой тоской и вызывало у него мысли об Андрее. После этого оба долго шуршали какими-то бумагами на столе, разговаривали вполголоса и рассматривали карту. Вечером к ним пришел комендант Зельц. Они о чем-то расспрашивали его и снова смотрели карту.

Поужинав, офицеры потушили свет и легли спать. Но уснули они не сразу. Между ними начался разговор, не умолкавший далеко за полночь. Лежа за печкой, Тимофей Тимофеевич слышал его в отдушину, проходившую из горницы в переднюю, через стену. Он успел уже порядком позабыть немецкий язык, выученный им пятнадцать лет назад в плену, и из услышанного разговора офицеров не все мог понять. Но главное он сумел уловить и потом, раздумывая над этим, волнуясь, до самого рассвета пролежал за печкой рядом с Прасковьей без сна.

XXXIII

— Вы не спите, полковник?
— Нет.
— Вы мне позволите?
— Да, да, пожалуйста.
— Но мы уже уговорились...
— Что?
— Что вы не будете щепетильничать.
— Гм.
— И не дадите мне увлечься.
— Валяйте, Видеман.
— Нет, я прошу вас. Со мной вы можете без церемоний.

В темноте послышались звуки губной гармоники, и мелодия, поразившая сердце Тимофея Тимофеевича еще днем, зажурчала в комнате, точно пение сверчка. Играл, должно быть, тот самый высокий, пожилой офицер, что играл и днем. И давешняя тоска опять, как яд, по капле стала просачиваться в сердце Тимофея Тимофеевича. Воспоминания и картины побежали перед его глазами, бессонно уставленными в темноту.

Незнакомая и чуждая мелодия странным образом и вызывала и рассеивала его мысли. Одна высокая и тягучая нота неуловимо трепетала в воздухе, замирая и вновь оживая, и вдруг сплеталась с другими в необъяснимо тревожную пряжу звуков. Тимофей Тимофеевич вспомнил, как маленький Андрюшка в одной рубашке и без штанишек носился по станице на неоседланном маштаке, вцепившись руками в конскую гриву и шлепая по спине лошади смуглым тельцем. Потом он подумал о своих разбитых ульях, о том, как он в этом году должен был вводить в колхозный табун молодого племенного жеребца. И он вдруг представил себе коменданта Зельца, как он едет по станице на колхозном племенном жеребце, впряженном в тачанку, а на кожаных подушках тачанки сидит, подняв уши, собака волчьей породы.

И заныв сердцем, Тимофей Тимофеевич понимал, что он, Тимофей Тимофеевич, чувствует себя в своем курене как чужой, забившись за печку, он прячется от посторонних глаз. И должен он бессловесно лежать в своем темном кутке и слушать, как в горнице чужой офицер, забравшись на его кровать, точно губами высасывает кровь из его сердца — играет на губной гармонике свою темную и страшную песню без слов.

— Тимоша, — шепотом позвала Прасковья.
— Ну.
— Андрюшка-то наш как...
— Молчи, старуха, молчи.

Песня негромко, но резко звучала в доме. Только что полная неведомой силы, она через мгновенье угасала в воздухе, едва шурша. И тогда сквозь удары степного ветра, бившего по ставням, в дом доходили другие звуки, которые Тимофей Тимофеевич уже привык слушать каждую ночь. Прислушиваясь, он думал, что наверное и в самом деле настало страшное время для людей, если волки безбоязненно стали подходить к человеческому жилью.

Одинокий, протяжный вой стоял над станицей, как сама тоска. Потом вдруг, другие хищники, заскулив в разных местах, присоединяли к нему свои голоса. И странно, и тревожно сплеталась с ними мелодия, звучавшая в доме. Она, казалось, сзывала и властно вела их через ночь. И воспаленному воображению Тимофея Тимофеевича чудилось, как послушные ее воле волки собираются стаями и идут по ночной степи.

В горнице заскрипели пружины кровати.

— Видеман...
— Да, — и мелодия оборвалась.
— Я хочу вас просить.
— О чем?
— Прекратите эту...
— Слушаюсь, полковник.
— Нет, вы меня не поняли, я имею в виду именно эту...
— Я понимаю.

— Если вы хотите...

— Нет, я все равно уже... Ведь это просто так, минутная слабость.

— Вы не находите, в ней есть что-то такое...

— Я вас слушаю.

— Какая-то, что ли, мистика.

— Любопытно.

— Да. А впрочем я, должно быть, изрядно утомился в дороге.

В горнице послышался хриплый, сдержанный смех, чирикнула спичка, и Тимофей Тимофеевич увидел в квадратное отверстие отдушины уголек папиросы, разгоравшейся и угасавшей во тьме.

Голоса умолкли, и в горнице надолго наступила тишина. Тимофей Тимофеевич лежал за печкой, слушая прерывистое дыхание Прасковьи. Ветер хлопал на дворе половинкой ворот и шуршал в камышовой крыше летней кухни.

— Видеман.

— Да, полковник.

— Вы слышите?

— Слышу.

— Что это такое?

— Это, кажется, волки.

— Ч-чорт. Я так и думал.

— Я был другого мнения о ваших нервах, полковник.

— Это не только нервы. Тряска. Холод. Этот обстрел из леса.

— Война!

Опять стало тихо.

— Дитятко, курчавенький... — внятно сказала во сне Прасковья.

Тимофей Тимофеевич прикрыл ей рот ладонью, и она всхлипнула, подавилась слюной и тяжело перевернулась на другой бок. В щели ставен сочился бледный розовый свет молодого месяца. В четырехугольнике блестевшего в темноте трюмо он отражался, как зарево далекого пожара.

— Вы не спите, Видеман?

— Нет.

— А этот Зельц препротивный субъект.

— Может быть.

— Вы обратили внимание на его внешность?

— Да, она малопривлекательна.

— Такие лица бывают у развратных стариков.

— Вы наблюдательны.

Нить разговора опять прервалась. Тимофей Тимофеевич услышал в наступившей тишине громкий и правильный стук ходиков. Когда-то он любил прислушиваться к их размеренному движению в темноте. Но теперь их отчетливое бормотанье в ночи показалось ему раздражительным, потому что порядок в доме сломался и они только лишний раз напоминали о прошлом, вызывая боль.

— Видеман.

— А?

— Вы скажите...

— Я вас слушаю.

— Что вы думаете о нашем поручении.

— Гм. Я думаю, что оно...

— Нет, в широком смысле.

— В широком?

— Да. Как там говорится в приказе фюрера.

— Я дословно не помню. Впрочем я могу вам снова его прочитать.

— Не беспокойтесь. Отложим до утра.

— Пустое. Я сейчас.

Заскрипела кровать, по полу пробежали шаги и ярко-белый свет вспыхнувшей в горнице электрической лампочки заставил Тимофея Тимофеевича на миг отшатнуться от отдушины и прикрыть глаза рукой. В горнице зашуршали бумагой. Отняв ладонь от глаз, он увидел худую спину высокого офицера (в заячьей безрукавке), склонившуюся над столом.

— Бот. Вы меня слушайте.

— Да, да, пожалуйста.

— Номер сорок два ноль восемь...

— Это не нужно. Дальше.

— Дальше? Ага, здесь... Приготовления к зимней кампании находятся в полном разгаре. Вторая русская зима застанет нас готовыми и лучше подготовленными. Русские, силы которых значительно уменьшились в результате последних боев, не смогут уже в течение зимы 1942—1943 гг. ввести в бой такие силы, как в прошлую зимнюю кампанию. Что бы ни произошло, более жесткой и трудной зимы уже не может быть.

— Все?

— Все.

— Гм. Как я понимаю, Видеман, это означает...

— Это означает зимние квартиры и жестокая оборона, — быстро сказал высокий офицер и, свернув на столе бумаги, потушив свет, быстро лег на кровать.

— А теперь скажите, Видеман, как это вяжется с той схемой, которую вы мне показывали днем?

В горнице помолчали. Тимофей Тимофеевич, весь уйдя в слух, прирос ухом к отдушине. И потом хрипловатый голос высокого офицера медленно и задумчиво сказал:

— Я думаю, полковник, что все это както очень трудно связать...

... Перед рассветом Тимофей Тимофеевич опять вышел на крыльцо. Ветер утих, и месяц уже растаял, оставив в небе зыбкий, неверный след. Он прислушался и явственно различил тупые и настойчивые удары. Послушав и покурив, он вернулся в дом.

— Гукает? — шопотом спросила его Прасковья.

— Гукает.

— Ох, ты, горюшко наше, — заохала Прасковья, отворачиваясь к стене.

— Дурочка ты, — ласково положив ей руку на плечо, сказал Тимофей Тимофее-

вич. — Я уже какую ночь выхожу, слушаю и все гукает на одном месте. И сегодня, и вчера, и третьего дня. Понимает это твоя голова?

XXXIV

Каспийские ветры с каждым днем набирали силу, басовито гудели в обнаженной, густосплетенной арматуре горелых корпусов, в свинцовых жилах магистральных военных кораблей, перекинутых с карниза на карниз, протянутых по чердачным закоулкам и застенкам развалин, заливались тенорами в тонких струнах медной полковой связи.

В сиреневой свежести рассветных зорь, в расточительной яркости закатов, в печальных отголосках отлетевших птичьих стай исподволь и неслышно подкрадывалась зима. Но пока немилосердно истекало жаром солнце, над городом трепетал желтоструйный зной, и в налитые духотой улицы ниоткуда заплывали паутинные пряди бабьего лета.

Прошел ливень с грозой. Всю ночь рвалось и кололось на части небо над Волгой, черные шаровые молнии падали в реку и шипели там, остывая, ветер срывал с косматых волн седые гребешки и в тучах тяжелых, литых брызг бросал на берег. Даже успевшие познать всю меру разгула артиллерийских страстей на войне, солдаты притихли перед этой яростью природы.

А наутро в городе нежнейше запахло пронзительной свежестью пролетевшей грозы. Пообчистились и точно принарядились закопченные фасады зданий, с которых ливнем смыло горький пороховой нагар. И солдаты, появляясь из окопов и землянок, куда натекла вода, щурясь на солнце, весело отряхивались, как утки, радуясь прошедшему дождю.

После ухода капитана Батурина в роте с внешней стороны не произошло изменений. Затишье продолжалось, нарушаемое утренней ружейно-пулеметной музыкой, налетами одиночных мин и посещениями «ночных гостей». Ночными гостями назывались «Фокке-Вульфы». Появляясь в один и тот же час, чаще всего в полночь, планируя и добродушно мурлыкая, они бесшумной серой тенью, крадучись, соскальзывали с подоблачной высоты между стенами домов и, внезапно высыпав из кассет фугасную мелкоту, с умиротворительным грохотом уходили обратно.

За это время капитан Батурин дважды звонил из батальона и советовал не доверять затишью. Он избегал пока приходить в роту, чтобы не ставить своими посещениями в неловкое положение брата, только привыкающего к новой среде. К тому же еще слишком свежа была у капитана память о том, что крепкими нитями привязывало его к роте. Он думал рассеяться в новой работе, но оказалось, что не так легко заглушить чутко дремлющую боль.

Разведчики роты сходили за языком и взяли из немецкого блиндажа рослого рыжеусого ефрейтора, предварительно спеленав его веревкой, как ребенка. Его захватил спящим и принес на спине Андрей. После ссоры с Петром он упросил командира взвода Сердюкова оставить его внизу в окопах и больше не вернулся в комнату на верхнем этаже. Вместо него туда пошел напарником к пулемету другой солдат. Петр при встречах с Андреем несколько раз порывался подойти к нему и что-то сказать, но всякий раз в глазах Андрея появлялся светлый, остекляневший блеск, а в выражении лица очужелая окаменелость. И Петр, бледнея, вздернув чуб, проходил мимо.

Красноармейцы присматривались к новому командиру. Его кудрявую, непокрытую голову часто видели в траншеях. Он спускался в окопы и охотно вступал в разговоры, с неизменной, ласково небрежной улыбкой на устах. Это нравилось молодым солдатам, еще помнившим неразговорчивость капитана Батурина. Однажды Тиунов в первом взводе невольно подслушал разговор двух солдат.

— Обходительный, — говорил о новом командире солдат с безбровым, ребячьим лицом. Он сидел в окопе на корточках и протирал тряпочкой круглый, окрашенный масляной серозатой зеленью станок миномета. Его товарищ, пожилой, русобородый детина, навертев на стальной стержень огромный пыж, прочищал нагоревший ствол.

— Душевный человек, — помолчав и не дождавшись ответа на свои слова, сказал молодой солдат. — Капитан, тот не такой был.

— Ты капитана, Иван, не трожь, — не поднимая головы, гулко, как в самоварную трубу, протудел русобородый солдат.

— А что же это за птица твой капитан? — с вызовом спросил молодой солдат.

— Не в том дело. Не в капитане. А ты еще сосунок, Иван, людей судить, — поднимая лицо, сказал его товарищ, и волосатые ноздри у него задрожали.

— А в чем же тогда дело?

— А в том, что тебя с твоим телячьим разумом можно за дырявый грош купить. Теленка под какую титьку ни ткни, ту он и будет смокать. Так и ты. А знаешь, Иван, есть одна пословица такая.

— Какая пословица?

— А такая, что другой тебе постелет мягконько, чисто пух, а спать будешь как на гвоздях. Обходительный, душевный... — двигая ноздрями, передразнил русобородый солдат. — Так сразу и растаял. Телок ты и есть.

Разговаривали много и о том, что новый командир роты безбоязненно показывает-

ся противнику. Он часто всходил на брустверы окопов и подолгу смотрел вперед в большой артиллерийский бинокль.

— Бесстрашный, — говорили молодые солдаты. Но те, что были постарше, ворчали:

— Лишнее это. Зачем?

Дважды снайперы чуть не подстрелили лейтенанта. Один раз пуля зарылась у него в планшетке и изорвала лежавшие в ней карты. В другой раз — разбила в руках бинокль, скользнула по медному ободку и улетела прочь. Он не тронулся с места. Только чуть побледнел.

— Не кланяется пулям, — уважительно говорили те, кто видел проявление беззаветной удали и отваги в поведении лейтенанта. Более рассудительные, не первый день натиравшие спину винтовочным ремнем, уклончиво отвечали:

— Ежели он своей жизни не бережет, как же для него будет наша? А?

Но и тех и других располагало в пользу нового командира то что он приходился родным братом капитану Батурину. Василий успел уже всем об этом рассказать. А в роте слишком жива еще была память о капитане. И ничего худого никто не мог о нем сказать. И теперь солдаты настороженными ждущими глазами ощупывали его брата, настойчиво отыскивая в них черты не только внешнего сходства.

Приглядывался к нему и Тиунов. Он внешне уже успел примириться со сменой начальства в роте, и его лицо ничего не выражало, кроме обычной сдержанной деловитости. Как-то он побывал в батальоне и увидел там капитана.

— Ну, как же ты живешь, Хачим? — спросил его капитан.

— Ничего, капитан, — коротко ответил Тиунов.

— Все у тебя по-старому?

— По-старому.

— Все, кунак?

— Все — помолчав, качнул головой Тиунов. И только в ровном голосе его прозвучали, быть может, преувеличенно твердые нотки. Капитан вздохнул и прекратил расспросы. Он подумал о том, как недолговечно бывает чувство привязанности даже у таких людей, как Хачим...

Язык, которого принес на спине из разведки Андрей, разговорился, оказавшись словоохотливым немцем. Рыжеусый ефрейтор боялся, что его расстреляют. И по его рассказу выходило, что идут приготовления к генеральному штурму пятачка, с целью сбросить прижатых к Волге людей в реку. По ночам в развалинах стен по ту сторону уличного перекрестка накапливалась пехота и подтягивались пушки, чтобы по сигналу трех белых ракет выкатиться из развалин на мостовую и открыть губительный огонь прямой наводкой. Чуткое ухо наблюдателей и передовых постов боевого охранения роты ловило в гулкой городской тишине нечаянный звяк стали по камню, глухой шум, жужжанье, слитое из звенящего полушопота многих голосов.

Еще при капитане Батурине саперы начали подводить под развалины стен мины. Командир первого взвода Сердюков сообщил, что теперь уже все окончено.

— Подрывать будем? — озабоченно спросил лейтенанта Тиунов. Рассказ пленного немца его обеспокоил, а донесения разведки усиливали это беспокойство.

— Успеем. Зачем такая спешка? — возразил лейтенант.

— Капитан Батурин приказывал скорее мины подводить и взрывать, — сказал Тиунов.

— Капитан Батурин мой брат, а командую ротой я, — глядя на него с недоброй улыбкой, медленно ответил лейтенант. И что-то новое, жестковатое выступило в его лице и в глазах.

— Язык говорил, на рассвете надо ожидать штурма, — спокойно сказал Тиунов. Голос его чуть дрогнул, но тотчас же выправился.

— Вы заражены паникой, — продолжая нехорошо улыбаться, сказал лейтенант. — Паршивый фриц хотел вас запугать, а вы ему поверили. Вот я ему сейчас покажу, как брехать. Я с ним поговорю. Приведи его, — крикнул он ординарцу.

Василий привел пленного ефрейтора, полумертвого от страха и думавшего, что его поведут на расстрел.

— А ну подойди ближе, колбаса! — округляя глаза, срывающимся баском закричал на него лейтенант.

И он стал кричать на немца, который и без того трепетал как осенний лист. При последних звуках голоса лейтенанта он совсем перетрухнул, рыжие усы у него зашевелились и глаза забегали на красном лице.

Тиунов вышел, потому что не любил, когда при нем взрослые, серьезные люди таким способом выражали свою ненависть к немцам.

Вечером он скатал свою бурку и ушел в землянку к командиру первого взвода Сердюкову. Лейтенант, закусив губу, следил за всеми его приготовлениями, но ничего не сказал. Отвернувшись, он стал разговаривать с Крутицким, пришедшим сообщить, что военный портной, который сшил ему китель, берется выполнить эту же самую работу лейтенанту меньше чем в два дня.

...А утром, едва начала проясняться темная синева ночи, грохот и гул потрясли тишину городского квартала. Спавший на ка-пе лейтенант вскочил и стал одеваться, попадая ногой не в тот сапог. Прильнув на мгновенье к амбразуре в замурованном окне, он совсем близко, на перекрестке увидел лиловые пятна эрудийных вспышек в тумане. Все дрожало и тряслось так, будто сразу рушился весь город.

Вбежал Василий и сказал, что немцы

начали штурм и уже прорвались через первую линию окопов. Даже в рассветной полутьме было видно, как бледно его лицо. Одевшись и подпоясываясь на ходу, лейтенант выбежал на улицу. Его охватило сыростью. Мелкими каплями садилась на землю мглистая муть.

Над Волгой караванами плыли против течения осветительные ракеты, сливаясь в одну белесую линию. В их зареве река блестела, как лезвие. Черной, глухой стеной выступил на противоположном берегу лес.

Из тумана перед глазами лейтенанта вынырнули какие-то серые фигуры. Он увидел красноармейцев своей роты. Согнувшись и озираясь, они рысцой перебегали улицу. Иногда они припадали на одно колено и стреляли из винтовок. Некоторые оставались лежать на мостовой, распластавшись темными телами на камне.

Перебежав улицу, солдаты прижимались к стенам домов и, прячась за кирпичными выступами, за углами, усиливали огонь и уже медленное отступали назад. Пулеметчики бренча, волокли по булыжнику максим.

— Куда, куда?! — выскакивая на середину улицы и останавливая бегущих, закричал лейтенант.

Некоторые остановились перед лейтенантом, озираясь и нерешительно переминаясь на месте. Остальные только повернули головы и продолжали бежать, стараясь обойти его стороной.

— Назад! — лейтенант выхватил из кобуры револьвер. Голос его сорвался и заглох в треске винтовок и пулеметов, в коротких взрывах гранат и слитных залпах орудий.

— Э, товарищ лейтенант,— останавливаясь, с укоризной сказал ему русобородый здоровенный солдат. — Разве тут револьвером поможешь? Ведь они пушки подняли и шрапнелью лупят.

В моменты вспышек было видно, как суетится немецкая прислуга у пушек на перекрестке. Маленькие серые машины с хода подхватывали пушки на буксир и картинно чертя полукружья перекатывали ближе.

— Feuer [1]— зычно кричал густой фельдфебельский бас.

Мелкая шрапнель горохом осыпала стены и, взвизгивая, щелкала по камню. Снаряды с глухим, недовольным ворчаньем насквозь простреливали улицу и падали где-то в Волге. С подавленными вздохами они рвались в воде и с гулким эхом — дальше, в лесу .

Из темных развалин стен группами выскакивала на перекресток немецкая пехота и бежала по улице, по направлению к берегу.

— Вольга, Вольга! — кричал маленький офицер в черной фуражке и, махая рукой, звал солдат за собой.

Скользивший вдоль каменной стены Андрей обернулся, вскинул винтовку, и офицерик упал, еще раз взмахнув рукой. Ветер подхватил его фуражку и черным кругом погнал по улице вниз, к реке.

Но из развалины выбегали на перекресток новые группы пехоты. Зеленые куртки немецких солдат сливались с туманом. Казалось, что серая утренняя мгла зашевелилась и, тяжело клубясь, поползла вниз, по березовому спуску. Выстрелы орудий сливались в тупые, тяжелые залпы. Сотрясая стены зданий, они грохотали в пролете улицы, как обвал.

Внезапно они смолкли. Слышались только пачковая стрельба винтовок и сухой пулеметный говорок. Вслед за этим в небе возник низкий, густоголосый гул. Увеличенные тени крыльев надвинулись на крыши домов и поползли через улицу по мостовой. За Волгой ударили зенитки.

И тотчас же воздух наполнился тысячами свистящих молний. С пронзительной скоростью они неслись к земле. Она содрогнулась и подалась. Черный косматый лес пыли встал к небу. Слышались новые свисты и взрывы.

— А-а-а! — дико закричал какой-то солдат. И страшно захохотал, обхватил голову руками и покатился по земле. Его хохот раздался в квартале и потонул в новых взрывах.

— Бомбит. В землянки! — устремляясь к берегу, загудел русобородый солдат. Его зычный бас услышали многие в роте.

— В землянки! — подхватили голоса.

Красноармейцы стали покидать вырытые вокруг здания окопы и побежали к берегу. Немцы короткими перебежками приближались к зданию.

— Тиунов! Кто видел Тиунова? — спрашивал лейтенант. Он вдруг ощутил острую необходимость в присутствии Тиунова.

— Он там с саперами остался. Какие-то мины подрывать будут, — пробегая, крикнул ему незнакомый боец. И махнул рукой куда-то в ту сторону, где был противник.

Лейтенант забежал на капе, схватил телефонную трубку, бешено завертел ручку аппарата. Трубка немо молчала.

— Василий!

Куда-то запропастился и Василий.

Лейтенант бросил трубку и опять выбежал на улицу. От дома отходила к берегу последняя группа красноармейцев. Отползая, они залегали правильной цепью и вели методический ружейно-пулеметный огонь.

Лейтенант пристроился к ним, поднял на мостовой брошенный кем-то автомат и вместе со всеми тоже стал отступать к землянкам, стреляя в цепи, как рядовой

В этой последней группе находился и

[1] Огонь, пли!

Андрей. Перебегая, падая на землю и отстреливаясь, он то и дело поглядывал на верхний угол здания.

Петр оставался в здании у пулемета. С ним был напарник, второй номер пулеметного расчета, совсем молодой солдат, взятый на фронт два месяца назад из вятского села. Напарник суетился, и его руки никак не могли заправить в пулемет новую ленту.

— А ты не лотоши, — с сердцем советовал Петр, ловя себя на том, что говорит так, как, бывало, Андрей. И окидывая мимолетным взглядом углы комнаты, он коротко вздыхал.

Припадая к пулемету, он поводил дулом вниз и, как бы в задумчивости щурил глаза, выбирая мишень. Он чувствовал удивительное спокойствие. Из окна ему видно было все: и голубоватая нить осветительных ракет, плывущих над рекой; и черные крестики самолетов, завороженно чертивших над городом круги; и улица, наполненная звуками штурма.

Где-то над лесом рассветная заря выкинула свой ранний стяг. Почти акварельная мягкость тонко синеющих линий улиц, белые квадраты площадей, вызолоченная осенью зелень слободских окраин, многочисленная и величаво могучая в окраске зари семья заводских труб словно впервые открывались изумленному взору Петра. И то, что многое из этого лежало сейчас в камнях развалин, не могло убить грозной прелести всей картины. Волга обрамляла ее широкой, тяжелой каймой, медленно огибая город.

— Пожалуй, нас обходят, — заглядывая вниз, сказал Петру напарник.

Петр повел дулом пулемета и дал очередь по цепи немецких солдат, бежавших к зданию по мостовой. Цепь залегла, и он тихо засмеялся. Он испытывал почти детское торжество, видя, как под его огнем ложатся на землю серые куртки. Вставая, они хотели приблизиться к зданию, он поливал их очередью, и они опять залегали.

Шрапнель осыпала окно и стучала по щитку пулемета. Вначале в здании еще гулко раздавались голоса солдат роты, но потом они смолкали. Из окна было видно, как рота, отстреливаясь, отступает к землянкам, вырытым на берегу.

— Пора бы и нам, — поглядывая на дверь, тревожно сказал напарник Петру.

— Ты беги. Я догоню, — дернув плечом, с досадой ответил Петр.

Напарник не заставил себя долго упрашивать и загрохотал сапогами по лестнице вниз. Хлопнула в подъезде дверь и стало тихо.

Петр остался один. Он отошел от окна и еще раз окинул взглядом комнату. В углу стоял рояль с откинутой крышкой. Как ожог в его памяти проскользнул тот вечер и рапсодия, которую играла Саша.

Он бросился к окну. Яростно затрясся, заходил в его руках пулемет — и серые куртки у подножья здания опять полегли на землю.

— Feuer, Feuer! — дважды прокричал внизу зычный фельдфебельский бас.

Шрапнель шарахнула по окну и застучала вразброд по стенам комнаты и по стальному щитку максима. Он точно поперхнулся и смолк.

Петр ударился лицом об угол подоконника и, сползая по стене, коленками на пол, стал запрокидываться навзничь. Из его пальцев медленно выскальзывали гладкие, отполированные рукоятки пулемета.

...Андрей знал, что Петр оставался в доме. И отступая к берегу, Андрей все время поглядывал на верхнее угловое окно. Пулемет бил из окна вдоль улицы хлещущей, косоприцельной струей, прикрывая отход роты и задерживая немцев. Но все же им удавалось в паузы между очередями делать перебежки. Андрей видел, как они то перебегая, то ползком медленно приближались к зданию, обнимая его полукольцом.

Он с тревогой подумал, что Петру пора бы уже покинуть здание. Андрей увидел, как из подъезда выбежал напарник Петра и присоединился к отступавшей роте. Он думал, что вслед за ним из дверей подъезда покажется и Петр. Но его не было. Пулемет продолжал стрелять вдоль улицы, неистово выплевывая огонь.

Внезапно он захлебнулся. Андрей подождал и опять посмотрел на подъезд. Нет, Петр не появлялся. Немецкие солдаты вскочили с земли и, закричав, размахивая оружием, во весь рост побежали к зданию. Верхнее угловое окно здания молчало. Пулемет больше не преграждал им путь.

И тогда Андрей выскочил из цепи и, побежал назад к зданию.

— Куда, куда! — закричали ему вдогонку голоса.

Он не оглянулся. Уже добегая до подъезда, он увидел бегущих ему наперерез двух солдат в серых куртках и высокого, тонконогого офицера.

— Хальт, — размахивая пистолетом, крикнул офицер. И заржавленным голосом повторил: — Хальт.

Андрей выдернул из-за пояса гранату и бросил ее в немцев. Взрыва он не слышал. Офицер и два солдата попадали на землю и окутались желтым дымом. Бежавшие следом за ними другие солдаты испуганно шарахнулись за угол здания.

Андрей одним духом взлетел по каменным ступенькам мимо мраморных львов и скрылся в подъезде.

XXXV

Капитан Батурин видел из расположения батальона все, что происходило в роте. Он видел, как противник начал артподготовку — и все затянулось клубами

бурого дыма. Как тремя волнами прошли юнкерсы и, сбросив груз, вздыбили землю, подняв к небу косматую мглу. Как потом выскочили из темной тучи согнутые фигуры красноармейцев, убегавших к берегу, к землянкам. За ними бежали эсэсовцы в черных фуражках, ложась на землю, опять вставая и неуклонно приближаясь к высокому белому зданию, стоявшему на красноватом гранитном цоколе, на взгорье.

По густоте орудийных вспышек и кучности разрывов, по ожесточенности ружейно-пулеметной перестрелки и волнообразному движению атакующей немецкой пехоты, капитан мог судить о главном направлении штурма. Теперь уже было ясно, что он захватывал не только одну роту, а распространялся на весь батальон. И над другими ротами вставали черно-белые кусты разрывов.

Но все же там дым вился не так густо и разрозненная стрельба не сливалась в кучный, залповый огонь. В фланговых атаках немцев не чувствовалось упругости и силы, а скорее была какая-то обдуманная вялость. Пехота вставала и шла на штурм, но при первых же винтовочных выстрелах послушно залегала. И капитан Батурин еще раз скользнул беглым взглядом по флангам и больше не стал на них смотреть, поняв, что не здесь противник добивается успеха.

Он добивался его в центре, там, где была рота брата. Капитан так и назвал ее в своих мыслях — рота брата, и с покорным чувством подумал об этом. Пора было и ему привыкать к перемене в своей жизни. Вот и Тиунов уже стал вести себя с ним так, как будто они совсем чужие люди. Или, быть может, щепетильный Хачим, почувствовав в нем командира батальона и начальника, не хочет, чтобы его дружеские чувства были истолкованы по-другому?

Он уже не сомневался в том, что атаки на флангах были лишь отвлекающими демонстрациями, а все усилия немцев будут сводиться к захвату здания, стоявшего на взгорье. Он с уважением подумал о том офицере противника, которому принадлежал этот замысел. Должно быть умная голова была у этого немца. На его месте капитан поступил бы точно так же. Это было самое узкое место осажденного пятачка и самый короткий путь к Волге. И они еще в новом месте стремились выйти к реке, чтобы занести огневой нож над переправами.

Но белое здание с своими мраморными львами в подъезде сторожило все подходы к Волге. И естественно, немцы хотели поскорее стать хозяевами этих львов.

Он вскинул к глазам бинокль, подумав, что и тут они решили прибегнуть к своему излюбленному узкому клину. Положительно они повторялись. Он вспомнил, что и в первые дни войны они непрочь были применить таран. В сущности он не так уж нов. Что-то было в нем от «тевтонской свиньи» средневекового ордена меченосцев.

Вот тут он не мог согласиться с этим башковитым немцем. Повторяясь, немец в сущности оставил на флангах очень мало сил, и в нужный момент их могло нехватить для прикрытия основания клина.

Но в центре у немцев, судя по всему, не было недостатка в силах. Несомненно, сюда они постарались стянуть все, что имели. С поразительной густотой вставал там лес артразрывов и с губительной методичностью наращивался напор пехоты. Волна за волной она выкатывалась из улицы на берег. Скоро весь берег был усеян светлозелеными куртками, как блеклой осенней листвой. А из жерла улицы выливались новые волны пехоты, штурмуя берег и резко блистая в лучах утра ослепительной чернью гренадерских узких погон на мышастом поле солдатских курток.

Положение осложнялось. Капитан ощутил в себе знакомое чувство внутренней собранности перед лицом угрозы. Он любил в себе это чувство, когда каждая клетка тела напрягалась, как будто начинала звенеть, а голова становилась холодно ясной и легкой.

А сейчас он чувствовал в себе больше оснований оставаться спокойным. Он подумал, что, может быть, именно в этом состояло преимущество его нового положения командира батальона. Там, в роте, он управлял небольшим числом людей и огня и в опасные моменты всегда надеялся на призрачную помощь соседей. А теперь он мог сам привести в движение этих соседей и заставить их поддержать друг друга. И все это давало ему возможность быть в своих действиях более уверенным и гибким. Он еще раз пробежал глазами по задымленному рубежу и послал связных сказать командирам фланговых рот, чтобы они крепко держались.

Услышав журчанье телефона, он спустился в блиндаж и взял трубку. Его ухо обожгло разнородными звуками — шипами, свистами, надсадным воем. Все же он уловил прерывающийся голос командира полка. Он с трудом пробивался сквозь свисты и трески, точно издалека.

— Хозяин интересуется, как у вас погода? — проскрипел майор Скворцов.

В дивизии был заведен условный язык для телефонных переговоров. Хозяином именовали командира дивизии, генерала. Командиры полков назывались отцами. Каждый отец, как в старой русской сказке, имел старшего, среднего и младшего сыновей. Одним из этих сыновей теперь был капитан Батурин. Его должны были слушаться внуки, командиры рот. А еще вчера он сам назывался внуком.

— Погода изменилась, — сказал капитан.

— Жарко? — спросил майор.

— Жарко, — ответил капитан.

— Ну вот, я ведь говорил, что будет жара, — удовлетворенным голосом сказал майор. Точно было что-либо хорошее в том, что немцы начали штурм. Но капитан Батурин его понял. Во всяком случае это было лучше неопределенности и томительного затишья..

— Младший внук болен, — помолчав сказал капитан.

— Вижу. Огня прибавить? — спросил майор.

— Пожалуй, — ответил капитан.

Он положил трубку и, улыбнувшись, подумал, что посторонний человек, слушая их разговор, пожалуй, решил бы, что они сошли с ума. Но был свой убедительный смысл в этой наивной условности телефонных переговоров, в обстановке городской тесноты, где смешалась и подчас переплелась вместе проволочная связь своих и врагов.

Вскоре за Волгой из лесу густоголосо загудели пушки. Вначале артиллеристы не рассчитали — и разрывы покрыли землянки красноармейцев. Но потом наводчики перенесли огонь — и снаряды стали рваться среди зеленовато-серых курток немцев. Они залегли, и берег совсем позеленел.

Капитан начал звонить в роту. Ему ответил испуганный голос Василия. Слов нельзя было понять, и капитан разобрал только одно:

— Отходим, — захлебываясь, крикнул Василий

Капитан подумал, что ему так и не дали поговорить с братом при их встрече. И беспокойство капля за каплей стало просачиваться в сердце капитана. Он вспомнил молодость брата, его неуравновешенность и горячий характер. Это мешало ему еще в детстве в отношениях с товарищами и в семье. «Буйная твоя головушка, Николай», — бывало говорила ему мать И сейчас, когда нужно было иметь спокойный, ясный рассудок, эта черта характера могла принести ему только вред.

К этим мыслям примешивалась растущая тревога за судьбу роты. Столько было вложено в нее труда, бессонных ночей, сердечного тепла и крови людей. И вдруг окажется, что с его уходом в один день все это пойдет прахом. Значит все держалось только на нем, на одном человеке? И значит никуда он не годился как воспитатель роты?

Он достал папиросу и, сдвинув брови стал высекать зажигалкой огонек. Фитилек не загорался. Он с досадой бросил зажигалку в карман, спустился в блиндаж прикурил у связиста и опять вышел наверх.

Вскоре прибежал Василий Он где-то потерял свою фуражку, прихрамывал и придерживал рукой ухо. Сквозь пальцы темными, густыми струйками просачивалась кровь.

— Товарищ капитан, нас отрезали, — задыхаясь, сказал Василий. Он поморщился и помотал головой, придерживая рукой окровавленное ухо. На нем не было лица.

— Ну? На вот, перевяжи. — нахмурился капитан, доставая индивидуальный пакет.

— Лейтенант просил помощи, — Василий, вытягивая шею, неумело обматывал голову бинтом. На бинте тут же выступали рыжеватые пятна крови.

— Погоди. Дай я, — наблюдая за его движениями, сурово сказал капитан. Он разорвал бинт и затянул концы на макушке Василия тугим узлом. — Чем это тебя?

— По дороге волной шибануло. Сволочи по одному человеку из пушки лупят. Он просил скорее, товарищ капитан.

— А что у тебя с ногой? Почему хромаешь? — точно не слушая его, сердито спросил капитан.

— Оступился. В лунку попал. Там все на ниточке держится, товарищ капитан.

— Передай, чтобы помощи не ждали. У меня резерва нет, — медленно сказал капитан.

— Как же без помощи, товарищ капитан, — заволновался Василий. — Погибнет рота.

— Так и скажи: резерва, мол, нет. Пусть держатся, — чуть побледнев, повторил капитан. — Впрочем подожди. Тебе незачем туда итти. Я пошлю другого связного, а ты отправляйся в госпиталь.

— Какой там госпиталь, — Василий замахал руками. — Меня там ждут.

И, ковыляя, он побежал обратно. Перевязанная бинтом голова Василия замелькала в извилинах узкой траншеи.

Вскоре ему надо было перебежать через открытое место. Вероятно наблюдатели противника заметили его, и совсем близко от Василия заплясали кусты разрывов. Он падал на землю и полз, по-ящериному извиваясь всем телом. Один раз снаряд разорвался совсем близко от Василия и его застлал дым.

Капитан вздрогнул и подумал, что он убит. Он вспомнил, что Василий был единственным сыном матери, и она часто писала ему из деревни письма, с трогательной ласковостью называя его в них Васильком.

Но дым рассеялся, и капитан увидел, что Василий продолжает ползти вперед. Ему удалось пересечь опасное место, и он опять скрылся в траншее. И капитан вообразил себе, что вот уже он, должно быть, стоит перед братом и говорит ему, что нет резерва. И капитан попытался представить себе лицо брата при этом известии.

Капитан подумал, что в сущности ведь он сказал правду. У него была резервная рота. Но она уже не смогла бы помочь брату, а, пожалуй, сама бы погибла. И, приказав разделить резервную роту на два взвода, он направил их на фланги.

Опять заворчал телефон. Он взял трубку, и голос майора Скворцова сквозь трески и завыванье проскрипел:

— Тут к нам утюжки подошли. Я сейчас сам подброшу.

— Утюжки? — не сразу понял капитан

— Ну да. Танки, — отбрасывая условность, сердито и громко сказал майор. — С десантом. Понятно?

— Понятно, — сказал капитан.

— Пора им крылышки обламывать. Как ваш внук?

— Сейчас иду к нему, — сказал капитан.

— Ага. Подождите танков и идите с ними. Скоро и я буду.

И майор Скворцов повесил трубку.

XXXVI

В красных лучах солнца большим костром пылал лес на левобережье Волги. Оттуда, не переставая, били батареи. Гулкое лесное эхо подхватывало их голоса и несло над рекой. Капитан видел, как встали с земли и во весь рост побежали к белому зданию гренадеры в черных фуражках. Он взглянул на часы. Что-то не подходили обещанные майором танки.

Из второй линии окопов роты выскочил боец и тем же путем, что недавно Василий, побежал в направлении батальона. Но выбежав на открытое место, он взмахнул руками, упал и больше не встал. Дважды он пытался приподнять голову и потом затих.

Капитан подумал, что, должно быть брат опять послал связного за помощью. И тревожные мысли всколыхнулись в нем с новой силой.

Он вспомнил, что брат всегда и во всем удачлив. Жизнь давалась ему легко, словно шутя. Он шел ей навстречу чуть вразвалку широко раскрыв руки и покачивая своей кудрявой головой, с неотразимой, ласковой синью в глазах. В школе он был первый ученик, хотя и не знал, что такое сидеть за книжками «И охота тебе зубрить», — говорил он старшему брату которому все давалось неизмеримо труднее.

В юности он не искал девичьей любви и ласки. Она шла к нему сама, привлеченная веселой песней и небрежно ласковой усмешкой, не сходившей с его уст. Он не был лентяем, но любил только ту работу, что была ему по душе. И когда комсомол послал его по мобилизации в Донбасс, он через месяц ушел с шахты и опять вернулся в село. Его исключили из комсомола, но потом восстановили, после того, как он во время пожара на току подцепил трактором молотилку и сам, полуобгорев, выкатил ее из огня.

На собраниях он скучал, но никто не мог так сыграть роль на клубной сцене как Николай, станцовать и заставить звучать меха баяна. Он так и уехал однажды из села с заезжей группой актеров, не простившись с родными. Уже потом он прислал им письмо из театрального училища.

— Ну артист, — прочитав письмо, покачал головой отец. И по его тону нельзя было понять, что он имел в виду.

Вспоминая все это, капитан подумал, что наверное брат и на фронт пошел в первый день добровольцем, не особенно много подумав, а, должно быть, всерьез принимая войну за какое-то подобие театра. Трусость не лежала в его натуре, а в остальном он опять слепо положился на удачу, привыкнув быть баловнем судьбы.

И теперь, когда судьба от него отворачивалась, он легко мог заразиться унынием. Растерявшись, он поспешил ухватиться за помощь старшего брата. Но так как в помощи ему было отказано, он, чтобы спасти положение, легко мог совершить какую-нибудь безрассудную глупость и даже пожертвовать жизнью.

Капитан опять достал папиросу. Услышав металлический рокот и лязг, он оглянулся и увидел танки, входившие в лощинку за расположением батальона. Он послал связных передать командирам фланговых рот приказ переходить в атаку, а сам торопливым шагом стал спускаться в лощинку.

Тупые пологие грани танков тускло поблескивали и припахивали свежей масляной краской. Вдоль бортов и на изгибах срудийных башен угадывались неровные очертания закрашенных заплат и выступали головки стальных заклепок. Танки, вероятно, только что вышли из ремонта. Заплат было много, и капитан подумал, что наверное до этого они не раз побывали в горячих переделках.

Еще свежи были эмалевый блеск и запах защитной краски, ни одна царапина и вмятина не безобразили листовую броню машин и на башнях, точно отблески восходившего к зениту солнца, ярко и молодо алели огне-красные лучи звезд.

Танки вошли в лощину и остановились. На их покатых плоскостях расположились десантники. Капитан с удивлением обратил внимание на их одежду. Среди них не было ни одного в установленной форме армейского образца. На всех были надеты темные брезентовые спецовки, местами прожженные, пропитанные копотью и маслом. Капитан увидел и молодые, и уже пожилые лица, но у всех с одним, темным отливом старого металла. Они молча сидели на танках плечом к плечу, зажав между коленями автоматы.

Капитан подошел к сидевшему на последней машине человеку, с седыми усами, с резковатым профилем немолодого лица. Он курил трубку и, прищурив глаза, смотрел вперед, туда, где шел бой. Каким-то знакомым, устойчивым спокойствием по-

веяло на капитана от всей его суховатой, чугунного литья фигуры, от всего облика и сосредоточенной позы с длинной, прямой трубкой.

— Кто здесь командир десанта? — подходя к нему, спросил капитан.

— Я командир, — он вынул изо рта трубку и медленно повернул лицо.

— Захар Прокофьевич Безуглов?! — пристально вглядываясь в него с радостным изумлением спросил капитан.

— Я, — внимательно посмотрев на капитана, повременив, ответил командир десанта. Он тоже узнал капитана, и глаза его загорелись теплым блеском.

И, как тогда, они опять помолчали. Захар Прокофьевич воткнул в рот трубку и стал курить. Седоватые усы его, желтые на концах от табачного дыма, мерно поднимались и опускались. Капитан смотрел на него и вспомнил тот вечер, тихую слободскую улочку, раскрытые окошки домика, запах молодого тополя и строгое, грустное лицо дочери хозяина.

Капитану захотелось спросить Захара Прокофьевича о дочери, но, посмотрев на сосредоточенно молчаливое лицо старого рабочего, он ничего не спросил.

— Что ж, пора? — сказал Захар Прокофьевич.

— Да, пора, — ответил капитан.

Захар Прокофьевич вынул изо рта трубку и постучал гнездышком по люку танка. Из люка высунулась круглая голова в черном кожаном шлеме, в блестящих квадратных очках.

— Пора, лейтенант, — сказал Захар Прокофьевич.

Голова скрылась, люк захлопнулся, и спустя мгновенье где-то под броней танка возник густой рев. Лязгнули гусеницы. Зеленоватые плоскогранные машины стали разворачиваться и поодиночке выходить из лощины.

...Нет ничего в современной войне страшнее атаки танков — гусеницами против огневых порядков пехоты.

В облаке желтой песчаной пыли машины вырвались из лощины и ревущим стадом устремились в просвет улицы. Их встретили залпы пушек, стрелявших с открытых позиций прямой наводкой. Но танки уже врезались в массив гренадерской пехоты, и немецкие артиллеристы прекратили огонь, боясь поразить своих. Танки шли по мостовой, и за ними на булыжнике широкими полосами тянулись темные следы крови, смешанной с гарью и с машинным маслом.

Они и правда были похожи на огромные утюги. Гренадеры в мышастых куртках повернули назад, отхлынули от здания и побежали по улице вверх в город. Их настигали грохот, рев моторов, обжигающее дыхание разъяренного металла.

Серые куртки зигзагами метались среди каменных стен, уходя от погони. За ними зорко следили умные, холодные глаза из узких смотровых щелей, прорезанных в стальной броне. С легкостью, удивительной для своих размеров, танк поворачивался на месте, и, переваливаясь на гусеницах, находил беглецов.

Напрасно настигнутый гренадер, повернувшись к машине лицом, простирал кверху руки и побелевшими губами беззвучно взывал: «Мутер-мутер». Его заглушал рев взбешенного металла. Сталь не знает пощады. Танк подминал его под себя и проходил дальше, оставив на мостовой кровавый след.

Гренадеры убегали к перекрестку, надеясь укрыться в спасительных развалинах кирпичных стен. С танков попрыгали десантники, и улица огласилась трескучей скороговоркой автоматов. В рядах автоматчиков мелькала сухая, плечистая фигура Захара Прокофьевича Безуглова и слышался его негромкий, спокойный голос.

А из поперечных переулков справа и слева, вдруг с криками выскочили наперерез бегущим красноармейцы фланговых рот, зажимая их в тиски и перекусывая основание немецкого клина.

...Капитан Батурин спрыгнул с последнего танка и побежал в блиндаж, на командный пункт роты. В дверях блиндажа он столкнулся с братом и увидел у него в руках автомат.

— С автоматом? — останавливаясь и вглядываясь в бледное лицо брата, иронически спросил капитан.

— Володя! — дрогнувшим голосом сказал брат.

— Я тебе не Володя, а командир батальона, — покраснев, отрубил капитан Батурин. — Ты офицер или рядовой?

— Володя, — повторил брат.

— Молчи. Я все знаю. Бравируешь. С биноклем под пули лезешь. Позируешь, а потом хнычешь, просишь помощи?! — Капитан помолчал, думая, как бы ему посильнее оскорбить брата и припоминая слово, которым его дразнили в детстве. — Чухлятина! — вспомнил он. И с наслаждением еще раз повторил: — Чухлятина.

Лицо брата волной смывала бледность. В углу блиндажа стоял Крутицкий с испуганным лицом. У двери жался Василий с головой, обмотанной пропитанной кровью повязкой, точно красной чалмой.

— Где Тиунов? — оглядываясь, спросил капитан.

— Он остался у саперов, — неуверенно ответил Василий.

В эту секунду далекий, раскатистый взрыв содрогнул землю и заколебал стены блиндажа. Сверху, сквозь бревна струйками зашуршал песок.

Василий выбежал наверх и через минуту вернулся с обрадованным лицом.

— Немцы хотели в развалины уйти. А наши саперы взорвали мины. Там похоронили их... — он захлебнулся и опять убежал наверх.

— Где же Тиунов? — с тревогой повторил капитан.

— Я здесь, — ответил с порога веселый голос, и Тиунов вошел в блиндаж. Лицо его осунулось и под скулами залегли темные, лихорадочные тени, а мерлушковая папаха и плечи были обсыпаны землей и красноватой кирпичной пылью. Но глаза его возбужденно блестели.

— Почему раньше не взорвали мины? — резко спросил брата капитан. Он с горечью повернулся к Тиунову: — И ты, Хачим. А я на тебя надеялся...

— Он меня предупреждал, — тихо сказал брат.

Тиунов промолчал, отошел в сторону и усиленно стал счищать ладонью пыль с рукавов и плеч.

Дверь блиндажа открылась, и майор Скворцов, переступая порог, пытливо пробежал глазами по всем лицам.

— Что, передрались, братья? — усмехнувшись, спросил он. — Ну ничего, это на пользу. А вы бы лучше шли наверх, посмотрели, как там их саперы угостили.

XXXVII

Андрей вбежал в комнату и увидел Петра.

Он лежал у окна на боку, поджав колени, подложив под голову руку. В его позе, в покойном и ясном лице было что-то мирное, как у спящего человека.

Андрею показалось, что грудь Петра медленно поднималась и опускалась.

— Петр!

У подножья здания звучали на мостовой гулкие шаги, трещали автоматы, раздавалась немецкая речь. Андрей оглянулся на дверь, опять посмотрел на Петра и сделал шаг к пулемету. Он выглянул из окна и, взявшись за рукоятки пулемета, провел вдоль улицы длинной струей. Бежавшая к зданию немецкая цепь залегла.

Он бросил пулемет, опустился на колени перед Петром и перевернул его на спину.

— Петр! Петя!!

Голова Петра безвольно мотнулась, а рука откинулась и ударилась костяшками пальцев об пол. По его лицу текли блеклые, желтоватые тени.

Андрей отстегнул от пояса фляжу и побрызгал ему на лицо водой. Мелкие слезинки засияли на темнорусых ресницах Петра. Андрею почудилось, что ресницы чуть вздрогнули.

Он пробежал руками по телу Петра, нащупал на гимнастерке на левой стороне груди темное клейкое пятно и на лопатке другое, влажное пятно, а ниже, в складках гимнастерки — маленький твердый комочек.

Он поднес его к глазам. Это был маленький шрапнельный осколок, крохотка окровавленной стали. Она прошла через тело Петра и на излете, потеряв силу, запуталась в складках одежды. Осколочек еще хранил в себе легкое, тающее тепло.

Андрей хотел снять с Петра гимнастерку и осторожно стал поднимать ему руки. Но из его груди вдруг вырвался сдавленный хлюпающий звук. Струйка темной крови вытекла из-под его спины и побежала по полу. На лицо Петра стала быстро надвигаться лиловатая тень.

Андрей лихорадочно достал из кармана нож и разрезал гимнастерку Петра сверху вниз. Слева, чуть повыше соска, он увидел у него на груди маленькое пятнышко — темную звездочку, обугленную по краям. Из крохотной ранки упругими толчками выливалась кровь, текла по груди под спину Петра.

Андрей припал ухом к его груди. Все внимание Андрея в этот момент ушло в слух, и он услышал слабое биение угасающей жизни. Он достал индивидуальный пакет, приподнял подмышки стяжелевшее тело Петра, подпер его коленом под спину и стал разматывать бинт. Одной рукой ему надо было поддерживать Петра, а другой обводить бинт вокруг его тела.

Улица под окном полнилась звуками штурма: взрывами, криками, стрельбой.

Андрей туго завязал бинт на груди Петра и опустил его на пол. Петр лежал на спине, не шевелясь, откинув пронизанный лучами солнца русокудрявый чуб и положив вдоль туловища руки.

Андрей оставил его и опять подошел к окну. Цепь гренадеров в черных фуражках подбегала к углу здания и заворачивала крылом к подъезду. Андрей повернул на подоконнике максим влево под крутым углом и послал вниз почти отвесную очередь. Цепь упала на землю. Несколько солдат повернулись и, согнувшись, побежали по улице обратно.

Он повторил длинную очередь им в спины и вернулся к Петру. Он лежал все так же с безжизненно запрокинутой назад головой, с сомкнутыми ресницами, с которых стекали капельки прозрачной воды. Андрей вздрогнул. Ему показалось, что по виску Петра медленно потекла слеза.

Присмотревшись, Андрей вздохнул, разжал зубы Петра лезвием ножа и влил ему в рот из фляги воды. Она вылилась обратно, но в горле у Петра что-то забулькало, и желтоватая бледность стала медленно стекать с его щек, а на скулах зацвел легкий, тонкий румянец. Андрей уловил короткий, слабый вздох.

Он внимательным взглядом осмотрел комнату, надел через плечо шинельную скатку Петра и автомат, взял с подоконника две гранаты и сунул их в карман. Нагнувшись над Петром, он несколько секунд стоял так в согнутом положении, неподвижно. Вся крепкая, коренастая фигура Андрея, с выступившими из-под гимнастерки мускулами рук и спины, круглая, курчавая голова с крутыми,

надбровными дугами и упрямым подбородком выражала сосредоточенность и раздумье.

Постояв, он повел плечами, встряхнул головой, разогнулся и подошел к пулемету. Солдаты в серых куртках бежали за угол здания. Андрей расстрелял в них всю ленту до конца и резким движением столкнул пулемет с подоконника вниз. Переворачиваясь в воздухе, пулемет долетел до мостовой и, лязгнув, ударился о камень.

Он еще раз пробежал взглядом по комнате, и, подняв Петра на руки, как ребенка, вышел с ним на лестничную площадку.

В огромном, пустом здании было тихо. Эту тишину оттенял напряженный гул, проникавший с улицы сквозь толщу каменных стен. С выстрелами сплетались крики, топот ног. В подъезде здания поднялась возня. Звякало оружие, кто-то глухо, зубовно застонал.

— Ой, да что же это такое, — по-русски произнес удивленный голос. И протяжно, с захлебом, вздохнул. Что-то тяжелое ударилось о камень, заворочалось и мягко покатилось вниз по ступенькам.

— Андрей, оставь меня, беги, — открывая глаза, звенящим шопотом сказал Петр.

Андрей скосил на него глаза, молча приподнял его на руках и, нащупав ногой край ступени, шагнул вниз.

Петр закрыл глаза и откинул голову назад. Его чуб свесился в сторону и открыл маленький розоватый шрам. Ноги Петра в тяжелых солдатских сапогах били Андрея по бедру. Он ощупью находил край гранитных ступеней и медленно, мягко, спускался по лестнице, стараясь не колыхать Петра.

Внизу хлопнула дверь. Треск автоматной очереди звучно рассыпался в здании, и по каменному паркету зашелестели шаги. Андрей заглянул через барьер лестницы и увидел внизу двух немецких солдат. Они стояли на паркете и, задрав головы, осматривались. Из дверей подъезда входили с улицы новые солдаты.

— Was? — громко спросил веселый, молодой голос.

— Gut, — удовлетворенно ответил другой.

Андрей прислонил Петра к каменному барьеру лестницы. Поддерживая его одной рукой, он другой рукой достал из кармана гранату и, выдернув чеку, бросил ее вниз. Со свистом она полетела в пустой пролет. Взрыв гулко раскатился под сводами здания, многократно усиленный эхом. Немцы, как серые мыши, юркнули под лестницу. На разбитых плитках паркета медленно расползалось большое темное пятно.

Андрей быстро спустился с Петром вниз на один этаж и остановился. Он вспомнил, что в левом крыле здания был другой подъезд. Он стоял, раздумывая, с Петром на руках.

Внизу опять послышались звуки голосов. Залпами затрещали автоматы. Пули пропели близко от Андрея и с визгом зарикошетили вверху по железобетонному перекрытию здания. На Андрея посыпалась цементная пыль.

Он отшатнулся от барьера лестницы. Снизу по ступеням зашелестели торопливые шаги.

— Уходи один, Андрей... брось, — не открывая глаз, внятно произнес Петр.

Андрей крепче сжал его в руках и решительно свернул в левое крыло здания. Он почти побежал, стараясь все же мягче нести Петра. Он слышал, как за его спиной множество ног побежало по лестнице наверх и удивленный голос сказал по-немецки:

— Никого.

— Ловушка! — помолчав, ответил другой голос, и шаги опять зашелестели вниз.

Андрей бежал по узкому коридору, сопутствуемый немым раскатистым эхом. В коридоре стлался мутный полумрак. Кое-где дубовый брусчатый пол был разбит и разворочен, и Андрей перепрыгивал через зияющие просветы. Балансируя, он пробежал по толстой железной балке. Он стремился добежать до поворота коридора раньше, чем его могла увидеть погоня. Эхо подхватывало сзади торопливый топот многих ног. Немцы, вероятно, догадались и тоже свернули в левое крыло здания.

Руки и ноги Петра тяжело колыхались, а лицо еще больше побледнело, и синеватая тень заострила его черты. Он словно очугунел и обвис на руках у Андрея. Андрей с усилием продвигался вперед и замедлял шаги, чтобы не упасть вперед лицом вместе со своей ношей. Шинельная скатка Петра давила ему спину, а ремень автомата, врезываясь в тело, жег плечо.

Андрей останавливался, пошевеливал плечами и шел дальше. Поглядывая на Петра, он видел, как последние, слабые пятна румянца блекнут на его щеках.

У самого поворота Андрей покачнулся, прислонился плечом к стене и прикрыл глаза. Вялость и безразличие на секунду овладели всем его существом. За его спиной в коридоре вырос гулкий топот ног, и он услышал злорадный возглас:

— Gefunden![1]

Андрей с усилием оторвался от стены, сделал еще несколько шагов и завернул за угол коридора. Отсюда дверь вела на лестничную площадку. Он остановился, опустил Петра на пол и прислонил его спиной к стене. Голова Петра свесилась на плечо.

Топот приближался. Андрей снял с плеча автомат, выглянул из-за угла и увидел в коридорном полумраке бегу-

[1] Нашел!

щие фигуры. Не целясь, он нажал на спусковой крючок, и автомат запрыгал в его ослабевших руках.

Солдаты шарахнулись назад и скрылись в конце коридора. Андрей подождал и, заметив опять неуверенно выступившие из темноты фигуры, расстрелял в них весь диск. Ему ответили из конца коридора разрозненными выстрелами. Пули просвистели над его головой.

Он оглянулся, услышав за своей спиной шорох. Петр вынул из кармана гранату и, судорожно цепляясь рукой за стенку, силился встать. Его широко раскрытые глаза блестели в полумраке, и в них отразилось мучительное напряжение, бессилие и боль.

— Андрей, — прохрипел Петр.

— Ну-ну, помолчи, — подхватив его под руки и опять прислонив к стене, дрогнувшим голосом сказал Андрей. Петр беззвучно пошевелил губами. В уголках его рта запузырилась сукровичная пена. Андрей влил ему в рот из фляги воды и, опять подняв на руки, как ребенка, вынес на лестничную площадку.

Сзади по коридору звучали выстрелы, шаги. Кровь промочила бинт на груди у Петра, просачивалась сквозь гимнастерку Андрея и текла по его телу... Он дошел до края площадки и стал нащупывать ногой край первой ступени. Лестница крутой спиралью уходила вниз.

В эту минуту в прилегавшую к зданию улочку откуда-то из направления Волги влился густой, скрежещущий рев моторов. Вверх по мостовой, лязгая гусеницами, среди выстрелов и воплей, прошли танки. До Андрея знакомыми переливами донеслось отдаленное и нарастающее:

— Рр-а-а, рр-а-а!!!

В коридоре шаги повернули и побежали назад.

Он тяжело привалился плечом к барьеру лестницы и с Петром на руках стал медленно и грузно спускаться по ступеням.

Спустя полчаса Петр лежал в их старой землянке.

В землянке держался мягкий, нежный аромат, исходивший от увядших венчиков степной полыни, еще давно рассыпанных на полу Андреем.

За это время их жилище почти не изменилось. Взгляд Андрея с грустью скользил по стенам землянки и останавливался на Петре. Он лежал на дощатой наре, молчаливый, большой, с суровым и бледным лицом. Из скупого отверстия в кровле землянки на лицо Петра падала тень пробегавших по небу облаков и то странно оживляла его, то придавала ему холодную замкнутость. Казалось, по его лицу пробегают отблески различных чувств. Бурного нетерпения. Нежности. Гнева. Жалобы. Сдержанной боли. Любви.

Где-то далеко угасал бой. Андрей стоял у изголовья Петра и ловил его дыхание. Он не слышал, как открылась дверь и в полумрак землянки вступила тонкая белая фигура.

— Саша, — счастливым шепотом сказал Петр.

Она подошла и остановилась рядом с Андреем. Петр приподнялся на локтях. Сумеречная тень сбежала с его лица, оставив на нем сияющий блеск строгих, похорошевших глаз. Резким движением головы он откинул упавшие на лоб волосы, пошевелил губами и, побледнев, остановился. В груди у него что-то заплескалось и заклокотало.

Он подождал, сощурив потемневшие от боли глаза, и облизнул языком окрасившиеся кровью губы. Голос его медленно окреп, наполняясь внятной силой.

— Саша. И ты подойди сюда, Андрей, друг. Все можно в жизни забыть, но этого не забыть никогда. Ты настоящий друг, Андрей, я перед тобой был неправ. Помните, как вы в тот вечер играли, Саша? Вы так тогда играли. Помните ночь, пожар и звуки плывут из окна в город. Потом закричал раненый. Меня тоже ранили. Андрей... Подойди ближе, я виноват, прости... Ты слышишь эту музыку? Саша, я люблю вас. Я очень давно вас люблю... Брось меня, Андрей, беги... Саша Андрей, вы слышите, это море...

У Петра начинался бред.

ЛИРИКА

ВЕРА ЗВЯГИНЦЕВА

★

Всю жизнь у жизни мы в долгу.
Как отплатить за все, что снится,
За все закаты, все зарницы,
За все костры на берегу?!
Я, неоплатная должница,
Об этом только петь могу.

Я знаю истину одну,
Что каждый вдох и выдох — счастье,
Что все обиды и напасти
Бурлыжником идут ко дну,
А крепкие выносят снасти
Корабль на чистую волну.

И эта грозная война
Навек останется примером
Того, что жизнь не изуверам,
А верящим в добро дана.
Как отплачу я полной мерой
За жизнь в тебе, моя страна?!

★

Если очень любить — всё не страшно.
Если очень хотеть — всё придет.
Не зови свою радость вчерашней,
Не веди огорчениям счет.

Даже в горькие дни отступленья
Мнилось: может быть, завтра умру.
Но огонь моего поколенья
Не погаснет на резком ветру.

А уж если такое снесли мы,
Пустяками души не тревожь,
Ненасытны мы, неутолимы,
Нас и смертью самой не уймёшь.

Что ж ты можешь, беззубая старость.
Чем ты хочешь меня одолеть?
В несгораемом сердце осталась
Золотистая звонкая медь.

Этолью колокольчик поддужный, —
Пусть расскажет напоследях
Всем, бредущим дорогою вьюжной
О прямых, о широких путях.

Насулит небывалого счастья
Тем, чьи вёсны давно отошли.
Одного лишь хочу я: участия
В стройном хоре воскресшей земли.

★

День стоит большою чашей.
В чаше дивное питье.
Отчего же ты все чаще
Скучно смотришь на нее?

Или жажда оскудела,
Или сам же ты в вино,
Обижая винодела,
Сыплешь горечи зерно?

У меня ж одна досада,
Что не все мои друзья
Слышат сладость винограда
В терпком холоде питья.

В ЛЕСАХ СМОЛЕНЩИНЫ*

Т. ЛОГУНОВА

Литературная обработка А. Татаровой

★

ПОЛОВОДЬЕ

Немцы все отступали от Москвы. Шумели полые воды. Дороги Смоленщины стали непроходимы. Немцы метались в поисках путей отступления: проселки размыло вешними водами, большаки были оседланы партизанами. Партизанское движение росло. В районах Слободском, Исмидовском, Велижском, Пречистенском, Порховиринском, Понизовском, Касплянском, Ильинском не было такого двора, из которого бы никто не ушел партизанить. Шли все: мужчины, женщины, девушки, подростки. Небольшие партизанские группки, организованные в 1941 году, выросли в мощные отряды, объединенные штабом. Создавались партизанские полки, бригады, они громили и громили врага.

Наш штаб расположился в Слободе. Здесь все будило во мне воспоминания о Петровиче, о Петушке, о матери. Теперь немцы боялись и нос сюда сунуть, выстрела не услышишь, бои идут за десяток километров.

Меня назначили инструктором по комсомолу. Я ожила. Всю себя, весь опыт и знания отдала работе. Но товарищи мне давали больше, чем могла дать им я — они мне давали бодрость, силу, с ними я забывала о своем горе.

Бурный рост партизанского движения требовал огромной политической работы. Мы брались за нее голыми руками — ни газет, ни литературы, даже простой писчей бумаги для листовок, и той нет! Командир группы отрядов решил послать меня за всем этим в штаб 4-й ударной армии, той самой, которая прогнала немцев из-под Москвы на 400 километров и сейчас била врага под Велижем, бок-о-бок с нами. Партизанский край теперь почти смыкался с Красной Армией. Мы с Мишей Хайрединовым должны были перейти фронт.

Все тропки знакомы и леса обжиты, но после ранения я была уж не прежним ходоком — все тянуло остановиться, передохнуть. В лесу еще лежал местами снег, а рядом цвели подснежники. Я старалась не смотреть на них, они напоминали о детстве и о моих школьниках: бывало, натащат подснежников полон класс...

Мы шли молча, подходили к немецкой передовой линии фронта, когда уже совсем стемнело. Ночной легкий морозец прихватил талый снег, ступать приходилось осторожно, чтобы не обнаружить себя. В лесу было тихо, и немецкую речь мы услышали издали. Вот и река Ельша, здесь начиналась передовая.

Поле, освещенное луной, походило на исчерченную географическую карту, так было оно изрыто окопами и ДЗОТ'ами, куда итти — трудно разобраться. Вдруг тишину расколола пулеметная очередь. Миша рванулся, лег. Я присела, но лед подо мною хрустнул, и сразу затарахтели пулеметы. Миша пополз влево, к кустам. Я осталась на месте — старалась уточнить, откуда стреляют. Трассирующие пули летели над нашими головами, немцы еще не обнаружили нас, но уже почувствовали наше присутствие. Я поползла вслед за Мишей. Пулеметная стрельба стала еще интенсивней, немцы растревожились не на шутку. Эту шумиху услышали за рекою, на нашей стороне. Оттуда забухали орудийные выстрелы, будто Красная Армия вступилась за нас.

За рекой лежала черная полоса леса, в лесу и находились наши части. Рукой до

* См. «Новый мир» № 10 с. г.

них подать, только бы перейти реку. Она еще стояла у берегов но слышно было, как подальше бурлит и клокочет вода. Снаряд угодил совсем рядом с нами. Вода взвилась фонтаном, обдала нас с головы до ног.

Теперь о переправе нечего было и думать! Куда податься? Повернуть назад? Немцы все усиливали огонь. Справа шестиствольный миномет выбрасывал мину за миной, слева, совсем близко, не умолкала немецкая батарея, сзади резали пулеметы. Мы лежали молча, каждый думал об одном и том же. Но и думать долго не приходилось: луна бледнела, начнется рассвет — тогда нам конец...

— Айда на миномет! Вблизи он, как рыба на суше, бессилен, — сказал Миша.

Мы поползли по самому берегу. Немецкая стрельба заметно стихла. Вдруг Миша схватил меня за руку, прижался к земле: немец! Он шел прямо на нас, длинный, худой, шея вытянута вперед, точно и сейчас гитлеровский кнут гнал его на восток. Мы лежали не дыша. Расстояние между нами и немцем сокращалось. Осталось метров десять. Я вцепилась пальцами в землю, слышала, как скрипнул зубами Миша. Вот-вот немец обнаружит нас, а стрелять нельзя... Вот — заметил! Пригнулся. Замедлил шаг. Теперь ему или нам конец. Одним рывком Миша сбил его с ног. Немец не успел вскрикнуть, простонать. Только земля гудела от ударов его кованых сапог. Потом и это стихло. Мы оттянули труп к реке — чуть слышно всплеснула вода. Миша вытер руки о мокрый песок, лицо его свела гримаса отвращения — отвратительна необходимость убивать, отвратительны фашисты, вынудившие нас совершать убийства.

Мы продолжали искать переправу. Уже брезжит рассвет, а мы все еще не можем попасть к своим. В стороне что-то чернело — может быть там мы найдем укрытие? Миша пополз на четвереньках к этой черной точке, я — за ним.

— Кто идет? — окликнули нас по-немецки, и тотчас прозвучала короткая пулеметная очередь. В ответ затоворил автомат Миши. Пулемет замолк, но на смену ему поднялась стрельба со всех сторон. Слева от реки бежали трое. Увидали меня, залегли, осыпали выстрелами. Я выхватила из кармана гранату, поднялась во весь рост, бросила ее в немцев. Взметнулась земля, я потеряла из виду Мишу.

Стоял кромешный ад: гудело, рвалось, трещало, визжало. Пройти, проползти к лесу сквозь линию огня нечего было и думать. Путь лежал только к реке, а там трещал, кружился, ревел взломанный снарядами лед. Я отползала, вернее, пятилась к реке. Над головой моей проносились вихри, выли и визжали пули, мины, снаряды. У самой воды я замерла: надо было выяснить обстановку, что делалось там, откуда я уползла. Одновременно с трех точек отделились от земли небольшие группы врагов, в пять-шесть человек. Короткими перебежками они приближались к реке, стремясь, видимо, поймать меня. Когда броском одна группа бежала, остальные залегали и ползли. Они были уже совсем близко, рядом! Я дала длинную очередь из автомата по бегущим и тут же спохватилась, что потеряла много патронов. Но из группы в шесть человек назад побежали только двое. И смертельная опасность надвигалась на меня уже с двух, а не с трех сторон. Автомат мой, захлебываясь, делал свое дело. Когда стреляла я, немцы залегали, когда они стреляли, я вдавливала голову в песок. Сколько времени это длилось — не знаю, тогда мне казалось — вечность. Но вот, словно кто-то вырвал у меня из рук автомат, словно толкнули меня так, что я покатилась вниз и ударилась о бревна, прибитые водой к берегу. Ранена! — мелькнуло в моем мозгу. Нет, боли я никакой не ощущала, но в руке моей осталось только ложе автомата — ударили в замок, а я, покатившись, доломала автомат. На берегу стрелями, беснозались немцы, у ног бурлила, кипела вода. Я задыхалась. Подумала: бегу наперегонки со смертью. Врешь, перегоню!

Как бывает перед самым рассветом — ночь сгустилась. Стало темно, хоть глаз выколи. Теперь, пусть на какие-то минуты, но немцы не могли меня увидеть. До боли в висках я стала вглядываться в реку. По черной воде мчались льдины. Тот берег, где были наши, где было спасение, даже и глазом не угадывался. Вдруг огромная льдина, ломаясь о берег и ломая преграды на берегу, приостановила невдалеке от меня свое бешеное движение. Ревела вода у ее бортов. Мелкие льдины с визгом, грохотом разбивались об эту громадину. Сжав кулаки, я не спускала с нее глаз — подойди ближе, принеси мне спасение... Какое сегодня число? Погибну я здесь или сегодня увижу своих, ступлю на Большую землю?.. Меня оглушило ревом, обдало брызгами, не знаю — что еще было, но я прыгнула на льдину! С нее перебралась на вторую, еще бо́льшую. Эта дрожала вся, вскидывалась, как дикая лошадь. Но вот льдина остановилась, потом начала плавно кружиться на одном месте. Это длилось мучительно долго... Я вся продрогла, непреодолимо кружилась голова, поднималась тошнота, самое же страшное — светлел край неба! Наконец, льдина качнулась и ринулась вниз, по течению. От неожиданности я вскинула руки, да схватиться здесь было не за что, крикнула с перепугу: Ми-иш-ка! и села на корточки. С какой невообразимой быстротой меня несло! Я сидела, сжавшись в комок, и думала, что худшего со мною не могло случиться. Но худшее стряслось тут же: ме-

ня подкинуло, залило водой — льдина наскочила на что-то и раскололась на части. Я очутилась теперь на маленькой льдинке. Мне было так страшно, как никогда, ни при каком обстреле — я неслась над черной пучиной, по самой середине реки, в глаза бил ветер, я боялась шелохнуться. Но вот река делает крутой изгиб, и здесь, в колене, лед еще стоял. Моя льдинка нашла, наконец, себе пристанище.

Я перескочила на плотный пласт льда, не чуя себя от радости, и кинулась к берегу... к Красной Армии. Я не бежала — летела...

Меня ввели в землянку. У стены, на топчане спал, сидя, человек в шубе, командир, видимо. Бойцы, приведшие меня, перешептывались — будить его или подождать?.. Он проснулся сам, сладко потянулся, развел руки ласточкой, встал, а глаз все не открывал. Не досыпает, — подумала я, — сильно и давно не досыпает...

Словно я вернулась в родной дом после долгой отлучки. Такая же землянка была и у Доватора, с такой же жадностью меня расспрашивали о делах в тылу врага. И как схожи сердцем русские люди! С меня сняли шубейку, стащили мокрые сапоги. Кто подставлял сухие валенки, кто укрывал плечи теплым тулупом, кто подкидывал в железную печку поленце. И каждый, втихомолку от других, рылся в своем вещевом мешке, искал чего-нибудь повкуснее, чтобы угостить меня. О чем говорили со мною — точно не помню, но не забыть слов, согревавших душу: сестренка, дочка, родная. Все они были свои, родные, и когда, напившись чаю, я стала клевать носом, кто-то положил меня, как Петрович, на топчан, кто-то укрыл, как мама, тулупом, кто-то петиным голосом проговорил: тише, черти! Умаялась, касатка.

В десятом отделе 4-й ударной армии я встретила Мишу Хайрединова, Мишу Малого.

— Здравствуй, льдинка моя, холодинка!.. — бросился он ко мне. — Впредь так не делай: умирать — так вместе. Я за тебя ответ несу перед командиром, перед памятью Шерстобитова.

Задание мы выполнили: связались со штабом армии, которому были впоследствии подчинены наши партизаны. Генерал Рудаков приказал своему адъютанту проводить меня в политотдел в деревню Кресты. По большаку Ильино—Велиж двигались наши машины, танки. Весенняя распутица тормозила наступление. Водители различных машин на все лады бранили распутицу — они рвались вперед, но «катюшам» с готовностью уступали дорогу. Меня поразило здесь многое: и слаженность движения, и стремление бойцов помочь друг другу, и внешняя подтянутость и опрятность красноармейцев, и мощность нашей техники, и разумная, осознанная каждым дисциплинированность. Как эта дисциплина разнилась от механизированной дисциплины немцев, напоминающих дрессированных зверей!

В Крестах было оживленно, по улицам, как на проспектах большого города, сновали военные. Дома разбомблены, выбиты окна, а настроение у всех бодрое, приподнятое — наступление!

Мне дали в политотделе газет, брошюрок, блок-нотов, даже карандашей. Я пожадничала, набрала всего столько, что тяжело было нести. Пришлось положить свое богатство на одну из подвод, везших раненых. В санях лежали молоденький старшина и пожилой сержант. Оба были ранены в ноги. Старшина спросил, кто я и откуда. Потом рассказал о себе:

— Под Велижем в разведке служил. Подползли к немецким окопам... забросали гранатами и ушли благополучно. Уже к своей линии обороны подходили, как, скажи пожалуйста, ранило меня в обе ноги... — он закрыл глаза, я подумала — уснул. Но бескровные губы его шевелились, он продолжал рассказ, — я и мог уползти к своим, да не хотел... не хотел!

Бредит, — решила я и положила руку на его лоб. Он открыл ясные, при ярком весеннем свете похожие на фиалки глаза и проговорил убежденно:

— Раненый никогда не должен уползать от врага. Что это за работа — чуть ранило, сразу забывать свои обязанности? Первую ночь я пролежал тихо, ослабел, потому стонать не мог. Но на вторую ночь приступил к делу. Вы меня слушаете?

Я рассеянно кивнула головой, — у меня не было особой охоты слушать бред. Старшина рассердился, сказал строго:

— Вы обязаны внимательно слушать: я хочу, чтобы комсомольцы в тылу врага знали, как мы, комсомольцы армии, торопимся их освободить. Так вот: на вторую ночь я приступил к делу. Автомат мой был в порядке, и я застонал. На мой стон пришли три фашиста. Разумеется, я их уничтожил. К утру мне стало легче настолько, что я смог еще три дня проползать на нейтральной земле. Стонал каждую ночь... Уничтожил всего четырнадцать... — Он снова прикрыл глаза, на лбу его выступил пот. Уже еле слышно он добавил: — Вы меня поняли? Вы не забудете рассказать своим товарищам?

Нет, я не много поняла из этого рассказа. На помощь пришел пожилой сержант, он объяснил, что раненные красноармейцы, если и приходится им остаться на поле боя, никогда не стонут. Это немцы орут, как недорезанные. Поэтому и на стоны старшины фашисты шли без всякого страха. Старшина подпускал их близко и убивал без промаха.

Неожиданно из-за леса появился вражеский самолет. Послышался свист, грохот.

Подводы остановились. Адъютант генерала Рудакова, прыгая в канаву, крикнул:

— Воздух! В канаву!

Я побежала к кустам. С самолета бросали бомбы в раненых и обстреливали из пулемета. Среднюю подводу разнесло в щепы, третью отбросило в сторону. Ездовой упал с саней, ноги его зацепились за вожжи, и, мертвый, он волочился по грязи за своей лошадью. Самолет сделал еще один круг, летел так низко, что видел был летчик. Вдруг раздался винтовочный выстрел, второй, третий. Юнкерс начал набирать высоту, но опоздал — мотор заревел с перебоями, словно поперхнулся, и вдруг заглох. Я кинулась к саням, на которые полчаса назад положила свой сверток. Пожилого сержанта в санях не было. Старшина лежал вверх лицом, весь в крови. Осколок бомбы попал в грудь. Я приподняла его голову. Остекленевшие глаза уже не походили на фиалки, рот был полуоткрыт. В стороне полз по грязи, волоча за собой винтовку, сержант.

— Это я его тряхнул... — проговорил он, показывая на догорающий юнкерс, — спасибо покойному ездовому — винтовочку свою в полном порядке содержал. — Он засмеялся прерывисто, удушливо. Глаза у него стали дурные, он сказал, цокая зубами: — Теперь, дочка, уходи: я ругаться стану, скверно заругаюсь...— и он начал выкрикивать путаные, бредовые слова, выстрелил в небо. На помощь мне подоспел мой спутник, штабной адъютант. Вдвоем мы уложили сержанта в сани и отвезли на ближайший медпункт.

Вот как он выглядел, наш передний край. Мы с Мишей Малым должны были перейти линию фронта, принести в тыл врага, в свои отряды советскую литературу и рассказать о героизме, которым живет Большая земля.

ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ БОЙ

Ночью шел бурный, весенний ливень — словно по нашему заказу. В районе Чепли разведчики вывели нас на нейтральную зону. Они завязали перестрелку с врагами, отвлекли его внимание, пока мы ползком переходили передовую. Глубина обороны в этом месте была невелика, и мы благополучно достигли Коревского леса.

Всходило солнце. Вдали уже виднелась крыша нашего штаба. Из-за пригорка навстречу нам выехали человек 12 верховых. Я издали узнала командира конного взвода.

— Куда, товарищ Жилин?

— В Преображенское, — ответил он. — С Духовщины двигаются на Демидов немцы. Преображенское — подходящая позиция для встречи их.

Не заходя в штаб, я поехала с ребятами. По дороге Жилин рассказал мне, что разведка отряда Феди Апретова обнаружила триста немцев, двигавшихся на Преображенское. Это фашисты перебрасывали живую силу из-под Смоленска к Велижу, где их войскам был нанесен большой урон нашей 4-й ударной армией.

Отряд Апретова мы застали в полной боевой готовности, партизаны с рассвета ждали врага. Конный взвод Жилина был поставлен в лесу, в резерв. День выдался ясный, теплый. Я вышла из лесу и направилась к церкви, где расположилась группа Сени.

Взглянув на мои промокшие в грязи сапоги, на пальто, в котором я переползала линию фронта, Сеня умильно сложил руки и воскликнул:

— Каких полей, какой долины ты украшением была?

Милый, добрый Сеня! Его неиссякаемое веселье, жизнерадостность, как талант в ином человеке, радовали и утешали всех, кто с ним соприкасался. Позже, когда попали мы в окружение, когда многие из нас не могли стоять на ногах от истощения, Сеня умел поддерживать в нас самообладание. В ту весну ему исполнилось 17 лет. Но — здоровяк, парень славного роста и мужественной души, он никому не казался юнцом, и ребята звали его «дядя Сеня».

День уже шел на убыль, и зябкая сырость поднималась от каменных плит паперти, а немцы все не появлялись. Я решила сходить к Феде Апретову — начальнику отряда, узнать, нет ли новых донесений разведки.

Федя без всяких предисловий начал разъяснять мне значение предстоящей встречи с врагом:

— Если Красная Армия нажмет у Велижа, то и Битебск вскоре будет освобожден. Неужели мы пропустим в такой момент триста фрицев к Велижу?

Потом разложил на земле карту, осветил ее карманным фонарем:

— Если они не пойдут по этому большаку, то куда же им податься? Нет, Таня, не волнуйся — мы их здесь сцапаем.

Была уже глубокая ночь, когда я покинула командный пункт. Слева от Преображенского серебрилось под яркой луною небольшое озеро, справа черной стеной стоял сосновый лес. Комиссар отряда пошел меня проводить. — Экая тишина, — сказал он, — и не успел продолжить — раздался топот, и перед нами, храпя и сбрасывая с удил пену, остановился конь. Это был опытный разведчик, юркий, подвижной Малешка, прозванный так за свой маленький рост.

— Комиссар, можно обратиться?.. Немцы в двух километрах. Идут группами по пятьдесят человек.

Комиссар с Малешкой поспешили к командиру, я же направилась к своим. Ре-

бята лежали на земле, неподалеку от церкви. Скучали. Никто, разумеется, не спал, но в томительном ожидании никакие разговоры не клеились. В сторонке, обнявшись с подругой, пела в полголоса девушка. Голос знакомый, но чей — вспомнить я не могла, и это сердило меня: какая же я разведчица, если теряю память на голоса, какой инструктор, если не знаю своих ребят? Я привалилась к дереву и почувствовала, как утомлена: ноги гудели, глаза словно песком засыпаны, требуют сна. Я покачивалась в такт наивной партизанской нашей песне:

...Не жди меня, родная, не печалься!
Мы в тыл врага с подругою ушли...
Письма не жди и мной не огорчайся.
Лишь на успех меня благослови.
Я вижу путь — широкую дорогу,
Она к тебе ведет. Но я
Свернула в лес... И к партизану-другу
Меня тропинка приведет.
Плечо к плечу я с партизаном стану,
Скажу ему: «Веди с собою в бой!».
Но и в бою мечтать не перестану:
Твой образ, мама, вечно предо мной.
Я там была — в родном колхозе,
Увы, родная, дома не нашла:
Пожарище одно... скворешня на заборе
Из всей деревни только и цела.
Скелет нашла я дедушки Антона —
Обугленный на дворнице лежит...

Песня оборвалась — за речкой раздался выстрел, потом пулеметная очередь. Мы вскочили на ноги, молча вслушивались: тихо... потом пропел где-то петух... снова тишина... Наконец вдали послышался какой-то гул. Ночь наполнилась шорохами, неясными звуками, чем-то неспокойным, что всегда предшествует ночным боям. А бой развернулся точно по плану Апретова Феди: посланный им взвод Савенкова зашел через деревню Цыганы во фланг врагу. Немцы бросились вперед, на Преображенское, этого мы и ждали! Отделение Шепелева подпустило врага к мосту и в упор начало расстреливать головную колонну. Уже рассвело, и мы видели, как немцы остановились в замешательстве. Пулеметчик Кожемякин выдвинулся вперед и расстрелял два десятка фрицев. Взвод Сени, в котором находилась и я, должен был до специального приказа стоять на месте, у церкви. Не легко ребятам было владеть собой, когда у моста, у речки кипел уже во-всю бой. Взвод Терехова залег у бугорка, взвод Козуноза — в лощине: немцев взяли под перекрестный огонь. И все же они ворвались в Преображенское. Маскируясь за стенами домов, они дрались ожесточенно. Мы видели, как под вражескими пулями падают наши. В глазах темнело от гнева, думалось — забыл командир о нашем взводе...

— Да что же мы глядим, как немцы комсомольцев бьют! — выкрикнул Сеня и ринулся вперед. Весь взвод бросился за ним.

— Сеня! Стой! — крикнула я и схватила кого-то за руку. Это оказалась медсестра Катя. Я подумала: «Вот она-то и пела!» Теперь оставаться нам вдвоем здесь было недело, мы побежали к взводу. Наши ребята залегли за изгородью и открыли огонь. Я старалась наблюдать за ними — кто и как ведет себя в боевой работе. На кого можно полагаться. Катя все хватала свою медицинскую сумку и охала: «Ах, нет винтовки»... Исход боя казался предрешенным, когда ухо уловило свист пуль с тыла. Так и есть — позицию у церкви, покинутую нами, заняли немцы! Что было потом — мне трудно рассказать: в атаке и себя не помнишь. Сеня повел взвод к церкви. Катя куда-то понесла раненого, потом снова очутилась подле меня. Жарко было. Нехватало секунды — проглотить глоток воды. Бились у церкви, бились у озера подле леса. К полудню я села обессиленная на землю, сказала Кате:

— Больше не могу...

Маленькая партизаночка Ядя засмеялась:

— А больше, Таня, и не надо: немцы вон бегут вплавь через озеро, ох, и холодно им сейчас!..

Я огляделась вокруг. Сутки прошли с тех минуты, как я присоединилась к комсомольскому взводу Сени. Какие сутки! Сколько кровных друзей из этого взвода приобрела я за двадцать четыре часа: смерть носилась над нами всеми, и все мы одинаково презирали ее, и все жили, дышали, дрались, охваченные одним чувством.

— Катя, — сказала я, — подставь мне твое плечо — у меня нет сил итти, а оставаться здесь противно: полно дохлых фашистов.

Мы шли тенистым оврагом втроем, Ядя с нами. Ядя — забавная девушка, девочка на вид: черная голова, глаза, как две черешни, и маленький яркий рот. Была она необычайно подвижной — то забежит вперед, то ползет по скату оврага вверх. Забравшись на гребень оврага, она вдруг присвистнула, как мальчишка, и тотчас сорвала с плеча винтовку — выстрелила.

— Ты что, Ядя?

— Фрица убила. На коне через поле драпал, — и побежала по полю ловить перепуганного коня. На него девчата и посадили меня, сами же шли рядом. Катя обняла Ядю и, словно не было боя, запела ту же партизанскую песню, какую пела ночью:

Не жди меня, родная, не печалься!
Мы в тыл врага с подругою ушли...

Ядя неожиданно и порывисто, как всё она делала, схватила мою руку и прижала

к своим глазам. Заговорила быстро-быстро, перемежая русскую речь с белорусской:

— Я знаю, Таня, вы не обманете меня. Как на могиле отца, скажите: будет Красная Армия, будут партизаны так же драться за мою Белорусь, как дерутся за свою Смоленщину?

Ядя была родом из Западной Белоруссии. Отец ее, старый коммунист-подпольщик, с 39 года до нашествия гитлеровцев, строил и укреплял на родной земле советскую власть со страстностью, которую унаследовала от него и Ядя. От фашистов он бежал со всей своей многочисленной семьей. Гитлеровские танки обогнали беженцев. В нашем районе фашисты поймали и замучили отца Яди. Мать пошла по дворам, нищенствовала, чтобы прокормить детей. Об этом узнал наш Шульц. И тогда партизаны его в одну ночь перекинули всю семью погибшего коммуниста-белоруссa в партизанский край, заодно угнав для этой семьи отбитую у полицая корову. Ядя тут же отправилась к Шульцу, попросилась в его отряд. Шульц и направил ее в отряд Феди Апретова. Я видела ее прошедшей ночью в деле — из нее выработался бесстрашный, ловкий и дисциплинированный боец.

Больно вспоминать сейчас Ядю — ее уже нет в живых, погибла в бою на подступах нашей армии к Берлину.

Мы добрались до какого-то села, раскинувшегося по берегу быстрой речонки. Я рассчитывала найти здесь, вблизи Преображенского, наш штаб. Но улицы были пусты, лишь женщина в неимоверно длинной юбке шла по теневой стороне.

— Ой, Таня, — дернула меня за рукав Ядя, — смотрите на эту бедную женщину: голову опустила, наверно — горюет.

Я смотрела уже давно на эту «бедную женщину»: из-под юбки выглядывали огромные немецкие сапоги.

— Стой! — крикнула я, соскакивая с лошади. Из-под платка, надвинутого на самые брови, на нас глянули перепуганные глаза, бритый подбородок подергивался.

— А платок — в крови! И юбка в крови! Убил, сатана, какую-то русскую женщину, чтобы спасти свою собачью шкуру! — негодовала Ядя.

Мы обыскали немца и заперли в пустой избе. Никого из партизан в этом селе мы не нашли, но зато выловили чуть не десяток фашистов. Вытаскивая тех, кто пробовал упираться, Катя приговаривала:

— Ах, неразумные какие! Разве же русский подпол чужого человека укроет? Разве же русская печка потерпит, чтобы под нею немец прятался? Ах, несмышленые!

А Ядя, бледная, с горящими глазами, прикрикивала на Катю:

— Не смей приговаривать им, как нашим раненым. Это же не люди, это — хуже всякой гадюки.

ВСТРЕЧА С ВОЛОДЕЙ КУРИЛЕНКО

Я отправилась в отряд Шлапакова. Шла по лесу через Демидовский район. Весна была теперь полной хозяйкой и на земле, и в сияющем небе.

Первый, кого я повстречала, придя в отряд Шлапакова, был комиссар Иван Иванович.

— Здравствуйте. Хорошо, что вы пришли, — сказал он, усаживая меня на завалинку. И сразу от тихого, спокойного голоса этого человека на душе у меня стало тепло. Он начал рассказывать о своих комсомольцах, прежде всего о Володе Куриленко.

Отец Володи, как и ядин отец, был уроженцем Западной Белоруссии, учительствовал всю жизнь в убогой, холодной и темной сельской школе. В 1939 году пришла Красная Армия. Дело было осенью. А к зиме под школу отвели лучший в округе дом и топили его так, что дверцы у печей раскалялись докрасна. И школьникам выдали обувь и обувь, и учитель Куриленко впервые в жизни не мерз и не голодал со всей своей семьей. От немцев-оккупантов он бежал. Но вынужден был осесть в деревне Выставка. Старший сын его, Володя, с благословения отца ушел партизанить и стал под руководством Ивана Ивановича лучшим подрывником отряда. На счету его числилась добрая тысяча гитлеровцев: он пустил под откос четыре эшелона с живой силой врага.

— Да. вот он и сам идет!.. — прервал свой рассказ Иван Иванович.

День уже угасал. В неверном сумеречном свете фигура юноши показалась чрезмерно вытянутой, хрупкой. На нем был старенький серый костюмчик — рукава и брюки коротки, как у подростка.

— Здравствуйте, — сказал он подросточьим же, ломающимся голосом, — как хорошо, товарищ Таня, что вы к нам пришли сегодня. Завтра моя группа идет подрывать железнодорожную линию Витебск—Смоленск.

Он говорил тихо и медленно, как бы прислушиваясь к себе. От всего его облика веяло правдивостью и зрелой, большой честностью. Но говорил он мало — был деликатен, как бы стеснялся навязывать себя в собеседники. Зато слушал внимательно. Иван Иванович рассказывал о последних боях, я заметила, он останавливается умышленно на таких подробностях, которые могут пригодиться нам при встрече с врагом.

Ночь спустилась ясная, но прохладная, какая бывает обычно, когда расцветают черемухи. Кругом пели соловьи, в лощине

надрывались лягушки. К Ивану Ивановичу подошел Целищевский. Его группа выходила сейчас на задание в соседнюю деревню, где стоял гарнизон немцев. Я решила итти с ним. Хотя и болели ноги, но ложиться спать не хотелось — эта ночь так напоминала ночи в родной Стабне! Казалось, вот выйдет, опираясь на палочку, Петрович и скажет:

— А лен-долгунец уже дал всходы, дочка! Что будет покупать в этом году школьная библиотека?..

Нет, в такую ночь все равно не уснуть, лучше итти в бой...

Мы вышли на поле. Всходы под луною серебрились, как речная гладь. Целищевский тихо насвистывал, подражая соловьиной трели, нагибался над молодыми побегами. Ему было лет 19, и всю свою жизнь он прожил на этой земле.

— Опять незасеянный клин! — сокрушался он. — А какое здесь было в прошлом году колхозное поле — глазом не окинешь!

Мы миновали поле, вошли в лес, сквозь деревья вдали поблескивало Акатово озеро. Деревенька Орлово точно жалась к серебристым водам его. По данным разведки, немцев в Орлове не было. Почему же гудят машины на большаке Диво—Холм? Откуда они взялись? Целищевский был уравновешенным, хозяйственным парнем, он никогда не позволял себе зарываться, не подвергал свою группу ненужной опасности. И здесь, прежде чем приступить к выполнению операции, он решил еще раз проверить, что делается в Орлове.

С нами шел мальчик лет двенадцати, Сережа. Его-то и решено было отправить на разведку. Но Сережа приумолк, стал прятать глаза от нас. Тогда я предложила Целищевскому свою помощь. Сережа обрадовался, схватил меня за руку: — мы с тобой живо справимся, мы одним духом... У околицы Орлова я заметила женщину — крадучись, она шла по огороду.

— Стой! — сказала я, выходя из-за куста. Она присела от испуга и не тотчас пришла в себя.

—...Немцы к нам приехали позавчера, — рассказала она. — Безобразия их всем известны — грабят, воруют, гадят, где попало. Ну а тут новинку выдумали: им сказали, что учительница Митрофанова помогает партизанам. Они не стали ее вешать или расстреливать... а раздели, бедняжку, донага и привязали к дереву у самого гнилого болота. Комары ее за двое суток съели, наверно. Не могу я спать, все про нее думаю. Вот и пошла со страхом отвязывать от дерева мученицу...

Я послала Сережу перерезать связь, после этого велела догнать меня в лесу. В деревне нам делать было нечего — мы узнали все необходимое. Женщина повела меня сквозь чащобу. Еще издали мы услышали стоны. Сквозь липкую молодую листву кустарника что-то белело впереди. Я бросилась туда. Моя спутница отстала. Я подбежала к дереву, росшему на опушке леса. Дальше, будто киселем покрытое, лежало под туманными испарениями болото. Там вопили лягушки. Но комариный гул у дерева, казалось, заглушал их вопли. Комары стояли над телом учительницы черным облаком. Едва я подошла к дереву, они облепили меня со всех сторон. «Пристрелите... пристрелите меня»...—стонала несчастная учительница уже и после того, как мы отвязали ее от дерева и одели кое-как. Она обезумела от боли. Смотрела на свою спасительницу, женщину, приведшую меня сюда, и не узнавала ее. «Пристрелите меня... пристрелите меня...». Лицо ее — бесформенная, раздувшаяся опухоль — было страшно, она со стоном царапала его ногтями. Я сняла с головы косынку, обмакнула ее в холодную воду лесного ручья и положила на лицо Митрофановой. Руки ей пришлось связать.

Майские ночи коротки. Нужно было торопиться. Я взяла учительницу под руку — сама она не могла итти, и мы направились к лагерю Шлапакова. Пришли только к утру. Митрофанова озиралась по сторонам сумасшедшими глазами, партизан она принимала за немцев и жалась в ужасе ко мне. Володя Куриленко, глядя на нее, кусал губы, сдается мне — ему стоило много усилий не расплакаться над муками Митрофановой. Он подошел ко мне.

— Платочек мне, Таня, дадите? — спросил тихо. — Ваш платочек, которым было прикрыто лицо Митрофановой. На память о вас и о ней. Вы знаете, я по-русски говорю только два года, а думаю на родном языке. Но когда летят под откос немецкие эшелоны, я слышу русское ура. Теперь я в русской комсомольской семье, и я знаю — мы дойдем до Берлина. Как благодарен я Ивану Ивановичу за то, что он обучил меня подрывному делу: наверняка бьешь врага.

Володя поднялся с земли, его подрывная группа уже была готова к отходу. Я вынула из кармана измятую косыночку и протянула ему. Он ничего не сказал, только кивнул головой. Я пошла следом за ним. В лесу стоял разноголосый птичий гомон, и день казался мне таким ясным и светлым, как душа этого юноши, почти мальчика. Володя вдруг обернулся, пропустил вперед товарищей и стал ждать меня.

— Таня, вы не уходите, пока мы не вернемся, а вернемся мы, увидите, с большим успехом... — Он чуть склонил голову набок, задумался, в задумчивости сорвал желтый, некрасивый цветочек и, словно испугавшись того, что он наделал, бережно положил цветок на место, к корешку. Сказал, смущаясь: — Вы подождите моего возвращения. — Снова кивнул мне и побежал догонять свою группу. Мне каза-

лось, что он похож и на моего Петушка, и на Федю Новикова и на Рустама.

... 13 мая я проснулась, как всегда рано. За эти три дня мне удалось не только отдохнуть, но и помочь товарищам выпустить боевой листок. К полудню пришла с операции группа Целищевского и принесла страшную весть: Володя Куриленко погиб. На подходе к станции Лелеквинская он пустил под откос немецкий эшелон с живой силой, был счастлив, весел, но группа, возвращаясь назад, столкнулась с отрядом немцев, и Володя погиб в бою. Его тело привезли на телеге в лагерь. Сняли с него серенький, полудетский костюмчик, весь залитый кровью. Рана в животе была заткнута моей косынкой, тоже пропитавшейся насквозь кровью.

Володя был воплощением юности, чистоты, беззаветного героизма и никогда не покидавшей его доброты. Потому и плакали по нем партизаны, не стыдясь своих слез.

Через несколько дней Володе Куриленко посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза. И сейчас в деревне Выставка стоит бронзовый бюст Володи.

НЕФТЕБАЗА В ГОРОДКЕ

Я получила приказ от товарища Возчикова, начальника оперативного отдела 4-й ударной армии, ознакомиться с работой белорусской партизанской молодежи. В это же время Надя Степанова шла с заданиями контрразведки в Витебск.

С вечера мы заготовили в дорогу по буханке хлеба и по мешочку соли. Спать легли в сенях, в соседней со штабом избе. Ночь прошла тревожно. Слышался бой, разъезжали по деревне дозорные. Пение соловьев перепле талось с пулеметными очередями. Сквозь дрему все эти звуки сливались в один гул, и чудилось, кто-то шепчет: «война, весна, война, весна». Надя лежала рядом. Я думала, она спит. А она вдруг тихо проговорила:

— Может, мы и доживем до старости, а Володя Куриленко будет жить дольше нас, о нем народ сказку сложит: жил-был юноша-воин, один уничтожил две тысячи фашистов.

В щели стал пробиваться свет. Я вышла во двор. Солнце еще не всходило, и над лесом стоял светлым облаком туман. В самый раз отправляться в путь. Надя собрала вещи, и мы отправились.

Шли лесом, ночевать в деревнях было опасно — места незнакомые, неизвестны и дислокации партизанских отрядов. Заночевали под старой, скрипучей сосной, усыпавшей землю толстым ковром игл. Мягко, как на матраце, и ночь теплая, ласковая. А утром снова отправились в путь. Шли и складывали вдвоем песню о молодой партизанке. Песня была длинная и грустная, особенно конец:

«Схороните тут на берегу...
Разгромите оккупантов силы,
Мстите за меня проклятому врагу...»

В Городок мы пришли рано. По пустынным улицам ходили только немцы. Машины стояли в вырубленных садах, на поросших травой огородах. Я шла, сильно хромая, Надя вела меня под руку. Она измазала себе лицо сажей и бесстрашно разглядывала немцев, прикидываясь дурочкой. А те не обращали на нас внимания, и мы благополучно разыскали в подвале разрушенного дома свою агентурщицу Валю Пильняк. Она должна была помочь мне попасть в 1-ю Белорусскую бригаду, а Наде указать наиболее безопасный путь к Витебску и Орше. Валя рассказала нам то, что было уже известно: в Городке немцы свирепствуют, стреляют даже в детей, если они приближаются к нефтебазе. Нефтебаза? Мы обе встрепенулись, глянули друг на друга. Надя поняла меня без слов, я — ее.

День отдыхали, чувствовали себя в полной безопасности: вход в подвал был искусно замаскирован кирпичом и разным хламом. Разузнали у своей хозяйки все подробности о нефтебазе.

Помещалась она в бывшем гараже райисполкома, рядом с колодцем. Немцы охраняли ее и не позволяли ходить за водой.

— В котором часу меняется смена? — спросила Надя.

— Так вы хотите... — догадалась, наконец, Валя и открыла в изумлении детский рот. Она была похожа на незатейливую куклу: маленькая, волосы льняные, а глаза синие, такие большие, что, казалось, она постоянно чему-то удивляется.

Сверху, с земли, донесся в подвал какой-то необычный звук. Валя полезла посмотреть, что там. Оказалось, под единственной яблоней, уцелевшей от большого сада, расселись во благодушии два фрица и один из них наяривает на губной гармонике победный марш.

— Очень хорошо,— воскликнула Надя.— Собери-ка мне, Валя, каких-нибудь грязных тряпок и дай корыто. Пойду знакомиться с фрицами!

— Не надо итти к фрицам, — ужаснулась Валя. — Они звери.

Надя, схватив корыто, вылезла из подвала. Я следила за нею через щель в двери, я любовалась ее бесстрашием, жизнерадостностью и ловкостью. Вот заработали в корыте ее крепкие, позолоченные загаром руки. Расчет правильный: немцы под яблоней загоготали, кивая на Надю, подталкивая друг друга. А Надя косила на них лукавые глаза. Наконец, «музыкант» не выдержал: сунул в карман гармонику,

вытер губы и направился к Наде. Она приветливо поклонилась ему:

– Здравствуй, пан!

– Драстата, матка! – закивал фриц и сел на пустую бочку из-под горючего. Надя вытерла лицо рукавом, показала на солнце:

– Жарко, пан, а работать надо! – Немец сорвался с места, залепетал что-то, начал тыкать пальцем в сторону яблони. Надя махнула рукой:

– Да разве ж там тень? В лес бы пойти, в поле... – Надя взяла фрица под руку, сделала два шага – гулять, мол, потом показала на небо и, наконец, защелкала соловьем.

Немец раскрыл от изумления рот: вот это искусство! Это вам не гармоника! – Колоссаль! – крикнул он товарищу и полез было обнимать Надю. Но она отвела его руку и показала на часы: вечером буду свободна, тогда пойдем слушать соловья (снова короткая соловьиная трель), а сейчас... вот она – грязная вода в корыте, а немецкие солдаты не пускают к колодцу. Фриц показал на пустое ведро: – бери, мол, сведу на колодец. – Сладкая девчонка! – похвастал он, проходя мимо товарища. По пути они договорились с Надей, что после дежурства, в одиннадцать, он зайдет за ней.

У колодца она одним взглядом охватила нефтебазу: откуда можно подойти и как уйти. Вернувшись, начертила мне план и рассказала: операция будет не из легких – место вокруг открытое. База охраняется со всех сторон. Рядом нет никаких построек, только пожарище – видимо, дом сгорел, осталась только печка. Нефтебаза большая, вокруг гаража – вплотную одна к другой – семь-восемь цистерн.

Мы стояли у кадки, опрокинутой вверх днищем. Оно служило нам столом, и на нем был разложен план нефтебазы. Валя спросила несмело:

– Вам поручено базу взорвать?

– Эх, милая, – вздохнула Надя, – поручено нам бить врага, уничтожать его запасы. И мне поручено, и тебе, и каждому честному человеку.

Валя не была партизанкой. Она... боялась оружия, боялась стрелять и сама вызвалась выполнять агентурную разведку. Эта работа очень ответственная. Агентурщик подвергается постоянной опасности, будучи к тому же безоружным. Валя, простая девушка, работала до войны звеньевой в колхозе, собиралась выйти замуж за тракториста Антона Шабуню. Но немцы сожгли колхоз, Антон был убит в партизанском отряде. Валя по заданию отряда перебралась в Городок, где жила в подвале впроголодь. При всей своей застенчивости и внешней робости Валя выполняла самые ответственные задания.

День клонился к концу. Надя волновалась, время, казалось ей, тянулось мучительно медленно. От безделия нам больше, чем всегда, хотелось есть. Хлеба у Вали не было, она наварила щавелю, мы поели его варево с аппетитом. Прошел тихий дождик, стало свежо и зелено кругом, птицы заголосили на все лады. Сидеть в подвале невмоготу. Вид мой не внушал подозрений – босая девушка, в стареньком платьишке. Я прошла к сельскохозяйственному техникуму. Он был разрушен. За ним во рву лежали трупы нескольких сот человек, расстрелянных немцами. Запах разложения прогнал меня прочь. Я пошла к полю, незаметно для себя ускоряя шаг, продумывала план предстоящей операции.

Когда я подходила к валиному жилью, солнце уже спустилось к лесу, и план предстоящей операции был мною детально продуман. Я изложила его девушкам.

... Стемнело. Мы с Валей пошли на берег речушки, туда же Надя должна была привести фрица. Условились, что она разыщет нас по совиному крику – кричать по-совиному научил меня Миша Шерстобитов.

Кто был партизаном, тот научился терпеливо ждать. Иногда – часами, сутками.

От реки поднимался туман, мы с Валей продрогли. Все сроки прошли, а Нади все не было. Я старалась не выдавать Вале своего волнения, но внутри у меня все дрожало. Думалось: вдруг немец, которого Надя позвала слушать соловьев, догадался обо всем, и ее схватили...

Валя прижималась ко мне, я чувствовала, как она время от времени вздрагивает. Туман над рекой стал седым, немели от холода ноги. Но вот невдалеке что-то хрустнуло. Я крикнула по-совиному и замерла. Послышались шаги – Надя! Я схватила ее за плечи, глянула в глаза. Она отвела их, улыбнулась натужно, горько. Расспрашивать ее сейчас нельзя было. Она дернула плечами – скинула с них мои руки и бросила мне под ноги большой узел. Сама же провела ладонями по мокрой траве и вытерла их о подол юбки. Потом сдернула с головы косынку и заговорила:

– Пришел пьяный... сразу стал тянуть в сарай... Еле уговорила пойти соловьев слушать. Ночь темная, но к кустам его никак не заведу – боится. Хорошо – спустились с горки. Он меня цап! А я... – Надя махнула горько рукой, потом сжала крючками пальцы, показывая, как давила немца. Сказала шопотом: – А сильный, чуть не оторвал мне руки. Хорошо, за поясом у него кинжал был, пришлось всадить в него.

Валя вскрикнула и закрыла себе рот рукой.

– Испугалась?! – зашипела на нее Надя. – Тебе не приходилось убивать? Руки чистенькие. Ты ими когда-нибудь своих

детей пеленать будешь. А нам с Татьяной не доведется — рук не отмоем.

— Довольно, Надя,— успокаивала я ее,— не обижай Валю. Лучше помогите мне одеться.

Я напялила на себя костюм убитого немца. В карман брюк я положила пистолет.

— Готово. Пошли. Ты, Валя, жди нас в лесу.

Она сказала совсем просто:

— Нет, я пойду с вами. Если вас поймают, я заявлю, что это я подожгла. У вас ведь есть задания, а я сейчас никому не нужна.

Бутылку бензина и спички еще днем раздобыла Валя. Мы пошли тем путем, каким Надя шла с немцем на прогулку. Товарищи его, стоявшие на карауле у нефтебазы, знали, куда он повел девушку и конечно же, завидуя ему, ждали его возвращения. Их было двое с этой стороны нефтебазы и трое с другой. Мы остановили Валю у моста, я взяла Надю под руку, и мы направились прямо к нефтебазе. Надя была значительно ниже меня ростом и, проходя мимо часовых, она положила мне голову на грудь. Немец на посту строг к себе, ни один из часовых даже не крякнул нам вслед. Мы прошли метрах в 25—30 от одной из цистерн. Я вынула из кармана зажигалку, сделала вид, что закуриваю. Это для того, чтобы следующая вспышка огонька не насторожила часовых, и еще — чтобы сгустить за собой тьму. Запомнилось мне лицо Нади, выхваченное в тот момент из тьмы светом зажигалки. Оно было спокойно, только черные широкие брови сошлись на переносье. Она сжала мне руку, прошептала:

— Прощай, на всякий случай. Ты — в сторону часовых, я ползу к цистерне.

Я пошла прямо на немцев, медленно, точно задумавшись. У колодца остановилась, вглядываясь в ту сторону, где скрылась Надя. Ночь показалась вдруг душной, в горле комом стояло дыхание. И вот веселый, яркий язык огня лизнул цистерну. Ох, — вздохнулось легко, я повернула и пошла от колодца быстрым шагом к сельскохозяйственному техникуму. Сзади раздался выстрел, второй и третий — я побежала. Впереди, разрывая тишину, прострекотал пулемет. Навстречу бежал немец. Увидел меня, принял, разумеется, за своего, прокричал что-то, взмахивая руками, и побежал к горящей нефтебазе. Силуэт его на фоне огня выделялся четко, я без промаха выстрелила ему в спину и побежала дальше. Сзади меня грохотал взрыв за взрывом. Цистерны взрывались дружно, огонь уже перекинулся на крышу гаража.

Со всех сторон неслись пулеметные очереди. Пули ложились впереди меня, отрезая путь. Слева в мою сторону бежало пять—шесть немцев. Куда деваться? Вспомнила: рядом, справа, пожарище, с уцелевшей русской печкой. Я метнулась вправо, сразу увидела печь, вскочила в затяжку, поползла на животе. Меня сразу охватили свежесть, темнота и... радость спасения. Наощупь я знакомилась со своим приютом — вот кучка золы, угли... и вдруг рука ощутила что-то живое, мягкое. Дрожь пробежала по телу. А мягкое уже выскользнуло из-под руки и, шурша, исчезло. Я догадалась: мышь либо крыса. Я старалась отдышаться. Мысли во мне бушевали, словно пожар на нефтебазе. Однако я не мышь, надо было уносить отсюда ноги затемно.

Выглянула из печи. Немцев поблизости не было, но стрельба стояла отчаянная, в панике стреляли дуром.

Я вылезла, присела на корточки, осмотрелась. Было светло, как при погожем багряном закате. Вдали виднелись кусты, еще дальше темнела стена леса. Ох, далеко до них было, как до счастия, до спасения. Я поползла по пожарищу, по запустевшим огородам. Роса выпала такая, что на мокрых ладонях моих и на коленях наросли комья грязи. Впереди стояло одинокое дерево. Я думала: доползу до него, вытру ладони об его ствол. И неожиданно вспомнила: дерево это, ива, стоит у самого рва смерти. Все равно — деваться мне было некуда, я ползла навстречу удушающему запаху тлена. Едва достигла ивы, как невдалеке от меня раздался пистолетный выстрел, потом второй, третий... Я так устала, что бежать не могла. Прижалась спиной к дереву. Три немца, потеряв вероятно, меня из вида, стреляли без цели, кричали, переругивались. Один свернул вправо, два бежали к иве, потом замедлили бег, перешли, опасливо оглядываясь, на шаг. У меня в пистолете было три патрона. Целиться было удобно — немцы шли прямо на меня. Я выстрелила. Один вытянул вперед руки и зарылся носом в землю. Второй залег и выпустил по мне длинную автоматную очередь. Я прислонилась левым плечом к дереву, выстрелила. Промахнулась. Остался один патрон. Я упала на землю и, пятясь, стала отползать ко рву. Немец стрелял ожесточенно, но все брал выше меня. Я спрятала голову, замерла, немец решил, что я убита, и приподнялся. Тогда я выстрелила, и на этот раз — метко. Но здесь обнаружился третий немец. Он стрелял в меня сбоку, но был, очевидно, далеко не снайпером. Инстинкт жизни сильнее любой мысли — не успев подумать, что делаю, я покатилась в ров...

Очнулась — лежу вниз лицом. Спазмы тошноты сдавили мое горло. Вокруг чернели полусгнившие трупы. Я рванулась и полезла наверх.

Вылезла, вошла, раздвигая сучья, в кустарник и сразу пришла в себя. Как ключевую воду пила, вдыхала чистый, прохладный воздух. На востоке уже полыхал

заря, а назад, на запад я не оборачивалась — знала, что там еще стоит зарево в небе.

Как хорошо было в этом кустарнике! А грудь мою все еще стискивал немецкий мундир — грязный, мокрый. Я стащила его с себя, отшвырнула: будь ты трижды проклят!

В кустах уже перекликались какие-то птички — встречали зарождавшийся день, и мне хотелось сказать им: «С добрым утром! И я, милые, жива!» Там, где кустарник смыкался с лесом, журча, бежал ручеек. Я умылась, напилась холодной воды, посидела маленько, ни о чем не думая, и только тогда закричала по-совиному. Эхо побежало по лесу и замерло где-то далеко-далеко. Я прислушивалась к нему, а в памяти, как живой, вставал Шерстобитов. Мне чудилось, я слышу его голос: «Вот видишь, и ты стала молодцом.» Зря думают люди, что умершие исчезают бесследно. Они живут в делах и помыслах тех, кто непрерывно помнит о них...

Глаза мои сомкнулись сами собой, голова упала на зеленую, ласковую траву. Мне казалось, я не сплю, а только лежа вспоминаю близких, дорогих мне. А раскрыла глаза — солнцем залит лес и Надя теребит меня за плечо, ворчит:

— Это, милая моя, не дело — спать на сырой земле!

Как хорошо жить! Все кругом пело, и лес шумел. И серебрилась капельками росы трава. И внутренним, тихим светом светились недоумевающие глаза Вали Пильняк.

— Ах, чертяки, чертяки! — журила нас добродушно Надя. — Одну еще разыскала, — она ткнула пальцем в Валю, — а вторая спит, как пристреленная. Это же не работа! Не конспирация!

Разойтись по своим путям-дорогам мы не могли — были голодны, как волчья стая. Итти в деревню просить хлеба, после поджога нефтебазы, нечего было и думать — схватят немедленно. Мы пожевали щавелю, который рос тут же, по бережку ручья, и решили втроем итти в бригаду батьки Миная.

Но счастье изменило нам, целых три дня проблуждали мы по лесу, пока, полуживые от голода, не встретились с партизанами бригады Дьякова. Те подкормили нас и проводили к батьке Минаю.

Из лагеря Бати мы с Надей вышли вместе. На дороге Витебск—Яновичи расстались. Ее путь лежал на Оршу, я должна была торопиться «домой», в наш штаб.

Прощаясь со мною, Надя сказала:

— Танюшка, есть тебе от меня задание... тонкое, — она смущенно замолчала. — Ты знаешь, вероятно, что наш комиссар не чужой мне человек.

— Догадываюсь...

— Хорошо. Перед уходом я с ним поссорилась. Вздорно. По пустякам. Так вот скажи ему, если я не вернусь никогда...

— Не говори глупостей! — рассердилась я.

Она взмахнула головой, глянула на меня — в глазах была мука.

— Если я не вернусь больше, скажи ему, что он был в моей жизни самым главным.

По-мужски тряхнула мою руку и пошла, не оборачиваясь. Крепенькая, коренастая, складная. Назад она не вернулась. Много недель спустя мы узнали, что в Орше во время диверсии немцы ее поймали и повесили на площади.

ДЬЯВОЛЯТА

Первый, кого встретила я, возвратясь в свои места, был Миша Малый. На сердце у меня всегда становилось тепло, когда я виделась с ним: я знала — мы оба всегда думаем о Шерстобитове. Миша Малый любил его, как брата, потому я всегда радовалась и Мише, как брату. Он всплеснул руками:

— Татьяна, как же ты исхудала! Голодала, вероятно? И до чего же ты оборванная. Как нищенка. Видел бы наш покойный командир...

Миша Хайрединов исполнял, помимо прочих, обязанности начхоза в группе наших отрядов. Ну, как не порадеть родному человечку?! — он одел меня во все новое, даже трофейные сапоги по ноге подобрал. В штаб я пришла подтянутая, как на параде. А там меня уже ждали неотложные дела. О них и заговорил сразу комиссар.

— Во-первых, прибыл товарищ из Москвы, хороший парень, фамилия Исайченков. Будем проводить конференции. Во-вторых, в Каспле немцы завербовали предателя, какого-то Степанова. Он уже выдал немцам 157 коммунистов и комсомольцев...

Усталость мигом слетела с меня. Я сказала:

— Сегодня же отправлюсь в Касплю.

— Нет. Не пустим, — оборвал меня строго комиссар. — Подберешь двух парней. Лучших комсомольцев. Подготовишь их. А тебя не пустим: двое уже не вернулись, твои ребята: Дмитрий и Павел.

...Когда пуля проходит сквозь сердце, боец уже не чувствует боли. Когда горем полно сердце, оно рвется и рвется, и боль становится все сильней и нестерпимей.

— Что с тобой, Таня? — спросил встревоженно комиссар.

— Дмитрий и Павел были из Стабны,— с трудом вымолвила я.

На другой день я вызвала из наших отрядов двенадцать комсомольцев и сразу, без подготовки, сказала, зачем их позвала. Трусов среди них не оказалось, каждый настаивал на своем праве итти в Касплю за предателем. Я сказала, что двое из наших уже ходили и не вернулись.

— Я вернусь! — заверял каждый. Мой выбор пал на самых молодых. Сереже Полякову едва исполнилось шестнадцать, а Виктору Федорову было неполных 14 лет. Маленькие, хрупкие, оба они меньше всего походили на народных мстителей.

Два дня я не расставалась с ними. Втроем мы забирались в лесную глушь и, как актеры-импровизаторы, разыгрывали встречу с предателем. Я исполняла роль предателя, всячески старалась поймать ребят, разгадать их план. Мы разработали несколько вариантов. Один из них нам казался отличным, и на третий день мои ученики ушли.

Прошла неделя, ребята не возвращались. Вторая была на исходе, о них ничего никто не слышал. Меня стала мучить бессонница, я упрекала себя в том, что плохо подготовила к операции ребят. Думалось: вот придет мать Вити Федорова и скажет: «Где мой сынишка? Ты погубила его». В одну из таких горьких минут я сидела за столом, картошка не шла мне в горло, вдруг на улице закричали: «Идут! Идут!»

Я выскочила на крыльцо:

— Кто идет? Где?

Это были они — Виктор и Сережа. С ними третий — кривоногий, мерзкого вида человек. Я схватила Виктора за шею, поцеловала в обгорелую грязную щеку.

— Не срамись! — сказал он мне тем великолепным басом, который умеют иногда извлекать из себя мужчины четырнадцати лет.

За обедом ребята рассказали, как удалось им справиться с предателем.

...В Каспле они узнали, что Степанов уехал в Смоленск. Они вынуждены были прожить несколько дней в лесу. Питались грибами и ягодами, в деревню не показывались, чтобы не возбуждать подозрений (там сеть наших агентурщиков была уничтожена немцами). Степанов вернулся из Смоленска под вечер, был пьян и весел. Ребята вошли в его дом. Сережа захныкал:

— Дяденька, добренький, пустите переночевать.

— А вы откуда будете, мальцы?

— Мы, дяденька, с Белоруссии. Домой идем. Теперь, бог дал, — и нам жить можно.

— Откель же вы путь держите?

— Издалёча... Раскулаченные мы... Тятька с мамкой померли, а мы — сироты, жили где попало. — Сережа растер по веснущатому лицу слюни, как слезы. — Ох, дяденька, люди говорят — немцы жалеют таких, как мы...

Сережа так горько вздыхал и всхлипывал, что даже Виктор, поглядывая на него, думал: «А может он и вправду сын раскулаченного»...

— Садитесь за мой стол, — сказал Степанов. — Мы таких парней, как вы оба, поддерживаем. Из вас люди выйдут.

Ребят накормили, хозяйка, поглядывая на них сердобольно, стала стаскивать с кровати пуховые, показные подушки.

— Не беспокойте себя, тетенька, — сказал Сережа. — Мы на полу ляжем. Кровать мягкая, жаркая — непривычные мы к ней.

Им постелили на полу. Хозяин лег на диване у окна. Хозяйка с детьми спала в другой комнате. Едва легли — собралась гроза. Стало темно, хоть глаз выколи. Хозяин под дождик уснул вмиг. Слышно



М. И. Шульц

было — храпит и хозяйка. Сережа вынул из кармана пистолет, Виктор стащил с подушки наволочку и смял ее в комок. Они подошли к дивану. Сверкнула молния, осветила предателя. Он спал на спине, широко раскрыв рот. Витя впихнул в этот рот наволочку, Степанов и крикнуть не успел. Ребята связали ему руки и ноги и вынесли из дому.

— Страшный был момент! — пробасил, запихивая в рот картошку, Виктор. — Самый опасный из всей операции: мы боялись, что предательша проснется.

...На огороде ребята развязали Степанову ноги. Сережа показал ему револьвер и сказал:

— Ты хоть и плюгавый, но дальше мы тебя не понесем. Сам пойдешь!

Степанов смотрел на ребят с ужасом, они, угрожая пистолетом, приказывали ему итти. Он пошел, но огород был разбит на горе. Предатель бросился на землю и покатился с этой горы вниз. Покатились

за ним и ребята. Если бы не проза — он ушел бы в темноте. Но молнии помогли его догнать. Тут ребята его исколотили, всердцах, да к тому же и промокли они насквозь — винить их за «самосуд» трудно.

Не легко и не просто, но все же добрались они к утру в лесную чащобу.

— Вытащи у него изо рта тряпку, — приказал Биктору Сережа, — а то еще задохнется, вынесут нам строгий с предупреждением.

Тряпку вынули и руки предателю развязали. Он понемногу стал приходить в себя, заговорил:

— Вы куда же, мальцы, меня ведете?

— На суд народа...

— Бросьте, ребятки, дурить! Отпустите меня, я хорошо заплачу. С тех, кто вас посылал, все равно ни гроша не получите.

Степанову снова связали руки и пошли дальше. Шли день, вечер наступил — шли, привала не делали. Степанов молчал, потом вдруг закричал сердито:

— Не пойду дальше! Хоть стреляйте, поганцы, не пойду!

— Стрелять, к сожалению, не приказано, — вздохнул Виктор.

— Если предатель не может дальше итти, — сказал Сережа, — придется дать ему отдых. Заночуем здесь.

Спокойный тон ребят бесил Степанова. Он лег на траву, ворочался с боку на бок, потом сказал:

— Ведите, змееныши, дальше!

Так шли три дня. На четвертый — путь перерезала река. Пришлось выйти из лесу на дорогу, чтобы пересечь реку по мосту. Только вышли — впереди немцы. Предатель увидел их, закричал, затормошился. Положение было критическое. Сережа, не раздумывая, прыгнул в реку и потащил за собой на веревке предателя. Тот начал упираться, споткнулся и кувыркнулся в воду. Немцы успели заметить людей на берегу и открыли по ним стрельбу. Под пулями Виктор нырнул в воду, подхватил предателя подмышки и поставил на ноги. Сережа тянул его на середину реки, искал место поглубже. Наконец, вода была по горло. А немцы все стреляли. Предатель фыркал, бранился, пытался кричать, но — пуля есть пуля — вынужден был брести.

Наконец, речка круто повернула к лесу. Опасность миновала, ребята вывели предателя на берег.

— Вот, вперед наука: не упирайтесь, — сказал Сережа, — если бы вы не закричали, вам не пришлось бы, как рыжей селедке, мокнуть так долго в воде.

— Дьяволята! — только и сказал Степанов.

У деревни Озерецкое надо было переходить большак. По нему непрерывно двигались немецкие машины. Ребята поглядывали друг на друга, но Степанову виду не показывали, что волнуются. Виктор запел:

Орленок, орленок, взлети выше солнца,
Собою затми белый свет.
Не хочется думать о смерти... поверь мне,
В шестнадцать мальчишеских лет...

Наконец Сережа придумал, что делать! Он мигнул Биктору: заткни, мол, снова предателю рот. Предатель только головой мотал. Его развязали, взяли под руки и повели по большаку. Навстречу шли немцы, их было много, целая рота. Вели их два офицера. Один остановился, подозвал к себе ребят: что такое? почему у человека тряпка во рту? Сережа сморщился, стал жалобно причитать:

— Папа наш — фатер! Сошел, бедняга, с ума! Ведем фатера к доктору! Бедный фатер кричит, кусается — гам-гам! Потому и заткнули ему рот.

— Фантастиш! — сказал офицер и махнул ребятам рукой: ведите своего фатера к доктору! Потом он догнал второго офицера и, стуча по своему лбу пальцем, оживленно рассказывал о сумасшедшем крестьянине, который кусает своих сыновей. Ребята смотрели ему вслед, а Виктор изрек:

— Ты, Сергей, умный человек и достоин звания комсомольца.

КОМСОМОЛЬСКИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

Штаб наш переехал снова в центр партизанского края, в деревню Корево. Здесь была советская власть, и на много километров вокруг не пахло немцами.

В один из вечеров ко мне пришли Исайченков и Петр Кутрецов. Оба прибыли к нам на самолете с Большой земли. Исайченков рассказывал о Москве, но больше расспрашивал о нашей молодежи. Мы составили план конференций и через два дня выехали в отряды.

В бригаде Жени «Баяниста» конференцию начать удалось не сразу: многие комсомольцы — группа подрывников — были на задании. Но едва они вернулись, бюро комсомола бригады созвало молодежь.

Слово взяла Зина Пашеткина. Я знала ее до войны, тогда она выглядела девчонкой. Родители ее жили в деревне Баклановке, в колхозе. Теперь Зину трудно было узнать: высокая девушка с черными косами, с огромными серыми глазами, которые всматривались внимательно и вдумчиво. На ней были большие с порыжевшими носками сапоги, и, подходя к столу, она ступала, точно боялась кого-то разбудить. Одернув изношенную юбку, из которой давно выросла, она начала рассказывать тихим ровным голосом о том, что ее привело в партизанский отряд. Потом ее попросили рассказать, как она добыла языка.

Зина покачала укоризненно головой, ей, видимо, скучно было вспоминать давно

прошедшие дела, но она подчинилась воле собрания:

— Как-то раз командир отряда Целищевский вызвал меня и сказал, чтобы я отныне работала на кухне... Меня это предложение обидело, товарищи. Я шла в отряд не щи варить, а бить немцев. — Зина вдруг умолкла, потом сказала совсем тихо, точно винясь в чем-то: — В отряде, разумеется, всякая работа на пользу, кто-то и суп должен варить... кто-нибудь, послабей меня здоровьем. — Зина обвела присутствующих пристальным взглядом, нашла Володю Целищевского и заговорила вновь: — Он сомневался: ответственное задание сумеешь выполнить? Я говорю — выполню. И вот, стало известно, что в Сыр-Липки приехала новая немецкая часть. Какая — никто не знал. Поручили разведать мне. До Сыр-Липок было километров восемь. Я взяла для отвода глаз корзинку — словно за ягодами иду. Прошла лес, подхожу к речке, за мостом уже видна деревня. Тут, на счастье, повстречалась мне старушка, спрашиваю ее:

— Бабушка, у вас немцы есть?

Бабушка эта, ка-ак рыкнет на меня:

— На какого лешего они тебе понадобились?

— У меня, говорю, мамка захворала, хочу попросить у немцев сахару в обмен на ягоды.

— Гляди, подавишься вместе с мамкой ихним сахаром, — сказала старушка и пошла было. Потом остановилась и давай на меня кричать: «Дура! Не ходи, говорю, дура! Много их, гадов, гляди, тысяча будет!»

Ну, думаю, мне в Сыр-Липках делать нечего. Но как можно верить первой встречной бабе?

Зина умолкла, разглядывая свои сапоги, потом сказала:

— Скучно, товарищи, вспоминать. Факт ничем не примечательный. Увидела я немцев своими глазами: целой гурьбой загорали они на солнышке, на берегу. Я свернула с дороги, пошла к кустам, рассчитывала так: солнце жарит нестерпимо — немцы либо в деревню уйдут, либо прибегут в кусты, в тень. Так и вышло. Бежит один, на нем трусы да полотенце вокруг головы. Так и плюхнулся под куст лицом вниз. Я вынула из-за пазухи браунинг. Страшно было браться за такое дело, но и с пустыми руками в отряд возвращаться стыдно... Подошла тихонько к немцу и... рукояткой его по голове! Он обернулся, смотрит на меня, а глаза шалые. Думаю — удачно я его оглушила, и.. я еще раз его... Руки связала, заставила итти впереди себя. Он очухался, когда уже был в лесу. Ребята в отряде смеялись надо мной, что я неполноценного немца привела — голого...

Вслед за Зиной комсомолец Стенычев рассказал, как они с Кротовым вдвоем выбили из деревни целый немецкий гарнизон:

... В Озерецком стояли каратели. Нам поставили задачу разведать подходы, огневые точки, численность врага. Мы оба были с ручными пулеметами и в немецкой форме. Выяснили, что немцев около двух сотен. Уже подходя к деревне, услышали позади себя лошадиный топот, оглянулись — немец ведет пару коней. Мы его прихлопнули, сели на коней и — в деревню! А там каратели за обедом в цепочку выстроились у походной кухни, было их около сотни. Ну, соскочили мы с коней и полоснули по ним из пулеметов. Несколько убежало, но большинство тут и полегли натощак. А мы, пользуясь тем, что на нас немецкая форма, побежали к штабу, прихватили автоматы убитых. Видим, в штабе переполох: откуда стреляют — врум? вас? вэр? Пришлось немецких штабистов успокоить: выпустили мы по ним диск, другой. Тут уж они не интересовались, кто стреляет — все побросали, кинулись к машинам. Только последняя машина из деревни умчалась, как едет с несколькими партизанами наш комбриг. Я ему кричу:

— Комбриг, заходи, деревня занята! Ну, он и зашел, и все, — Вася Стенычев развел руками, словно говоря: ничего необычного я вам не рассказал, и другой так же поступил бы.

И верно: комсомольцы рассказывали о своих боевых делах, подводили итоги партизанских будней, и получалось так, что будни эти полны героизма, героизм стал обыденным, — и говорить о нем как-то неловко. Нюру «рыженькую» секретарь бюро вынужден был призвать к комсомольской дисциплине, прежде чем она согласилась говорить о себе.

— О чем рассказывать? Все делают то же, что и я. Надо врага выслеживать — выслеживаем, надо бить — бьем. — Милое веснушатое личико Нюры с припухлыми детскими губами залилось краской смущения. — А про Смоленск рассказывать и вовсе стыдно... В Смоленске немцы пронюхали про нашу конспиративную квартиру. Я пришла как раз, когда хозяйку арестовали. Уйти назад, не выполнив задания, нельзя. Сходила и в Красный бор, узнала, где склад с боеприпасами. А где аэродром — неизвестно. Пришла снова в город. Зашла на рынок. Пусто там, страшно, как на кладбище. Немцы да голодные крысы шныряют. Комендатура, знала я, находилась где-то у Днепра, пошла искать. Вдруг сзади меня толкнули, да так, что я упала. Два немца подхватили меня и поволокли вниз по каким-то каменным ступенькам.

Очнулась я в большом подвале. Осмотрелась: высоко под потолком — затканное паутиной окно, через него видны сапоги проходящих мимо немцев. Нудно стало.

У меня с собой ничего не было, кроме порошка яду. У нас так водится: куда нельзя взять оружие, берем на всякий случай яд... — Нюра перевела дух, опустила пушистые золотые ресницы, стыдясь, видимо, произнесенного вслух слова «яд». Потом продолжала: — Вскоре в подвал вошли два фрица. Они осматривали меня, как обезьяну в зоологическом саду. Оказалось, им обоим понадобились мои косы. Тот, что постарше, вытащил из-за сапога ножницы и, отталкивая второго, все повторял, что пошлет мои волосы своей дочке, у нее, мол, точь-в-точь такие же кудри, только жидковаты. А фриц помоложе чуть не плакал, доказывал, что у его невесты не меньше прав на прищепную косу. Я зажала в руке порошок. Но — умирать пока было рано, подожду, думаю, что будет дальше... Немцы подняли из-за этих проклятых волос такой крик, что на него прибежал третий фриц. Этот оглядел меня и приказал вести к коменданту. Я стала упираться, меня ударили несколько раз и потащили на третий этаж. Сквозь окна на лестничных площадках виден был разрушенный Дом Советов. Уже вечерело. И эти развалины в сумерках казались зловещими...

Комендант сидел за столом в шелковом халате. Такое чудище! На грудь спускались у него три подбородка, как монисто в три низки. Челюсти вставные, золотых зубов на вид штук сто... Чую — дрожат мои ноги... — Нюра засмеялась и, обращаясь ко мне одной, сказала: — Знаешь, этот комендант был точь-в-точь родной брат тому немцу, которого мы с тобой из деревни Новоселок привели, помнишь?

Я кивнула головой. Как-то в весеннюю распутицу мы с Нюрой, после боя под Новальней, захватили старого немца офицера. Не захватить было мудрено: немец весил пудов десять и еле-еле носил на ногах свою тяжесть. Мы привели его в штаб. Он оказался командиром саперного батальона № 316.

— Смоленский комендант, — вновь заговорила Нюра «рыженькая», — выпучил на меня глаза и сказал: «Рус девка, откуда пришла, дрянь?» — меня такая злоба охватила!.. Я ответила: «Сам ты — дрянь! Бадья с кислой квашней! Выставочная свинья!» Солдаты ударили меня по голове, я упала, но удар протрезвил меня. Нарочно не поднималась на ноги, выигрывала время, придумывала, что говорить. И придумала: ниоткуда я не приходила — здешняя. А ваши солдаты схватили меня без вины, хотели косы отрезать, вон они — ножницы у солдата за голенищем!.. Комендант глянул на мои косы, потом — на солдат, побагровел весь, начал орать, стучать кулаками по столу, ногами — по полу. Кажется (я плохо понимаю по-немецки), он грозился отправить фрицев в штрафной полк. Потом выгнал их, подошел ко мне и потрепал по щеке: «Киндмиди! Киди-миди!» Слюнно лягушка вспрыгнула мне на лицо... — сама того не замечая, Нюра у нас на глазах брезгливо вытерла ладонью щеку. — Я сказала ему, что собирала близ комендатуры на пожарище гвозди, хотела, мол, сколотить шалаш — негде жить нам с мамкой. «Ай-яй-яй», — сочувственно покачал головой комендант, потом усадил меня в кресло, а сам вышел в соседнюю комнату. Было уже темно. Я сидела и вспоминала, что рассказывали люди об этом коменданте: у него состоит на службе постоянный поставщик человеческого мяса... Это, товарищи, такой поставщик, который каждый день приводит коменданту из окрестных деревень девушек от шестнадцати до двадцати лет. Комендант, после того, как девушка пробыла с ним ночь, либо посылал ее на расстрел, либо отправлял в дом терпимости. А этот дом помещается рядом с комендатурой, по бывшей Университетской улице, № 6/18... — У Нюры покраснели уши, от смущения стояли слезы в глазах. Она говорила, глядя в пол: — Мысли у меня путались, то поднесу к губам порошок, то мелькнет в душе надежда спастись. Наконец, я решила, что если уж умирать, — так только после смерти этого чудища. А он точно забыл обо мне... Стало совсем темно. Из коридора тихо вошел немец, включил свет и ушел. Время тянулось так медленно, что я думала, давно наступила ночь. Наконец, вошел комендант. Начал трогать мои волосы, лицо, руки... Я сказала, что голодна, целый день не ела. Он заживал головой, нажал кнопку на столе, позвонил денщику. Через минуту — у них солдаты как заводные — появились тарелки с какой-то едой, бутылка вина и два стакана. Дело, вижу, идет к развязке, и тут я, товарищи, сдрейфила. Боюсь! Стараюсь еще что-нибудь придумать, чтобы оттянуть... — Нюра виновато улыбнулась и продолжала: — Я начала скрести ногтями голову, спину, грудь. «Что такое?» — спросил комендант, а я ему: живем в сырой землянке — и завелись у меня вши. Немца передернуло, он снова позвонил. Приказал денщику отвести меня в ванну. В воду я влезла, а вылезти никак не могу — мужества нехватает, боюсь... Вспомнила Таню Логунову, как она жандарма удавила... Обругала я себя и быстренько оделась.

За ужином комендант вокруг меня увивался-увивался: кусок у меня в горле застревал! А есть нужно было — я за день ослабела. Говорю ему: кушайте со мною, мне одной скучно. Он налил в оба стакана вина. Порошок я зажала в руке. Немец крякнул, полез обниматься, прижался ко мне... Но я терплю. Протянула за его спину руку, всыпала яд в стакан.

— Чокнемся, говорю, дорогой будущий покойник. Он кивает веселю головой.

Чокнулись... он выпил, а я пригубила. Сначала дайте, пан, наемся досыта. Он смотрел, как я ела, и приговаривал: «Кити-Мици, Кици-Мици». Потом, как схватится за грудь, как промыхнется на пол! Я вскочила, заперла дверь на ключ. По телу мурашки бегут — комендант бьется об пол, корчится. Что, думаю, если денщики услышат?! Стала я хохотать, визжать. Снова вспомнила Татьяну — она говорила: мало партизану быть смелым, нужны ему сметка, актерский талант. Немец хрипит, а я какую-то дурацкую песню пою и ногами притопываю. — Нюра вытерла пот со лба и вздохнула. Глаза ее потухли, видно было, она очень устала, оттого что детально восстановила в памяти этот день своей жизни. Продолжала рассказ вялым, беззвучным голосом:

— Яд скорого действия взял свое — комендант, просто говоря, издох...Я сволокла его в соседнюю комнату, собрала папки, бумаги. На вешалке висел его мундир и вся амуниция. Я вытащила из кармана документы. Надела поверх своего платья его халат, сверток с бумагами привязала себе за спину, чтобы не мешал спускаться из окна. А окна выходили в темный переулок. Спускалась по простыням, стянула их с постели. Халат был темный — хорошая маскировка. Прижимаясь к стенам, вышла на улицу. Часовой стоял спиной ко мне, а внизу тихо плескалась вода в Днепре. Я переползла улицу невдалеке от часового, спустилась с берега, пошла у самой воды. Ночь подходила к концу, и опасность осталась позади. Я шла домой, в отряд. В стороне от дороги, в Красном Бору, вижу наметаны стоги сена, огромные, как пирамиды. Они были обнесены колючей проволокой, у которой дремал одинокий часовой. Я подлезла под проволоку, проползла мимо первых трех стогов, а четвертый — средний—подожгла. Спички лежали в кармане немецкого халата. Часовой не заметил меня, потому что, когда взлетел к небу огонь, я была по другую сторону его. Благополучно вылезла из-за колючей проволоки и пошла в брод через Днепр. Он в тех местах мелкий, по колено. А дальше шел легкий путь лесами на Сыр-Липки.

Потом рассказывали о себе Гриша Крайнов, Кротов, Еринов. Конференция закончилась днем, а вечером часть ребят ушла на операцию, Нюра рыженькая отправилась в разведку. Исайченков поехал проводить конференцию в партизанский полк Гришина, я — в бригаду Овчаренко.

ГОРОДСКОЙ ГОЛОВА

Красная Армия продолжала теснить врага: теперь линия фронта местами почти смыкалась с партизанским краем. В этих условиях действия партизан не могли не быть связанными с командованием переднего края Красной Армии. И вот в партизанский край прибыл с большой земли новый комиссар — бригадный комиссар Муромцев.

Я собралась ехать в полк Гришина, когда прибыл связной. Он привез мне приказ немедленно явиться к комиссару соединения.

К утру я была в штабе. Но здесь все еще спали. Я села на завалинку у маленькой хатки и тоже уснула. Разбудил меня резкий автомобильный сигнал: к штабу подъехал комиссар Муромцев. Он сообщил мне тяжелую новость: в городе Демидове три дня назад были повешены немцами тридцать мирных жителей. Они отказались работать на строительстве дороги.

— Голова города в Демидове отъявленный прохвост, — сказал Муромцев. — Решайте сами, как могут расправиться с ним ваши комсомольцы.

Задание было настолько сложным, что я не бралась одна выработать план операции и созвала самых опытных ребят, ходивших не раз в разведку. Слово взял Яша Морозов:

— Тут, братцы мои, не простая операция: взорвать мост, заминировать дорогу или пустить поезд под откос. Я так думаю, этот голова и не выезжает из города, спасается. Нужно сходить в Демидов и прежде всего изучить привычки предателя.

Посудили, порядили и согласились с Яшей: на месте будет виднее, как уничтожить голову города. Но уничтожен он должен быть, хотя бы ценою жизни того, кто пойдет в Демидов.

Итти вызвались Яша Морозов и Павел Самуилов. Прощалась с ними тяжело, душу давило предчувствие — не вернутся.

— Нич-чего, попробуем, — сказал Павел, нажимая, как всегда, на букву «ч», и кивнул мне головой, — ты все-таки жди нас...

Павел Самуилов был моим другом детства. Незадолго до войны он переселился куда-то из наших мест, и встретились мы с ним снова только в 1942 году, в партизанском отряде. Он знал о гибели Петровича, Петушка, мамы и дяди Ивана, но старался об этом со мною не заговаривать. Не расспрашивал и о Дмитрии и Пашке. Мы встретились с ним так, точно расстались вчера, точно ничего с нами не произошло. Но каждый раз, когда мне случалось с ним позидаться, у меня оставалось такое чувство, словно бы я побывала дома. И вот теперь и Павел ушел...

Чтобы забыться, я отправилась к Ивану Романовичу, командиру отряда. С ним прошли по взводам.

Ничего, тревога от сердца как будто отлегла. Но вот пришла ночь. Я лежала в сарае на свежем сене. Рядом спали Наташа и Рима, сестра Павла. От нее я скрыла, какое сложное задание получил Павел. Шел тихий дождик, шуршал по

крыше. Наташа неожиданно приподнялась, села и заговорила:

– Думаешь, я спала?—она вздохнула.— Я каждую ночь до-олго не могу уснуть. Мне, знаешь, петь хочется! Хочется петь те песни, которые пели отец и мать. Они всю жизнь пели — не знали, что придет им такая злая смерть.

– Почему же ты не поешь? — спросила я.

– Нельзя. Командир не позволяет. Я однажды запела, а он рассердился: ты, говорит, пришла в отряд не песни распевать... Мне так горько стало, и теперь я жалуюсь тебе на командира. — Наташа прижалась ко мне, и я почувствовала теплоту ее худенького тельца. Наташа была цыганка. В нашем районе много лет существовал цыганский колхоз — богатый, культурный. Цыгане-колхозники ездили после полевых работ по соседним колхозам, давали концерты и спектакли, пели и плясали они прекрасно. Немцы разграбили колхоз, расстреляли более сотни цыган. Расстреливали, как обычно, издеваясь над жертвами — их заставили у могилы плясать и петь.

Наташина семья погибла. Осталась только маленькая сестренка. Долго бродили они вдвоем, ища приюта. Сестренка Наташи умерла от голода, ее самое спасли от голодной смерти партизаны.

Дождь не переставал. Перед глазами стояли Павел и Яша Морозов. Думалось— не вернутся они из Демидова. Наташа запела вполголоса какую-то свою песню. Слов, разумеется, я не могла понять. Но цыгане всегда поют так, словно грудь у них разрывается от рыданий. Я слушала, сцепив зубы. Не могла сказать: замолчи! — девочке, свернувшейся подле меня в комочек, как котенок. Песня оборвалась. я вздохнула облегченно, однако Наташа, устроившись поудобней, запела снова, теперь — по-русски: «Я девчонка совсем молодая, а душе моей тысяча лет»... Это мне было уже не по силам! Я обняла Наташу и ласково подтолкнула к сену.

– Будем спать, девочка, ведь завтра ты идешь в разведку, отдохни...

– Не понимаю, — вздохнула Наташа, — и молодая ты, и красивая, но, только не гневайся, Таня, сердце у тебя не девичье. С тобой может всякий говорить, точно ты всякому мать или старшая сестра. Но с кем ты сама говоришь?

– Я?! С вами со всеми.

– Так это — о делах, о войне, о немцах. Нет, с кем ты говоришь, когда у тебя сердце болит?

– Оно у меня не болит, Наташа. Спи! И я попробую уснуть...

Три дня я пробыла в отряде, ожидая возвращения Павла и Яши. На четвертый день послала в Демидов Риму и Наташу. Им наказано было не входить в город и только в окрестных деревнях расспросить, не слышно ли чего про ребят.

Но и Рима с Наташей не вернулись. Я ходила по взводам, читала ребятам книги, рассказывала по памяти «Войну и Мир», играла в домино, сделанное самими же партизанами. Ребята не замечали моего волнения. Но Иван Романович, куря беспрестанно трубку, сказал однажды:

– Интересно бы, девушка, заглянуть в ваше сердце.

Я не сразу поняла командира, а он, следя за кольцами табачного дыма, продолжал:

– А вот глаза свои вы не приучили скрывать тревогу. В них можно читать все.—Он дружески похлопал меня по плечу. — Ничего, ребята вернутся...

И верно, они вернулись вместе, все четверо — и ребята, и Рима с Наташей. Первым увидел их Нечаев.

– Идут, идут! — вскрикнул он. На красивом, нежном лице его вспыхнула такая радость, что я поняла: не я одна прятала тревогу — за товарищей волновался весь отряд. Нечаев побежал разведчикам навстречу, схватил Яшу, приподнял, бросил на землю. Потом поднял с земли и поставил на ноги. Яша, увидев меня с Иваном Романовичем, одернул пиджак, поправил кепку и, молодцовато вышагивая, подошел к нам:

– Товарищ командир, разрешите доложить!

– Докладывай!

– Голова города Демидова Иванов прибыл в город без головы!

Иван Романович вынул трубку изо рта.

– Что-то я вас, Морозов, не понимаю..., а вы что-нибудь поняли? — повернулся он ко мне. Но я пока понимала только, что хлопцы вернулись, что, следовательно, предатель уничтожен.

Яша Морозов и Павел рассказали, наконец, как они выполнили задание.

В Демидов пришли вечером, когда немцы гнали людей с работы. Влились в толпу русских, так и вошли в город незамеченными. Узнали, что предатель Иванов, голова города, если и выезжает изредка из Демидова, то с усиленной охраной. Ребята гадали, как поступить: ожидать, когда он выедет, или, рискуя жизнью, пойти в комендатуру. Расставили на постах агентурщиков, чтобы следить за каждым движением предателя. Скоро стало известно, что он куда-то собирается, затребовал верховых коней.

Павел и Яша вышли из города. Неподалеке от него находилась сенобаза — немцы заготавливали сено, оно стояло в стогах. Ребята, еще подходя к Демидову, спрятали в одном из стогов оружие. Теперь спрятались здесь же и сами.

Прошел день, голова города не ехал... Прошла ночь. Выходить из засады не-

стойло — вокруг стогов бродили часовые. Наконец, через сутки промчались мимо шесть верховых, ребята не успели даже разглядеть их. Однако нарядная, ярко-рыжая масть одного из коней укрепила их уверенность, что проехал Иванов — рыжего, племенного жеребца он отнял недавно для себя в одном из колхозов. Решили ожидать его возвращения.

Следили зорко. Долго ждали. Увидали верховых еще издали. Впереди ехали двое, один — посреди и трое сзади. Подъезжая к городу, Иванов, видимо, решил, что он уже дома, опасность больше не грозит ему и можно отпустить часть охраны — двое отъехали в сторону. Но рыжий белокопытый жеребец шел к городу в окружении трех безродных коней. Яша выполз из стога первым. Прежде всего он левой рукой выстрелил из пистолета в затылок часовому, в правой у Яши был автомат. Он дал из него короткую очередь по передним конным. Павел выпустил очередь по двум задним. Двое были убиты, третий, нахлестывая коня по обе стороны, кинулся наутек к реке, но предатель остался невредим. Подгоняя коня руками и ногами, он мчался к городу. Непривычный к стрельбе жеребец упирался, сворачивал в сторону. Яша, потеряв всякую осторожность, побежал к дороге, где лошадь обнюхивала убитого, вскочил на нее и погнался за головой города. Но в ярости своей парень выронил автомат и вспомнил о нем только тогда, когда влетел на улицы Демидова и почти поровнялся с Ивановым. К счастью, за голенищем у Якова был огромный нож, партизаны называли такие ножи косами — ими и вправду можно было косить траву. Ножом Яков и полоснул по голове Иванова. Лошади бежали рядом, касаясь стременами. Яша видел, как тело предателя сползло с седла и как поводок его рыжий жеребец за собой по мощенной камнями улице. Только здесь Яша опомнился, повернул свою лошадь и умчался за город. У реки бросил взмыленного коня и пошел берегом. Вскоре его догнал Павел. Они глянули один на другого и испугались — глаза у обоих провалились от голода и бессонницы. В Заборье наши люди накормили их, спрятали в снопы, уговорили отдохнуть.

А пока они спали сутки без просыпу, Рима и Наташа с картами в руках бродили в окрестностях Демидова. Бабы на перебой осаждали Наташу: «Цыганочка, дорогушка, погадай! Второй год про моего ни слуху, ни духу»... Наташа «гадала», и в карты не заглядывая: «Господи, какая у тебя, красавица, радость на пороге! Гости придут, бабоньки! Трефовая карта легла — придут, военные, свои...»

— Цыганочка, не видно по картам, чьи победят: наши аль немцы? — спрашивали бабы.

— Немцы остаются при пиковом интересе, я тебе об этом по картам и без карт скажу, — сверкая черными глазами по сторонам, шептала Наташа, — наши уже в Торопце, в Велиже, в Слободе — отсюда тридцать километров! После ночи всегда солнце сияет, правда кривду всегда побивает.

Вслед за Наташей вступала в разговор Рима.

— Это у вас ничего нового нет, а по другим местам люди Красной Армии подарки готовят — немцев потихоньку истребляют.

И вот наши разведчицы услышали наконец то, что хотели слышать.

— Милая ты моя, и у нас сила несметная наших людей напала на людоеда Иванова. Конь приволок его с расколотой пополам головой. И стражу людоедову всю наши побили...

Рима кинулась трясти бабу за плечи:

— А они сами спаслись, мамаша?

— Кто, родная моя?

Рима спохватилась, да и Наташа не спускала с нее удивленных глаз, и сказала подчеркнуто равнодушно:

— Ваши люди, которые убили людоеда, спаслись, спрашиваю?

— Бог миловал, — перекрестилась баба, — наши спаслись, уехали. Говорят, они тоже конные были.

Наташа сунула карты под юбку в карман:

— Прощайте, бабочки! Придут в скором времени ваши сыны, вспомните тогда цыганку. — И пошли наши разведчицы домой. Дорогой, уже подходя к отряду, они догнали Яшу и Павла.

КАРАТЕЛЬНАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ

Немецкое командование решило расправиться с партизанами, захватить партизанский край. 9 сентября Муромцев вызвал меня в штаб, молча протянул клочок исписанной карандашом бумаги. Это была разведсводка, принесенная из бригады Шлапакова. Сводка гласила: «... На станции Рудня выгрузилась очень большая воинская часть немцев. Эсэсовцы. По неточным данным, дивизия называется «Желтый слон». Имеются собаки-ищейки и лайки. Около 2-х эскадронов конницы на гнедых и рыжих конях»... Дальше шел перечень техники и вооружения врага, указывалась фамилия командира эсэсовцев — генерал-майор Поппе. Муромцев помолчал, раскурил свою огромную трубку и заговорил тихо, не глядя на меня.

— Борьба, Татьяна, будет не на жизнь, а насмерть. К этому и вам самой нужно приготовиться и подготовить комсомольцев. — Он глянул мне в глаза, сказал раздельно: — Чтобы не погибли все партизаны до одного, чтобы не сжигали живьем детей и женщин партизанского края, при-

детей погибнуть многим из нас...— Дверь распахнулась, вошел Шульц, секретарь райкома партизанского края. Он был все такой же, наш Михаил Нестерович: подвижной, быстрый и справедливый в своих мыслях, решениях и действиях.

— Хорошо, что я застал здесь Татьяну, — сказал он. — Вот что, комиссар: тебе придется отпустить ее на работу в райком. Нам нужен секретарь райкома комсомола. — Он повернулся ко мне, заговорил сердито. — Хватит, навоевалась. Погляди — на что стала похожа. За здоровьем своим не следишь, а я несу за тебя ответственность не только перед партией, но и перед памятью... — он не назвал имени Петровича, только вздохнул, но образ Петровича ожил и в его, и в моей душе. И теперь уже не комиссар, не Шульц и не я сама решила: быть мне в смертельной схватке с врагом вместе с комсомольцами или покинуть их — я знала, как решил бы Петрович.

— Нет, Михаил Нестерович, в райком я не приду работать, — сказала я.

Когда Муромцеву что-нибудь было не по душе, он замечал, как беспокоит его плохо зажившая рана. И сейчас он потер раненую ногу и сказал:

— Я не возражаю, но в данный момент она, как никогда, нужна здесь.

Шульц не спускал с меня своих черных, пристальных глаз. Человек маленького роста... но каждый, кто беседовал с ним, чувствовал себя на голову ниже его. Он кивнул комиссару в мою сторону:

— Она взбалмошная, одергивай, пожалуйста, ее. Слышишь, Татьяна, что я приказываю? — сердито закричал он на меня. А я знала: вовсе он не сердится и не приказывает, а по-отечески наказывает мне беречься. Советскую власть в партизанском крае организовал он — и он же берег здесь и каждого человека, и каждый колхоз: нужна была помощь партизанам — советские работницы шли по зову Михаила Нестеровича в бой вместе с партизанами, нужно было убрать сено или вспахать поле — выделяли людей из отрядов. И сейчас Михаил Нестерович понял, что мне нужно быть с партизанами.

У крыльца стояла его гнедая лошадь, запряженная в бричку, здесь же ждала меня под седлом моя Катька. Усаживаясь в бричку, Михаил Нестерович сказал:

— Помни, Татьяна: немцы решили любой ценой раздавить нас. Береги себя, береги ребят, а мы все вместе понатужимся — убережем здесь советскую власть... Красная Армия близко... — он стегнул Гнедка, тот подпрыгнул на месте, повернул круто и, чуть не сломав оглоблю, рванулся вперед. Я поскакала в Озерецкое, где стояла бригада Апретова.

Здесь ждали меня нехорошие вести. Тяжкие дни начались. По данным разведки, немцы шли от Духовщины плотным кольцом, тщательно прочесывая леса и сжигая деревни. Население сотнями и сотнями бежало к нам в партизанский край.

Отряды Апретова уже вступили в бой с эсэсовцами.

— Дерутся так, — рассказал мне Апретов, — как никогда не дрались.

Начальник штаба Евстратов и комиссар Петровичев уезжали к месту боя, я поехала с ними. Еще издали мы поняли, что бой идет жестокий.

Два отряда расположились в кустарнике, смыкавшемся с лесом. Вечерело. Немцы еще на рассвете выпустили тонны снарядов по лесу и, после артиллерийского обстрела, сунулись прочесать лес. Но отряды наши встретили их таким интенсивным огнем, что эсэсовцы вынуждены были отступить. Снова загрохотала артиллерия и снова немцы пошли к лесу. Так несколько раз, и каждый раз наши отгоняли врага. Расположены партизаны были группами, как бы пулеметными гнездами, замаскированными лесом и кустарником. Мы с комиссаром побывали во всех группах, рассказали товарищам о новостях Большой земли. В лесу было тихо и печально, чуялось, что осень недалеко, но тишина время от времени сменялась сплошным гулом от выстрелов, и тогда лес стонал, деревья роняли листву.

В отрядах Апретова ребята не нуждались в моей помощи, дело здесь было поставлено хорошо, и я направила свою Катьку к городу Демидову, у которого немцы сосредоточили сильный кулак. Дорогами и полями теперь не проехать было, всюду стало много немцев, они хватали всех, кто попадался им на глаза. Я ехала лесом. В полной темноте ориентироваться было трудно: небо в облаках — ни звездочки. Мне думалось, я еду напрямик, но кобылка моя стала спотыкаться, ступала все тяжелее и, наконец, провалилась по самое брюхо. Мы заехали с ней в болото. Чтобы выбраться, пришлось слезть с седла. Но тут мы завязли обе — и я, и Катька. Кое-как нам удалось выбраться из болота. Я вела за повод кобылку и чувствовала, что почва под ногами становится все тверже, а лес редеет, впереди было поле. Из-за туч выглянула на короткое время луна, и я успела рассмотреть вдали неясные контуры домов — это была какая-то деревня.

Катька вдруг зафыркала, стала прядать ушами. Стараясь понять, что встревожило ее, я вглядывалась в темноту, но ничего не видела. И в это время с визгом и лаем на меня налетела собачонка. Дрянная, черная собачонка! Она норовила вцепиться мне в горло, рвала мою одежду. И только я схватила ее за морду и отшвырнула от себя, как рядом раздалась пулеметная очередь. Я вскочила в седло и поскакала в лес.

А собачонка не отставала, повисала на стременах, прыгала лошади на грудь. Я спрыгнула на землю. Выстрелила раз, второй, третий, но пули ее не брали, она исходила лаем, а подконец так рассвирепела, что прыгнула мне на грудь. Тут я схватила ее за задние ноги и ударила о дерево. Когда в ушах перестал звенеть истошный лай, я услышала, какая стрельба идет на поле. Так вот откуда появилась эта собачонка! Так это немцы выпустили на меня свою лайку! И такое меня разобрало зло, что я решила тут же посчитаться с обидчиками. Привязала лошадь к дереву и пошла с автоматом к опушке. Мне повезло: снова выплыла из туч луна, я увидела на поле кусты. Качаясь, они приближались к лесу. Двадцать минут назад их здесь не было. Хорошо же, я покажу вам, как охотиться с собаками на людей!

Я легла, приладила ствол автомата на сломанное дерево. Кусты подползли совсем близко. И я дала очередь по ним. Мне ответили пулеметным огнем. Мой автомат тоже не дремал. Через несколько минут кусты, будто бурей их прибило, приникли к земле, только один уползал в темноту. Но я уже выпустила всю ленту автомата. Оставаться здесь было незачем, я побежала к своей Катьке. Она стояла, расставив уши, по крупу ее бежала мелкая дрожь: лошадь, бывшая в боях, всегда понимает, насколько близко от нее идет стрельба. Пока я привязывала к седлу автомат, на поле позади меня открыли такой огонь, словно немцы дрались с целым партизанским отрядом.

Видимо я уснула в седле, потому что едва успела схватиться за холку Катьки, когда она подалась назад и взвилась на дыбы.

— Стой! Кто? — раздался из темноты голос. Соскочив с седла, я пошатнулась от усталости или спросонья. Чья-то сильная рука подхватила меня. И тот же голос прозвучал ласково над ухом: — Да это Таня! — Оказывается, я натолкнулась на разведчиков партизанского отряда Бадина.

— У нас тут идет работа, воюем и день и ночь, — рассказывал один. Второй перебивал его: — Сеня тоже здесь. С нами в разведку ходил.

Кобылку мою отвели подальше в лес, меня проводили к Сене. Он, разумеется, залился веселым смехом, завидя меня, говорил что-то очень смешное, а я молила об одном: — дай ты мне, смоленский Тиль Уленшпигель, хоть часок поспать!.. Долго ли спала — не знаю. но — словно бы лежала я на пружинном матраце, и все пружины лопнули одновременно — меня подкинуло с земли кверху. Я вскочила: лес, пронизанный солнцем, гудел, стонал. Что-то звенело, ныло в небе. Подошел в развалочку Сеня. Сказал очень удивленно:

— С чего это ты вскочила? Спи, пожалуйста, ничего особенного не случилось, только лес бомбят, дурни.

Действительно, одиннадцать самолетов обстреливали и бомбили лес. Вчера немцы наткнулись на сильное сопротивление партизан, поэтому сегодня решили пустить в ход авиацию.

Часа два бомбили лес, но никто из партизан не пострадал от этого налета. Вскоре по большаку промчалось несколько танкеток. Бить по ним было не приказано. Следом за ними на автомашинах и мотоциклах подъехала пехота — автоматчики. Они рассыпались цепью, впереди себя пустили собак-лаек, пошли по лесу. У вывернутого дерева сидели за пулеметом Миша Бадин — командир отряда, Сеня и я. Дрожал воздух от стрельбы, эхо повторяло каждый выстрел десятки раз. Вдали, из-за стволов сосен показались пять-шесть немцев. Бадин — здоровенный детина — расправил плечи, откашлялся басовито, снял кепку, положил на траву. Похлопал пулемет, как коня, — давай-давай, друг! Две короткие очереди — и немцев как не бывало.

Повсюду шедших на проческу леса эсэсовцев встречали заранее расставленные пулеметные гнезда. Под вечер мы с Бадиным и Сеней прошли по местам только что затихших боев. Под деревьями, словно осенние листья, лежали убитые немцы. Оборона леса была поставлена так хорошо, что партизанский отряд не имел потерь. Пожилой партизан Кирилл Матвеевич, сидя на корточках за котелком с кашей, рассказывал:

— Стою я у дерева, а они, собаки, штук восемь, да две лайки с ними, надвигаются на меня. Вижу и понимаю — дело мое не из худших; имеется у меня один ствол, не с голыми руками встречаю приятелей. Поднялся я на дерево, выжидаю. А они напрягаются, ищут. Лайки уж не лают, а прямо-таки плачут — ищите, мол, лучше. К самому моему дереву подвели двуногих собак. Тут я ка-ак рубану сверху — уцелели только четырехногие сыщики. Так завизжали, что мне их даже жалко стало, поджали хвосты и скрылись.

— Этак ты скоро и немцев жалеть начнешь, сердобольный, — засмеялся Сеня. Кирилл Матвеевич погрозил ему ложкой.

— Проработай вопрос своей головой! Лайка себе хозяина не выбирала, ее простить можно.

Из штаба пришел приказ занять деревню Холм и там, организовав круговую оборону, держать большак, по которому завтра должна была двигаться дивизия «Желтый слон». Отряд Лугового был оставлен в лесу, отряд Бадина перебросили в Холм.

Мы заняли деревню ночью. Стоит она на высоком месте, слева озеро, справа ручей и мельница, впереди большак на Невель,

на Смоленск—Духовщину—Демидово—Белиж. Это центр партизанского края, тем печальнее было не найти в деревне ни одного жителя — все ушли к партизанам, в глубь леса. Еще кое-где зола была теплой, но деревня была уже мертвой. На огородах росли огурцы, помидоры, капуста, все это — думала я — скоро пожухнет без поливки, зарастет бурьяном. Меня вывел из задумчивости чей-то плач, мне показалось — детский. Но вокруг никого не было. Я стала искать более тщательно, и вот маленькая



П. Самуйлов

козочка, жалобно блея, подбежала ко мне и начала обнюхивать меня: отстала от хозяев, бедняга! Точно боясь, что снова останется одна, козочка всюду бегала за мною. Я легла вздремнуть, она уткнула мордочку в мои колени и, казалось, тоже уснула. «Товарищ Эсмеральда!» — смеялся надо мною Сеня. Но мне было уже не до смеха и не до козочки. Страшное, в заревах пожаров, легло над нами ночное небо — горели окрестные деревни. Их уже заняли эсэсовцы дивизии «Желтый слон», уже был ущерблен партизанский край. Кругом стреляли. Шли ожесточенные бои.

Утром над Холмом пролетели два самолета, спустились до земли, рассматривали деревню, но партизан не увидели: мы лежали в грядах, прятались в домах, на гумнище, под мостом. Самолеты скрылись, и вскоре над дорогой повисли облака пыли — пошли танки. Мост у мельницы еще накануне взорвал Сеня с двумя комсомольцами. Они же заминировали и большак в трех местах. Комсомольские ударные группы были расставлены по обеим сторонам дороги. Отдать врагу этот большак, значит отдать весь партизанский край, — повторял Сеня.

Дул сильный ветер, листва на деревьях краснела на глазах. В этот день, будто гнали ее впереди себя эсэсовцы, пришла осень. Небо покрылось тяжелыми тучами. Плохо было на душе.

Первый танк наскочил на мину и сразу поднялся в воздух, второй, сходу обогнув его, прошел по обочине дороги, за ним шли еще пять. Виктор Терехов встал, пригнулся. Немцы уже поливали большак пулями. Я крикнула:

— Витя, ложись! — Он усмехнулся мне как-то виновато, поднял противотанковое ружье и побежал навстречу танкам. Промчался мимо меня и скрылся в придорожной канаве. Сеня рванулся было за ним, но я успела схватить Сеню за рукав.

— Куда? Под свои же огневые точки? Не мешай ребятам, не разбивай их сосредоточенность.

Танк обогнул взорванный мост, перебрался через речку и, не прекращая огня, полез под гору, где притаился Виктор. Я ждала выстрела его противотанкового ружья, и у меня перехватило дыхание. Но за гулом, какой шел от земли, выстрела так и не услышала. Только танк вдруг дернулся вперед, потом словно поскользнулся и покатился вниз с горы. На секунду показался из канавы Виктор, в то время, когда второй танк взобрался на гору. Он приостановился, точно раздумывал, итти ли вдоль деревни или по огородам. На этот раз я расслышала выстрелы Виктора — два. И второй танк полетел вниз, его подбитые гусеницы огромной змеей растянулись по земле. По другую сторону дороги вела пулеметный огонь группа комсомольцев во главе с пулеметчиком Васильевым. Третий танк проскакал мимо нее и помчался вдоль деревни. Васильев стрелял ему вдогонку — сбил двух эсэсовцев, но самого танка не повредил, он скрылся за поворотом. А следом за этим прорвался и четвертый танк: У Виктора, видимо, ружье дало осечку. Но Виктором двигали уже высшие силы, он вскочил, бросил гранату — не разорвалась. Бросил вторую — разорвалась в стороне. Третья попала под гусеницы — танк с поникшей в сторону башней остановился, но из него продолжали стрелять. Виктор стоял перед ним во весь рост, и оттого, что был комсомолец сильнее страха смерти, и оттого, что стоял на пригорке, казался он очень большим, богатырем. Я знала — его сейчас не станет. Спасти

его нельзя ничем, он сам спасал нас, наш партизанский край. По комсомольцу стреляли. И он выстрелил еще раз по подбитому уже танку. Удачно. Но он не замечал, что пятый танк наступает на него. Нет, в этом неповторимом душевном подъеме он видел все и помнил все — и то, что в противотанковом ружье бывает только три заряда. Виктор отшвырнул в сторону ружье. За поясом у него висела граната. Чтобы снять ее, нужно потратить минуту — две. А немецкий танк был уже рядом. Виктор помнил все. На секунду обернулся к нам, вскинул кверху руку — живите! И бросился под танк...

Сеня упал лицом в ладони — это он разыскал где-то в дальней деревне семнадцатилетнего Виктора Терехова, и он сегодня на рассвете принимал Виктора в комсомол.

Бадин бросился туда, к подорванному танку. Я обогнала его. Но мы не нашли тела Виктора, только в стороне подобрали одну руку, руку героя, уничтожившего немецкие танки. Будем помнить о нем, товарищи!

К середине дня показалась кавалерия. Лошади одна в одну, гнедые, лоснятся, танцуют под седлом. Замысел конного эскадрона мы разгадали сразу: он заходил от ручья, чтобы прижать нас к озеру. Хорошо бы его встретить там, где он не ждет нас! Невдалеке стояла деревня Киселя. Бадин решил, что это и есть самое удобное место для встречи с кавалерией. Девять храбрецов с тремя пулеметами перебежали в Киселя. Я не могла не пойти с ними.

— Ничего, и здесь голубчиков прищучим! — пробасил спокойно Бадин, ложась за пулемет у самого моста.

Эскадрон, подъезжая к Холму, взял аллюр 3. Немцы вихрем пронеслись по деревне, вдогонку им не было послано ни одного выстрела. Обманутые мнимым спокойствием, они уже на рысях подъезжали к Киселям. В это время Сеня схватил меня за руку:

— Гляди! Еще конница!

Словно из-под земли появился второй эскадрон. Он подходил к деревне с другой стороны. Ребята посматривали не без тревоги то на меня, то на Сеню: нас было десять человек, врагов — два эскадрона. Нужно было что-то сказать ребятам, чем-то взбодрить их.

— Немцы охватывают нас с двух сторон, товарищи. Но они не видят главного: мы их перебьем, сколько хватит патронов, а потом уйдем. У нас великолепный отход: вон там ручеек соединяется с лесом... — сказала я и рассмеялась, от чистого сердца, от радости: к ручейку, на который я показывала ребятам, подошли наши партизаны отряда Лугового! Теперь ух мы не думали об отходе. Бадин сказал своему пулемету: давай-давай! — и, когда уже различимы были лица эсэсовцев, открыл огонь. Передняя лошадь шарахнулась в сторону, рванулась на колени. Седок успел соскочить с седла, но тут же был срезан пулей — хорошее начало. Бой закипел.

Домик, у стены которого я лежала, стоял на пригорке — немцы отсюда были, как картонные мишени в тире. Я посылала короткие автоматные очереди, в промежутках поглядывая на другой конец деревни. Там уже дрались партизаны Лугового со вторым эскадроном.



Я. Морозов

Бой длился долго. Конница то отступала, то снова шла в наступление. Бадин приказал стрелять только по цели — боеприпасов у нас оставалось совсем немного. Но позиция наша была так удачна, что немецкая конница несла огромные потери. Их оставалось уже немного — эсэсовцев. Но патроны у нас вышли все. И как раз в это время мы получили из штаба приказ до вечера не отходить из деревни...

И сейчас в ушах звучит веселый, густой, как гудок парохода, голос Бадина:

— Ребятки, у нас ведь руки русские! — он бросился на переднего конника и стянул его с седла. То же сделал и Сеня, за ним все ребята пошли в рукопашную. Разбив второй эскадрон, партизаны отряда Лугового поспешили к нам на выручку.

Конница была разгромлена. День шел к концу, можно было подвести итог: у нас были потери, но враг в этот день не про-

шел через наши заслоны. Отряд Бадина, не имея боеприпасов, отошел в лес.

В ту же ночь я выехала в бригаду Овчаренко и к утру была уже в Заборье. Пять дней назад я проезжала этой деревней. Тогда здесь было спокойно, ребятишки гнались за моей Катькой: покатай! А теперь на улицах ни живой души. Почему покинули деревню жители?

Катька моя, как всегда, когда чуяла немцев, рвалась вперед и прядала ушами. Что-то неладное! — подумала я и, свернув с улицы к полю, галопом поскакала к деревне Лаенка. За моей спиной раздался выстрел, потом длинная пулеметная очередь. Сомнений не оставалось: здесь были немцы. Катька моя, привыкшая к боям в лесу, стала рваться к лесу, откуда и стреляли. Я едва удержала ее. Пули свистели вокруг нас, но Катька вынесла. Так, на бешеном галопе, я и вкатила в Лаенки. Древний старик, бесстрашно раскинув руки, преградил мне путь. Схватил за узду кобылку и приказал:

– Слезай! Куда несет тебя нелегкая? Немцы кругом. — Он сурово глядел на меня из-под седых бровей.

– Почему же, дедушка, вы остались в деревне?

– Я на посту...

– На каком посту?

– Хлеб партизаны не успели вывезти, тут он, кормилец, — старик кивнул на амбар. Я соскочила с лошади.

– Дедушка, где-то я вас уже видела?..

– Молода, а беспамятна... Кто по весне к парикмахеру приходил подстригаться?..

Верно! Вспомнила: месяца четыре назад мы с комиссаром отряда Черноусовым проводили здесь собрание. Тогда немцев отсюда выбили, восстанавливались колхозы, и мы помогали им. После собрания председатель колхоза Дуся Борисова повела меня стричься к колхозному парикмахеру. Помню, комиссар шутил со стариком: не возьмется ли он заодно подрезать нашим лошадям хвосты? Старик, надевая белый халат и очки, так же шутливо ответил:

– Женскую голову легче остричь, чем конский хвост: надену на голову горшок, придерживаюсь за его края и режу без волнения. А на конский хвост горшка не наденешь... — Теперь в руках у этого старика были не ножницы, а винтовка.

– Дедушка, немцы в полукилометре! Давайте подожжем хлеб, и я провожу вас в отряд.

Старик посмотрел на меня еще суровее:

– Поджечь всегда можно. А вот сумей его спасти, чтобы люди на зиму не остались голодные. Ушли все в лес, а к чему вернутся — не подумали. Дерево человеку модать нельзя. Человек требует пищи... А там детишков с полсотни есть. Деревня наша была, слава богу, не из последних... — старик отвернулся от меня и начал всматриваться туда, откуда стреляли. Я готова была плакать: ну что он мог сделать с немцами с одной винтовкой в руках?! Погибнет, как муха. Я стала снова и снова уговаривать старика, попробовала пригрозить: он будет отвечать, если хлеб достанется немцам. Он затопал на меня ногами, закричал:

— Уезжай своей дорогой, а то... я тоже оружейный! Даром что ты комиссарша! — Он вытер седую бороду свою и поцеловал меня в щеку: — Езжай, внучка, не трать время. А будет оно у тебя когда-нибудь посвободней, вспомни тогда, что жил на свете колхозный парикмахер Литвинов...

Едва я вскочила в седло, как пуля просвистала у меня над головой. Катька рванулась с места в галоп и понеслась к реке Гобзе. У берега, в кустах, я ее придержала, посмотрела назад. В Лаенках шла перестрелка: стреляли, судя по звуку, из пулемета и из автоматов, редко-редко слышался винтовочный выстрел. С противоположного берега кто-то окликнул меня:

— Эй, эй! Командир приказал вам ехать сюда вплавь, мост взорван! — человек прятался за углом какой-то постройки, не выходил на открытое место. Я отпустила слегка подпруги, и Катька поплыла. Да была она так заморена, что на середине реки мы начали было с ней тонуть — едва выбрались на берег. Я попросила партизан накормить мою Катьку, а сама с Полищуком пошла по огневым точкам.

Повидалась с Рябчуком. Дальше, у минного поля, в жидком кустарнике сидели за пулеметом Володя Кузьмин и Андрей Милюткин. Я рада была встрече с Володей, от него веяло такой силой, таким здоровьем, что и моя усталость, казалось, прошла. Он знал о старике, оставшемся в Лаенках, и, не отрываясь, смотрел на ту сторону реки. И вот над Лаенками вспыхнуло пламя. В самом центре деревни, где и стояли амбары с хлебом, разрастался пожар. Стрельба там сразу прекратилась.

— Конец, — сказал Володя. — Столетнего деда больше нет на свете. А я, физкультурник, с этакими вот руками сидел здесь и ничем, ничем не мог ему помочь.

— А ты не горюй досрочно, — сказал спокойно Андрей Милюткин, — сейчас немцы попрут на нас, тогда и твоим ручкам найдется дело.

Сколько раз впоследствии, когда Володя был уже калекой, вспоминала я этот малозначащий разговор о его сильных руках. И хмурый день вставал в памяти, и общипанный осенью, скучный кустарник. В нем и поджидала Володю беда...

Полищук, как всегда спокойный, посмотрел на меня прямыми, черными глазами и сказал:

— Этот бой, Татьяна, я буду принимать не по чести и не по совести: не знаю ни силы врага, ни его намерений.

Я развернула карту: немцы шли одной

группой от Демидова на Свистовичи—Корово—Слобода, по трассе. Вторая группа надвигалась на нас из Духовщины, огибала Куров бор, третья — наносила удар партизанскому краю от Витебска—Невеля. Шли немцы и от Смоленска и от Каспли, от Рудни и Демидова — эта вторая лавина карателей обрушивалась на героические партизанские полки Гришина и Садчикова. Партизанам было уже бессмысленно цепляться за населенные пункты — их не удержать при таком превосходстве врага. Мы разбивались на небольшие группки. За каждым кустом, у каждого ручейка, за любым камнем такие группки партизан поджидали врага и громили целые батальоны и полки его. На карте у меня было отмечено крестиками, где стояли раньше наши бригады, птичкой — отряды, точками — взводы. Теперь эта карта годилась только на то, чтобы показать товарищам, как со всех сторон сжимают нас каратели.

— Так, так, — вздохнул Володя, — им понадобился наш партизанский край. Нам это не дешево обойдется, но зато землю нашу они получат на вечное пользование: по сажени каждый. — Одним легким движением он поднял с земли свое большое тело и сказал:

— Комвзвода, позволь мне узнать силы противника!

Перед ним лежала ровная полянка, им же заминированная, дальше шла река, противнику она была вся видна с того высокого берега. Полищук молчал. Тонкие брови сошлись у переносья, будто черной чертой подчеркнули ту мысль, которая владела сейчас Полищуком: послать или не посылать товарища на смертельную опасность?

— Иди, — сказал он тихо.

Володя переодился колхозником, взял топор за пояс и пошел. Мы о нем не говорили, так было принято у партизан — прятать тревогу в себе самом. Ребята раздобыли где-то хлеба. Ни Полищук, ни я весь день ничего не ели — и накинулись на хлеб с жадностью.

— Ты, Татьяна, почему-то все худеешь, — сказал, вздохнув, Андрей Милюткин.

— С чего бы это? — засмеялась я. Но Андрей, видимо, не был расположен к шутливой беседе. Светлые, девичьи глаза его смотрели куда-то далеко. И будто не мне — кому-то далекому говорил он задушевно:

— Когда я увидел тебя в первый раз... давно-о... ты показалась мне такой красивой, гордой. Идем, бывало, в разведку или на операцию — я все про тебя одну думаю...

— Когда же ты от этой неприятной мысли отделался?

— Разговор не шутейный, Татьяна! — сказал Андрей строго. — Отделался я от мысли о тебе тогда, когда узнал от товарищей, что ты любишь Шерстобитова.

Пошел дождик, мелкий, холодный иголками колол лицо Андрей натянул на самые глаза кепку, козырек ее был переломан на середине и торчал шалашиком над андреевым носом.

— Теперь ты некрасивая... Но такая... точно мы с тобою и родились и выросли вместе. А говорю я с вами, товарищи, с обиды: пришел «Желтый слон». Умирать за свое дело не страшно. От хворобы, скажем, умирать страшнее. Только обидно, что не узнал лучшего, что есть на земле-любви.

Он замолчал. Молчал и Полищук, сосредоточенно вглядывался в ту сторону, откуда мы ждали немцев. Там было тихо, только дым от пожаров тянулся к низкому, серому небу. Полищук сказал:

— Умирать всегда обидно. Может быть, тому, кто никого не любит, даже легче. В Белоруссии, в Витебской области, есть у меня девушка — некрасивая, необразованная, обыкновенная колхозная курятница. Я ее знаю с детства. Люди говорят — грубовата она, а мне сдается — нет лучше ее на всем белом свете. Посмотрит в глаза — душа у меня взлетает. За то, что глянула, хочется каждому что-нибудь хорошее сделать. Так и обнял бы весь свет. В бою вижу ее глаза, чувствую пристальный взгляд, и такое зло на немцев... — Он махнул рукой и замолк, потом вынул карандаш, обрывок бумажки и деловито стал что-то писать.

— Вот, Татьяна, ее адрес. Случится что — сообщи ей.

Я кивнула молча головой. О себе подумала: стала я копилкой чужих чувств. Деды выдалбливают у нас по деревням из старого просохшего дерева копилки в виде смешных уродцев, полые внутри.

Володя вернулся лишь к вечеру. Конкретных сведений о враге он не принес, только рассказал подробности о гибели колхозного парикмахера.

Когда вошли немцы, старик спрятал винтовку, надеялся, видимо, что им хлеб не понадобится. Но эсэсовцы сразу налетели на амбар. Старик выхватил свою винтовку — она была восьмизарядная — и убил восемь немцев. Бидон с керосином он приготовил заранее и, уже раненный, поджег амбар. Его застрелили. Тело его, вероятно, сгорело вместе с хлебом.

Узнал Володя и о том, что отряд Феди Новокшанова третьи сутки ведет жестокий бой у местечка Рибшево. Кровь там лилась рекой, и у отряда не было возможности отправить раненых в партизанский госпиталь.

Сгущались сумерки. Бесшумный нудный дождь не прекращался, сырость пробирала до костей. Мы ждали врага, и нам неохота была разговаривать. В тишине мы все разом услышали топот копыт и насто-

рожились. Но это был не враг, это связной из штаба привез Полищуку приказ: деревню не удерживать, уничтожить эсэсовцев столько, сколько позволяет взводу наличие боеприпасов.

Завидя меня, связной открыл было широко глаза, потом заулыбался и сказал:

— А тебе, Татьяна, приказал Муромцев немедля ехать в штаб. — Только впоследствии я поняла, чем объяснялись эти странные улыбки связного. А сейчас мне было не до них, — покидать товарищей в такой тяжелый момент казалось немыслимым. Но приказ — есть приказ.

— Прощайте, друзья. Если будет мне разрешено, я вернусь, может быть завтра же.

Катька, увидев меня, заржала, как всегда после недолгих наших разлук. Ржание ее было особое — будто серебро рассыпалось по полу. Ласковая, умная была кобылка.

Подъезжая к лесу, я оглянулась назад. Ребята махали мне шапками.

— Татьяна-а! Приезжай скорее... Ждем...

Это голос Андрея Милюткина... Давит жалость к юным друзьям и боевым товарищам...

Маленькая деревушка, сжатая с двух сторон лесом, стояла в стороне от трассы. Домики были здесь новые, добротные, почти у каждого — садик и колодец с журавлем. Меня остановил часовой из комендантского взвода. В темноте я узнала его по голосу: комсомолец Ваня Кучеренко.

— Таня! Ой-ой, Таня!!! — вскрикивал он. — А здесь прошел слух, что тебя... — Ваня замялся, погладил шею лошади, кинулся снимать меня с седла. Из темноты возник Семеныч. Он схватил меня за плечи, приподнял с земли.

— Жива! Жива наша Таня!

Я ничего не понимала. Стояла на дороге, мокрая, в сапогах, от которых остались только одни голенища.

— Где же тебя, юлу, разыскали? — Семеныч подталкивал меня к штабной избе. — От Бадина уехала к Шлапакову, а тот сообщил, что к нему не приезжала. Мы и загоревали — убита дорогой. Комиссар всем связным приказывал: где бы ни увидали стрекозу, гоните в штаб...

Семеныч был писарем штаба, чудесный старик, с длинными усами, здоровый, спокойный. Мы с ним были большими друзьями. Он, как отец, провожал и встречал меня. Приберегал что-нибудь вкусное к моему возвращению, укладывал спать на столе в штабе и, садясь подле меня, рассказывал новости.

Мой вещевой мешок, в котором хранилась пара белья, дневник и несколько чудом уцелевших фотокарточек Семеныч ревностно берег и возил вместе с секретными документами. Он был у нас и писарем штаба, и начальником секретного отдела. До войны Семеныч работал в Леспромхозе десятником лесоразработок. Были у него и жена, и четверо детей — большая, дружная семья. Но пришли немцы, расстреляли всех пятерых. Семеныч — бобыль, сирота — ушел в партизанский отряд.

Стоя около меня, он тихо приговаривал:

— Слава богу, гора с плеч... Думал, еще беда упала на мою голову. — Вокруг нас собрался целый кружок. Товарищи молчали, улыбались, разглядывали меня, как чудо. И вот раздался тихий — да простит мне память дорогого товарища — раздался глупый, счастливый смех. Это Миша Малый, Миша Хайрединов протиснулся ко мне, смотрел на меня и, не находя слов, смеялся. Белые мелкие зубы, огромные белки глаз сверкали на его милом загорелом татарском лице. Вода стекала со стриженых волос мне за шиворот, промокшая насквозь одежда липла к телу, но как тепло, товарищи, было у меня на сердце.

ВТОРАЯ ОСЕНЬ

Когда разрывался снаряд, колебалось пламя в керосиновой лампочке. В разбитые окна, завешанные плащ-палатками, врывался ветер и дождь.

— Итак, Таня, Красная Армия от нас на расстоянии пушечного выстрела, — говорил Муромцев, и чуть заметная грустная улыбка подергивала уголки его губ, — так близко и... дальше, чем была несколько месяцев назад. Мы не имеем морального права стремиться к соединению с нашей армией. Чем она дороже нам, тем дальше от нее мы должны быть. Печальный парадокс. Мы — партизаны, наша зона действия — тыл врага.

Он провел ладонью по темным волосам, будто смахивал с себя невеселые мысли. Потом взял со стола красный карандаш и жирной чертой обвел на карте круг:

— Вот, Таня: если немцы ликвидируют партизанский край, они навалятся в этом направлении на 4-ю ударную, на 41-ю и 39-ю армии. Отрежут их вот здесь! — комиссар второй раз обвел карандашом круг.

— Нельзя! Не надо их допускать! — вырвалось у меня. Красная черта на карте была, как струйка крови вокруг Великих Лук и Торопца, где стояли наши армии.

Совсем близко разорвался снаряд, плащ-палатку сорвало, лампа погасла. За окном пылало зарево пожаров.

— Вот спички, зажгите, а я займусь окном, — сказал комиссар, и от этих малозначащих слов больно и сладко сжалось у меня сердце: в темноте почудилось, их произнес Петрович. Интонации и тембр голоса были одни и те же. Вот почему с первого момента так легко было мне говорить о чем угодно с Муромцевым!

— Борьба с врагом вступает в самую тяжелую для нас фазу, — сказал он, — нет боеприпасов, и доставлять их через ли-

нию фронта почти невозможно. Бить немцев мы можем только теми патронами, которые удастся у них же отобрать. Но это не худшее... Над нами нависает, Таня, угроза голода. И дальше — маневренные способности наших отрядов до предела усложнены: за каждым из них идут сотни мирных жителей, бежавших от немцев из деревень.

Дверь распахнулась — вошел забрызганный по уши грязью связной. Он сообщил, что полк Садчикова вышел в деревню Зальнево и сразу же принял бой с немецкими автоматчиками и минометчиками. Это было в двух километрах от нас. Штабу немедленно надлежало менять свое местопребывание. Муромцев сказал мне коротко, в какие формы должна вылиться работа каждого комсомольца среди партизан и среди мирного населения в эти тяжелые дни. Мы простились с комиссаром.

Дождь немного перестал, и небо не висело уже над самым теменем, но было красно и зловеще от пожаров. Горела Зеленая Пустошь, горели Рожны, горели какие-то деревни и за лесом. Мы находились в кольце боя и огня.

Я направлялась ко взводу Полищука. Что сталось с ним? Я разыскала свою Катьку и отправилась в Дедково.

Только въехала в лес — Катька начала фыркать и прядать ушами. Дальше-больше, слышу — идет по моей лошадке мелкая зыбь.

— Не дури, пожалуйста, я устала, — сказала я, но автомат с плеча сняла.

Мой путь лежал вдоль реки Гобза, справа было болото, оно тянулось на десятки километров, до рек Мёжа и Ельша, впереди — деревня Городище. Кто мог поручиться, что в ней нет немцев? Я объехала ее по берегу реки, а Катька пуще прежнего вздрагивала и рвалась в прибрежные кусты. Каким неизвестным человеку чувством чуяла она врага? Из Городища раздались пулеметные очереди. Пулеметы лаяли, захлебывались. В бою о них не думаешь, а здесь, когда не было ни одного товарища поблизости, я чувствовала себя затравленным зверьком. Катька, бедняга, галопом бросилась к реке. Но стрельба была так сильна, что я остановила лошадь и спрыгнула с седла. Стреляли впереди, сзади, вокруг. Уже слышалась немецкая команда, говор. Эсэсовцы шли за мной по пятам. Перебраться через Гобзу, значило потерять возможность найти какой-либо отряд — за рекой партизан не было. А сзади уже слышался лязг оружия. Натравливали на кусты собак. Выбор был прост: либо переплывать Гобзу, либо застрелиться, чтобы не попасть живьем немцам в руки.

Я спустилась с берега. Река в этом месте была глубока, вода холодная. Катька тихо заржала, точно пожаловалась на горькую свою партизанскую долю. Под прикрытием берегов я пробиралась вдоль реки к Дедкову. А стрельба все усиливалась, ожесточенно лаяли собаки, метались у воды. Вскоре Катька нащупала мелкое место, обрадованная бросилась вперед и вымахнула на берег, в лес. — Кажется, кобылка, мы с тобой спаслись! Но до Дедкова было еще семь километров. А там тоже, вероятно, немцы. И чтобы попасть в Дедково, нужно снова перебраться через реку...

Только сейчас я заметила, что опять идет дождь, закрывает даль от глаз серой пеленой. Тщетно я вглядывалась в минное поле, в жидкий кустарник, где два дня назад было пулеметное гнездо Андрея Милюткина и Володи Кузьмина. Где они теперь? Тихий и безлюдный лежал передо мною противоположный берег. По отлогому глинистому овражку я спустилась к воде, решила снова перебраться через реку. Но, словно немцы только и ждали меня, рванулись одна за другой несколько автоматных очередей. Опять! Где взять нам силу, Катька?! Она метнулась назад, на крутой берег, но поскользнулась и поползла по глине вниз. Чтобы не быть мишенью, я соскочила с седла и тут же шлепнулась в грязь. Пули визжали над нами. Храпя, Катька рванулась на берег, я, уцепившись за поводья, волочилась за ней. Не помню, как вскочила в седло, не думала уже о том, что немцы покрывают полянку пулями — мчалась к лесу. Другого выхода у меня не оставалось. Вдруг лошадь споткнулась, я чуть не перелетела через ее голову. Она заржала, как заплакала. Шатнулась и повалилась на бок. С шеи и груди ее лилась кровь. А пули свистели так, что я вынуждена была упасть рядом со своей Катькой. И как только я упала, стрельба прекратилась — и загоготали, затараторили немцы. Катька стонала, как человек, в глазах ее, налитых кровью, стояла мука. Я переложила в левую руку автомат, из пистолета выстрелила ей в голову. Она вытянула шею, глаза все еще смотрели на меня, но страдание, мысль, жизнь уже уходили из этих глаз. Так будет и со мною, — подумала я и тут же спохватилась: немцы могли услышать мой выстрел из пистолета! Нужно спасаться, потому что необходимо жить — необходимо уничтожать их, врагов.

Невдалеке маячил куст. Он одиноко и пышно рос на краю поляны. Я поползла к нему, сразу заметила под ним какую-то одежду. Нет, это была не одежда — убитый человек лежал, уткнувшись лицом в землю. Рядом валялась кепка со сломанным на середине козырьком. Я уже знала, кого из товарищей нашла погибшим. Напрягая силы, повернула тяжелое тело его: Андрей Милюткин... Синие, девичьи глаза бездумно смотрят в дождливое, сумеречное небо. Грудь разворочена осколком.

Андрей Милюткин! Два дня назад он говорил: умирать за свое дело не страшно, только обидно умирать, не узнав лучшего, что есть на земле — любви. Два дня назад, в такие же непогожие сумерки, он кричал мне голосом-серебром: Татьяна, приезжай скорее... ждем...

На поляну вышли три немца. Сразу кинулись на прекрасное седло. Начали его снимать с Катьки. Прижавшись к телу Андрея, я выстрелила в мародеров из автомата. Двое упали рядом с моей лошадью, третий пополз, но вторая очередь автомата и его угомонила.

Совсем стемнело. Я ощупью нашла карман на груди Андрея, гимнастерка была мокрая, липкая. Кровь еще не засохла на ней. И тело Андрея еще не совсем окоченело: он, видимо, медленно и мучительно умирал и умер недавно. Комсомольский билет его, разорванный и окровавленный, я сунула в свой карман. Еще раз вгляделась в лицо Андрея: ты не скажешь уже, где твои товарищи — Полищук, Володя Кузьмин, Рябчук... Тихо. Темно. Хлюпает дождь. И холодно, в самую душу пробирается холод. Нужно уходить. Я прикрыла лицо Андрея своим носовым платком и пошла. Шла лесом, опушками, пила из луж дождевую воду. Что думала, что чувствовала — разве вспомнить: не в первый раз и не в последний погибали дорогие мне люди, смерть ходила одними со мной тропками.

Гудел лес. Пела свою слезливую песню вторая партизанская осень. Падали на мою голову желтые, мертвые листья. Я вышла на какой-то большак, в темноте не разглядеть — какой. Услышала шлепанье лошадиных копыт. Ехали двое верхами, разговаривали о бое в Дальневе. Я бросилась к ним навстречу, выкрикнула:

— Москва!

— Смерть фашизму! — отозвались на мой пароль.

Еще минута — и я сидела в седле, а комиссар 3-й партизанской бригады Федоренков шел рядом. Он рассказывал последние события: штаб наш находится уже в Заходах, партизанами убит командир дивизии эсэсовцев «Желтый слон» генерал-майор Поппе.

Добрались до деревни Воробьи. Здесь стоял взвод партизана Цырка. В домах гулял ветер — население ушло в лес, и Цырк решил обогревать и сушить меня в бане, в которой только что мылись партизаны.

Разумеется, едва раздевшись, я уснула в предбаннике и сколько бы проспала — не знаю, если бы меня не разбудил разрыв снаряда и стрельба. Я вскочила, схватила свою одежду — грязь на ней подсохла и лежала толстой дубовой корой — и выскочила из бани. Рядом в деревне Зальнево врукопашную дрался с немцами полк Садчикова. Надо было ждать немцев с минуты на минуту и здесь. Цырк вывел свой взвод ближе к околице.

Из-за трассы вынырнула группа немцев. Они залегли в канаве и открыли ураганный огонь по деревне. Под их прикрытием от Зеленой Пустоши шла цепь автоматчиков.

— Спокойно, товарищи! Мы еще посмотрим... — глухо сказал Цырк.

— Чего смотреть, Гриша? Патронов у нас на два выстрела, — отозвался заместитель Цырка, Май-Борода.

— Другие без патронов воюют, а комсомольцы побоятся? Иди к людям!

Погода немного прояснилась. Сквозь тяжелые тучи проглядывало солнце. Лес, весь багряный, обступил деревню, точно прислушивался к ней. Партизаны сидели за углами домов тихо, словно бы их здесь и не было. Немцы выпустили тысячи пуль, изрешетили стены домов и, решив, что деревня пуста, вошли в нее. Вот тут-то партизаны выбросили весь свой драгоценный запас патронов. Немцы устелили своими трупами желтый от дождей дорожный песок.

Цырк натянул фуражку на глаза, сказал мне сердито, будто выругался:

— Теперь ты уходи! Нет у нас патронов больше.

...Началась рукопашная. На Цырка налетели три немца. Он схватил автомат за ствол, свалил двоих, ударил и третьего, но тот, падая, выхватил пистолет. И в моем пистолете была одна пуля — заветная. Берегла я ее не для врага. Но — еще секунда и Цырк погибнет, — я выстрелила.

Взвод Цырка истребил роту немцев и отошел в лес ждать боеприпасов. Я простилась с товарищами и на лошади, которую мне подарил комиссар Федоренков, уехала искать штаб. Впереди слышно было, какая-то деревня всем миром уходила от врага в глубь лесов, навстречу зиме, холоду, голоду. Чтобы не видеть этого народного горя, я обогнала толпу. Лошадь была посильнее и покрепче моей бедной Катьки, но мы еще не привыкли одна к другой, и она, кося глазом, норовила ухватить меня зубами. Вдруг точно по команде поднялась стрельба, залп автоматов, второй... Я круто повернула лошадь и галопом поскакала к толпе. Кричала людям, чтобы свернули в лес, подальше от трассы. А здесь уже поднялась паника, — от пуль автоматов упало несколько коров и овец, и люди бросились бежать кто куда. Пяти минут не прошло, как все живое — и люди, и скот исчезли из виду. И голосов не слышно стало. Только где-то сзади разгорался бой.

Я ехала шажком, вдыхала грустный, но полный очарования запах осеннего леса. Вдруг услышала впереди детский плач. Прислушалась, спрыгнула с лошади, по-

пла на плач. На покрытой мертвыми листьями земле лежал, брыкая ножками, ребенок. Маленький, месяцев восьми, глаза синие, полные горьких слез. Увидел меня — перестал плакать, начал сучить пухленькими ножками. Кругом — ни души! Подняла я ребенка, а что с ним делать — не знаю. А он чмокает беззубым ртом, ищет грудь — впору самой плакать. К счастью, нашла в кармане корку хлеба, сунула ребенку в рот. Лошадь, злюка, посматривала на младенца с явным неодобрением, уже не помню, как и взобралась я на седло! Вот когда я боялась попасть под немецкие пули! Ехала, озираясь, прислушиваясь. Но младенец, видимо, родился в счастливой рубашке — без единого происшествия мы прибыли с ним к вечеру в деревню Выставка.

Я расспрашивала встречных, где стоит партизанский штаб. Мне отвечали, — мы сами нездешние, сами стоим под открытым небом. Я ехала дальше. На перекрестке, окруженная бабами, плакала в голос молодка. В те дни много гибло партизан и много слез пролили их жены и матери. Я хотела объехать стороной толпу женщин, но молодка кинулась ко мне с поднятыми кулаками:

— Стой! Стой, партизанка! Мой сыночек! Отдай!

— Ох, да возьми, сделай милость. — У меня, как гора с плеч свалилась.

Молодка, ее звали Пелагеей Крыловой, на радостях чуть не до смерти зацеловала ребенка, потом кинулась было целовать меня, да не дотянулась и в приливе благодарности приникла губами к ноздрям злюки-лошади. Мало в ту пору видели мы счастливых людей. и от горя никто из нас не плакал. Но счастье этой матери заставило меня прослезиться. Она сказала: доживешь до старости, не будет у тебя детей — не горюй. Прикажу своему сыну считать тебя второй матерью.

Штаб я разыскала в Заходье. Муромцев только приехал из отряда Бадина и начал было рассказывать мне о героических боях, как артиллерия стала бить по деревне. Враг шел по пятам штаба. Отряды одерживали его натиск, истребляли сотнями немцев. Но пьяная волна эсэсовцев, вооруженная богатой техникой, катилась за стаями собак-ищеек по партизанскому краю. Остановить ее было невозможно, да и не к чему. Перед нами стояла задача истреблять врага и его технику, отвлекать его силы от фронта. И с этой задачей мы не плохо справлялись: за семнадцать дней боев партизаны истребили 1872 немца. В первые дни мы только оборонялись от этого взбесившегося «Желтого слона», но теперь отряды перешли к методу налетов, засад и открытых схваток.

Эсэсовские части не знали ни отдыха, ни сна. Их собаки, и те — буквально — поджали хвосты: их науськивали на партизан, но они уже не кидались, как прежде, на поиски, а, визжа, жались к хозяевам.

Каратели постоянно попадали в положение караемых. Ожесточенные неудачами, они свирепствовали, жгли деревни, расстреливали мирных граждан, которые не успели уйти в леса. Горела Смоленщина, утопала в крови Белоруссия.

Получив от Муромцева задание, я собралась уже выезжать в отряды, как появился мой хороший Семеныч.

— Не торопись, стрекоза, — сказал он



В. Кузьмин

ласково, — во-первых, повсеместно все равно не поспеешь, во-вторых, у меня есть к тебе неотложные дела...

Он полез в свой вещевой мешок и, таинственно улыбаясь, долго рылся в нем. Наконец, вытащил плитку шоколада.

— Откуда, Семеныч?! — вскрикнула я. Не только швейцарского шоколада не было у нас, но и картошки с хлебом мы уже не ели вдоволь. Семеныч погладил усы, сказал:

— Один «Желтый слон» не успел этого галлапетора съесть перед смертью, оставил у себя в кармане специально для тебя.

Второй деловой разговор Семеныча был значительно горше: в партизанский госпиталь доставлен тяжело раненый парень. Комсомольский билет его залит

кровью, лицо изуродовано, невозможно установить — кто он. Поезжай, Таня, может быть, узнаешь или почувствуешь, — просил Семеныч.

Партизанский госпиталь находился близко, в деревне Низы. Начальником его был молодой хирург комсомолец Фролов Алексей Алексеевич. Как все врачи, по виду он был спокоен и безразличен к окружающему его горю, но мне Алеша как-то признался, чего стоит ему каждая ампутация — молодых парней, своих комсомольцев он возвращал к жизни, но... возвращал калеками. И сейчас он только вышел из операционной — губы сжатые, молодое лицо подернуто старческим, серым пеплом. Сказал:

— Хорошо, что ты пришла: один раненый в бреду все время зовет тебя.

— Кто?

— Не можем опознать. Подобран в районе действия отряда Петрова.

Перед глазами у меня пронеслись лица Полищука, Володи Кузьмина, Рябчука, Андрея Милюткина. Андрея уже нет в живых... С кем же из близких товарищей предстоит мне нерадостная встреча? Я вошла в избу, служившую палатой для тяжело раненых. Алеша подвел меня к кровати у стены. Лицо раненого было сплошь забинтовано. Из-под марли выбивался клок русых волос — значит, это не Полищук. Полищука мы звали «вороным». Алеша приподнял одеяло. Я увидела широкие плечи, сильную, высокую грудь.

— Володя Кузьмин! Студент физкультурного техникума.

— Студент... — деревянным, беззвучным голосом повторил за мною Алеша Фролов. Потом откашлялся, сказал спокойно: — У него начиналась гангрена. Пришлось ампутировать обе руки. Выживет. Организм редкой силы. Глаза, к счастью, не пострадали.

Ни через несколько дней, когда к Володе вернулось сознание, ни через два года, когда мы встретились с ним в Московском университете, я ни о чем не расспрашивала его. Из донесения в штаб узнала: немцы обошли его пулеметную точку с тыла. Отступать не было возможности, позади лежало минное поле и река. Володя, Андрей и Полищук подпустили эсэсовцев метров на пятнадцать—двадцать. Бой длился полдня. Три партизана-комсомольца выдерживали натиск двух рот. Учитывали каждый выстрел, чтобы ни один патрон не выпустить зря. Втроем уничтожили шестьдесят немцев. К вечеру патроны кончились, тогда они бросились врукопашную. Андрей, тяжело раненный, уполз под куст. Володю Кузьмина ранило миной. Его прекрасное, открытое лицо было так обезображено, что партизаны другого отряда, подобрав его, не узнали в нем красавца Володю. Невдалеке от него погиб в тот же день и друг его Рябчук, знаменитый наш минер. Полищука никто не видел, — как в воду канул спокойный, бесстрашный командир взвода Полищук. Трупа его мы не нашли, в плен эсэсовцы партизан не брали. Вероятнее всего — Полищук, раненый, утонул в Гобзе. В моем вещевом мешке хранился (и поныне хранится вместе с дорогими мне вещами) клочок бумажки, на котором рукой Полищука написан адрес девушки, простой курятницы одного из Витебских колхозов. Я не написала ей. Не сообщила о гибели Полищука. Убить надежду в этой девушке у меня нехватало сил.

КОНЕЦ «ЖЕЛТОГО СЛОНА»

Штаб «Желтого слона» расположился в деревне Досво. Дивизия была так потрепана, что сама уже не предпринимала боев, ждала пополнения. У нас, в партизанском крае, обстановка изменилась, переформировывались взводы. Муромцев был назначен командиром всей Северной группы партизанских отрядов — Иван Иванович Владимиров — вдохновитель и учитель Володи Куриленко, Рябчука, Володи Кузьмина — был теперь заместителем Муромцева. На нашем направлении фронта Красная Армия начала наступление. Партизаны имели постоянную связь с 43-й, 39-й и 41-й действующими армиями.

Наступление нашей армии влило в нас новые силы. Мы не думали об огромных потерях, понесенных нами в борьбе с эсэсовцами, наоборот, эти потери звали нас расквитаться с «Желтым слоном». Муромцев приступил к разработке плана окончательного разгрома карательной дивизии. К этому времени к нам в штаб прибыл из 4-й ударной армии старший батальонный комиссар Соколов. Операция разрабатывалась при его участии.

Была создана особая группа. Командовал ею Иван Иванович Владимиров, он же и формировал ее из самых бесстрашных, проверенных в боях, в разведках, в операциях партизан.

И вот время настало: в темную осеннюю ночь тридцать человек сели в лодки. Со стороны озера эсэсовцы не ждали нападения. Я не могу найти слов, чтобы выразить свое и товарищей состояние. Мы привыкли итти насмерть, и момент этого душевного подъема был всегда свят для нас. Но в эту ночь, в эту операцию я уже не ощущала себя Татьяной, самой собой: мне казалось — Полищук, Андрей Милюткин, безрукий Володя Кузьмин и тысячи крестьян Смоленщины, чьи избы стали дымом, заревом в небе, пеплом под холодным дождем, что все эти обездоленные желтослоновцами люди идут со мной и во мне карать убийц.

— Держитесь, Таня, ведь вы не умеете плавать, — шопотом сказал Муромцев,— пойдете камнем ко дну, там скучно: ни комсомола, ни политмассовой работы.

Я улыбнулась в ответ. Нет, в эту ночь я знала — не утону ,не погибну.

Гребли без единого всплеска.

Вода и небо были черны и где смыкались — мы не видели. Причалили к берегу. Маленькими группками поползли к штабу эсэсовцев. Большая часть партизан — ее вел Владимиров — пошла к месту расположения основных сил врага, к 58-му его полку. Я была в первой группе, которой руководил Муромцев.

Вокруг деревни через каждые десять метров стояли часовые. С четырех сторон смотрели в небо дула орудий, вкопанных в землю и замаскированных.

Муромцев пальцем коснулся руки Морозова, прошептал:

— Часовых снять без шума, двух одновременно!

Яша козырнул и скрылся в темноте. Вслед за ним возник и исчез второй силуэт — Павел Самуилов, это была неразлучная пара. Яша подполз к часовому. Как и что — никто из нас не видел, слышали только всплеск воды, это Яша бросил тело немца в озеро. И тотчас Павел приволок второго часового, мертвого.

— Н-ну-те-с! — сказал Муромцев. Мы знали его манеру приказывать так, будто он просит об одолжении, — в ответ на это «нутес» поднялся такой грохот и треск, точно штаб вместе с немцами взлетел в воздух. Одновременно группа Владимирова напала на 58-й полк. От неожиданности, в панике немцы открыли огонь по своим. А Шлапаков тут же громил штаб полка. Что это было! Немцы метались, кричали, за своим криком не слышали истошных воплей командиров. Партизаны в упор расстреливали эсэсовцев, а те, обезумевшие от страха, сами, казалось, бежали под наши пули.

Мы расквитались с ними. Штаб дивизии «Желтый слон» и значительная часть 58-го полка были в эту ночь уничтожены.

Не спеша, не выставляя заслонов, мы сели в лодки и благополучно причалили к своему берегу.

Назавтра разведка донесла, что остатки дивизии эсэсовцев погружаются на автомашины, намереваются бежать из партизанского края. Решено было не дать им уйти живыми.

Еще в 1941 г. осенью немцы возвели на реке Каспле мост. После того как партизанский край подвергся нападению эсэсовцев, мы много раз пытались этот мост взорвать, и каждый раз тщетно — его сильно охраняли.

На этот раз взорвать мост было необходимо. Муромцев, не колеблясь, остановил свой выбор на Яше Морозове. В помощь ему выделили нескольких комсомольцев.

Но когда Муромцев ушел, Яша заговорил со мною:

— Убеди командира, чтобы на эту операцию был послан я один.

— Почему?

Яша молчал. Я глянула на него в упор, он отвел глаза, но я успела заметить в них такую щемящую тоску, что и мне стало не по себе.

— Почему, Яша?

Он как-то весь съежился, ответил нехотя:

— Мост на открытом месте. Светло. Жалко губить ребят в такой поганый, дождливый день.

— Если так, я запрещаю эту операцию! Не дам комсомольцев.

Яша свистнул, усмехнулся:

— Легко решаешь вопрос! Хочешь, чтобы остатки желтослоновцев ушли? Нет, я их прикончу.

— А сам?..

Яша засмеялся так искренне, что я, на беду свою, поверила ему.

— Чудачка. Мне одному легче уйти... У меня и план кое-какой готов.

Он изложил свой план Муромцеву.

Приготовили взрывчатку, натяжной шнур. Яша ушел. Я послала к мосту троих комсомольцев: Павла, Степычева и Белова. Павел, вернувшись, молчал, Белов рассказал о том, что видел из прибрежных кустов:

Яша сел в лодку и, забрасывая раз за разом удочку в воду, поплыл к мосту. Плыл медленно, останавливался, как истый рыболов. И даже выудил какую-то рыбу. Немцы закричали на него, когда он подплывал к мосту. Яша показал им рыбу: Тебе отдам! — и заложил под мост взрывчатку.

Все было бы так, как задумал Яша, и он остался бы в живых, если бы в этот самый момент не подошли к мосту три машины, облепленные со всех сторон эсэсовцами.

Яша видел — не успеть отплыть от моста, машины по нему промчатся через минуту-полторы. Белов заметил, как, напрягая все силы, Яша выплыл из-под моста. Он торопился глянуть на небо, проститься с землей, прежде чем натянет шнур. Десять-двадцать секунд — и мост, машины на нем и маленькая лодчонка близ него взлетели в воздух.

Здесь же на берегу Каспли мы напали с тыла на остатки эсэсовцев и уничтожили их. Но тела Яши не нашли ни после боя, ни в последующие дни.

ХОЛОД, ГОЛОД, ЦЫНГА

Наступила вторая партизанская зима. Вспоминаю ее — и не могу понять, как не погибли мы все от холода, от постоянного, мучительного голода. Давно кончились в отрядах запасы соли. Появилась цынга. У молодых парней шатались зубы, кровоточили десны. Помню, Сеня, чтобы поддержать дух бодрости, начал рассказывать нам какую-то нелепую и неве-

роятно смешную историю. Мы слушали его, изнемогая от смеха, а на губах у нескольких товарищей от смеха же пузырилась кровавая пена и брызги ее летели на пушистый, нежный снег. Сеня оборвал вдруг рассказ, сказал:

— Пойдем, Татьяна, к командиру. Нужно добыть соль. Необходимо.

Командир согласился, чтобы я с несколькими товарищами перешла фронт и принесла из переднего края обороны Красной Армии соль.

Переходить фронт зимой не то, что летом — на снегу виден каждый след. Но еще не наступили морозы, мы могли передвигаться медленно, отлеживались в сугробах и кое-как добрались до деревни Черная Грязь. Здесь нас задержали красноармейцы и отвели в штаб дивизии. Каким горячим чаем отпаивали нас в штабе! Мы пили его не с сахаром, а с солью.. Начальник штаба полковник Блинов шутил:

— Если я вам тонну соли дам, перенесете через фронт?

— Тонну не осилим, — ответила я, — а за центнер поклонимся в ножки. — В это время к штабу подкатила машина, кто-то сказал, — полковник приехал! Мало ли полковников, — я пропустила мимо ушей эти слова.

Вошел человек, коренастый, пожилой, в белой шубе и в белых же валенках. При его появлении все встали. А я не встала — вскочила, рванулась вперед и чуть не упала от волнения — комната поплыла перед глазами:

— Дядя!

Полковник подошел ко мне — конечно же, это был мой дядя, родной брат моей матери!

— Таня?.. — произнес он, и одно выражение лица сменялось у него другим. — Таня!

Он стиснул ладонями мою голову, молчал, вглядываясь в меня, горько улыбался, будто говорил — так вот что сталось с тобой, девочка! Потом обнял меня за плечи, усадил рядом с собой на диван и, не спуская с меня глаз, шептал:

— Хоть одна жива!.. Счастье!.. Хоть кто-нибудь уцелел...

Он вынул носовой платок, не стыдясь, вытер глаза, распрямил плечи и стал неторопливо отдавать приказания подчиненным. Я поняла, что дядя, полковник Мухин, и есть командир дивизии.

Я прожила в штабе три дня. Дядя непрерывно отлучался, объезжал дивизию, но каждый раз, возвращаясь, повторял:

— Теперь, Татьяна, будем воевать вместе. Назад я тебя не отпущу. — Я вздыхала, думала: «Нет, воевать я буду со своими боевыми друзьями, с партизанами». Но огорчать дядю до времени не хотела. От его подчиненных я знала о его горе: в блокированном Ленинграде голодала его семья — жена, дети. Он послал за ними одного из летчиков своей дивизии. Летчик выполнил поручение — погрузил на борт самолета семью дяди, но... дальше ни о самолете, ни о летчике никаких сведений не было.

Я убедила дядю, что вернусь к нему, вот только выполню задание, отнесу товарищам соль и вернусь. Встретиться нам с ним больше не суждено было: уже будучи генералом армии, он погиб в бою за Курскую дугу.

Бои продолжались. На лыжах мы выезжали из глуби лесов, нападали на немецкие гарнизоны, взрывали железные дороги, затрудняли фашистам движение. В эту зиму они были тепло одеты, вся Европа и Балканы кормили их армию, и Украину они ограбили дочиста — они были сыты. Мы голодали, мы забыли, что такое тепло ,мы болели цынгой, у нас не было боеприпасов, но мы их били. Гибли сами, но их губили сотнями.

В этот период мне пришлось очень много работать: партизаны возвращались с операции в лагерь. Которая по счету для каждого из нас — сотая или тысячная — была эта операция — мы уже не помнили. Вокруг лагеря на десятки километров стояла тишина. В снегах лес казался мертвым. Книг здесь не было. Рация вышла из строя. Не было работы ни голове, ни рукам. Но мы были комсомольцами. Мы родились и воспитались советскими людьми. Пусть война, пусть кровь — все пройдет. Победа будет за нами. Партизаны требовали от меня: учи нас по памяти тому, чему училась сама. Не медведи мы в зимней лесной спячке.

Начала я с истории нашей родины. К каждой теме я старалась подобрать иллюстрирующее ее художественное произведение, «подбирала», разумеется, в своей памяти: уйду в сторону от лагеря, сяду на пенек, закрою глаза и перебираю все прочитанное. Найду в своей «библиотеке» нужную книгу, стараюсь вспомнить, как она выглядела, когда и где в моей давно прошедшей мирной жизни читала я ее. Вспомню! Тогда — будто вновь перелистываю страницы — возникают перед глазами образы героев, как из тумана вырисовываются пейзажи, иногда вспоминается какая-то строка, за ней — вторая, и уже не своими, обыденными словами, а близкими к тем, какими написана книга, рассказываю я ее содержание товарищам.

Эти беседы так увлекали партизан, что стоило мне появиться в отряде или во взводе, ко мне кидались со всех сторон, спрашивали: что будем прорабатывать сегодня?

Как-то я подошла вечером к отряду Лещево. Партизаны не заметили меня, они оживленно о чем-то спорили. Я прислушалась. Кто-то говорил: «Он сам писал стихи, и слова у него в жизни были художественные, поэтому нельзя передавать его

речь таким языком, каким ты в колхозе говоришь с бригадиром». О чем идет спор? — спросила я. Оказалось, партизаны, перепроверяя друг друга, старались вспомнить дословно то, что рассказывала я им о Денисе Давыдове две недели назад.

Немцы не знали наших сил. Они делали донесения своему командованию, что имя наше — легион. И фашистское командование посылало в наши леса экспедицию за экспедицией. В деревнях, в лесах, в болотах шли бои, разгорались стычки. Красная Армия выделила из своих рядов прославленных во веки мастеров уличного боя. В эти же, примерно, дни они на улицах Сталинграда решили судьбу Европы. Партизаны Смоленщины и Белоруссии, думается мне, имеют право называться мастерами лесных боев.

Все железные дороги, по которым немцы подкидывали подкрепления на свой передний край, были оседланы партизанами. Усиленная охрана не могла ничего сделать, под откос катился эшелон за эшелоном. На железной дороге Минск—Смоленск стояло по три часовых на каждые 25 метров. Тем не менее партизаны отряда Лаврентьева решили отметить День конституции операцией на этой дороге. Группа Коренкова подошла к станции Рудня, но обнаружила на ней очень сильный немецкий гарнизон. Отправились в Куприно—там охрана еще сильнее. Тогда решили пойти туда, где немцы не ждут партизан: к самой Орше. На подходе к станции переоделись в форму железнодорожников и не спеша заминировали линию. Поезд на полном ходу полетел под мост.

Немцы рассвирепели, бросили на партизан самых отборных своих эсэсовцев-головорезов. Они окружили наши отряды в Букинских лесах. Наступили наши черные денечки... Мы не принимали боя, берегли боеприпасы, а эсэсовцы, радуясь успеху, сжимали кольцо. Скоро они начали догадываться, что не только не уничтожат партизан, но и сами не выберутся из болот. Итти на нас лавиной они не могли — местность нас охраняла. Фашисты пробовали небольшими группами просачиваться в наше расположение, но мы их уничтожали.

Так день за днем, ночь за ночью. Сколько дней и ночей, не знаю—еще тогда сбились со счета потому что я, как все, дралась и спала, спала и дралась. И месяцы эти остались в памяти, как один бесконечно длинный день — голодный и холодный, как одна беспокойная ночь, мучительная от голода и холода. Теперь об этом можно говорить и писать. Но тогда ни один из нас не жаловался на голод, старались смеяться, шутить.

На рассвете командир раздавал нам суточную порцию — по пригоршне ржи. Самым слабым незаметно подсыпал чуть больше. В глазах Сени сверкали веселые искорки:

— Ничего, ребятки, в Берлине мы вспомним сырую рожь! Она даст нам прекрасный урожай после победы.

Скоро к голоду присоединилась жажда: нельзя было развести огонь, чтобы оттаял снег. Нас начала мучить сонливость, сидим в засаде и с ужасом ощущаем, что вот-вот заснем.

Я ходила по пулеметным точкам, убеждала товарищей бороться с сонливостью, а сама думала: усну на ходу, на пути от одной точки к другой. Командир приказал не курить табак, а нюхать Но и табак не помогал — сонливость все увеличивалась. Появились какие-то непонятные, незнакомые нам заболевания. Все вместе могло сломить в нас дух сопротивления. Это было бы самым страшным. Я решила переговорить с командиром бригады Ладыгиным.

— Принимай, командир, решение. Погубим людей. Нужно прорываться. Нащупать слабое звено в этом проклятом кольце и прорваться.

Послали разведку. Разведчики доложили, что слабого места нет, что немцы подтягивают к нашим болотам артиллерию.

Этой же ночью, пока артиллерия не начала действовать, мы разработали план прорыва. Партизанам были розданы последние боеприпасы и вся рожь, до единого зернышка. Впереди шла группа комсомольцев, во главе с Сеней. Шли так тихо, что, помню, мне стало на минуту жутко: в темноте потеряю своих...

Сеня первый подбежал к дзот'у, там дремали трое артиллеристов. Бей врага!— закричал Сеня. Это были условные слова — вслед за ними все партизаны бросились вперед.

Мы вышли всей бригадой к городу Невелю. Здесь надо было освоиться, узнать, что делается на большаке Невель—Усвяты, места были для нас новыми. Боясь нападения партизан, немцы срубили вдоль дорог лес на полкилометра. Они думали — не будет леса, партизаны не смогут подойти к большаку. Ночью группа под командованием Коренкова вышла из леса и залегла у большака. Нас было 5 человек. Далеко вперед и назад бежала дорога. Мы заминировали ее натяжной миной. Ждали. Ждать партизаны умели. Как только посветлело, на горизонте вырисовалась деревня. Окоченевшими руками я развернула карту — называлась деревня эта Фролово. Либо она пуста, либо в ней немцы, а нам нужен был язык, который сообщил бы, где проходит линия фронта.

В одну и в другую сторону шли машины-одиночки. На одиночку жаль тратить мину. Нужно ждать... Руки и ноги у меня одеревянели от мороза. На ногах были валенки, но они за зиму ни разу не просушивались.

Вдруг командир группы Коренков при-

мал к биноклю — из-под Невеля в сторону Усвятов шли три машины. Они были закрытые. В таких обычно немцы возили солдат. Машины, вероятно, направлялись к озеру, где, разведали мы, у немцев был искусно замаскированный аэродром.

Машины приближались.

– Пропустим первую! — сказал Коренков. Когда подошла вторая, Костя Савушкин натянул шнур: треск, черные клочья дыма, железа, тряпья полетели во все стороны. Задняя машина круто свернула и рухнула с горки в овраг. Из нее выскочили немцы, пытались добежать до леса, но мы пустили в ход автоматы.

Восемь фашистов были убиты, трое ранены, а на одного наскочил со спины Костя и взял его живьем. Коренков и Мазев повели языка в лагерь, а мы трое перебежали большак и направились через лесок к аэродрому.

Озеро оказалось обнесенным колючей проволокой. Пробраться через нее на аэродром было невозможно. Над нами кружились самолеты, садились на ледяную гладь озера.

– Ох, чорт! Одиннадцать самолетов на аэродроме, — точно перехватывая мои мысли, шептал Костя. Пора было действовать. Но как? Резать проволоку нечем...

Зимняя ночь длинна, совещались мы долго, не торопились. Решили перебросить Савушкина через проволоку. Он подползет к самолетам и зажжет их (в кармане каждого партизана всегда была бутылка со смесью горючего). После поджога Костя побежит не назад, а к воротам. Мы же, чтобы отвлечь от него внимание, поднимем стрельбу. Так и порешили.

Не легко и не просто, но Савушкин был перекинут Сенокосовым и мною через колючую проволоку. Зима стояла малоснежная, но у проволоки намело сугробы, и Савушкин шлепнулся в них, как в перину. Вот когда наступила тишина! Я прислушивалась в нее до боли в висках. Мы молчали с Сенокосовым молча, я видела, как он лижет языком снег. Где-то далеко, в лесу, наверно, подвывал бездомным щенком ветер, словно и он иззяб, как мы. Казалось, не время тянется — тянется, вымотывается душа... Но вот раздался грохот. Дрогнула земля под нами. Огонь вспыхнул на аэродроме сразу в двух местах. Потом еще в третьем! За проволокой метались тени, гомонили люди. Прежде чем выстрелить, Сенокосов сказал сердито:

– Смотри мне, не отстань! — Выстрелил. Второй раз. Третий. Побежал к большаку. Я – за ним. Позади над озером встал столб огня. Он, казалось, догнал нас. Мы бежали, задыхаясь, и как-то неожиданно вымахнули на большак, левее Фролова, к деревне Заозерье. Остановились, чтобы отдышаться слышим — по большаку скрипят полозья: два немца, стоя в санках на коленях, гнали во всю конскую прыть лошадь. Сенокосов сел в сугроб, но я раньше рванула с себя автомат и выстрелила по немцам. Лошадь рванула в сторону и остановилась. Сенокосов подскочил к санкам, оттуда крикнул:

— Спеклись фрицы! Скорее, Татьяна, садись! — Убитых немцев сбросили с саней и поехали. Направляться в лес было опасно: после пожара на аэродроме немцы устроят поблизости облаву — их привычки нам были известны. Уезжать на лошади подальше нельзя — надо было узнать о судьбе Кости. Заехали в деревню. Она была наполовину сожжена немцами. Постучали в крайнюю хату, дверь открыл старик. Глянул на нас, ни о чем не расспрашивал, сказал: заходите, партизаны!

Переночевали в тепле. Разулись впервые за несколько месяцев. Утром я села за прялку, Сенокосов принялся плести лапти — ждали, что немцы войдут в хату. Дед же отправился к аэродрому. День без него тянулся медленно, с непривычки к закрытому помещению тяжесть давила голову, хотелось уйти из хаты «домой», в леса. Дед вернулся только к вечеру — на губах таинственная улыбка, глаза отводит в сторону, нравилось ему быть заговорщиком. Молча разделся, мучая нас, медленно набил трубку, еще медленней закурил, тогда только заговорил:

— Справная работенка! Молодец он, ваш Кинстин. Мой, однако, сын, думаю — не хуже Кинстина... — и замолчал наш дедушка. Мы переглянулись с Сенокосовым: будем, мол, тоже молчать, дед не вытерпит — заговорит. Но старуха вышла из себя:

— Не выматывай, Коваль, душу! Рассказывай.

— А тут, девка, и рассказывать нечего. Работа, говорю, чистая. Четыре аэроплана сжег паренек, дай ему бог здоровья!

Оказалось, что о судьбе Кости дед так и не узнал ничего. Старуха рассердилась:

— Тоже разведчик! Бестолочь! — Дед сконфуженно оправдывался:

— Если бы его поймали — хвастали бы, повесили бы всенародно, проклятые. Знаю я их. А тут они говорят, что пожар, мол, по своей ошибке произошел. А ошибка их была, девка, в одном: не смерив броду, полезли в воду, вот скоро и захлебнутся...

Старик был прав: Костя, очевидно, благополучно ушел с аэродрома. Надо было и нам, дождавшись темноты, уходить, но обнаружилось, что я итти не могу: пальцы на левой ноге отморожены, вздулись — не надеть валенок. Старушка смазывала мою ногу гусиным салом, причитала над ней, поплакала и о своих дочерях. Сенокосов ушел один, обещал завтра же вернуться.

Я сидела у деда Коваля на печи, под печью уютно трещал сверчок, на столе мерцала коптилка. Я рассказывала о себе, потом о войне, о «Желтом слоне», о гибели Яши Морозова, о шутках Сени, и об Алек-

сандре Невском, и о псах-рыцарях, уже однажды пытавшихся завоевать Россию.

А на второй вечер дед привел полную хату слушателей... Через три дня мне принесли собранные по деревне теплые вещи для партизан и продукты. Дед Коваль помог и здесь организовать агентурную разведку. Таким образом завязалась связь с населением этого района.

Сенокосов так и не пришел, но пришли Лаврентьев и Миша Малый. К великой радости хорошего моего деда Коваля они рассказали, что Костя жив и здоров. Совершив поджог он никуда с аэродрома не побежал, а здесь же вскочил в поврежденный самолет и сидел в нем сутки. Когда наступила ночь, он спокойно ушел.

Нога моя заживала, и назавтра я собиралась покинуть Заозерье, но в этот вечер мы с дедушкой созвали собрание. Оно состоялось в бане. Баню вытопили, жители Заозерья сходились в нее поодиночке, как бы для того, чтобы помыться. Немцев в деревне было полно, но ничего они не заподозрили.

Я рассказала собравшимся о Большой земле, о фронте, об успехах Красной Армии. Меня засыпали вопросами. Люди повеселели, обещали добывать для партизан продукты, просили навещать деревню. А через час в деревню эту пришла новая немецкая часть, и жителей стали выгонять из хат на мороз. Дед Коваль обещал на прощанье узнать и сообщить мне, что это за часть. Но видеться нам с дедом больше не привелось...

Мои отмороженные ноги давали себя знать, я несколько дней не покидала лагеря. Позже агентурщики Заозерья сообщили: дед Коваль увидел, что немцы окопались, расставили вокруг деревни пушки, замаскировали их снегом. Он догадался, что вскоре будет большая битва здесь: и артиллерийский гул стал в деревне слышнее, и дула немецких пушек смотрели на восток. Фашистский генерал стоял в соседней с ковалевой хате. Дед сделался неразговорчивым, по ночам выходил во двор слушать канонаду. И как-то утром попросил:

— Дай мне, старуха, чистое белье!

— Зачем? Все чудишь, старый, два дня назад в бане был... — но белье все-таки дала.

Дед переоделся, поклонился жене, дому своему и сказал:

— Ухожу по делу. Прощай!

У избы, где стоял генерал, часовые остановили старика. Он вынул из кармана бумагу: — донесение генералу! Старика ввели в избу.

В Заозерье и в прилегающих к нему селениях и сегодня рассказывают на разные лады детям и воинам, вернувшимся с войны, о том, что сказал дедушка Коваль немецкому генералу, прежде чем убить его. В тот момент никого из русских в избе не было и никто не слышал слов деда, но о подвиге его народ творит сказ, и в сказе этом вечно жив будет в памяти людей Коваль.

Наша разведка установила о нем следующее: он размозжил генералу голову шворнем, толстым стальным прутом, соединяющим задние колеса и короб телеги с ее передком.

Старика схватили. На казнь согнали всю деревню. Коваль стоял на морозе в распахнутом пиджаке, кричал:

— Не плачьте по мне, люди, я сам себе смерть выбрал. И вам, старики, советую не страшитесь умирать. Наши сыны скоро придут, спросят вас: «Что ты делал, папаша, пока я проливал кровь?» Как сынам в глаза глянете? До смерти от стыда сгинете. Убейте каждый по немцу. Сталин приказал уничтожать. Сталин...

Офицер выстрелил в Коваля, не дождавшись, когда палачи сколотят виселицу.

На другой день после гибели деда Коваля мы впятером подошли к Заозерью. Залегли, чтобы изучить обстановку в лесе близ речки. Вечером к нам должно было подойти подкрепление, мы собирались напасть на деревню. Нам видны были огневые точки и дом, в который непрерывно шныряли немцы, в доме том, следовательно, находился штаб.

С исключительной ясностью встает в моей памяти все, что видела я в тот день: и дымок над крышей штаба, и гуси, пришедшие зачем-то на замерзшую речку, и розовое облако в морозном небе. Тот день был моим последним днем в тылу врага.

По большаку, недалеко от нас, шли семь-восемь немцев. Костя, у которого было бесшумное ружье, потерял выдержку.

— Нечего изучать! Все уже знаем. Пора работать! — и не успел никто из нас ничего ответить Косте, как он хлопнул по немцам из своего бесшумного ружья. Выстрелил и промахнулся. Немцы завалились в снег — открыли огонь. Нас обнаружили.

Мы вынуждены были завязать перестрелку. Двух немцев убили, остальные стали уползать. Помню их зеленовато-серые шинели, обвязанные бабьими платками головы. Пока я целилась в одну из этих голов, надо мною, визжа, пролетел снаряд. Стреляли из Заозерья. Снаряд разорвался позади нас. Второй — ближе. Третий... Третьего я не слышала, он поднял меня в воздух, земля и небо свалились на меня. Потом не стало ни земли, ни неба, ни меня самой.

СТРАНИЦЫ ИЗ ДНЕВНИКА МИШИ ХАЙРЕДИНОВА

7 февраля 1943 г. Случилось большое несчастье: погибла наша Таня. Сдается, будто и сам я уже не живу на земле.

Я с вечера ходил в разведку в Фролово. Туда немцы пригнали подкрепление, по всему видать — ждут наступления наших. А Таня этого наступления уже не увидит.

Вернулся я из разведки в лагерь — как раз двое ребят ведут Костю Савушкина. Его так контузило, что сам он идет не туда, куда нужно: вроде бы не в своем уме. Я кинулся к ребятам:

— А Таня где?

— Таня погибла, — отвечают ребята. — Убита наповал. Тем же снарядом и Никанорову кишки разворотило.

Так мне стало обидно! Лучше бы я на месте Никанорова был, погибли бы с Таней разом.

Пошел я к командиру. Так и так, говорю, отпусти меня, командир, в Заозерье. Была у меня с Таней порука: если один из нас погибнет, другой разыщет тело и похоронит в той же могиле, в которой Михаил Шерстобитов со своим отрядом лежит.

— Излишние нежности! — ударился в крик командир. Кричал он потому, что сам горевал по Тане. — Нежности! Таню не вернешь, а сам немецкую пулю поймаешь. Сейчас в тылу каждый человек дорог.

Я ответил командиру:

— Не имей нежности, имей совесть.

Торговались мы недолго, он согласился:

— Иди, только сам имей совесть: убьют — мертвому я тебе в лицо плюну. Потому что, Миша Малый, ты мне сейчас не мертвый, а живой нужен. Хотел я Таню с донесением в штаб армии послать, а теперь придется тебе через фронт смотаться.

И категорически приказал мне дожидаться вечера. А до вечера далеко. Может случиться — немцы найдут танин труп, будут издеваться, выставят на показ.

День длинный. Ветер скулит где-то по соседству. Пурга — как у нас в Татарии, глаз не разлепить. А я думал, мы с Таней вместе до Берлина дойдем. Я обещал Тане в саду у Гитлера нарвать цветов, с корнем вырвать и привезти на могилу нашего командира. А теперь не с кем о Шерстобитове и вспомнить. Точка.

Ребята, которые ходили с Таней в Заозерье, рассказали точную дислокацию местности, где ее убили. Таня лежит у леска, возле поваленной бураломом березы. Место немецкими патрулями не просматривается. Вынести ее труп будет легко. А на всякий случай я наказал ребятам, если не вернусь — письма мои, этот дневник, карточку матери и карточку Миши Шерстобитова пусть сожгут. Таниной карточки у меня нет, возьму из ее комсомольского билета.

8 февраля. Надел вчера маскхалат и, как начало смеркаться, пошел в Заозерье. Лыжи оставил в леску, ищу на опушке поваленную березу. Из кустиков вышли три женщины. Увидели меня — перепугались. Я сказал: здравствуйте, мамаши! Они как вскрикнут. Бросились бежать, подумали, что я немец: акцент у меня не русский.

Стал искать Таню. Поваленная береза есть. Есть две воронки от снарядов, не доверху замела их пурга. Тряпка кровавая из-под снега выглядывает — рукав сорочки Никанорова. А самого Никанорова нет. И Тани нет. Только следы на снегу от валенок. Свежие. Значит недавно здесь были немцы. Забрали, собаки, и Таню, и Никанорова.

Решил я итти в деревню, спросить у жителей, куда немцы дели танин труп.

Пришел в избу погибшего Коваля. Старушка его увидела меня, заплакала.

— Убили моего деда. И Таню вашу убили.

В избе чисто. Белая салфетка на столе расстелена, как в праздник. Лампа горит. Три женщины сидят вокруг старушки Коваля, пришли горевать с нею.

Хотел и я душевное слово сказать, но не успел — увидел на столе танин комсомольский билет.

— Где его, спрашиваю, взяли? Где Таня?

— Похоронили мы сейчас Таню, — отвечают женщины, — по закону похоронили. Крестик на нее надели и молитву «вечную память» прочли. Положили в ту же могилу вашего партизана. Могилу снегом засыпали, чтобы не держать перед немцами ответа.

Билет танин в крови. Спрашиваю у женщин:

— Осколком в грудь убита?

— Нет, — говорят, — грудь у нее не поранена и лицо не покоробкано. Как живая, лежала.

— Почему же, — удивляюсь, — билет в крови?

— Из руки у нее сильно кровь текла. Пока мы ее в дерюгу заворачивали, сами кровью перепачкались и карточку испортили.

— Живую похоронили, дуры! Из мертвых кровь не течет свертывается.

Женщины перепугались. Крестятся, хватают тулупы, лопаты. Избу незапертой бросили.

Бежали мы к могиле напрямик. Забыли и о немцах. А пурга кончилась. Небо звездное, луна вышла, мороз. Скрип от нашего бега на всю деревню стоит. Не боялись бы немцы ночью до ветру выходить, поймали бы нас безоговорочно.

Пока могилу раскапывали, не сказали слова друг другу. Только пот с лица смахивали.

Выкопали. Лежит, как спит. Глаза закрыты, губы сжаты. Черное пятно крови на дерюге.

— Послушайте ей, девки, сердце, — говорит старушка Коваля, а у самой голос дребезжит, будто она на тряской телеге едет.

— Сама и слушай, коли не страшишься, — отвечают женщины.

Старушка перекрестилась, припала головой к таниной груди. А я приложил ко рту Тани диск автомата. Стоим, не дышим.

— Стучит, — шепчет старуха, — тихо, будто курочка зерно клюет.

Она танино сердце слышит, а я вижу, диск автомата туманится: дышит Таня! Поцеловал я ее, заплакал. Поцеловал и старушку Коваля. Снял с себя полушубок, завернул в него Таню: живая, замерзнет на морозе.

Наспех закидали землей могилу. Остался в ней Никаноров лежать. Один, на далеком от своего дома поле.

Таню понесли в лесок. Посовещались: в округе доктора нет, скоро будут большие бои, немцы уже выгнали половину населения из хат — нельзя Таню в Заозерье нести. Понесли в лагерь.

Километра за два до лагеря сказал я женщинам:

— Прощайте, мамаши. Спасибо за помощь. Дальше вам итти запрещается.

Они не обиделись. Пошли добрые, домой. А я дал в воздух три условных выстрела. Ребята в лагере услышали сигнал-тревогу, прибежали вооруженные. Как радовались, когда узнали, что Таня жива, написать невозможно, но я и без дневника запомню.

Пришли из разведки партизанки. Раздели ее. Из правой руки ногтями вытащили осколок, левое плечо, оказывается, тоже разворочено. Но раны не страшны, страшна контузия. Лежит Таня, как мертвая. Двое суток ничего не ела, не пила. Я сижу подле нее, пишу дневник, чтобы не было так скучно на душе.

... Вернулся из операции командир. Приказал принести кочедыг, которым плетут лапти. Сам рознял кочедыгом танины зубы и влил в рот самогону. Она зафыркала, как кошка, самогон проглотила, а все равно не пришла в себя. Что теперь будет? Доктора у нас нет...

... Вызывал командир. Приказал доставить через линию фронта в штаб армии устное донесение о дислокации и материальной силе врага. Приказал просить штаб выслать за Таней «удвашку». Завтра ночью на поляне зажгут для «удвашки» сигнальные костры. Я ухожу через час. Прощай, Таня. Сколько раз мы вдвоем благополучно переходили фронт! Ты приносишь людям удачу. Живи. Не умирай больше без меня.

11 февраля. ... Только что вернулся с Большой земли. Сдается, сам стал больше и сильнее. Техники в Красной Армии не сосчитать! Бойцы веселые, чуют победу. Сытно живут и в боеприпасах не нуждаются.

Задание выполнил. Донесение командира партизанской бригады оказалось для штаба армии очень ценным. Приказано активизировать действия отрядов. Приказано тревожить врага непрестанно. Приказано доставить через три дня, 14-го февраля, новые донесения. По всему видать — наступление начнется на нашем участке. Сердце радуется, что снова мы боремся с врагом в полном взаимодействии с Красной Армией.

«У-2» доставил нам патроны и соль. Тани с нами больше нет. Улетела на Большую землю. Летчик сказал — приказано ее доставить в Москву, на Щелковский аэродром. Обещал ребятам, что даст знать про Таню. Я буду ждать. Все-таки может случиться, что она вернется. Может случиться, что мы с ней дойдем до Берлина...

Этот дневник и несколько дорогих Мише Хайрединову фотографий я получила полгода спустя, когда врачи позволили мне читать. Миши уже не было в живых. Когда и при каких обстоятельствах он погиб, выяснить мне не удалось. Дневник обрывается задолго до его гибели. Одно несомненно — мечта Миши не сбылась: ему так же, как и мне, не привелось участвовать в битве за Берлин. Но не буду нарушать последовательности своего рассказа...

ЖИЗНЬ ВОЗВРАЩАЕТСЯ

Какая-то сила извне возвращает меня к жизни. Поднимаю свинцовые веки — это так трудно!.. Надо мною склонился человек в белом халате. Губы его шевелятся, но я ничего не слышу. Мне дают пить. Мучительно вспоминаю, как называется этот блестящий предмет, из которого я пью, но вспомнить не могу. Только блеск его нестерпим, он колет глаза, он сверлит мозг. Ложка! — кричит кто-то внутри меня: в сознании родилось слово. Рождение его лишает меня последних сил, свет снова меркнет, снова я погружаюсь в небытие.

Сколько времени тянется все это — не знаю. Время для меня не существует. Существуют только белые халаты. Они что-то делают со мной, терзают меня, заставляют глотать. Я не хочу пить, не хочу есть, не хочу жить. Жизнь — это шум, визг, в ушах звон, и только.

Но вот глаза привыкают к свету. Меня поднимают с подушек, сажают. Подали записку. На ней написано огромными буквами: «Как вас зовут?» От каждой буквы — грохот в голове. Как же меня зовут? Петрович?.. Нет, иначе... Михаил? Мозг мой пылает от напряжения. Пить! — шепчу я. Люди вокруг улыбаются, что-то говорят, радуются первому, произнесенному мною сознательно, слову.

Сознание возвращалось постепенно. Я поняла, что меня контузило и что я глухая. Но думать о своем горе я не могла: от мыслей кружилась голова, звенело и

шипело в ушах. Так шла ночь за ночью, мутный день за днем. Недели, месяцы...

Пришла весна. В душе моей родилось первое желание, первая радость: прижаться лбом к оконному стеклу, смотреть в небо.

Под окнами липы с набухшими почками, весна!

И вот на меня надевают теплый халат, и без чужой помощи я выхожу в госпитальный садик. Смотрю на изумрудную траву, стебельки ее только-только родились, смотрю на бездонное голубое небо. Думаю: «Вот так же у нас в партизанском отряде – и почки на деревьях, и такой же чистый воздух». Хочу к своим, хочу в отряд!

На просьбу выписать меня из госпиталя главврач так широко раскрыл глаза, что я подумала: он усомнился в моей психической нормальности. Тем не менее через три дня я повторила свою просьбу. Напрасные старания: выписывать меня из госпиталя не собирались. Я плакала по ночам, уткнувшись в подушку.

Как-то утром в палату вошла девушка с черными яркими глазами. В руках большой пакет. Подошла к моей койке.

– Здравствуйте, Таня, – сказала она громко. – Я из ЦК комсомола, пришла вас навестить.

Я растерялась, что ей ответить? Она казалась похожей на Надю Степанову и на Лену Курасову, и на Феню Бойкову. Я силилась вспомнить, как ее зовут. Думалось – близкая она мне, родная... А девушка все говорила: ЦК комсомола просит меня как выздоровлю, притти; может быть, мне что-нибудь нужно? – пришлют, и прочее и прочее. Девушку звали Дуся Каверзнева. Она принесла столько подарков от ЦК комсомола, что я не знала, куда их положить. И шум в ушах у меня пропал, и головные боли прекратились – есть люди, которые заботятся обо мне, не чужеродный подкидыш я в Москве!

На другой день пришла пожилая женщина, поставила на тумбочку у моей койки огромный букет едва распустившейся сирени, заговорила так, будто мы с ней недавно виделись:

– Да вы, Таня, совсем хорошая: – поправляетесь. И отлично: скоро выпишитесь из госпиталя и прямо ко мне. У меня светлая комната, много книг, тихо – живу одна.

– Откуда вы меня знаете? Кто вы?

– Кто? Русская женщина – вот кто. Сын Володя на фронте, муж-старик тоже добровольцем пошел. Вам непременно нужно ко мне переезжать – одинокая я.

Так и до сих пор я не знаю, кто прислал ко мне Ольгу Константиновну Долгову, хоть и отправилась из госпиталя к ней, как домой, хоть и были моменты, когда хотелось назвать ее мамой.

Медицинская экспертиза сделала неутешительное заключение о моем здоровье: мне дали инвалидность II группы. Врачи настаивали на том, чтобы я осталась еще несколько месяцев в госпитале. Но мне казалось, что и боль в голове и шумы – все прекратится, как только я выпишусь. Рано утром я стояла в распахнутой шинели, с узелком подмышкой за воротами госпиталя на веселой московской улице и говорила себе: теперь я буду осторожней – ни под немецкие пули, ни под снаряды не попаду, лишь бы добраться скорее к партизанам.

Но... прошло всего несколько месяцев, как я снова очутилась в госпитале, в Москве, это случилось так: о своей инвалидности я решила не говорить ни в ЦК комсомола, ни в центральном штабе по партизанскому движению. И как ни уговаривали меня товарищи в ЦК отдохнуть в санатории, набраться сил, я твердила одно: разрешите мне снова отправиться в тыл врага, на Смоленщину. Теперь я понимаю, что в те дни мною руководила не сила духа, но бессилие и боязнь браться за какое-нибудь новое дело, нехватало мужества сказать себе: ты – инвалид. Постарайся стать полезным членом общества, выбери себе профессию по своим силам, чтобы не быть иждивенцем своей страны. Нехватало мужества уехать в санаторий, страшило, что не отдых наступит, а тоска задавит, тоска по близким, погубленным немцами.

И вот, преодолевая головокружения, дурноту, я снова и снова шла в отдел кадров центрального штаба партизанского движения к подполковнику Тимошенко.

– Нет, нет и нет, – твердил он. – Запрещаю вам возвращаться в отряд, не по вашему это здоровью.

– Поеду! – упорствовала я. – Не дадите командировку, сама доеду!

В конце концов Тимошенко сдался, и третьего июля я выехала в Калининский штаб партизанского движения, а седьмого уже шла по земле родной моей Смоленщины, и земля эта дрожала от взрывов снарядов.

Я перешла фронт. Связалась с партизанами. Выполняла задания, которые умолила Тимошенко дать мне.

15 сентября Красная Армия перешла в наступление, 19-го были освобождены родные мне места: Духовщина, Велиж... Я в этот момент была на передовой. И 19-го же осколком снаряда меня ранило в правую руку и в плечо.

Меня решили перекинуть для серьезного лечения в Москву. Как не хотелось уезжать отсюда, из дорогих сердцу мест! Госпиталь был расположен в лесу, в полукилометре от могилы Шерстобитова. Накануне отъезда я улучила момент и выбежала из палаты. Кое-как доплелась до могилы.

Узенький, уже покосившийся холмик береза засыпала золотой листвой. Бои ушли далеко на запад, тихо было вокруг.

В мыслях моих, в чувствах Михаил никогда не уходил из жизни. Что бы я ни делала, в бою и в отдыхе, я всегда ощущала его в себе, совещалась с ним. Я положила голову на холмик: как и чем будем жить, Михаил? Отвоевались. Берлин будут брать другие, кто посильнее. А мне что делать на земле?..

Пушкино, под Москвой. Октябрь 1943 года. Брожу по сосновому лесу, с ним смыкается сад госпиталя. В голове одно и то же: зеленые шинели, стрельба, сожженные деревни. Нужно думать о чем-то другом...

В госпиталь приходили работники редакции Истории Отечественной войны. Стенографистка записывала по еще живому следу воспоминания бойцов и партизан. Ко мне пришла Надежда Сергеевна, историк. Говорили мы с ней долго, часами. Подконец она сказала:

— Вам нужно итти в аспирантуру.

— Да что вы?! — переполошилась я. — Какой теперь из меня научный работник!..

И в редакцию Истории Отечественной войны я пошла, действительно, прямо из госпиталя, и встретил там меня профессор Белкин радушно, как родную, и пообещала я ему прямо из его кабинета направиться в канцелярию университета, но ноги мои понесли меня в штаб партизанского движения.

И вот на машине, кромешной ночью — темень, холодище — приехала на фронт, в Алексеевку. Здесь битком набита была каждая хата. Ночевала с шоферами у разложенного в сарае костра. Утром пошла к члену военного совета фронта по партизанскому движению генерал-майору Рыжикову.

— Очень хорошо, что приехали снова к нам, — радушно встретил он меня.—Ну, как рука?

— Рука зажила. Прошу вашего распоряжения об отправке меня в Белоруссию, в отряды, — без предисловий выпалила я.

— Что-что?! — вскинул брови Иосиф Иванович, любимый всеми партизанами генерал, — вы же учиться собираетесь?

—Пока продлится зачисление в аспирантуру, оформление, я смогу кое-что сделать в Белоруссии.

Три дня ходила я по пятам за Рыжиковым, надоела, видимо, ему, и в конце концов он дал мне задание.

Вновь я очутилась в гуще боев, у белорусских партизан. С приближением фронта — наша армия стояла уже под стенами Витебска — немецкое командование решило обезопасить свой тыл и бросило на партизан карательную экспедицию. Население кинулось спасаться от карателей к партизанам. Дремучие леса меж Минском и Барановичами стали похожими на огромный эвакопункт. Стрельба перемешивалась с блеянием овец, с мычанием коров. Рядом с минометами сидели на узлах дети и старики. Подростки и женщины учились наскоро стрелять из пулеметов и автоматов, метать гранаты.

И вот каратели пришли. Бои, кровь, похороны близких стали для этих стариков, детей, женщин бытом. Сейчас холодок бежит по телу, когда вспоминаю обыденные для тех дней моменты: молодая женщина смазывает ствол своего автомата. Шестилетний сынишка стоит рядом:

— Мама, сегодня немцы не будут атаковать?

— А ты не бойся, поатакуют и откатятся.

— Мама, если меня убьют, ты похоронишь рядом с папой?

— Рядом с папой. Только тебя не убьют.

— Мама, а тебя когда убьют, куда я денусь?

— Комсомол подберет, не бойся.

Комсомол! Когда в дни победы правительство наградило Ленинский Союз Коммунистической Молодежи орденом Ленина, перед глазами моими встали прежде всего комсомольцы белорусских лесов. Были среди них и русские, и белорусы и украинцы, но не было трусов, малодушных, нытиков.

В огромном лагере не затухала политработа. Комсомольцы меж боями проводили беседы, помогали чем могли населению, ходили за осиротевшими детьми, как за своими.

... Эсэсовцы все теснее сжимали кольцо. Не только снаряды, пули долетали до лагеря. Пришла зима, пришел голод, какого я никогда не видала, у нас кончились боеприпасы.

Рассказывать о героизме белорусских партизан, о том, как голодные, безоружные они все же громили эсэсовцев, рассказывать об этом — нужно писать не одну книгу. Не раз в ночные метели я с двумятремя комсомольцами пробивалась сквозь железное кольцо эсэсовцев к своим — мы переправляли через фронт погибавших от голода детей. Я помнила о том, что зачислена в аспирантуру — и могла не вернуться назад, в окружение. Но я знала— есть еще во мне силы помочь партизанским опытом окруженным товарищам, еще смогу спасти от гибели нескольких детей! И разве дезертиры, трусы нужны Московскому университету?

Необычайно хитрым и ловким маневром полуживые от голода партизаны пробились однажды к вражеской базе с боеприпасами. Были в руках патроны, следовательно пришла и победа В две недели карательная экспедиция была разгромлена. Теперь я прощалась с отрядом навсегда, собиралась в последний раз переходить фронт. И в это время была получена ра-

программа: ЦК ВЛКСМ звал в Москву на слет девушек-партизанок. Было приказано вылететь и мне вместе с ними.

Снова Москва! Март. Сдается, не вода, бегая с крыш по желобам, звенит — звенят солнечные лучи. Улица Герцена залита ими. Все в порядке: исторический факультет стоит на месте, пора учиться, Таня! — говорю я себе.

— Будем учиться, товарищ Логунова, — говорит мне профессор Толстов, декан факультета, — пора: ваша Смоленщина готовится уже к колхозному севу, давно освобождена, а вы еще не приступили к делу...

Ухожу от декана успокоенная: здесь не дадут грустить, времени не будет горевать о той, погубленной немцами жизни, нужно будет строить новую.

КАРТИНА

АЛЕКСАНДР КРАВЦОВ

★

Спят по аилам киргизы с верным своим мечом.
Но дует ветер пустыни без устали горячо.

Звенит он стрелой и кольчугой и ратников кличет в бой,
И вихрем взметаются кони, растут, как морской прибой.

Покинуты жены в аилах, недопитый киснет кумыс,
И страх, нарастая, драконьим свистящим крылом повис.

И плачет, и пляшет, и плещет безудержная круговерть.
Аилы, мечи обнажайте — идет к вам беззубая смерть.

Но вот уж пропахшая потом и громом оглушена,
Восходит из крови дымящей пепельная тишина.

И тень Тамерлана уходит, уносит рваный бунчук,
Лежат на земле обломки стрел и ржавых кольчуг.

Я эту картину видел, она вдохновенной была —
Мальчишка, сидевший рядом, не мог уйти от стола.

Он резал и клеил бумагу, покуда танк не создал.
И танк под детским дыханьем чуть дрогнул и захромал.

И песнь окрыляла мальчишку, песнь боевая солдат,
Она, как яблоко, звучно падала в листопад.

Начищены солнцем до блеска пригнанные ремни,
Солдаты спешили на запад, спешили ночи и дни.

Мальчишке тоже хотелось и с песней и с танком в бой.
Вот это и будет картиной, будет картиной второй!

СТИХОТВОРЕНИЯ

ЛЕОНИД МАРТЫНОВ

★

ЛЮБОВЬ

День кончился.
Домой ушел кузнец —
Знакомый, даже свойственник мне
дальний.
Я в кузнице остался, наконец,
Один. И вот, склонясь над наковальней,
Ключ для очей, для уст и для сердец
Я выковал. Мерцал он, как хрустальный,
Хоть был стальным; та сталь была чиста,
И на кольце твое стояло имя.
Тебе я первой отомкну уста!
И я пришел и отомкнул уста,
Но тотчас их связала немота —
Так тесно сблизились они с моими!
Тут сердце я открыл твое ключом,
Чтоб посмотреть, что будет в нем и было,
Но сердце не сказало ни о чем,
Чего б не знал я. Ты меня любила.
И я решил открыть твои глаза,
Чтоб видеть всё могли они до гроба.
Но за слезой тут выплыла слеза...
Я говорю: не радость и не злоба,
А слезы затуманили глаза,
Чтоб ничего не видели мы оба!

★

ТОСКА

Жил на свете я до сорока лет,
А не знал никогда, что такое тоска. Нет.
Даже знать я не знаю, что такое тоска.
Мне
Никогда не бывала она близка.
Ни ночами во сне,
И ни днем наяву
Никогда не зову
Эту самую деву я, грусть.
Говорят иногда,
Что она и сюда
Заезжала в Москву, —
Ну и пусть.
А появится если она — улыбнусь,
А объявит она, что со мною должна
Повстречаться одна —
Рассмеюсь.
Я ее не боюсь.
Что такое она?
Если взвесить все и учесть —
Есть на свете Надежда и Вера, и Мудрость.
И есть
Месть и Гордость, и Ревность, и Верность,
и Страсть...
А с Тоской этой, с Грустью — ни в рай
и ни в ад не попасть.
Пусть имеет она над другими верховную
власть.
Да уж лучше к земле я ничком припаду
Да зароюсь в пески,
Захочу — улечу на другую Звезду,
А уйду от тоски.
У меня две руки,
У меня кулаки,
А у ней под глазами круги велики,
У меня есть товарищи-весельчаки...
Боже мой,
Помоги
Мне уйти от тоски.

★

НАДПИСЬ НА КАМНЕ

Я помню зной того степного края
Безветрие и дьявольскую сушь,
Я плелся по горбам Тарбагатая
И воду пил из горьких теплых луж.
И в тех же лужах я мочил отрепья,
Чтоб хоть на час оставил мучить зной...

... Чтоб оценить садов великолепье,
Поговорите все-таки со мной.
Я здесь, я здесь!
Над этой самой степью, меж этих рек,
за этой горной цепью
Нет без меня травинки ни одной!
Нет без меня пылинки ни одной...
Я вам построил город ваш родной!

★

Есть на земле высокое искусство
Будить в народе дремлющие чувства,
Не требуя даров и предпочтенья,
Чтоб слушали тебя не из почтенья,
Чтоб, выслушав, послушали и снова,
Чтоб ни одно не позабыли слово,
Чтобы в душе — не на руках — носили.
Ты о такой мечтал словесной силе?
И, не смущаясь гомоном и гамом,
На площади меж лавками и храмом,
Где блеют маски и скрежещут доски,

Сумей взойти на шаткие подмостки,
Как великан в неистовстве упрямом.
Пускай тебя за скомороха примут,
Пускай тебя на смех они подымут,
Пусть поднимают, чтоб им было пусто!
Тебе жалеть об этом не придется.
Буди, буди в них дремлющее чувство!
И если у тебя оно найдется,
Так и у них наверное проснется.
Вот в чем твое высокое искусство!

«Новый мир», № 11—12.

ГАРМОНЬ

Рассказ

КОНСТ. ФЕДИН

★

И. Соколову-Микитову

Праздничный день. На небе — ни пятнышка. У выхода оврага к Волге камыши неподвижны, сквозь их заросли выблескивает ручей, широко разлившийся песчаной низиной.

На круче по одну сторону оврага стоят черные кривые дубки — давняя роща, сменившая много поколений деревьев, от которых остались одни старые корни. По другую сторону оврага — деревня. Домики ее видны с Волги за далекие несчитаные версты.

Парни собрались на бревнах, у самого обрыва, где всегда дожидаются девчат. Гармонист Митя Сажин играет на саратовке — однорядной гармошке с колокольцами. Все молча слушают. Парни постарше выщипывают семечки из подсолнухов в тарелку величиной, ребятишки, притихнув, глядят на колокольчики, как маленькие зеркальца отражающие солнце. Звон и залихватские вскрики гармоники откликаются из дубовой рощи, через овраг, и кажется — вся деревня перебирает лады на саратовках.

Девчата не приходят, и парни решают пройтись по деревне, позвать их. Митя Сажин сначала поднимается с гармошкой, но вдруг скидывает ремень с плеча, кладет гармонь на бревна и говорит:

— Не барыни, соберем и так!

Уходя, он грозит мальчишкам:

— Я вам потрогаю!

Когда он скрывается за крайней в деревне избой Аникона, мальчики подходят к гармони. Беленький с раскосыми глазами Алеша тихонько нажимает пальцем басовый лад.

Гармонь молчит.

— Нажми вон этот, — советует другой мальчик, показывая на крайний лад.

Алеша нажимает. Все дивятся, что гармонь попрежнему молчит.

— Расстегни крючок, — говорит советчик.

— Ее раздуть надо, — сурово подсказывает другой.

Крючок из блестящей жести обрезан по краям замысловатыми фестонами. Алеша прикасается к нему благоговейно. Ему помогают несколько рук сразу.

И вот крючок открылся, и гармонь немножко распустилась. Как только алешин палец начал смелее прогуливаться по безмолвным ладам, звенькнул колокольчик. Палец остановился на крайнем ладу и, набирая отвагу, стал нажимать сильнее. Молоточек ударял, пружинисто отскакивая от колокольца. Головы ребят соединились над гармоникой в кружок. Алеша дал позвонить приятелям, которых больше уважал. Они помогли ему, открыв другой крючок, растянуть меха, а он нажимал на лады.

Разноголосо вскрикнула чудесная игрушка, и, мигом перепорхнув через овраг, в дубки, музыка отозвалась в деревне бойким эхом.

— Вишь, как я могу, вишь, как умею, — хвастала гармонь, взвизгивая пронзительными несогласными писками, звеня невпопад колокольцами, выдувая воздух животной одышкой басов.

Тогда внезапно Алеша закричал от боли. Митя Сажин схватил его за косицы, оттянул от гармошки и ударил по голове так, что он полетел кубарем с бревен. Ребятишки, как горошины, прыснули по сторонам. Митя Сажин проговорил в совершенном спокойствии:

— Другой раз я тебе, косоглазый, башку отвинчу.

И запер гармошку сразу на оба крючка, тряхнув ее наискось одним рывком.

Алеша, подымаясь с земли, плакал. В ушах плыл, как вода, красный звон, к затылку нельзя было притронуться.

Тут Алешу пожалел подошедший к бревнам Аникон. Он потеребил его за плечо.

— Не плачь, до свадьбы заживет. Ишь, шалый, — сказал он Мите Сажину, — зачем мальца побил? Думаешь — гармонист, так тебе никто не чета. А какой ты гармонист? Гармонь твоя — на ней Мотаню наяривать больше ничего. Настоящая гармонь разве похожа на твою? Ты и не слыхал настоящей гармони...

— Про цыгана заливать будешь? — презрительно спросил Митя Сажин.

— Это ты заливаешь, а я говорю, что знаю.

Гармонист захватил саратовку подмышку и, свысока обернувшись на Аникона, пошел к деревне.

Мальчишки тотчас собрались на бревнах, вокруг Аникона.

Этот мужичок не очень много умел, но много видел. Нешироседа и легковер, он со временем все глубже убеждался, что ему не везет. Из бесплодных хождений в поисках новой жизни он возвращался назад в деревню, чтобы, пожив с годок на картошке, придумать — куда спять направить лапти, пытая счастье. Приладив новые подпорки к избе и крыльцу, он начинал мудрить: сажал какие-нибудь цветы на семена или ставил в реке привезенную с севера вершу, какой на Волге отродясь не видывали. Цветы не распускались, рыба в вершу не шла, деревня с полным удовольствием смеялась над фокусником: ветродуй!..

— А чего ты знаешь, дядя Аникон, про цыгана? — спросил Алеша, размазывая на щеках остатки слез.

— Про цыгана я знаю, как он на гармони играл, — сказал Аникон.

— А расскажи.

— А вот слушай. Я тогда жил у зятя, на Смоленщине. У меня там дочка выдана. Это на третий год, как началась война с немцами. В канун Покрова, на рассвете, кто уж начал собираться на яровое, картошку копать, как прибегают в деревню ребятишки, с ночного: конокрады ночью двух кобыл увели. И кобылы обе гладкие, видно воры знали, что крали. Кинулись мужики в поле. Что делать, где воров искать? Конечно, все в один голос — что кобыл украли цыганы: верстах в двух от деревни стоял табор цыган. Побежали сначала к тому месту, — поминай как звали! Разрыли мужики золу на кострах: угольки — еще не совсем простылые, значит — снялись недавно. Как раз на Покрова в ближнем городе открывалась конская ярмарка. Хозява, чьих кобыл украли, не долго думая — на ярмарку, а кто остался — устроили недалеко в лесочке облаву, да враз и захватили молодого цыгана, — сидит цыган в кустах, за спиной — гармонь двухрядка. Стали его допрашивать про кобыл и чего он в лесу прятался. Лошадей, божится цыган, он не видал, с вечера уходил, мол, в дальнее село, отстал от табора, а в лесу прятался со страха, испугался мужиков. Ну, мужики говорят: мы тебя заставим сказать правду. И стали его бить. Били его, били, потом подождали, пока он опомнится, опять к нему с допросом: где кобылы? Цыган говорит: зря меня бьете, хрестьяне, сказал я сущую правду и больше, хоть насмерть убейте, ничего не прибавлю. Я, говорит, сам крещеный, и крест из-за пазухи кажет. Скрутили ему руки, повели в деревню, добивать. Там уж народ дожидает и прямо на него наваливается, и мужики и бабы кто чем: кто — ногой, кто — колом, а кто побежал за шкворнем. Цыган сперва молчал, потом застонал так тоненько. Мужики думали, он чего про кобыл скажет, остановились его бить. А он еле жив, голова вся черная от крови, глаз один на ниточке болтается — глаз ему выбили вон. И говорит цыган: вижу я, пришел мой конец, так у меня до вас одна просьба, — дайте мне перед смертью разок на гармони сыграть. Мужики размыслили, говорят — валяй играй, все одно мы тебя кончим. Принесли гармонь двухрядную, развязали цыгану руки. Он говорит: дайте, добрые люди, испить водицы, что, мол, вам проку — попимши я помру или непопимши. Принесли ему ковшик воды, испил он, налил в горсть, ополоснул свою образину, пощупал глаз на ниточке, махнул рукой. Так, говорит, лежа на земле, ничего не сыграешь: дайте на что сесть. Подкатили ему чурбан, начал он с земли подыматься, стонет от боли. Пособили ему, сел он, взял гармонь. Народ как был круг него, когда били, так и остался стоять, только малость расступился.

И начал цыган играть песню. Никто такой жалобной песни никогда не слыхал. Стоят, молчат, уставились на цыгана. А у него по щекам слезы с кровью катятся. Стали тут и бабы рукавами утираться, смотрят на цыгана жалостливо. И мужики замигали.

Кончил цыган играть, покачал головой, говорит: отбили вы мне, хрестьяне, все нутро, тоска смертная. Дайте молочка испить, сыграю я вам еще песню. Бабы смотрят на мужиков, — что, мол, скажут. Мужики подумали, говорят: тащите молока, чорт с ним, все равно ему не жить. Побежали бабы в избы, несут молока, одна сердобольная пару яичек захватила. Испил цыган молока, скушал яички. И опять заиграл. Как заиграл, так бабы — за передники, утираются, плачут, одна так даже завыла — несчастный, воет, кто тебя, чумазого, на свет породил?

Тут мужики рассердились: кончай, говорят, довольно тебе нюни пускать, больно ты хитер, думаешь разжалобить, да врешь — больше тебе коней не красть! Тогда цыган замолился: все равно, говорит, я умру, добьете вы меня иль не добьете, нутро у меня все отервалось. Поднесите мне стаканчик водочки, я вам, на прощанье, с белым светом, веселое сыграю. Ну, мужики прикинули хрестьянским умом: завтра, мол, праздник Покрова, водка запасена, выпьем мы за упокой души цыгана, он православный, с крестом на шее. Тащите, говорят бабам, водки. Принесли бабы водки. Выпил цыган, застонал: будто, говорит, углями мне внутри все выжгло, и с этими словами

раздвинул гармонь во всю ширь, да как вдарит плясовую. И пошел заливаться. Народ остолбенел — что такое? — понять невозможно: словно полковая музыка на деревню пришла, все вокруг так и рассмеялось. Сыпет и сыпет цыган по обоим рядам, за пальцами не усмотришь. Стали тут бабы притопывать, платки на головах затягивают, руками подпираются. И мужики пятками землю начинают топтать. Увидел это цыган, оборвал игру, потянулся опять за стаканом. Налили ему не жалея, и народ с ним выпил, как следовает, и приступает к нему опять: дуй, играй, еще поднесем.

И пошло тут, милые мои, такое, что старики не упомнят. Пустились плясать бабы с мужиками, за ними парни с девками, поют во все голоса, в ладоши бьют пальцами прищелкивают, кто босый, кто в лаптях, кто в сапогах — вокруг друг дружки увиваются земля гудит и охает. А цыган выпьет водки — и опять за гармонь, выпьет — и опять. Кончилось вино, послали в соседнюю деревню, а оттуда народ бежит толпой — слушать, как цыган на гармони со своей жизнью прощается.

Отгуляли так к вечеру бабы и просят: мужики-мужики, не кончайте вы нынче цыгана, а заприте его на ночь в холодную, завтра Покров — мы еще погуляем под цыганскую плясовую, а потом вы его добьете. Ну, мужики с вина раздобрели любить, говорят, никогда не поздно, пусть переночует в холодной. Заперли цыгана в амбар, бабы ему пирогов принесли — поешь, мол, в последний разок, нам не жалко.

А поутру отперли замок, глядь — амбар пустой. Туда, сюда — цыгана и след простыл. Принялись мужики баб ругать — пожалели, мол, дуры, выпустили. Бабы крестятся — знать не знаем. Осмотрели амбар. Оказалось, цыган ночью подкоп сделал под стенку и через тот подкоп утек. Вот она цыганская музыка...

— А гармонь? — спросил Алеша, когда Аникон кончил рассказ.

— Гармонь он с собой унес. Гармонь он, поди, до самой смерти целовал-миловал.

— А кобылы? — спросил другой мальчик.

— Кобыл хозява на конской ярмарке у прасолов нашли и отняли.

Все замолчали. В спокойной голубой тишине, спустя минуту, раздался звон колокольцев и частые переборы саратовки, повторенные откликом рощи за оврагом.

— Разве это гармонист — Митька Сакин? — сказал Аникон и плюнул на бревна.

И мальчишки, поглядев на него и прислушавшись к далеко улетавшим всхлипам гармошки, тоже плюнули на бревна все по очереди.

Август 1944.

СТИХИ

НИКОЛАЙ РЫЛЕНКОВ

★

НАДПИСЬ НА КНИГЕ

От слов заученных и пресных,
От чувств, что плоти лишены,
Мой современник, мой ровесник,
Мы отвратились в дни войны.

Под визг свинца, под скрежет стали,
Вдали от отчего крыльца
Нас обожгла гроза, и стали
Огнеупорными сердца.

В них переплавились, как в тигле,
Все наши чувства и мечты.
Мы, возмужав, навек постигли
Закон суровой простоты.

И недоступные гордыне,
И неподкупные во всем,
Ни клятв, ни громких слов отныне
Мы всуе не произнесем.

Зато из нас уверен каждый,
Что светит нам одна звезда,
И на губах, спаленных жаждой,
Нет — значит нет, и да — есть да.

Мы узнаем друг друга в песнях,
Что кровью сердца скреплены...
От слов заученных и пресных
Мы отвратились в дни войны.

★

ДРУЖБА

Случится — после раны тяжкой
Перед тобой предстанет вновь
Тот, кто с тобой делился фляжкой,
Когда горела в жилах кровь.

И не поверив — он ли это,
Так обожгла его гроза,
Ты поглядишь, ища ответа,
В его запавшие глаза.

Но, улыбнувшись, как когда-то,
Он подмигнет тебе, и ты —
Узнаешь друга и солдата
Неповторимые черты.

И тут, взволнованный до дрожи,
Всем сердцем ты почуешь вдруг,
Насколько ближе и дороже
Тебе отныне будет друг!

Ноябрь 1944 — август 1945.

ХМЕЛЬ-ХМЕЛЕК

АНАТОЛИЙ СОФРОНОВ

★

Вился хмель,
Тянулся вверх хмелек,
Хмель-хмелек,
Зеленый огонек.
Вверх по жердочкам
Как будто по ступеням,
Как цепочка
Из зеленых звеньев.

В день весны,
Последний полдень мая,
Шел солдат дорогой,
Чуть хромая.
Шел солдат, устал солдат
И — снял шинель,
Лег солдат у жердочек
Под хмель.
Посмотрел он — солнышко в зените,
Над солдатом — золотые нити...
Хмель-хмелек,
Зеленый огонек,
Чуть качает
Майский ветерок.
Снял сапог солдат,
За ним — другой сапог
Положил под голову
Мешок.
От покоя,
Тишины в лазури,
Задремал солдат,
Глаза зажмурил...

Но недолго в полудреме был,
Будто в доме — он глаза открыл.
Видит: рядом, в белом полушалке,
Смотрит взглядом бабьим виновато
Бабонька на спящего солдата.
Говорит она ему: — Не жалко
Мне ни солнышка, ни травяной постели,
Но чего ж под хмель прилег ты в самом деле?
Чай, солдатик, приустали ноги,
Что прилег ты около дороги?
Заходи, солдатик, в горенку мою,
Молоком топленым напою.
Ты из госпиталя?
— Из него.
— Ранен был?
— А больше же чего?
Приподнялся, посмотрел солдатик
На нее,
На голубое платье.
— Чай одна живешь?
— Одна, солдат, одна,
Ничего не сделаешь — война.
— Не горюй, придет из-за границы
— Не придет, товарищ,
Я вдовица...
Посмотрел солдатик:
У висков
Серебринки белых волосков.

...Вился хмель,
Тянулся вверх хмелек,
Хмель-хмелек,
Зеленый огонек.
Потолок
В той хате невысок,
Жестяной на крыше
Петушок.
Молоко топленое —
В горшке,
На жару томленое,
На угольке.

Выпил, белым хлебом закусил
И воды напиться попросил.
— Может хочешь бражки молодой?
Только настояла, на хмелю.
— Бражки? С удовольствием... Люблю...
А тем более еще с тобой.
На столе две кружки — дза ковша.
Брага в самом деле хороша.
Чуть горька, но чистая на цвет, —
Лучше браги хуторянской — нет.
Растворились солод в ней
И хмель, —
Стар ты или молод —
В голове метель.
Чуть горька, а будто мед во рту,
Словно запах мяты на ветру.
— Ой-да, ой-да, ой-да улю-лю, —
Быть с тобой, солдатик, нам в хмелю...

Хмель-хмелек,
Зеленый огонек.
Жестяной на крыше
Петушок.
Жестяной на крыше
Петушок, —
Золотой на нем
Закатный огонек.
... Заиграли на небе зарницы
Засверкали поутру криницы.
Засвистел у речки коростель,
На ступеньку выше приподнялся
Хмель.
Вышел вновь солдатик за порог,
Скрипнул парою
Начищенных сапог.
Посмотрел —
На крыше петушок,
Золотой под солнцем
Гребешок.
Вышла за порог хозяйка вдовая,
Строгие глаза, глаза бедовые.
Чуть заметны под цветной косынкой
Родинки на шее,
На лице рябинки.
Посмотрела на него, сказала:
Ты прости, что плохо угощала.
Ты иди-ходи в далекий край;
Ты прости-прощай, не вспоминай.
— Не грусти, — сказал солдат, —
Забудь про грусть,
Буду жив, к тебе приду, вернусь.
Посмотрела на него вдова:
— Будешь жить, пока что я жива
С жердочки на жердочку
Пышные оборочки
Буйно завивает,
Словно в праздник хмель;
К празднику вернешься,
Браги вновь напьешься;
Коль в бою не сгинешь, —
Значит сбросишь, скинешь,
На мои на рученьки,
Ты свою шинель.
Приходи...
Солдат сказал: — Приду!

Шелестел над вдовою хмелек,
Над бедовой — летний ветерок
Вился хмель,
Тянулся вверх хмелек,
Хмель-хмелек,
Зеленый огонек.

АНГЕЛЫ МИРА

Роман *

АННА АНТОНОВСКАЯ И БОРИС ЧЕРНЫЙ

★

ГЛАВА 11

Два лоцманских бота вели «Голубой Дунай» по узкому фарватеру Босфора через минные заграждения.

— Один неверный поворот, и «Голубой Дунай», как фейерверк, взлетит к облакам! — утешал князь Илларион дрожащую в шезлонге Манану.

На палубе команда и пассажиры тревожно прислушивались к шуму моря. Белый пароход, дымя лакированными трубами, выписывал замысловатую линию. Матросы наготове стояли у шлюпок. Вурцбахер внимательно разглядывал спасательный круг. Только Сафар-бей, придерживая висящую через плечо кожаную сумку с оттоманской печатью министерства иностранных дел, продолжал спокойно следить за рокочущими под кормой волнами.

Но к вечеру из бара уже доносились веселые голоса. Пароход вышел на простор Черного моря. Звездный блеск осыпал волны.

В каюте к Манане постепенно возвращалось радостное ощущение жизни: князь Илларион очень мил. Как красноречивы его тосты! Подняв в салоне бокал за благополучное избавление от мин, он пообещал, что, когда Баку отойдет к грузинскому царству, он залпом выпьет нефтяной фонтан! Но почему так рассвирепел Вурцбахер? Тупое лицо его покрылось пятнами. Он крикнул не своим голосом: «Кто вам это позволит?!» Фон Гефтен постарался исправить неловкость: «Любезный князь, мы не разрешим вам рисковать!»

Манана вышла на палубу и опустилась в шезлонг.

И тотчас около нее очутился оттоманский сановник.

Может быть, Сафар-бей не так знатен, как фон Гросс, не так учен, как фон Унгерн, но ей нравится его тонкий разговор. Сколько занятных историй он знает о гейшах Иокогамы, о художницах Монмартра и об ослепительном троне султана Селима III. Она хотела бы иметь такой же: резное черное дерево с инкрустацией из перламутра, серебра и золота... Сафар-бей уверяет, что над троном султана в центре балдахина подвешен на золотой цепочке изумруд величиной с кулак. Блистательная Порта может этим изумрудом расколоть, как грецкий орех, любую страну, препятствующую ее желаниям.

С эффенди Сафаром необычайно интересно разговаривать.

— Княжна любуется морем? Если аллах услышит наши желания, морская дорога соединит старый Стамбул с молодой Грузией.

— Не так громко, эффенди, видите, Вурцбахер уже схватился за спасательный круг!

— Мадемуазель, храбрый офицер Вурцбахер давно уже плавает на поверхности. Я беспокоюсь о другом — зачем прекрасной княжне связывать свою судьбу с расчетливыми рыцарями? Блистательная Порта — вот ваша союзница. Вековой дружбой связаны турецкая и грузинская нации. В Стамбуле очень много грузин, а грузины Аджарии и Абхазии мусульмане.

— Мусульмане?

Сафар-бей приложил руку к сердцу.

— Вашими рабами захотят быть не только простые мусульмане, но... — эффенди придвинулся, — сам Халил-паша. Он нетерпеливо ждет в Батуме встречи с вами.

— Паша наверное читает «Иллюстрасьон»?

— Нет, княжна, он не молод и мудр.

— О, тогда не надо, не надо! Я устала от политики. Вы любите вальсы Штрауса?

Из салона доносились плавные звуки скрипок. С озабоченным лицом, словно не замечая сидящих, прошел рыжий унтер. Еще не успели в стамбульском порту снять сходни, как он уже ходил по пятам за оттоманским сановником.

По приказу обер-лейтенанта Вурцбахера никто не стеснял Ладо, и он, бродя по палубам, наслаждался просторами моря.

Увидев его, да еще в штатском костюме, с цветком в петличке, Шакро так и прирос к ступенькам:

— Ва, генацва![1] Как живым остался?!

— Спасибо Курту, его терпеть не может обер-лейтенант. В Берлине меня чуть не предали военно-полевому суду, но спас-

---

* См. «Новый мир» № 10 с. г.

[1] Генацва (груз.) — Милок, дружок.

ла тетрадь с моим признанием в любви Вильгельму II... Ты что смотришь так на меня? — оборвал себя Ладо. — Не веришь?

– А почему должен верить, если князь Илларион сказал, что Курц генералу жаловался?

– Не обманул тебя любимый князь. Жаловался, но генерал под суд Курца отдал за то, что нос ухом не заслонил.

– Какое место шутить, генацва?! Как спасся, скажи?

– Просто. Что, Курц фельдмаршал? Обыкновенный вербовщик. У него в Загане ничего не вышло, а неудачников начальство не ценит. А на «Голубой Дунай» попал я по просьбе моего приятеля, рыжего унтера.

Шакро отпрянул, смачно сплюнул и растер сапогом. Ладо смеялся:

– А ты как попал, друг?

– Ну, мое дело простое, я с рыжим не дружу, меня земля ждет. Вот добрый князь и провозит меня, как своего ординарца... Может, это твоя хитрость, Ладо, только если ты мне брат, о рыжем не напоминай! — и увидев прогуливающегося унтера, юркнул вниз. Отойдя к борту, Ладо смотрел вслед унтеру.

От него не укрылось, унтер не сводил глаз с дипломатической сумки Сафар-бея.

Разговор в курительной каюте о несравненной красоте Золотого Рога и Баварской возвышенности неожиданно соскользнул к политическим вопросам.

Эффенди выразил удовольствие, полученное от путешествия с любезными союзниками. Очевидно, к моменту прибытия «Голубого Дуная» в Поти генералу фон Лоссову удастся притти к соглашению с грузинскими правителями. Фон Гросс удивленно приподнял бровь: у Германии нет жизненных интересов в Грузии, единственная задача Германии способствовать Турции решить кавказскую проблему и преградить путь в Закавказье англичанам с юго-востока, а большевикам — с севера.

Эффенди приложил руку ко лбу, незаметно проверил печать на сумке и вежливо напомнил о незыблемой дружбе между его величеством Магометом VI и хаджи Вильгельмом. Поэтому султан благосклонно пришлет подарки в честь бракосочетания его высочества принца Рупрехта и ее светлости Мананы Грузинской

Фон Гросс едва скрывал ярость: Стамбул проник в тайный план германского генерального штаба.

– Не только его величества кайзера, но и всех его верноподданных обрадует щедрость султана, — процедил сквозь зубы фон Гросс, — но, к сожалению, этот брак только проект: принц Рупрехт обручен с принцессой Баденской. Рядом с Мананой Грузинской может очутиться турецкий принц. Важна священная цель: победить и ради вечного мира разделить мир.

Лицо Сафар-бея оставалось непроницаемым. Он помнил, что по тайному договору от второго августа четырнадцатого года, заключенному визирем Саид-Галимом и германским послом бароном Вангенгеймом, мир будет разделен на сферы влияния: к султану отойдут Грузия, Азербайджан, горские земли Северного Кавказа, Персия, азиатская Россия и Индия; к кайзеру — вся Европа, Британские острова и колонии, Украина, Польша и Северная Америка. Справедливый раздел!

Несколько минут курили молча. Конечно, фон Гросс не удостоил бы Сафар-бея большой политической беседы. Но этот молодой сановник быстро поднимается по дипломатической лестнице. Необходимо выжать из него бонапартистские замыслы Энвер-паши о создании великой пантуркской империи и вытряхнуть из его сумки сумасбродные послания султана Халил-паше.

Вот почему бледнел и краснел Вурцбахер и, как хищник, нацеливался на дипломатическую сумку рыжий унтер.

— Дорогой союзник, гавана! — фон Гросс пододвинул коробку Сафар-бею.

«Глупцы! — думал генерал о руководителях Антанты. — Они стремились поделить Османскую империю, как вкусную дичь. Германия мудро решила отстаивать единую Турцию. Этим она привлекла на свою сторону младотурок, превратив их лидера Энвер-пашу в преданного Германии агента. Разгоряченные младотурки не разгадали, что Германии выгоднее, ни с кем не делясь, целиком превратить «единую» Турцию в свою колонию. Политика Берлина дала превосходный результат. Турецкая армия находится под твердым немецким контролем, а у дверей султанского дворца генерал Лиман фон Сандерс расставил караул из бранденбургских гренадер».

Сафар-бей наслаждался гаваной, и мягкие, как душистый дым, расстилались по воздуху его слова:

— Признательный султан, получив от хаджи Вильгельма бешкеш[1], «Гебен» и «Бреслау», обратил их в правоверных «Султан Селим» и «Мадили». Хотя и турки не плохие моряки, но желание старшего брата всегда священно. И султан с берегов Золотого Рога взволнованно наблюдал, как германский адмирал Сушон отправил «Гебен-Султан-Селим» и «Бреслау-Мадили» с немецкими командами бомбардировать Одессу. Слава аллаху! Сейчас настало время отблагодарить хаджи Вильгельма и освободить германские силы для успешной борьбы на западе с французами и англичанами, а на себя взять завершение кавказской проблемы.

Тут Вурцбахер не выдержал. Он вскочил — с него довольно азиатской наглости! Выбежав, он быстро спустился на

[1] Бешкеш — подарок.

среднюю палубу и, задыхаясь, шепнул рыжему унтеру:

— Герр унтер, сегодня и без осечки! — и также стремительно вернулся наверх.

Фон Гросс продолжал развивать свою мысль о том, что турецкий хлопок, цветные металлы и уголь помогут германскому оружию отторгнуть страны Великого Арабистана, вероломно захваченные Антантой у Оттоманской империи. Германия продолжит железную дорогу Берлин — Багдад до Персидского залива и дальше к берегам Индийского океана. Фон Гросс предложил эффенди Сафар-бею топографическую схему «Великий немецкий рельсовый путь» и посоветовал спрятать поглубже в сумку. Эффенди приложил руку ко лбу и сердцу и небрежно сунул схему в боковой карман.

— Пустыни востока не совсем безопасны для европейцев. Как хорошо, что мудрый германский штаб намерен протянуть параллельно рельсам немецкие колонии.

Генерал и офицеры переглянулись, одновременно притушив в пепельнице сигары.

За бортом из отводного рукава монотонно выливалась вода. Два матроса, жуя резину, тянули к мачте трос. Стук машин гулко отдавался снизу, в дощатом потолке назойливо дребезжала металлическая рейка.

Радист подал фон Гроссу радиограмму. Генерал небрежно протянул листок Унгерну и предложил огласить.

Водворилась тишина. Вскинув монокль, полковник отчетливо прочел:

— Честь имею сообщить его превосходительству имперскому генералу фон Гроссу, что двадцать шестого мая в Тифлисе спущен красный флаг. В четыре часа пятьдесят минут пополудни во дворце председатель Национального совета провозгласил независимость Грузии. Германские офицеры, митрополит тифлисский Леонид, чины духовной свиты и представители грузинской аристократии и военных кругов встретили этот исторический акт продолжительными аплодисментами. Портфель министра иностранных дел вручен господину Чхенкели. Граф Шуленбург.

— Ура! Ваша! Хох! Хох! Шампанское! — неистово воскликнул князь Илларион...

Двенадцать металлических ударов. Фон Гросс встал. За ним все остальные. Музыка оборвалась. На столиках под абажурами гасли лампочки. Пароход окунулся в темноту.

Ладо скользнул за мачту. Он чувствовал — эта последняя ночь не пройдет, как обычно.

Тихо скрипнула дверь. Сафар-бей зашагал по палубе. Конечно, бодрствовал эффенди не ради прогулки. Он вез Халилпаше секретные бумаги из Константинополя и ночью особенно зорко оберегал дипломатическую сумку.

У перил средней палубы эффенди остановился. Ему почудился шелест крыльев огромной летучей мыши. Он схватился за сумку, хотел крикнуть, но сильная рука сдавила ему горло.

...Броситься на помощь? Ладо сжал кулаки и заставил себя безмолвно наблюдать смертельную борьбу рыжего унтера и эффенди. Вот рыжий унтер увернулся, взмахнул коротким офицерским штыком, сумка упала на палубу. Эффенди метался, дергался, хрипел, извивался. Но унтер все сильней сжимал ему горло.

Прильнув к палубе, Ладо бесшумно пополз, схватил сумку. Уже издали он услышал стон и сильный всплеск воды.

У кормы, в шлюпке, Ладо вынул из сумки пакеты и спрятал за пазуху. Долго лежал неподвижно. Было тихо, только глухо шумело море. Ладо выскользнул из-под брезента, бросил за борт сумку и осторожно пробрался на нижнюю палубу.

Подкрался к своей койке, посмотрел на безмятежно спавшего Шакро и тихо лег, укрывшись с головой.

Утром его растолкал Шакро:

— Вставай! Вставай, Ладо! Не немцы это сумасшедшие бегают.

— А что? К Поти подходим? — спросил Ладо, лениво потягиваясь.

— Еще бы! Уже на берегу девушка для тебя пирожок с сыром держит. Понимаешь, турок исчез!

— Э, найдется... У светлейшей Манану искали?

— Шутишь? На палубе кровь! Убийство! Немцы пароход вверх дном перевернули. Скоро сюда придут.

Методично били склянки. Ладо и Шакро вышли на палубу. Здесь уже готовились к высадке. Пароход входил в Потийскую бухту. Шакро заволновался:

— Где же князь? Вещей у него целая арба.

— Ничего! Я помогу.

— Будь братом!

— А ты притащи наши сундучки!

Ладо быстро прошел в каюту князя, вынул из-за пазухи бумаги, обернутые бязью, и сунул в несессер. Затем стал выносить чемоданы.

На мостике, рядом с капитаном, фон Гросс ловил цейсом приближающийся порт. На белом парадном кителе генерала чернел Железный крест. Капитан по машинному телеграфу приказал:

— Малый ход! Боцман, готовить якоря!

Фон Гросс перевел цейс на море. В стеклах возникли силуэты немецких транспортов. Они шли из Крыма кильватерной колонной, сопровождаемые серыми миноносцами.

Солнечный луч ударил в медный горн. Раздались звуки сигнала. Вокруг парохода заколыхалось море. Из водяной глади поднимались подводные лодки. Флотилия германских субмарин, окружив «Голубой Дунай», вошла в Потийский порт. Из от

крывшихся люков выскакивали офицеры и матросы, выстраивались в линейку на узких палубах.

«Голубой Дунай» расцветился флагами Четверного союза. Заколыхались бело-зелено-красные болгарские флажки, развевались австро-венгерские с короной на красно-белом фоне, турецкие с полумесяцем, а над ними парил белый, пересеченный черным крестом, флаг Германии.

С пристани навстречу пароходу неслось «Дейчланд, Дейчланд юбер аллес!» Почетный меньшевистский караул выделялся ярко-малиновыми фуражками. Толпились офицеры, нарядные дамы с трехцветными бантиками на груди. Встречающие приветствовали причаливший пароход.

Акакий Чхенкели размахивал фетровой шляпой, стараясь привлечь внимание князя Амилахвари. Эмиссар Коста, суетясь возле причала, экспансивно выкрикивал какие-то новости.

Но князь Амилахвари не смотрел ни на министра, ни на эмиссара, ни даже на своих двух адъютантов, сообщавших издали о цветущем здоровье княгини Саломэ. Его пристальный взгляд был прикован к генералу фон Лоссову.

Окруженный членами оттоманской миссии офицер Назим-бей, брат генералиссимуса Энвер-паши, напрасно искал глазами эффенди Сафара. Назим-бей торопился в Елисаветполь, где намеревался выполнить задание Энвера — объединить персидский и русский Азербайджан и стать во главе ханства. Сафар-бей должен был привезти от брата инструкции.

Только Ладо и Шакро никто не встречал. Они не принимали участия в восторгах.

Фон Гросс отдал приказ никого не выпускать с «Голубого Дуная». На пристань сошли лишь члены германской делегации, Манана Грузинская и князь Амилахвари. За ними, обысканные морским караулом, Ладо и Шакро тащили чемоданы. Рыжий унтер остался на пароходе искать дипломатическую сумку.

После обычных торжеств, обмена визитами, совместных любований потийской крепостью Кала-Фаш и местностью, где некогда процветал знаменитый греческий город Фазис, названный аргонавтами Великими воротами Азии, грузинские сановники собрались у фон Лоссова на немецком пароходе «Корковадо».

Только Манана, «знатная путешественница», как ее представил фон Гросс министру Чхенкели, отправилась с дородной дамой, женой городского головы, на отведенную ей дачу.

В кают-компании «Корковадо» из темных рам сурово смотрели на собравшихся старший Мольтке и адмирал Тирпиц.

Эмиссар Коста внимательно наблюдал за немцами. Ему не понравился Вурцбахер, поразил своим фантастическим аппетитом грузный Гефтен и вызвал зависть умением ловко вставлять в глаз монокль изысканный Унгерн. За стулом князя Иллариона вытянулись его адъютанты, держа наготове блок-ноты.

Фон Гросс поздравил присутствующих грузинских сановников с провозглашением независимости и передал согласие кайзера Вильгельма II внять просьбе Национального совета и взять под свое покровительство Грузию.

После затихших аплодисментов заговорил фон Лоссов. Без всякой лирики, сгущая краски, он обрисовал тайное намерение Энвер-паши полностью оккупировать Закавказье.

Через два часа было готово соглашение между Германией и независимой Грузией. В награду за обуздание султана Германия получала в свое распоряжение железнодорожную сеть Грузии. Меньшевистское правительство обязывалось принимать при государственных расчетах германские бумажные марки. Германии передавался для свободного пользования весь находящийся в грузинских портах тоннаж: пассажирские пароходы, буксирные суда, баржи, моторные лодки.

Это только увертюра к опере «Зигфрид на Кавказе»,—подумал фон Унгерн, скрепляя печатью предварительное соглашение.

Затем фон Гросс торжественно пожал руку министру Чхенкели и пригласил его и фон Лоссова на тайное совещание. В салоне, уставленном глобусами и увешанном картами, был подписан ряд дополнительных секретных соглашений, точно устанавливающих характер дружбы и размер платы за военную защиту меньшевистской державы.

Когда, дружески беседуя, они возвратились в кают-компанию, Коста передал Чхенкели только что полученную телеграмму. Председатель совета министров Рамишвили взволнованно сообщал о новом турецком ультиматуме. Халил-паша требовал немедленно передать Порте крупные железнодорожные пункты.

Фон Лоссов предложил отправить успокоительный ответ: пусть глава кабинета примет оттоманский ультиматум и занимается делами государства. Отныне в неприкосновенности грузинской границы заинтересована не только независимая Грузия, но и Германская империя.

Затем фон Лоссов приказал адъютанту: выслать на станции Караклис и Санаин немецкие взводы, подкрепленные огнеметами, для охраны путей сообщения от турок...

ГЛАВА 12

На Тифлис обрушился ливень. По горным улицам неслись бурлящие ручьи. Дождевой туман окутывал здания. К утру на город легла прозрачная свежесть. Крупные капли дрожали на отцветающих акациях.

По булыжной мостовой постукивали копыта. Первые вестники утра — ослики с перекинутыми хурджинами и плетеными корзинами спустились с гор.

— Хац! Хац!

Гортанные выкрики крестьян будили население окраин.

— Рыба! Рыба-а!

— Мацони! Мацони!

Домик со стеклянной галлерейкой тонул в акациях и тутовых деревьях. Решетчатая калитка весело смотрела на узенькую улочку Дидубе, густо населенную рабочими железнодорожных мастерских. У стены под окнами зеленели огородные грядки. На высоком шесте красовался затейливый скворешник.

Серый ослик толкнул лбом калитку и стал пощипывать на дворе сочную травку. Дверь галлерейки отворилась, по деревянным ступенькам сбежала Натэлла. После взаимных приветствий она деловито взяла у крестьянина глиняный кувшин и ловко его опрокинула, проверяя густоту мацони.

Крестьянин, получив от Натэллы боны закавказского комиссариата, хитро прищурился, повертел в руках. В орнаменте кредитки ему понятны были только виноградные кисти и воркующие птички. Подпись Е. Гегечкори, видимо, не приносила ему большой радости. Крестьянин вздохнул, нерешительно сложил бумажку вдвое, достал из кожаного кисета три николаевских почтовых марки и передал Натэлле сдачу.

Поглаживая мягкую шерстку ослика, девушка с усмешкой следила за крестьянином. Он оглянулся на калитку и зашептал:

— Будь сестрой, скажи мне, что за люди пришли в Тифлис? Сами из серого камня, а на головах железные котлы!

Пообещав крестьянину разузнать все к его следующему приходу, она продела замок в кольца, сунула ключ под ступеньку крыльца и выбежала на улицу.

Натэлла пересекла тенистую аллею Мушгаида и, обогнув шелковичную станцию, вышла на Михайловский проспект. Мимо нее под дробь барабанов маршировал батальон баварских егерей. Подкованные сапоги гулко стучали по мостовой. Изогнутые стальные каски закрывали лица солдат. Немцы двигались, не глядя по сторонам, как манекены.

Натэлле казалось: после грозы, увлекая за собой камни, кусты и суглинок, несется к Куре мутный поток. Она провела рукой по глазам: «Ладо в плену, а немцы, как хозяева расхаживают по Тифлису!»

Яркий день показался ей ненастным днем четырнадцатого года. Дрожащей рукой завернула она тогда в холст белую рубашку, сухари и табак. Тонул в невеселом гуле вечерний вокзал. Отец хмуро посматривал на вещевой мешок за плечами Ладо. Горькое прощанье. Мелькнул красный огонек последней теплушки эшелона, и тоскливая солдатская песня растворилась в сумерках.

А потом потянулись дни, полные тревоги. Телеграфные сообщения из действующей армии сменялись в газетах длинными списками убитых и пропавших без вести. Натэлла и отец, таясь друг от друга, просматривали газеты.

И сейчас — ей это казалось немыслимым — немцы громыхали по ее родной земле! Немцы!!

Какой-то человек с багровым подбородком и золотой цепью, пропущенной через жилет, глядя на баварских егерей, восхищенно прищелкнул языком. В желтом мерседесе, промелькнувшем мимо Натэллы, рядом с немецким генералом сиял князь Амилахвари. Натэлла хорошо знала полковника, больше года она работала швеей у княгини Саломэ.

Мерседес обгонял колонну броневых автомобилей. Мчались штабные машины с офицерами в лакированных касках.

Натэлла сжала руки. Бежать! Позвать отца, товарищей!.. Враги пришли! Враги!..

Кто-то толкнул ее и засмеялся, кто-то окликнул.

Натэлла остановилась: куда бежать? Да, надо докончить голубой пеньюар княгини Саломэ. Княгиня все знает... Натэлла вскочила в трамвай. Ей казалось, что вагон ползет, как черепаха, не поспевает за биением ее сердца. На всем ходу спрыгнула. Кондуктор затрубил в рожок. Но она уже обгоняла походные немецкие повозки.

У подъезда на Саперной она задержалась: опять этот скорпион навстречу! Выбрит, одет в светлокоричневый костюм, в руках трость и новая летняя шляпа. В этом наряде он еще отвратительнее! Хотела незаметно пройти, но Тиглер расставил руки, преграждая ей дорогу:

— Поздравляю вас, барышня, с визитом немецких войск. Теперь все пойдет как надо!

— Еще бы! Пришлось армию с бомбами пригласить, чтобы заставить вас надеть чистый костюм...

— Хе, хе! Советую вам, барышня, держаться за мои фалды...

Уже не спеша, она поднялась по черной лестнице. На площадке возле генеральской квартиры Дуняша, прислуга Аратовых, бросилась к Натэлле:

— У нас дома суматоха! Генеральша плачет, не наплачется. Молодой барин приехал, Сергей Петрович. А гостинцев привез — видимо-невидимо! Флакон духов и патроны в чемодане неизвестно для какой надобности.

— А тебе что еще, бомб захотелось?

— Выдумала. Вот племянник генеральши Окунь из Киева прибыл. Не гляди, что шпорами звякает. Ведро малороссийского сала приволок. А у генерала Добро-

нравова брат гусар с Кубани пожаловал, в одной руке георгиевская шашка, а в другой английский чемодан с крупчаткой. Вот они и пекут то пирожки, то крендельки. А нам из патронов — кисель что ли варить?

- Выходит, что молодой твой барин растяпа!

- Выдумала. Волосы у него как каштаны блестят, вьются. Ресницы большущие, а из-под них синь-синькой глаза.

Натэлла прищурилась, погрозила пальцем.

В княжеской кухне Натэлле бросились в глаза раскрытый чемодан, пустые коробки с немецкими ярлыками и на полу мятое дорожное полотенце. На столе кипел самовар, розовел поджаренный чурек и на тарелке истекал слезой тушинский сыр.

Шакро вскочил и, неловко расплескав вино, сел сконфуженный.

- Здравствуй, тетя Маро, — Натэлла звучно поцеловала старуху, ощипывающую индейку, — с гостем поздравляю!

- Спасибо, мое дитя, спасибо! Приехал, приехал князь, слышишь, как смеется?

Натэлла обернулась к Шакро:

- Тоже приехал с немцами?

Шакро шумно поставил недопитый стакан:

- Почему с немцами? Другого дела у меня нет?

- Наверно нет, раз в кухне у князя вино пьешь.

Оторопело смотрел ей вслед Шакро.

- Кто такая, тетя Маро?

- Не смотри — не купишь!

- А почему не могу смотреть? Разве свободному грузину запрещено солнцем любоваться?

- Хоть и свободный, но зачем любоваться, когда не твое.

- А чье?

- Мало, думаешь, здесь кавалеров шатается, глаза портят? Только никого мое золото не замечает. О брате думает. Три года его не видела, давно из плена не пишет.

- Из плена?! Кто такой? Я всех знаю... «Аба! Красная редиска! Есть цыцмада! Тархуна! Ай, зеленый огурец! Наша комания молодец!» — выкрикивал во дворе веселый голос.

- Э, кинто, наконец пришел!

Маро швырнула индейку и, схватив корзину, бросилась из кухни.

В столовой князь Илларион с восторгом насчывал бриллиантовый солитер в галстуке Стиннеса. Но Саломэ больше интересовали плоские коробки с этикетками поставщика берлинского двора.

- Вот, Натэлла, надо все разгладить. Только осторожней, кружево не порви!

- Князь, зачем немцы к нам пожаловали? — волнуясь, спросила Натэлла.

Илларион рассмеялся.

- Смотри, Саломэ, как наш народ рассуждать стал! Зачем немцы? Ну, допустим, немцы пожаловали научить нас уму-разуму. Навести порядок.

— А разве грузины без немцев гозинаки не сварят?

— Посмотри, как философствует! А? — засмеялся Илларион. — Иногда удобнее чужими зубами грызть твои гозинаки!

В столовую ввалилась Маро, зажав в руке пучок тархуна. Она задыхалась:

— Натэлла! Иди! Твой брат!..

Натэлла всплеснула руками, бросилась к дверям.

В кухне шумел Шакро.

— Приехал! Со мною приехал! Лучший мой друг!

Накидывая платок, Натэлла торопила Шакро:

— Скорей! Скорей! Пойдем к нам. Друг моего брата — мой друг.

Ладо опустил сундучки и дрожащей рукой провел по лбу. Может, не было ни войны, ни плена. С восторгом он оглядел залитую солнцем вокзальную площадь. Родной город! По этим камням, засунув за пояс задачник Евтушевского в ализариновых пятнах и время оранжево-синими кочами[1], бегал он в железнодорожное училище. По этой улице в глубоком волнении спешил на первый порученный ему паровоз... Теплый ветерок подкрался к сердцу. Ладо снял фуражку и посветлевшим взглядом посмотрел вдаль. Сквозь розоватое облачко виднелась горная деревушка Цхнета.

Да, он в Тифлисе. Все те же низенькие привокзальные лавчонки с зелеными и желтыми ставнями. На стеклах витрин намалеваны чурек, перекрещенные шампуры с нанизанным на них сочным мясом и темнокрасными помидорами. На вывеске голова барашка с обвитыми золотым виноградом рогами.

Добродушной усмешкой проводил Ладо пролетевший мимо трамвайчик; кондукторский рожок задорно рявкнул, точно приветствуя его, и попрежнему весело пенился в угловом киоске лимонад.

Ладо поднял сундучок и горделиво зашагал к дому. Обогнув таможню, он остановился: «Отца, наверно, нет дома», — и свернул в узенькую улочку.

Неспокойно гудел двор железнодорожных мастерских. Старые мастера, с глубокими морщинами и седыми усами, молодые рабочие, с задорными глазами и мускулистыми руками окружали заржавленный тендер.

Никем не узнанный, Ладо разыскивал глазами отца. Нико стоял поодаль, дымя костяной трубочкой.

На тендере размахивал панамой эмиссар Коста.

— В эпоху Великой французской революции жирондисты выражали интересы

[1] Кочи — бабки.

либеральной буржуазии и в мероприятиях отличались нерешительностью. Мы не жирондисты! Гвоздем сезона служит приход немцев. Необходимо выяснить, для чего они пришли в Грузию и кто их призвал...

— Конечно, не мы! — невозмутимо заметил Нико.

— Старый железнодорожник не угадал: мы! Но для чего? Во имя спасения социал-демократии от ига турок и большевиков! — Коста решительно огласил листовку:

«Грузинское правительство доводит до сведения населения. что прибывшие в Тифлис немецкие войска приглашены самим правительством Грузии и имеют своей задачей защищать в полном согласии и по указанию правительства границы грузинской демократической республики» [1].

Пронзительный свисток прокатился под сводами депо, и во двор, словно чугунный зверь из клетки, вырвался паровоз. На ступеньке, держась за поручни, стоял Павле в замасленной тужурке. Потрясая красным сигнальным флажком, он выкрикивал:

— Мы, рабочие Тифлиса, шлем братский привет русским пролетариям!

— Россия развалилась, а мы стоим, как памятник революции! — выкрикнул Коста, отмахиваясь от пара.

Кузнец Миха вытер закопченные руки о кожаный фартук:

— Нам каждый гость дается богом! Сейчас пришел очень важный гость — немецкий генерал. Давно ждали, ночью о нем думали, днем беспокоились — почему запаздывает? Только если этот гость по комодам будет шарить, моя старая Кэто рассердится, может подсвечником по заду дать. Выйдет перед правительством неудобно!

Под дружный хохот Коста обидчиво повысил голос:

— Здесь своеобразно ставится вопрос — не станут ли немцы вмешиваться в наши внутренние дела? Если мы укрепим грузинский парламент и создадим военную и политическую силу — не посмеют! А мы создадим! Никакой реальной помощи от России ожидать не приходится! И вообще, избегая экспериментов, мы предпочитаем немецких империалистов большевистским фанатикам!

Воздух заколыхался от многоголосого шума. Нико в сердцах стукнул трубочкой о буфер и вскорабкался на тендер:

— Раньше всего разберемся, кто это «мы»? На этот вопрос седьмого февраля здесь ответил любимый нами Степан Шаумян.

Юркий человек с черными кольцами волос. спадающими на лоб, выкрикнул:

— Мы, фракция меньшевиков, будем поддерживать наше правительство! А кто недоволен, пусть едет к Шаумяну в Баку.

— Эсеры требуют землю и волю! Я. как представитель Кавказской армии обвиняю Шаумяна, разрушителя фронта. Но я не стану поддерживать и диктатуру меньшевиков! — вынырнул из толпы земгусар в зеленом френче.

— Почем за сукно платил, сукин сын?! С интендантом ужинал?!

— Товарищ Нико не кончил! Не мешайте! — старался перекричать всех Иванэ.

— А что касается большевистских фанатиков, — спокойно продолжал Нико, — то ваш испуг, гражданин эмиссар, понятен. Вспомните, как вы обиделись, когда Степан Шаумян привел нам слова Сталина: «....Идущая с севера революция и несущая рабочим многие завоевания, естественно, подымала закавказский пролетариат на новую борьбу» [1]. Вы вынудили Шаумяна покинуть Тифлис, а сейчас кричите: не надейтесь на Россию?! А расстрел рабочего митинга, это что? Я что ли устроил?

— Здесь ведут агитацию враги республики, — выкрикнул эмиссар, пытаясь заглушить смех и свист. — Это уже не свобода слова, которую мы оберегаем, это — злоупотребление, это — сеяние вражды и ненависти.

— Наш Нико член центрального комитета железнодорожников, — сказал старый сцепщик. — Он говорит то, что мы думаем. Продолжай, Нико!

— Только не от нас! — раздался голос токаря в темных очках. Ладо удивленно посмотрел на него.

— ...Я хочу слушать эмиссара своей партии.

— Правильно! Правильно!

Нико потрясал номером «Правды».

— Расстрела в Александровском саду никакими высокими песнями вы, гражданин эмиссар, не скроете! Слушайте, друзья и враги:

«... Последние события окончательно сорвали маску социализма с меньшевистских социал-контрреволюционеров, и теперь весь революционный мир имеет возможность воочию убедиться, что в лице Закавказского комиссариата и его «сеймово-национальных» привесков мы имеем дело с самым злостным контрреволюционным блоком, направленным против рабочих и крестьян Закавказья». [2]

Нико торжествующе оглядел эмиссара:

— А от сейма до вашего Национального совета один шаг! Вы только вывеску переменили! — и под угрозы и рукоплескания спрыгнул с тендера.

[1] Газета «Эртоба» № 121, 1918 г.

[1] Сталин, «Контрреволюционеры Закавказья под маской социализма», «Правда» №№ 55, 56 за 1918 г.

[2] Там же.

Напряженно прислушивался Ладо. Ему хотелось сказать горячее слово, но он молчал. Час его еще не настал. Но скоро настанет.

А Нико уже снова на тендере обрушился на Коста:

– Тут эмиссар беспокоил Великую французскую революцию. Жаль, не вспомнил осаду Парижа, когда сто тысяч французов взялись за ружье для защиты отечества. Они не призывали пруссаков, а отбивались от них! А ведь и эмиссар, наверно, любит под гитару напевать Марсельезу!.. – прислушиваясь к одобрительному хохоту, Нико чиркнул спичкой и раскурил трубочку. – Мы тоже сумеем взять в руки ружье! Утвердим свою власть! Сломим власть купцов, продающих кровь народа распивочно и навынос!

Отпив воду из глиняного кувшина, поднесенного ему босоногим мальчишкой, Коста вытер платком губы, вскарабкался на тендер и властно поднял руку:

– Старый железнодорожник тут козырял лозунгами большевистских лидеров, но наши пути с ними навсегда разошлись. Наш путь ведет в Европу, их – в Азию!

– А турки идут на нас откуда?! Из Америки?! – насмешливо протянул Нико.

– Еще большой вопрос, какая опасность хуже: большевистская или турецкая? – продолжал Коста. – Я здесь слышал много голосов и, к радости моей, немало разумных. В тысяча девятьсот пятом году мы призывали вас во имя революции к забастовке. И вы бастовали. Сейчас во имя революции мы призываем вас...

– Спасибо, добрый человек! – задорно прогорланил Иванэ, размахивая картузом, и выхватив из-за пазухи двух голубей, подкинул их вверх.

Невольно все стали следить за полетом белых птиц. Поднялся свист, улюлюканье. Эмиссар надрывался:

– ...призываем вас поддержать политику правительства в грузино-германском вопросе...

– Смотри-и! Смотри! На небо убежали! – вопил Павлэ.

– Окш! Окш! – гудел Миха, заглушая эмиссара, который, казалось, только беззвучно шевелил губами:

– ... и вы поддержите!

Голуби тонули в синеве. «Качать! Качать!», – ликовали молодые рабочие и, схватив Иванэ, подбросили его.

– ...Обструкцией вы ничего не добьетесь! – сипло хрипел Коста. – Немцы помогут нам создать демократическую власть. Но если не мы, помните: власть захватит другая сила – монархисты! Они уже шевелятся!

– У вас научились! – басисто загоготал Миха.

В воздухе замелькали кулаки, палки. Вот-вот вспыхнет свалка. Ладо никак не мог протиснуться вперед. Став на железный ящик, он внятно окликнул: «Отец!»

Нико приподнялся на носках, вглядываясь в толпу. И сразу увидел упрямый лоб, блестящие радостью глаза. Сжимая сына в объятиях, он силился и не мог вымолвить слова...

ГЛАВА 13

Фон Гросс снисходительно оглядел зал с позолоченной мебелью. В его имении господствовал готический стиль. И только камин привлек внимание генерала.

Облокотясь на мраморную доску, он рассматривал старинную группу: под циферблатом застыли в танцовальных позах немецкие дамы и кавалеры, фижмы и камзолы воскрешали эпоху Фридриха II. Внизу на пьедестале лежал золотой ключик и красовалась изящная пластинка:

«Его превосходительству генерал-майору барону фон Гроссу от правительства демократической Грузинской республики. Добро пожаловать!»

За дверьми послышался звон шпор.

– Ваше превосходительство, – отрапортовал адъютант, – граф Шуленбург изволит ждать в кабинете.

Фон Гросс круто повернулся на каблуках и направился к дверям.

Над столом, тяжело опирающимся на львиные лапы, рельефная штабная карта Кавказа освещалась матовым светом лампы. Задернутые темные портьеры заглушали шум улицы.

Уйдя глубоко в кожаные кресла, вполголоса беседовали граф и барон. Оставляя Тифлис, Шуленбург делился с бароном своим опытом дипломата. Он недаром много лет изучал лабиринты политики Российского государства:

– ... Итак, мой барон, умелое использование психологии азиатских дипломатов даст вам преимущество в предстоящей крупной игре. Здесь можно предъявлять сверхвозможное, но облекать его в любезную изысканную форму. Я успел присмотреться к министрам-демократам, к этим самовлюбленным демагогам. Они упоены властью и настолько ослеплены настоящим, что не видят своего неизбежного будущего. Позолотите самую горькую пилюлю легкой лестью, и она будет проглочена с большой благодарностью.

Довольные друг другом, они перешли к обсуждению программы действий оккупационной армии. На экономической карте Грузии уже прочно были расставлены немецкие флажки. Касаясь бакинской нефти, они обсудили, какую пользу можно извлечь из национальных противоречий муссаватистов и меньшевиков.

Затем фон Гросс доверительно обрисовал современное, почти отчаянное, положение Германии, переживающей тяжесть затянувшейся войны и экономического

кризиса. С горечью отметил, что в Берлине он был поражен большим количеством плохо одетых жителей, уродливыми тенями бродивших по помрачневшим улицам столицы:

— Наш кронпринц любит ссылаться на единственно меткую поговорку легкомысленных французов: «Управлять — это значит предвидеть». Поэтому кронпринц возлагает на оккупационные армии на Украине и в Грузии большие надежды. Из Болгарии нам удалось вывезти весь запас реквизированной кукурузы. Я рассчитываю оправдать высокое доверие кайзера и кронпринца. Создание мощных сырьевых баз, захват нефтяных месторождений, организация колониальных монархий дадут возможность диктовать волю кайзера всему миру. В тысяча девятьсот восемнадцатом году Германия выйдет из временного кризиса.

Генерал повернул выключатель, вынул из бювара номер «Иллюстрасьон», протянул дипломату: вот кого будет поддерживать в Грузии партия монархистов.

— Эта фрейлина пользовалась успехом среди гвардейцев. Но здесь ей временно придется играть скромную роль, — сказал граф.

Фон Гросс понимающе наклонил голову:

— О, ей вручены инструкции. Княжна прибудет в Тифлис через три дня.

— Советую вам, барон, обратить внимание на княгиню Саломэ Амилахвари. У нее способности швейцарского канцлера. А также советую, любезный барон, использовать князя Иллариона для связи с грузинскими монархистами, — сказал граф.

Фон Гросс не любил лишних советов, но счел необходимым любезно поблагодарить и спросил: не пожелает ли граф подписать соболезнующую телеграмму Халил-паше по случаю самоубийства на «Голубом Дунае» Сафар-бея?

Шуленбург одобрил мероприятие генерала, порекомендовал воспользоваться смертью турецкого сановника и выслать немецкие отряды для охраны нефтяной трассы и железнодорожных линий от всевозможных посягательств «союзников» — Халила, Вехиб-паши и Назим-бея. При этом граф многозначительно добавил:

— Я буду иметь честь скоро увидеть кронпринца. Его высочество, выслушав мой доклад, не раскается в доверии к вам...

Крепко пожимая руку дипломату, генерал веско произнес:

— Я сделаю все, чтобы союзные турки не совали далеко своего носа, а русские сломали бы голову о Кавказский хребет.

После ухода Шуленбурга генерал еще долго дымил сигарой. Он привык в подобных случаях, не сходя с места, продумывать до конца беседу, делать выводы и уже ни при каких обстоятельствах их не изменять.

ГЛАВА 14

По улицам обалдело носились газетчики, потрясали «Тифлисским листком», «Старым Тифлисом», «Кавказским словом», выкрикивали последние новости:

— Высадка в Поти немецких войск!

— Высадка в Поти!

— Экстренно! Приезд фон Гросса!

— Беседа с графом Шуленбургом! Экстренно!

В воздухе колыхались белые зонтики. Перевесившись с балконов, тифлисцы забрасывали прохожих вопросами, не верили, удивлялись...

В домах, ресторанах, на базарах, в банях, в банках, в духанах, в театрах — всюду вспыхивали разговоры, строились догадки, предположения: зачем приехали немцы? И что предпринять в случае...

Прошли вторник, среда, четверг, Лало все еще не мог обуздать свою радость. Тифлис, стиснутый горами, казался ему необъятно просторным. Лало ловил себя на ребяческом желании взобраться на ярко-зеленую крышу и кричать, петь, как пел Важа-Пшавела о своих крылатых друзьях. Натэллу он звал детскими прозвищами и дружески поглядывал на Шакро, не спускавшего восторженных глаз с девушки.

Каждый вечер Шакро давал себе слово завтра уехать. Но наступало утро, розовое солнце вопросительно заглядывало в распахнутое окно. Шакро нерешительно шарил под тахтой, выдвигал сундучок и торопливо задвигал обратно. Легко сказать — уехать, когда в пушистых ресницах Натэллы запуталось его сердце. Он искал себе оправдания, говорил о странном характере князя Иллариона, не пожелавшего отпустить его в деревню, и умалчивал о неоднократном восклицании князя: «Пора в деревню! Земля ждет!»

Сегодня воскресенье. Натэлла нарядилась в платье, похожее на ромашковое поле.

Нико, выбивая о подоконник трубочку, укоризненно покачал головой: в его время молодые люди не торчали дома, как заржавленные колеса в депо. Натэлла расхохоталась, подбежала к комоду и, глядясь в зеркало, надела новую шляпку.

Сияющий Шакро едва сдерживал расплывшуюся до ушей улыбку. Горделиво поправил он на груди георгиевский крест и поспешил за Натэллой, провожаемой взглядом соседок, прильнувших к заборчику.

Лало запер за ними калитку на засов и плотно прикрыл дверь галлерейки. Он уже успел рассказать о происшествии на «Голубом Дунае». И сейчас, развернув бумаги эффенди, так ловко спрятанные в княжеском несессере и так ловко вынутые в Поти, Нико долго их разглядывал.

— Нет, без Ибрагима ничего не прочтем.

– Зато, отец, тут все ясно.

Ладо вполголоса переводил копию секретного послания из Тифлиса германскому генеральному штабу.

В интересах оккупационной армии на Кавказе немецкий резидент настойчиво предлагал, не нарушая традиционной дружбы с султаном, поставить генерала Вехиб-пашу в полную зависимость от фон Лоссова. Особенно рекомендовал резидент не допускать Назим-бея в Азербайджан, где эта лиса в мундире намеревается сформировать вспомогательную татарскую армию и захватить нефть. Если надо, присовокуплял резидент, можно поставить вопрос о нарушении турками союзнических обязательств и интересов Германии. Справа от даты стоял четкий номер и неразборчивый росчерк. Только вооружившись лупой, Ладо с трудом прочел: Тиглер.

– Тиглер! Вот прохвост, – вспылил Нико. – Недаром Натэлла ненавидит этого скорпиона!

– Не волнуйся, отец! Лучше подумаем, как использовать клад, отбитый у двух держав. Без сомнения, в турецких бумагах немало «приятного» для немцев, а в немецких – для турок.

Взвесив все, Нико предложил переслать документы, изобличающие двуличную политику Германии, турецким оппозиционерам...

– А имеют ли они реальную силу?

– Имеют. Пленные аскеры снабжают нас интересными сведениями. Молодые патриоты без ведома Стамбула и Берлина решили восстановить честь нации. Аскер Ибрагим принес мне воззвание к турецким офицерам, написанное в Батуме Селим-беем. Говорят, когда Ленин послал братское приветствие, Малая Азия зашумела, как Великий океан. И надо думать, наш подарок поможет противникам Энвер-паши выбраться из германского капкана. Но, может, следует раньше посоветоваться с Шаумяном? Жаль только, далеко Степан, а события не ждут, приходится самим рисковать.

– Теперь, отец, поговорим, как нам выбраться из меньшевистского капкана.

– Выбраться – выберемся, но много придется повоевать. Чорт их знает, этих Чхенкели! О них думали, как о пустых болтунах, а они оказались воинственными предателями. У них и жандармы, и гвардейцы, и полиция, и милиция! Об одном тоскуют, что Сибирь не у них. А то половину Грузии выселили бы! А так куда? В Ворчало? Но мы крепкий орех, зубы поломают.

И Нико стал шарить по карманам, ища трубочку.

– Жаль, тебя здесь не было, – продолжал он, набивая трубочку табаком. – У нас в депо выступал Степан Шаумян. Вот человек! За ним рабочие на смерть пойдут! – Нико опустился рядом с Ладо. – Слушай, что скажу! Борьба только начинается... Впереди трудный путь. Если будешь в чем сомневаться, обратись к нашему Степану.

Старый мастер любовно похлопал по плечу сына и достал из шкафчика чурек и кахетинскую водку:

– Давай выпьем за его здоровье!

Княгиня Амилахвари жаловалась мужу на безобразное поведение крестьян:

– Они, видите ли, требуют землю! Они не желают, видите ли, брать землю в аренду. И княжеские поля остались незасеянными. Мать этого Шакро вдруг вспомнила, что земля от кургана до реки двадцать пять лет назад принадлежала им, Кахиани, и что твой отец будто бы присвоил эту землю!

Саломэ залилась смехом:

– Владетели Кахиани! Им только герба нехватает! Придется заказать у гробовщика. И вот в феврале это чучело, нацепив рваную лечаки[1], явилась ко мне с просьбой позволить ей засеять землю от кургана до реки кукурузой. Клялась святым Антонием и курдюками баранов, которые ей иногда снятся, что одну треть урожая отдаст нам. Конечно, глупо было не согласиться. Но дурак Сандро, управляющий, испортил все дело! Кахиани уже закончили сев, а он обрадовался и заявил протест: земля, мол, принадлежит князю, а княгиня не имеет от князя доверенности заключать на его землю какие-либо сделки. Не мог, дурак, подождать, пока те собрали бы урожай... Тогда кукуруза осталась бы за ними! А теперь что? – негодовала Саломэ. – Кахиани, конечно, бросили поле. И сами не работают, и другим не дают.

– Вот кукурузный осел, этот Сандро! Что он понимает в апельсинах?! – возмутился Илларион. – Нашел время ссориться с крестьянами! Впрочем, душа моя, это поправимо!

Германское командование немедленно вернуло дом Тиглеру, и он принялся наводить порядки. Сначала были выброшены родственники эмиссара Коста, потом его друзья, потом друзья его друзей, и, наконец, за ними последовала Марго. Затем Тиглер принялся за жильцов третьего и первого этажей. Напрасно учительница гимназии, прикладывая платочек к глазам, напоминала о его многолетнем расположении к ней.

Тиглер презрительно оборвал:

– Я гуманно даю два дня сроку, – указательный палец его свернулся червяком, – и советую не медлить!

Заметался было и Коста, но ему Тиглер заявил, что очищает дом от хлама, а эмиссар может спокойно занять даже послед-

[1] Лечаки — вуаль, часть женского национального головного убора.

нюю комнату в квартире генерала Аратова. И многозначительно понизил голос: скоро настанет время окончательной расправы с царскими бульдогами.

Марго перебралась с корзиной в квартиру генерала Аратова, которому домохозяин предложил занять четыре комнаты в третьем этаже. Правда, они не так удобны, но и семья его превосходительства значительно уменьшилась: сыновья в добровольческой армии, дочери за границей. И Тиглер тихо добавил:

— Скоро настанет время — мы этих меньшевистских бульдогов окончательно загоним в подвал, а, может, и поглубже. Тогда господин генерал от кавалерии займет квартиру в любом этаже.

Скрепя сердце, Аратовы поднялись наверх. Рядом с генералом через площадку оказался колбасник из Катринфельда. На лестницах с утра до ночи грохотали сапоги рослых немцев-колонистов. Появился летчик граф фон Пален с дрессированным догом. Перетасовка не коснулась только квартиры Амилахвари.

Что касается самого Тиглера, то он снова водворился в свои две комнаты во втором этаже.

Каждое утро фон Пален беседовал с колонистами о том, что есть германская армия. Эти парни секретно подготовлялись к роли начальников вспомогательных отрядов.

Как только на германо-грузинском договоре легли две государственные печати, Тиглер вывел из подполья роты и команды немецкого полка, сформированные им в колонии Новый Тифлис, якобы для усиления грузинского корпуса. Колонистов обучали строю и стрельбе офицеры-грузины, приглашенные на хороший оклад Тиглером. Это было началом осуществления его тайных планов, и тут он не скупился.

На средства Тиглера открылся клуб, стала издаваться газета, организовались ферейны[1] молодежи.

Колонисты благоговели перед Тиглером. Он связывал их с фатерландом, а щедрость доктора казалась им равной щедрости кайзера. Они оказывали ему величайший почет. Все это щекотало самолюбие Тиглера. А скрыть миллионы помогла ему блестящая идея притвориться мусорщиком. Деньги и сейчас спокойно лежат в индоевропейском банке и в сейфе его подвала...

В квартире Амилахвари заливался граммофон:

«Ортав гвалис синатле,
Нетамц эхла сада хар...»[2].

Казалось, князь Илларион очень обрадовался приходу Шакро. А он уже собирался искать георгиевского кавалера: «Земля! Земля ждет!»

От Саломэ не укрылась веселость Шакро и Натэллы. Княгиня поспешила обрадовать влюбленных: она непременно приедет к ним на свадьбу и привезет невесте хороший подарок. Шакро вздохнул — разве такая девушка, как Натэлла, пойдет за бедного крестьянина?

Илларион переменил пластинку и добродушно махнул рукой: он поможет Шакро, забудет самоуправство старухи Кахиани. Землю от кургана до реки дарит он своему верному ординарцу.

Шакро порывисто прильнул к руке князя. Натэлла вспыхнула, повернулась и выбежала из комнаты.

Дома она швырнула шляпку в угол. Оборвала кружевной воротничок, взобралась на тахту и, поджав ноги, долго сидела, как фарситский мудрец...

Ладо шутливо пожурил сестру. Неразумно отказываться от настоящих людей. Натэлла должна образумить парня. И твердо добавил:

— Я знаю Шакро. Он мягок и добр, но может быть и страшным.

Вернулся Шакро и угрюмо стал складывать сундучок: «Завтра уеду, давно пора, засиделся».

Расстроенный вид Шакро тронул Натэллу, стало жаль этого нелепого верзилу. Она предложила закончить прощальный вечер в «Муштаиде» за бутылкой холодного лимонада

В маленьком домике снова водворились мир и дружба.

ГЛАВА 15

Денщик фон Гросса Карл перерыл все походные сумки, обозную корзинку, наконец, свой ранец, но тщетно — сапожная мазь исчезла, а вместе с ней и старая замшевая перчатка, которой так удобно было наводить глянец. Карл отлично помнил: он упаковал банку мази между парадными сапогами, шпорами и утюгом. Беспокойно заглянул на часы: барон вот-вот проснется... Испуганный Карл метался по кухне, пока не придумал забежать в «Палас-Отель» к денщику фон Унгерна и, под честное слово — найдется же, наконец, чертова коробка! — одолжить мазок гамбургского крема.

Карл вернулся во-время. Зазвонил колокольчик. С благоговейной поспешностью пробежал в спальню Ганс, второй денщик, исполняющий роль камердинера.

Вскоре тщательно выбритый, с полированными ногтями, надушенный, сияя чистотой воротничка и белоснежных манжет, генерал вошел в кабинет. Унгерн, Гефтен и Вурцбахер оборвали разговор и придали лицам служебное выражение.

Генерал поздоровался и указал на кресла.

— Итак, господа офицеры, — без всякого предисловия начал генерал, — мы на пороге Востока: еще одна территория подчине-

[1] Ферейны — кружки.

[2] Свет очей моих,
Знать хочу, где ты сейчас.

на германскому оружию. Считаю нужным ознакомить вас детально с возложенной на меня ответственной задачей. Как вам известно, мы для внешнего употребления не изменяем доктрину Бисмарка. Германия не преследует других целей во внешней политике, кроме сохранения мира. Запомните: мы — ангелы мира! Курите, господа офицеры, — генерал пододвинул ящик с сигарами. — Но высшие цели освящены нашей кровью. В этой войне мы не отступим. Так сказал мне кронпринц в первые дни сражений на Марне. Еще немного усилий, и в наших руках Малая Азия, Месопотамия. Бельгийское и Французское Конго, португальские колонии и Марокко. Мы обеспечим свое влияние в Турции и продолжим железную дорогу Берлин—Багдад. Это общий план генерального штаба.

- Ближайшие задачи наших армий на восточном фронте — захват хлебных пространств Украины, угольных—Дона, стратегическое продвижение на Северный Кавказ с конечной целью приставить нож к горлу Москвы.

Гефтен подался вперед, и его сильно выдвинутый подбородок повис над тугим воротником:

- Можно ли понять нашу оккупацию Грузии, как подготовку разгрома русских Советов?

- Осторожнее, господин майор: помните Брест-Литовский договор! Нам удобнее медленное обескровливание этой власти. Надо лишить большевиков возможности мешать нам на Кавказе. Грузия станет новой нашей колонией и весьма удобным заслоном против России.

Фон Гросс подошел к штабной карте и воткнул в квадратик с надписью «Тифлис» немецкий флажок.

- Ваше превосходительство, — слегка наклонив голову, спросил фон Унгерн, — как долго вы намерены задержать оккупационную армию в Грузии? Не должны ли мы, как мыслил генерал Людендорф, прежде всего закрепить за собой безопасный путь на Месопотамию и Аравию через Баку и Иран?

Генерал недовольно поморщился:

- Придерживайтесь, господин полковник, золотой середины между воображением и разумом. Здесь мы не только военные, но и дипломаты. Поспешность — вредный советник. На турецкий ультиматум за нас ответит грузинское правительство. А мы, не торопясь, будем крепить свои позиции. Оставаясь ангелами мира, мы будем тайно разжигать раздоры между всеми правительствами раздробленного Кавказа.

Ровно в двенадцать фон Гросс поднялся и пригласил офицеров разделить с ним завтрак.

В прохладной столовой за богато сервированным столом фон Гросс предпочитал держаться, как любезный баварский помещик. В меру ел, в меру пил и старался быть в меру остроумным.

Для Вурцбахера эти генеральские завтраки являлись тяжелым испытанием. Обер-лейтенант вынужден был подражать аристократам, а между тем он не терпел светского остроумия.

Грузный Гефтен любил хорошо покушать и выпить, Унгерн, напротив, непрочь был за едой поострить и при случае блеснуть цитатой из только что просмотренной книги. Манера щеголять книжными знаниями не совсем одобрялась фон Гроссом, видящим в этом нарушение военного духа.

Но сегодня генерал был снисходителен. Завтрак протекал в атмосфере согласия и дружелюбия.

После второй рюмки генерал настроился философски:

— Вы, конечно, находите, что нас, немцев, связывает мистическое единство. Не потому ли в XIII веке Тевтонский орден с такой всемогущей силой насаждал католицизм в языческих восточных областях?

— Совершенно верно, господин генерал! — восторженно подхватил Гефтен, кладя на тарелку порцию поросенка.

Вурцбахер шумно орудовал ножом.

Унгерн воспользовался паузой:

— Расовая гордость создает в нас тягу к политическому господству, так утверждал Иоганн Фихте.

Пододвинув Гефтену белые хлебцы, генерал сухо заметил:

— Я рекомендую вам, мой Унгерн, для сохранения равновесия в беседе не затрагивать штатских философов.

Вурцбахер поспешил яснее выразить патриотическое чувство:

— Мой бог! Я горю нетерпением увидеть Грузию нашей колонией!

Фон Гросс покосился на Вурцбахера:

— Прошу не выражать вслух ваше нетерпение. Запомните, обер-лейтенант, каждому овощу свое время. А нетерпение — злейший враг дипломатии. Наполеон потерял терпение двадцать шестого июня тысяча восемьсот тринадцатого года — к сожалению, история не сохранила нам часа — но точно известно: император швырнул треуголку на пол. Эта оплошность произошла во дворце Марколини, в момент переговоров с Меттернихом. Результат был весьма плачевен... И еще: Чарльз Смит потерял терпение при переговорах с марокканским султаном и в мятежном порыве разорвал договор. Граф Таттенбах потерял терпение на Алхесирасской конференции. И что они получили? В переводе на кавалерийский язык — дохлую кобылу, на которой доплелись до печального дипломатического унижения. Я придерживаюсь метода точного прицела: терпение до намеченного момента.

Ровно в час десять минут генерал поднялся. Завтрак был окончен.

Выйдя из особняка, офицеры в нереши-

тельности остановились. Куда девать свободное время? Тифлис и его окрестности их не интересовали. В ресторан рано, они сыты. В биллиардную поздно, полагается перед завтраком.

Гефтен предложил зайти к нему выпить по рюмочке бенедиктина, прихваченного во Франции во время экзекуции над отцами святого Бенедикта Нурсийского. Конечно, Гефтен не стал бы расточать драгоценную влагу, но этот Унгерн такая бестия — его необходимо на всякий случай задобрить.

Потягивая из узких рюмочек душистый ликер, офицеры иносказательно высмеивали фон Гросса.

— Все, секретно сообщенное сегодня,— сказал Унгерн, — было мне известно в Берлине от фрау Эльзы, «огненной Саламандры», второй любовницы адъютанта рейхсканцлера.

Гефтен от смеха поперхнулся. Чорт возьми, он тоже кое-что слышал о решении захватить Кавказ. Но только не от фрау Эльзы, а от своего кузена, чиновника отдела внешних сношений в доме на Вильгельмштрассе[1].

Вурцбахер молчал. Придя в свой номер, он достал папку под номером три и стал писать донесение в разведывательный отдел генерального штаба и о «Саламандре», и о чиновнике из дома на Вильгельмштрассе.

В Поти к фон Лоссову летели дипломатические курьеры с воплями министров. Над их головами повис острый полумесяц, а они предпочитают немецкое солнце. Фон Гросс предпочитал грузинский марганец, поэтому и от него к фон Лоссову мчались фельдъегери с проектами ответной ноты независимого правительства на назойливый турецкий ультиматум.

Но не только дипломатические заботы обременяли фон Лоссова. Он строго следил за германизацией Потийского порта. Приказал расставить немецкие патрули у всех грузинских пароходов, а капитанам реквизированных судов беспрекословно подчиниться коменданту порта. Покончив с морем, генерал энергично принялся за землю. К портовым учреждениям и казенным складам был тоже приставлен немецкий караул. Комендант запретил грузчикам приближаться к трапам торговых судов. Он считал, что немецкие матросы более послушны, чем грузины. Подступы к морю генерал фон Лоссов обследовал лично и наметил около ремесленного училища площадку для сооружения радиостанции. Кипела круглосуточная работа по сборке радиомачты, вызывая трепетное изумление потийского городского головы. Он тоже пытался связаться по прямому проводу с правительством республики и просил разъяснить, кому принадлежит город Поти: Германии или Грузии? В ответ он услыхал такое, что поспешил бросить трубку на рычаг.

Тропическая жара не мешала фон Лоссову любоваться природой Колхиды. Грецкий орех, устремленный в голубую высь и бросающий ажурную тень, сразу был отмечен генералом, как превосходный авиационный материал. Коммерческому советнику, сопровождавшему его, генерал предложил обратить особое внимание на упругий карагач. С ним, по мнению генерала, мог соперничать только тисс, обнаруженный им вблизи озера Палеостом. К отобранным образцам было присоединено и желтое негной-дерево и, конечно, крушина, напоминавшая цветом коры закат в южной Баварии. «Каштан!» Генерал даже улыбнулся. Он вспомнил, что стропила Реймского собора сделаны из колхидского каштана и простояли сотни лет. Они выдержали испытание даже немецких гаубиц... Германии предстоит обработка украинской земли. И генерал наметил для деревянных частей сельскохозяйственных машин кавказский граб.

«... Поддержание порядка на территории Грузии касается исключительно грузинского правительства, и всякое вмешательство иностранной державы во внутренние дела будет посягательством на национальный суверенитет...»

Отослав господину Чхенкели этот пункт ответной ноты на турецкий ультиматум, фон Лоссов в комфортабельном «опеле» отправился к береговым дюнам. Дул попутный ветер. Турецкие фелюги выходили в открытое море, и паруса плавно скользили над синей водой.

— Рыболовством здесь будут заниматься наши промышленники, — строго сказал генерал.

— Сельдь! Кефаль! Ставридка! — восхищался коммерческий советник. — Скумбрия! Севрюга! Лосось! После победы каждый средний немец должен иметь разнообразный стол.

— Ваши соображения о дельфинах?

— Турки бьют их ради вытопки сала.

— Очень хорошо! Наши промышленники используют и мясо, и кожу, и кости.

Эскортируемый советниками фон Лоссов отправился в исследовательскую экспедицию. В субтропическом лесу он пристрелил благородного оленя, косулю и фазана. Генерал занес в блок-нот: «умелая утилизация роговой массы и перьев даст приличный доход консервному тресту в Кведлинбурге, любимом городе Генриха Птицелова».

В альпийской зоне были обнаружены серна, горная индейка, а в низинах кабаны.

— Колхиду мы превратим в чудесный немецкий майорат! Кайзеру будет приятно здесь охотиться.

Возвращаясь в Поти, фон Лоссов обратил внимание на кусты благородного лав-

[1] Министерство иностранных дел в Берлине.

ра. Коммерческий советник ознакомил генерала с данными потийской городской думы. Оказывается, продукция этого прекрасного растения достигает вполне реальной цифры в двести вагонов сухого листа. Генерал тут же решил: « и одного грамма лавра он не оставит Халилу даже на венок». И заодно приказал политическому советнику предложить господину Чхенкели завтра же вручить ответную ноту Халил-паше.

Немцы спешили укрепить базу для дальнейшего продвижения в глубь Кавказа. В порту пришвартовывались германские транспорты, гремели цепи якорей, скрежетали лебедки, в воздухе качались аэропланы «Таубе», грохотали грузовые машины, пушки, броневики, санитарные повозки, вырастали на пристанях квадратные горы ящиков, железных коробок, тюков. Паровые краны осторожно спускали продолговатые ящики с зловеще поблескивающими «Зеленым крестом», «Желтым крестом», «Синим крестом». Это были химические артиллерийские снаряды, траншейные бомбы и гранаты с удушающими газами. Кроме испытанного на французах и русских в 1916 году горчичного газа «иприта», здесь были и только что изобретенные дихлор и дибром-метиловый эфир, слезоточивые жидкости, и дибром и дихлорарсины, вызывающие чихание. Действие ядов оккупанты решили испытать при продвижении от Баку к Индии на непокорных туземцах.

По трапам пароходов сходили на берег стрелки, летчики, бомбардировщики, горные егеря, артиллеристы, саперы. Они спешили к машинам, поездам и устремлялись к Тифлису в распоряжение фон Гросса.

ГЛАВА 16

В ожидании выхода фон Гросса грузинская делегация откровенно скучала. Илларион, расхаживая с князем Цициановым по залу, обсуждал возможность формирования особой конной бригады из заганских военнопленных. Неожиданно на мраморном столике ему бросился в глаза большой альбом на переплете поблескивали тисненные золотом готические буквы: «Этапы колониальной службы барона фон Гросса».

За дверьми послышался звон шпор, Илларион осторожно прикрыл альбом и, положив руку на эфес, застыл в величественной позе.

Сопровождаемый офицерами вышел фон Гросс. Эмиссар Коста выхватил у Гоглика футляр и откинул крышку.

После торжественного представления и обмена официальными любезностями, фон Гросс выразил удовольствие видеть представителей грузинского общества.

Князь Илларион от имени правительства приветствовал славных наследников легендарного Армении. Волею счастливого рока два светлых воинства встретились для совместной борьбы с варварами. И выхватив у эмиссара футляр, Илларион протянул его генералу.

На черном бархате горел камнями, сверкал слоновой костью рукоятки старинный пистолет.

— Господин барон, по древнему обычаю мы преподносим дорогому гостю подарок, достойный его таланта.

— Благодарю, князь, ваш дар доставил мне истинное удовольствие. Хорошая политика, подкрепленная метким выстрелом, всегда дает должный эффект.

Делегаты повеселели. Им казалось, что они теперь прикрыты от всех бед германским щитом. Эмиссар поправил галстук и торжественно повысил голос:

— В эпоху Дантона... пардон... Итак, удачное начало в беседе — половина успеха в деле!

Фон Гросс, а за ним офицеры сдержанно рассмеялись. Генерал удивленно оглядел Датико: на белом кителе горели пуговицы с якорями.

— Какого флота?

— Флота независимой грузинской республики!

— В моем справочнике пока такого не значится, — с улыбкой отчеканил генерал.

— Ваше превосходительство, труднее создать морских офицеров, а броненосец всегда найдется, — Датико гордо поправил кортик.

— Допустим... Мне очень нравится ваш оптимизм. Прошу, садитесь, господа.

Военный министр выпрямился в кресле, вынул белоснежный платок и поспешно сунул обратно в карман. Говорил он вкрадчиво, не с достоинством:

— Ваше превосходительство, честь имею просить вас и союзных представителей присутствовать в воскресенье на параде, посвященном дружбе двух держав: великой Германской империи и независимой Грузинской республики.

Лицо генерала сразу окаменело.

— О дружбе я уже позаботился. Полковник фон Унгерн возьмет на себя труд инструктировать военное министерство,— и словно не замечая замешательства, продолжал, — надеюсь, вы согласны, господа?

Обрывая тягостную паузу, министр финансов спросил, не пожелает ли его превосходительство посетить министерство финансов. Генерал поблагодарил, заметив, что господин министр не ошибся. Конечно, необходимо выяснить возможности грузинского государственного организма и наполнить его артерии золотой кровью, выжатой не только из лимона и винограда, но и из марганца и тквибульского угля. О да! Он, генерал фон Гросс, безусловно понимает всю трудность такой задачи. Но недаром грузинские правители избрали своей покровительницей Германию. Обер-лейтенант Вурцбахер, тонкий

знаток экономики, сумеет корректировать приходы и расходы министерства финансов.

Приглушенные вздохи всколыхнули накрахмаленные манишки министров. Эмиссар Коста поднял глаза и вдруг чуть не поперхнулся. Может быть, это галлюцинация?! Но нет. В глубокой раме с надписью «Шота Руставели» красовался портрет Вильгельма II.

Внезапно Коста осенило: нет сомнения, фон Гросс, желая расположить к себе грузин, подчеркнул родство двух культур в одной исторической раме. Коста показал делегатам на портрет и в приступе благоговейных чувств выпалил:

— Ваше превосходительство, я, как эмиссар, рад сообщить, что банкет в честь вашего прибытия послужит дальнейшему сближению наших государств. Выражением высоких чувств будет немецкая музыка и восточная кухня.

От генерала не укрылось впечатление, произведенное заменой портретов. Он раздраженно сказал:

— Майор Пауль фон Гефтен поможет вам в составлении меню. В министерстве торговли и промышленности он проконсультирует вас... Благодарю!

Илларион уничтожающе посмотрел на Коста: этот санкюлот может испортить блестяще начатую операцию! — и решительно встал. От имени правительства и делегации он поблагодарил в лице генерала Гросса Германию, сразу проявившую к еще не оперившейся республике такую поистине отеческую заботливость.

— Безусловно, — в голосе Иллариона проскользнула грусть, — нет никаких шансов повысить наш потенциал, военный, финансовый и продовольственный, кровью из собственных артерий...

В этот исторический час грузинское правительство сделает все возможное для благотворной работы инструкторов германской делегации.

«Великолепно, — подумал фон Гросс. — Генеральный штаб не мог бы выбрать лучшего кандидата для проведения монархических идей».

— Господа, германская раса несет народам высший порядок и культуру. Мы пришли к вам, как ангелы мира. На штыках наших пылает свет германской цивилизации. Этот свет...

Внезапно все люстры погасли. И в темноту словно рухнули люди и вещи. Задвигались стулья. Датико с тревогой шепнул:

— Гоглик, так всегда начинается революция. Раньше свет гаснет, потом бомба взрывается...

— Не волнуй меня, Датико! Какое время для революции? Завтра мы на завтраке у Мананы.

Распахнулись двери, пронзительно зазвонил телефон. Светя зажигалкой, Вурцбахер подбежал к аппарату.

— Господин генерал, комендант сообщает — весь город погружен в темноту. Грузины осмеливаются протестовать! Им, оказывается, не нравится контроль немецкого командования над железными дорогами!

Из темноты ему ответил фон Гросс:

— Хаос! Но свет больше не должен гаснуть! Обер-лейтенант Вурцбахер, распорядитесь!..

Всю ночь в городе вспыхивали тревожные огоньки, зажигались коптилки. Угрожая, стучали в подъезды. Вышибали прикладами двери. Обыскивали, арестовывали, уводили: электриков, рабочих и служащих телефонной сети. В типографии «Кавказской рабочей правды» вместе с немцами буйствовали особоотрядчики. Звенело стекло. Под сапогами валялся рассыпанный набор. Из выдвинутых ящиков вываливалась бумага. На станке лежал обрывок листовки:

«... независимость Грузии превратилась в чистейший обман, — на самом деле это есть оккупация и полный захват Грузии германскими империалистами, союз немецких штыков с меньшевистским правительством против большевистских рабочих и крестьян. Ленин».[1]

Утром на притихших перекрестках и мостах показались немецкие патрули. В здании Михайловского юнкерского училища еще находились бывшие военнопленные немцы. Из них спешно сформировали два отряда. Один в тысяча триста штыков в полной походной форме направился в Гори, другой с пулеметами в Кутаис. За ними на боевой курс взлетели аэропланы «Таубе».

А в час дня, как обычно, по Головинскому проспекту фланировала пестрая толпа. Около городской управы сновали подозрительные субъекты. Из рук в руки скользили марки, фунты, лиры. Гимназистки, юнкера с любопытством поглядывали на афишные тумбы, с которых спешно сдирались листовки с ленинской речью.

Городскими электростанциями завладели немецкие солдаты и техники. Они приступили к ремонту машин.

Вечером особняк фон Гросса озарился электрическим светом.

Вместе с ликвидацией «анархии» в Тифлисе фон Гросс взялся за ликвидацию оттоманских вожделений на южном Кавказе. Он тщательно проконсультировал с фон Лоссовым ответную ноту на последний турецкий ультиматум. Особенно должно обрадовать министра Порты желание Грузинской республики «установить добрососедские отношения с Оттоманской империей...» и «в продолжение всемирной войны дать ей возможность использовать железные дороги Грузии для перевозки

[1] Ленин, т. XXIII, стр. 155.

войск и военных транспортов в особо поставленных условиях...»

Генерал саркастически улыбнулся и после подписи председателя правительства, Ноя Рамишвили поставил точку.

В калитку маленького домика проскальзывали быстрые тени. Уличные фонари тускло освещали Дидубе. Тишину глухих улочек и пустырей нарушал только лай собак да свистки ночных паровозов.

Иванэ спустился последним. Натэлла прикрыла люк паласом и придвинула тахту. Она поправила на комоде кружевную дорожку, поставила на видном месте копилку-чортика и вокруг рамочки из ракушек — «привет из Ялты!» — выстроила семь слонов счастья.

Заняв наблюдательный пост у окна, Натэлла застучала швейной машиной, беспокойно прислушиваясь к шагам прохожих. Она думала о пережитом.

Накануне особый отряд устроил массовую облаву. Метехская тюрьма наполнилась большевиками. Натэлла прижалась к перилам Висячего моста. Воспаленными глазами она смотрела на высокие решетки тюрьмы и, глотая слезы, слушала:

Вихри враждебные ве-е-ют над на-ами,
Тем-ные си-лы нас злоб-но гнетут...

Чья-то рука сквозь решетку, как бы прощаясь, махнула Натэлле цветным платком...

Не в силах оставаться в комнате одна, Натэлла закрыла наглухо все ставни и спустилась в подвальчик.

Прикрутив фитиль лампочки, Нико искоса посмотрел на дочь и продолжал говорить:

— После вчерашних арестов Краевой комитет спешно покинул Тифлис. Из Владикавказа будет легче наладить связь с центром и руководить движением в Грузии. Здесь осталось только бюро комитета, но и оно вынуждено уйти в подполье. Нам рекомендовали недели на две совершенно прекратить всякие встречи, избегать столкновений, беречь каждое звено. За нами усиленно следят прохвосты из «партии пестрых людей», но пока боятся восстановить против себя железнодорожников.

В подвальчике вокруг грубого стола, освещенного вагонным фонарем, сидело несколько рабочих. В жестяной коробочке проворные пальцы крошили табак. Вился дружный дымок.

Ладо пододвинул табурет ближе к столу и сказал, что закончены переговоры между фон Лоссовым и военным министром об обмене военнопленными. Скоро они из Заганского лагеря прибудут в Тифлис. Так по секрету шепнул рыжий унтер. Бесспорно, князь Амилахвари постарается влить их в меньшевистское войско. Бюро предстоит самому использовать умение солдат владеть оружием. Назревают большие события. И ему, Ладо, пора на паровоз номер сто одиннадцать.

Старый сцепщик Павле внимательно посмотрел на машиниста и тихо проронил:

— Береги себя. На площадке немецкого паровоза скользко. Партии нужны мужественные люди.

Натэлле снова вспомнилась Метехская тюрьма, она порывисто обхватила брата за шею:

— Нет! Нет! Только не тюрьма! — и сверкнула глазами. — Когда Ладо повезет самый важный груз, я буду на паровозе номер сто одиннадцать кочегаром!

— Молодец Натэлла Абуладзе! — засмеялся Миха. — В паровозную топку приятнее подкидывать уголь, чем в утюг княгини Саломэ...

— Почему? И из утюга дым идет! Вожу вот утюгом, а сама все слышу и примечаю. Вот к генералу Аратову сын приехал, ротмистр, из Ростова. На мизинце кольцо с гербом, а на рукаве череп с костями. Видно, по вину соскучился, целые дни пьет. Вчера сразу бурдюк осушил и орал на всю лестницу: да здравствует атаман Тундутов.

Нико выразительно посмотрел на товарищей:

— Этот ворон с черепом выдал себя. Придется установить за ним слежку. Воскресли, сукины дети!

— А почему нет?! — Симонэ досадливо подкрутил фитилек. — Вот «Горское правительство» тоже воскресло. В меньшевистский рай попало! Чермоев в гостинице «Ориант» чувствует себя, как на своей нефтяной вышке.

— Чермоев? А это еще что за птица? — насторожился Ладо.

— Комитет имеет о нем точные сведения, — Нико вынул из шкафчика папку, — «Чермоев Тапа, крупнейший чеченский миллионер. Несколько раз ездил за границу — в Турцию, приглашать на Северный Кавказ интервентов». А кто его поддерживает? Все те же — Чхенкели и Рамишвили.

— Ну что ж, лежать им рядышком с свинцом в груди в долине Дагестана, — усмехнулся Ладо.

— Есть еще новость, — продолжала Натэлла, — Тиглер с Вурцбахером все куда-то ездят.

— Я слишком хорошо изучил Вурцбахера, — встрепенулся Ладо, — чтобы спокойно отнестись к этой подозрительной дружбе. В одиночку их легче будет обезвредить.

Из водосточных труб ручьями низвергалась вода. Ветер рвал ставни. Шумели деревья. Из калитки в темноту осторожно выходили железнодорожники и исчезали в косых полосах ливня.

В Батуме горизонт был ясен. Тихо журчал фонтан, сбрасывая прозрачные струи на морские камни. Смуглая рука, распахнув окно, опустила белую занавеску. И в

комнату теплой волной ударил пряный запах магнолий.

В самом радужном настроении Халил-паша откинулся на плетеное кресло. Перед ним лежала ответная нота грузинского правительства об удовлетворении турецкого ультиматума. И как ни был он зорок, он не заметил немецкого подвоха.

Халил-паша энергично принялся осуществлять полученные по договору привилегии. Подписав с представителями независимой Грузии основной и дополнительный договоры о «мире и дружбе» с тридцатью четырьмя статьями, четырьмя приложениями и двумя постановлениями, Халил-паша поспешил выкурить трубку мира в тесном кругу высших турецких офицеров. Он посоветовал Назим-бею немедленно отправить войска по отторгнутым железным дорогам в Азербайджан, а Эсад-паше, командующему 3-ей армией, выслать части для занятия, на основе договора, всех узловых станций.

Заразившись весельем паши, офицеры шумно отдавали приказания. И аскеры, распевая веселую босфорскую песенку о счастливом Али-Бабе, перед которым разверзались двери Сезама, погрузились в вагоны и двинулись по разным направлениям, предвкушая сладость легкой победы...

Но каково же было бешенство молодых беков, когда их не впустили даже в Боржом. Только из окон вагонов им удалось разглядеть немецкие военные флаги.

Повернув обратно, обескураженные офицеры мрачно играли до самого Батума в нарды. За окнами мелькали оживленные грузинские станции. На платформах невозмутимо стояли на постах немецкие солдаты.

ГЛАВА 17

— Князь Тундутов не любит ждать. Атаман, храни его бог, завернет концы башлыка, свистнет нагайкой, и ищи орла в астраханских степях, — ротмистр Аратов с лукавым простодушием посмотрел на фон Гросса. — В Ростове я имел честь беседовать с представителем германского командования бароном фон Кохенхаузеном. Совпадение интересов штаба немецкой армии и армии князя Тундутова, храни его бог, навело атамана на счастливую мысль разрешить мне встречу с вашим превосходительством.

— Вы отлично владеете немецким! О, это весьма похвально! — фон Гросс пододвинул коробку с сигарами. — Курите, господин ротмистр, крепкие. Я уже беседовал с здешним министром иностранных дел о вашем желании набирать в Грузии русских офицеров и солдат для армии, которую хочет сформировать... как это?..

— Князь Тундутов.

Приподняв бровь, фон Гросс посмотрел на дергающийся ус ротмистра.

— Я сообщил господину министру о вашей просьбе содействовать вам при отправке завербованных в Ростов с дальнейшим следованием к князю Хунхузову.

— К князю Тундутову, ваше превосходительство.

— Допустим... Господину министру я высказал свое мнение: желательно, чтобы русские офицеры оставили грузинскую территорию.

Ротмистр Аратов подался вперед:

— И вам, конечно, не трудно было добиться положительного результата?

Фон Гросс вынул из бювара бумагу и передал ее ротмистру.

«Начальнику императорской делегации генерал-майору фон Гроссу.

Ваше превосходительство!

В ответ на ваше почтенное письмо от двадцать второго с. м. под № 1894 спешу известить вас, что сформирование на грузинской территории господином ротмистром отряда для армии князя Тундутова считаю неудобным с политической точки зрения.

Но если офицеры, о которых идет речь, желают оставить Грузию отдельно или группами и в качестве частных лиц, то Грузинское правительство окажет им всякую помощь и содействие...» [1]

Подписи ротмистр не дочитал. «Лихо!- подумал он. — И курочка цела и стервятник сыт!»

Генерал спрятал документ в бювар.

— Германское командование дальновидно... Быть может, завтра мы нанесем сокрушительный удар Советам на Волге и... тогда астраханский бассейн станет тылом немецкой армии. А вы, господин ротмистр, считаете ли необходимым сопровождать экстуристов? Или маршрут им достаточно знаком?

— Ваше превосходительство, это зависит от барометра.

— По моему мнению, барометр предсказывает дождь.

— Будут нужны погоны или зонтик?

— Возможно, и то и другое. Вы будете носить погоны вашего царя, а жалованье с первого числа получать немецкими марками.

— И то и другое совпадает с моим настроением. Но, насколько я понимаю, германская делегация не собирается безвозмездно выдавать деньги русским офицерам?

— Официально вы будете числиться советником по русским делам при делегации.

— А неофициально?

— Неофициально будете изучать настроение умов туземной администрации и сочувствующей ей публики.

— Понимаю. По-русски такая почтенная личность называется... шпионом!

---

[1] «Документы и материалы по внешней политике Закавказья и Грузии». Тифлис, 1919 г.

– В европейских странах это называется: информатор.

– Ваше превосходительство, я польщен вашим доверием, но по русскому обычаю мне надлежит получить благословение моего батюшки, генерала от кавалерии Петра Александровича Аратова.

Зазвонил телефон, Аратов поднялся, звякнул шпорами:

– Честь имею откланяться!

Тиглер уже два часа дожидался фон Гросса. Он безразлично посмотрел вслед своему жильцу ротмистру Аратову и продолжал разглядывать в аквариуме золотых рыбок. Его ничуть не смущало пренебрежение фон Гросса, в третий раз отказавшего в приеме. Тиглер пришел в четвертый, придет и в пятый.

Карл, переступая с ноги на ногу, проговорил:

– Герр доктор, генерал очень занят...

– Передайте генералу, я подожду, у меня есть свободных двенадцать часов.

Карл попятился.

Дверь с шумом распахнулась. Фон Гросс быстро подошел к посетителю. Тиглер встал и, словно не замечая ледяного выражения в глазах генерала, спросил: удобно ли будет его превосходительству выслушать истину стоя. Генерал сурово отрубил:

– Удобно! Говорите, только коротко!

– Как намерен господин генерал использовать отборных немецких парней, собранных доктором Тиглером и им же сорганизованных в тайные отряды КДА?

Фон Гросс опешил. Он некоторое время смотрел на пальцы Тиглера, напоминающие сморщенные сосиски, и неуверенно буркнул:

– Я привык говорить только о реальных вещах!

Тиглер вынул длинные списки, но, когда генерал протянул руку, отстранился:

– У меня своеобразный почерк, и я не совсем уверен, сможет ли генерал разобрать фамилии и адреса молодцов.

С брезгливостью и вместе с тем с каким-то непонятным уважением фон Гросс посмотрел на Тиглера. Генерал был в нерешительности. Разве Людендорф не советовал использовать в военных целях немецкое население Востока? Вот Вурцбахер тоже из колонистов — примерный офицер.

– Герр доктор, какое участие принимает в вашем предприятии обер-лейтенант Вурцбахер?

– Он ищет клад Нибелунгов в глубинах тквибульского угля.

– Кто субсидирует его?

– Я!

Фон Гросс повернулся и жестом пригласил Тиглера следовать за ним. Прикрыв за Тиглером дверь кабинета, генерал потребовал:

– Списки!

Фон Гросс узнал много для себя нового. Оказывается, немцы-колонисты, переселившиеся в Грузию из Вюртемберга в 1818 году, из поколения в поколение передавали завет прелата Бенгеля и Юнга Стиллинга, баденского придворного советника, дождаться в Грузии тысячелетнего царствия Христа.

– О, Бенгель был дальновидный прелат. Он подготовлял немцев к захвату закавказского пространства. Сейчас настало время использовать плоды столетнего труда, – Тиглер вынул свернутую трубкой карту и распластал ее на столе. – Вот тут крестами обозначены все немецкие колонии. Наш народ, как древний германский дуб, разросся, бросая тень от Черного моря до Каспийского. Привилегии, данные колонистам русским императором Александром I, способствовали обогащению немцев. И здоровая немецкая кровь, напитанная виноградом, салом, пышным хлебом и горячим солнцем, течет теперь в жилах этих молодцов. Они грудью хотят отстаивать фатерланд. Они горят желанием приблизить час, когда эту благородную землю не будут топтать туземцы.

Фон Гросс слушал и восхищался. Несомненно, генеральный штаб действовал по заданию императора. Но почему, чорт возьми, разведывательный отдел не назвал фамилии резидентов, а ограничился лишь намеком, что почва на южном Кавказе уже подготовлена?

Генерал забарабанил пальцами по столу:

– Вурцбахер посвятил вас в дальнейшие планы Германии?

– Многочисленная фамилия Вурцбахеров, во главе с отцом и дядей, как прямые потомки вюртембергского пастора, со дня водворения в Грузии, то-есть ровно сто лет, снабжают точными сведениями разведку генерального штаба. Посылают топографические карты, данные о дислокации войск в пограничных зонах, сведения о недрах земли и экономических возможностях.

– Что еще желает сказать мне герр доктор?

– Вскоре в цветущем Катринфельде состоится первый парад отряда КДА. Колонисты просят ваше превосходительство принять патриотический парад и верноподданнические чувства.

Больше фон Гросс не сомневался: в лице Тиглера он видит воинствующий дух Германии.

– Герр доктор, я считаю долгом субсидировать вас... Финансовые дела Германии – надеюсь, вам это известно – пока не очень удачны. Назовите цифру.

Глаза Тиглера мрачно блеснули:

– Цифру?! Разве доктор Тиглер пришел за цифрой? Разве генерал не замечает глубокого русла мыслей доктора Тиглера?

Тиглер выхватил из кармана горсть лир и бросил на стол. В кучке золота сверкнул платиновый перстень с голубым бриллиантом.

— Герр доктор, где вы достали этот перстень?

— У одной старой княгини. Экс-аристократы меняют жемчуга на лоби... это, генерал, разновидность фасоли. Владельцы древних гербов вымирают, как дактилозавры. И никакой святой водичкой, которую возит за собой камеристка Мананы Грузинской, их не воскресить. Уже и царские мантии расползаются. Время царей миновало.

— А чье время сейчас?

— Сильных личностей! Силе надо противопоставлять силу, а не погремушки! Вы близоруки и не замечаете, как на вас надвигается ураган.

Фон Гросс невольно отшатнулся. Пауза длилась слишком долго. Генерал силился придать своему голосу спокойствие:

— Большой размах должен принести большие проценты. На что рассчитываете вы, герр доктор? Ваша прибыль?

— Грузия, заполненная немцами!

— А коренное население?

— Истребить!

— Это пока не входит в расчет генерального штаба...

— Это входит в мой расчет.

— Герр доктор, вы безумец!

— Нет, гений! Запомните это фон Гросс! — и он тяжело налег на стол. — Мне будут нужны смелые генералы. Гуманизм для немецкого офицера — это беспринципность! Ваш путь будет усеян черепами и розами. Вы будете шагать по морю крови!

— Я предпочитаю шагать по асфальту, это реально... — сказал, очнувшись, фон Гросс. — Герр доктор, у вас большая семья?

— У меня нет никого, генерал. Не считаю нужным связывать себя. Я принадлежу великой идее.

— Какой?

— Торжество немецкой нации над всем миром.

Генерал облегченно вздохнул, расхохотался:

— Такую оригинальную идею, герр доктор, носит в своем ранце каждый немец. Но на парад в Катринфельд я... возможно, прибуду.

Тиглер небрежно сунул в карман лиры и перстень:

— Я скоро буду необходим генералу. Приглашение можно будет передать через Вурцбахера.

ГЛАВА 18

Аратов шел по шумным, залитым солнцем улицам. Он поднялся на Судебную, постоял возле дома Цицианова, товарища по корпусу. Вспомнил, как в первый раз в кадетской форме, им было по восемь лет, они встретили дедушку Цицианова, отставного генерала, и вытянулись во фронт. Гордости кадетов не было предела — дедушка без улыбки откозырнул им, как настоящим солдатам, и медленно проследовал дальше. А в воскресенье добродушно угощал пирожными и рассказами о подвигах Скобелева под Плевной, о легендарном переходе Суворова через Альпы. В понедельник кадеты плохо справились с диктантом, всю ночь они воображали себя то генералом Скобелевым, несущимся на белом коне впереди войск на крепость с пятьюстами башен, из которых палили тысячи пушек, то Суворовым, шагающим со шпагой наголо.

Потом военное училище. Первый клинок на портупее. И дальше чин корнета.

Аратов не заметил, как спустился на улицу Петра Великого. Здесь жили его друзья, знакомые. Но он не пошел к ним.

«К чему? Информатор! А?! Что же произошло с ротмистром Аратовым? Война. Поражение. Революция. Подвиги солдат, офицеров потонули в обмане, предательстве никчемных, слабовольных, слабоумных людишек... Миллионы жизней! За что? За царя и отечество?! Но где они?! Неужели Россия состояла наполовину из героев, наполовину из Мясоедовых?! Прохвосты подрубили трон. А царь? Бледная немочь! Какую армию погубил! И рассыпалось все, как семячки из высохшего подсолнуха. А русский народ? Где он?!» Аратов вспомнил, как атаман Тундутов приставил к стенке комиссара. Избитый, с вытекшим глазом, он продолжал кричать: «Да живет Ленин!» И уже падая, повторил: «Да живет...»

Аратов облокотился на перила Воронцовского моста. Он любил отсюда смотреть на руины крепости в золотисто-синем мареве, на Метехскую церковь, вознесенную скалой, на резные балконы, висящие над Курой, на хаотично громоздящиеся на отрогах дома и на едва видимые верхушки кипарисов.

Домой Аратов пришел в сумерки. В столовой ярко горела бронзовая люстра.

«Тэк-с! Сегодня суббота, традиционный преферанс у генерала Аратова... Прошлую субботу у кого? Да, у Добронравова преферансились старички. Неизменно из субботы в субботу, сорок лет».

Аратов внимательно разглядел раздвинутый по-праздничному стол. Накрахмаленная скатерть блестела глянцем. Матовым узором переливалась старинная посуда. В отблесках люстры искрился графинчик с водкой. На салфетках пыжились большие монограммы. Но вместо икорки — винегрет из овощей, украшенный зеленым луком. Нарезанный тоненькими ломтиками балык. А вместо жареной индейки и поросенка под хреном пластинки холодной говядины и разная мелочь, прикрашенная зеленью. Всюду чувствовался недостаток. Но и это угощенье уже требовало усилий. Продавались Тиглеру брошки, браслеты. Думать о прекращении вечеров боялись. Нет, всеми мерами удержаться. Пусть все по-старому. Из кабинета слыша-

лось солидное: «Семь пик!.. Девять бубен!.. Пас!..»

Незамеченный никем, Аратов проскользнул в свою комнату. Болела голова. Не думать, не понимать, зарыться в подушку, заснуть...

Офицерские жены до ужина собрались в спальне Олимпии Степановны. Рассматривали модный журнал, альбом с фотографиями: чета Аратовых в Кисловодске, бабушка в молодости, Петр Александрович под Мукденом, Олимпия Степановна в подвенечном платье под руку с женихом, а внизу золотой амурчик. Все это было знакомо, но гости вежливо любовались, словно в первый раз. Было уютно, в углу тепло мерцала синяя лампада. Она мерцала долгие, бесконечно долгие годы. И под нею люди жили, не мудрствуя лукаво. Где-то вызывал слезы и восторг новый театр Комиссаржевской, где-то буревестником взлетала новая книга Горького. Но все это было штатской стороной жизни.

С весной приходил день «белой ромашки», забрасывалась удочка в бочку счастья на благотворительном базаре, в день тезоименитства Николая II развешивались флаги, гремел казачий оркестр. Летний кружок у Верийского моста. Конфетти, воздушная почта, аллея вздохов...

Замкнутая наглухо семья Аратовых, оберегающая вековые традиции. За батюшку царя, за матушку Россию! Нижегородский драгунский полк. Командир Аратов Петр Александрович любим офицерами, строг и справедлив. Женились офицеры с разрешения «отца-командира» на офицерских дочках. Благословляла «мать-командирша» Олимпия Степановна. Венчались на всю жизнь. Потом могли разлюбить, страдать — развод Петр Александрович не разрешал. До ротмистерского чина, если не были собственниками, тайно бедствовали. Особенно женатые. Господа офицеры жили от двадцатого до двадцатого, на книжки «экономического офицерского общества». Но у всех жен модная прическа, изящные туфли, вечернее платье, белые перчатки, веер, французские духи.

Тифлис — столица наместничества. Театр полон света и оживления. Офицеры-драгуны стоят перед началом спектакля спиной к сцене, разглядывая дам, ложи наместника, начальника гарнизона. Но вот свет погас. Поворачиваются, как по команде, звенят шпорами, сели. Занавес. За мелькающей рампой — актрисы, балерины. Корзины с цветами. Ужин.

Нижегородский полк на маневрах. Карс, Ахалцых. Еще дальше... Захолустье. Ардаган. Ольты. Сарыкамыш. Беспросветность. Скука. Бессмысленность. Контрабандный коньяк.

И вдруг точно ветер ворвался в погреб. Война. Расплескивающиеся бокалы: «Ура! Ура-а-а! На войну! На войну!»

«Вперед, к сопкам Маньчжурии!»

Льют ливни.

Петр Александрович похудел, осунулся. Нервно отбрасывает газеты.

На сопках Маньчжурии кровь, грязь. Где уж там парады! Честные офицеры гибнут в бою, гибнут в тылу.

«... Застрелившись сего числа, службу его императорского величества нести не могу. Офицер Российской империи...»

«...Шты-ы-ками могилу ко-о-пали!...»

И словно из горных теснин вырвался 1905 год. У Аратовых споры заполночь. Туманные намеки. Приглушенные осуждения: «Нами немцы правят!» «Запутали царя!» «Ах, где Петр Великий?!»

... Ах, где те острова,
Где растет трын-трава,
Братцы!..

И уже корнет Вачнадзе перевозит нелегальную литературу. Штабс-ротмистр Соколов бросает полк, устремляется в университет. Молодые офицеры жадно раскупают книги. Солдат и офицеров сближают беседы в казармах. Монархисты-офицеры мечтают об единении царя с народом. Но восстал Кавказ. Господ офицеров направляют в карательные экспедиции. Народ пошел против двуглавого орла. Офицеры выполняют обязанности жандармов. Мундир запятнан.

Полковник Аратов Петр Александрович наводит у себя порядок. Свирепеет, угрожает дисциплинарным батальоном! Военно-полевым судом! Но подозрительных, как поручик Лавров, не замечает. Незачем репрессиями радовать революционеров, хотя штабс-ротмистр Иванов грозит собственноручно пристрелить крамольников. Полковник хмурится, разносит «молокососов». Вызывает на дом, кричит, потом тихо, по-отечески, убеждает не губить свою молодость, не позорить честь полка. И успокаивается лишь тогда, когда ему удается сплавить на службу в жандармерию штабс-ротмистра Иванова...

Николай II подымает бокал «за процветание российского офицерства!» В военном собрании Нижегородского полка пьют до голубых слонов. Потом валом в кафешантаны:

... Туса, туса... вахчечо...
Це-е-ло-о-ваться га-а-рячо-о!..

На борту яхты «Штандарт» Вильгельм II осушает бокал за Николая II: «Как и ваше величество, я с радостью вижу в этом приеме новое и драгоценное подтверждение тесной и искренней дружбы, которая связывает нас и наши дома. Желаю, чтобы русское государство процветало на пути, начертанном ему глубокой мудростью вашего величества...»

Выстрел в Сараеве. Вильгельм II обрушивает лавину корпусов на Россию. Снова война.

... Так громче, музыка, играй побе-е-ду!
Мы победим, а враг бежит...

Но враг оказался не только на поле боя. Враг внутри, в царской семье, в интендантстве, на бирже. Министры проигрывают честь офицеров. Распутин вершит делами царства. Пропала правда!..

... Ротмистр Аратов еще сильнее зарылся в подушку. Тоска вызывала тошноту, и откуда-то издалека доносилось: «Семь пик!» «Девять треф!» «Восемь червей!» «Пас!»

ГЛАВА 19

От кургана до реки серебром поблескивала кукуруза. Казалось, зеленое воинство, шелестя флажками, взбегало на приступ. Но стрекотание кузнечиков и цикад в густой прибрежной траве и хлопотливое журчание ручейка наполняли воздух мирным звоном полдня.

Повязав голову пестрым платком, Шакро любовно оглядывал шелестящие ряды. Он ловко ставил деревянные подпорки, выдергивал сорняк, поправлял набухающие початки. Из большого глиняного кувшина поливал желтеющий стволик. Мерил поясом вышину стебля. И смотрел жадно, радостно на уходящую вдаль от кургана до реки густую серебристо-зеленую кукурузу.

Он ничего больше не хотел видеть. Скоро и в его дом войдет улыбающейся невестой счастье, богатство разгладит сухие морщины на лице матери. Выправится тоненький стан Тиникэ, а курчавый брат будет хвастать новыми сапогами. Двух буйволов купят разбогатевшие Кахиани, а на ореховом ярме вырежут узоры. Каждый вечер мать будет доить коз, и приятно защекочет ноздри запах свежего сыра. И лампа под черным кругом больше никогда не будет гаснуть.

Широкая улыбка играла на губах Шакро. Вдруг он схватил мотыгу, рванулся к высокому стеблю. Желтогрудка клевала початок. Птичка испуганно вспорхнула на высокую ветку, скосив глаза, насмешливо чирикнула: чик-чу-дак чуик! и, зашумев крылышками, погналась за зеленой мошкой.

Шакро погрозил кулаком желтогрудке, поправил початок и покрыл зерна шершавыми листьями. Вздохнул, рассмеялся и, расстегнув ворот, запел о хлопотливом муравье, о дружбе горлинки и дрозда и о девушке, дремлющей под зеленокудрой чинарой.

Внизу на плетеном висячем мостике, прислушиваясь, остановились дед Гиви и Натэлла.

— Шакро поет, — улыбнулся дед, — хороший парень, только князь Илларион ему голову набил кукурузой... Вся деревня мучается, понять не может, почему ворон ему так много земли подарил.

— Знаешь, дед, Шакро ворону жизнь спас на войне.

— Э-э, — погрозил дед, — он спас, а мы о чем думаем? Лисица пожирнее кур выжидала, а тем временем собака у нее хвост оттрызла! Вот у княгини в Аджури крестьяне ждали, пока им правительство землю нарежет, а в Душете сами князю три аршина земли нарезали. Как раз поместился! Если у Иллариона не отнимем землю, тогда для чего Николая сбросили?

— Ты прав, дорогой дед, только сила пока у помещиков. Созовем соседей и поговорим ночью.

— Опять поговорим?! Черный день надвигается. А в черный день всегда в Грузии в колокол били, дружины собирали, а не говорили!

— И теперь можно собрать — и колокол есть, и кони. А в оружии комитет разве откажет?! — сказала Натэлла.

Где-то вблизи рявкнул маленький рожок. На тропинку из зарослей ежевики вынырнул запыленный велосипедист. Датико в белом морском кителе, поблескивая шоферскими очками, с кодаком через плечо, в самом благодушном настроении напевал импровизацию на мотив «Цыганского барона»:

Я морской адъютант,
У меня аксельбант!
И со мной, с Датико,
Всем красоткам легко!

Поровнявшись с девушкой, Датико приподнялся на педали:

— Натэлла, вы?! — и, послав воздушный поцелуй, исчез за поворотом.

Увидев Шакро, поручик вскрикнул: «Попался, голубчик!» — скинул кодак и защелкал рычажком.

Натэлла, облокотясь на канат, смотрела на ручеек. Под водой между кругляками лохматилась зелень и стремительно шныряли черные головастики. К берегу, цепляясь колючками, спускалась ежевика, над ее чернеющими ягодами витал синекрылый шмель.

И таким умиротворением веяло и от журчащих струек, и от айвы, протянувшей мохнатые ветви, отягощенные плодами, и от лиственницы, укрывшей в густых ветвях птичьи гнезда, что Натэлле стало грустно.

Там, в городе, свирепствуют особоотрядчики. Кто знает, что ждет отца, брата? Ей хочется быть там, совершить немыслимое, прекрасное. Но Ладо настоял на немедленном отъезде. Надо помочь деревне разобраться в событиях.

Дед Гиви ласково смотрел на взволнованное лицо Натэллы, дочери любимого друга. Он понимал молодое волнение, и хотя его руки уже плохо держали ложку, но едва ударит гром, и он вместе с молодыми схватится за оружие.

Шакро увидел Натэллу и закричал:

— Э-хе! Натэлла! Сюда, сюда!

Он сбежал вниз, схватил девушку за руку и втащил наверх. Сдернув с головы платок, расстелил на земле. Натэлла, смеясь, опустилась на платок. Шакро радостно махнул рукой:

– Посмотри, Натэлла, какой у меня урожай! Старики говорят, никогда здесь не было такой кукурузы. Три года тосковал по земле, сейчас все сердце отдал этому полю.

Натэлла шаловливо сорвала стебелек:

– А говорил — мне отдашь... Что у тебя, два сердца?

– Нет, Натэлла, одно. Полю — все равно, что тебе!.. Спасибо князю!

Натэлла нахмурилась, отбросила стебелек:

– Опять ты, Шакро! Поле по праву принадлежит тебе. Не они ли разорили твою семью?

– Это было до независимости Грузии, теперь мы одна семья. И князь Илларион и крестьянин. — Шакро вдруг припал к земле, заглядывая в глаза девушке. — Натэлла, когда же наша свадьба?

– Если капля оторвется от ручья, она высохнет на солнце. А крестьянин оторвется от народа — пусть до неба дотянется его кукуруза, он исчезнет, как капля. Сейчас, Шакро, весь народ борется за землю, а ты?

– Знаешь, Натэлла, когда мужчина смотрит на красивую девушку, осел он, если в это время думает о чем-нибудь другом.

Шакро властно привлек к себе Натэллу. Она отстранила Шакро, вскочила, поправила выбившуюся прядь и, улыбаясь, пошла по полю. Догнав девушку, он смущенно заглянул ей в лицо. К ручью спустились молча. В синем мареве расплывались горы. В высоком небе повисли неподвижные белые облака. Шакро вздохнул полной грудью.

Они шли вдоль ручья и беспечно шутили, когда ветви ежевики цеплялись за них.

Внезапно за поворотом послышался грохот фургона. Нагруженный сеном, он чуть не наехал на Натэллу и Шакро. Они едва успели отскочить к обочине дороги.

На всем ходу Валико осадил четверку коней:

– Шакро! Натэлла! Скорей! Из Тифлиса приехал гость! О земле хочет говорить! Дед Гиви уже сердится!

Натэлла и Шакро вскарабкались на сено. Валико стегнул коней, и фургон помчался, вздымая пыль и тарахтя, как пожарная бочка.

На просторном дворе княжеской усадьбы гудел народ. Крестьяне теснились к широкой веранде, на их лица ложились отсветы разноцветных стекол. Посередине двора стоял на опрокинутой винной бочке эмиссар Коста, окруженный конным конвоем.

– Почему мы землю не засеяли? Забеспокоились, когда инжир уже созрел! — говорил дед Гиви. — А отделить нам землю у вас времени нехватает? Если так заняты, почему немцев пригласили в гости?

Приподнявшись на носки, Коста взвизгнул:

— Немцы не вмешиваются в наши внутренние дела! Что за саботаж?! Вы обязаны обрабатывать землю!

— Чужую?!

— Почему обязаны?

— Я, эмиссар, говорю вам, министерству земледелия нужен хлеб.

— Пусть по карточке в лавке купит!

Крестьяне загоготали, одобрительно смотря на деда Гиви.

Тот с подчеркнутым смирением поклонился:

— Уважаемый батони[1], пока правительство не скажет: где ваша земля, где наша — все равно хлеб не будет расти.

Фургон влетел в ворота. Толпа шарахнулась. Валико с трудом осадил взмыленных коней. Фургон накренился, и сено рухнуло на бочку, на которой стоял эмиссар.

— О-го-го-го! — раскатисто прокатилось по двору.

Шакро бросился на помощь, разгребая сено. Крестьяне совсем развеселились. Дед Гиви, держась за бока, смеялся до слез:

— Э-хэ! Шакро! Осторожней, лошадь нос откусит.

— Ничего, пусть старается! Может, вторую медаль получит за спасение начальства.

— Го-го-го-го! Хо-хо! Дайте грабли, человек мучается!

Лохматый мальчишка схватил доску и, приплясывая, забил в нее, как в бубен: там-тыбара-тыбара-там! Ему дали по загривку. Кошка как бешеная перемахнула через забор. Хлопая крыльями, закукарекал петух.

Прижавшись к дереву, мать Шакро комкала концы порыжевшего платка. Уткнувшись в ее колени, плакала Тинико.

Натэлле нравилось озорство крестьян. Она тоже кричала оскорбительные слова, хохотала. И в эти минуты она горячо ненавидела Шакро.

Очищая и отплевываясь от сена, Коста гневно грозил пальцем:

— Террором вы ничего не добьетесь! Вы жаждете жакерию? Так вы ее получите!

— Материю? Давай! — радостно выкрикнул дед Гиви. — Все без штанов ходим.

Коста грозно оглядел двор:

— Вы повторяете ошибки французской революции! О чем вы думаете? Что мы вас обманываем?! Мы, правительство, для народа день и ночь работаем. Теперь вы имеете, наконец, возможность свободно вздохнуть и приняться за осуществление своих постоянных чаяний и стремлений. Источником наших национальных прав и желаний должен послужить трактат тысяча семьсот восемьдесят третьего года,

---

[1] Батони — господин.

заключенный между царем Ираклием и императрицей Екатериной II.

— На что нам твой трактат? Нам земля нужна! — не унимался дед Гиви.

— Правительство это знает. Наш декрет о земле касается только одной стороны вопроса — у кого должна быть отнята земля.

— Думаю, у тебя, эмиссар, — добродушно вздохнул дед Гиви.

— О чем спорите, соседи? — возмутился Шакро. — Какая вам нужна земля, если совсем не хотите работать? Смотрите, какое поле я один поднял!

— Один поднял, на здоровье! Только еще неизвестно, кто кушать будет!

Натэлла, оттолкнув Шакро, вскочила на камень:

— Люди, есть только один декрет о земле, это декрет Ленина!

Коста подался вперед:

— Как представитель власти, приказываю замолчать!

— Вы издали декрет для князей, помещиков! Они недаром голосовали за него. Народ, слушай! Вот что решили волки!— Натэлла порывисто выхватила из-за пояса листок, — «...усадебные и приусадебные земли не подлежат передаче...»

Гулкий рокот прокатился по двору. Раздались возмущенные крики:

Вздыбив коня, народогвардеец рванулся в сторону Натэллы. Шакро изогнулся и, как дикий вепрь, бросился, схватил коня под уздцы Дед Гиви загородил девушку, палкой пригрозил народогвардейцу.

Коста выразительно кашлянул. Народогвардеец осадил коня. Пожилой крестьянин с глубоким шрамом через щеку подошел к эмиссару:

— Лучше отдайте нам землю нашу добром! Свет свободы во всей России родился, но только мы этого света не видим.

— Правду сказал дед Шалва!

— Землю дайте!

— Что означают эти провокационные разговоры? Мы сторонники не русской, а германской цивилизации! — крикнул Коста.

— Если сторонники, твоя воля, батони! Только пусть ваши ишаки рядом с немцами идут, а нашим буйволам и русским быкам как раз по дороге! — и дед Гиви подмигнул Натэлле.

Одобрительно загудели крестьяне.

— Напрасно стараетесь перессорить нас с русскими!

Народогвардейцы вновь повернули коней на крестьян. Вытирая платком затылок, эмиссар жестом Наполеона остановил охрану:

— Никаких эксцессов! Это скандал на всю Европу!

— Может, ты и верно говоришь, только пока правительство не скажет, где ваша земля, где наша — хлеб расти не будет,— дед Гиви повернулся и спокойно пошел к воротам.

Крестьяне стали шумно расходиться. Коста надел панаму и поправил галстук.

— Я так и доложу, но советую передумать, иначе на вашей голове хлеб заставим расти!..

И окруженный народогвардейцами направился к подкатившему фаэтону.

Шакро провожал эмиссара, бессмысленно улыбался и не находил слов: «Что такое? Гость приехал от правительства, говорил умные слова, — думал Шакро. — А крестьяне засмеяли его, оскорбили. Почему не доверяют? Разве при царе так пристав ездил?»

— Господин эмиссар, не обижайтесь на крестьян, что делать, они не сразу понимают заботу правительства.

Коста не ответил. Он нетерпеливо посматривал на усадьбу. Выбежал слуга, поставил в ногах у кучера корзину, подбежал другой, сгибаясь под тяжестью боченка с вином. К фаэтону засеменила старуха, бережно протянула перевязанное цветной скатертью блюдо:

— Княгине Саломэ передайте, пусть на здоровье кушает, свежие гозинаки сегодня сварила.

Слуга сунул под ноги кучера полосатый хурджин и клетку с живым индюком. Придавленный стоял около фаэтона Шакро. Уйти неудобно, оставаться стыдно. Что он — раб? Почему все гордо бросили двор князя? А он как прирос к проклятому фаэтону!.. Не только эмиссар, кучер не обращает внимания... Может, размахнуться, дать по откормленной роже?! Эмиссар, конечно, прав. Сердится, как врага встретили... Все же лучше уйти... Зачем стою? Неудобно, подумают, голодный, княжеским добром любуюсь.

Из усадьбы вышел Датико, слегка позевывая, сказал:

— Как! Почему уезжаете, господин эмиссар? Старая княгиня Кэтевана такое хачапури[1] испекла!

— Садитесь, поручик, я обещал князю доставить вас в целости.

— Жаль, пока вы ораторствовали, а я фотографировал буйвола на кукурузном поле, княгиня приготовила... Сейчас, сейчас, не волнуйтесь! Я только свой чемодан захвачу... Но, откровенно говоря, очень жаль.

— Торопитесь, поручик, здесь может захрустеть и голова под топором!

— Да?!.. — Датико вскочил в фаэтон, дернул кучера за рукав. — Но-но! Трогай, трогай! Чорт с ним, с чемоданом! Кого-нибудь пришлю.

Кучер хлестнул коней. Шакро еще раз поклонился. Кони сразу понеслись по дороге, вздымая волнистую пыль.

Выйдя из ворот, Шакро нерешительно потоптался на месте. Прислушался: было тихо. Народ, наверно, у деда Гиви.

[1] Хачапури — пирог с сыром особой выпечки.

Шакро почувствовал себя одиноким. Он здесь чужой! Почему? Как рвался домой! Вся деревня встречала, целовали, расспрашивали, угощали... И вдруг чужой! Шакро тяжело опустился на камень, поднял соломинку, стал вертеть в пальцах. Даже мать не позвала домой... стыдится... Стыдится? Чего? Почему стал чужим? Другие говорят – я не понимаю. Я говорю — смеются. Может, случилось что-то, а я и не заметил? Даже Ладо... Мой Ладо никогда надо мной не смеялся...

Тихо зазвенели бубенчики, стадо коров возвращалось домой. Пастухи щелкали длинными бичами.

Шакро поднял голову, тяжелый вздох застрял в груди. Вот сейчас каждая корова толкнет калитку и войдет в свой двор. Выбежит женщина, любовно погладит лоснящиеся бока, подоит, заквасит мацони, разольет по кувшинам и поставит на стол к ужину. Только его мать через плетень посмотрит на чужое счастье, переведет взгляд на худенькую Тинико и тихонько вытрет слезу.

Багровая полоска уходила за горы, из глубины оврага подымалась сизая дымка, притаенно застрекотала цикада и сразу замолкла. Пряной смолой пахнул ночной лес. В невидимом гнезде пискнул птенчик. И ранняя звезда легла на голубое небо...

Шакро прислушался и тихо побрел к кургану. Сумерки окутали кукурузу. Едва шелестели стебельки. Шакро поднялся на вершину. Бросился на землю и так без сна пролежал до утра.

Три дня бушевала деревня, никак не могла утихомирить накипевший гнев. Наконец, по совету Гиви, решили собрать зерно в один амбар и охранять всей деревней.

Духанщик и лавочник с презрительной усмешкой наблюдали суету крестьян. Кто победнее, тащил к деду Гиви мешки с зерном, ячмень. Приволок и Валико купленный мешок с пшеницей. Просторный, сухой, крепкий амбар деда внушал доверие. Да и охранять сообща легче и надежнее.

Натэлла с утра в хлопотах. Она помечала мешки, четко надписывала фамилии. Все записывала в книгу. И мешки выстраивались в ряд, словно готовясь к осаде. Потом Натэлла выбрала самых сильных девушек и составила из них отряд для охраны общественного достояния.

Один Шакро не спускался с кургана. Приходила мать, молила, плакала, приходил Валико, ругался. Шакро упорно твердил: поставлю подпорки в последней грядке – приду. Но на самом деле Шакро хотел успокоиться, уравновесить свои мысли и чувства, а главное, решить, что делать со своею любовью к Натэлле.

Воскресенье — любимый день в деревне. Радовал праздничный обед, приправленный пахучей кинзой. Люди надевали чистые рубахи и, как сто лет назад, собирались в излюбленном месте вспомнить старину: взятие Карса, холерный год, комету, длинным хвостом повисшую над Тифлисом, тигра, забравшегося в деревню, и, наконец, посмеяться над ожиревшим духанщиком, полюбоваться солнцем...

Но с дней революции переменились разговоры и место сборища. Не сговариваясь, собирались теперь в густом саду деда Гиви. Раньше около широкого дуба стояла скамья, перед нею вбитый в землю стол. Но это было еще до рождения третьего сына, а после появились новые скамейки и стол удлинился. Теперь дед велел своим шести сыновьям сколотить по две длинных скамьи со спинками. Их выносили только по воскресеньям и ставили перед дубом. Дед и старейшие деревни садились под дубом за стол. Остальные рассаживались напротив по старшинству. Тут советовались, спорили, решали. Слушали песни, любовались пляской молодежи. Щелкали орехи, грызли яблоки. А по большим праздникам невестки разливали из прохладных кувшинчиков вино.

Но сегодня никто не думал ни о песнях, ни о вине. Все были взволнованы. Длинный Павле, только что приехавший из Тифлиса, рассказал о больших событиях. В деревнях нарастало волнение. В Боржоме за ночь вырубили лес, а в Сигнах выехал карательный отряд. Народогвардейцы катили пушки в Юго-Осетию. Селение Арухло в Борчалинском уезде требовало обратно земли, отобранные князем Орбелиани и проданные им шесть лет тому назад немецким богатеям из Катринфельда. Колонисты надели новые жилеты, бросились за защитой к немецкому генералу. Фон Гросс выслал в Катринфельд конных немцев с пулеметами.

Крестьяне чувствовали: надвигается беда, воздух был напоен грозой. И, точно отсвет гигантского пожара, оранжевое облако подымалось над молчаливой горой.

Шакро тихо подошел и спустился на заднюю скамью. Рядом с платком матери белела блузка Натэллы. Теплая волна согрела сердце. Захотелось сделать соседям что-то приятное волнующее, чтобы их лица озарила улыбка. Но что он может сделать? Он чувствовал взгляд Натэллы, а сам не смел поднять глаз. И опять его обуял дух возмущения: он, прошедший сквозь огонь войны, потерял облик мужчины! Ему захотелось выкрикнуть громкие, властные слова. Темнота все больше сгущалась вокруг дуба, лица расплывались в зыбкой мгле. Но расходиться никто не хотел.

Русико бросила на стол горсть гнилушек. Они излучали слабый зеленоватый свет.

Мать Шакро вздохнула:

— Сын мой, дома еще темнее, сам видишь: уже месяц как люди не зажигают ламп. Что делать?

— Кто сказал, света нет? — весело выкрикнул Валико, выскочив из темноты с высоко поднятым пылающим факелом. Он водрузил факел возле деда Гиви, желтые

блики зайчиками запрыгали в темной листве.

— На что керосин, — смеялся Валико,— когда смолы много! И горит и жевать можно!

— Разве только керосина нет? А что есть? Соль? Нитки? Может, мыло? — сокрушалась старшая невестка деда Гиви.

— Даже иголок у тебя, Маро, не будет, пока у всех складов стоят немцы!

— Почему народ смущаешь, Натэлла? Скоро Грузия полной чашей будет мерить богатство.

— Скоро? Это тебе, Шакро, эмиссар на ухо шепнул?

— Пусть эмиссар! Почему не верите? Разве не хотите свое государство воскресить?

— Какое государство можно воскресить в темноте? — засмеялся дед Гиви.

— Какое? Какое было при царице Тамаре. Разве эмиссар не говорил: то, чего царь Ираклий с Екатериной не сделали, наше правительство непременно сделает. Подожди, дед Гиви, ты еще бархатные галифе наденешь.

— На что мне твои галифе? Ты мне в лампу керосину налей!

— Керосину? Хорошо, я вам докажу, что такое наше правительство. Завтра поеду в Тифлис: и Шакро не будет Шакро, если не пригонит вам целую цистерну.

И вдруг сразу все поверили. Заговорили наперебой.

— Конечно, Шакро, поезжай!

— Князь Илларион для тебя все сделает!

— Надоело! Ложку в рот тащишь, а попадаешь в ухо.

— От всей деревни утром тебе деньги принесем!

— А за кукурузу не бойся, всем обществом охраним твой урожай, — добавил дед Гиви.

Мать Шакро поднялась. Гордо оглядела соседей. Наконец, и ее сын нужен всей деревне. Натэлле показалось, что старуха даже помолодела, так звонко прозвучал ее голос:

— Поезжай, сын мой, ты все можешь! Ты на войне был!

ГЛАВА 20

Перед Халил-пашой на столе рядом с янтарными четками лежало послание графа Шуленбурга. Халил-паша усталым жестом пригласил офицеров ознакомиться с документом:

«Я только что узнал: оттоманская делегация требует от Грузинской республики передачи Оттоманской империи всех железных дорог на территории Грузии. Я имею честь довести до Вашего сведения, что Германской империей и Грузинской республикой была заключена формальная конвенция, по которой железные дороги Грузии были уступлены Германской империи.

Эти железные дороги уже заняты германскими отрядами с целью обеспечить четверному союзу, в случае нужды, перевозку войск и боевых припасов.

В случае, если грузинская делегация в Батуме уступит Оттоманскому правительству господство над железными дорогами, то такое согласие будет противоречить конвенции, заключенной между Германией и Грузией.

Наконец, Германское правительство не может признать такое соглашение между Грузией и Турцией.

Граф Шуленбург».

Вошел Вехиб-паша, молча передал Халилу ноту протеста, адресованную главе германского правительства. Халил дописал: «Султанское правительство со дня своего существования исполняло все договоры со всем миром, чему история является живым свидетелем».

Утром турецкий офицер Селим-бей, прибыв в Тифлис, немедля направился на улицу Паскевича. Он молча передал фон Гроссу пакет.

В полдень генерал собрал в своем кабинете экстренное заседание и прочитал министрам Грузии оттоманскую ноту:

— Господа министры, на основании договора между Грузией и Германией предлагаю не сообщать прибывшим турецким офицерам и их агентам никаких военных и технических сведений касательно железных дорог. А если господа турки будут настойчивы, прошу направлять их к фон Унгерну, полковник сумеет дать им необходимые справки.

На перроне вокзала гремит духовой оркестр. У вагонов офицерская толпа. Мелькают погоны царских подполковников, капитанов, но преобладают погоны поручиков, подпоручиков, прапорщиков. Офицеры возбуждены, говорливы, прощаются с нарядными дамами, рисуются, храбрятся, но не веселы.

Генерал Аратов произнес прочувственную речь о поруганной России, о долге русского офицера; его не слушают, речь рвется клочьями:

— Вам вручается судьба империи... Честь офицерского мундира!

Какой-то озорной поручик выкрикивает в такт музыке:

— Мы победим, и враг бежит, бежит, бежит!

— Бросьте, господа, в неизвестность едем! Трагический момент!

— К князю Тундутову!

— Авантюра! Клянусь богом, авантюра! — хрипит капитан.

— Все чепуха, только трусы падают смертью храбрых!

— Каламбур, хо-хо-хо!

Генерал Окунь повел толстым рябоватым носом, точно принюхиваясь к чему-то, гаркнул на весь перрон:

– Господа офицеры! Святое воинство! Наша отцовская речь, как корниловская картечь!

Ротмистр Аратов старался перекричать офицеров:

– Господа, господа, не надо терять офицерское достоинство.

Резкие удары колокола. Один, два, три.

– По вагонам! По вагонам! По вагонам!

Кадетреснуто дудукнул паровоз. Звякнули буфера. Поезд дернулся.

–Ура! Ура-а! Ура-а!

Перрон сразу опустел, затих. Сутулая, рябая женщина в широкой синей юбке сильно выметала окурки.

Но ротмистр Аратов все еще нервно ходил по перрону. Ладо, стоя у багажного отделения, пристально вглядывался в исчезающий поезд. В одном из вагонов уехал товарищ Крутков. Бумаги, паспорт, литер – все в порядке. Из Ростова ему придется добираться до Москвы, к Ленину. Путь тяжелый и рискованный.

– Солдат? – резко спросил ротмистр Аратов.

– Бывший, – нехотя ответил Ладо.

– Америку открыл! Мы все бывшие... Георгиевский от кого получил?

– От царя...

– А служишь немцам?

– А вы кому?

– России неделимой!

– Я тоже...

– Врешь! Знаю: перевозишь ценные грузы. Семнадцать вагонов шин, шестьдесят – хлеба. Русское добро помогаешь расхищать.

– Вы тоже ценный груз только что отправили.

– Ценный? Дерьмо, мать их!..

Ладо внимательно разглядывал странного офицера. Ротмистр заторопился. На перроне показался фон Гефтен.

ГЛАВА 21

Ровно в три Ладо постучал в номер Вурцбахера.

Обер-лейтенант принял машиниста со снисходительной благожелательностью.

Ладо жаловался на холодный прием, оказанный ему железнодорожниками.

«Великолепно!» – мысленно восхищался Вурцбахер. Доверие к машинисту все больше возрастает. Но его можно раздавать только кусочками. Впрочем, кусочек, предназначенный машинисту, он выдаст в виде рекомендации на немецкий паровоз чрезвычайных рейсов.

Ладо выразил радость по поводу цветущего состояния обер-лейтенанта. И незаметно перевел разговор на Тиглера.

– ...Вы говорите, Тиглер? А что знает машинист о докторе? – заинтересовался Вурцбахер.

– Доктор Тиглер намерен стать доктором Фаустом. Но он не ограничится золотом. А молодость для него не существует. Он предпочитает армию и, конечно, власть.

– Я вас спрашиваю, герр машинист, кому не нужна власть? Но это не так просто, это надо заслужить.

– Не всем, господин обер-лейтенант, Тиглер знает другой способ, более действенный.

– Я еще раз спрашиваю, что он выдумал?

– Теорию ножа! Теорию, способную затмить славу всех полководцев.

Зависть зелеными пятнами поползла по щекам Вурцбахера: о, чорт бы побрал паршивую крысу! Это похоже на правду, Тиглер лезет в душу фон Гросса, как шприц в кожу. Но не следует выдавать себя. И равнодушно протянул:

– Выдумать можно даже луну. Герр машинист, наверно, не знает, как ценит обер-лейтенанта Вурцбахера имперский генеральный штаб.

– Ценит по заслугам. Разве не вас осенила мысль создать из военнопленных грузин легион святого Георгия?

– Да, могу сказать, это моя мысль. – Вурцбахер самодовольно вставил в глаз монокль.

– Но жизнь идет вперед. Оригинальность суждений, вот что может приблизить господина обер-лейтенанта к красным нашивкам генерального штаба.

– Если герр машинист хочет иметь мое покровительство, пусть чистосердечно выскажет свои мысли.

Вынув из кармана клеенчатую тетрадь и открыв страницу, испещренную немецкими фразами, Ладо понизил голос:

– Тиглер сторонник политики Варфоломеевской ночи. Он не понимает целесообразности сохранения туземной рабочей силы.

Вурцбахер насторожился. «Варфоломеевская ночь?! Но это вполне соответствует и его желаниям. Тиглер попросту перехватил мысли Вурцбахера! Тогда надо или перепрыгнуть негодяя или протестовать».

– Довольно, герр машинист! Эти истины я знал, еще будучи юнкером.

Но Вурцбахер все же был сбит с толку. После ухода Ладо он долго перелистывал забытую машинистом клеенчатую тетрадь. И вдруг, заинтересованный, несколько раз прочел:

«Народы, как и все в природе, одни мужского рода, а другие женского. Германцы до такой степени мужского рода, что сами по себе они просто не могут быть управляемы. Но когда они сплочены, то являются потоком, который все валит на своем пути и противостоять которому невозможно. Напротив, славяне и кельты женского рода. Они ничего не производят из самих себя, неспособны к произведению... И кельты не что иное, как пассивная масса. Лишь когда к ним присоединились германцы, лишь через смешение с последними появились государственные народы. Такими

были испанцы, пока еще готы стояли во главе их, французы, пока ими руководил франкский элемент, французская революция вытолкнула этот элемент и тем дала снова перевес кельтской природе. Это делает французов склонными подчиняться авторитету. Вестфальцы и швабы — чистые германцы. Когда они охвачены национальной идеей, то им нипочем и скалы. Пруссаки имеют силу и мужской характер. В этом главная их ценность для государства. Немецкий народ в военном отношении представляет величайшее могущество в мире...»

Схватив гербовый лист бумаги, Вурцбахер с остервенением застрочил рапорт в разведывательный отдел генерального штаба.

«... Своей обнаженной пропагандой Варфоломеевской ночи среди бела дня Тиглер выдает раньше срока тайные планы оккупационной армии на Кавказе».

Покончив с перечислением всех зол, какие несомненно принесет сумасшедший Фауст, если его своевременно не отставить от генерала фон Гросса, Вурцбахер скромно описал свою плодотворную деятельность на посту начальника службы «S».

Придвинув тетрадь, он старательно переписал откровения о мужественных и женственных народах. Перечитал, злорадно ухмыльнулся и подписал: «Автор теории — обер-лейтенант императорской армии Герман Вурцбахер».

В отличие от салона светлейшей Маны, гостиная Саломэ напоминала контору.

Сюда приезжали жены министров, приходили купцы, коммерсанты. Ползли по черной лестнице биржевые жучки всех размеров и окрасок. Солидно переступал порог эмиссар Коста.

Распродавалось и покупалось все. Хитрили, делили, обжуливали друг друга. Строго распределялись обязанности. Коста ведал визами на нефтяные продукты. Через жен министров добывались визы на вывоз ковров, сахара, шерсти, орехов, кожи, кунжутного масла, табака.

Саломэ через Иллариона добывала разрешение на вагоны, предназначенные для военных нужд. Тиглер доставал покупателей на все визы и на все вагоны.

Солнце едва пробивалось сквозь белые занавеси. На большом персидском ковре кремневые ружья играли перламутровой и костяной инкрустацией. За овальным столиком эмиссар играл в нарды с княгиней, то и дело нетерпеливо поглядывая на часы:

— Понимаю, морского Датико могли проглотить волны, но куда провалился сухопутный Гоглик?

Пронзительно зазвонил электрический звонок. В гостиную возбужденно влетели адъютанты.

— Извините, княгиня, — задыхался Гоглик, — немного опоздали!

Он вынул пакет и официально положил перед княгиней:

— От полковника Амилахвари! Честь имею!

— Честь имею! — и Датико круто повернулся за Гогликом.

Саломэ вскрыла конверт.

— Наконец! Виза для вашего клиента и разрешение военного министра на провоз в воинском поезде ковров. Видите, эмиссар, я избавляю вас от удовольствия обращаться лично к вашим коллегам.

Коста прищурился, пробежал глазами бумагу и вынул футляр:

— Вот, княгиня, обусловленный приз за ваши труды.

Саломэ внимательно рассматривала нитку крупного жемчуга.

— А еще тридцать тысяч?

— Клянусь, княгиня, пока нет.

— Я могу ждать только три дня.

— Но...

Постучав, вошла старая Маро, буркнула, что из деревни по важному делу приехал выборный. Трагически вздохнув, княгиня вышла.

Коста приступил к тщательному осмотру визы, но тотчас сунул ее за манжету. Вернувшаяся Саломэ подозрительно наблюдала за ним.

— Господин эмиссар, пожалуйста, устройте разрешение на керосин. Можете себе представить, какое несчастье: вся наша деревня в темноте... — она указала на вошедшего Шакро и отчеканила: — Я могу ждать только три дня.

Эмиссар потрепал Шакро по плечу:

— Французский конвент опирался на таких, как ты!..

Смущенно вертя в руках потрепанную солдатскую фуражку, Шакро просил помочь народу. Только цистерну керосина! И деревня заживет счастливой светлой жизнью.

Эмиссар незаметно переглянулся с Саломэ. Она утвердительно кивнула.

— Ты с ума сошел? Целую цистерну! Разве тебе одного бидона не хватит?

— Не откажите, уважаемый эмиссар. Сами видели: беспокойные у меня соседи. Я решил показать, как заботится о народе наше правительство.

— О-о! В таком благородном деле я, конечно, помогу. Будет стоить немного денег, но... это между прочим.

— Пожалуйста, эмиссар. Только устройте, — Шакро вынул кошелек. — Сколько?

— Тридцать тысяч за разрешение, а за керосин... — и Коста беспечно подбросил игральные кости.

Шакро отшатнулся и бессмысленно уставился на доску, ему казалось, что черно-белые жучки сами подпрыгивают на ней.

— Господин эмиссар, может, меньше можно? — взмолился Шакро. — Крестьяне по копейке собрали.

— Ты не на базаре! Цистерну сделаю только ради княгини. Завтра в час дня

придешь в мой департамент, получишь ордер, а за керосин в деревне заплатишь.

И эмиссар уткнулся в «Кавказское слово». Вздохнув, Шакро вынул из-за пазухи завернутые в платок деньги, долго пересчитывал. Вынул мелочь из кошелька, почтовые марки и сокрушенно развел руками:

– Только двадцать девять тысяч пятьсот двадцать три рубля восемнадцать копеек и две марки.

– Ничего, Шакро, я тебе окажу услугу. Выдай дополнительно расписку на пятьсот рублей. Господин эмиссар, я за него ручаюсь, – княгиня щедро вернула Шакро марки и восемнадцать копеек.

Эмиссар положил перед Шакро глянцевый блок-нот и вечную ручку. Шакро, едва сдерживая дрожь в пальцах, написал под диктовку княгини:

«Я, Шакро Кахиани, обязуюсь в течение трех месяцев выплатить княгине Саломэ Амилахвари взятые у нее в долг пятьсот рублей...»

На лестнице Шакро поежился: «Что скажу соседям? Последнее отдали! Могут не поверить...» Густо покраснел, нахлобучил фуражку и угрюмо стал спускаться. «Про долг умолчу, продам свою кукурузу... Все верну соседям, пусть цистерна будет подарком от счастливого Шакро». Он облегченно вздохнул и быстро зашагал по мостовой.

ГЛАВА 22

Праздновали день рождения Ладо. Нико любезно разложил вокруг тушинского сыра пупырчатые огурчики, выращенные им в палисаднике. После железнодорожного гула он любил отдохнуть, копаясь на грядках.

Как было условлено, первым пришел Ибрагим. Смуглое лицо турка светилось радостью: наконец, грузины и турки договорились об обмене пленными. Аскер отныне свободен, и Нико больше не увидит его на принудительных работах, таскающим рельсы и шпалы.

Ибрагим с любопытством пересчитал на комоде семь слоников и изумленно потрогал на этажерке кожаный переплет с вытисненной на нем немецкой каской.

– Ага Нико, почему держишь врага под своей кровлей?

Нико нахмурился. Он и сам не долюбливал книг, привезенных сыном из Германии.

Видя замешательство отца, Ладо добродушно заметил:

– Друг Ибрагим, хочешь победить врага – проникни в его мысли.

Наполнив три стаканчика кахетинским, Нико предложил выпить за освобождение Ибрагима.

– Для человека самое прекрасное – свобода. Вот и Ладо вырвался из немецкого плена. – И, набивая трубочку табаком, спросил, когда Ибрагим думает выехать в Турцию и что он намерен делать на родине.

Анатолийский крестьянин должен вернуться к земле. И как можно скорее. Уже несколько дней Ибрагим замечает немецких шакалов, идущих за ним по следам. Не все аскеры внушают доверие немцам. А он, Ибрагим, совсем не внушает и очень рад этому.

Аскер рассмеялся: слишком долго спал он и не заметил, как Золотой рог опутала немецкая паутина. Но старый Нико и его друзья открыли глаза турецкому солдату. Теперь он знает – не безвольный султан Магомет и не его визири прольют бальзам на раны народа.

Нико переглянулся с сыном и протянул аскеру бумаги Сафар-бея:

– Переведи, друг! Хорошо, что твой отец догадался научить тебя книжной мудрости.

Ибрагим улыбнулся, разложил бумаги и стал медленно читать приказ генералу Вехиб-паше.

Ладо торопливо записывал. Генералиссимусу Энверу-паше удалось путем подкупа переиллюстрировать в германском генеральном штабе документ государственной важности. Вопреки убедительным заверениям справедливо разделить Кавказ между Германией и Турцией, Людендорф проводит лицемерную политику одностороннего захвата не только южного Кавказа, но и северного. В силу этого генералиссимус поставлен в необходимость действовать самостоятельно. Он приказывает Вехиб-паше спешно и в полной тайне встретиться с господином Чермоевым, обещать ему признание Стамбулом власти Горского правительства и финансирование всех его военных мероприятий по очищению Дагестана от большевистских элементов. Со своей стороны, Чермоев должен гарантировать помощь турецким частям в их продвижении на северный Кавказ с целью создания заслона с севера и обеспечения захвата Баку с юга. Совершенно секретные инструкции передаст лично Сафар-бей. Этот же документ предлагается генералу по ознакомлении немедленно уничтожить.

Помолчали. Ибрагим вынул из кармана черные четки и стал их медленно перебирать.

– Как бы то ни было, – сказал Нико, – большая удача, что бумаги попали к нам. От Шаумяна с инструкциями прибыл матрос Вавилов. Этот документ с матросом переправим в Баку, а там товарищ Степан перешлет его.

– Ты прав, отец, северный Кавказ превращается в кипящий котел, – Ладо взял подлинник и перевод приказа оттоманского министра и, тщательно сложив, спрятал. – Эти бумаги пригодятся нам, друг Ибрагим, а остальные, которые Сафар-бей вез в Батум, передай кому найдешь благоразумным. Они принесут пользу в борьбе с немецкими насильниками.

Он подробно рассказал о происшествии на «Голубом Дунае».

— Может «дружеская услуга», оказанная доблестным союзником Сафар-бею, отрезвит турецких патриотов, — добавил Нико.

Взволнованный аскер положил бумаги в потайной карман и застегнул куртку на медные пуговицы.

— В Батуме есть молодой офицер, глазам его аллах дал цвет неба. Ага Селим воевал под знаменем Кемаля и предан ему, как полумесяц пророку, как я ага Селиму. Моему командиру отвезу этот порох. Для офицера путь к Кемаль-паше короче и надежнее.

— Друг Ибрагим, — сказал Ладо, — а для тебя путь к аскерам короче. Передай им: на нашем знамени написаны святые слова «дружба народов», но любое турецкое правительство, которое станет крутить ручку берлинской шарманки, будет у нас в одной цене с немцами.

В калитку громко постучали. С поднятым над головой бурдючком ввалился Миха. За ним гурьбой остальные, неся подарки. Симонэ в яркой розовой рубашке наигрывал на пандури.

Гости от души поздравляли Ладо с днем рождения, желали полюбить самую красивую девушку, вести паровоз вокруг земного шара, где можно увидеть замечательные страны и совершить великие дела.

В калитку снова забарабанили. Казбек залился громким лаем. В комнату, шурша клешами, вошел матрос Вавилов.

Все разместились словно по уговору. Симонэ сел с пандури ближе к заставленному бутылками окну. Около поместились Иванэ и угрюмый рабочий-электрик. Как только на улице слышались шаги, или голоса, или подозрительные шорохи, пандури вздрагивала и Симонэ начинал неистово треньkать по струнам, горланить на весь околодок. Ему вторили сидящие рядом.

В соседних домиках говорили:

— Молодец Нико! Хорошо празднует!

Под перебор струн пандури вполголоса беседовали о важном и большом.

— Крестьяне стихийно восстают, — говорил Нико, — и без руководства неминуемо потерпят поражение. Чем можем мы спасать крестьян?

— Ненавистью. — твердо произнес Ладо.

— Что мы в самом деле? Стрелять разучились? — вскипел Иванэ.

— Научились! — пробасил Вавилов. — Главное — не поддаваться оккупантам, противодействовать им в городах и деревнях, в шахтах и на полях, на железных дорогах и в портах. И, наконец, взять их за жабры да головой в открытое море.

— Ибрагим, спрячь эти золотые слова в патронную сумку, — улыбнулся Нико, налил аскеру вина и, разгладив усы, повернулся к матросу. — Ты, друг, видел Сталина?

— Видел в Царицыне. Был Царицын так себе город, а сейчас, что твой броненосец. Ощетинился пушками, не подсунешься. Касательно моей вахты, я точно достави пакет по адресу, — Вавилов вынул из деревянной кобуры листочек, кашлянул. — Зря для Тифлиса сам Шаумян переписал: «Общая наша политика в вопросе о Закавказье состоит в том, чтобы заставить немцев официально признать грузинский, армянский и азербайджанский вопросы — вопросами внутренними для России, в разрешении которых немцы не должны участвовать. Именно потому мы не признаем независимость Грузии, признанной Германией».

Вдруг Симонэ неистово затренькал на пандури, запел:

Цыпленка жареный, цыпленка вареный...
Цыпленка тоже хочет жить...

По улице гулко простучали колесами немецкие двуколки. Миха, подняв стакан, гаркнул:

— Алла верды, друг Нико!

— Якши йол!

Комната наполнилась криками и пожеланиями.

На шум за калитку вышел Симонэ и скоро возвратился с возбужденным Шакро. И здесь весело! — радостно подумал Шакро и похвастал, как правительство наделило деревню керосином. Оборотную сторону дела Шакро, однако, скрыл. Заметив общее равнодушие к доброте правителей, он замолчал.

За окном послышался резкий крик. Иванэ выглянул и отпрянул: «немцы!» Сразу наступило молчание. В калитку забили прикладами. Матрос быстро нацепил на рукав трехцветный треугольник. Нико склонился к Ибрагиму и что-то сказал. Аскер приложил руку ко лбу и сердцу, и оба они тихо прошли в боковую дверцу.

Пройдя огород, подошли к высокому забору. Нико оттянул неплотно прибитую доску, прислушался. В тупике только слышался отдаленный лай. Ибрагим крепко пожал руку старому мастеру...

Когда Нико воротился, он застал Тиглера, рыжего унтера и трех жандармов с карабинами. Ладо нализал им вино и благодарил за радость, доставленную ему в день рождения.

Польщенный рыжий унтер извинился за неожиданный приход. Дьявол выдумал, что именно в этот дом проскользнул чумазый турок, за которым вот уже три дня рыщут жандармы. Бесноватый лодырь в феске вел пропаганду против немцев среди пленных аскеров.

Ладо, отрезав кусок баранины, положил на тарелку унтеру, подвигая то помидоры, то зелень.

Тиглер исподволь наблюдал. А матрос, вырезая на кожуре яблока сердце, пронзенное стрелой, невозмутимо рассказывал:

— ...Батька ж мой зажиточный казак. Как пустили голодранцы красного петуха

на хутор, он в гайдамаки. А сам я особая статья: на белый броненосец «Ястреб» вернусь.

Тиглер усмехнулся: нет, его не обманут ни Бисмарки на этажерке, ни простодушные рожи туземцев. Доказательства? А разве его чутья недостаточно?!

Острый взгляд Тиглера еще злее вонзался в лица рабочих. Вдруг он провозгласил тост за Вильгельма II.

Тиглер испытующе следил за Нико, который незаметно выплеснул вино под стол. Но Ладо шумным тостом за обер-лейтенанта Вурцбахера отвлек внимание немцев.

Ефрейтору, оставленному на карауле за калиткой, надоело ждать. Он условно свистнул. Тиглер поднялся и, не прощаясь, вышел. За ним нехотя рыжий унтер с жандармами.

В комнате говорили вполголоса, молчали струны пандури. Вавилов наклонился к Нико:

– Почта готова? Утром отчаливаю в Баку.

– Придется ночью развести пары. Надо доставить туда важный документ.

Ладо весело обнял за плечи Шакро и предложил выпить за чистое, как горный родник, сердце.

Но Шакро отпихнул его и ударил кулаком по столу:

– С немцами якшаетесь! Рыжего унтера грузинским вином веселите! Лучше бы помогали укреплять собственное государство. Что делать правительству?! Разве людей успокоит закон о смертной казни?!

– Закон о смертной казни?! Кто сказал?! – вскрикнул Ладо.

– Князь Илларион, из дворца возвращался. Нарочно автомобиль остановил меня поздравить. А с чем поздравить?

Шакро выбежал из комнаты.

Нико выразил общую мысль:

– Протест! Забастовка! Демонстрация! Молчать позорно!

ГЛАВА 23

Перед фон Гроссом лежат тайные донесения, оперативные сводки. Генерал внимательно перечитывает невеселые сведения из Германии. Неутешительно обстоят дела на западном фронте. Двадцать седьмого мая Гинденбург и Людендорф в третий раз бросили армии на штурм французских позиций. Форсировав реку Эн и приток ее Вель, обстреливая Париж из сверхдальнобойных орудий, немецкие когорты двинулись к Марне. Фельдмаршалы спешили закончить кампанию до прибытия американских войск. Но войска Антанты отстояли фланги, и Людендорф, опасаясь очутиться в мешке, пятого июня приостановил наступление. Не удалась атака и на Компьен. И снова фельдмаршал двинул немцев на Марну, но генерал Фош применил новые методы войны: без артиллерийской подготовки он внезапно обрушил на немцев из леса Виллер-Котрэ не только пехоту и авиацию, но ввел в бой 230 танков. После удара в правый фас германского клина французы перешли в контрнаступление со стороны Реймса против левого фаса германского выступа. «Вторая Марна» вынудила немцев к отходу. Имперская армия временно должна отказаться от дальнейшего наступления.

Фон Гросс отодвинул от себя сводку и снова вернулся к секретному письму Людендорфа:

«... Я также думаю по мере возможности использовать людскую силу восточных областей, отчасти формированием зойск, а отчасти, что обещает много больше, посредством вербовки рабочей силы для родины на смену тем немцам, которых можно призвать в войска. Я, естественно, пытаюсь достичь этих результатов во всей области Востока, а также надеюсь непосредственно получить новобранцев из состава немецкого населения Востока...

Важнейшие затруднения Германии — от недостатка горючего материала... Для железных дорог также требуется нефть... Возможно покрыть недостаток нефти подвозом из Закавказья и особенно из Баку. Но основной вопрос, как нам попасть в Баку»[1].

Нажав кнопку, фон Гросс приказал вошедшему адъютанту пригласить к нему в 4.15 штаб-офицеров.

Внезапный вызов не слишком их обрадовал. Фон Унгерн, удобно расположившись в качалке, перелистывал страницы «Сказки о Гиацинте и девушке в розовом цветке». Он любил Новалиса за мастерство передавать в эпической форме тончайшие мистические ощущения. Опустив книгу на колени, он полузакрыл глаза. Фантастический мир! К счастью есть и такой. Было бы нестерпимо скучно существовать только в реальном. Кстати, сегодня в театре идут «Сказки Гофмана». Сабанеева безусловно прелестна. Она напоминает севрский фарфор. А ямочки на пухлых щечках... Но фон Пален вместе со своим догом три раза в день делает стойку около оперного подъезда. Этика охотников не позволяет направлять свое ружье на облюбованную собратом дичь. Жаль! Что понимает долговязый граф вместе со своим догом в классических формах и колоратурном сопрано?

Телефонный звонок оборвал размышления полковника.

Огорчен и фон Гефтен. Как назло, сегодня у него вдохновение продолжить свой труд: «Кулинарное искусство земного шара с позиций странствующего немецкого офицера». Когда он опишет последнее блюдо каких-нибудь новозеландских острови-

[1] Людендорф, «Мои воспоминания о войне 1914—1918», т. II, стр. 187—188, 219—221.

тян, книга будет опубликована, и человечество сможет насладиться плодом великого труда майора фон Гефтена. Война безусловно обогатила его вкусовые ощущения. Например, Кавказ. В главе «Гамма пропперченного мяса» им разработано приготовление шашлыка в пяти вариантах. Князь Амилахвари уверяет, что соус из орехов с индейкой Георгий Победоносец преподнес имеретинским царям. Было бы непростительной глупостью не проинструктироваться по этому блюду у лучшего шеф-повара. Но не успеешь сосредоточиться, как, нарушая всякий порядок, тебя отрывают то генералы, то паши, то демократы!

Вурцбахер самодовольно прочищал замшей перо. Он не мог представить себе теперь, как можно наслаждаться жизнью без плодотворной деятельности начальника службы «S». Именно служба «S» развила в нем критическое отношение к господам аристократам, неполноценно служащим величию Германии. Впрочем, хороши и выскочки вроде Тиглера... Тут обер-лейтенант окунул перышко в чернильницу и стал поспешно строчить дополнительные сведения о философствующем идиоте. Резкий телефонный звонок отвлек его от излюбленного времяпрепровождения.

В кабинет генерала три офицера вошли с одинаковым выражением лица, установленным фон Гроссом для своих подчиненных.

Скверное настроение генерала раньше других заметил фон Унгерн. Поэтому полковник предпочел сесть несколько поодаль и ждать, пока фон Гефтен примет на себя первый удар. Но майор уступил эту честь Вурцбахеру, который сразу попал впросак: ему хотелось бы знать — как чувствует себя господин генерал? Казалось, фон Гросс только и ждал этого вопроса. Он ледяным тоном порекомендовал интересоваться больше своим состоянием, а генерал обойдется как-нибудь и без забот оберлейтенанта! Осадив Вурцбахера, генерал перешел к делу.

Германия задыхается в тисках затянувшейся войны. Только решительные действия немецких армий на Кавказе, на Дону и на Украине могут вывести империю из тяжелого кризиса. Но надо нанести удар, как требует Людендорф, с наименьшим расходом сил. Верховное командование подготовляет атаку на Баку. Надо обеспечить захват нефтяного центра не только с юга, но и с севера.

— Господин полковник, как протекала ваша беседа с Чермоевым? Вероятно, она велась не в Палас-отеле?

— Господин генерал, вчера я любовался видом Тифлиса с плато фуникулера. Чермоев тоже.

— Надеюсь, турецкий агент в этот час любовался чем-нибудь другим?

— Да, Якуб-бек отдавал дань аллаху, он совершал в мечети намаз. А тем временем Чермоев оповестил мир радиотелеграммой: «Союз горцев Кавказа решает отделиться от России и образовать независимое государство; территория этого государства будет иметь своими границами на севере те же самые географические границы, какие имели области и провинции Дагестана, Терека, Ставрополя и Кубани и Черного моря в бывшей русской империи: с запада — Черное море, с востока — Каспийское».

— Надеюсь, ваше превосходительство одобрит составленный мною текст.

— Он соответствует моим инструкциям?

— Но Чермоев, принимая все наши условия, продолжает оставаться при своем убеждении, что только зеленое знамя с полумесяцем может поднять против большевиков единоверный Дагестан.

— Допустим... Значит придется и тут уступить союзным туркам!

Генерал, довольный своей остротой, рассмеялся. За ним поспешили загрохотать Гефтен и улыбнуться Унгерн. Вурцбахер на всякий случай прикрыл платком рот и дернул плечом. Это могло означать и почтительный смех и непорядок в носу.

— Эластичность наших действий, — нарушил паузу Унгерн, — безусловно усыпит турок.

Фон Гросс одобрительно кивнул головой и развернул на столе обзорную схематическую карту:

— Северный Кавказ должен стать для Германии превосходной житницей. Командующий нашими войсками в Крыму генерал фон Кош в ближайшее время высадит десанты на Тамани. Одновременно Людендорф ставит перед нами задачу овладеть военно-грузинской дорогой и вклиниться в Дагестан. Настойчивость Чермоева больше не вызывает у меня возражения. Фон Унгерн, передайте при третьей встрече господину промышленнику, что немецкое командование, уважая религиозный принцип, идет на значительные уступки. Но требует гарантии, чтобы турецкие части немедленно взяли Темир-Хан-Шуру и после переезда туда горского правительства утвердили институт турецко-немецких советников. А теперь, господа офицеры, некоторые детали. При проведении операции по захвату Дагестана в авангардные бои мы пустим турок. Эту почетную роль они будут выполнять на всех единоверных им территориях. Такая тактика даст вам возможность сохранить нашу живую силу. А затем нетрудно будет нам доказать священное право империи на Дранг-нах-Остен. Из Германии в Тифлис уже отправлена кавалерийская бригада и пехотные соединения. Но к регулярной армии надо присоединить вспомогательные части из местных колонистов-немцев. Обер-лейтенант, пригласите ко мне Тиглера.

Не успел фон Гросс распределить между офицерами срочные задания и отпустить

и как адъютант ввел в кабинет взволнованного Иллариона.

- Анархия душит нас! — почти истерически выкрикнул князь, едва переступив порог.

Генерал взглянул на князя, точно видел его в первый раз. Он рассеянно слушал вибрирующий голос:

- Поймите, барон, крестьяне непокорны, помещики разорены, а правительство преступно попустительствует бунтовщикам. Мы молим немецкое командование взять нас под защиту! А благодарное дворянство всеми мерами будет содействовать вам в отправлении в Германию жизненных припасов.

Наконец фон Гросс медленно протянул: он баварский землевладелец и не допустит аграрных извращений. Кстати, о жизненных припасах: виноград и апельсины Германии не очень нужны, они поставляются Испанией, — и генерал многозначительно добавил: нужны хлебные злаки.

Князь машинально оглянулся на дверь и, подавшись вперед, заверил: в случае согласия генерала защитить интересы грузинских землевладельцев, они готовы значительную часть урожая передать фон Гроссу в его распоряжение.

На губах генерала промелькнула ироническая улыбка.

Взяв с мраморной подставки кожаный альбом с золотым тиснением: «Этапы колониальной службы барона фон Гросса», генерал положил его перед Илларионом, который с любопытством, точно в первый раз, стал рассматривать фотоэтюды. Вот пейзаж германской Ост-Африки. Мимо похожих на страусовые яйца негритянских плетеных хижин, прячущихся в широких листьях пальм, негры под конвоем белых цутом несут на плечах слоновьи бивни. У широкой веранды белой виллы молодой лейтенант фон Гросс в пробковом шлеме с кисеей и с хлыстом в руках наблюдает за неграми.

— Эта вилла, — разъяснял фон Гросс, — с плодородными акрами земли подарена мне за удачное усмирение местных племен. Здесь прекрасный океанский климат, розовые пальмы и драгоценные бивни!

Перелистывая альбом, фон Гросс остановился на фотографии с китайским пейзажем: рисовое поле, в широких соломенных шляпах работают китайцы. Откинув занавеску паланкина, майор фон Гросс любуется их трудом.

— Экзотический Китай! — воскликнул генерал. — Но мандарин провинции Печили в политике был большой реалист. В благодарность за усмирение боксеров он преподнес мне небольшое рисовое поле.

— Я всегда восхищался китайской мудростью. Примите, господин генерал, в вашу великолепную коллекцию и мой скромный дар! — и Илларион поспешно достал из полевой сумки фотографию.

Свой снимок Датико отдал лучшему ретушеру, и фон Гросс внимательно рассматривал курган, склоны горной реки с разросшейся кукурузой. Среди серебристых стеблей, опершись на мотыгу, стоял смеющийся Шакро.

— Ваше превосходительство! Насколько мне известно, кукуруза пользуется вашим благосклонным вниманием. Эта земля — плодороднейшая в моем имении, и высокосортную кукурузу специально для вас возделывал мой лучший крестьянин.

Генерал вложил фотографию в альбом и щелкнул застежкой:

— Завтра на заседании у министра-президента я добьюсь удовлетворения ваших справедливых требований.

Илларион почтительно поклонился:

— Поддерживая земледельцев, вы, господин генерал, способствуете монархическому движению в Грузии; оно уже принимает солидные размеры... Вокруг будущей царицы объединились даже умеренные дворяне. В данный момент наша идея требует опоры. Только укрепление нашей власти может привлечь средние массы дворянства. Наш лозунг: «Земля и трон!»

Второй час надрывался Коста, отчитываясь после поездок в деревни Мингрелии, Карталинии и Юго-Осетии. Замечая нетерпеливые жесты, эмиссар утешал: «Сейчас! Сейчас закончу!» И снова с жаром принимался описывать свои злоключения.

Кабинет председателя Национального совета свившего главой республики, наполняло жужжание собравшихся министров, депутатов, генералов и военных представителей. На почетном месте восседал фон Гросс с советниками. Удобно расположились немецкие пресс-атташе. В стороне теснились корреспонденты.

Разработка вопросов, связанных с аграрной проблемой, уже несколько дней волновала всех, кроме фон Гросса. Он имел готовое решение: господин министр-президент должен принять требование помещиков-монархистов.

— Утверждаю, — с упоением говорил эмиссар, — французское крестьянство дважды похоронило республику, сперва избрав единоличным властелином Наполеона I, а через пятьдесят лет отдав власть Наполеону III. В Пруссии революцию сорок восьмого года похоронило руководимое юнкерами это же крестьянство... — и, взглянув на фон Гросса, закашлялся, — резюме: если в Грузии есть еще спокойствие, то только благодаря моим обещаниям!

Вытерев платком лоб, он устало опустился рядом с князем Илларионом.

Глава республики сурово оглядел присутствующих:

— Картина ясна: анархия развивается и может в конце концов захлестнуть нас. Медлить с аграрной реформой чрезвычайно пагубно, но мы не допустим посягательств на завоевания революции! — и он

повернулся к невозмутимому фон Гроссу. — Ваше мнение, ваше превосходительство?

Генерал посмотрел на корреспондентов, державших наготове блок-ноты и карандаши:

— Господин министр-президент, я — простой солдат, политика не в моем поле зрения! Моя задача помочь вам сохранить порядок.

Глава республики повернулся к Иллариону:

— Ваше мнение, полковник?

— Могу заверить — доблестная армия поддержит любую реформу правительства.

Глава республики снова повернулся к фон Гроссу:

— Ваше превосходительство, не пожелаете ли вы взять под свое наблюдение правительственную земельную комиссию?

Фон Гросс покосился на корреспондентов, державших наготове блок-ноты и карандаши:

— Господин министр-президент, мои полномочия ограничены. Я не могу вмешиваться в действия верховной власти независимой Грузии. Мы пришли к вам, как ангелы мира и хотим только мира.

Корреспонденты лихорадочно заскрипели карандашами. На блок-нотах с заголовками «Тифлисский листок», «Эртоба», «Кавказское слово» замелькало:

«Ангелы мира не вмешиваются во внутренние дела Грузинской демократической республики!»

«Генерал фон Гросс подчеркнул свое уважение к суверенитету Грузии!»

Фон Унгерн набрасывал для «Кауказише Пост», органа немецкого командования, передовую статью: «К внутреннему положению в Грузии». «Доклад эмиссара вынуждает сомневаться в способности грузинского правительства собственными средствами положить конец эксцессам...» «Помочь грузинскому народу может только безжалостная сильная рука...» Оглядев присутствующих, фон Унгерн задержал взгляд на князе Илларионе — «превосходная военная выправка!» — и дописал: «... ибо истинные патриоты при этом правительстве не могут себя проявить...»

Члены совещания перешли в боковой зал, где был приготовлен завтрак.

В кабинете остались только глава республики, министры, фон Гросс и немецкие советники. Генерал уже не старался быть похожим на ангела мира. Он был сух, официален и лаконичен.

— Мои требования снова не выполнены! — приподнял усы, он повысил голос.

Глава республики кивнул на дверь. Секретарь плотнее прикрыл ее.

— ... Я вынужден настаивать на срочной отправке в Германию очередного эшелона с жизненными припасами!

— Господин генерал, — взмолился министр земледелия, — мы уже дали все, что вы пожелали. Но с еще бо́льшим удовольствием выделим часть из военного резерва. Остальное попытаемся собрать в деревнях...

— Вы соберете натуральный налог за семнадцатый год, восемнадцатый и... наступающий девятнадцатый! Это для Германии, в счет оккупационных расходов. Восстановление законного порядка в Грузии, сохранение чести и целостности вашего отечества я считаю в настоящее время единственной своей задачей. Поэтому настойчиво предлагаю правительству, не дожидаясь проведения аграрной реформы, вынести решение о немедленной выплате крестьянами арендной платы помещикам. В случае затруднения я вынужден буду помочь вам и прибегну к вооруженному вмешательству немецких войск. Ваш эмиссар страшится анархии, но анархию подавляют не слова, а пулеметы.

— В этом вопросе, ваше превосходительство, я с вами солидарен, — удовлетворенно произнес военный министр.

— Допустим... По полученным мною сведениям, в районе Поти, Ново-Сенаки, Зугдиди, Анаклии еще бесчинствуют банды разбойников и большевиков, они беспрестанно прерывают сообщение. Прежде всего следует обеспечить движение по железной дороге и шоссе Ново-Сенаки—Зугдиди, а затем очистить прибрежные места от ненадежных элементов.

— Господин генерал, ваше дружеское предложение я передам на рассмотрение совета министров. Но, думаю, мы с благодарностью примем помощь, ибо политические интересы Германии и Грузии совпадают.

Фон Гросс благосклонно кивнул:

— Прошу продолжать!

Секретарь распахнул дверь. Глава республики повелительно зазвонил в колокольчик.

ГЛАВА 24

В тесном духанчике над Курой чуть колыхались от речной свежести пыльные занавески, подхваченные желтыми бантами. На засаленных обоях возлежали пастушки с ярко-красными подвязками на чулках, а из кустов выглядывали смеющиеся фавны. В простенке кривилось мутное зеркало, засиженное мухами. Помятая тахта с захватанными подушками и дешевыми мутаками... Аляповатая комнатушка пышно именовалась «отдельным кабинетом». Здесь Аратов встретил Ладо.

Разговор не клеился. Ладо выжидательно молчал. Аратов нервно катал хлебные шарики. А в стену билися пьяный крик:

Органчики-чики,
Духанчики-чики,
Ростовские шулера!
Э-эх!

Что-то бухнуло, опрокинулось. Хрипела шарманка. Зазвенело стекло. Изощренно ругались девицы, хохотал раскатисто бас

грузинская брань переплеталась с одесским жаргоном.

Аратов погасил о тарелку папиросу и тут же, нервно чиркая спичкой, закурил новую. Вдруг он перегнулся через стол к Ладо:

– Ты, большевик, долго намерен перевозить немцам русское добро?

– Не понимаю, господин ротмистр, о чем вы говорите? Я служащий Закавказской железной дороги, что к паровозу прицепляют, то и везу.

– Не финти! Я все знаю! Ты на хорошем счету у прохвостов! – и, пристально смотря на Ладо, растягивая слова, добавил: – тебе будут поручать перевозку важнейшего груза.

– Может, господин ротмистр хочет испортить мою репутацию?

– Для этого только и живу на белом свете. Так вот будь осторожен, дом твоего отца взял под надзор Тиглер. Он уверяет, что в дидубийском домишке сосредоточено антигерманское гнездо... Это меня и навело на мысль... Кстати, передай своему «адмиралу», пусть катится отсюда, пока цел. Нацепил добровольческую трехцветку и похож на страуса: голову под крыло – и спокоен...

– Откуда вам все известно?

– Я состою в немецкой контрразведке!

Ладо молчал. Ротмистр наполнил чайный стакан вином и залпом выпил.

– А вы, господин ротмистр, думаете, что германская контрразведка почетное место для русского офицера? Вам не дают спать лавры обер-шпиона полковника Мясоедова...

– Жандармского полковника!

– Из-за подобных хлыщей русская армия оросила поля сражений солдатской кровью.

– И офицерской!

– Не спорю. Но кому, как не вам, господин ротмистр, знать, что такое немецкая контрразведка? Она разложила человеческую душу, изуродовала жизнь нашего поколения. И если вас волнует судьба России, то есть благородный способ...

– Какой?

– Драться за нее. Какая бы пропасть ни разделяла классы...

– А ты что, классный наставник?

– ...Родина у нас одна. Ваш долг грудью отстаивать честь и жизнь Российского государства, а не помогать немецким «цивилизаторам».

– А, по-твоему, что я делаю?

– Служите врагу против своего народа.

Аратов вскочил:

– А ты?!..

– Служу моей родине.

Под окном плескалась ночная Кура. К духану подъезжали фаэтоны. Наверху кто-то топал, звякал шпорами и бесшабашно что-то орал.

– Слушай, – ротмистр подался вперед, – немцы подготовляют атаку на Баку, понял? Брось играть в прятки! Мои чувства к России обсуждению не подлежат. Слушай, сюда перебрасывают под ширмой договора с грузинским правительством немецкую кавалерийскую бригаду. Понял? Думаешь – для своей власти стараюсь? Нет! Я равнодушен к своей судьбе, но к судьбе России... нет, шалишь! Гражданская война только разгорается...

– Но тогда почему бы вам не перейти в ряды отстаивающих родину?

– Что?!

– В драке всегда бывают раздавлены те, кто болтается под ногами.

– Так ты думаешь, я слеп? Я знаю в ком сейчас сила. Я видел красных... Голодные, озверелые, но трезвые. Идут напролом. За Россию, за... власть советов. А какую власть сейчас отстаивает офицерство? Нет, шабаш! В белых я не верю. Грузинская монархия – блеф! Но и в Совдепию не пойду. В бою я не боялся смерти и солдат учил презирать костлявую мадам. Они любили меня, сукины дети. Но стояли передо мною, как лист перед травой. А теперь солдат распоясался, слюнявит: «нукся, товарищ, подвинься!» И развалится рядом, лузгая подсолнухи, так и норовит выплюнуть шелуху тебе на сапоги! Подобной мерзости я не терплю!

– Если бы вас, господин ротмистр, угнетали, то, судя по вашему характеру, и вам бы захотелось плюнуть на чьи-нибудь лакированные сапожки. А дисциплина у красных несравненно строже, но только основана на человеческом достоинстве.

– А у меня свое достоинство. – Аратов щелкнул по бутылке. – Эх, уйти бы куда!

– Никуда вы от себя, господин ротмистр, не уйдете!

Опорожнив бутылку, Аратов швырнул ее на пол:

– Атака на Баку! А?! Каково?! Им, видите ли, бензинчика захотелось! Керосин пизными кружками лакать! Ты мне Америку про Советы не открыл... Сам знаю, только большевики могут прогнать немецкую погань с Украины, Кавказа, Дона. Это я понял там, у князя Тундутова, атамана, храни его черт! Не успел след простыть великого князя Николая длинного, а его адъютант Шатун Тундутович пополз пресмыкаться перед кайзером. И нафиопил же там, сукин сын! Что казаки, мол, не славяне, и хата их с краю, а потому они враги большевиков... Здорово?! А?! Одним махом всех казаков в немцев перемахнул. И тут я понял: плясать «святого Витта» с белыми не стану. Ты верно сказал: большевики дерутся за сохранение русской государственности. Пусть Совдепия! Пусть хоть Ленин! Но только пусть все русское, а не немчура! Россия!

– Когда немцы думают начать отправку войск на Баку?

– Как только закончат подготовку. Пей, Абуладзе! Духан не парламент! И на душе

ровней, пей! Плачешь ты или смеешься, все равно один конец!..

— Господин ротмистр, если вы действительно... я должен знать во-время.

— Ясно — не после ужина горчица.

— Но и вам следует остерегаться Тиглера. Этот полуавтомат обладает гнусным даром пролезать в чужие мысли. Прячьте поглубже. С Вурцбахером, напротив, советую...

— Сам все знаю... И про тебя сам догадался, по данным контрразведки. Не надо строить иллюзии, предстоит борьба насмерть. Видно без бинокля...

За стеной загремели тарелки. Кто-то дрался, кричал, визжал. И, перекрывая всех, орал густой бас:

... Алеша, ша! Возьми полтоном ниже!..

«Пожалуй, ему кое-что можно доверить», — подумал Ладо, всматриваясь в опьяневшего Аратова.

Ладо встал, позвал человека, расплатился и, не прощаясь, вышел из духана.

ГЛАВА 25

Каждое утро в кабинет к Манане Грузинской входил чисто выбритый герр Цугмайер, много лет совмещавший службу в Кавказском музее с разведывательной деятельностью. Он бесшумно раскрывал портфель, вынимал иллюстрированную хрестоматию, и светлейшая покорно садилась за «Дода ена» [1].

— Ничего не поделаешь, — вздыхала княжна, — царица грузинская должна, оказывается, знать грузинский язык. Но для чего? Разве высший свет в Тифлисе не владеет французским? Или хотя бы русским?

Но герр Цугмайер придерживался другого мнения. И вот она просиживала томительные часы за первой страницей, автоматически повторяя: «Ай иа — вот фиалка, ай иа — вот фиалка!»

Герр Цугмайер укоризненно покачивал головой: этой кукле, вероятно, понадобится не меньше десяти часов, чтобы не путать фиалку с петухом.

Царица Манана I, борясь с зевотой, глухо твердила: «ай мамали — вот петух, ай мамали — вот петух». Но этим не ограничивались ее муки. Каждое утро ее посещал художник, Лев Северный, знаменитость Петербурга. На холсте уже сверкали бирюза, золото и малиновый бархат. Лев Северный хотел изобразить ее на черном фоне, но, по совету фон-Гросса, светлейшая позировала, прислонясь к терракоте, изображающей скалу Метехского замка.

После сеансов живописи следовал час деловой переписки. На фиолетовых надушенных листках с короной Манана тщательно выводила: «Мой милый принц Рупрехт, без вас, увы, в Тифлисе невыразимо скучно...» Охотнее она отвечала на веселые письма мингрельского князя, который из-за легких неприятностей вынужден был перекочевать из Лозанны в Нью-Йорк, где ему посчастливилось в сговоре с двумя жокеями сорвать большой куш на весенних скачках. Укрепив финансовое положение, он обшил золотыми галунами белую черкеску и стал желанным гостем на Пятой авеню. Если предприятие с грузинской короной удастся, писал князь, он немедленно прибудет к ее двору.

Покончив с письмами, Манана принимала душ и начинала беззаботную личную жизнь. В Тифлисе было достаточно весело. Непрерывно прибывали титулованные особы и финансовые тузы, бежавшие из Петрограда, Москвы, Киева. Перед отплытием в Константинополь и Париж они отдыхали в Тифлисе.

Веселые голоса приближались к гостиной. Гоглик и Датико, обгоняя друг друга, ринулись к руке Мананы.

И сразу налетел шквал городских новостей и происшествий. Манана узнала все: какие скатерти перетащила к себе жена такого-то министра из дворца наместника, какие простыни с инициалами графа Воронцова-Дашкова вытянула из того же дворца жена другого министра. И, наконец, о приятном времяпрепровождении немецких гостей:

— Княжна, они все вывозят! Что глаза видят — руки хватают!

— Перец вывозят! На что им перец, княжна?! Такие пресные люди!

Манана мило улыбалась.

— Князь Илларион приказал напомнить вам о сегодняшнем параде немецких и грузинских войск, — выпалил Гоглик.

— Да! Да! — обрадовался Датико.—Князь приказал нам сопровождать вас на парад. Начало в пять...

— Датико, с ума можно сойти! Сейчас уже без четверти...

От дворца до Храма Славы выстроились друг против друга грузинские и германские войска в полном боевом снаряжении. Флаги четверного союза и независимой Грузии нависли над Тифлисом. В руках разодетых дам голубые гортензии и чайные розы. Институтки и гимназистки в форменных платьях с пелеринками, теснясь на тротуарах, глядят на стройных кавалерийских офицеров в черкесках, машут цветочками стеклянноглазым егерям прусской службы. Беспечным хороводом вертятся в воздухе голубые, желтые, малиновые шары... На балконах гостиницы «Ориант», украшенных коврами, собрались турецкие купцы, заправилы Горского правительства и международные авантюристы. Нетерпеливые взоры устремляются к дворцу.

Ровно в пять загремел встречный марш. Из дворца вышли глава республики, министры, генерал фон Гросс. Они обходили ряды войск. У стен Александро-Невско-

[1] «Родное слово».

го собора поблескивали дула немецкой артиллерии.

С верхней ступеньки Храма Славы Тиглер презрительно оглядывал снующую у его ног толпу, переводил взгляд на немецкие войска. Грузинских он просто не замечал.

На возвышении, украшенном флажками, цветами, зеленью, расположились посланники, атташе, жены министров, военные чины. В центре Манана. Ее охраняли Гоглик и Датико. Рядом с ней обмахивалась веером Саломэ, под ее огромной шляпой капризно изогнулись тонкие брови. С другой стороны развалилась в кресле толстая, неуклюжая жена прокурора. Выпячивая грудь, эмиссар Коста то и дело поправлял жемчужную булавку в галстуке.

Глава республики дошел до Храма Славы... Храм Славы! Здесь под мемориальными досками, под охраной древних пушек, хранятся ветхие знамена, залитые доблестной кровью. С ними кавказцы бросались на штурм вражеских твердынь. Трепали их горячие ветры и пески, кололи раскаленные ятаганы. В этих знаменах покоилась честь и слава солдата...

И вот сейчас «министр-президент», став спиной к Храму Славы, приветствовал немецкие знамена. Он выразил уверенность, что грузинские и германские войска в полном согласии сумеют утвердить порядок в стране. А когда отгремело восторженное «Хох! Хох!» и «Ваша! Ваша!», фон Гросс в ответной речи заверил: отныне императорские и республиканские войска будут находиться в постоянной дружбе и охранять общие интересы двух держав. Снова рявкнуло «Хох! Хох!» Шарахнулись кони меньшевистской кавалерии, тесня пехоту. Баварец-капельмейстер поспешил с церемониальным маршем.

Министры и немецкое командование приветствовали проходящие мимо них войска. Но не успел отцокать последний эскадрон, как со всех боковых улиц ко дворцу хлынула процессия с красными флагами.

Словно смерч пронесся по Головинскому проспекту. Воздушные шары рванулись вверх. Снежной лавиной обрушились с крыш листовки с крупным заголовком:

«Долой немцев! Долой оккупантов!»

С возвышения, расталкивая друг друга, роняя сумочки, панамы, трости, хлынула знать. Гоглик и Датико подхватили пошатнувшуюся Манану и бросились с ней во дворец.

И тотчас же кузнец Миха водрузил на возвышении красный флаг.

— А-а-а-а! — нарастал торжествующий гул. Из закоулков, из дворов, улочек неслось:

— Да здравствует революция!

Путь Шакро лежал через Верийский мост, но любопытство привело его на бушевавший проспект. Итти было неудобно, ящик давил плечо. Но Саломэ, навязав ящик, присовокупила: «Отвези в нашу усадьбу, пусть княгиня Кэтеван спрячет. Смотри, береги! Монпансье теперь дороже золота!»

На проспекте, надрываясь, свистели милиционеры. Мимо Шакро пробежали с карабинами немецкие солдаты. Вурцбахер скомандовал оцепить улицу. Щелкали затворы, в воздухе хрипело:

— Хальтен зи! Цурюк!

Но немецкие окрики опрокидывались встречным натиском гневных речей. Свободной рукой Шакро вытер со лба холодный пот. Он посмотрел на возвышение и узнал Нико.

— Чье единство отражал сегодня маскарадный парад?! — полный ярости потрясал рукой Нико. — Единство немецкой реакции и грузинской контрреволюции! Вильгельм II намерен превратить нас в рабов. Кайзер забыл, что грузинский народ двадцать веков с оружием в руках отстаивал свою национальную независимость! И мы ответим кайзеру словами Ленина: «Попробуйте, попробуйте, гражданин Гогенцоллерн! У нас тоже есть европейский резерв русской революции. Этот резерв — международный социалистический пролетариат...» [1].

— А-а-а-а!..

По проспекту раскатывался конский цокот.

— Разойдись! Стрелять будем!

Вурцбахер от нетерпения трясся, он посылал одного за другим ефрейторов, ординарцев, но фон Гросс не приказывал открывать огня. К Вурцбахеру пробирался Тиглер.

На возвышении рабочие сменяли друг друга. Кочегар Сеня грозил кулаком дворцу:

— От имени кочегаров депо заявляю: не бывать Кавказу немецким! Да здравствует дружба народов!

Восторженное ура заглушило последние слова кочегара. Вурцбахер навел на кочегара маузер. Но кто-то решительно взял его за локоть и отвел руку. Он свирепо оглянулся и увидел тусклые зрачки Тиглера, железные пальцы настойчиво поворачивали револьвер в другую сторону. Вурцбахер спустил курок.

Нико схватился за грудь и упал на барьер возвышения, ломая немецкие флажки.

На мгновение Шакро окаменел и вдруг услышал команду: «По немцам, прокаженным, пли!» Шакро резко обернулся: драгунский офицер! Мемель! Сделал привычное движение, словно хотел вскинуть винтовку на прицел... Ящик с грохотом свалился, княжеское монпансье дробью посыпалось по ступенькам Храма Славы. Точно огонь полыхнул в лицо Шакро: он увидел Натэллу...

Шакро бежал, стыд и боль преследовали его. «Натэлла!..»

[1] В. Ленин. Соч., т. VIII, стр. 357.

Залп. С верхушек деревьев посыпались листья. У спуска Шакро услышал пение:

Вы жертвою пали...

Гневно неслись голоса, перемешиваясь с выстрелами. Нико Абуладзе, завернутый в красное полотнище, колыхался над толпой.

На платформе товарной станции мелькала грузная фигура фон Гефтена. Помахивая хлыстом, он торопил маленького вертлявого обер-ефрейтора. Немецкие солдаты с погонами железнодорожников, запломбировав вагоны, ставили на дверях черной и белой краской кресты.

С паровозной будки Ладо смотрел на обливающихся потом грузчиков.

В дежурной зазвонил телефон: «В городе бунт!» Короткий разговор Гефтена с фон Унгерном, и полетели приказания торопиться с погрузкой. Забегали по платформе унтеры, ефрейторы. К товарной станции подкатили грузовики с усиленной охраной. У ворот выстроились дополнительные патрули.

Прислонившись к решетке, Шакро тяжело дышал. Сначала он не мог понять, почему прибежал на погрузочную платформу. С усилием провел рукой по лицу, напряженно вглядываясь в товарный состав. Постепенно предметы принимали реальные контуры. «Да... цистерна с керосином, № 11862. Деревня ждет, отдала последнее».

Он направился к паровозу и остановился. Ладо спокойно вытирал медный кран. Нет! Пусть о злодействе сообщит ему кто-нибудь другой. Махнув рукой, он побежал по путям...

На рельсах стояла наполненная цистерна № 11 862. Ворчливо пыхтя, к ней подошел маневровый паровозик с высокой закопченной трубой, на подножке торчал вертлявый обер-ефрейтор. Звякнули буфера. Сцепщик свистнул и замахал выцветшим флажком. Шакро увидел, как цистерна двинулась к немецкому эшелону. Он бросился за паровозом, побежал рядом, взволнованно жестикулируя:

— Уважаемый, это ошибка! Господин немец! Ты увез мою цистерну! — он выхватил разрешение. — Вот, вот бумага!

Обер-ефрейтор оттолкнул Шакро ногой:

— Пошел вон!

Снова лязгнули буфера, цистерну прицепили к германскому эшелону. Подбежали солдаты с кистями и ведерком, стерли на цистерне номер и намалевали германский крест.

Шакро, спотыкаясь о стрелки, кинулся к станции, попадал в мазутные лужи. Подбежал к дежурному и закричал:

— Я получил разрешение! Вот!.. От моего правительства!

Дежурный расхохотался.

— Разрешение без охраны все равно, что вагон без колес. Иди домой!

Шакро бросился к постовым:

— Братья, немцы грабят! На фронте с ними дрался, почему на родине терпеть должен? Помогите!

Народогвардейцы усмехались.

— В другой раз, чанчур, вози не керосин, а вино, тогда легче будет помочь.

Как-то странно посмотрел Шакро на веселую стражу, и от его взгляда народогвардейцам стало не по себе. Старший хотел было объяснить, посоветовать, но Шакро уже военным шагом подходил к фон Гефтену, по-солдатски поправляя гимнастерку. Отдав честь, он протянул разрешение с печатью правительства и умолял вернуть цистерну.

Чуть приподняв бровь, Гефтен ударил хлыстом. Рассеченный листок упал на платформу. Шакро сжал кулаки:

— Разве, ишачьи дети, забыли — здесь Грузия, а не Германия!

Фон Гефтен с любопытством посмотрел на безумного грузина, коротко скомандовал:

— Кругом! Двадцать шагов марш!

Неистовство охватило Шакро, ему казалось, он растет, подымается над вагонами, над товарной станцией. Он сделал гигантский шаг, чтобы раздавить офицера.

Приклад немецкого карабина окрасился кровью. Пруссаки избивали «бешеного туземца», а он, в неистовстве, ничего не чувствуя, огромным липким от крови кулаком бил их по лицу, в грудь, по каскам.

С застывшим лицом Ладо смотрел на побоище, от волнения дрожали руки. Резкий свисток, и обер-ефрейтор передал жезл машинисту. Надтреснуто задребезжал паровозный гудок.

Перед помутневшими глазами Шакро пронеслась цистерна.

ГЛАВА 26

Улица перед домиком Нико запружена народом. На катафалке венки с красными лентами. Колышатся обвитые крепом знамена. Катафальщики в белых цилиндрах придерживают коней в нарядных попонах. Тихо плывут звуки оркестра.

В раскрытых настежь комнатах тесно и душно. Причитание старух, плач соседей. По тоненьким горящим свечкам стекают восковые капли.

Железнодорожники объявили однодневную забастовку. Сейчас они с траурными повязками на рукавах стояли вокруг красного гроба. За окном в безоблачном небе перекликались скворцы. На грядке среди зеленых стручков поник одинокий мак.

Накануне похорон Ладо попросил друзей оставить его и Натэллу одних. Обняв сестру и опустившись у гроба, он долго с нею говорил. Натэлла жадно впитывала слова брата. И, когда рассвет осторожно проник в окно и синим крылом овеял спокойное лицо с навсегда закрытыми глазами, все было договорено, все было решено...

Ладо не был на похоронах. Шептались соседи, шептались рабочие. За гробом, с восковым лицом, шла Натэлла.

Вурцбахер потирал руки. Доволен был и рыжий унтер. Это он нашел клад в Загане. Сегодня он был свидетелем злобы «туземцев», не обнаруживших машиниста в своем стаде.

Словно летучая мышь в комнату влетел Тиглер и сразу заскрипел: он прямо с кладбища, где пришлось немало пощелкать затворами. И если бы не глупая команда фон Унгерна «прекратить» — он, Тиглер, бросил бы в яму всех крамольников. Напрасно господин обер-лейтенант доверяет грузину-машинисту.

Вурцбахер как будто только этого и ждал. В злобном исступлении он набросился на «паршивого пронырy»:

— Герр доктор, запомните до вашей счастливой кончины, что обер-лейтенант Вурцбахер никому не позволит совать нос в его дела! Лучше укажите, есть ли на вашем счету хоть один полезный прохвост, обращенный в германскую веру? Щелкать затвором? От вашего щелканья остается только смрад!

Тиглер хотел уйти, но Вурцбахер как одержимый преградил ему дорогу:

— Нет, герр философ! Вам сегодня не избегнуть моих точных определений. Вы пререкаете, что я не могу отправить к праотцам хоть миллион «туземцев» в один мой служебный день?! Такой прозой может хвастать только бездарный политик, чья теория похожа на высохшую овечью кишку!.. И я еще вас спрашиваю...

Его прервал вошедший адъютант фон Гросса:

— Герр доктор, его превосходительство разыскивает вас.

Не спеша взяв шляпу, Тиглер сдунул с нее пылинку:

— Обер-лейтенант, в другой раз я дам вам... возможность выдавить весь гной из вашей головы! — Презрительно хихикнув, Тиглер направился к выходу.

Адъютант сочувственно посмотрел на Вурцбахера и с поклоном распахнул перед Тиглером дверь.

Страдальчески сжав виски, Вурцбахер упал на стул. Опять не его, отмеченного имперским штабом, вызвал к себе генерал. Кроме зависти, Вурцбахер испытывал и страх. Он пытался предостеречь генерала, но фон Гросс не дослушал:

— Обер-лейтенант, занимайтесь своим делом, — и многозначительно добавил: — мусорщик есть военная профессия. В Петербурге видный японский генерал пятнадцать лет играл роль мусорщика, а на шестнадцатый Николай II проиграл японскую войну.

Еще плачевнее был ответ за № 720.

«Плащ мусорщика, — писал начальник разведывательного отдела, — в известных случаях стоит тысячи расшитых золотом мундиров, и начальнику службы «S» не мешает культивировать ведра с кишками. Именно из этого драгоценного сосуда разматывает Ариадна запутанный клубок политических дел «Транс-Кавказа».

Вурцбахер заметался. Он чувствовал, что может не только лишиться кредитов «Дейче банк», но и прибылей при дележе Грузии. Катринфельд ужом уползает из его рук. Беседовал он тайно и с рыжим унтером, но чурбан струсил, клянясь, что никакое оружие не пройдет сквозь бронированную шкуру Тиглера. Недаром денщик Ганс божится: страшный доктор всех видит насквозь, а сам пролезает в кабинет генерала сквозь замочную скважину. И в этот критический момент, как нельзя кстати, Вурцбахер вспомнил спасительную клеенчатую тетрадь с «Теорией обер-лейтенанта Германа Вурцбахера».

О! Теперь он покажет генеральному штабу, на что способен Вурцбахер. Да, пока он обер-лейтенант, но это только переходный чин к генеральским эполетам. Никакие бронелобые Тиглеры не смогут затормозить машину, на которой мчится к Вурцбахеру военная слава.

Развалясь в кресле, Тиглер снисходительно слушал генерала. За последнее время фон Гросс убедился: Тиглер — добрый гений. Тиглер один проник в истинный смысл величия нации. Тиглер не случайное явление. Тиглер — будущее Германии.

Вот почему фон Гросс уже не решал без «доктора» ни одного важного вопроса. Тиглер привык к совместным завтракам с генералом. В отсутствие генерала Тиглер проскальзывал в кабинет, подобранным ключом открывал несгораемый шкаф, изучал секретную переписку, пересчитывал акции, деловито вглядывался в фотографию Элизы, белокурой дочери фон Гросса, одобрял воспитание в пансионе святой Адельгунды, без стеснения залезал в чужую семейную жизнь.

Фон Гросс находил на своем письменном столе точные данные о продукции катарского медноплавильного завода. Или изложение качества чиатурского марганца и его значение при выработке «зеркального чугуна». Или оценку марганца, придающего стали большую прочность, упругость и сопротивление на разрыв. Намечая план развития металлургической промышленности в будущей колонии, доктор вырабатывал попутно проект механизации германской армии. В высокосортную броню должны быть закованы не только локомотивы, суда, аэропланы, автомобили, мотоциклеты, но и солдаты.

Генерал был вполне удовлетворен: его кабинет вдохновляет великого доктора на трудную, но плодотворную для Германии деятельность.

Выслушав план фон Гросса о транзитной переброске немецких войск на грани-

цу Азербайджана в район станции Пойлы. Тиглер саркастически улыбнулся:

— Любезный барон, о прибытии в Поти кавалерии я, конечно, уже знаю, я, как вам известно, сторонник политики длинных ножей.

— А я, любезный доктор, сторонник политики электрического утюга, некоторые конфликты следует приглаживать.

— Кавказ изменчив. Здесь утюг может прогладить и мудрую голову гладильщика...

— Я склонен прислушаться к мудрым предостережениям... Каково ваше отношение к подполковнику Фельдману?

— Прикомандированному к Энвер-паше?

— Вы угадали, герр доктор. Я намерен немедленно отправить его в Елисаветполь с предложением Нури-паше приостановить дальнейшее наступление турок на Баку.

— Удачно. И кстати пусть подполковник убедит пашу, что все спорные вопросы, связанные с судьбой Баку, будут своевременно разбираться на Константинопольской конференции.

С удовольствием посмотрев на Тиглера, генерал пододвинул полированный ящик:

— Курите, доктор. Итак я перехожу к Баку. В красное пекло вылетит летчик граф фон Пален...

— Говорун?

— Вы угадали. Крайне необходимо добиться от этих господ согласия установить с Грузией и Арменией демаркационную линию, подписать с правительствами конвенцию об открытии железной дороги и, якобы в обоюдных интересах, восстановить беспрепятственное действие нефтепровода... А тем временем секретно сосредоточить германскую армию в юго-восточном направлении от Тифлиса.

Перемешав в ящике все сигары, Тиглер выбрал самую толстую, закурил и выдохнул густую волну дыма:

— В эфир, господин генерал, надо выпустить стаю диких уток. Их кряканье должно убедить Европу в мирной политике ангелов мира. А газетным уткам подбросим другое зерно: кто сказал, что на Кавказ?! Наоборот: с Кавказа немецкое командование, вынужденное Антантой, перебрасывает свои небольшие силы на румынский фронт.

После уточнения подробностей фон Гросс резюмировал: следует внушить не только союзным, но и нейтральным странам мысль о том, что Германия не заинтересована в судьбе бакинской нефти. Пусть льстят себя надеждой, что в будущем Баку не станет ни азербайджано-татарским, ни турецким, ни общекавказским, ни тем более русским городом и, скажем, даже не германским. Баку, возведенный в ранг международного города, будет находиться под покровительством заинтересованных великих держав.

— Превосходный блеф, барон.

— И пока наивные люди, развесив уши, будут готовить ведра для коллективного черпанья черного золота, мы бросим на Дагестан и Апшеронский полуостров сперва турок — тем более, что Назим-бей рвется туда, — а затем наш наступательный корпус!

Генерал подошел к карте и, взяв химический карандаш, обвел Баку жирным кругом: Баку должен быть и, конечно, будет германским!

На следующее утро летчик граф Пален поднялся с Навтлугского аэродрома на чернокрылом «Таубе», а по ту сторону Куры стосильный «бенц» мчал фон Гросса и Тиглера на парадный смотр в Катрин-фельд.

По третьему пути, забившись в угол вагона, возвращалась в деревню Натэлла. Она вновь переживала страшные дни. Подпольное бюро настояло на ее спешном отъезде. Ладо от рыжего унтера узнал, что немцы готовят карательные экспедиции. Бюро разослало людей — оно не может допустить стихийного восстания.

Только немногим было известно, какой ценой законспирировал себя Ладо. Бюро одобрило все действия стойкого Абуладзе. Но как возмущались железнодорожники, соседи! Как осуждали! Натэлла смахнула навернувшуюся слезу.

Немцы! Эти звери хотели смять похороны, сорвать объединенную демонстрацию. Железнодорожники тоже приготовили оружие. Проклятый Тиглер! Как он неистовствовал: «Файер! Файер! Огонь! Стреляйте! Я приказываю!» Что было с ней, она хорошо не помнит. Она кинулась на скорпиона, залпом прозвучали пощечины. Тиглер трусливо юркнул за спину рыжего унтера. Еще неизвестно, кто бы навсегда остался на кладбище, если бы не прискакал немецкий офицер и не велел солдатам убраться. Она, кажется, рвалась, ее уговаривали, оттаскивали, убеждали. Старухи обступили и стыдили: грузинка на кладбище должна распустить волосы, бить себя руками в грудь и, причитывая, обливать слезами дорогую могилу, а она...

Ладо тоже не одобрил ее вспышку. Бедный брат, он пришел ночью и лег на кровать отца... Как тихо лежал Ладо. Она испугалась, подошла, его наволочка была мокрая от слез. Ладо торопливо перевернул подушку. Он взял ее за руку, и они вдвоем тихо пошли по заснувшим улицам. На кладбище было еще тише. Ладо щекой прижался к свежей могиле... «Отец! Мой отец! Друг!» Вдруг Ладо вскочил: «Пойти, бросить бомбы! Отомстить! Отец! Отец!.. Тише, Ладо Абуладзе, крепче держи рычаг, твой паровоз летит под откос...»

Утром как всегда светило солнце. Но оно не проникло в опустошенную душу Натэллы. И вдруг бюро призвало ее к большой работе, поручило деревню... Шакро!..

Сердце девушки сжалось... Как он дрался! Вспухшие рожи, окровавленные глаза, выбитые зубы... Брат рассказал ей об аресте Шакро. Освободить? Этого можно добиться. Ведь Кахиани не обычный солдат. Стоит только князю позвонить фон Гроссу, и Шакро вместе с Натэллой выедет в деревню. Теплая волна прилила к сердцу девушки.

ГЛАВА 27

Пока стосильный бенц поглощал расстояние от Тифлиса до Катринфельда, Тиглер знакомил фон Гросса с делами немецких колоний на Транскавказе. Он начал с истории событий, послуживших началом организованного переселения немцев в Америку, Венгрию, Польшу, Южную Россию и на Кавказ. Тяжелые экономические условия, вызванные налогами и мобилизацией после наполеоновских войн, способствовали религиозному сектантскому движению. Оно широко охватило княжество Вюртемберг. И пока Готлиб Лефлер и Адам Шюле оформляли в русском посольстве в Вене паспорта, в Швайксиме Фридрих Фукс устраивал «штунден» — часы бесед, подготовляющие немцев к великой миссии освоения стран Старого и Нового света. О, этот Фукс был дальновидный немец! Кроме советов строго придерживаться библии Мартина Лютера, он рекомендовал трудолюбие и натиск, как средства мирного завоевания земли. Слушатели у него были разные. Многие, проникнутые желанием стать распространителями протестантства, восторженно собирались в далекое путешествие. Более умные мечтали о захвате плодородных земель. Были и такие, которые твердили, что они измучены религиозными распрями и притеснениями, разорены войнами и налогами и хотят только труда и покоя. Но всех объединяла общая идея — искать счастья в девственных лесах и на широких просторах. По стопам Фукса пошли Шлюхтен и братья Кох из Мирбаха. В 1816 году они выпустили воззвание, призывающее немцев к переселению в Россию. Вскоре образовалось общество «Гармония».

— Это, господин барон, изображаю гармоничность душ переселенцев, их безгрешные помыслы...

Фон Гросс благодушно оглядывал окрестные горы, любовался прозрачностью воды.

— Река Храм течет на протяжении тридцати двух миль, беря начало в Триалетских горах, у перевала Цхра-Цхаро. — Тиглер многозначительно добавил: — Великолепная стратегическая точка.

Штаб-офицеры и советники оживленно встречали едкие замечания фон Унгерна об одержимом философе. Фон Унгерн, ярый монархист старопрусского толка, не выносил садистических бредней Тиглера об удобрении земли человеческой кровью. Гефтон считал неразумным лишать Германию бесплатных рабочих рук: немецкая нация стремится не к уничтожению народов, а к покорению их. Вурцбахер, насупившись, молчал: он ненавидел Тиглера так же, как и этих аристократов.

Когда автомобили повернули вверх по шоссе, фон Гросс заметил, что он склонен всю Германию считать гармонией. Тиглер снисходительно согласился:

— Гармонией золота, стали и кулака. Они были несколько наивны, наши предки. Но у меня есть особая причина гордиться «гармонистами». Ибо, кроме Эслинской, Швярцвальдской, Вальдорфской и Отлингерской, была еще «гармония» Вейсахская под предводительством Тиглера — моего прадеда. Вот почему колонисты в Грузии слушают мои советы и готовы на все действия, продиктованные мною. О, генерал, годы прозябания в Грузии доктора философии Грегора Тиглера не прошли даром: я сформировал свою армию. История одного человека ограничена — история нации беспредельна. В сентябре 1817 года тридцать одно немецкое семейство, проделав сложный путь на кораблях по Дунаю до Одессы и дальше через Херсон и Таганрог, прибыло в Тифлис. Затем их примеру последовали еще пятьсот семейств. Русский главнокомандующий генерал Ермолов старался укрепить рубежи, но позабыл о тыле. Он не только разрешил поселиться в Грузии нашим колонистам, но дал каждому семейству по пятьсот рублей ассигнациями на обзаведение хозяйством, по сорок копеек суточных и по два рубля на прокорм скота. О, эти русские! Они страдают гуманностью! Эта болезнь всегда дает осложнения. Они сетуют, сколько волка ни корми, он все в лес смотрит. Я, Тиглер, радуюсь: сколько немца ни приручай, он все остается немцем. Этому немало способствовали миссионеры Дитрих Царемба и Бенц. Они были столь же стремительными, как ваша машина. В 1823 году они закончили свод правил для колонистов, превратив семь образовавшихся колоний в замкнутый союз военно-религиозных корпораций. Все эти правила, окончательно утвержденные в 1823 году для евангелически-лютеранской церкви в России, и на сей день остаются нерушимыми. Наиважнейшее из них запрещает вступать в брак с лицом другой нации или вероисповедания. В результате мы имеем чистокровную немецкую породу, размножившуюся в Марионфельде, Новом Тифлисе, Александродорфе, Елизаветале, Петродорфе, Аненфельде и Катринфельде. В богатейших колониях Кавказа, Волги и юга России вы, генерал, можете реализовать план Людендорфа о создании на востоке новых резервов для армий, движущихся через Баку.

Генерал задержал взгляд на круглых зубчатых башнях, преграждавших доступ к долине. Над старинной крепостью царицы Дарии высились три гряды синеющих гор.

За плетеными изгородями, по обе стороны шоссе, тянулись виноградники. Шоссе круто повернуло направо, и впереди забелели, точно выложенные из игрушечных кубиков, готические домики. Они стремительно неслись навстречу стосильному бенцу.

Раскаты духового оркестра бурно вырвались на шоссе. Колонисты выдували из тромбонов тромовые звуки, и оглушительно громыхал украшенный цветами барабан. Фон Гросс твердо опустил руку на эфес палаша.

В воздухе щелкали длинные бичи. Разгоряченные кони вынесли на мостик полосатый фургон, колонист в широкополой соломенной шляпе круто осадил выхоленную четверку. Над фургоном колыхалось полотнище с золотыми буквами: «Сто лет натиска, освоения, благополучия».

На переднем фургоне, изукрашенном в стиле начала XIX века, ехали колонисты-пионеры в разорванных рубашках, в высоких потрескавшихся кожаных сапогах, в соломенных выгоревших шляпах, с топорами, кирками и молитвенниками. Второй фургон наполняли солидные колонисты в цилиндрах сороковых годов, в белых рубашках и суконных жилетах. Раскрученные рулетки, угломеры и уровни вполне гармонировали с длинными тонкими шпагами. Третий фургон изображал благополучие колонистов к столетнему юбилею. Открытые мешки с отборной пшеницей, ящики с душистым табаком, кувшины с медом, огромные круги швейцарского сыра, плетеные корзины с виноградом, фруктами, овощами. Среди коров, свиней, породистых птиц, сделанных из папье-маше и перевитых цветами и лентами, стояли колонисты в черных глухих сюртуках и котелках с муаровыми лентами.

У въезда в Катринфельд — восторженный рев: «Дейчланд! Дейчланд юбер аллес! Хох! Хох!» Фон Гросс, взяв под козырек, испытующе разглядывал рослых светловолосых девушек, белолицых, с налитыми румянцем щеками, с толстыми косами, заплетенными на затылке в корзинку и мускулистых парней с огромными ногами и огромными ладонями, со взглядом, выражающим: все возьму, ничего не отдам.

Автомобили тронулись дальше по главной улице. Фон Гросс даже приподнялся: уж не по Германии ли он едет? И не называется ли это поселение Пфальц? Так похож Катринфельд на немецкий городок, утопающий в зелени и щеголяющий благоустроенными водопроводными колонками.

И смотря на гору Георгисберг, возвышающуюся над виноградо-фруктовой долиной реки Мушавер, на белые готические дома, сложенные из крепкого камня, на кирку, прочно всаженную в землю, запрятав в глубокие подвалы с гигантскими винными бочками, — генерал фон Гросс уже не сомневался в легкости мирного овладения Грузией.

На церковной площади построился в каре немецкий гарнизон... У фронтона кирки чернели штыки 10-го батальона егерей, рядом легко-горная батарея, на откормленных конях красовались кавалеристы 2-го эскадрона, а напротив них выпячивали грудь колонисты в начищенных крагах, с длинными ножами на поясах и прочными ранцами на широких спинах.

Позади вспомогательного отряда виднелись делегаты от остальных колоний. К прилегающей к кирке улице чинно гуляли катринфельдцы.

Генерала, Тигглера, штабных офицеров и чиновников встретили члены конвента. Суровый пастор представил почетным гостям двух церковных старост, старосту колонии и судью.

Пастор прочувственно отметил многочисленных Вурцбахеров, сто лет назад первыми въехавших в Катринфельд. Обер-лейтенант Вурцбахер надменно оглянулся на баронов Унгерна и Гефтена. Шествие вместе с фон Гроссом проследовало в кирку. Обер-лейтенант Вурцбахер шагал окруженный своими однофамильцами.

Плыли звуки торжественной кантаты. Органная мелодия доносилась до белого домика с узким синим балконом. С деревянного дивана поднялся высокий старик, тряся седой бородой. Он набил табаком трубку, изображающую пивной бочонок, закурил и закашлялся:

— На Новой улице завелись шептуны, а может, и не на одной только Новой. Попрятались, как мыши. Но церковный конвент вытащит всех недовольных из норы и придушит. Это говорю я, Франц Ригер.

— Вы говорите истину, герр Франц, — Лизхен оправила широкий фартук, — война во многие семьи внесла несогласие. Иные утверждают — мы должны считать Германию своей родиной, другие думают — наша родина Катринфельд, а следовательно, Россия. Почему? Разве плохо, если Катринфельд станет германским?

Мина опустила на колени вязанье:

— Нет, Лизхен, я опять говорю: нехорошо! Новая улица считается самой бедной, а посмотри на мой подвал, в нем три лахтера[1] вышины и четырнадцать ширины. Картофель навален до потолка, а чтобы обхватить винную бочку высотой в два человеческих роста, надо соединить десять пар рук. Зачем же нам нужна Германия? Разве она дала нам все это? И разве не

[1] Лахтер равен двум метрам.

правители Германии притесняли налогами наших дедов? И не они ли их вынудили покинуть фатерланд?

– А сколько тут пролито нашего пота?– фрейд Ригер резко отодвинул от себя трубку.– Посмотри, дочь моя Мина, разве не одинаковая земля лежит вокруг нас? А как прозябают туземцы? Грязь, бедность, болезни. Малярия не беспокоит нас. А туземцы? Они вымирают. Я состарился, но ни разу не болел. Мы сильны и крепки, потому что живем дружно. Так велят нам правила, выработанные Дитрихом Царсмба и Бенцем. И в течение всего трудного года под строгим наблюдением колониального синода мы ежегодно в первое воскресенье января и первое воскресенье июля выслушиваем завещанные нам правила. А это значит—мы могучи, как германский дуб.

– Я, отец, говорю, как говорит умный старик Майер. Пусть германские генералы оставят нас. Мы хотим труда и покоя. Разве это плохо, Лизхен?

– Не об этом я спорю, Мина! Сюда пришли наши деды, мы знаем одну родину – Катринфельд. Все здесь наше, но нельзя итти против церковного конвента. Старый Майер умный человек, это, Мина, ты хорошо сказала. Он своего Иоганна послал учиться в Петербург, нам нужны свои инженеры. Но Иоганн вернулся чужим. Подумай, Мина, у него на столе господин староста видел русскую книгу «Преступление и наказание». Пастор вызвал к себе Иоганна. О, мой бог! Иоганн вступил с пастором в спор: жизнь идет вперед, столетние правила устарели, – доказывал Иоганн, – нужны новые формы. Как ты думаешь, Мина, что пастор ответил Иоганну? Он ответил: божий мир еще древнее, он стоит много тысяч лет. Однако каждую весну мы вдыхаем аромат душистых цветов, а каждую осень пожинаем плоды, рожденные священной землей. Если же всю землю замостить тяжелыми камнями и покрыть асфальтом, это будет основному, но земля перестанет родить, и человечество вымрет от голода. И еще сурово добавил наш пастор: если в немецком саду стало гнить дерево, мы его без сожаления выкорчуем и выбросим за пределы немецких колоний...

– Каролина, Каролина! Почему ты так медлительна? – испуганно крикнула Мина. – Сегодня столетие нашей жизни здесь! Надень лучшее платье, срежь чайные розы и ступай в кирку. Зайди к Майерам и скажи твоему глупому брату: сегодня не следует сидеть у Иоганна. Пусть он поспешит к господину старосте и в знаменитый день нашей победы над невежеством туземцев попросит записать его в отряд немецких колоний...

Приняв парад и присягу молодчиков из вспомогательного отряда, фон Гросс торжественно вручил их командиру белое атласное знамя с черным орлом. Он сказал речь о единстве германской нации, о предстоящих великих задачах на Востоке, о великой миссии искоренять все, мешающее величию немецкого духа.

Пастор взошел на выносимую из кирки кафедру и, напомнив о тяжких испытаниях и милости божией, даровавшей немцам в Грузии столетний юбилей, прочел соответствующую проповедь из книги Бенгеля. Затем говорил староста о божьем воинстве, охраняющем духовную чистоту колонии от азиатских красных бацилл. Молитвенный дом на страже, и следующий юбилей отпразднуется в Тифлисе — столице нового германского герцогства. Развернув адрес и перглянувшись с Тиглером, пастор торжественно прочитал:

«Немецкие колонии южного Кавказа выражают его величеству императору Вильгельму II германскому, королю прусскому, верноподданнические чувства. В годы победоносной войны за немецкое могущество, желая служить фатерланду, немцы-колонисты единодушно просят императора принять их в германское подданство. И просят милостиво встретить их «гармонии», духовно возвращающиеся из далекого путешествия по диким странам. Но эти страны завоеваны их трудом и по божьему милосердию принадлежат великой Германии».

Площадь отгласилась неистовыми криками: «Сюда, немецкий народ! Для тебя мы берегли эту прекрасную землю, большую колонию, и отдаем теперь тебе!»

Под звуки гимна адрес для кайзера торжественно передали фон Гроссу. Прусский марш и восторженное ликование сопровождали генерала и офицеров по дороге в пасторский дом. Тиглер шел важно, поддерживаемый судьей и старостой колонии. Бурцбахер, которого хотя и не вели под руки, был очень счастлив.

После пудинга, очаровавшего Гефтена поджаренной корочкой с изюмом, Тиглер произнес спич в честь генерала. Под изумленные возгласы он преподнес фон Гроссу перстень с голубым бриллиантом, так восхитивший генерала при их первой встрече.

Ровно в шесть фон Гросс щелкнул золотой крышкой часов. Время, положенное на юбилейный банкет, прошло. Судья доигрывал на фисгармонии сентиментальную песенку.

Вечером катринфельдский сад был иллюминован бумажными фонариками. Ярко горели плошки. Трещал фейерверк. За эстрадной раковиной крутился Мефистофель в красном трико с матерчатым хвостом. Ракеты, взлетая ввысь, рассыпались огненно-зелено-оранжевыми гроздьями. На открытой ротонде катринфельдцы чинно танцовали польку, а на скамье, под-

выпившие колонисты, раскачиваясь и отбивая такт ногой, напевали:

О, майне либе Аугустин, Аугустин,
Аугустин,
О, майне либе, Аугустин, Аугустин!! Я!

За длинной стойкой дородные немки в белых фартуках беспрестанно наполняли готические кружки даровым пивом. Лица багровели, желтоватые капли стекали с лоснящихся лбов. По боковым слабо освещенным аллеям, взявшись за руки, степенно гуляли женихи и невесты, офицеры с девушками из богатых домов. На садовых широких скамейках плотно сидели немки, сложив пухлые руки на больших упругих животах. Среди них Мина и Лизхен. Сапфиры, гранаты и кораллы украшали их полные шеи. Женщины вспоминали свою конфирмацию, день своей свадьбы, рождение первого ребенка, град в голубиное яйцо, выбивший у Гофмана все стекла, пожар у вдовы Винклера.

За высоким зеленым забором, позади школы, шла торопливая выгрузка оружия, прибывшего из Тифлиса в плотно сбитых ящиках. Были и легкие ящики — подарки колонистам, реквизированные из интендантских складов № 5 и № 6 — свечи и перец. Эти ящики рыжий унтер приказывал складывать отдельно.

На следующий день празднество продолжалось, — еще Царемба и Бенц постановили: двадцатипятилетний юбилей праздновать один день, пятидесятилетний — два, а столетний — три.

Вурцбахер приказал отряду собраться на площади Кирхе, а кто еще не успел записаться в патриоты — явиться к нему, и он лично запишет их.

Произошла заминка — «неуспевших» оказалось больше, чем ожидал обер-лейтенант. Особенно упорствовали Эрик Вольф и Макс Шульц. Их привели под конвоем егерей, и у них был неважный вид. Разъяснив молодчикам, что отныне их обучение боевым действиям будет проводиться ежедневно «вследствие германского государственного о том распоряжения», Вурцбахер скомандовал: «смирно!»

Пастор, произнеся торжественное наставление, принял от добровольцев присягу на верность Германии, а затем под треск барабанов им вручили огнестрельное и холодное оружие.

За киркой Вурцбахер вел первую беседу об оперативных задачах отряда, как вспомогательной части жандармерии.

Тем временем фон Гросс и члены церковного конвента, почувствовав себя уже на германской территории, утвердили военные штаты колоний, как стратегических опорных пунктов, и прикомандировали к ним фельдфебелей и унтер-офицеров. Общее наблюдение за подготовкой отрядов и укрепление в них верноподданнических чувств поручалось Вурцбахеру. А Гефтер должен был немедленно объехать колонии и разъяснить немцам, что германское командование в Грузии спасло их от большевизма, который, не подоспей оккупационная армия, захлестнул бы весь Кавказ. Поэтому колонисты должны поддержать германское отечество и после победоносной войны образовать отдельное княжество - Новый Вюртемберг.

Фон Унгерн выразил сожаление, что у колонистов не было тесной культурной связи с Германией», посоветовал наверстать упущенное и выписать сюда новую литературу, военную прессу и патриотические кино-картины.

Молчавший до сих пор Тиглер вдруг вскочил и истерически выкрикнул:

— Кирка должна еще строже взять под суровый присмотр воспитание молодежи на основе двух заповедей: чистая немецкая кровь и неразбавленный немецкий инстинкт. Культура будет привилегией высшего класса правителей, самой природой призванного повелевать.

В пасторском зале, пахнувшем свежевымытыми занавесками и гелиотропом, молчали. Члены конвента благоговейно внимали своему философу.

ГЛАВА 28

Утром на четвертый день, когда на асфальтированном дворике перед гаражом шофер мыл свой бенц и денщики священнодействовали над парадными сапогами и бриджами генерала, усердно орудуя щетками, кремом и утюгом, к подъезду дома подкатила коляска.

Взволнованная Саломэ ворвалась к генералу и, бросая зонтик, перчатки и ридикюль, оглушила его превосходительство восклицаниями: «Ее дядя, князь Давид, арестован! И кем?! И знает ли фон Гросс, за что?! За обращенную к нему, генералу, жалобу на бунтовщиков-крестьян, утянувших у именитого помещика шестьдесят ведер вина и закусивших выпивку отборными фруктами!» Саломэ в гневе перечислила сорта похищенных яблок: шафран, золотой ранет, белый кальвиль...

— Итак, княгиня, вы находите, что я должен вмешаться? — сказал, наконец, фон Гросс.

«...Немедленно освободить всех помещиков, арестованных за насильственное взимание с крестьян арендной платы. Растущая в деревнях анархия срывает тактические планы германского командования. Снова предлагаю искоренить зло немецкими штыками. В интересах восстановления нормальных условий в стране совершенно необходимо выявлять преступников и применять военные меры. Наглядное устрашение части

населения, склонного к буйству, несомненно, даст целебный результат».

Фон Гросс просил господина министра спешно уведомить, принимается ли его предложение. Отправив пакет, он приказал фон Унгерну приступить к дислокации карательных отрядов.

В белом зале с золотыми карнизами и стройными колоннами собрались высшие представители грузинского дворянства, седые, с нависшими усами, безусые, с выхоленными баками и выбритые по-английски. Они бесшумно расселись за овальным столом, покрытым зеленым сукном.

Фон Гросс открыл чрезвычайное собрание.

Высокий старик с непримиримыми глазами и упрямым горбатым носом припомнил, что еще при Помпее грузинское дворянство скрещивало свое оружие с оружием римских легионов. И теперь никакие революционные ураганы не сдвинут грузинское дворянство с «точки крепкого, неподвижного, непоколебимого стояния. Нас могут уничтожить, но не победить!»

Князь Багратион-Давыдов, в голубой черкеске с золотыми газырями, не пожелал быть уничтоженным или побежденным. Поэтому он выступил от инициативной группы «Меч тавадов». Условия для государственного переворота созрели, мудрость – мать успеха! Надо привлечь на сторону монархистов наиболее сознательных грузин. И с разрешения фон Гросса с пафосом прочел:

«Воззвание! Грузинское дворянство всегда обслуживало исключительно общие культурные и экономические нужды всего грузинского народа. Ныне же, после переворота, в условиях свободного бытия государства, для дворянства открылась возможность переступить сословные перегородки и слиться воедино с народом, неразрывную часть коего оно составляет. С этой целью инициативная группа предлагает немедленно передать в «Общенациональный фонд» имущество дворянского союза».

Директор дворянского земельного банка провел выхоленными пальцами по бородке и огласил опись имущества, подлежащего передаче: процентные бумаги, бессрочные вклады отдельных лиц, и многозначительно назвал акции общества Кахетинской железной дороги.

Раздались аплодисменты. Акции эти представляли интерес только для коллекционеров. Но кахетинский князь Джандиери нахмурился: если бы дело коснулось Карталинской железной дороги, с такой легкостью не бросались бы мощными взносами.

Директор потряс серебряным звоночком:

– Если сравнить актив и пассив движимого имущества грузинского дворянства – процентных бумаг, то чистое сальдо будет выражаться всего в нескольких десятках тысяч рублей. Это подношение представляет собой лишь моральную ценность! Более или менее реальное значение имеют лишь несколько общественных и частных зданий в Тифлисе и других городах Грузии.

Некоторые из князей протестующе поднялись, но, взглянув на бесстрастного фон Гросса, снова опустились в кресла.

Багратион-Давыдов очень долгом открыть все карты: передавая имущество, князья ничем не рискуют: в правительственных сферах подавляющее большинство – дворяне. Но такой жест образумит меньшевиков, и они с удовольствием защитят дворянские земли. После прихода монархистов к власти и акции и дома вернутся к своим владельцам.

Пробежал смешок. Князь Илларион привстал, поклонился светлейшей и спросил ее мнение.

К обсуждению Манана приготовилась еще с утра. Два фрейлинских вензеля двух дворов сверкали на ее белом легком платье. Она сидела на председательском месте, выпрямившись по этикету малого двора русской императрицы и держа руки по этикету малого двора германской кайзерины. Справа от Мананы фон Гросс заносил в блок-нот таинственные записи, слева фон Унгерн, прикрыв ладонью лист бумаги, набрасывал карикатуры на князей.

Манана любезно улыбнулась: она думает так, как думает генерал фон Гросс.

Одобрив гибкую тактику «Меча тавадов», князья торжественно поклялись: «Смерть или победа!» и единодушно решили произвести переворот с помощью немецкой военной силы. Члены правительства будут захвачены жандармерией по одиночке в своих квартирах. Та же участь постигнет их видных единомышленников. Если Особый отряд попытается противодействовать, то выступят немецкие бронемашины. Они окружат осиное гнездо, разоружат головорезов и перейдут к ликвидации штаба Народной гвардии. Телеграф, банк и вокзал атакуют егеря-баварцы. Кавалерия, – конечно, тоже немецкая, – захватит арсенал. Что касается водопровода и электростанций, их можно поручить немецкому саперному батальону. На утро светлейшая Манана Грузинская займет дворец наместника Кавказа и примет присягу воинских частей, поднявших знамя монархии. В два часа экстренный бюллетень о низложении власти узурпаторов-меньшевиков облетит всю Грузию. В пять часов дня в Сионском соборе будет отслужено благодарственное молебствие. В восемь часов вечера – торжественный прием светлейшей Мананой депутации города Тифлиса. Позже – иллюминация в Александровском

саду, можно и в Муштаиде. Общенациональный хор исполнит «Самшобло» («Родина»).

План переворота расшевелил заговорщиков. Князь Спиридон, играя часовой цепочкой, сосредоточенно что-то обдумывал и предложил наметить министров. Сразу все насторожились.

Князь Илларион сперва покраснел, а затем побледнел — ему уже обещан был портфель военного министра. Он покосился на сидящих князей: но разве эти зубры... И он особенно возненавидел двух отставных генералов и кутаисского предводителя дворянства, сиятельного князя Спиридона. Изогнувшись, он вкрадчиво спросил, что скажет ее светлость.

Манана загадочно ответила:

— Я скажу то, что скажет принц Рупрехт!

— А что скажет принц Рупрехт? — повернувшись к фон Гроссу, осведомился Багратион-Давыдов.

— Принц Рупрехт, — спокойно заметил генерал, — одобрил ваш план, но с незначительной поправкой. Международное положение не позволяет германскому командованию вмешиваться во внутренние дела Грузии. Переворот по детально разработанной вами программе должны произвести сами господа монархисты с помощью грузинских воинских частей.

С грохотом рухнула скала, на верхушке которой монархисты воздвигли воздушный замок. В зале нависло глубокое молчание. Князь Спиридон почувствовал резкое падение с высоты.

Очевидно, подобное ощущение испытывали многие князья.

Багратион-Давыдов зло провел рукой по газырям, как по клавишам. Негодующим взглядом он, будто рапирой, сверлил Иллариона.

«Воодушевление заговорщиков остывает!», — отметил генерал и поощрительно сказал:

— Поясняю: королем Финляндии назначен принц Фридрих-Карл Гессенский. Его высочество уже отбыл в Гельсингфорс. Так же точно принц Рупрехт после переворота прибудет в Грузию для бракосочетания и коронации. В целях защиты границ Грузии за принцем Рупрехтом последуют его личная гвардия и железная дивизия кайзера. Они помогут навести порядок в молодой монархии! Вам, конечно, интересно будущее княжеских фамилий? Не трудно угадать! Принц Рупрехт будет всеми мерами поддерживать возрождение помещичьих дворянских традиций. С его высочайшей помощью вы восстановите родовые замки, приступите к внедрению на грузинской почве образцового, старопрусского сельского хозяйства и, наконец, возглавите славные походы. Блюдя интересы германо-грузинского знамени, вы поведете армию и, за счет владений турецкого султана и персидского шаха, расширите границы царства. На этом пути вас ждет слава.

Но щедрые посулы генерала не оживили князей.

«Переворот с нашей армией можно устроить только в ресторане «Анона», — мрачно подумал Багратион-Давыдов.

После неловкой паузы Илларион решил вынудить фон Гросса пойти на уступки. Он описал настроение грузинских частей, в подавляющем большинстве сформированных из крестьян. Солдаты сочувствуют бунтующим крестьянам и дезертируют. Можно ли рассчитывать на такие штыки? С другой стороны, нельзя недооценивать сил правительства. С военной точки зрения так называемые «народогвардейцы» представляют собой гибкую организацию, хорошо вооруженную и экипированную. Она находится в резкой вражде с полевой армией, считая себя сливками меньшевистского строя. Надо отметить, что народная гвардия, по иронии судьбы, является для монархистов защитным буфером против большевиствующих рабочих, с которыми беспощадно расправляется. Поэтому нельзя помышлять о перевороте без германских войск.

Военно-профессиональное мышление тотчас подсказало фон Унгерну выход. Он посоветовал использовать опыт белого генерала Корнилова и создать в полках, эскадронах и батареях тайные боевые группы из офицеров-дворян, объединив их общим командованием... Инструктором следует привлечь ротмистра Аратова, опытного офицера и убежденного монархиста.

Князь Илларион признательно улыбнулся: он берет на себя общее руководство. Бросив злорадный взгляд на двух генералов и кутаисского предводителя: «Что они понимают в апельсинах?! Портфель военного министра уже в руках у меня!», — он благородно заверил собрание: ровно через тридцать дней после сосредоточения сил за этим столом окончательно будет утвержден час переворота.

Князь склонился за одобрением к Манане, но она безмятежно спала, облокотившись на ручку кресла.

ГЛАВА 29

На следующее утро Гоглик и Датико затрезвонили в квартиру Аратовых.

Ворвавшись в комнату Сергея Петровича, они нетерпеливо распахнули ставни.

Ротмистр лежал на измятой постели. Пустая коньячная бутылка, слоистый нагар на подсвечнике и растрепанный томик «Крейцеровой сонаты» говорили о бессонной ночи.

Адъютанты поспешили поздравить Аратова с монархическим заговором, в кото-

ром господину ротмистру отведена выдающаяся роль.

Позевывая, Сергей Петрович лениво выслушал взволнованных адъютантов и ничего не ответил.

Следующим посетителем был князь Илларион. Он рассыпался в похвалах политическим принципам ротмистра Аратова. Монархический строй может восторжествовать только в Грузии, где в каждом грузине, даже демократе, незыблемы патриархальные традиции. А какая блестящая перспектива ждет ротмистра в грузинском царстве!

Аратов поблагодарил князя за оказанную честь, но «дело государственной важности, необходимо подумать». Завтра в девять утра он даст ответ...

Наскоро позавтракав, Аратов тщательно побрился, надел чистый китель, надушил коротко подстриженные усы и направился к фон Гроссу.

Генерал ждал этого визита. Он сдержанно спросил Аратова, беседовал ли с ним князь Амилахвари. И как господин ротмистр относится к грузинскому дворянству? Ведь он хорошо знает Грузию.

– Да, — согласился Аратов, — кадетский корпус я окончил в Тифлисе, а в Петергофе в Николаевском училище было немало грузин-юнкеров. Грузины делятся на два лагеря: в одном вы найдете меньшевистски-шовинистически-монархическую смесь, а в другом — большевиков-соседей-щиков. Первые готовы броситься в объятия любых союзников, способных поддержать их подгнившую мощь, вторые не дойдут ни на какую сделку; эти фанатики тянутся только к красной России. При таком положении грузинская монархия немыслима. Стоит ли Аратову, офицеру князя Тундутова, атамана, — храни его бог! — заниматься игрой в бирюльки?

Генерал пытливо всматривался в открытое лицо ротмистра:

– Допустим... Но кто вам, господин ротмистр, сказал о намерении его величества Вильгельма II затрачивать энергию на создание марионеточного театра? Жизненные интересы диктуют нам необходимость иметь на Кавказе прочную немецкую базу, скажем, трамплин для проникновения в Баку и дальше — в Месопотамию и Индию. Принц Рупрехт славится умением дрессировать не только коней, но и солдат. Светлейшая Манана сплотит вокруг трона грузинскую аристократию. Рыцарски настроенный Рупрехт не будет обременять ее величество скучными государственными делами. Что же касается князей, они утешатся восстановлением титулов, высокими званиями при дворе и заграничными путешествиями. А потом им будет дано право вернуть своих крестьян к прямым обязанностям возделывания помещичьих земель. Для пользы князей я посоветую им вытряхнуть из крестьянских голов разных Больтеров и Марксов.

— Ваше превосходительство, вы правы. Пусть лучше изучают «Историю испанской инквизиции».

Генерал фон Гросс с удовольствием посмотрел на приятного собеседника:

— Ваши превосходные знания, относящиеся не только к Грузии, но и к Европе, дают вам право рассчитывать на чин флигель-адъютанта принца Рупрехта, будущего монарха Грузии... Я говорю открыто, господин ротмистр, ибо у вас нет иного пути. На этом предлагаю вам навсегда распрощаться с князем Пер.. Пор... Порнутовым?

— Тундутовым, ваше превосходительство, атаманом, храни его бог.

— Допустим... Вы примете предложение князя Амилахвари. Смотрите, не продешевите: у князей кое-что осталось в бумажниках из крокодиловой кожи, не считая припрятанного в фамильных усыпальницах величия.

Больше Аратов не возражал. Он узнал все. Завтра ровно в девять он по желанию генерала ударит по рукам с князем Илларионом...

Целый день Аратов перечитывал и сжигал бумаги. А когда темноту прорезал свет уличных фонарей, он поспешил обрадовать Ладо Абуладзе всем слышанным от пустозвонов адъютантов, пустобая Амилахвари и громовержца фон Гросса.

— Немецкая монархия в России?! Ты, кажется, Абуладзе, всю жизнь к этому стремился? Представь — и я тоже! Баронокняжеская банда! А?! Нет!! Пусть чорт, дьявол, но — Россия! Россия неделима! Россия жила, живет и вовеки веков будет жить!..

Военный оркестр, сверкнув серебряными трубами, заиграл «Фредерикс Рекс». Прерывистые звуки королевского марша расплывались по Головинскому проспекту.

Нарядная толпа, наслаждаясь предвечерней прохладой, беспечно гуляла по панели. На углу Барятинского подъема у стеля «Мажестик» рыжий кинто с расстегнутым воротом, скаля зубы, предлагал изумительные розы: «Сам играет! Сам танцует! Сам поет!» Над кино-театром «Миньон» вспыхивали огни реклам. В огненном кольце несравненная Вера Холодная лила глицериновые слезы. «Молчи, грусть, молчи!» — кричали желто-зелено-лиловые буквы. Оглушая проспект разгульными криками, проносились в экипажах особо-строгие.

Беспокойные сумерки сменял веселый вечер. Оживали «Фантастический кабачок», «Ладья Аргонавтов», «Синяя жаба», «Пазлинний хвост».

«Ночью над Тифлисом пыль стоит
столбом,
В ноги Дионису Мордкин бьет челом...»

И вдруг над проспектом рассыпалась белая стая. Множеством распластанных крыльев закружились листовки, падая на

деревья, шляпы, тротуары. Потянулись руки любопытных. Прислонившись к фонарю, окруженный знакомыми и незнакомыми франт патетически декламировал заголовок: «Немцы хотят поставить на колени грузинский народ». И, постепенно понижая голос, прочитал все, о чем накануне Ладо Абуладзе узнал от Аратова.

Старик, молодая дама, гимназист, трамвайный кондуктор, парикмахер, кельнер, швейцар читали листовки, передавая их друг другу. Толпа увеличивалась, шумела, смеялась, грозила, негодовала. А листовки сыпались, как снег, с купола военного собора, с крыш Первой гимназии, с чердака «Ориента», из слухового окна «Артистического общества», с балкона Казенного театра...

Стаями гончих носились особоотрядчики, милиционеры:

— Расходись!

— Бросай листовку!

Защелкали по булыжнику копыта, свистнули нагайки. Публика шарахнулась в подъезды, кафе, рестораны, в летний дворянский клуб. На столиках лежали бумажные салфетки с текстом:

Ты из Берлина ждешь конфетку?
Переверни скорей салфетку!

Под салфетками те же листовки: «Немцы хотят поставить на колени грузинский народ!.. Принц Рупрехт спешит занять трон царя Ираклия!..»

В летних театрах со спинок кресел свешивались программы:

Переверни скорей программу:
Тебе барон сфонгроссил яму!

Под программой — те же листовки: «Немцы хотят поставить на колени грузинский народ! Меньшевики, ослепленные своим величием, потворствуют князьям-помещикам...»

В почтовые ящики и квартиры, на полки магазинов, в конторы, в приемные министерств — всюду проникали листовки, сея тревогу и пробуждая ненависть.

Особый отряд неистовствовал. Арестовывали, допрашивали, избивали, бросали в метехские камеры, но обнаружили только на плоской крыше «Мажестика» несложное сооружение: длинную доску с прикрепленным ведром.

— Ларчик просто открывался, — доносил начальник оперативной группы, — преступные листовки слетели с доски после перемещения точки равновесия, вследствие убыли воды из продырявленного ведра.

ГЛАВА 30

В будничный день на тифлисском вокзале выгрузились прибывшие из Загана грузины, измученные, истощенные, но радостные. Они вернулись на родину. На платформе не звучали ни оркестры, ни речи. Солдаты беспомощно озирались: станционный служащий прилаживал к зеленой кадушке цепочку с оловянной кружкой, сидя на перилах, носильщик равнодушно щелкал орехи.

Куда итти? Два незнакомца подошли к солдатам. Один из них, Миха, звучно выкрикнул: «Дзагания! Чикаберидзе! Канчвели!» Торопливо протиснувшимся к нему друзьям он сказал, что после долгих мытарств удалось получить разрешение военного министра на отдых земляков в казармах бывшего гренадерского Мингрельского полка. Там заготовлена и еда. А Симонэ, слегка понизив голос, добавил несколько отрывистых фраз. Лицо Дзагания просветлело.

— Передай Ладо, придем. Вот только устроим товарищей, мы ведь старосты.

Построившись, солдаты попробовали петь, но песня быстро оборвалась. Стуча разбитыми сапогами по деревянной лестнице, они сошли в родной город.

Не прошло и двух дней, как стали к казармам подъезжать авто и фаэтоны. От совета министров явился эмиссар Коста, уговаривая «заганцев» пополнить доблестные ряды Особого отряда. Полковник Амилахвари хвалил за отказ образовать «Легион святого Георгия» под немецким знаменем и предлагал войти в Грузинскую конную бригаду. Особенно настойчиво убеждал министр труда понять сложность момента, облегчить работу транспорта и фабрики, для этой благородной задачи спуститься в шахты Ткибульских угольных копей и Чиатурских марганцевых рудников.

Солдаты слушали холодно, поглядывали на старост и сдержанно отвечали: «Отдохнем, подумаем».

— За встречу спасибо — сразу дома себя почувствовали, — саркастически добавил Чичинадзе.

Коста взглянул на рассеченное ухо угрюмого солдата и прошептал: «Санкилот!»

Солдаты говорили мало: было скучно, стесняла рваная одежда, отсутствие денег. Они видели веселые огни театров и садов, шумную нарядную толпу, сторонившуюся их, и горькая обида все больше теснила грудь. И вот как-то ранним утром группа солдат заявила, что уходит в свои деревни. Дзагания уговаривал подождать до встречи с тифлисскими рабочими: вместе солдаты — сила, а с каждым в отдельности никто и считаться не будет.

Старосты уже успели повидаться с Ладо. Они многое узнали от него. Но триста сорок солдат упрямо твердили: «Истосковались по семьям, по земле, надоело все — неволя, война, тоска. Манит спокойное поле с прохладной росой, близкие люди с горячим сердцем»... Только в одном поклялись они старостам: немцы им до самой смерти враги. Взволнованно простились и ушли. Еще раньше разбрелись по домам тифлисцы. Осталось тысяча сто человек.

Это была суровая солдатская масса, крепко знающая, какому делу отдать свой гнев и свою радость.

Встреча с выборными предприятий произошла в ближайшее воскресенье за городом, около Черепашьего озера.

Миха и Симонэ высказали, какие надежды возлагаются на прибывших и какую моральную и материальную помощь могут им оказать. Солдаты продолжали неподвижно стоять, выстроенные по-ротно, по-эскадронно и по-батарейно. Огромное солнце бросало косые пыльные лучи на притихшее озеро, точно синий щит, лежавшее в серебристо-зеленой оправе камышей.

Дзагания пытливо оглядел солдат. Он знал, как хочется землякам в кипучих словах выразить свою ненависть, донести невыразимость страданий, пережитых ими в немецком застенке, и поразительную силу чуда, приведшего их сюда.

— И что же мы нашли здесь?! — вскочив на камень, воскликнул гренадер Перцхулава. — Снова немцы хотят господствовать над нашей судьбой! Не надо разговоров, если сердцем солдат не чувствует, за что сражается, если оружие его не бьет в цель. Эй, Мзитури, какой хищник когтями сдирал с тебя кожу?!

Мзитури засмеялся, сизые рубцы на его лице побагровели, и он стал страшным:

— Не обижай хищника! Пусть гуляет на здоровье в горном лесу... Лучше я про немца расскажу: один раз грузил я уголь, как каторжник, вдруг странное произошло — вагоны вокруг меня заплясали, как живые, подбежал обер-лейтенант, и я не успел отдать ему честь. Схватили меня, одежду содрали, а на дворе снег. Били воловьими жилами, потом вздернули на столб, обвитый колючей проволокой! Шипы в тело впились — я не кричал. Плевали — не молил о пощаде. Тогда подвесили за руку и ногу вниз головой. И хлынул на лицо мое дождь, липкий и красный...

И точно из теснин прорвался у солдат яростный поток воспоминаний о том, как бросали на пятнадцать минут в чан с кислотой, обжигающей кожу, как грубыми щетками, намоченными в воде с песком, до крови растирали спину, как на рубчатом полу, засыпанном осколками кирпича, заставляли часами стоять на коленях, с вытянутыми вперед руками, как запирали в сарай, наполненный трупами, как втискивали нагих в жестяной проб, плотно завинчивали крышку, пробурив два узких отверстия для воздуха, как заставляли непрерывно маршировать в тесном коридоре из колючей проволоки и как вынуждали целыми ротами ползать в грязи по нескольку часов в день.

Угрюмыми вдруг стали горы, где-то за Цхнетами защумели леса, а в пустых синих далях полыхнул ветер, и грозно поднялся Казбек в сверкающем белом шлеме.

А солдаты всё не умолкали, и Миха почувствовал, что уже сердце разрывается от ужаса.

Возвращались в город рабочие с такими истерзанными душами, точно они сами только что перенесли утонченные муки немецких «цивилизаторов».

Горячо обсуждали, совещались несколько дней. Наконец, члены бюро решили временно рассредоточить бывших военнопленных: двести семьдесят спустятся в шахты, сто разойдутся по тифлисским и кутаисским предприятиям, сто направятся в горийский гарнизон, десять в меньшевистскую жандармерию — особый отряд, пятьдесят в Кахетию — Лагодехи, Сигнах, Телав, сто в Озургеты, Ланчхуты и Очемчири, сорок в Абхазию — Сухум, тридцать в Душетский уезд и четыреста в тифлисскую конную бригаду князя Иллариона Амилахвари.

Предостерегающие рассказы об «ангелах мира» разожгут ненависть грузин к немцам. А когда прозвучит сигнал тревоги, все должны тотчас же явиться в указанные пункты, соединиться в три повстанческих отряда под командованием Дзагания, Канчавели и Чикаберидзе.

— Время трудное, и дела предстоят трудные. Кому не под силу биться за власть советов, пусть уходит сейчас. А кто твердо решил отдать свою жизнь святому подвигу, пусть помнит: наши деды никогда не изменяли боевой клятве! — закончил свою речь Дзагания.

— Товарищи и старосты! Нам оказана большая честь, и партия не пожалеет, приняв нас в свою боевую семью,—ответил ему Чичинадзе от лица всех солдат.

Тквибульские копи были для министра труда нестерпимее зубной боли. А фон Гросс все сверлил, сверлил устно, письменно, по телефону: «уголь необходим... Повысить добычу необходимо... Взяться за шахтеров необходимо... Продвигать немецкие эшелоны необходимо...» Как будто бы министр сам этого не знал...

Уже пол-Тифлиса погрузилось в темноту. Отменили поезда: сперва скорые, потом пассажирские, затем почтовые и, наконец, товарные. Запасы каменного угля на складах уменьшались, и фон Гросс снова сверлил: «преступно допускать закупорку движения на линиях к черноморским портам. Преступно задерживать эшелоны с марганцем для Германии. Министр метался, не зная, что предпринять.

И вдруг двести семьдесят шахтеров! Как не распить с Коста за обедом лишнюю бутылку «Сазро»! Теперь на тквибульских копях две тысячи рабочих!

Вновь прибывших углекопов встретили, и радуясь и сожалея. Весенние ливни прошумели стороной. Свежий воздух не проник в шахты, электричество не осветило темные норы, где сверху накрапывал подпочвенный дождичек. Все приходило в ветхость. По непрочным лестницам спус-

кались в черные провалы. В глубоких штольнях, лишенных вентиляции, скапливались гремучие газы.

Голодные и молчаливые углекопы втискивались в шахтерскую столовую, похожую на грязный, темный трюм. Прежде здесь едва помещалось сто человек, теперь — пятьсот. По нескольку месяцев углекопам не платили. Они пробовали усовестить губернского комиссара труда, добиваясь коллективного договора, но тот успокаивал: «лучшее будущее не за горами».

— О-го-го! Здесь не на много приятнее, чем в Загатском лагере! Но скулить в кулак бесполезно! — говорил Чичинадзе старым шахтерам. — Змея жалит того, кто ее боится. Вот вы говорите, комиссар труда направил вас в примирительную камеру, а что она вам даст? Вместо угольной пыли — золотой песок?

Шахтеры разводили руками: «прислали министры воззвание, взывают к патриотическим чувствам, убеждают не подрывать экономику молодой республики, — особенно теперь, когда надо срочно выполнять обязательства, данные Германии».

Солдат взорвало: «Черт побери, избавятся ли они, наконец, от проклятых немцев?! Надо немедленно связаться с бюро».

И вот в одно из воскресений приехали Миха и Симонэ. Они привезли разработанные Ладо точные инструкции и деньги. Тут же Чичинадзе и старые углекопы образовали стачечный комитет.

Прошла неделя, другая. Примирительная камера, губернский комиссар, министр труда оставались равнодушными. Стачечный комитет объявил забастовку.

Требования были наименьшие: повысить заработную плату на 50%, соблюдать элементарные условия охраны труда и заключить коллективный договор. В случае согласия правительства копи обязуются ежедневную добычу в 284 тонны повысить до 584 тонн.

Шахтеры не шли ни на какие уступки. А фон Гросс все повышал голос...

Фруктовая лавчонка, открытая Иванэ на Михайловском проспекте, торговала бойко.

Лавчонка прославилась на весь околоток не только лучшим товаром, но и лихими усами Дзагания, прибаутками Чикаберидзе, добрыми советами Канчавели и щедрым «бешкеш» Иванэ. Вот почему не только покупателям, но и блюстителям порядка не приходило в голову, что в этих корзинах, ящиках, хурджинах и жбанах, вывозившихся из лавчонки под видом пустой тары, доставлялись в самые отдаленные уголки Грузии, особенно туда, где находились бывшие военнопленные, листовки и брошюры. Весь этот непортящийся товар попадал из подвальчика Ладо в темный чулан бакалейной лавчонки «Иванэ и К°».

ГЛАВА 31

Наконец в Ткибули пришел ответ правительства. Углекопы и смеялись и возмущались: «В своей семье незачем утаивать маленькие неприятности», сердечно сообщал министр. «Финансовый кризис не позволяет государству выполнять денежные обязательства, поэтому забастовка на этой почве бесцельна. Относительно же других пунктов министры предлагают учесть политический момент и не шутить с Германией».

Возмущенные шахтеры решили двинуться в Тифлис и разгромить министерство труда. Но стачечный комитет строго запретил стихийные выступления.

Жандармы взяли под наблюдение железнодорожную линию от станции Рион до станции Ткибули. Выполняя приказ Вурцбахера, колонисты из особого отряда настороженно следили с Накеральских отрогов за копями.

Но горец невидимо для врага проберется сквозь накаленные солнцем горы, где цепляются за камень кусты Сумаха и гнездятся ящерицы. В крутых скалах возле Кутаиса он найдет верное убежище в сталактитовых гротах, а речка Ткибули проведет его бревенчатый плотик сквозь тоннель с одной стороны горы на другую.

Так Миха и Симонэ доставили шахтерам хурджины, наполненные чурчхелами и лавашами, под которыми лежало составленное Ладо предложение правительству, ввиду его финансового недуга, передать Ткибульские копи в руки шахтеров...

Прошло три кипучих дня. Тифлис запестрел новыми афишами: «Грандиозный бал-концерт-балет. В пользу альманаха «Юные порывы». Веселый пикантный фарс «Радий в чужой постели».

В кафе «Красная Сова» бушевали поэты:

— ...Хаос — таинственная грань бытия и небытия! — настаивал один с профилем эллина и тщательно прилизанным пробором.

— Чушь! Сновидение! — Бледный, с черной бородой и бриллиантиком на мизинце, перегнулся через столик. — Я, как поэт грядущего, утверждаю: рифма, найденная мною, выявляет экстаз вскользнутой души. Моя гениальная Астарта и Карта...

— Профанация! — «эллин» брезгливо отодвинул свой котелок. — Необычайная страсть таких творцов, как вы, к оплодотворению, рождению, воплощению и оформлению исключает стройность и солнечную осветленность душевного ритма — светлое ликование Гомера...

На тумбах извивались пестрые афиши: «Роман цыганочки». «Оттолкнул он меня, растоптал он цветы». «Тифлисский листок». «Всем! Всем! Всем! Зал консерватории. В сегодняшнем диспуте о мужчине для анкеты выработаны следующие вопросы:

1. Какие черты современного мужчины должны исчезнуть?

2. Можете ли вы отметить в мужчине после войны и революции черту рыцарства?

3. Требуете ли вы единоженства от мужчины будущего?

4. Кто в современной семье не хочет детей — мужчина или женщина?

Основной тезис выступления Нины Нелединской сводится к тому, что гармоничный мужчина, существовавший в античном мире, теперь исчез и все мужчины распадаются на два основных типа — Дон-Жуана и Гамлета...»

— ...Быть или не быть? От угольной промышленности зависит благополучие грузин! — сухо произнес глава республики. — Вам, как министру труда, не следовало вербовать бывших пленных. Эти господа занесли в шахты микробы коммунизма. Довольно реверансов!..

А фон Гросс уже свирепел. Ежедневно от Людендорфа летели шифрованные радиограммы.

На западном фронте Людендорф и Гинденбург снова бросили на Марну германскую армию. Ценою огромных потерь и напряжения им удалось форсировать упрямую французскую реку. Но войска Антанты просекли дальнейшее наступление. Людендорф настаивал, чтобы немецкие генералы на востоке, оккупировавшие Белоруссию, Украину, Дон и Грузию, предельно использовали местные ресурсы.

Генерал фон Гросс готовился к решительным действиям.

Искусственные пальмы тяжелыми опахалами спускались над конторским бюро. На сине-желтых рекламных плакатах коммерческие пароходы с немецкими названиями везли из Германии в колониальные страны чудесный шоколад, тончайшее сукно, роскошный трикотаж, прочные машины и станки.

За бюро восседал герр Цугмайер, перед ним были разложены образцы товаров, доставленных только что приехавшим Курцем. Но это, конечно, был не шоколад. В коробках с золотыми ярлыками не желтело даже суррогатное кофе. Образцы химической бумаги, заменяющей в Германии ткани, рекламировались как тонкое сукно, а вместо сельскохозяйственных машин и заводских станков сгружались перочинные ножики и прочая стальная мелочь.

Герр Цугмайер с помощью счетной машинки высчитывал, сколько за принудительное размещение немецких товаров он вывезет из Грузии марганца, шерсти, хлопка, табака и вина.

В хозяйственном отделе толпились коммивояжеры и купцы из городов и местечек Грузии. А в смежном помещении, официально называемом товарным складом хозяйственного отдела, происходило нечто удивительное.

Отобранные Вурцбахером пять колонистов самых верных фамилий окружили Курца. В белом халате и резиновых перчатках он был похож на хирурга, который показывает студентам сложную операцию. На самом же деле Курц демонстрировал перед молодчиками действие химических препаратов.

В клетках метались отравленные кролики, мыши, судорожно дергались лягушки. Курц хладнокровно вонзал в тело животных тонкую иглу шприца. В углу тряслась в мальтийской лихорадке овца.

— Отработанная таким образом овца, — вещал Курц, — способна заразить целое стадо. И ни один ветеринар не сумеет поставить правильный диагноз. Продуктами зараженных экземпляров, как-то: маслом, сыром, молоком, можно скосить население целых кварталов. И ни один эксперт не сумеет открыть причину. Таким образом мы безболезненно для себя лишим наших противников рабочих рук и здорового потомства. Теперь можете взять шприцы и приступить к практикуму.

Наблюдая за учениками, Курц снял резиновые перчатки, поправил яркий испанский галстук...

В нейтральной Испании Курцу жилось превосходно. Служба «S» в Мадриде ничем не отличалась от приятной службы в германском посольстве, в Бильбао она протекала под вывеской комиссионной компании. Он как директор имел пятерых высококачественных помощников в главных городах Испании. Душу радовал четкий аппарат германского центра, сбосновавшегося в Мадриде. Во главе стоял он «Vetrauensmann» — «договоренное лицо», за ним следовал «Agentenschlepper» — «секретарь», потом «Beobachter» — «простой наблюдатель», и, наконец, цепочка агентов. Фирма щедро субсидировалась из Барселоны, через посредство морского атташе, банком «Алеман Трансатлантико». А какие операции удалось проводить способом «S», «E» и «B»! Треск от разрушенных пиринейских гидростанций слышен был, наверно, в Испанском Марокко! Провокации анархистских покушений, особенно в районе Сета, были им, Курцем, проведены ювелирно. А подготовка уничтожения Доминго и железной дороги вдоль реки Гвадиана?! А разрушение заводов взрывчатых веществ в Лиссабоне и Опорто?! Кто скажет, что это дело человеческих рук, а не дьявола? А диверсионные действия в рудничном районе Помарао? А ликвидация тоннеля, под обломками которого развалился поезд с военными материалами? А солидная история с крошечным «динамометром»?! Заведенный механизм ровно через пять дней начал действовать в трюме греческого паро-

хода «Микелис», отправив его на дно вместе с тысячами тонн испанской руды. Напрасно неистоствовала международная полиция, концы диверсии были погружены глубоко в Бискайский залив... Ну, а экспорт лошадей из Аргентины? После обработки препаратами «S» бедные животные прибыли во Францию в виде трупов. А четыре тысячи пятьсот мулов, отправленных в Месопотамию? Они получили такую солидную обработку, что даже кожа их превратилась в труху.

Все складывалось блестяще. Ему уже обещали выплачивать ежемесячно пятнадцать тысяч марок. Но радужное настроение нарушил приезд коммерсанта из Швейцарии. Герр коммерсант привез партию карандашей, термосов домашних алтарей и игрушечных домиков. Конечно, этот богатый набор товаров не подлежал продаже. «Карандаши-взрыватели» попадали на письменный стол неугодных политических деятелей. «Аресторы», вложенные в термосы, успешно взрывали гидравлические установки. «Игрушечные домики», оставленные в укромных уголках, превращали промышленные здания в пыль. Но «домашние алтари» были особенно удобны. Они ставились в спальнях доньи Клары, или доньи Рез, или красавицы Пепиты, которые слишком много знали о тайнах германского двора и отвиливали от дальнейшего добывания сведений у своих мужей и любовников — донов, министров, инфантов, герцогов, офицеров хунты и аристократов из кортесов. После религиозной обработки доньи умирали от разрыва сердца и находили вечное успокоение на живописных кладбищах.

Вместе с приятными игрушками прибыл пакет, испещренный цифрами стоимости полученных товаров. Но после расшифровки там оказалась инструкция, положившая конец блаженству Курца в Испании. Рекомендовалось в предстоящем деле использовать «Бранд» — пожар. И вот однажды Курцу пришлось прервать опыты на фабрике Фликса в Силле, близ Валенсии. А он уже почти добился химической обработки бананов и апельсинов, лимонной кислоты, апельсиновых сиропов и жмыхов из апельсиновых косточек. На эти опыты Берлин не пожалел пятисот тысяч песет...

И вот, играя с огнем, он, Курц, перестарался. Удачно подпалив нефтяные промысла Тампико в Мексике, он вместе с благодарностью получил новое назначение в небезопасный Тифлис, где должен перебросить огонь на бакинские промысла... Конечно, это в том случае, если не удастся захватить Баку. Одно утешение, с Бурцбахером легко и удобно работать. О, этот Бурцбахер, он взлетит высоко!..

Обменявшись приветствиями с Цугмайером, фон Гросс торопливо прошел в кабинет хозяйственного отдела. За ним последовал Курц.

Обсуждение угольной проблемы длилось недолго. Они одинаково мыслили и одинаково жаждали нагрузить длинные составы тквибульским углем.

Предложенная Бурцбахером мера воздействия, с дополнениями, заимствованными Курцем из испанской практики, была одобрена генералом.

После совещания обер-лейтенант направил мерседес в военное министерство, а генерал свой черный бенц во дворец.

— Господин министр-президент, — сухо сказал фон Гросс, — несмотря на все красноречие министра труда, углекопы бросили шахты. Не следует ли силой принудить их к работе?! Неприменение энергичных мер равно преступлению перед государством. В наших общих интересах я вынужден действовать самостоятельно, если вы...

На следующее утро газета «Борьба», правительственный официоз, взывала к тифлисцам:

«Забастовка на копях в данное тяжелое для народных масс время, да еще вследствие незакономерных с точки зрения правильно понятых интересов рабочего класса требований, должна быть заклеймена, как акт предательства по отношению к республике и демократии».

С моралью выступила и газета «Эртоба»:

«... Законность, свобода собственности и отрицание всяких большевистских экспериментов — вот наши великие принципы!»

Но тквибульцы в шахты не спускались, а грузинский пролетариат своим молчанием подчеркивал солидарность с шахтерами.

Взбешенный бессилием правительства, фон Гросс приказал Бурцбахеру возглавить карательную экспедицию.

На утро из Сурамского тоннеля вынырнул поезд с немецкими жандармами. Миновав Гелати и Серные Воды, каратели устремились к Тквибули.

Ни затейливость Красной речки, ни легендарный грот Язона, ни тем более величие Гелати, конечно, не привлекали внимания Бурцбахера и Тиглера. Они ревновали друг друга к будущей славе усмирителей Грузии. Живописная дорога казалась им и нудной и бесконечной.

От железнодорожного полотна на станции Тквибули жандармы свернули к копям. Бурцбахер хлыстом сбивал листву, мурлыкая: «Комм, Карльхен, комм!»

Подойдя к рудникам, он выслал дозоры, но они вскоре вернулись: поселок пуст. Бурцбахер скомандовал:

— Вольным шагом! За мной!

Бараки были открыты настежь, в столовой скамьи перевернуты. Администратор рудников растерянно разводил руками...

Шахтеры, захватив жалкие пожитки, разбрелись по окрестным деревням. Их щедро там угощали, укладывали спать на

тофяках из взбитой овечьей шерсти. И когда жандармский отряд появился в деревне, ближайшей к железнодорожной станции, крестьяне наотрез отказались указать, какие деревни их укрыли.

Вурцбахер пришел в бешенство, но Тиглер, презрительно оглядев обер-лейтенанта, забрался в помещение сельского комиссара и организовал там полевую канцелярию. Он загодя вызвал катринфельдцев в Тквибули, как только возник конфликт с шахтерами. Молодчики разбрелись по деревням и со всем рвением приступили к вылавливанию «анархистов». Забирались в амбары, рылись в закромах и подвалах, штыком прощупывали скирды. Пойманных приводили в угольный сарай, усиленно охраняемый караулом.

Сгорая от зависти, Вурцбахер поспешил обосноваться в конторе рудников. Он собрал учеников Курца, следовавших в особом вагоне, и строго запретил им выполнять какие-либо поручения Тиглера. По инструкции они обязаны подчиняться только ему.

Работа закипела. Все шло хорошо. Но неожиданно агент № 13 воспротивился:

— Зачем портить полезный скот? Не лучше ли погнать его в колонию Новый Тифлис?

Вурцбахер напомнил об уставе службы «S»: позиноваться беспрекословно. Но агент категорически отказался: «герр Курц утверждал, что смысл всей этой механики — искалечить скот врага, а мирный скот должен приносить пользу немцам».

Обер-лейтенант пристально посмотрел на квадратное лицо с белой щетиной и подумал: «это как раз то, что нужно».

— В твоих словах есть смысл... Ты разузнал, кто здесь больше всех вольнодумствует?

— Учитель Абашели, — поспешил сообщить агент, — господин эмиссар выдвигал его в попечители, а он... Ну, и глупцы бывают, герр обер-лейтенант!.. Попросился в деревню и учит здесь оборванцев любить не только все грузинское, но и все русское.

Вурцбахер предложил агенту проводить его к дому учителя. У изгороди из кизиловых прутьев они остановились.

В узком окне горел огонь под зеленым стеклянным колпачком. Пропустив агента вперед заглянуть в окно, Вурцбахер вынул браунинг, приставил к его упругому затылку и спустил курок. Агент, не крикнув, повалился на изгородь.

Когда на выстрел сбежались крестьяне, Абашели взволнованно кричал:

— Вон за этими деревьями скрылся человек в кованых сапогах.

Жандармы в ярости хотели разнести деревню, но Вурцбахер строго напомнил, что первая их цель — водворить тунеядцев в шахты, вторая — выловить большевиков, повинных в отвратительном преступлении.

Учителя арестовали, избили, бросили в подвал.

Тянулась мрачная ночь. По дорогам скакали немецкие жандармы. Лучи фонарей рыскали по дверям. Стучали приклады, и из окрестных деревень в полевую канцелярию сгонялись арестованные. В этой тревожной темноте не слышно было даже лая собак. А утром деревня огласилась страшными воплями. Во многих дворах валялся подохший скот, собаки, птицы. В загоне учителя тряслись в малярийной лихорадке две овцы и, нелепо шатаясь, бродил по двору серый баран.

По всем окрестным деревням, где скрывались шахтеры, появились листки с крестом:

— Внимание! Начальник германского отряда объявляет:

«Большевики провокационно восстанавливают шахтеров против правительства, сеют смуту, призывают к насилию. Эти злодеи вчера убили немецкого солдата, а сегодня ночью отравили крестьянский скот. Жандармам удалось выловить главных подстрекателей. И если через двадцать четыре часа шахтеры не спустятся в шахты и не приступят к работе, то этим они докажут, что пойманные и есть большевики, которые за совершенное злодеяние будут всенародно расстреляны.

Обер-лейтенант Вурцбахер».

На площадку перед рудниками жандармы и молодчики Тиглера вывели арестованных. Угрюмо стекались к рудникам забойщики, сортировщики, откатчики, крепильщики. Они не сразу узнали в заложниках землемера, агронома, нескольких почетных крестьян. Одежда висела на них клочьями.

Чичинадзе с трудом сдерживал бывших военнопленных. Сейчас лучшее оружие, уговаривал он, мнимая покорность. Но сигнал скоро прозвучит.

Толпа росла. Шахтеры молчали, охваченные глубоким волнением. Тиглер отдал распоряжение дать по шахтерам пулеметную очередь — «для острастки!» Но Вурцбахер воспротивился:

— Сейчас мне нужен уголь!

Две тысячи шахтеров безмолвно взяли тусклые лампы и спустились в рудники. С гор дул знойный ветер, подымая угольную пыль.

Вурцбахер приказал администрации повысить ежедневную добычу угля с 280 тонн до 580, хотя бы для этого пришлось работать в сутки все двадцать четыре часа. А Тиглер оставил в помощь администрации отряд колонистов.

Опьяненные победой над углекопами, Тиглер и Вурцбахер, отправив пятое донесение фон Гроссу, решили пройтись огнем и мечом по деревням, расположенным вокруг Тквибули.

Учитель от кары ускользнул. Притащил же чорт в деревню губернского комиссара труда. Официальный демократ засвиде-

тельствовал, что в момент выстрела учитель читал ему куплеты какого-то Чавчавадзе:

«С тех пор, как полюбил я Грузию
родную,
Я потерял навек и сон свой и покой...»

Непредусмотренный факт! Учитель помчался в Тифлис жаловаться. Пусть... Но надо наказать виновных. Необходимо обезвредить опасные берлоги, чтобы шахтеры не могли найти там хлеб и убежище. А беспощадная контрибуция отучит туземцев от глупого гостеприимства.

Вурцбахер, напевая «Комм. Карльхен, комм!», самодовольно думал: «И фон Гросс не останется в обиде, и Германия наполнится добротным углем. И сам генеральный штаб оценит, наконец, дипломатический талант обер-лейтенанта Вурцбахера».

Но совсем неожиданно примчался штабной адъютант. Он сухо поведал обер-лейтенанту и герр философу приказание его превосходительства фон Гросса немедленно с жандармами вернуться в Тифлис.

ГЛАВА 32

Очередная почта из Берлина опровергла утверждение коварных англичан, «будто даже плохой ветер может принести что-нибудь хорошее», и принесла, помимо неутешительных сводок с Марны, неприятный сюрприз из генерального штаба.

Фон Гросс отбросил сигару, оттянул тугой воротничок и снова перечитал отповедь:

Строго секретно.

Начальнику императорской делегации на Кавказе генерал-майору фон Гроссу.

Тифлис.

Ваше превосходительство.

Третьим отделом получена информация о текущих событиях в Грузии.

Вам, колониальному офицеру, достаточно известно, каким ореолом величия должна быть окружена военная квартира представителя кайзера.

Соответствует ли ваше непонятное внимание к доктору Тиглеру, именуемому агентом № 419, положению начальника императорской делегации?! В Грузии надо считаться с историческим развитием, а также с особенностями географического положения и обычаев страны.

Тифлисцам полезно знать Тиглера, как собирателя кишок, но генералу фон Гроссу совсем не полезно затруднять грузин загадкой: почему собиратель кишок бесцеремонно гуляет по официальной квартире его превосходительства фон Гросса.

К тому же обращаем ваше внимание, что генеральный штаб, давая своим заграничным агентам полную свободу в их диверсионных предприятиях, в то же время бдительно контролирует их в политических вопросах, сдерживает полеты их фантазии и во-время умеет возвратить к реальности.

Открытое политическое вмешательство, незамаскированное оглашение идей «крови и железа» рассматривается штабом, как грубое нарушение Тиглером основной инструкции и границы между разведкой и пропагандой.

Мы вынуждены напомнить, что наша задача — утвердиться на Кавказе, изолировать Советскую Россию и, завладев Баку, очистить дорогу в Индию.

При проведении столь важной государственной операции, необходимо поднять авторитет «ангелов мира», умело распределяя угрозы, лесть и деньги.

В этом свете особое значение приобретает на Кавказе служба «S».

Но способный офицер Вурцбахер решил стать не только практиком, но и теоретиком. С необъяснимой легкостью Вурцбахер присвоил великие идеи князя Бисмарка, высказанные «железным канцлером» 30 апреля 1863 года в тайной беседе с профессором Блунчли — членом таможенного парламента от баденского населения.

Этот плагиат, приправленный личным бредом, обер-лейтенант рискнул прислать под своею подписью.

Чужая теория может привести Вурцбахера к неограниченной для данного момента практике. Поэтому рекомендуем для излечения офицера заполнить его жизнь прямыми обязанностями, не оставляя времени для умственных извращений.

Дальше следовала подпись, которую фон Гросс избегал перечитывать. Он хмуро стряхнул с сигары пепел и вопрошающе посмотрел на вошедшего князя Иллариона, точно видел его в первый раз. Но князь этим ничуть не смутился. Удобно устроившись в кресле, он спокойно стал докладывать о готовности монархических офицерских отрядов.

— Действуйте, — сказал генерал, слегка оживляясь, — ротмистр Аратов в дальнейшем будет способствовать вашему предприятию. Капитуляция республиканских правителей, этих господ, лишенных дарования и выправки, принесет вам немецкий орден высшей степени. Но помните: до «акт финаль» германское командование не вмешивается во внутренние дела Грузии...

В Тифлис начали съезжаться офицерские группы из различных гарнизонов Грузии. Илларион заверил военного министра в успешной организации кадровой армии. Все идет великолепно! Дивизии приобретают маневренную гибкость, крепнет тактическая и стрелковая выучка! Сейчас офицеры в столице проведут под руководством полковника Амилахвари стрельбы.

Военный министр, любуясь выправкой Иллариона, пообещал ему, после инспекторского смотра, золотую шашку и пост начальника штаба.

Бурдбахера поразил холодный прием в особняке императорской делегации.

Генерал, вместо похвалы и приглашения на завтрак, грозно обрушился на офицера за превышение власти. Особенно ему попало за избиение учителя, паршивого ябедника. Но этого мало: фон Гросс приказал, не выходя две недели из кабинета службы «S», принюхиваться к запаху бакинской нефти.

Тиглера генерал совсем не принял, передав через адъютанта, что доктор своей необузданной фантазией пачкает крылья «ангелов мира». Впредь, если это будет необходимо, Тиглер будет вызываться в служебные часы.

Оглянувшись на захлопнутую швейцаром дверь, Тиглер спокойно сдунул пылинку с котелка.

– Слепой сапог! Ты для Германии вчерашний день. Доктор Тиглер — завтрашний!

Тиглер был настроен мрачно. Он не ожидал такого результата от подавления тбилисской забастовки.

В массивную дверь постучал Аратов. Деньги за квартиру? Похвально, но напрасно господин ротмистр беспокоился. Тиглер сам любит обходить жильцов, тем более что их стало меньше.

Ротмистр оборвал разглагольствование Тиглера, бросив на пыльный стол футляр со старинными рубиновыми серьгами:

– Квартира вещь второстепенная. Покупайте!

Тиглер скосил глаза:

– Интересуюсь только бриллиантами.

– Последний бриллиантовый перстень, подарок деда ко дню свадьбы генерала Аратова, вы извлекли до моего приезда съесть задарма. Я его видел на пальчике фон Гросса.

– А эти булыжники за сколько я должен съесть?

– Тоже задарма. Подпишите: квартирную плату за пять месяцев получил...

– Что-о-о?! Ну?! Молодой человек!

– Я для вас господин ротмистр! Прошу больше не ошибаться! Да, куда я запрятал расписку? Я ее заранее приготовил...— Аратов обшарил боковые карманы френча, достал револьвер, повертел и, словно не замечая побледневшего лица Тиглера, сунул обратно в карман.

Тиглер взялся за вечное перо.

– Стоп! К этому добавите пятнадцать тысяч!

– Как вы изрекли?! — капли пота усеяли лоб Тиглера.

– Пятнадцать тысяч!

– Какой прикажете валютой?—насмешливо прохрипел Тиглер. — Может быть, немецкими марками?

– Нет, грузинскими бонами!.. Впрочем, могу рискнуть... Ну, скажем... пять тысяч марками по курсу дня, а остальные...

– Рискнуть?! Что это значит?!

– Значит дела грузинских монархистов гораздо лучше, чем вам хотят показать.

– Так! Я начинаю догадываться. Господин ротмистр хочет продать мне, как говорят русские, шило в мешке.

– Не шило, а кота: может расцарапать.

– Что вы знаете?

– То, чего вы не знаете!

– Дам пять тысяч и подпишу расписку.

– Не пройдет. Мне, по всей вероятности, придется совершить небольшое путешествие. А без меня бы, герр философ, постараетесь моих стариков пустить в трубу! Размышляйте!.. Грузинские монархисты щедрее. Для них, действительно, разговор серебро, а молчание золото.

– Мне все известно.

– Даже перемена жениха для светлейшей Мананы?

Тиглер выпучил глаза. Он пытался выведать хотя бы часть тайны. Но Аратов захлопнул футляр с серьгами и направился к дверям. Тиглер засуетился. Он, конечно, согласен, если тайна этого стоит, он подпишет расписку, но половину отдаст вперед, а половину после приобретения тайны.

– Не валяйте дурака! — оборвал Аратов. — Тоже коммерсант! Раньше слопает кошачью колбасу, а потом пообещает за нее уплатить. И решайте скорей! Завтра, пожалуй, будет поздно. Сегодня на весы, вместо гирь, брошено ваше благополучие, а на другую чашу ваше поражение.

– А на какую чашу ваша тайна?

– Есть замечательная чаша. Из нее Манана выпьет свадебное вино, скажем, но... с принцем Рупрехтом.

Тиглер юркнул в смежную комнату. Щелкнул замок. Он быстро вернулся, сердито бросил на стол пять тысяч марками, десять грузинскими бонами. Аратов не спеша пересчитал деньги, попросил переменить слишком засаленную марку и рассовал бумажки по карманам. Насвистывая, полюбовался лубочной картиной — красавица-ведьма верхом на метле мчится на шабаш, побарабанил по фаянсовому чайнику и многозначительно остановился перед запертой дверью в потайное логово.

Тиглер то бледнел, то покрывался лиловыми точками. Наконец, Аратов, облокотясь на стол, сообщил о предстоящем в ночь на сегодня перевороте.

– Все это мне известно! — раздраженно перебил его Тиглер.

– Не торопитесь. Переворот состоится не с помощью германского командования. А следующее действие праздничного представления: германское командование вежливо попросят удалиться, ибо новый жених Мананы Грузинской, светлейший Шервашидзе, не только прямой наследник абхазской династии, но и корпусной генерал белых армий на юге России. Осложнение отношений между меньшевистским правительством и белым командованием

привело к сосредоточению кавалерийского корпуса князя Шервашидзе на Кубанской линии.

— Ну и что же? Кого они хотят напугать?

— Ничего же. Князь Шервашидзе не только корпусной генерал, но и генерал свиты императора Николая II. Князь красив, остроумен и честолюбив. С светлейшей Маманой он встречался при русском дворе. Он посвятил ей пару недурных стишков: «Ты моя греза, ты моя роза». А после революции он вспомнил о своих грезах! Грузинская корона снится Шервашидзе ночью и мерещится наяву. Поэтому князь решил пожертвовать Сочинским округом в пользу Деникина и заручился его согласием действовать с конным корпусом в Закавказье. А в Грузии он дома. Деникину больше по душе и по карману видеть на грузинском троне своего корпусного генерала, а не чужого принца Рупрехта. Будущий грузинский царь договорился с национальными правительствами Северного Кавказа: кабардинцами, чеченцами и дагестанским ханом. Он обещал горцам после воцарения полную автономию, а они обещали помочь ему воцариться. Теперь главное: грузинские монархисты, разочарованные отказом фон Гросса предоставить немецкое войско для захвата власти, решили работать на себя, а не на чужого дядю, не на Германию. Итак, Шервашидзе подойдет к намеченным рубежам через несколько дней после свержения меньшевистских узурпаторов, и монархистам предписано усыпить германское командование. До подхода белогвардейцев и горцев монархисты в Тифлисе должны иметь на страже немецкие пулеметы против собственного народа.

— Доказательства! — крикнул пожелтевший Тиглер.

— Извольте!

Аратов небрежно вынул из внутреннего кармана пакет с несколькими печатями, развернул и, подойдя к Тиглеру, разложил перед ним. Тиглер впился в документ, невольно читая вслух:

Строго секретно.

Ротмистру Аратову.

Согласно приказа Главковерха за № 1913 оп. отд. предлагается всем офицерам царской службы, находящейся в городе Тифлисе, оказать боевое содействие грузинскому монархическому союзу «Меч тавадов!», объединив с оным союзом соответствующие оперативные действия.

Также подготовить с грузинскими монархистами встречу кавалерийского корпуса генерал-лейтенанта светлейшего князя Шервашидзе и в дальнейшем войти в состав вышеуказанного корпуса.

На вас, как на проверенного монархиста и офицера, главковерх возлагает особые надежды.

Начальник штаба генерал Лукомский.
1918. Екатеринодар.

Тиглер хищно вглядывался в смутные печати с двуглавым орлом и в девиз «Великая, Единая и Неделимая». Он сложил бумагу с явным намерением спрятать, но Аратов выхватил ее:

— Стоп! Приказ не продается, — и, вложив документ обратно в конверт, сунул в боковой карман.

Тиглер с ненавистью следил за рукой ротмистра:

— Почему вы не поставили в известность генерала фон Гросса?

— Генерал не купил бы сережек у проверенного монархиста и не уплатил бы мне пятнадцать тысяч плюс пять месяцев квартирных. А через вас, герр философ, генерал все равно узнает... и не поверит. Все подстроено так, что не удайся сегодня переворот, никакой князь Шервашидзе не рискнет показаться на рубежах Грузии. И русский монархист и грузинская монархия меня не прельщает. Грузинская монархия — это гибель надежд слуг русской короны, кстати, и ваших планов, герр Тиглер. Почему? Очень просто: вам вместе с вашими мышами и слишком резвыми колонистами придется драпать... Да, чуть не забыл: я был свидетелем, как вы повернули револьверчик Вурцбахера на старика Абуладзе... Ваш выстрел попал в цель, Нико Абуладзе — вожак большевиков в Грузии. На всякий случай советую вам смыться первым.

— Кроме вас еще кто-нибудь знает об этом?

— Пока нет.

— Сколько?!

— Две тысячи долларов.

— Грабеж.

— Ваша драгоценная жизнь стоит значительно дороже.

— А если все ваши сообщения — мыльный пузырь?

— Рискните убедиться.

— Что еще вам известно?

— Насчет тифлисских большевиков? Они тоже ждут переворота, временно предпочитая грузинских монархистов немецким оккупантам.

— Вам известно, где находится их проклятое гнездо?

— Тэ-тэ-тэ! Пока вопрос идет о вашей бриллиантовой жизни.

— А сколько будет стоить большевистское гнездо?

— Много, вам не расплатиться. Итак, две тысячи долларов.

— Я сообщу фон Гроссу о вашей осведомленности.

— Сообщите. Полезно. Может на этот раз он вас примет. И торопитесь: сегодня в двенадцать часов ночи у светлейшей Маманы сбор заговорщиков. К утру все будет кончено: и с министр-президентом и с министрами. И вообще... А затем честь имею!

– Постойте! А доллары?! – Тиглер дрожал мелкой дрожью, – и где гарантия вашего молчания?

– Касательно револьверчика? Но я до сих пор молчал?

Тиглер с необычайной проворностью вскочил. Снова щелкнула дверь, и через несколько минут Тиглер положил перед Аратовым две тысячи долларов.

– Ну вот, почти половина выжатого у моей маман возвращена.

Пристально смотрел Тиглер в затылок уходящего офицера.

– Может, пойти протереть генералу совиные глаза? – раздумывал Тиглер, прикладывая к кляксе пресс-папье. – Нет, укреплять авторитет фон Гросса я не намерен. Гросс ничего не должен знать. Я сам ликвидирую опасность. Ни один дьявол не смеет нарушать мои планы! В разведывательный отдел пошлю донесение о бездействии и неосведомленности фон Гросса. Пусть у генерала будет маленькая неприятность!

Тиглер с несвойственной ему торопливостью схватил котелок и выскользнул из дому. Но по Головинскому проспекту он шел медленно, брезгливо сторонясь прохожих. Когда он юркнул в подъезд Особого отряда, из-за угла выглянул ротмистр Аратов, усмехнулся и прошел дальше.

Заместитель начальника, плотный полнокровный полковник, собирался уходить. Непрошенный визитер не вызвал у него радостной улыбки. Но сам фон Гросс покровительствует этому проходимцу. И полковник нехотя бросил фуражку на диван.

Заканчивая беседу, Тиглер требовательно сказал:

– Я убрал неугодного вам железнодорожника, вы уберете монархическую шелуху, неугодную вам и мне.

Едва закрылась за ним дверь, полковник, схватив телефонную трубку, забарабанил по рычагу, одновременно нажав желтую кнопку. Вошедшему дежурному он отдал срочное распоряжение, продолжая вызывать штаб охраны.

Скоро в кабинет Кедия сбежались все высшие особоотрядчики. Совещались вполголоса при закрытых дверях. Потом разошлись по оперативным группам, извещая агентов о предстоящей ночью облаве в дидубийских кварталах. Сам же полковник вызвал автомобиль и помчался к главе республики...

ГЛАВА 33

В девять часов вечера Илларион выскользнул из квартиры и отправился пешком до ближайшего фаэтона. По дороге к офицерским казармам он, в целях конспирации, дважды менял экипаж и направление. Но все было в порядке, за ним никто не следил.

В дежурной его ждали триста парадно одетых офицеров. Из окна виднелись стоящие на плацу два броневых автомобиля, а чуть подальше у караульного грибка несколько офицеров вынимали из брезентовых чехлов ручные пулеметы.

Каждому из офицеров была придана унтер-офицерская группа, ожидавшая командира в назначенный час и в определенном пункте. Илларион еще раз проинструктировал заговорщиков, какой группе направиться в квартиру главы республики, какой – к министрам, а какой занять банк, вокзал, электростанцию, телеграф и министерства. Проверив часовых у нового монархического знамени, на черном шелку которого сверкал серебряный меч тавадов, Илларион вышел с морским адъютантом. Гоглика не было; он с девяти вечера находился в особняке светлейшей.

По дороге к офицерским казармам Аратов заметил патрули особоотрядчиков, по разным улицам съезжающихся к казармам.

– Министр-президент осведомлен, – усмехнулся Аратов.

Вокруг казармы он увидел скрывающихся пеших народогвардейцев. «Окружают, все в порядке!» – И нарочито громко крикнул:

– Извозчик, жди здесь!

Шепнув часовому «Меч тавадов!», он подошел к караульной будке и приказал дежурному офицеру не впускать без него никого, если даже назовут пароль.

Офицеров он застал одних в биллиардной, других в офицерском зале. Пить было запрещено, и они нетерпеливо поглядывали на часы; князь Илларион ровно в двенадцать должен позвонить. Ровно в час они выедут из казармы.

У нас теперь одно желанье,
В нем офицеры все тверды:
Увидеть вновь коронованье,
Спеть во дворце Аллаверды!

И вновь мы грудью боевою,
Встав за царя и за престол,
Воскликнем громко всей душою:
Аллаверды! И яхши-ол! —

приятным баритоном пропел капитан Чавчавадзе.

Увидев Аратова, офицеры несколько удивились и обрадовались. Но первые же его слова смутили заговорщиков. Он велел всем собраться в гимнастический зал.

– Господа офицеры, время дорого, расспросы излишни. Казарму окружают особоотрядчики... Заговор раскрыт, следовательно, ваше преимущество внезапного нападения исключено. Драться смешно, немцы не любят неудач и первые выкатят против вас артиллерию... Гибель бессмысленна... Прошу без волнений!.. Раньше всего бесшумно расседлать коней! Стойте! Снимите шпоры. Звякаете, точно вас институтки ждут в танцовальном зале.

Офицеры бросились к конюшне, вмиг стянули с коней седла. Аратов щелкнул по упряжке выезда Саломэ и сплюнул:

— Поручики Андроников, Вачнадзе, Орбелиани, Цицианов, садитесь в эту лакированную посудину и скачите в Белый духан. Там вы всегда найдете девиц. Кутите до утра!

Ворота на миг открылись, горячие кони карьером вынесли коляску на Военно-Грузинскую дорогу.

— Капитан Чавчавадзе, поручик Эристов, вы очень музыкальны, корнет Панчулидзе прекрасно аккомпанирует. Отправляйтесь в офицерский зал, откройте рояль и спойте дуэт «Не искушай меня без нужды». Распахните все окна, — пусть особо-отрядчики не скучают!

Остальным офицерам Аратов приказал поодиночке влезть на восточную стену и спускаться по перекинутой лестнице к овражку. Расходиться бесшумно по домам по-двое, по-трое.

— В постель лезть всем сразу не советую. Можете играть в карты или напевать под гитару романсы.

Когда последний офицер, штабс-ротмистр Гурисели, пожав руку Аратову, шепнул: — От имени военного братства благодарю! — спустился в овраг и исчез в темноте, Аратов втянул обратно лестницу и облегченно вздохнул: провал не только у монархистов, но и у меньшевиков.

На улицах, прилегающих к особняку Маманы, творилось что-то неладное: проскакал плац-адъютант, прижимаясь к палисаднику, прошмыгнули две тени, прозвучал условный свист, ему ответил другой, в подъездах вспыхивали подозрительные огоньки папирос. Илларион велел извозчику свернуть на глухую улицу и выслал на разведку адъютанта.

Но Датико не настолько глуп, чтобы лезть к чорту в пекло. Он даже не приблизился к бастиону заговорщиков. Услышав в стороне радостный взвизг зурны, он направился к дому, где, как оказалось, богатый торговец праздновал свадьбу. Толпа зевак заглядывала в открытые окна, откуда неслись восторженные крики, хлопанье пробок и пение. Датико смешался с толпою и, как завороженный, уставился на пышную невесту, прикрытую белой фатой. Загремели барабаны, и толпа оттеснила Датико к забору. Тут он сделал великое открытие: сад светлейшей, где он и Гоглик часто гуляли, примыкал к улице, где праздновалась свадьба. Адъютанта так и подмывало войти в калитку, но он с сожалением вспомнил, что ключ остался у Гоглика.

Здесь ничего подозрительного не было. Датико решил подать знак Гоглику и тихо свистнул. Кто-то так же тихо ответил. Датико поправил кортик, свернул за угол и отпрянул: в глубоком подъезде мрачно блестело дуло, направленное на особняк Маманы. Позади пулемета копошились тени, смутно освещаемые уличным фонарем, над которым болтались сорванные телефонные провода.

Больше Датико не разведывал, — ему казалось, что он целый год добирался до проклятого извозчика... Но, конечно, примчался он вмиг и тяжело бухнулся на сидение. Илларион взглянул на адъютанта и велел гнать лошадей во всю прыть.

Сияющая Саломэ в палевом платье и золоченых туфлях бросилась навстречу мужу. И вдруг отступила, судорожно сжимая веер.

— Мясо на купаты и сыр для хачапури есть?! — задыхаясь, выпалил Илларион.

— Есть! — пролепетала ошеломленная Саломэ.

— Давай!

Илларион на визитной карточке написал:

«Дорогой ротмистр,

Скучаем с княгиней. Решили слегка кутнуть. Через полчаса ждем к ужину.

Искренне Ваш князь Илларион».

Погнав Маро с карточкой к Аратову, Илларион решил: «этого заговорщика лучше держать при себе всю ночь», и скатился вниз к эмиссару Коста.

Через час теплая компания в пять персон ужинала за изобильным столом. В простоте душевной Коста беззаботно веселился. Сегодня он был в ударе и в романтическом спектакле блестяще исполнял роль тамады.

Аратов, подмешивая в коньяк сахар и мятные капли, многозначительно подмигивал князю и без устали чокался с эмиссаром, единственным младенцем за этим столом.

Особняк погружен в непроницаемую мглу. Плотно закрытые шторами окна приглушают в белом зале голоса заговорщиков.

Одиннадцать часов. Все в сборе. Нет только князя Иллариона.

Кахетинский князь, опоясанный старинным мечом, предложил позвонить княгине Саломэ. Но странно, телефон не отзывался. Это не на шутку встревожило сиятельного Спиридона. В душе он уже сожалел, что доверился краснобаю Амилахвари. «Но ведь фон Гросс обещал защиту», — успокаивал себя Багратион-Давыдов. И все снова ходили по белому залу, боясь тишины.

Нервничала и Манана. Пугало полное равнодушие к ней монархистов. Она позвала камеристку. Глафира потерла бледные виски княжны мигреневым карандашом, поджала губы и торопливо вышла. Через несколько минут у нее уже был уложен саквояж, она не оставила ни одной драгоценности.

Пробило двенадцать. Князя Иллариона все еще не было. Гоглик похолодел. Все кончено. И Датико исчез. А, может быть, он стоит у садовой калитки? Гоглик дви-

нулся к двери, но светлейшая задержала адъютанта: ей тоже душно. И взяв под руку озабоченного Гоглика, сбежала в сад. Сразу стало легко.

Вдруг Гоглик остановился. Княжна вцепилась в руку, отстегивавшую кобуру. Но белевший на скамейке призрак оказался Глафирой, у ее ног лежали саквояж и несессер.

Не успела светлейшая спросить: «Куда собралась в такую темень, Глафира?» — как в верхнем этаже раздался громкий крик кахетинского князя: «Измена! Измена!»

Окно распахнулось, в белом зале замелькали тени. Директор банка, вскочив на подоконник, искал руками водосточную трубу.

Особостряд чики загородили все выходы и, вскинув маузеры, предлагали заговорщикам сдаться на милость победителя.

Камеристка вырвала из рук оторопелого Гоглика ключ и, подхватив чемоданы, скользнула к замаскированной плющом калитке. За нею поспешила светлейшая, вцепившись за рукав Гоглика.

Свободный поезд из сорока фаэтонов в две шеренги выстроился вдоль садовой стены. Под неистовый визг зурны и цокот копыт кинто размахивали цветными платками и горланили песенки.

Княжна, адъютант и камеристка незаметно юркнули в пустой экипаж, где по обычаю на сидении лежал позолоченный пояс жениха.

Горящие фонари вздрогнули, щелкнули кнуты, и лошади, разукрашенные цветами двинулись за передним фаэтоном, где молочной пеной вздымалась фата невесты. Стоя на сидениях, шаферы принялись беспорядочно палить из револьверов. И тотчас же в особняка раздались ответные выстрелы. На одном из фаэтонов кто-то схватился за бок и на повороте выпал из экипажа. Свадебная процессия с грохотом помчалась по улице...

В три утра эмиссар Коста, отмахиваясь от салфетки, висящей у него на шее, кричал в телефонную трубку:

— Сегодня не восемнадцатое брюмера? Нет?! Все равно, поздравь; я, оказывается, заговорщик и покушаюсь на твои устои! Что за чепуха?! Где нахожусь? У полковника Иллариона Амилахвари, конечно!

И эмиссар Коста подробно объяснил военному министру, что агенты Особого отдела явились в квартиру князя и как испуганно торчат у всех дверей:

— До свиданья, дорогой. Сейчас, сейчас извозу! — И, обернувшись к начальнику оперативной группы, уже стоявшему с побелевшим лицом, подчеркнуто любезно указал на телефон: — Просит военный министр.

После нескольких отрывистых фраз и непрерывного «слушаюсь! слушаюсь!» начальник принес миллион извинений, приложил руку к козырьку и попятился к двери. Но Илларион вдруг вскипел и набросился на особостряд чика:

— У тебя чем набита голова — мясом для купаты или сыром для хачапури? Что ты понимаешь в апельсинах?! В эту республиканскую квартиру не появляться больше ни при каких заговорах!

Аратов хохотал и в припадке бурного веселья беспрестанно чокался с Коста. Сжав в зубах папиросу, Саломэ открыла крышку рояля и с силой надавила педаль. Она запела бурно, с цыганским пошибом: «Он целовал ее, он обнимал ее».

... Манана приоткрыла глаза. Она лежала на плече камеристки. Напротив, на скамеечке, клевал носом Гоглик. Позолоченного пояса на сидении не было. Гоглик перекинул его еще в Тифлисе в фаэтон жениха.

Свежее утро опаловой дымкой обволакивало гребни гор. Роса дрожала на сочной листве. Призывно щебетали птички. Фаэтон катился по лесной дороге. А вдали, на кургане, зеленой рощицей застыла кукуруза. Сквозь деревья внизу виднелась крыша усадьбы князя Амилахвари.

ГЛАВА 34

В дверь постучали. Вошел приземистый человек с большими ушами и сильно выдвинутой нижней челюстью, повернул в дверях ключ, задвинул портьеры и тяжело опустился на диван.

Вурцбахер знал, что к нему должен явиться № 341, но он испытующе продолжал разглядывать незнакомца и, наконец, прервал молчание:

— Номер?

— Триста сорок один.

— Масть?

Агент отвернул лацкан, — на фарфоровой пластинке чернел туз пик, и заговорил без всяких предисловий:

— Прибывший из Дагестана № 204 группы треф сообщил: большевистской разведке стало известно о тайном плане вторжения регулярных турецких частей в пределы Дагестана, с целью утверждения власти правительства Чермоева. Этот нормальный по существу факт однако повлек за собой неприятные осложнения. Из Царицына некий комиссар, проводящий директивы Ленина, спешно отправил через Астрахань в Дагестан партию оружия, литературы и изрядную сумму денег. Противники Чермоева подняли голову и вооружили свои банды, в которые вошла вся горская чернь. Бои между чермоевцами и красными принимают угрожающий характер. Чермоевцы потеряли уже аул Верхний Каравай и загнаны в глубокие ущелья под Араканами. Группа пик считает, что положение могут спасти только ваши регулярные войска.

— Я вас спрашиваю, зачем мы возимся с этим Чермоевым, если он не может отстоять даже один аул?!

Агент № 341 внимательно посмотрел на Вурцбахера, вынул из потайного кармана свернутый в трубочку листок.

— № 111 получил эту эстафету для Чермоева от хана Тарковского, командующего дагестанской горской армией.

— Герр номер, каким образом вы получили эти сведения?

— Вопли Тарковского перлюстрированы. Хан умоляет Чермоева уговорить Нури-пашу, как можно быстрее перекинуть турецкие части в Дагестан, но по наивности невежд, не вникающих в смысл Дранг-нах-Остен, подчеркивает нежелание какого-либо участия в этом походе немцев.

— Ваш глупый хан не сделает большой карьеры. Явитесь к Чермоеву не ранее восьми вечера. Дальнейшие инструкции получите от меня завтра в три, а сейчас отправляйтесь к Курцу, — он привез для группы пик химические револьверы.

Выпроводив агента, Вурцбахер достал чистый воротничок из круглой кожаной коробки, подумал и снова положил его обратно. Фон-Гросс все равно не удостаивает его вниманием. Жаль, кайзеру понадобилось мирно завоевать Грузию, иначе Вурцбахер показал бы баронам, на что способен начальник службы «S». Но в данном случае его не на шутку беспокоит немилость генерала. Ведь от фон-Гросса зависит представление к наградам также и по службе «S». Почему так долго бесится этот фон?! Надо как можно скорее возвратить его расположение. Но чем? Дагестаном?! Мало! В Германию следует вернуться, имея на своем счету большие дела. А за прозалы, даже очень большие, чинов не дают.

Ответ генерального штаба также не мало озадачил Вурцбахера. Нет сомнения — ему кто-то там позавидовал. Но он знает, что за штука жизнь.

Вурцбахер открыл секретную папку и перечитал дружеское письмо:

...Ваше донесение, — писал начальник разведывательного отдела, — к счастью попало в почту «S». Можно сказать без риска, — на бумаге вами изложено много полезного. К подробному разбору мы вернемся, когда *личная теория* обер-лейтенанта Вурцбахера поможет освоить Баку. Советую на досуге ознакомиться с политическими суждениями князя Отто Бисмарка. Они весьма облегчат ваше умственное напряжение. Также целесообразно рядом с чернильницей поставить бутыль с керосином. Это вдохновит вас на практические действия.

На что ему, черт побери, керосин?! Ему нужен совместный завтрак с фон Гроссом. Одно утешало: Тиглер, наконец, устранен с дороги. Но фон Гросс может пройти форсированным маршем и мимо обер-лейтенанта. Значит, надо поставить вкусную приманку, которую генерал из благодарности разделит с Вурцбахером.

Что же еще можно придумать, кроме Дагестана? Ничего! Остается одно: поведать Морицу, что в Тифлисе существует несметное богатство, доставленное после демобилизации с турецкой границы. Он утверждает, будто интендантские склады русской кавказской армии целый месяц переползали в Тифлис.

Если это не бред болвана, склад должен найтись, хотя бы пришлось выпотрошить всю Грузию. Выпотрошить! Разве фон Гросс допустит это? За чистоту крыльев беспокоится! Ангел! «Действовать тайно».

Разве согласиться на обед у Морица? Вурцбахер поморщился: настоящий мусульман. Дочь его развозит по Тифлису в бричке молоко, жена потеет в маслобойке. Сам Мориц ковыряется в земле. И вся эта семейка лезет к обер-лейтенанту в родственники и, кажется, даже мечтает женить его на своей молочной Гретхен...

В воскресенье Вурцбахер отправился в Новый Тифлис. Он остался доволен не столько уткой с кашей, сколько клятвой Морица: выцарапать у чиновников сведения об интендантском складе. Пообещав любезной кузине покатать ее в штабном автомобиле, дорогой тетушке Амалии — отведать в следующее воскресенье яблочный пудинг, а приятному дядюшке Морицу — рейхсмарки за труды, Вурцбахер, довольный собою, вернулся в «Палас Отель».

Впрочем, он не так наивен, чтобы положиться только на умного дядюшку. Убив два-три дня на разведку, он вспомнил о ротмистре Аратове, о котором неоднократно за последние дни беседовали фон Гросс и фон-Унгерн. Обер-лейтенант не признавал дипломатических увертюр и сразу же потребовал, чтобы ротмистр добыл в кратчайший срок данные о русском интендантском складе:

— Генералы, проживающие в Тифлисе, — продолжал Вурцбахер, — в том числе и ваш отец, хорошо знают, куда девалось миллионное имущество, вывезенное из зоны Сарыкамыша и крепости Карс. Ваш герр ротмистр, будет весьма полезно проявить энергию. За вами не числится ни одного большого дела.

— А вам откуда это известно? Может и числится... С фон Унгерном приятно работать, — весьма воспитанный офицер.

Вурцбахер почувствовал, как кровь ударила ему в лицо. Значит, от него скрывают важные дела?! Вот откуда наглость этого русского... Вурцбахер задыхался:

— Я говорю: не сметь!

— Прошу не кричать, господин обер-лейтенант! Сведений о складе от меня не ждите. А по чину я старше вас.

Вурцбахер побагровел, отшвырнул пресс-папье:

— Вы?! Вы старший?! Не сметь! Вы — представитель разбитой русской армии. Мы, немцы, — ваши спасители. Вы каждое первое получаете марки! Вы, бывший ру

ский, должны служить нам слепо, по нашему уставу!

Ротмистр вытянулся, звякнул шпорами, отдал честь:

– Слушаюсь, герр обер-лейтенант! – и круто повернувшись, распахнул дверь.

Взглядом, полным ненависти, Вурцбахер проводил ротмистра. Что делать? Он так рассчитывал на этого прохвоста... Должен же быть где-нибудь этот миллионный тайник? Мориц божится, будто кое-что нащупал... Сколько марок уже роздано чиновникам, перерывающим все дела во всех министерствах! Но склад нигде не значится. Куда же он провалился?

Размышления обер-лейтенанта прервал автомобильный гудок. Он поспешил навстречу фон Гроссу, почтительный до услужливости.

После глупого провала заговора генерал решил до захвата Баку отказывать монархистам в открытой помощи. Только упрочив власть Германии между Черным и Каспийским морями, он возьмет в свои руки водворение принца Рупрехта на грузинский престол. А сейчас следует поддерживать республиканское правительство и окончательно подчинить германскому капиталу экономику Грузии.

Государственные соображения привели генерала к решению тщательно обследовать деятельность хозяйственного отдела. Он поговорил с Цугмайером о развитии местной промышленности, многозначительно посоветовал Курцу обратить внимание на район Кюрдамира и, не дослушав туманных намеков Вурцбахера о каких-то больших возможностях, проследовал на Сергиевскую улицу.

Там, в особняке Хоштария, происходили выборы совета грузино-германской торговой палаты. Поднимаясь по лестнице из вестибюля фон Гросс уже твердо решил ввести в состав объединенной палаты полковника фон Гоцфельда, прибывшего в Тифлис с баварской горно-егерской бригадой.

Приставленный к Абуладзе в качестве кочегара-наблюдателя, Рейтер все больше проникался уважением к суровому машинисту. Перед каждым рейсом Ладо сам тщательно осматривал паровоз, не доверяя даже ему, кочегару, много лет прослужившему на линии Франкфурт-на-Майне – Берлин. Но сегодня герр машинист явно торопится. Взяв масленку, он слишком быстро пробрался вдоль котла, нагнулся над бадейкой левого цилиндра, капнул ее маслом. Затем, протерев медные части машины, приказал кочегару прочистить топку и вышел из депо.

Свидание с Аратовым было назначено в кабачке «Иванэ и К°» За прилавком суетился Иванэ. Поливая из лейки тротуар возле лавчонки, Симонэ исподтишка следил за постовым милиционером, время от времени угощая его папиросами и разговором.

В наглухо закрытой комнатке Аратов сидел за столом, уставленным зеленью, сыром и вином. Но, несмотря на почтительные уговоры «сделать одолжение», он ни к чему не прикасался. Его тревожное настроение невольно передавалось и Чикаберидзе. Аратов сидел насупившись и мрачно курил.

Ладо порывисто распахнул дверь. От быстрой ходьбы он тяжело дышал. Чикаберидзе указал глазами на Аратова и недоуменно пожал плечами. Ладо посоветовал другу отправиться в лавку, – там сегодня слишком много покупателей. Затем плотно прикрыл дверь, накинул крючок и подсел к столу.

– Дело дрянь, Абуладзе, – сквозь зубы процедил ротмистр и тихо, с необычайной серьезностью рассказал об опасности. Фон Гроссу стали известны контрмеры, принятые царицынским комиссаром по оказанию помощи красным частям Дагестана. По прямой директиве фон Гросса джигит Чермоев утвердил хана Тарковского главнокомандующим силами «горского правительства», а Нури-паша назначил Юсуф Изет-пашу командующим турецкими регулярными частями, выделенными в Отдельный корпус для захвата Дагестана. Несмотря на брыкание Чермоева, тридцать немецких старших офицеров в турецкой форме направлены из Тифлиса в этот Отдельный корпус для руководства операциями. Для полного обеспечения успеха немцы предпринимают одновременный удар в трех направлениях – из Крыма на Тамань, из Тифлиса на Владикавказ и из Елисаветполя на Баку. По плану, овладев северокавказской линией Екатеринодар–Владикавказ – Темир-Хан-Шура, оккупанты рассчитывают создать цепь опорных пунктов для беспрепятственного грабежа хлеба и нефти. Это, так сказать, стратегия текущего дня. А конечная цель – навсегда оттяпать Кавказ от России.

– Вы говорите, господин ротмистр, Тифлис–Владикавказ? Не известно ли вам, какие части выделяют немцы в этом направлении?

– Конечно, известно, – ведь бестии консультировались со мной, как с кавказским офицером, знакомым с местными условиями. В район Душета и дальше на Военно-Грузинскую дорогу выделены баварские горно-егерские части, сейчас они накапливаются в Тифлисе и через две недели выступят в поход. Если не дать немцам по лапам, они слопают Кавказ со всеми потрохами.

Аратов пристально вглядывался в Ладо, нервно теребя ус. Он подозревал, что Ладо исполнитель чьей-то большой воли. Но не все ли равно, – чьей? Важно сохранить для России Кавказ. И, точно отвечая его мыслям, Ладо, наконец, проговорил

— Придется как следует дать по лапам, господин ротмистр. Вам немцы вполне доверяют?

— Еще бы! В их присутствии я усиленно нюхаю... сахарную пудру, а они меня усиленно снабжают кокаином. Ну, к чорту это! Я продолжаю себя считать на службе у России, а там будет видно.

— На этот раз, господин ротмистр, ваша служба не пропадет даром. Я на некоторое время выеду в отпуск в деревню.

— Понимаю. Торопитесь... — Аратов поднялся, бодро тряхнул руку Ладо и вышел через черный ход.

Ладо посмотрел на нетронутую бутылку, откинул занавеску окошечка и проводил взглядом шагающего через дворик ротмистра.

ГЛАВА 35

Через три дня Ладо Абуладзе добился отпуска. Вурцбахеру он признался, что ему необходимо навестить больного родственника, богатого гурийца. Иначе наследство уплывет в чужой карман.

— Наследство?! В Гурии?! — встрепенулся Вурцбахер. — Герр машинист, в весьма удачный момент заболел ваш гуриец. Вы исполните одно поручение: надо будет подыскать в горах форт-пост для наблюдения за турецкой пограничной зоной. От души желаю вам застать родственника уже на столе.

С своей стороны, рыжий унтер заинтересовался: «легко ли там достать настоящее сукно?».

Ладо удивился: «откуда герр унтер это узнал? Как раз в Бахмаро, на недоступной вершине — лучшая фабрика кавказского сукна».

Блаженная улыбка растянула толстые губы унтера. Он почти умолял герр машиниста: нехватит десяти дней, пусть пробудет одиннадцать. Унтер всегда сумеет объяснить запоздание...

Ночью Ладо вскочил на площадку товарного вагона, на котором белел немецкий крест. Кондуктор поднял фонарик, осветил лицо:

— Все устроено, Абуладзе. На перегоне сорок три Каллистрат затормозит паровоз. Спрыгнешь налево. На запасном пути стоит товарный состав, сопровождаемый немцами. Поезд ведет высокий Реваз. До Елисаветполя проедешь кочегаром. А там уже тебя ждут...

Колеса стучали на стыках. Мелькнул зеленый зрачок семафора. Ладо поднял воротник и надвинул фуражку.

«Если будешь в чем сомневаться, обратись, как к родному, к Шаумяну...»

Хорошо показала себя дружная семья закавказских железнодорожников. Ладо ехал кочегаром, смазчиком, пробирался зайцем. Верст за десять перед Кюрдамиром, где проходила линия фронта, его провезли на верблюде степью в обход. Тянулись пески, солончаки, изредка попадались тюркские поселения. Жужжала сараниа, нестерпимо жгло солнце. Так добрался он до станции Мугань. Здесь, наконец, была вода. И меньшевистская граница казалась миражем. О ней напоминал только подложный паспорт на имя Лания и документы агента, командируемого министерством торговли в Елисаветполь для закупки квасцов.

Поезд замедлил ход. Баладжары. Ладо облегченно вздохнул: Баку! Осталось четырнадцать верст.

Навстречу им надвигались нефтяные вышки, керосиновые баки, змеевидные трубы. Вдоль рельс скользила черная мазутная земля.

Баку! Ладо не раз бывал в этом городе. Он любил эту цитадель большевизма.

Дом Совнаркома, куда прямо с вокзала направился Ладо, напоминал улей. Беспрестанно подъезжали автомобили с знаком «В», запыленные брички, всадники.

В приемной он увидел девушку в белой матроске. Она отбросила золотистую прядь со лба, поправила револьвер на поясе и приветливо оглядела Ладо:

— Есть хотите? Может угостить рыбешкой? Меня зовут Ксюшей. Море Каспий под рукой. Ширь-простор! Прибыли из царства меньшевиков! Никогда их не любила. А вы?

— Я тоже! — весело сказал ей Шаумян.

Ладо порывисто обернулся. Да, таким товарища Степана и рисовал отец. Мягкая улыбка, прячущаяся в шелковистых усах, пылающие глаза и непокорная волна волос над большим лбом.

— Абуладзе? Сын Нико? — Шаумян внимательно рассматривал машиниста.

— Сын. И потому что нет отца, я пришел к вам, товарищ Степан.

— Знаю, мне матрос Вавилов обо всем рассказал, — он крепко пожал руку взволнованному Ладо. — Ну, с чем пожаловали?

— С плохим грузом. Нужны немедленные действия.

— Пойдемте.

Более трех часов они просидели над картой: красные оперативные стрелки на ней остриями упирались в горы Дагестана и теснины Дарьяла.

Накануне Шаумян узнал, что в связи с тайной подготовкой наступления германо-турецких войск на Баку центральное советское правительство через посла в Берлине потребовало соблюдения Брест-Литовского договора и категорического приказа немецкому командованию на Кавказе пресечь враждебные действия. Господин рейхсканцлер оттоваривался тем, что будто против Баку действуют какие-то татарские банды, а не регулярные германо-турецкие войска.

Сейчас Шаумян с большим вниманием слушал о действиях фон Гросса:

— Ваши сведения, товарищ Абуладзе, своевременны и ценны.

Ксюша энергично крутила ручку аппарата, вызывая комиссаров. Съезжались Фиолетов, Джапаридзе, Азизбеков, Корганов, Солнцев...

Медленно затихал город. Ладо шел легкой походкой, не понимая, почему так радостно сердцу, ведь говорили об опасности, надвигающейся на город нефти. Но в сизую сумерек мягко вплелись розовые тени... Ксюша!.. Он молодо вскочил на дребезжащую конку.

Матовый отсвет ламп гостиницы «Европа» падал на тротуар. Войдя в номер, Ладо отдернул гардины и еще шире распахнул окно. Он тщетно пробовал уснуть...

Рассвет застал его на берегу моря. Безлюдный бульвар еще дышал дремотной прохладой, а бухта уже начала свой беспокойный день. Буксирный пароходик, тяжело пыхтя, тянул нефтеналивную баржу. Бороздя зеленую гладь, шли баркасы, лавируя между сигнальными бакенами. Канонерки спешили к острову Наргень, выбрасывая сероватые хлопья дыма.

Ладо окунулся в теплое море. Он далеко заплыл и, лежа на спине, любовался голубым простором, испытывая острую радость хоть несколько дней быть самим собой. Из темных глубин ему улыбнулись ясные глаза. Девушка в матроске живет в этом суровом городе. Он быстро поплыл к берегу.

В приемной, как и вчера, суетилась Ксюша, приводя в порядок ворох бумаг. Ладо заметил, как при его появлении она торопливо сунула в кобуру зеркальце.

– Где пропадал? Тебя давно ждет товарищ Степан, — звонко сказала она, поправляя синий воротник с якорями. — Вечером будете смотреть «Вампиры», одиннадцатую серию. Сидеть будете рядом со мной. Есть?

– Есть!..

В кабинете Шаумян указал ему на кресло и продолжал говорить по телефону:

– Надо, дорогой Алеша, действовать с прежней решительностью. Сегодня я вновь получил указание товарища Сталина всемерно увеличивать вывоз нефти... Ну да... В Москву он уже направил три маршрутных поезда с восемьюдесятью четырьмя цистернами бензина... Конечно, капля в море, для настоящей переброски нужен нефтеналивной флот. Убери всех мешающих нам работать...

Шаумян помешал ложечкой холодный чай и задумчиво произнес:

– Видите, Абуладзе, что значит для нас нефть.

Ладо хотел подойти к столу, но вбежала Ксюша с кипой бумаг. Шаумян, задумчиво смотря куда-то в пространство, диктовал:

«За последнюю неделю, одновременно с лихорадочной подготовкой похода на Елисаветполь, мы были заняты подготовкой ряда декретов... Несмотря на тяжелое положение рабочих в отношении продовольствия (более двух месяцев рабочие форменно голодают), мы чувствуем себя очень прочно. Но посмотрим, каково будет наше военное положение в ближайшие дни. Если мы победим...»

Вошел молодой военный в белом офицерском кителе. Шаумян пододвинул Ксюше пресс-папье:

«...Если мы победим, Баку превратится в сбразцовую коммуну».

Военный, придерживая саблю, четко проговорил:

— Разрешите доложить, инструкторская школа для подготовки командного состава организована.

— Отлично. Вы, товарищ Солнцев, будете ею руководить. Уверен, вам как офицеру старой армии это не будет трудно. Тем более это вам будет легко как члену партии.

Офицерская выправка Солнцева сразу бросалась в глаза. Ладо перевел удивленный взгляд на Шаумяна.

— Познакомьтесь: гость из Грузии, машинист Абуладзе. А это наш Солнцев, бывший командир роты двадцать восьмой дивизии, а ныне коммунар.

Шаумян и Солнцев подробно расспрашивали Ладо о бывших военнопленных, их настроении, об организации повстанческих отрядов и вооружении. Шаумян интересовался, ведется ли работа среди солдат меньшевистской армии, указывал на особое значение Душетского района в связи с предстоящими событиями. И только после выяснения обстановки вернулся к вчерашнему разговору.

За ночь Шаумян окончательно продумал план обороны. Для защиты Баку со стороны Дагестана сегодня им направлены в Петровск-порт сводные отряды. Разгромив банды Чермоева, дагестанская группировка должна завладеть Темир-Хан-Шурой и, выполняя задание Сталина, восстановить железнодорожную линию от Чирюрта до Червленной. Одновременно на елисаветпольском направлении Корганов начнет действия с целью вынудить германо-турок оттянуть основные силы от Дагестана. На тифлисских большевиков возлагается задача всеми мерами тормозить продвижение немцев к Баку, не допустить овладения Крестовым перевалом, партизанской борьбой распылять их силы.

— На месте вам, товарищ Абуладзе, будет виднее, как лучше использовать преданных солдат. В горных условиях тысяча сто грузин сильнее десяти тысяч бошей. Постарайтесь соединиться с Терской армией и установить с ней общий фронт. Советую вооружить, душетских крестьян, питающих ярую ненависть к меньшевикам, заодно и к немцам.

— Дорогой товарищ Шаумян, кайзер, Людендорф, фон Гросс в своем высокомерии перечеркнули желания грузинского народа.

— Да, по-юнкерски узкие, они не очень-то разбираются в истории и в ее законах. Я тоже изучал немцев два года, только не в Заганском лагере, а Берлинском университете: красноречивая философия немецких профессоров окончательно сделала меня марксистом.

— Не верю! Вселенская неувязка! Гость четыре часа сидит голодный, а у нас рябушка в буфете совсем остыла,— возмущалась вошедшая Ксюша.

— Ты права, — смущенно согласился Шаумян, — накорми... — и придвинул к себе аппарат. — Потом зайдите ко мне, Абуладзе... Слушаю!

— Постойте, Солнцев, — проговорил Шаумян, — вас срочно вызывают в Интернациональный полк...

Ксюша подтянула рукава матроски, точно готовилась к драке:

— А вам, товарищ Степан, стыдно. С утра не можете допить чай. Хоть арестуйте, а я вам сейчас подам рыбки...

В этот день Ладо больше не видел Шаумяна. Из Балаханы доносились тревожные гудки. По городу запестрели приказы о мобилизации. Шагали матросские патрули.

Девушка, испытующе глядя на Ладо, расспрашивала о надвигающейся опасности.

«Нелегко бакинским комиссарам», — думал Ладо, направляясь в Балаханы на митинг нефтяников.

Под вечер в доках матросы и позже железнодорожники Бакинского узла засыпали его вопросами об оккупантах. Повидимому, он говорил не плохо. Особенно горячо встретили его машинисты. Жали ему руки, клялись в верности...

В гостиницу Ладо вернулся далеко заполночь, бросился на постель и сразу уснул.

Все явственнее ощущал Ладо могучее дыхание Баку, города буйного ветра, города-борца. И черные стены перегонных заводов, рельефно выступающих в желтом зное, и вечные огни Сураханы, и кипучий Биби-Эйбат поражали своей суровой непримиримостью.

Он пересек беспокойную улицу, по которой двигались вооруженные отряды, тарахтели обозы. Запах моря смешивался с нефтяными испарениями. И хотя небо было безмятежно голубым, но неуловимо чувствовалось приближение грозы.

Ладо с трудом протиснулся в гудящее здание Совета. В распахнутые стеклянные двери беспрестанно вливался поток людей: смуглые нефтяники, опаленные норд-остом матросы, командиры с усталыми от бессонницы глазами, озабоченные комиссары.

В зале было нестерпимо душно. Сидели в расстегнутых косоворотках, френчах. Говорил Шаумян. Ладо снова поразили его туго накрахмаленный воротничок, тщательно завязанный галстук и свежевыутюженный костюм. От всей фигуры Шаумяна веяло несокрушимой силой и уверенностью, и эта уверенность невольно передавалась слушателям.

Шаумян машинально отодвинул поданный ему Ксюшей стакан с чаем и продолжал:

— ...В России положение Баку не считают критическим. Из Царицына у меня имеется от Сталина письмо. Он сносится по прямому проводу с Лениным и выражает также и его взгляд. Отказ дать отпор иноземным хищникам означал бы отказ от нашей политической независимости...

Последние слова Шаумяна потонули в аплодисментах, противоречивых выкриках: «Воякн!»... «Где у вас хлеб?! Оружие!» «Тросточками снабдите фронт?!»... «Лозунг Отстоим кровную связь с Москвой!»... «Правильно!»... «Позор уклоняющимся от мобилизации!»..

Депутаты-дашнаки не унимались. Поднялся невообразимый шум.

— Я не допущу предательства! — повысил голос Шаумян. — Мобилизация для защиты Баку будет проведена!

К трибуне рванулся высокий человек с мясистым носом и иссиня-черными прилизанными волосами. Он, задыхаясь от гнева, обвинял Шаумяна в запугивании мнимой опасностью для проведения своей партийной политики. И, стараясь заглушить бушующих матросов военно-каспийской флотилии, закричал:

— Вы уже разукрасили Баку приказом о срочной мобилизации! Вас преследуют турецко-германские призраки!

Снова вспыхнули аплодисменты. Председательствующий Джапаридзе с горячностью, точно гранату, схватил звонок и потрясая им, крикнул стенографу:

—Отметьте, товарищ, что аплодируют дашнакцаканы, — и обрушился на их лидера. — Не бряцайте доспехами! Если передать вашу речь армянским рабочим — это будет самым строгим наказанием для вас! Вы обращаете свои взоры к морским захватчикам, еще раз доказывая, что способны на акт самой черной неблагодарности к России!

— А вы одержимы манией преследования! — презрительно щелкнул пальцами лидер дашнаков.

— А вы одержимы политической близорукостью. Если это только близорукость!

Через зал проходил Мешади Азизбеков в запыленных сапогах, на руке висела кавказская нагайка. За ним следовали встревоженные Буниат Сардаров и Кази Магомед — прославленные представители нефтяных рабочих. Видно было, что они прискакали издалека, губы у них были потрескапы и серая пыль сидела на бровях.

— Могу поделиться «приятной» новостью, — Азизбеков облокотился на стол и испытующе оглядел депутатов на пра-

ных скамьях, — в Елисаветполь на соединение с Назим-беем пожаловал из Персии генерал Нури-паша. По сведениям нашей разведки он назначен главнокомандующим турецко-муссаватистской армией, сосредоточенной для штурма Баку!

Иван Фиолетов подался вперед. С его широкого лица сбежала улыбка, и он страстно выкрикнул:

– Бакинский совет народных комиссаров не допустит турок и немцев захватить нашу отечественную нефть! Не видать баронам и пашам апшеронских вышек!

На улице Ладо очутился, вынесенный волной матросов. В ушах звенел горячий призыв Кази Магомеда: «... Мы, рабочие-кавказцы, обязаны сформировать красные полки всех национальностей!..» Ладо все еще слышал протестующие возгласы эсеров, угрозы и требование Солнцева объявить Баку бастионом армии и флота.

На площади Свободы шумели матросы и рабочие с винтовками на ремнях. Они выступали на фронт. Молодой военный, сдвинув густые брови, размахивал фуражкой:

– ...Кто продает наш любимый край туркам и немцам?! Кто губит Закавказье?! Не трудно догадаться: азербайджанские ханы и беки, грузинские князья и дворяне и, конечно, прислужники армянской буржуазии, — он резко оборвал свою речь и обвел площадь полыхнувшими огнем глазами. И казалось, ему открылись какие-то суровые дали, невидимые еще этим вооруженным людям, столпившимся вокруг него и воодушевленным его непоколебимой верой. Он прислушался к далеким гудкам и продолжал: — Предатели с помощью пашей в фесках и баронов в эполетах хотят отнять у крестьян бекские и княжеские земли и идут войной против бакинских рабочих. С оружием в руках мы изгоним из нашей страны турецкие и немецкие банды!

– Кто такой? — порывисто спросил Ладо.

Матрос в белой бескозырке, перекрещенный пулеметными лентами, удивленно покосился:

– Ты откуда свалился, браток? Это ж наш комиссар третьей бригады...

Утро врывалось в распахнутое окно косыми лучами огромного оранжевого солнца.

Шел военный совет. Солнцев докладывал о вновь сформированных большевистской дружине и ударной конной сотне. Он хотел было предложить двинуть эти соединения в Ленкоранский уезд, где продолжали бесчинствовать шайки муссаватистов и персидских разбойников, как возбужденно почти вбежал Джапаридзе, потрясая радиограммой:

– Эмиссар Коста только что передал мне важное постановление. Меньшевистское правительство соизволило разрешить свободный проход германской армии по Закавказской железной дороге!

Он схватил чей-то стакан и залпом выпил простывший чай, зажег папиросу и тут же притушил. Казалось, комната ему стала тесной, и он еще шире распахнул окно.

Циничное постановление меньшевиков скорее изумило всех, чем возмутило. Шаумян, точно давая остыть страстным репликам, спокойно подточил карандаш и положил перед собою листок:

– Напрасно, Алеша, горячишься. Этого следовало ожидать от патриарха Ноя, — за неимением семи пар чистых, он задумал свалить на твою шею все четырнадцать пар нечистых. Придется, Солнцев, перебросить дружину не в Ленкоранский уезд, а к Кюрдамиру.

Но Джапаридзе не мог успокоиться. Он схватил карандаш и заколотил на карте по какому-то кружку:

– Эти петухи сами свели свою роль к нулю! Они в Потийском порту подставляют свои спины под выгрузку химических снарядов и вопят о равенстве.

– Испытанная примиренческая политика, — усмехнулся Солнцев.

– Мы должны овладеть Евлахом и занять рубеж по берегу Куры. Это обеспечит нам дальнейшее продвижение к Елисаветполю по линии железной дороги.

– По данным Корганова мы насчитываем сейчас на Аджикабул-Кюрдамирском направлении при семнадцати батальонах пехоты только три эскадрона кавалерии. Таким отрядом трудно сломить силы врага, — сказал Шаумян, склонившись над картой, где только в трех кружках — Царицын, Астрахань, Баку, — стояли красные флажки. — Значит надо серьезно обдумать предложение Бичерахова. Вот его последнее письмо, написанное довольно патриотично, но долгий кейф господина полковника в Персии более чем подозрителен.

– Может, пока воздержимся? — спросил Джапаридзе.

– Что касается третьей бригады, — улыбнулся Солнцев, то в штабе считают, что один шестнадцатый батальон стоит Нури-паши вместе с немецкой приправой.

– А не скажет ли горячий комиссар третьей бригады, что раньше надо сосчитать сколько батальонов у Нури-паши, а потом перчатками закидывать.

– Пожалуй, потерпим,—согласился Шаумян, — я сам опасаюсь, что Бичерахов попросту состоит на службе у Денстервиля. Полковник уж очень что-то клянется в верности советской власти, а, забравшись в Баку, может надебоширить, — и Шаумян небрежно бросил письмо в ящик.

Задребезжал телефонный звонок. По мере разговора Шаумян становился сумрачнее.

— Хорошо, жду!.. Вот что, друзья, придется нам насчет Бичерахова перерешить.

— А что случилось? — встрепенулся Солнцев.

— На фронте предательство!

— Кто?! Кто предал?

— Представьте, целая рота седьмого батальона. Корганов сейчас сообщил: попав под внезапный огонь противника, эта рота трусливо покинула позиции. И вот весь батальон, понеся потери, вынужден был отступить.

— Это дело дашнакских офицеров!

— Слушай, Корганов, — резко бросал в трубку Шаумян. — Седьмую роту отзови с фронта и посади предателей под арест на остров Нарген... Обратись с приказом к армии, — Шаумян опустил трубку на рычаг. — Комиссар третьей бригады обдумывает, что ответить великому послу капитана Агаджанова. Этот дашнак к самому горлу приставил меч царя Тиграна. Давай ему хлеб и мягкий тюфяк, а то воевать не будет, хлюст. Приходится маневрировать. Надо отпустить муку из последнего резерва. Теперь весь вопрос в том, чтобы удержать фронт. Мы должны принудить дашнакские части выступить к Елисаветполю. Им тоже не улыбается Нури-паша и Назим-бей.

— Голод гуляет по рабочим кварталам, а прохвостам отдать последний хлеб?! — проговорил гневно Джапаридзе. — Я против! Как будто не они сами срывают дело снабжения.

— Я тоже против, но... — Азизбеков переставил красный флажок в район Кюрдамира и удивленно приподнял бровь.

Ксюша шумно открыла дверь, пропуская Ладо.

— А, здравствуйте, — приподнялся Шаумян, — вы, кажется, видались, товарищи? Гость из Грузии, сын боевого орла Нико. Машинист Ладо Абуладзе, прибыл с чрезвычайными известиями...

— Что же вы там, Абуладзе, поставили во главе князей Акакия Чхенкели? Какой из него предводитель дворянства?!

Солнцев приветливо протянул Ладо кисет и обрывок газеты.

— Спасибо, не курю, но на память позвольте взять, — и Ладо бережно завернул щепотку табаку.

Пока Шаумян вызывал городские районы, комиссары успели расспросить Ладо о дебошах немцев в Грузии, выругать двуличного Рамишвили, посмеяться над фиглярством Чхенкели и пригрозить белогвардейцам...

— Тяжело это сказать, — Шаумян медленно провел рукой по волнистым волосам, — сегодня в Сураханах опять придется уменьшить выдачу хлеба. Семьи промысловых рабочих очутятся в трагическом положении. А политические шарлатаны продолжают разваливать тыл... Корганов сейчас сообщил: на геокчайском участке фронта катастрофа, воинские части голодают, тюрки-крестьяне не пригнали обещанный скот и не доставили муку.

— Узнаю работу муссаватистов... Ничего не поделаешь, придется разрешить реквизицию коней, — Азизбеков нахмурился, коней он любил. — А на промысла пошлем Кязима Магомеда и Мухтадыра. Они разъяснят положение в Дербенте, важно убедить рабочих-мусульман.

Послышались торопливые шаги. Ксюша вбежала, энергично поправляя кобуру:

— Нарочный!.. Нарочный из Царицына!

Прикладывая руку к бескозырке, степенный боцман остановился у стола и протянул пакет:

— От Сталина из Царицына... Здравия желаю, товарищ комиссар.

Но Шаумян уже громко читал:

«Я, Сталин, нахожусь на юге и скоро буду на Северном Кавказе. Линия Хасав—Юрт—Петровск будет исправлена во что бы то ни стало. В помощь для Баку отправлено и будет отправляться все... Просим укрепить фронт Аджикабул и не падать духом.

Сталин».

Сразу стало шумно, задвигали стульями. Солнцев пристегнул саблю и порывисто схватил фуражку.

Когда они приехали в порт, там уже шла разгрузка парохода. Громыхали краны. Белая мучная пыль вздымалась над пристанью «Кавказа и Меркурия». Полуобнаженные грузчики легко вскидывали на плечи тугие мешки.

— Хлеб из Цари-ицы-на-а! Хле-еб из Ца-ари-ицы-на-а-а!! — перекатывалось по пристани.

Шаумян отдавал приказы о распределении муки.

Давно не испытывал Ладо такого душевного подъема. Он бросился на палубу, схватил мешок, вскинул на плечо: «Хлеб! Его прислал Сталин! Сталин, которого так любил отец!»

Ладо, весь белый от муки, сбегал по сходням. Он уже намеревался снова броситься на палубу за десятым мешком, но Шаумян удержал его за руку:

— Пойдемте, Абуладзе, иначе нам не удастся поговорить.

Они шли, выбирая безлюдные улицы. На бульваре Шаумян снял шляпу и вдохнул морскую свежесть:

— Ваша тактика по отношению к немцам правильна. Так нужно для блага народа. Думаю, правы вы и насчет ротмистра Аратова. Если офицер хочет сделать хоть один выстрел по немцам, дайте ему патрон. Еще не так давно, в феврале, когда германские полчища вторглись в Россию, Ленин нисколько не колеблясь вступил в соглашение с французскими офицерами. В один морозный день к нему является де-Люберсак: «Я монархист, — заявляет он, — моя единственная цель — поражение Германии». Ленин согласился

принять услуги французских офицеров, специалистов подрывного дела, решивших взорвать железнодорожные пути, по которым двигались немцы. «Вот вам образец соглашения, — говорил Ленин, — которое одобрит всякий сознательный рабочий, соглашения в интересах социализма». Действуйте планомерно, не доверяйтесь стихии. Вот смотрите, еще час назад море было совершенно спокойно, а через час кровавые полосы пойдут гулять по вздрагивающим волнам, предвещая бурю.

Несколько минут они молчали, наблюдая за серо-зеленой зыбью. Шаумян поднялся со скамьи:

— Так вот, товарищ Ладо, от тифлисских железнодорожников мы ждем настоящей помощи, ни один немецкий солдат не должен прорваться к Баку.

— Дранг-нах-Остен не выйдет, товарищ Степан.

— Вы сможете не допустить?

— Да...

Шторм рвал море всю ночь и весь день. Брызги разлетались по прибрежным камням. Синие и красные сигнальные фонари на мачтах, раскачиваясь, описывали неровные круги...

Волосы Кэюши буйно метались под порывами ветра. Напрасно силился Ладо разобрать ее слова. Внезапно девушка, смеясь, приподнялась и поцеловала Ладо.

ГЛАВА 36

После подробного отчета Вурцбахеру о поездке «в Гурию» и сетований на родственника, который неожиданно выздоровел, Ладо поспешил удалиться. Захотелось простора, в ушах все еще рокотал прибой.

Миновав дидубийский фруктовый сад, Ладо вышел к огородам. Здесь начиналась немецкая колония Новый Тифлис. Он сам не знал, зачем именно сюда забрел. Но он все шел вперед между железнодорожной линией и отвесным берегом Куры, где тянулись чистые улицы, изобилующие маслобойными, сыроварными и колбасными заведениями. Сквозь кружево чинар виднелась, точно сложенная из кубиков, кирка. А дальше зеленели грядки брауншвейгской капусты, желтел кочанный берлинский солдат, лохматился немецкий пастернак, лейпцигский сельдерей и большими участками примыкал к городской окраине мюнхенский картофель.

Все это с детства было знакомо Ладо. И потому, что здесь из года в год все было одинаково и аккуратно, Ладо почувствовал скуку. Он поспешил перейти рельсы — на косогоре дышалось легче.

Приехал он вчера. Необходимо собраться с мыслями, обдумать все пережитое... Горизонт стал шире, а вершины выше. Надо уметь сочетать силу солдата с предвидением политика. Вот Шаумян говорит тихо, а заглушает горный обвал. Начинается новая битва за Кавказ... Надо собрать армию, правильно ее расставить...

Возле физической обсерватории Ладо замедлил шаги. Калитка была открыта, он тихо вошел в сад. Густые деревья склонились над цветочными клумбами. Из сумрака вырисовывалось здание сейсмической и магнитной станции. Матовый фонарь бросал светлую тень на флигель. Здесь раньше жил Сталин. Ладо любил это здание. Оно хранило пламя эпохи «Месаме-даси».

Опустился на скамью и долго в глубокой задумчивости смотрел на мерцающие звезды. Потом поднялся и торопливо зашагал по тротуару.

В бакалейной лавочке он застал всех в сборе. Расспросам и разговорам о Баку не было конца.

Ровно в девять Ладо открыл калитку. Аратов тоже пришел во-время. Они молча вошли в комнату.

Все было заранее обдумано, но в последнюю минуту Ладо вновь заколебался:

— Я, конечно, был не в деревне...

— Догадываюсь. В Баку?

— Да...

— Надеюсь, результаты стоящие?

— Принимаются срочные меры, — и вдруг совсем неожиданно для себя Ладо добавил: — я о вас, господин ротмистр, с Шаумяном говорил.

— Получил взбучку за якшание с монархистом?

— Напротив, товарищ Степан одобрил. Пока что цель у нас одна: изгнать немцев.

— Да, пока что... А это реально?

— Нам здесь надо предпринять решительные шаги. Довольны ли вы конной бригадой полковника Амилахвари?

— Четыре сотни на ять. К счастью, Заган не отучил их от шашки и коня. Шельмы и виду не подают, что знают меня, а трое драгун в моем эскадроне были. Им-то я и дал нашивки вахмистров, — усерствуют, готовят тебе боевое войско. Зря ты, Абуладзе, мало в казарму направил.

— Да, теперь я и сам сожалею. Признаться, не думал, что немцы так быстро распоясываются. Сейчас мы решили все три отряда собрать Боедино. Я рассчитываю на большее...

— Вот что, Абуладзе, ты со мной в прятки не играй! Если тайна, — не настаиваю. Но вслепую никому никогда не служу.

— Господин ротмистр, не мне вам говорить, что только стремительные действия нашей повстанческой конницы могут остановить продвижение немцев в районе Военно-Грузинской дороги. А для этого нужна сплоченность всех патриотов, нужны средства, оружие. И потом... господин ротмистр, если бы вы возглавили конников!

Аратов усмехнулся:

— Бытие определяет сознание! Так, кажется, сказано в вашем учебнике? Я родился не у твоего отца, а у потомственного дворянина, генерала Аратова Петра Алек-

сандровича. И воспитывался в любви и преданности царю и отечеству... Царь ушел, отечество осталось. Тебе много не понять... Но не в этом дело... Почему лью воду на большевистскую мельницу? Верю — Россию только Москва сохранит в целости. Врагам не отдаст и дробить не позволит. Вот и ты расположил меня. Чем? Чуткостью, дисциплиной. Вот, брат, меня это и подкупило. Глупо, но неоспоримо.

— Вы раньше всего русский, а потом уже офицер, — сказал Ладо. — Сейчас нужны настоящие люди. Идите к нам, и за вами пойдут. Солдаты чувствуют искренность.

— Не уговаривай! Не выйдет! Поздно!.. Итак, комиссар Шаумян решил дать бой прохвостам? От души рад! Готов содействовать.

Аратов налил стаканы и чокнулся с Ладо:

— Понимаешь, Абуладзе, люблю веселенькое дельце. Денежку раздобудем, — и он ударил себя по лбу: — Идея! Попробуем раздобыть у фон-моны! Тебе что-нибудь известно о керосиновой истории?

И Аратов рассказал о злоключениях Шакро в гостиной Саломэ. Разговор длился долго. А когда Ладо распахнул ставни, верхушки деревьев уже серебрились в утренней синеве.

Проводив Аратова, Ладо спустился в подвальчик, где его уже ждали. Дзагания рассказывал о своей поездке в Гори: не семьсот, а тысяча триста немецких чертей выгрузились в сердце Грузии.

Для Ладо стало ясно, что немцы намерены начать переброску войск на Военно-Грузинскую дорогу с двух направлений: из Тифлиса и Гори, и соединить их во Мцхете. Он поручил Канчавели немедленно отправиться в Гори и передать приказ «заганцам», зачисленным в 4-й грузинский полк, быть наготове. По сигналу солдаты должны внезапно исчезнуть из Гори в конном строю и с личным оружием. Ладо посоветовал произвести эту сложную операцию за городом во время эскадронных учений. Местом общего сбора назначается селение Цилкани. Из этого пункта повстанческие соединения двинутся в сторону Натахтари и Ананаура и станут заслонами на Военно-Грузинской дороге, преградив немцам путь на Северный Кавказ. Революционно настроенное душетское крестьянство должно быть полностью вооружено и образовать массовую армию сопротивления. Не надо забывать, что оккупанты обладают высокой военной техникой и командным составом, закаленным в четырехлетней войне. Им надо противопоставить не только гнев народа, но и гибкую военную организацию. Для этого следует привлечь всех патриотов, имеющих военную специальность, вплоть до бывших царских офицеров. Пусть все с оружием восстанут на защиту Кавказа против немецких хищников!

— Что у тебя, царский офицер и рабочий на одной качели качаются? — спросил Канчавели.

— В Тифлисе деникинские агенты уже организовали золотопогонных патриотов! — добавил Чикаберидзе.

— Но тех, которые не пошли за Деникиным, нам надо использовать, — холодно ответил Ладо, подсовывая бумагу под пресс.

— Почему не попробовать? — Миха вынул из кассы буквы набора. — Иногда и из кизила вино гонят!

— Я думаю, Ладо прав, — поддержал Дзагания, — без риска нельзя выиграть битву. Какие силы против нас сплотились! Сейчас каждый клинок дорог.

Канчавели упрямо передернул плечами:

— Мы, большевики, не можем объединиться ни с разложившимися дворянчиками, ни с купцами первой и второй гильдии.

— Молодец Сандро! — Чикаберидзе одобрительно крякнул: — На чорта нам с гнильем возиться! Надо расклеить воззвание не к офицерам, а к рабочим: пусть уничтожат вместе с немцами и волчью офицерскую стаю, и вообще всех дворянчиков.

— Не стой левее партии, а то упадешь! — насмешливо сказал Ладо, набирая слово «Воззвание».

— Я тоже согласен с Ладо, — сказал Сэмонэ, — и еще предлагаю...

ГЛАВА 37

Петр Александрович Аратов, совершая свой утренний моцион, остановился около главного телеграфа и с возмущением прочел:

Воззвание
ко всем патриотам...
... Офицеры царской службы...

Он заставил себя дочитать до конца. Минуту он стоял ошеломленный, потом бросился к генералу Плющик-Плющевскому сообщить о наглости заборных агитаторов. Излив душу, он понесся к генералу Закутовскому. Не застав приятеля, бравый генерал, забыв о моционе, штурмом взял Давыдовский подъем и, задыхаясь, ворвался к генералу Добронравову. Срочно был созван весь генералитет. Более двух часов длилось возмущение.

Сильнее всех негодовал Окунь, он бегал по залу, и то и дело цепляясь шпорой за бахрому паласа, чертыхался:

— Всему виною комиссары! Надо создать свою тайную жандармерию и выловить заборных молодчиков. У, чорт! Да, да, господа генералы, мы спим, а нужно бодрствовать.

— А, может, нам следует занять выжидательную позицию? — нерешительно проговорил Добронравов. — Кто кого? Немцы ли англичан, или англичане...

– Ересь! – перебил его Плющик-Плющевский, – нам надо всеми мерами способствовать успеху Деникина. В Кремль надо въехать на белом коне, а не на ишаке.

Срочно по телефону вызвали капитана Черепахина.

Сверкая наголо обритой головой, капитан Черепахин, окруженный генералами, старательно выводил на листе гербовой бумаги:

«Россия Единая, Великая и Неделимая!»

«Воззвание.

Русские офицеры и солдаты!

Земля наша гибнет. Города вымирают. Фабрики остановились. Мы все у края бездны. Не поддавайтесь агитации комиссаров-коммунистов...»

Дочь Добронравова внесла на подносе хрустальный графинчик, уютно окруженный рюмочками.

Перо капитана снова забегало по бумаге:

«...Только белая армия даст землю крестьянам, народу волю, рабочим обильный заработок. Офицеры и солдаты! Вступайте в ряды белой армии...»

Черепахин вдохновился. Он строчил о триумфальном шествии белых войск на Москву.

К концу завтрака контрвоззвание было готово. Добронравов, вооружившись пенсне и пододвинув кресло Петру Александровичу, принялся править текст. Ставя точки и запятые, надписывая и подчеркивая, генералы жирно зачеркнули обещание Черепахина вернуть России Николая II самодержца.

Наконец, инициаторы «Возрождения России» подписали контрвоззвание, Добронравов, отечески похлопав по плечу Черепахина, погнал его в редакцию органа кадетской партии «Речь». А Петр Александрович направился домой. Разглаживая баки, он предвкушал душеспасительную беседу с сыном, явно не сочувствующим в последнее время белому движению.

В гостиной Саломэ приятная прохлада. Солнце просачивается сквозь узоры резного балкона и растекается по белым шторам.

Сергей Петрович облокотился на китайскую подушку:

– Решайте, княгиня, я не могу больше утаивать попавшую ко мне, как к информатору, жалобу крестьян. Дело пахнет плохо – керосином.

– Наоборот, все кончится лориганом. Мне стоит позвонить... фон Гроссу.

– И что же?

– И дурацкое заявление крестьян о каких-то тридцати тысячах будет с немецкой аккуратностью уничтожено.

– Бесспорно, княгиня, но дело касается не только лично вас. Фон Гросс не упустит случая скомпрометировать меньшевистских заправил, – в данном случае эмиссара Коста,– и внести раздор в дружную компанию. Конечно, проворный Коста не замедлит свалить все на ваше сиятельство, попутно замешав в дело о цистерне и его сиятельство. Меньшевики вышутаются, – у них есть опыт, а сиятельному Иллариону предложат подать в отставочку. Стоит ли из-за пустяков подвергать опасности карьеру полковника Амилахвари?

Саломэ до боли прикусила губу.

– Чего же вы, милостивый сударь, хотите?!

– Не так уж много по сравнению с вечностью. Верните взятые у крестьян тридцать тысяч.

– Но я их не брала...

– Тем лучше!.. Прикажите эмиссару и предостерегите его кстати от гнева неделикатных пейзан...

В комнате, примыкающей к бакалейной лавчонке, Дзагания аккуратно пересчитал боны, полученные от Аратова.

– Вижу, ты научился хорошо торговать, – рассмеялся Ладо.

– Ну, что ж, время требовало – владел шашкой. Теперь время другое требует, владею рублем.

– А теперь мы твой рубль разменяем на шашки, вечером поезжай в сад «Ортучальский соловей». К виноградной беседке подойдет купец с пунцовой розой в петличке. Скажет: «Шашхана»! Ответь: «Зарбазани!» Передай ему деньги. Пусть свезет наганы и винтовки в столярную мастерскую Кучушвили. Напомни хозяину: тачки приедут грузиться утром в среду. Ящики закидайте редиской и зеленью. Часть оружия потом перевезешь сюда ты, а Иванэ – в деревню. Придется торопиться, гроза вот-вот грянет.

Домой Ладо возвращался удовлетворенный.

Дзагания с полосатой ширмой торопливо свернул к Военно-Грузинской дороге. Он был доволен. Сейчас у табачников произошла настоящая драка между рабочими и милиционерами, которые пытались арестовать Петрушку. На кирпичном заводе, тоже не обошлось без столкновения.

К Сабуртало двигалась рота немецкой пехоты в низко надвинутых стальных шлемах. Впереди на пятнистом жеребце ехал Бурцбахер. Он решил сам проверить донесение разведки о Душете и Цилкани.

По обочине дороги пробирался фургон, доверху нагруженный пустыми ящиками и корзинами. Переодетый возчиком Иванэ старался обогнать немецкий отряд. На одном из ящиков покачивался Канчавели. Сатиновый архалук был стянут узорчатым серебреным поясом. Картуз задорно побле-

скивал переломленным козырьком. На разложенном платке подпрыгивал сыр, чурек и глиняная чаша, расплескивающая вино. «Торговец» явно был пьян:

Гегечкори, Гегечкори, Гегечкори вай!
Возьми свои сторублевки, сам их
разменяй!..

горланил он и поминутно раскланивался с немцами.

Из овражка выскочил Дзагания с полосатой ширмой. «Торговец» обрадовался:

— Э-э! Любезный! Зачем пешком ходишь? Садись в мой автомобиль, довезу!— и втащив Дзагания и ширму, снова загорланил:

Гегечкори, Гегечкори!..

Солдаты насмешливо смотрели вслед фургону, тарахтящему ящиками.

За поворотом дороги Иванэ наполнил из бурдючка чашу и протянул Дзагания:

— Пей! За благополучный провоз оружия. Под сеном приятное угощение везем: новые карабины, а внизу в ящиках свинцовые леденцы. Придется тебе повеселить народ в Душете, пока я проберусь в Цилкани...

На мост через речку Веру въехал стосильный бенц. Фон Гросс приложил руку к высокой серой фуражке. Проводив взглядом немецкую роту, дал знак шоферу. Автомобиль тронулся.

Фон Гросс торопился на вокзал проводить Назим-бея, ведущего 1 600 аскеров и 6 батарей в Кюрдамир на соединение с муссаватийской армией.

Распахнув настежь теплушки, аскеры с любопытством разглядывали немцев.

У окон штабного вагона толпились турецкие офицеры. Они выслушивали последние пожелания Абдул-Керим-паши, дипломатического представителя Оттоманской империи при грузинском правительстве.

В отдельном купе улыбающийся Назим-бей, окруженный офицерами, выслушивал любезные советы фон Гросса и сердечные пожелания фон Унгерна. Тускское лицо бея не выдавало беспокойства, но он досадовал: пришлось задержаться в Тифлисе из-за переговоров с немецким командованием.

Переписка Халил-паши с фон Гроссом и паломничество турецких офицеров на улицу Паскевича в германский особняк закончились блистательной победой Стамбула. Под нажимом пашей фон Гросс вынудил главу республики разрешить турецкой армии следовать через грузинскую территорию...

Беспокойно посмотрев на часы, Гефтен напомнил генералу о грузинском обеде.

Фон Гросс слегка нахмурился. Еще накануне он пытался отказаться от приглашения Саломэ встретиться с монархической знатью на парадном обеде. И потом он не хотел афишировать свое внимание к княгине. Но она была настойчива, и он сдался.

В столовой гремела серебряная посуда. Чинно сидели князья и княгини в средневековых нарядах. Этим маскарадом они хотели подчеркнуть, что никакая неудача не поколеблет их намерений.

Вначале разговор касался воззвания генералов «Возрождение России». Саломэ заявила, что грузинам не нужны ни великороссы, ни малороссы. Довольно ста двадцати лет навязанного супружества! Ни одна красавица не в силах была бы выдержать подобный срок. Образную речь Саломэ встретили одобрительными возгласами.

— Но, мой бог, — заметил Унгерн, — царь Ираклий сам умолял Россию принять Грузию под свое покровительство.

Осанистый князь Абхази расправил обвисшие, как вата, усы:

— Грузия сполна заплатила русскому государству. В политическом росте России грузинская территория имела великое значение.

— Но мусульмане прибегали к более откровенной политике.

— Ваше превосходительство, вы правы. Мусульмане опустошали наши земли, но ни султан, ни шах не лишали нас царя,— с достоинством сказала величавая княгиня Орбелиани.

— Упразднила грузинскую корону Россия! А что она понимает в апельсинах?! — негодовал Илларион, наливая Гефтену чудесное «Телиани». — Это было национальным оскорблением, равносильным лишению нас чести! А теперь?! Разве не возмутительно?! Когда мы, княжество, освободились от объятий России, меньшевики-карлики врываются в дом царственного потомка и посягают на наш священный суверенитет.

— Эта курица с орехами, — восторгался Гефтен, — напоминает кулинарное чудо Бургундии.

Унгерн поднял бокал:

— Но ни одно государство не может существовать без добрых соседей! — и чокнулся с Саломэ.

— Барон предвосхитил мою мысль, — весело ответил Илларион,—мы хотим покровительства германской цивилизации.

— Которая может, — подхватила Саломэ, — вызволить из тюрьмы верных рыцарей принца Рупрехта.

— Могу вас заверить, княгиня, завтра все арестованные в особняке светлейшей Мананы нанесут вам благодарственный визит.

— Рога! Дедовские рога!

Датико бросился к стене и схватил огромный турий рог. Наполнив его доверху, Илларион, пожелав фон Гроссу столетнего наслаждения на земле, осушил залпом рог и опрокинул его над своей головой.

– ... За монархическую Грузию! – в упоении провозгласил Илларион. – За реализацию ее исторических надежд!

Ровно в час в кабинет фон Гросса вошли министр внутренних дел и эмиссар Коста.

Беседа сразу обострилась. Генерал упрекал правительство в незаконных действиях, а министр и эмиссар – германскую делегацию в покровительстве интриганам-монархистам.

Привстав, фон Гросс заложил два пальца между пуговицами мундира.

– Нельзя считать группу граждан неблагонадежной только потому, что политика их направлена против меньшевистского режима, – строго указал он.

Эмиссар тоже привстал:

– Государственный переворот во Франции, произведенный в тысяча восемьсот пятьдесят первом году, начался с подобных же пустяков. А разрешите спросить, кто имел неприятности от Луи Бонапарта? Вы, немцы! Хорошо, что подвернулся Седан.

– Герр эмиссар, для того, чтобы иметь Седан, надо иметь Бисмарка. Ваша запальчивость не способствует примирению различных слоев общества. А по имеющимся у меня сведениям дворяне собрались для обсуждения способов взыскать с крестьян поземельные долги и убытки от анархических действий.

Министр насмешливо возразил:

– Для таких невинных развлечений незачем беспокоить себя ночью, применяя детективные методы. В независимой Грузии никому не возбраняется и днем отстаивать свои групповые интересы.

Уверенность министра неприятно поразила фон Гросса. И он еще суше предложил за неимением улик тотчас же освободить всех незаконно задержанных князей.

Торговались долго, упрекая друг друга в непримиримости. Наконец фон Гросс намекнул на двигающиеся через Тифлис новые турецкие эшелоны. В таких случаях важно, чтобы германская делегация встречала необузданных пассажиров на вокзале.

– Ваше превосходительство, – министр сразу обмяк, – мы и на этот раз можем уступить. Мы слишком сильны, чтобы быть идеалистами! И тем более не боимся господ феодалов, мечтающих об одряхлевшем престоле Ираклия.

– Барон, – подхватил Коста, – будем откровенны, не как политики. Наивно было бы ожидать от Германии бескорыстной поддержки грузинских социал-демократов или, наоборот, контрреволюционеров в силу простого сочувствия их классовым вожделениям. Наш век равнодушен к прекрасным глазам. Немецкая политика, как мы понимаем, основывается не на симпатиях к той или другой партии, а на учете их удельного веса. А в Грузии есть только одна реальная сила: мы, меньшевики!

Пристально смотря на эмиссара, фон Гросс подумал: «этот плут может весьма пригодиться принцу Рупрехту».

– Допустим... Вы хотите что-то сказать, господин министр?..

– Да, господин барон, – ободрился министр, – я выступаю с открытым забралом. Мы прекрасно понимаем, что вы пришли в Грузию не ради меньшевиков, но и не ради монархистов, а ради меди, марганца, леса и прочих естественных богатств. Этого всего вам монархисты дать не могут. Грузинский рабочий класс против них. Но нас интересует – насколько жизненны расчеты реакционеров на немецкую помощь?

– Я, как начальник германской императорской делегации, имею честь заявить: мы, немцы, поддерживаем и будем поддерживать ваш строй, правительственную партию. Поэтому еще раз напоминаю: необходимо обеспечить железнодорожную магистраль Батум–Баку мощными паровозами, углем, вагонным парком и проверенным обслуживающим персоналом для транзитного следования войска Халил-паши.

– Ваше превосходительство, но я должен сообщить вам неприятную весть. Ваше желание отправить в Германию еще один эшелон с кожей не может быть выполнено.

– Все наши склады до новой выделки пусты, – Коста вытер лысину шелковым платком. – От души рады, что нам раньше удалось предоставить вам товарный состав с лучшим хромом.

Генерал исподлобья следил, как капелька пота скатилась со щеки эмиссара.

– К сожалению, и я имею неприятное для вас известие. У вас, господа, на границе может произойти сумбур.

И фон Гросс, подробно рассказав о положении на Северном Кавказе и в Азербайджане, обратил внимание собеседников на неблагоприятное положение Грузии, рискующей очутиться в красных клещах. Не открывая до конца своих планов, генерал обещал выслать на Военно-Грузинскую дорогу Баварский горно-егерский полк для создания заслона против красных. Но пять или шесть эскадронов из бригады полковника Амилахвари должны влиться в германскую часть: совместные действия и знание горных условий, несомненно, будут способствовать успеху.

Встревоженные министры и эмиссар согласились с необходимостью срочно созвать военный совет. Они вышли из особняка генерала, словно из горячей ванны, но все же преисполненные гордости: им удалось окончательно привлечь на свою сторону германскую силу. Пусть дорогой ценой, но теперь их власть расправится с анархией в деревне и подавит фанатиков в городе.

После ухода делегатов фон Гросс позвонил и велел адъютанту пригласить фон Унгерна.

В разговоре с бароном генерал был краток, предложив ему немедленно посетить Манану Грузинскую. Следует энергичными, но тайными мерами укрепить союз монархистов. Меньшевики становятся подозрительно самоуверенными. Нет сомнения, — они рассчитывают договориться с англичанами.

ГЛАВА 39

Внезапно в Тифлис примчался Назим-бей. Напрасно германская делегация старалась торжественным приемом выразить радость от столь быстрой встречи с доблестным союзником. Назим-бей не улыбался.

Прибыл он с эшелоном аскеров в Аджикабул вовремя. Под прикрытием турецких батарей храбрый князь Магалов двинул на Алят Карабахский пехотный полк, татарский конный и пулеметные команды. Успех операции был предрешен. Но комиссар Шаумян совершенно неожиданно оказался подготовленным; он обрушил на турок и муссаватистов отряды Красной гвардии и военно-каспийского флота, подкрепленные бронепоездом. После тяжелого боя пришлось оставить Аджикабул, бросить паровозы и вагоны, предварительно опустошив станцию и поселок.

Теперь Назим-бей считает: поскольку Баку нужен не только Стамбулу, но не в меньшей степени и Германии, армия Нури-паши не начнет нового боя, пока немецкие войска не вступят в Азербайджан.

Турки всегда верны своим союзникам, достаточно генералу вспомнить, как в августе шестнадцатого года, несмотря на затруднения турецких войск в Малой Азии, Энвер-паша перебросил на Галицийский театр военных действий анатолийские резервы на помощь австро-германцам. Тогда Кемаль-паша возмущался: почему германское командование не отзывает для укрепления своего фронта немецкие полки, находящиеся в Константинополе? Но и теперь воля султана да будет волей хаджи Вильгельма.

Смотря на опущенные веки Назим-бея, фон Гросс ответил: германское командование в тот момент сознавало опасность для Турции увода немецких частей из ее столицы. Вполне допустимо, что Кемаль-паша и его приверженцы могли воспользоваться отсутствием вооруженных союзных сил и вынудить султана дать иное направление турецкой политики. И что бы стало тогда с Энвер-пашой и его генералитетом? Назим-бей сейчас должен великодушно оценить верность Германии своим союзникам. И теперь воля кайзера да будет волей султана Магомета.

Фон Гросс внутренне усмехнулся: — «Превосходно! Пусть в бесконечных наступлениях и отступлениях турки и большевики взаимно надорвут свои силы, тогда немецкий Наступательный корпус ворвется в Баку по трупам ослабевшего союзника и сокрушенного противника».

Но практические мысли не мешали фон Гроссу быть любезным хозяином за завтраком. За вечерней встречей генералы разработали по карте схемы будущих битв. Фон Гросс советовал Назим-бею торопиться, так подсказывает военная обстановка.

— Нашему офицеру фон Пахену, — под большим секретом добавил генерал, — все же удалось в Персии поднять против англичан конницу Кучук-хана. Но английский командующий генерал Денстервиль сумел прорваться к каспийским берегам. Его Гентский полк, подкрепленный частями четырнадцатого гусарского, броневиками, горной артиллерией и восьмой королевской батареей, занял Решт и Энзэли.

— Англичане?! — презрительно пожал плечами Назим-бей. — С каких пор султан боится английского короля?! В союзе с Германией Турции легко будет ворваться в Индию и пополнить свою армию мусульманами индусами.

Вслушиваясь в восточные планы Назим-бея, генерал размышлял: «англичане уже на пороге Баку. Но раньше, чем ретивые томми раздобудут флот для приятной прогулки по Каспийскому морю, мы, немцы, завладеем не только Баку, но, повернув турок обратно в Стамбул, распахнем себе ворота в Индию».

— Его величество султан может располагать немецкой армией не только на Кавказе, — торжественно произнес фон Гросс.

В самом радужном настроении Назим-бей вернулся в «Ориант».

Аллах свидетель, совместное наступление выгодно и султану и кайзеру. Но насколько можно доверять немецким акулам? Собираясь на банкет, устроенный грузинским правительством в честь турецкого командования, Назим-бей вспомнил странное выражение лица фон Гросса и, надевая парадный мундир, уже не сомневался: надо послать к Халил-бею в Батум секретного курьера. Осторожность — лестница победы.

Вызвав голубоглазого Ага Селима, командующий велел офицеру переодеться в штатское и тайно направиться в Батум. Ответ на письмо Селим может привезти прямо в Кюрдамир.

Фон Гросс окончательно убедился в правильности своей тонкой игры... Турки в полном неведении о генеральном стратегическом плане Германии на Кавказе. Грузины тоже. Блестящий финал завершит эпопею. Людендорф оценит дипломатию начальника императорской делегации. А кронпринц? О, его высочество может сказать о своем ставленнике: «он недаром воспитан в суровой школе нашей доблестной армии». А дальше? Фон Гросс самодовольно выпрямился: фельдмаршальский

кезл и прием в королевском дворце в честь покорителя Кавказа, Индии и Китая герцога фон Гросса!!

Приятные размышления прервал осторожный звон шпор. О этот розовый поросенок Гефтен! Он умеет подносить неприятности, как вкусный пудинг.

И точно угадав мысли генерала, Гефтен, подслащивая голос, доложил о нарастающем сопротивлении в деревнях. Грузины настроз отказались принимать вместо денег немецкие расписки и сдавать продукты по ценам, установленным германским интендантом.

Генерал помрачнел. Из ставки его высочества несутся уже не информации, а вопли. Провиант должен быть направлен в Германию, хотя бы пришлось вывернуть наизнанку всю Грузию.

И снова генерал в Желтом зале. Хрустальная люстра раздражает его назойливой игрой искр. Излишнее дворцовое великолепие! Он предпочитает четкую строгость блиндажа. Он стоит у окна и смотрит на кипарисы, в которых запуталась луна. Но он не позволит запутать себя ссылками на сложность.

Министр торговли вполне разделяет неудовольствие генерала и спешит заверить его превосходительство: все меры будут приняты...

Коста сокрушается: задержка происходит из-за нарастающей крестьянской анархии. Под влиянием большевистских идей крестьяне припрятали припасы и, обнаглев, требуют помещичьих земель.

— Требуют?! — фон Гросс презрительно скривил губы.—Допустим, что министерства бессильны, но тогда он сам поможет водворить порядок... Повременить?! Ни одного дня! Министерство продовольствия может положиться на его офицеров...

И заработала разведка. Вурцбахер, сопровождаемый рыжим унтером, как оголтелый носился по всем окраинам. Унгерн подолгу сидел в оперативном отделе оккупационного штаба. Гефтен совместно с эмиссаром объезжал крупных купцов. Советники беспрестанно вносили в кабинет фон Гросса толстые папки. Военные курьеры мчались во все стороны на мотоциклах.

От князя Иллариона не укрылось беспокойство, охватившее немцев. Он поспешил сообщить генералу, что в Душетском уезде какие-то злоумышленники вооружают крестьян. Недовольство в деревнях вот-вот выльется в открытый бунт. Князь умолял направить жандармскую экспедицию и в его деревню. Тем более, что пора снимать кукурузу, пока обезумевшая чернь не растащила весь урожай.

«Кукуруза?! Это как раз то, что надо!»,— подумал генерал. Конечно, можно было бы самому воспользоваться богатым подарком и продать зерно по весьма выгодным ценам, но когда в кровопролитных боях решается судьба германской армии, немецкий генерал не должен задумываться над вопросами личного благополучия. Кронпринц, находясь в весьма холодных отношениях с августейшим отцом, особенно ценит и запоминает генералов, на деле выказывающих ему свою преданность. Кукуруза должна быть незамедлительно отправлена его высочеству, как подарок генерала.

К удовольствию Иллариона генерал назначил Вурцбахера начальником экспедиции в княжескую усадьбу. Обер-лейтенанту были даны строгие инструкции. Кукуруза семи уездов предназначается для армии кронпринца, поэтому и в имении Амилахвари должен быть тщательно собран урожай. Район, в котором предстоит действовать обер-лейтенанту, соприкасается с Военно-Грузинской дорогой, имеющей важнейшее стратегическое значение. В некоторых целях военного порядка необходимо спровоцировать столкновение крестьян с немецкими солдатами, а затем под предлогом охраны шоссе от бунтовщиков оставить во Мцхете большую часть отряда.

Конец первой части.

ИЗ ВИЛЬЯМА ШЕКСПИРА

*Сонеты**

С. МАРШАК

★

LXXVII

Седины ваши зеркало покажет,
Часы — потерю золотых минут.
На белую страницу строчка ляжет —
И вашу мысль увидят и прочтут.

По черточкам морщин в стекле правдивом
Мы все ведем своим утратам счет.
А в шорохе часов неторопливом
Украдкой время к вечности течет.

Запечатлейте беглыми словами
Всё, что не в силах память удержать.
Своих детей, давно забытых вами,
Когда-нибудь вы встретите опять.

Как часто эти найденные строки
Для нас таят бесценные уроки.

LXXXI

Тебе ль меня придется хоронить
Иль мне тебя, — не знаю, друг мой милый.
Но пусть судьбы твоей прервется нить,
Твой образ не исчезнет за могилой.

Ты сохранишь и жизнь и красоту,
А от меня ничто не сохранится.
На кладбище покой я обрету,
А твой приют — открытая гробница.

Твой памятник—восторженный мой стих.
Кто не рожден еще, его услышит.
И мир повторит повесть дней твоих,
Когда умрут все те, кто ныне дышит.

Ты будешь жить, земной покинув прах.
Там где живет дыханье — на устах!

---

* Здесь мы помещаем шестнадцать сонетов из цикла, входящего в книгу, выпускаемую в ближайшее время. — *С. М.*

CIV

Ты не меняешься с теченьем лет.
Такой же ты была, когда впервые
Тебя я встретил. Три зимы седые
Трех пышных лет запорошили след.

Три нежные весны сменили цвет
На сочный плод и листья огневые,
И трижды лес был осенью раздет, —
А над тобой не властвуют стихии.

На циферблате указав нам час,
Покинув цифру, стрелка золотая
Чуть движется невидимо для глаз.
Так на тебе я лет не замечаю.

И если уж закат необходим, —
Он был перед рождением твоим!

CXXX

Ее глаза на звезды не похожи,
Нельзя уста кораллами назвать,
Не белоснежна плеч открытых кожа,
И черной проволокой вьется прядь.

С дамасской розой, алой или белой,
Нельзя сравнить оттенок этих щек.
А тело пахнет так, как пахнет тело,
Не как фиалки бархатный цветок.

Ты не найдешь в ней совершенных линий,
Особенного света на челе.
Не знаю я, как шествуют богини,
Но милая ступает по земле.

И всё ж она уступит тем едва ли,
Кого в сравненьях пышных оболгали.

XIX

Ты притупи, о время, когти льва,
Клыки из пасти леопарда рви,
В прах обрати земные существа
И феникса сожги в его крови.

Зимою, летом, осенью, весной
Сменяй улыбкой слезы, плачем — смех.
Что хочешь, делай с миром и со мной, —
Один тебе я запрещаю грех.

Чело, ланиты друга моего
Не бороздй тупым своим резцом.
Пускай черты прекрасные его
Для всех времен послужат образцом.

А коль тебе не жаль его ланит,
Мой стих его прекрасным сохранит!

CXXVIII

Едва лишь ты, о, музыка моя,
Займешься музыкой, встревожив строй
Ладов и струн искусною игрой, —
Ревнивой завистью терзаюсь я.

Обидно мне, что ласки нежных рук
Ты отдаешь танцующим ладам,
Срывая краткий, мимолетный звук,
А не моим томящимся устам.

Я весь хотел бы клавишами стать,
Чтоб только пальцы легкие твои
Прошлись по мне, заставив трепетать,
Когда ты струн коснешься в забытьи.

Но если счастье выпало струне,
Отдай ты руки ей, а губы — мне!

XXVII

Трудами изнурен, хочу уснуть,
Блаженный отдых обрести в постели.
Но только лягу, вновь пускаюсь в путь —
В своих мечтах — к одной и той же цели.

Мои мечты и чувства в сотый раз
Идут к тебе дорогой пилигрима,
И, не смыкая утомленных глаз,
Я вижу тьму, что и слепому зрима.

Усердным взором сердца и ума
Во тьме тебя ищу, лишенный зренья.
И кажется великолепной тьма,
Когда в нее ты входишь светлой тенью.

Мне от любви покоя не найти:
И днем и ночью — я всегда в пути.

LXXII

Чтобы не мог тебя заставить свет
Рассказывать, что ты во мне любила, —
Забудь меня, когда на склоне лет
Иль до того возьмет меня могила.

Так мало ты хорошего найдешь,
Перебирая все мои заслуги,
Что поневоле, говоря о друге,
Придумаешь спасительную ложь.

Чтоб истинной любви не запятнать
Каким-нибудь воспоминаньем ложным,
Меня совсем из памяти изгладь, —

Иль дважды мне ответ придется дать:
За то, что был при жизни столь ничтожным
И что потом тебя заставил лгать!

XXXIV

Блистательный мне был обещан день,
И без плаща я свой покинул дом.
Но облаков меня догнала тень,
Настигла буря с градом и дождем.

Пускай потом, пробившись из-за туч,
Коснулся нежно моего чела,
Избитого дождем, твой кроткий луч, —
Ты исцелить мне раны не могла.

Меня не радует твоя печаль,
Раскаянье твое не веселит.
Сочувствие обидчика едва ль
Залечит язвы жгучие обид.

Но слез твоих, жемчужных слез ручьи,
Как ливень, смыли все грехи твои!

CXLIII

Нередко для того, чтобы поймать
Шальную курицу иль петуха,
Ребенка на-земь опускает мать,
К его мольбам и жалобам глуха.

И тщетно гонится за беглецом,
Который, шею вытянув вперед
И трепеща перед ее лицом,
Передохнуть хозяйке не дает.

Так ты меня покинула, мой друг,
Гонясь за тем, что убегает прочь.
Я, как дитя, ищу тебя вокруг,
Зову тебя, терзаясь день и ночь.

Поймав надежду, вновь ко мне приди,
Утешь меня, прижми к своей груди.

LXXI

Ты погрусти, когда умрет поэт,
Покуда звон ближайшей из церквей
Не возвестит, что этот жалкий свет
Я променял на темный мир червей.

И, если перечтешь ты мой сонет,
Ты о руке остывшей не жалей.
Я не хочу туманить нежный цвет
Очей любимых памятью своей.

Я не хочу, чтоб эхо этих строк
Меня напоминало вновь и вновь.
Пускай замрут в один и тот же срок
Мое дыханье и твоя любовь.

Я не хочу, чтобы своей тоской
Ты предала себя молве людской.

LXXIII

То время года видишь ты во мне,
Когда один, другой багряный лист
От холода трепещет в вышине —
На хорах, где умолк веселый свист.

Во мне ты видишь тот вечерний час,
Когда поблек на западе закат
И купол неба, отнятый у нас,
Подобьем смерти — сумраком объят.

Во мне ты видишь блеск того огня,
Который гаснет в пепле прошлых дней,
И то, что жизнью было для меня,
Могилою становится моей.

Ты видишь всё. Но близостью конца
Теснее наши связаны сердца.

LX

Как движется к земле морской прибой,
Так и ряды бессчетные минут,
Сменяя предыдущие собой,
Поочередно к вечности идут.

Младенчества новорождённый серп
Стремится к зрелости и наконец,
Кривых затмений испытав ущерб,
Сдает в борьбе свой золотой венец.

Резец годов у жизни на челе
За полосой проводит полосу.
Все лучшее, что дышит на земле,
Ложится под разящую косу.

Но время не сметет моей строки,
Где ты пребудешь смерти вопреки!

CVI

Когда читаю в свитке мертвых лет
О нежных девушках, давно безгласных,
О красоте, слагающей куплет
Во славу дам и рыцарей прекрасных,

Столетьями хранимые черты —
Глаза, улыбка, волосы и брови —
Мне говорят, что только в древнем слове
Могла всецело отразиться ты.

В любой строке к своей прекрасной даме
Поэт мечтал тебя предугадать,

Но всю тебя не мог он передать,
Впиваясь в даль влюбленными глазами.

А нам, кому ты наконец близка,
Где голос взять, чтобы звучал века?

CXXI

Уж лучше грешным быть, чем грешным слыть.
Напраслина страшнее обличенья.
И гибнет радость, коль ее судить
Должно не наше, а чужое мненье.

Как может взгляд чужих порочных глаз
Щадить во мне игру горячей крови?
Пусть грешен я, но не грешнее вас,
Мои шпионы, мастера злословья.

Я — это я, а вы грехи мои
По своему равняете примеру.
Но может быть я прям, а у судьи
Неправого в руках кривая мера,

И видит он в любом из ближних ложь,
Поскольку ближний на него похож!

LV

Замшелый мрамор царственных могил
Исчезнет раньше этих веских слов,
В которых я твой образ сохранил.
К ним не пристанет пыль и грязь веков.

Пусть опрокинет статуи война,
Мятеж развеет каменщиков труд,
Но врезанные в память письмена
Бегущие столетья не сотрут.

Ни смерть не увлечет тебя на дно,
Ни темного забвения вражда.
Тебе с потомством дальним суждено,
Мир износив, увидеть день суда.

Итак до пробуждения живи
В стихах, в сердцах, исполненных любви!

О СОНЕТАХ ШЕКСПИРА

М. МОРОЗОВ

★

В современном шекспироведении принято подчеркивать тот факт, что Шекспир писал прежде всего для театра. Наряду с общими проблемами мировоззрения Шекспира и специальными вопросами текстологии, связь поэтики Шекспира со сценой стоит сегодня в центре внимания. Более того: такие, например, выдающиеся работы английских шекспироведов, как «То, что происходит в «Гамлете» Довера Вильсона или «Предисловия к Шекспиру» Грэнвиля-Баркера уже прямо напоминают режиссерские экспликации.

Заслуги новой школы шекспироведения очень велики хотя бы в том, что ей удалось во многом освободить науку о Шекспире из плена бесплодной схоластики и сделать ряд ценных открытий в отношении структуры шекспировских пьес. Но тут есть и своя опасность. Если Шекспир-драматург оказался ярко освещенным, то Шекспир-поэт несколько отступил в тень. И понятно, что наиболее густой тенью покрылись сонеты Шекспира.

Не будем, впрочем, несправедливыми к новой школе. Недооценкой поэтической стороны творчества Шекспира, а значит и его сонетов, страдали и некоторые «классики» шекспироведения. Даже из многих знаменитых и действительно превосходных работ по Шекспиру мы часто ничего существенного о его сонетах не узнаем. Если автор текстолог, то он, конечно, интересуется сонетами Шекспира, поскольку текстолог со своей специальной точки зрения обязан интересоваться любым произведением автора, вне зависимости от художественных его достоинств. Что касается работ более общего характера, то мы здесь обычно находим всевозможные догадки о «личной драме» Шекспира, отразившейся в сонетах, и уже затем открыто или между строк находим мнение, что сонеты Шекспира прежде всего — дань моде, привезенной из Италии и достигшей своего апогея в девяностых годах XVI века, когда «з Англии все писали сонеты». Гениальным шекспировским сонетам нередко давали название «поэтических упражнений». Высказывалось даже предположение, что они были написаны на заказ. Во всяком случае, согласно распространенному мнению, сонеты Шекспира бесконечно уступают его великим драматическим произведениям.

Сонет был введен в английскую поэзию еще в первой половине XVI века подражателями Петрарки Уайаттом и Серрейем. Но они лишь успели наметить путь, так как оба умерли сравнительно в молодые годы: Уайатт умер вскоре после того, как вышел из Тауера, где просидел в заключении пять лет; Серрей сложил голову на плахе. На настоящую высоту сонет на английском языке поднялся вместе с расцветом Ренессанса в Англии. Великолепные, но несколько холодноватые декоративные сонеты создал Эдмунд Спенсер. Гораздо глубже по чувству сонеты Филипа Сиднея: свою несчастную любовь к Пенелопе Деверё, сестре впоследствии казненного Елизаветой графа Эссекса, Сидней воспел в цикле замечательных сонетов, напечатанном в 1591 году под заглавием «Астрофель и Стелла».

В девяностые годы XVI века сонет становится наиболее распространенной поэтической формой в Англии. Достаточно сказать, что за пять лет (1592—1597) было напечатано в Англии около двух с половиной тысяч сонетов; число же написанных за это время сонетов было, конечно, во много и много раз больше. Шекспир несомненно уже тогда писал сонеты. Во всяком случае, Мерес в своей «Сокровищнице Паллады» (1598) упоминает о «сладостных сонетах Шекспира, известных в кругу его личных друзей». Сонеты Шекспира были напечатаны лишь в 1609 году.

Шекспироведами было потрачено немало усилий на то, чтобы объединить дошедшие до нас сто пятьдесят четыре сонета Шекспира в единый сюжетный цикл. В своих сонетах Шекспир, как известно, воспевает дружбу, которая, по мнению его, выше любовной страсти и вместе с тем обладает всей полнотой любовных переживаний: и радостью свидания, и горечью разлуки, и муками ревности. Шекспир уговаривает друга жениться и «восстановить» себя в потомстве. Только потомство является «защитой против косы Времени». Шекспир жалуется на свою тяжелую долю, в которой любовь к другу является

единственным утешением. Но вот на сцене появляется новое лицо — «смуглая дама», вставшая между поэтом и другом. Поэт страстно любит ее и вместе с тем сетует на нее за те страдания, которые она причиняет ему и другу... Итак, согласно обычному толкованию, в сонетах действуют три лица: поэт, его друг и «смуглая дама». И, однако, чем пристальней всматриваешься в сонеты, тем настойчивей становятся сомнения. Уж слишком различны сонеты по настроению и по самому характеру выраженных в них мыслей и чувств, как это блестяще показал С. Маршак своими переводами. И невольно склоняешься к тому предположению, что сонеты Шекспира по содержанию не образуют единого сюжетного цикла (с этим согласны и некоторые исследователи сонетов); что Шекспир ведет в них речь не о двух, а о многих лицах; что отражают они самые различные факты столь мало известной нам биографии великого поэта, так как они были написаны в разное время и в разных обстоятельствах жизни.

В эпоху Ренессанса в Англии на сонет смотрели как на «большую» поэтическую форму (к «малой» форме свели его лишь эпигоны Ренессанса). Тема сменяется встречной темой, и обе темы находят в конце сонета завершающий синтез. Все это должно быть вложено ровно в четырнадцать строк. Совершенное поэтическое мастерство требовалось от автора сонета, совершенное поэтическое мастерство требуется и от его переводчика. С. Маршак — замечательный мастер поэтической формы. Без этого ему не удались бы сонеты Шекспира, где нужно создать большую картину на малом пространстве.

«Не глаза на звезды не похожи...» Тема: красота возлюбленной несовершенна. Встречная тема: но возлюбленная, в отличие от вымышленных «богинь», реально существует:

Не знаю я, как шествуют богини,
Но милая ступает по земле.

Синтез: реальность значительней вымышленной, лживой красоты. Этот сонет — гимн земной красоте. Характерная для Шекспира тема!

Заметьте силу и почти эпиграмматическую остроту последней строки: «Кого в сравненьях пышных оболгали». Слово «оболгали» звучит, как и в подлиннике, резко. Шекспир полемизирует с многочисленными в его эпоху подражателями певца Лауры и неоплатониками, поклонявшимися «идеальной», а не живой красоте. Вместе с тем вообще нужно помнить, что последняя строка как бы венчающая все здание сонета, обычно выделена. Маршак превосходно воссоздает и эту черту.

Тематическая сторона сонетов Шекспира передана Маршаком с поразительной ясностью. Замечательно воссозданы и их музыкальность и образность. Каждый сонет имеет свою мелодию, свое звучание. Сравните стройную, несколько торжественную музыку уже цитированного нами сто тридцатого сонета с легкой, почти «разговорной» интонацией сонета сто сорок третьего:

Нередко для того, чтобы поймать
Шальную курицу иль петуха...

или с гневным голосом сонета девятнадцатого:

Ты притупи, о время, когти льва.

Своими переводами Маршак показал, насколько разнообразны сонеты Шекспира.

Каждый сонет имеет свое звучание и каждый сонет также несет в себе свой мир образов: сонет девятнадцатый — когти льва, клыки дикого зверя, феникс, обагренный кровью, — какой-то мрачный и фантастический рисунок пером или темная гравюра. Сонет сто сорок третий — мирный птичий двор, женщина с ребенком — картина в духе нидерландской школы. Замечательно при этом то, что даже аллегорический образ живет и в подлиннике и в переводе своей самостоятельной жизнью.

Блистательный мне был обещан день,
И без плаща я свой покинул дом...

(Сонет тридцать четвертый).

— это «аллегория» и вместе с тем это живая деталь («без плаща») из того быта, в котором жил Шекспир.

Поэтический перевод шекспировских сонетов, вероятно, невозможен, если не отойти от них на некоторое расстояние. Стоя у самого подножья горы, мы не видим общих ее очертаний. Если бы Маршак стал копировать все те бесчисленные детали, которыми изукрашена, так сказать, п о в е р х н о с т ь шекспировских сонетов, ему грозила бы неминуемая опасность растерять с у щ е с т в е н н о е в мелочах. Но он стремился прежде всего передать существенное. И перед нами поэтому — живые произведения, а не фотографии.

Мы уже говорили о том, что, согласно распространенному мнению, сонеты Шекспира бесконечно уступают его драматическим произведениям. Но переводы Маршака являются свидетельством того, что бессмертные сонеты Шекспира сродни и философским глубинам «Гамлета», и страстной лирике «Ромео и Джульетты», и фантастической живописи «Сна в летнюю ночь» и «Бури». И поэтому как в жизни художественного перевода, так и на путях шекспироведения эти переводы несомненно являются большим и значительным событием.

ТРОЕ В НОВЫХ КОСТЮМАХ

ДЖОН Б. ПРИСТЛИ

Перевод с английского Юрия Шер

Под редакцией А. Гуровича

★

1

В баре «Корона» стояла тишина. Толчея полуденного часа кончилась. До закрытия оставалось всего лишь двадцать минут. Буфетчица — женщина средних лет, перебравшаяся сюда из Лондона в дни «летающих бомб» и занятая теперь, главным образом, размышлениями о том, как бы ей возвратиться домой, вытерла стойку и бросила взгляд на рыночную площадь, залитую мягким светом весеннего солнца. В баре оставалось всего четыре посетителя. Пожилой мужчина недоверчиво изучал газету, которую он сложил в узенькую полоску, словно это был какой-нибудь секретный документ. Другой пожилой мужчина курил трубку, уставившись в стену. В углу хихикали две девушки — веселые непринужденные создания в шароварах и ярких шарфах, работавшие, повидимому, на авиазаводе.

Быть может потому, что она нетерпеливо ожидала закрытия, буфетчица внезапно почувствовала, что все и вся здесь — четыре посетителя, бар, рыночная площадь, Лэмбюри и даже солнечные лучи чего-то ждут. Чего именно, она не знала. И никто вероятно не знал. Но такое было у нее ощущение, и оно было так сильно, что она решила рассказать о нем за чаем своей приятельнице. Может быть, это чувство порождал конец войны. Ну вот кончилась война — что же дальше? Да, в этом все дело. Что дальше?

Одна из девушек, похожая на испанку, с шарфом цвета горчицы и слишком темной помадой на губах, посмотрела на нее и подмигнула. Буфетчица почувствовала, что ее лицо по привычке расплывается в профессиональную ответную улыбку. Она быстро и решительно отвела взгляд в сторону. Нечего подмигивать. Да, в самом деле, нет никаких оснований подмигивать. Взять хотя бы эту девчонку: она бывала здесь в баре всю зиму, сегодня с одним, завтра с другим, с кем придется, глотала джин с лимонным соком, кричала во всю глотку, разыгрывала из себя кино-звезду. А теперь их рассчитывали на авиазаводе. Очень может быть, что эти две только что уволены. Придется скоро таким вот крошкам поубавить спесь. Впрочем, это им только на пользу. Буфетчица почувствовала вдруг, что она думает, как злая, недовольная старуха, и рассердилась на себя: она, ведь, была вовсе не такая.

Мотор грузовика, стоявшего на площади, зафыркал, зазорчал, машина с грохотом уехала. Наступившая вслед затем тишина казалась всеобъемлющей. В бар проникла какая-то подавленность. Пожилой мужчина со сложенной газетой смотрел в пустоту, словно он навеки распростился со всеми газетами. Девушки перестали шептаться и хихикать. У одной лицо потеряло всякое выражение, лицо другой стало внезапно грустным. Буфетчица оперлась пухлым локтем о стойку и чувствовала, как медленно тянется время.

И вдруг все стало иным. В бар вошли трое молодых людей, в новых костюмах. Один костюм был синий, другой — серый, третий — коричневый, но все они были скроены одинаково просто, можно сказать даже — скупо, и все были с иголочки. Молодые люди в этих костюмах, видно было, что они их только что надели, — наоборот, не были похожи друг на друга. Один был высокий, красивый блондин, другой, такого же роста, был смуглый, с длинным носом, третий был коренастый, но выглядел разбитым.

И все же было у них нечто общее, словно все трое приехали из одного и того же места, где занимались одним и тем же делом. На них была печать подчеркнутой, жесткой мужественности, и это тотчас же как удар по плечу, оказало свое действие на обеих девушек. Буфетчица тоже почувствовала эту черту, но еще не знала, как к ней отнестись. Она неопределенно улыбнулась.

— Что будем пить? — спросил высокий

в синем костюме. У него был интеллигентный голос офицерского типа.

— А что у них есть? — отозвался коренастый в коричневом костюме. Он по-местному твердо выговаривал «р».

— Пиво? — предложила буфетчица.

— Ладно, три кружки, — сказал смуглый в сером костюме. Он тоже выговаривал «р» по-местному, но не так резко. Глаза у него были маленькие, глубоко посаженные, и он не очень понравился буфетчице.

Нацеживая пиво, она слышала, как девушки принялись снова болтать и хихикать, стараясь привлечь к себе внимание. Только поверь им!

— Вот мы и приехали, — сказал красивый в синем костюме. — Лэмбюри.

— Вот и приехали, — отозвался длинноносый.

— Вот именно, — неопределенно сказал коренастый, окидывая взглядом «Корону».

Буфетчица подала им три кружки с пивом.

— Только что демобилизовались, наверное?

— Вот именно, — опять произнес коренастый, в коричневом костюме, точно таким же тоном, как и в первый раз.

Если и было, что добавить к этому, никому не пришло в голову это сделать.

— Как дела в Лэмбюри? — спросил красивый, и насмешливая искорка блеснула в его голубых глазах.

Буфетчица вовсе не хотела, чтобы ее связывали с Лэмбюри. Она из Лондона и надеется возвратиться туда, как только будет возможно, сказала она. А если кому нравится Лэмбюри — его дело.

— Что ж, нам он нравится. Не так ли, ребята?

— А чем он, собственно, плох? — спросил длинноносый почти грубо.

— Я не сказала, что он плох, — ответила буфетчица. — Вы здешний?

— Нет. У нас ферма по дороге к Кроуфильду.

— А я живу в самом Кроуфильде, — вмешался коренастый в коричневом костюме.

— Туда ведь ходит автобус? Должен отправиться минут через десять?

Это спросил длинноносый, тот, что вырос на ферме, хотя по его виду и нельзя было это сказать.

Буфетчица не знала и с легким оттенком пренебрежения, как истая уроженка Лондона, добавила, что никогда не интересовалась, куда ходят местные автобусы.

— Ходит, ходит! Его-то мы и ждем.

Слова принадлежали задорной девушке с шарфом горчичного цвета. Она сказала затем, что хочет пачку сигарет, хотя в действительности, — подумала буфетчица, — она хочет только познакомиться с этими парнями.

— Мы отлично знаем его маршрут, — продолжала девушка, — потому что он проходит недалеко от нашего завода. Остановка на той стороне площади.

Она обвела молодых людей смелым взглядом живых темных глаз. Они смотрели на нее, как моряки на далекий тропический берег.

Красивый в синем костюме, чувствовавший себя наиболее уверенно, сломал лед.

— Благодарю вас. Мне — в другую сторону, но они поедут. Вы тоже едете?

— Да, едем. — Девушка кивнула в сторону подруги, которая приняла надменный и равнодушный вид.

— Ну, вот видите, ребята. Будет веселая компания. Не хотите ли выпить? Время еще есть. — Он повернулся ко второй девушке, но та оттопырила нижнюю губу и отрицательно мотнула головой.

— Ты как хочешь, а я выпью, Эди, — громко проговорила брюнетка. — Джин с лимоном. Маленькую рюмку, пожалуйста. — Она протянула мужчинам свою пачку «Плейерс».

— С авиазавода, конечно? — спросил длинноносый, строго поглядывая на девушку.

Она вызывающе посмотрела на него.

— Да. Вам не нравится?

— Да нет. Какое мне дело?

— Тем лучше. А то у вас такой вид, словно я должна за что-то просить прощения. Может, вы думаете, что все мы здесь сидели сложа руки, полировали ногти и получали за это двенадцать фунтов в неделю?

Тот, что был в коричневом костюме, от изумления разинул рот. Синий костюм усмехнулся, возможно даже подмигнул. Но длинный нос в сером уставился на девушку маленькими сердитыми глазками и даже не улыбнулся.

— Ничего я не думал. Я еще вообще не начал думать. С чего вы это взяли?

— Ну ладно, ладно!

Красивый в синем костюме подарил всех сразу широкой доброй улыбкой. Даже буфетчица и та не могла устоять.

— Только не нервничать, пожалуйста. Все мы, может, скоро будем нервничать, но начинать сейчас нет никаких оснований. Давайте лучше я вам всех представлю. Этот сердитый парень был капралом в Бэнфордширском стрелковом полку, а сейчас возвращается к отцу на ферму, его зовут Герберт Кенфорд. Этот тоже из Бэнфордширского — Эдди Мольд, женат, не так ли, Эдди? Герберт холост и, должно быть, поэтому так строг с вами. Обо мне говорить не стоит, я еду, — если удастся, на машине, — в Суэнсфорд, а зовут меня Алан Сэрит...

— Вы, значит, из поместья, — удивленно сказала девушка. — Наверное, офицер? Да?

— Нет, сержант. Не думал, что вы знаете моих.

— Я их и не знаю, но слышала. Мое имя — Дорис Морган. А это моя подруга Эди Юнг.

— Вот и перезнакомились, — дружелюбно отозвался Стрит.—Все теперь знакомы со всеми.

— Знаете, фермеры не плохо подработали на войне, — и Дорис снова бросила вызывающий взгляд на Герберта Кенфорда, словно последние две минуты между ними происходила молчаливая, но ожесточенная перепалка. — Большинство туго набило себе карманы. Я же в глаза не видела ничего похожего на двенадцать фунтов в неделю и переломала себе все ногти.

— Бросьте,—сказал Герберт Кенфорд.— Вам нечего со мной спорить. Вы спорите сама с собой. С чего это вы на меня напустились?

— Мы вас не понимаем, Дорис. — Стрит деланно вздохнул. — Мы просто три парня, которые хотят чуточку мира и тишины, и никого не трогаем.

— И вы думаете, что получите теперь мир и тишину? Да? — резко возразила Дорис.

— Дорис, перестань, — вмешалась вторая девушка.

— Конечно. Ведь так, Мольди?

— Вот именно, — пробурчал Мольд. Он явно был не словоохотлив. Девушка не обратила на него внимания и снова бросала дерзкий взгляд на Кенфорда.

— Я вам сейчас скажу, почему я на вас напустилась. Дня три тому назад пришли сюда несколько парней, таких же, как вы, прямо из армии, и начали разглагольствовать. Они, видите ли, кровь проливали и победу завоевывали за какие-то пару прошей, а мы сидели в тылу и делали вид, что работаем, а на самом деле ждали пушка, чтобы пойти и напиться с первым встречным американцем, и получали за это десять или двенадцать фунтов в неделю. Они орали и никому не давали слова сказать. А я бы сказала им, что нас рассчитали на заводе, что мы получали свои деньги не даром, что раньше я работала в магазине, которого больше не существует, и у нас был в Кройдоне такой славный домик, которого тоже больше не существует...

— И у нас был когда-то славный бальзон... — сказал Стрит, и теперь его улыбка не была ни широкой, ни доброй. — Не правда ли, Герберт?

— Дайте ей кончить, Алан. Я хочу знать, что у нее не ладится и что она хочет нам доказать.

Но девушка смотрела уже не на Герберта, а на Стрита.

— Ну, вот теперь вы знаете. Да будет вам известно, что мы тоже жили не на луне. У меня было два брата и оба...

— Понимаю, — мягко сказал Стрит. — Но вы не должны обрушиваться за это на нас.

— Правильно, — воскликнула она. — А вы не должны нападать на нас. Вот и все.

— Послушайте, — сказал Кенфорд таким усталым и спокойным тоном, что это было почти оскорбительно. — Никто на вас не нападает. Ни один из нас ничего плохого вам не сказал. Если у вас скверное настроение, а это так, видимо, и есть, нечего срывать зло на нас. Понятно?

Они взглянули друг другу в глаза. Первой отвела свой взгляд девушка. Она покраснела. А потом хмуро заметила:

— Хорошо. Я наговорила лишнего. Как всегда. Но только когда вы начнете раскидывать мозгами, учтите все это.

— Что именно?

— Все. Увидите сами. Автобус, вероятно, пришел. Если хотите сесть, торопитесь. Идем, Эди.

Она поднялась. В это время послышался скрип старых тормозов, и дверь «Короны» открылась, пропуская широкоплечую фигуру в военной форме. Девушки взглянули на вошедшего и улетучились.

— Алан!

— Джеральд! Значит мама получила мою телеграмму?

— Полчаса тому назад. Я сле собрался. Успеете быстренько налить до закрытия!

— Как раз сможете выпить, — сказала буфетчица и поспешила налить большую рюмку виски.

— Два наших парня, Джеральд. Вместе были все время. Герберт Кенфорд. Эди Мольд. Мой брат Джеральд — майор генерального штаба. Но теперь нам на это в высокой степени наплевать!

Джеральд широко осклабился, дружески пожал им руки и выразил надежду на то, что дома они найдут все в порядке.

— Пошли, не то опоздаем на автобус, — сказал Кенфорд.—Идем, Эдди. Дома у нас есть телефон, Алан. Это на случай, если вам захочется меня повидать.

— Наверное, захочется. И будь осторожен с этой девушкой! — крикнул Алан вдогонку. — Кажется, она взяла тебя на заметку, хотя с какими целями, я не знаю.

Эдди Мольд засмеялся. Герберт ничего не ответил. Джеральд проводил их улыбкой, а когда они вышли — сохранил эту улыбку для Алана и буфетчицы.

— Если речь идет о той, с желтым шарфом, он может здорово влопаться, — заметил Джеральд. — Что вы скажете?

— Может быть, и наоборот, — сказала буфетчица, убирая посуду. — Пора закрывать, джентльмены. Прошу вас. Время!

Они вышли. Буфетчица пошла запереть дверь и сквозь стекло, с которого сошла уже почти вся синяя краска, женщина видела, как нырнули в машину и уехали двое мужчин — дородный майор с

красной шеей и его худощавый брат в новом синем костюме. С противоположной стороны площади отходил автобус, поглотивший четырех других,.

Все же на стекле сохранилось достаточно краски, чтобы набросить туманную пелену на события, происходившие на площади, и лишить всю картину красок. Словно кусок завуалированной пленки,— подумала буфетчица. Бар погрузился в обычную послеполуденную дремоту и усталость. Так же чувствовала себя и она. Было грустно и пусто на душе. Конечно, это лучше, чем нервничать, как делают теперь многие. Да, — еще раз решила она, — надо во что бы то ни стало вернуться в Лондон. Здесь нет настоящей жизни.

2

По дороге Джеральд, не переставая, говорил об автомашине. Автомашины всегда были его излюбленной темой.

— Не хочет тянуть, да и только, — жаловался он. — Разве это горючее? Только порча цилиндров.

Алан слушал брата с улыбкой, так как любил старину Джеральда. Но он отдавал ему лишь часть своего внимания. Он глядел на проносившийся мимо так хорошо знакомый ему пейзаж. Все было в нежном цвете весны. Древнее волшебство пускало в ход свои чары.

— Чудесная местность, а, Джеральд? Посмотри, какие буки!

— Верно, старина. Лучшего нигде не найдешь. Помню, когда я вернулся из пустыни, я ходил по всем этим местам как во сне. Теперь, конечно, привык.

Они повернули на дорогу в Суэнсфорд, бывшую немногим лучше проселка. Она развертывалась перед ними, как очаровательный старый мотив. Распустился боярышник; щебетали птицы; горячим золотом была облита маленькая долина. Как трясущийся расплывчатый кадр старого фильма, где-то в глубине памяти Алана всплыли смутные очертания счастливой Аркадии, мечта о которой вечно преследует воображение англичанина. Он узнал эту мечту, попытался отогнать от себя и... погрузился в думы о ней.

— Я думаю, именно поэтому мы никогда не сумеем строить города, как следует, — сказал он.

— Что? — но тотчас же Джеральд рассмеялся. — Ах да, твоя старая привычка. Разговаривать с самим собой. Не стесняйся, сынок. Между прочим, говорил я тебе, что Энн с детьми в Суэнсфорде? И Диана тоже. Дом переполнен.

— А дядя Родней?

— И он там, конечно. С марками он уже покончил. Продал всю коллекцию. Содрал огромные деньги... Я даже не поверил, когда он мне сказал. Не думал, что существуют такие идиоты. Оказывается, есть! Есть еще! А я не знал...

— Что он теперь коллекционирует? — спросил Алан.

— Никак не может решить, на чем остановиться. Во всяком случае не мог решить до вчерашнего вечера. Ты покажись ему в этом костюме, а потом расскажешь мне, что он сказал, если меня при этом не будет. Он в ужас придет. — Джеральд захохотал. Ему пришлось замедлить ход, так как впереди неспеша ехала повозка.

— Порядочная дорюга, а? Это тебе за то, что ты не хотел стать офицером и помешался на нашивках сержанта. Ну, как служилось в сержантском звании?

— Очень хорошо. Но только потому, что я все время оставался среди тех же ребят.

— Ясно. Я тебя отлично понимаю. Дамы наши, конечно, не могли понять. Ничего удивительного. Впрочем, теперь, когда ты вернулся, они уже кипятиться не будут. Они хотят теперь отыскать тебе хорошую невесту. Я вчера слышал их разговоры. А ты хочешь жениться?

— Пока нет, спасибо, Джеральд. Будет много других дел, надо думать.

— И еще как много, — ответил Джеральд. — Вечная история! Ничего не сделано, просто позор. Надо внести свою лепту! Сначала осмотришься, конечно.

— Как Энн?

Сани свернули уже в аллею поместья, и Алан заметил, что Джеральд замедлил ход больше, чем нужно, словно он собирался сказать ему несколько напутственных слов, прежде чем они подъедут к дому.

— В полной форме. Строит всякие планы, как одержимая, они ведь это умеют. Хотя я все время твержу ей, что это пока слишком рано. А ребята только и говорят о тебе. Они уверены, что ты настоящий солдат. Дядя Алан расскажет нам обо всем, правда? Ну, что ж, может быть, они и правы. Да, старина, вот еще что... Полегче с Ди.

— А что такое?

Алан догадывался и сам, но он хотел услышать об этом из уст Джеральда.

— Она на острие ножа. Что ж, вполне естественно. Я вернулся. Теперь ты приехал. А ее муж не приехал и никогда не приедет. Что ее сломило, так это история о «без вести пропавшем». Понимаешь, долгие месяцы она верила, что он в конце концов появится, и вдруг узнала, — не только в министерстве авиации, но и от одного из его парней, который вернулся, — что он угробился вчистую. Это ее, понимаешь, озлобило. И с матерью она не ладит... Ты был всегда ближе с Ди, чем я, так что если сможешь что-нибудь сделать, Алан, я надеюсь, ты сделаешь. А пока, — не мне тебя учить, — но ты полегче... Вот и приехали.

Вид родного дома расколол Алана на

двух человек. Один, — тот, что здесь родился, — с нежностью узнал каждое оконное стекло, каждый выщербленный кирпич, он просто-напросто возвратился домой. Другой, — тот, что отсутствовал долгие годы и прошел по дорогам войны от африканской пустыни до центра Европы, — разглядывал беспорядочно построенное старое здание, нелепо торчащее на зеленом склоне, и с удивлением спрашивал себя, чем являлся для него этот заброшенный уголок. Если один Алан вернулся домой, то второй прибыл на постой после длительного перехода. Сержант Бэнфордширского стрелкового полка Стрит прибыл из своей части. А молодой Алан Стрит — младший сын леди Стрит и покойного сэра Вильяма из Суэнсфорда — приехал домой. Этот разрыв, это внезапное двойное восприятие привело его в смятение. Он почувствовал глубокую боль. Нужно было соединить два своих я. И сделать это немедленно.

— Ты выглядишь замечательно, дорогой, — сказала его мать. — Но что это за ужасный костюм? Он напоминает мне какого-то смешного типа, который недавно был здесь. Кто это был?

Диана вспомнила.

— Это человек, который приходил насчет угля. Но ты Алан ни чуточки не похож на него. Только костюм у него похож на твой. Он, должно быть, надел свой лучший костюм, сшитый в военное время.

— Так это, значит, костюм военного времени, — спросила мать, улыбаясь, словно Алан и Диана вовлекали ее в веселую детскую игру.

— Совершенно верно,—ответил Алан.— Костюмы, от которых штатские отказались. Все мы их получили. Но я моим костюмом доволен. А если бы и не был, то дело легко поправимо, так как я могу переодеться во что-нибудь из моего старого.

— Вот уж не знаю, — неуверенно произнесла леди Стрит. — Очень немного у нас сохранилось. Посмотришь сам, когда поднимешься — ну, да, в твою прежнюю комнату, дорогой.

Она улыбнулась.

Она почти совсем не постарела. Было в ней нечто, что не менялось. Зато Диана его поразила. От ее молодости не осталось и следа. Вид у нее был болезненный и бледный, и хотя она смеялась, вместе с другими, и голос у нее был приятный, правда, без прежней теплоты, глаза ее не встречались с глазами Алана, — она все время отводила взгляд в сторону, словно между ними была какая-то ссора. Алан старался вспомнить, не говорил ли он прежде что-нибудь такого о ее муже, Дереке, которого он всегда не долюбливал, чего Диана не могла ему теперь забыть. Ведь не может же она так вести себя только потому, что он вернулся, а Дерек нет.

— Все вселённые и эвакуированные уехали уже несколько месяцев тому назад, — говорила мать, — но мы почти ничего еще не привели в порядок. Правда, Бэрчель обещал, что сделает нам в первую очередь...

— Это он обещает всем, — вставила Диана.

— Не прерывай меня, дорогая. Я меньше всего собираюсь надоедать бедняжке Алану разговорами о Бэрчеле и я упомянула о нем и о том, что у нас еще ничего не сделано, только потому, что надо же, чтобы Алан знал, что дом еще очень далек от необходимой комфортабельности, и мы не виноваты, если он выглядит, как свинарник...

— Ерунда, мама. Все выглядит превосходно, — воскликнул Алан, оглядываясь кругом. Они все еще стояли в длинном низком холле, где дневной свет превращался в мягкие, довольно густые сумерки, скрашенные яркими пятнами цветов, блеском начищенной меди, зеркальной поверхностью старинной полированной мебели. Алан помнил здесь каждую мелочь, но общее впечатление, увенчавшее долгие странствия сержанта, заставило забиться его сердце восторгом.

— Мы все еще не пользуемся гостиной, — сказала мать. — Чай будет в старой детской. И очень скоро. Диана, проводи Алана наверх.

На первой же лестничной площадке около гардероба из резного испанского дуба, напоминавшего галлеон Великой Армады, откуда-то вынырнула похожая на гнома миссис Хэк. Немного странно было снова смотреть сверху вниз на ее морщинистое старое лицо и улыбаться ей. Миссис Хэк было не меньше семидесяти, а может быть и больше. Как это ее до сих пор заставляют хлопотать в доме!

— Вот день, когда я могу возблагодарить господа! — воскликнула миссис Хэк, которая жила в уютном средневековом мире. — Конец? Конец солдатчине, мистер Алан?

— Поскольку зависит от меня, конец. Да, старая бедняжка, и силы ее были истощаются. Уже давно ей следовало на покой. Или она умрет, если покинет семью, сквозь жизнь которой она прошла свою собственную? Надо спросить Диану.

Миссис Хэк непременно хотела сама проследить Алана в его комнату, как бывало, когда он возвращался домой из школы.

— Все ваши вещи здесь, — гордо сообщила она.

— И постарайтесь не перевернуть все вверх дном, как вы это любили делать, мистер Алан, потому что теперь некому мне помогать. Мисс Диана вам расскажет... Что вы сделали с вашей военной формой?

— Сдал.

— Что ж, не могу сказать ,что я огорчена. Особенно эти тяжелые ботинки, которые все портят... Но, вероятно, вы хотите посекретничать, как делали всегда...

И она ушла.

Алан сел на постель. Диана — в маленькое плетеное кресло, как бывало всегда, когда он возвращался в родной дом. Он закурил трубку, выпустил небольшое облачко дыма, потом вопросительно взглянул сквозь облачко на сестру. Несколько мгновений оба молчали, время отступило назад, все было, как раньше. Потом Диана сжала губы, словно сознательно и с болью возвращала себя в настоящее, и ее красивые темные брови поднялись.

— Насчет ванной, — сказала она тем же тоном, каким обращаются к новому гостю. — Нам придется пользоваться «Старым чудищем» вместе — тебе, дяде Роднею и мне. У мамы, конечно, отдельная ванная. Джеральд и Энн с детьми присвоили себе новую. Энн проводит там полжизни. Она не вылезает оттуда по утрам, а вечером целыми часами торчит там с детьми. Сумасшествие какое-то.

— Брось считаться с Энн. И вообще я всегда пользовался «Старым чудищем».

Это была их старая ванная, от старости страдающая астмой; сама ванна, огромная, с высокими бортами, напоминала гигантский гроб; приходилось долго ждать пока наполнится.

— Да, но не забудь дядю Роднея. Он как засядет...

— Кстати, где он?

— У себя. Заводит граммофон.

Диана даже не улыбнулась.

— Новое увлечение?

— Да, самое последнее. Он где-то вычитал, что некоторые музыкальные произведения являются гимном умирающей цивилизации. Теперь он ставит эти пластинки, все одни и те же. Честное слово!

Алан засмеялся.

— Да что ты говоришь! Очень смешно. Добрый старый Родней.

Но она покачала головой.

— Тебе это не будет казаться смешно, когда ты поживешь здесь неделю — другую, — проговорила она раздраженно. — Я устала от дяди Роднея. А мама тоже немногим лучше...

Алан не дал вовлечь себя в разговор на эту тему. Пока еще рано. Он оглядел комнату, и внимание его привлекли две больших фотографии на стене.

— Крикет в школе, — проговорил он больше для себя, чем для нее. — Как странно. Я ведь никогда особенно не стремился в команду. Никогда не гнался за фотоснимком команды. И уж, конечно, никогда не собирался быть из тех, что вешают такие фотографии на стену. А вот ведь висят! Скажи, Ди, неужели мы всегда наполовину действуем, как механизм, как автоматы, как настоящие роботы?

Она с минуту подумала.

— Я думаю, мужчины таковы и есть — больше, чем женщины. Посмотри на Джеральда.

— Так. Ну, а Энн?

— Нет, Энн не такая. Она, конечно, ужасна. Но в другом роде. Начать с того, что она всегда полна всяких планов.

Вот это уже было лучше, это больше напоминало прежнюю Диану. Алан решил поддать жару.

— Так-то так, но планы эти, вероятно, автоматические, нечто вроде условных рефлексов? Я бы скорее поставил ставку на Джеральда, потому что время от времени он вдруг скажет или сделает что-нибудь неожиданное. А она никогда. По крайней мере так было.

— И сейчас так. Она бесчувственнее Джеральда. Женщины ее типа самые бесчувственные. Бог мой, она приводит меня в бешенство. Она не в состоянии понять насчет Дерека и меня, то-есть — как я переживаю это... Она не понимает, что в человеческих отношениях может быть нечто неповторимое... Она рассуждает так, словно, потеряв мужа, надо отправиться к Молинэ, сделать себе новое приданое, попробовать новую прическу и найти нового мужа. Вот и все. Она не говорит об этом в стольких словах, но именно так она думает. В действительности она немногим лучше всех этих деревенских красоток, которые таскались с американцами и пленными итальянцами, пока их мужья были на фронте. Разница только та, что у Энн все это получается вполне респектабельно — благоразумная, респектабельная физиология! Один мужчина ушел, найди себе другого. Как на конеферме. Когда я не бешусь, меня от нее тошнит. О, черт!..

Тут Диана должна была бы засмеяться, и Алан ждал этого, но она не засмеялась. Она раздраженно уставилась в окно. По-видимому, с его стороны ответа не ожидалось. Он сделал неопределенный жест.

— Да, — сказала она, вставая, — чай подан. Мама терпеть не может, когда мы опаздываем. Она поднимает страшный шум из-за мелочей.

— Быть может, она не отдает себе отчета в том, что это мелочи, — снисходительно сказал Алан.

— Не думаю. Во всяком случае она буквально помешана на распорядке дня. Как только ты его нарушишь, начинается... и иногда она прямо выходит из себя. Недавно у нас было несколько отвратительных ссор, хотя я всячески стараюсь сдерживаться. Идем, Алан. Не стоит говорить об этом.

Это была только старая детская, у которой вид стал еще хуже, чем прежде, но все серебро, спиртовка и прочие принадлежности чинно стояли перед леди Стрит, и она явно «председательствовала» за чайным столом. Хотя в комнате были только трое ее детей и невестка, она при-

няла подходящий к случаю вид и даже одаряла присутствующих подходящими к случаю деланными улыбками.

— Дядя Родней не сойдет вниз, — сказала она. — Ты уже виделся с ним, Алан? Ничего, можно и после чая. Чая он, конечно, никогда не пьет, только виски с содовой, хотя ему не всегда удается раздобыть виски, несмотря на то, что лондонские поставщики всячески для него стараются. Он все такой же, Алан.

— А граммофон? Это ведь нечто новое. Я и не подозревал, что он любит музыку.

— О да, дорогой, он всегда любил музыку, по-своему, разумеется.

Джеральд и Энн обменялись улыбкой. Улыбка у них была абсолютно одинаковой, хотя широкое, обветренное лицо Джеральда очень отличалось от гладкого, красивого лица его жены. Потом Джеральд подмигнул Алану.

— Он, кажется, спорил с викарием насчет музыки?

— Да, дорогой, спорил, хотя я никак не могла понять, в чем суть.

— Как поживает викарий? — спросил Алан.

— Он просто ужасный. — ответила Энн.

— Нет, дорогая, так не следует говорить, — заметила леди Стрит. — Мистер Тальгарт стал теперь очень странный, по-настоящему странный. Он ведь потерял жену в начале войны, а у меня такое впечатление, что ею-то он и держался и, конечно, он очень тосковал по ней, и с тех пор он и стал таким странным. Никто за ним как следует не ухаживает, я думаю, что дома у него грязь, — хотя никто теперь к нему не ходит, и нельзя даже знать, до какой степени у него грязно, — а у самого мистера Тальгарта такой запущенный и неряшливый вид...

— От него даже пахнет, — сказала Диана, — честное слово, мама.

— Да, боюсь, что так, дорогая. Что ты хочешь — старик, и вообще он всегда был довольно эксцентричен. Он совершенно забросил приход; никого не посещает, целыми днями не вылезает из дома и верит, что вскоре начнут происходить всякие ужасы в духе апокалипсиса, который, должна признаться, всегда казался мне страшной чепухой — все эти звери с рогами и прочее... Когда было горючее, я ездила в церковь в Кроуфильд. Минус был только в том, что приходилось сталкиваться с Саусэмами.

— Вот те и раз! А что-же произошло у вас с Саусэмами? — спросил Алан.

— Только не заводите разговора о Саусэмах! — воскликнула Диана.

— Нет, нет, дорогая, я и не собираюсь, но Алан хочет, понятно, знать, что случилось. Ты, кажется, не особенно любил полковника Саусэма?

— Верно, — ответил Алан.

Ему давно не приходилось вспоминать старого Саусэма, но теперь в его памяти сразу всплыло квадратное высушенное лицо и налитые кровью глаза и в ушах его зазвучал странный, хриплый и холодный голос полковника.

— Противный старик. Настоящий садист, — добавил он. — Морис, кажется, убит?

— Нечего перебирать, что с кем случилось, старина, — проворчал Джеральд.

— Да, бедняжка Морис убит, — сказала леди Стрит, сразу приняв кроткий и меланхолический вид. — Так жаль, потому что я всегда любила Мориса и никогда не любила его отца или Бетти, которая взяла да выскочила замуж за какого-то бедного морского офицера, пропадающего где-то на Дальнем Востоке, а Бетти, говорят, ведет себя так, словно его вообще не существует.

— Она здорово напилась на прошлой неделе у Роллинсонов, — заметила Энн, выражавшаяся всегда точно и определенно. — Если только она не притворялась.

— Бетти всегда любила разыгрывать комедии, — сказал Алан, вспоминая, какой взбалмошной и какой хорошенькой была Бетти Саусэм в те времена, когда его так легко было поработить и свести с ума.

Да, эти времена отошли теперь в прошлое.

— Полковник Саусэм добился, чтобы его избрали председателем Объединенного комитета по сооружению памятника героям войны, — начала леди Стрит.

— Мама, прошу тебя, — прервала ее Диана.

Леди Стрит метнула в ее сторону сердитый взгляд, сменившийся сейчас же выражением снисходительного сочувствия. Диана перехватила оба взгляда и потупилась, уставившись в свою чашку. Мать повела бровью в сторону Джеральда и снова повернулась к Алану.

— Напомни мне как-нибудь, Алан, когда мы будем одни, чтобы не раздражать Ди.

— Мама! — начала Диана, вскакивая с места. Больше она не сказала ни слова. Она просто вышла из комнаты.

— Понял, старина, о чем я тебе говорил? Все время на острие ножа, бедняжка...

Но Энн толкнула его локтем, и он замолчал.

— Я должна сказать, дорогой, что хотя тебе дали ужаснейший костюм, но тебе в нем гораздо лучше, чем в этом жутком хаки, вероятно, цвет тебе идет. Ты очень похорошел. Не правда ли, Энн?

Энн смерила Алана одним из тех быстрых, холодных, оценивающих взглядов, которыми женщины обычно награждают друг друга, и заявила без малейшего признака улыбки, что Алан действительно очень похорошел.

— Джеральд, — добавила она все так же, без улыбки, — последнее время слишком

полнел. Ему скоро придется принимать ры против полноты.

- Ладно, — вмешался Джеральд, на кого нашла одна из его минут просветления. — Только не говори так, словно ты животноводческой выставке. Иначе я ще растолстею. Ну, мне пора. Надо позвонить кой-кому.

- А мне надо к детям, — проговорила, мая, Энн — Между прочим, как нает Дарральда? На когда мы приглашены?

- Мы обедаем там в пятницу, дорогая. ких раз сегодня мне звонил один из секретарей лорда Дарральда.

- В пятницу, так в пятницу, — отрубила по своему обыкновению Энн. — Идем, Джеральд.

- Ты тоже приглашен, Алан, — сказала леди Стрит. — Диана решительно отказалась поехать, но меня специально просили привезти тебя. Это тот человек, торый купил Харнворт, лорд Дарраль... забыла его прежнюю фамилию, но ты, верное, слышал о нем, дорогой, потому то у него всякие заводы, газеты и не ю что еще. Каждый уик-энд он приглашает к себе гостей, всю неделю он в ндоне, а по пятницам приезжает и устраивает званые обеды. Смокинга не нужно, потому что сам лорд Дарраль приезжает перед самым обедом и не трудится переодеваться. Думаю, он тебе понравится. И... вот еще что, дорогой. — Она понизила голос, хотя в комнате никого, кроме них, не было. — Ты ведь не хочешь возвращаться в эту идиотскую контору по продаже недвижимостей?

- Нет, не хочу. Я просто пытался убить время, пока не свалилась на голову война. Бог знает, чем я буду теперь заниматься.

- Так вот, лорд Дарраль — именно тот человек, с которым тебе нужно познакомиться как можно скорее. Он невероятно богат и влиятелен, и хотя он, конечно, отвратительно вульгарен, он старается сойтись с людьми, которые имеют вес в графстве.

- Мама!.. — рассмеялся Алан.

- Что, дорогой?

- Какой у вас язык! Вы начитались старинных романов. Так не говорили уже перед войной. Объяснимся начистоту. Вы хотите, чтобы я просил у него работу?

- Нет, конечно, нет. Не будь смешным. Я думала, что если ты произведешь на него хорошее впечатление, а я знаю, что это можешь, если захочешь, хотя ты не всегда хочешь... ну... тогда... — Ее голос поднимался по извилистой тропинке далеким и таинственным высотам богатства и могущества. Она улыбнулась сыну. — Я перечитываю Троллопа. Он очень успокоительно действует. Да, так вот ты приехал, так уютно в Барсетшире, нечего теперь тебе волноваться из-за евреев, русских, китайцев и ломать голову над тем, что будет дальше. Хочешь партию в бридж после обеда?

— Я, кажется, совсем забыл игру. Да и никогда не играл как следует.

— Вспомнишь сразу, и мы очень мило проведем время. Нам как раз не хватало четвертого. Ты вернулся с кем-нибудь из здешних?

— Да. С двумя ребятами из первого призыва. Хорошие парни. Один — Герберт Кенфорд, у его отца ферма около Кроуфильда...

Леди Стрит напрягла память.

— Кажется мы как-то раз купили у них индейку, да, по-моему, их фамилия была Кенфорд. А кто другой?

— Эдди Мольд. Он тоже живет в Кроуфильде. Работал до войны в каменоломне. Силы у него, как у быка, и ума приблизительно столько же, но в общем великолепный парень. Собираюсь встретиться с обоими через несколько дней, чтобы «сравнить записи».

— Какие записи, дорогой?

— Наши впечатления... — Алан сделал широкий жест рукой. — Например, что мы думаем обо всех вас.

— Не говори глупостей, Алан. Я — не «все вы», я твоя мать. И вообще нелепо так разговаривать, как ты. Словно ты в чужой стране или еще что-нибудь в этом роде. А ты просто вернулся домой, к своей настоящей жизни и начинаешь ее опять с того места, где ты ее бросил.

Алан покачал головой.

— Не думаю, что это так, мама. Жизнь — не трость, которую можно бросить и поднять. Моя жизнь продолжалась. Внутри меня...

— Но ты же понимаешь, что я хочу сказать, дорогой?

— Да. Но не думаю, чтобы это было так, как ты себе представляешь. Ну, ладно... я хочу подчиться к дяде Роднею.

— Да, пойди к нему, Алан. Он вероятно занят своими пластинками, но не рассердится на вторжение, если это будешь ты. И пожалуйста помни, дорогой, он очень постарел, он ведь на много старше меня, и возраст сказывается во всяких мелочах, а иногда он даже...

Алан поднял руку.

— Все в порядке, мама. Я не стану надоедать старику. Кроме того, мы всегда чудесно ладили. Мне очень хочется повидать его, честное слово.

Леди Стрит улыбнулась.

— Ну, иди, побеседуй. Развесели его.

Он не смог удержаться и, уже стоя на пороге, обернулся.

— Вот что я хочу вам сказать, мама. Это одна из моих записей. Просто поразительно, как все здесь предупреждают всех обо всех. Даже страшно делается.

— Алан, зачем ты это говоришь?

— Как-нибудь в другой раз. Сначала дядя Род.

Алан остановился на площадке у две-

рей дядиной комнаты. Из-за двери доносились звуки граммофона, и Алан решил обождать; он прислонился к дубовому комоду, который стоял здесь с незапамятных времен, и всматривался в старинную акварель, изображавшую неправдоподобную уличную сцену в каком-то средиземноморском порту. Немного дальше, у окна, за которым бежали облака и синело небо, было еще светло, но здесь, в углу, был уже полумрак умирающего дня. Все это было знакомо, но странно. Странным делала это музыка, доносившаяся из комнаты дяди Роднея. Женский голос — низкое вибрирующее контральто — рыдая, прощался с землей. Звуки струн взлетали, обрывались и замирали. Тихо и нежно звенели арфы. Мягкая серебристая дробь рассыпалась в минуты пауз и была, как заря, далекая, жемчужная, в своей чистой красоте равнодушная к людям, заря, встающая над разрушенными очагами и мертвыми городами. «Навек!» тихо донеслось из несуществующей более Вены восклицание женщины.

Прозвучал и замер последний инструмент .Наступило молчание. Навек, навек! Небо голубеет, земля пробуждается весной, но не слышно больше шопота последнего прощания, ибо человек отправился искать свой давно потерянный дом...

— Вперед, ребята, вперед! — прошептал Алан, более тронутый, чем он хотел признаться себе. И он открыл дверь.

Дядя, в старой охотничьей куртке и грубошерстных брюках, с напряженной старательностью обессилевшего старика хлопотал у граммофона, гигантский рупор которого довлел в комнате над всем. Окна были закрыты, воздух был пряный от дыма египетских сигарет.

— Здравствуйте, дядя. Я ждал, пока кончится пластинка. Последняя часть «Песни земли» Малера? Разве я не молодец, что вспомнил после стольких лет?

— Рад видеть тебя, мой мальчик, — сказал дядя Родней, пожимая ему руку. Он сохранил свою порывистость, но немногое осталось от его прежнего вида. — Бог мой, что с тобой сделали? Этот костюм! Ты в нем похож на страхового агента. Где ты его раздобыл? Он скроен вкривь и вкось. Садись.

— Костюм военного времени. Выдается бойцам вооруженных сил его величества при демобилизации.

Дядя Родней закурил толстую египетскую сигарету и превратился в изысканного, пресыщенного жизнью дипломата восьмидесятых годов прошлого столетия.

— Выкинь его. Когда будешь в Лондоне, зайди к моему портному, если он еще существует. Жив он или нет — сказать не могу, так как ничего себе не делал с начала войны и не собираюсь заказывать теперь. У меня неплохой гардероб, который переживет своего хозяина. Теперь я привык к этой мысли, а одно время у меня мурашки по спине бегали: подумать, что жилеты и обувь, бритвы и щетки для волос легко переживут своего владельца! Да, к мысли я привык, но в глубине души чувствую, что тут какая-то ошибка. — Он строго взглянул на Алана. — Трудно приходилось, мальчик?

— Кое-что было трудно. Из тех, кто ушел отсюда, не многие вернутся.

— Н-да, жаль. Ты славный малый, Алан. Рад был бы что-нибудь для тебя сделать. Но не могу. Ни денег, ни связей, ничего. Любишь граммофон?

— Да. Но не знал, что вы любите.

— Не знал? Это моя последняя выдумка. Несколько лет назад продал монеты. Потом продал марки, тоже за хорошую цену. Никак не мог решить, что же коллекционировать, и надумал — давай-ка буду слушать музыку. Прекрасный граммофон. Лучшая марка.

Алан согласился с ним.

— А как вам нравится Малер?

— «Песнь земли»? Считал, что она слишком причудлива, форменная китайская грамота, но теперь начинаю ее понимать. Хватает за сердце, честное слово! — Дядя Родней откинулся на спинку стула, выпустил одно из самых мастерских колец дыма и с удовлетворением посмотрел на него. — Люблю эту вещь теперь.

— Диана говорит... — начал Алан.

— Нет, нет, мой мальчик... Не хочу и слышать, что говорит Диана. Девочка совсем потеряла рассудок после гибели мужа. Можно понять, конечно, хотя мне он казался скучнейшим типом. Если я тебя интересую приходи сюда. Не слушай Диану или твою мать. Что касается Джеральда и его высокочтимой жены они не в состоянии представить себе, какие могут быть мысли у такого человека, как я. Кругозор у них не больше, чем у рабочих из гаража. Вот почему у них всегда все будет в порядке Они — чета рабочих из гаража — в мире, который скоро будет только заводом гаражом и аэродромом Факт тот, мой мальчик, что настоящий мир, мир, в котором стоит жить, кончен. Эти молодчики — Малер, Эльгар, Делиус и прочие знали об этом давным давно Они видели, что ждало нас впереди, и, пока еще не было поздно, замечали все, что было грациозно, очаровательно и красиво и знали, что всему конец. Виски будешь пить? У меня еще есть бутылка-другая.

— Благодарю, дядя. Не хочу. Я налью вам, а вы продолжайте пока...

— Налей, мой мальчик. Только не много. Так вот, представь себе, что ты любишь женщину или любил ее, — сказал дядя Родней, который любил многих красавиц своего времени. — Она красива очаровательное создание, вся огонь нежность, как в сущности всегда должна быть, и ты не связывайся с какой-нибудь из развязных провинциальных дам

Итак, ты отправляешься к ней на свидание. Она хороша, как всегда, но ты замечаешь какие-то симптомы, и вдруг тебе становится ясно, что ей недолго жить, что она обречена. Тогда, клянусь богом, ты уходишь и воспеваешь то, что было, ты заставляешь скрипки плакать, ты заставляешь трубы трубить о твоем былом экстазе, твоей любви, твоем отчаянии. Вот что ощущали эти молодчики и то же самое чувствую я — не по поводу женщин, конечно, хотя и они тут играют роль, а по поводу всего нашего проклятого бессмысленного мира.

Дядя Родней пришел в большое возбуждение, изысканный дипломат исчез; не было больше и провинциального джентльмена, занимающегося коллекционерством, — роль, которую он очень удачно играл с 1938 года. Теперь Алан видел перед собой нечто вроде клубного пророка, Иеремию из отеля Ритц. Пророк ткнул в сторону Алана длинный трясущийся указательный палец.

— Тебе лет за пятьдесят меньше, чем мне, но разреши сказать, что я тебе нисколько не завидую. Наоборот, мне жаль тебя, особенно потому, что ты очень чуткий и неглупый мальчик. не такой, как это поколение радиолюбителей и шоферов, которое мы выращиваем. Да, мне жаль тебя. Ты встаешь, принимаешь ванну, чистишь зубы, бреешься, одеваешься, — и все для чего? Чтобы гнить в какой-нибудь дыре — в конторе или на заводе и иметь возможность возвратиться вечером домой в номерованную коробку, наскоро проглотить какую-то дребедень из консервной банки и отправиться потом в кино, и смотреть, как делают булавки, или сидеть и слушать по радио какого-нибудь правительственного надоедалу, предлагающего поскорее заполнить «форму девять тысяч тридцать восемь». Раз в году ты получаешь для себя и для своей жены, такой же обыкновенной, как пудинг с нутряным салом, и для всех своих малышей, которым сделают прививки от всего, что только можно придумать, кроме глупости и безнадежной пошлости, путевку в лагерь отдыха. Там вы будете жить вместе с пятью тысячами клерков и шоферов, их женами и детьми, заниматься физической культурой, есть тушеное мясо и рисовый пудинг, играть в общие игры, а по вечерам вас будут пичкать лекциями о тропических болезнях и моторах для самолетов. А я умру и буду очень рад.

— Да вы, оказывается, в полнейшей форме! — сказал Алан. — Не думаю, чтобы вы понимали, о чем именно вы говорите, но говорите вы замечательно.

Дядя Родней улыбнулся.

— Дело в том, что я очень рад видеть тебя, мой мальчик. Я давно ни с кем не говорил по душам, и твой приезд меня оживил. Уезжать пока не собираешься?

— Нет. Я еще не знаю, чем теперь займусь. Решать пока слишком рано. Но скажите — если вы считаете, что все стоящее погибло, то за что же такие парни, как я, сражались на фронте?

Дядя Родней покачал своей большой седой головой.

— Нет, нет, мой мальчик. На этом ты меня не поймаешь. Вы сражались для того, чтобы избавить нас от гестапо и всех гитлеровских громил, спасти нас от этого проклятого немецкого бешенства. Это надо было сделать. Будь я на тридцать лет моложе, пошел бы сам. Самое смешное, — продолжал он, откидываясь назад и заранее предвкушая удовольствие от собственных слов, — это то, что если бы гитлеровцы не были бы так нетерпеливы и алчны, если бы они не так нахальничали и провоцировали всех, они, чего доброго, могли бы получить все, что хотели, не сбросив ни единой бомбы. Универсальные магазины! Государственное руководство по радио! Аккуратные маленькие домики для аккуратных маленьких людей! Сила через радость! Путешествуйте по Италии или норвежским фиордам за 8 фунтов! Вот ведь на что они зловили, а разве не этого хочет средний обыватель?

— Вы — дьявол! — воскликнул Алан.— Не сердитесь, вы понимаете, что я хочу сказать.

— Я принимаю это как похвалу, — самодовольно ответил дядя Родней. — Фактом остается то, что мир, в котором стоит жить, кончен, и кончен навсегда. Я лично работать не могу, я взял свое. Но тебе удалось лишь взглянуть на этот мир в последнее мгновенье. Потому-то я так и грущу за тебя. Но давай лучше послушаем музыку. Что ты скажешь о концерте Эльгара для виолончели?

Он тяжело поднялся. Алан посмотрел на него со смешанным чувством нежности и раздражения.

— Вы напоминаете мне говорящего динозавра.

— Не дерзи, юноша. Заведи-ка эту штуку.

Так Алан и остался стоять около граммофона, готовясь пропустить подряд все части концерта. Он глядел на дядю, извлекавшего пластинки из шкафа. Щеки и подбородок старика, огромная охотничья куртка и брюки из грубой шерсти, — все казалось, висело широкими свободными складками. В углу, где склонялась над пластинками фигура дяди Роднея, стояли белые книжные полки, заполненные витиеватыми мемуарами и старыми французскими романами. На стене висел небольшой натюрморт Вильяма Никольсона и Сиккерт дьеппского периода. И на мгновение, когда он заводил граммофон, Алану почудилось, что перед ним не действительность, а картина, написанная приблизительно в 1903 году и выставленная

сначала в «Нью-Инглиш», а теперь хранящаяся, вероятно, в галлерее «Тэт».

— Я устроил вас в «Тэт», дядя. Вот только шкаф для пластинок не влезает в картину.

Дядя Родней либо не слышал, либо решил пропустить его слова мимо ушей.

— Между прочим, берегись наших дам, — сказал он. — Если не будешь на чеку, они женят тебя на какой-нибудь местной красавице с руками и ногами, как у фермера. Я слышал, как они об этом говорили. Список кандидаток очевидно уже готов. Предостерегаю тебя.

— Я сказал маме, — весело проговорил Алан, — что все здесь предостерегают меня против всех. Что с вами со всеми приключилось?

— Распад, мальчик мой, просто распад. — Но подкрепив эти слова взмахом руки, дядя Родней повернулся к Алану и испытующе посмотрел на него. — Что-нибудь говорили обо мне?

— Немного. Говорят только, что вы увлекаетесь граммофоном. Начнем?

— Конечно, — ответил дядя Родней. — Для молодого человека, вернувшегося с войны, ты слишком снисходителен к моему увлечению. Нет, нет! Больше никаких разговоров. Концерт для виолончели Эльгара.

Концерт начался, но не оторвал Алана от размышлений, и то, о чем он думал, совсем не подходило к музыке. Да, вот он, наконец, дома. Ну, и что же? Что же? Полнокровные звуки Эльгара лились потоком, но не могли залить некоторые сомнения и вопросы. Прибой тихо пенился на берегу, но волчьи ямы и мины существовали тоже...

3

Герберт Кенфорд, тот, что был в сером (он все еще был в этом костюме), сын фермера, беседовал со своей матерью на кухне фермы «Четыре Вяза». Это было на следующее утро после его возвращения. Мать возилась, конечно, — так было всегда, — но, суетясь и хлопоча над огромной плитой, она могла одновременно говорить и слушать, и она настояла, чтобы Герберт посидел с ней дома. Он был младшим из двух сыновей, ее любимчиком.

— Хотела бы я повидать хоть некоторые из этих мест, — задумчиво сказала она. — Твоего отца никогда нельзя было вытащить отсюда, а мне всегда так хотелось поездить.

Это была правда. Где-то в глубине души дородной матери семейства еще жил любознательный непоседливый ребенок, мечтавший о далеких путешествиях, о чудесах морей и неведомых стран.

— Когда ты описывал то, что видел, я без конца перечитывала твои письма. Чудесные письма.

— Знал бы, мама, писал бы подробнее. Но это было нелегко, — проговорил Герберт, очень любивший мать. — И не больно много позволяли рассказывать.

Миссис Кенфорд подтвердила его слова кивком, потом улыбнулась.

— Ну, теперь ты вернулся и можешь мне все рассказывать.

— Пойду погляжу, не нужно ли чего сделать, — заметил Герберт. Он был серьезный и добросовестный молодой человек и не забыл, что такое работа на ферме.

— Да ведь ты только вернулся! Нечего тебе сразу браться за работу. И без тебя все сделают. Между прочим, твой отец и Артур поехали в Лэмбюри по очень важному делу.

— По какому важному делу?

Мать бросила на него взгляд, одновременно веселый и таинственный, взгляд, который он помнил еще с детских лет. Годы не изменили его. Европа могла быть растерзана в клочья, половина Азии превращена в полыхающий костер, но этот взгляд и этот тон, будившие воспоминания о разных праздничных днях и днях рождения, остались те же.

— Узнаешь вечером, за ужином. Будут Артур с Филлис и двоюродная сестра Филлис — Эдна. Помнишь ее?

Он нахмурил брови — может быть потому, что миссис Кенфорд слишком лукаво произнесла имя Эдны.

— Да, помню. А зачем она приедет?

— Мы думали, что тебе будет приятно встретиться с ней. Она выросла и стала чудесной девушкой.

Мать остановилась, ожидая ответа, но Герберт промолчал, и миссис Кенфорд, помедлив секунду, бросила на него быстрый, обеспокоенный взгляд.

— Надеюсь, Герберт, ты не связался с кем-нибудь тайком от нас? А?

— Нет, конечно. Где же я мог связаться?

— Не знаю... может быть, познакомился с кем-нибудь из женского вспомогательного корпуса... или авиационных отрядов...

— Да ничего подобного.

— Ну, и слава богу. То, что я слышала о некоторых и сама видела... — сказала миссис Кенфорд. — Пьют... курят... ругаются... Если они так себя ведут, как они смогут воспитывать детей и вести хозяйство? Вот что мне хочется знать.

— Что ж, — сказал Герберт, который любил быть справедливым. — Нельзя рассчитывать, что они будут держать себя, как послушные, скромные маленькие девочки, если вы их одеваете в форму и заставляете водить грузовики и готовить боеприпасы.

— Да, это не дело для девушки, — сказала миссис Кенфорд с глубоким отвращением. — И я очень рада, что ты не спутался с какой-нибудь из них. Эдна, та совсем другое дело.

— Надо думать. Так или иначе, — поспешно продолжал он, видя, что мать хочет его перебить, — я ни с кем, как говоришь, не спутался и спутываться не собираюсь.

И тут в памяти его, как силуэт на далекой, освещенной сцене, отчетливо всплыл образ маленькой нахальной девушки из бара в Лэмбюри — Дорис Морган. Чего она к нему привязалась? Что она вообще хотела? Его внезапно охватило настойчивое желание еще раз поговорить с ней и поставить ее на свое место. Да, ее и ее темные глаза, и смазливое личико, и желтый шарф. Маленькая нахалка! И он тут же решил заглянуть в «Корону» в один из ближайших вечеров и сказать ей несколько теплых слов.

— О чем ты думаешь? — спросила его мать, кидая на него проницательный взгляд. Она всегда сразу чувствовала, если мысли уносили Герберта куда-то в нежелательном для нее направлении. С ней приходилось держаться начеку.

— Думаю о двух друзьях, с которыми возвращался домой, — ответил он, не слишком отклоняясь от истины, так как и они были тогда в баре. — Алане Стрит из Суэнсфорда и Эдди Мольд.

— Если хоть половина из того, что я слышала об этой самой миссис Мольд, правда, — проговорила миссис Кенфорд, — то остается только его пожалеть. Она — из тех, что околачивались в «Солнце» и «Руне», водили к себе домой мужчин и вообще бог знает что...

— Если это правда, то мне жаль ее тоже, — хмуро произнес Герберт. — Когда Мольди приходит в раж, лучше ему под руку не попадаться. Я видел раз, как он расправился с двумя эсэсовцами. Молодчики думали, что они очень умны. Вот Эдди им и показал, где раки зимуют.

Миссис Кенфорд намеренно пропустила его слова мимо ушей.

— Я думала, что мистер Стрит — офицер.

Это было сказано так, словно Алан не сумел занять свое место.

— Он мог сделаться офицером и притом много раз. Но он предпочел остаться с ребятами. Вот почему я и сидел так долго в капралах. Он был моим командиром. Я хотел остаться с ним и ловчил, чтобы не заработать новую нашивку.

— Что ты говоришь, Герберт! Вот уж не думала, что он будет с вами якшаться.

— Представь себе, якшался.

— Ну, здесь будет иначе, — сказала мать. — Ни Эдди Мольд, ни мистер Стрит здесь тебе не компания. Никогда не были, никогда и не будут. Заруби себе это на носу, Герберт.

Он кивнул головой, потом поднялся.

— Пойду пройдусь. Какая хорошая погода!

— Я бы хотела с тобой поговорить. Но если тебе загорелось пройтись, иди. Только, не забывай, Герберт.

— Что именно?

Он остановился в дверях.

— Что ты демобилизовался. Надеюсь, навсегда. И я хочу предостеречь тебя. Ты наверное слышал разных там ораторов, которые уверяют, что после войны все здесь переменится. Мы тоже их слышали, иногда даже по радио, но твой отец сейчас же выключал приемник, потому что он не переносит такие разговоры. У меня были кое-какие сомнения, больно уж все рисовалось завлекательным. Того не будет, это не повторится. Но теперь я знаю. Все останется так же, как было. Люди опять разойдутся по своим местам. Вот увидишь! Уже видно. Да так и надо было ожидать. Так вот я и хотела тебя предостеречь. Вот и все.

— Я не буду с тобой спорить, мама, — сказал он. — Но почему ты так хочешь меня предостеречь? С какой стороны это меня касается?

Она пристально посмотрела на него.

— Пока ты немного говорил, Герберт. Но мне кажется — ты стал другой. Я даже уверена в этом. А ты похож на отца — такой же упорный, если тебе что-нибудь взбредет в голову. Вы, носатые, все такие.

— Я не замечал, что переменился. Хотя в этом не было бы ничего удивительного. Я хочу сказать, что стал старше на несколько лет, побывал в Африке, многое видел и... ну да, видел и делал такие вещи, которые никогда не думал ни видеть, ни делать. И если я даже переменился, то что из этого?

— Послушай, Герберт, все, что я хочу, это чтобы ты устроился и был доволен и счастлив.

— Этого и я хочу, — ответил Герберт. — Хотя это не так мало.

Миссис Кенфорд видимо успокоилась, ее голос и жесты стали менее напряженными.

— Ну, значит, все в порядке, — она улыбнулась ему. — Иди уже, непоседа такой же, как отец. — иди.

Солнце уже сильно пригревало, отовсюду доносились бодрящие запахи. Выйдя во двор, Герберт осмотрелся и, по старой привычке, втянул в себя воздух. Он родился на ферме, и ему не надо было говорить, что дела в «Четырех Вязах» идут прекрасно. У фермы был цветущий вид. Во всем чувствовалось благополучие.

Волоча ноги, появился старый Чарли — пастух, работавший на ферме с тех пор, как помнил себя Герберт. Он очень стал и казался теперь совсем стариком, сморщенным, как маленькое яблочко, которому дали сильно перезреть.

— Славная погодка сегодня, Чарли, — сказал Герберт, угощая старика папиросой, — Похоже, дела идут неплохо?

— Похоже, что так, — пробормотал старый Чарли. — Недавно купили прекрас-

ных коров. Только вот выпаса подходящего нет.

— Все ворчишь, Чарли. А тебе, наверное, теперь лучше, чем когда бы то ни было. Жалованья прибавили, а?

Старый Чарли покачал головой.

— Жалованье еще не все. Важно, что́ можно на него купить, мистер Эрберт. Вот как я на это смотрю. Да, что́ купить можно. У человека может быть полный карман бумажек и монет, а что толку? Что сейчас можно купить стоящего? Ответьте, мистер Эрберт! Пиво, как вода, а цена чорт знает какая. А насчет глотка джина в холодный вечер и мечтать нечего. Унция табачку больше чем в два шиллинга влетает. Одной рукой вам дают, а другой отнимают. Просто ловкое воровство, вот и все.

Он сердито посмотрел на Герберта и презрительно сплюнул.

— Я думал тебя повысили, Чарли.

Чарли пожевал губами и громко харкнул.

— Все мы повысились. И все, за что вы ни схватитесь, все повысилось или исчезло... Вроде как игра, мистер Эрберт... Когда я начинал здесь, вас тогда еще на свете не было, был я молодой Чарли Шэттль. Стоял, можно сказать, в самом хвосте со своими вещи в руках и получал кусок мяса, пивка и табачку. А? Да, вот как дело было. Теперь я, старый Чарли, попрежнему стою в хвосте, в руках у меня уже шиллинги — что правда, то правда, — и нет у меня ни мяса, ни пива, ни табаку. Ничего нет! Словом — трудящийся человек, у которого ни кола, ни двора — ничего. Ясно вам? — спросил он.

— Да, продолжай, Чарли. Или уже все?

Старик осмотрелся по сторонам, придвинулся к Герберту и понизил голос.

— Если бы дали мне немного земли и охота или устроили так, чтобы я мог посмотреть на сотню полей да на тысячу голов скота и сказать себе: «Чарли, ты здесь такой же хозяин, как и все, тогда, понимаете, мистер Эрберт, тогда бы я действительно считал, что меня повысили, как вы говорите. Тогда это была бы не игра, а по-настоящему.

— Чарли! — воскликнул Герберт. — Я никогда не думал, что у тебя такие мысли.

— Что ж, — ответил Чарли с оттенком самодовольства, — военные времена многих переменили. Осмотритесь кругом, сами увидите. Военные времена заставили меня думать. Да, глубоко думать.

— Вижу, Чарли. И ты серьезно взялся за дело.

— В другой раз, когда будет подходящее время и место, — проговорил Чарли слегка назидательным тоном, — я буду рад поговорить с вами подробнее, мистер Эрберт. А пока пожелаю вам наилучшего здоровья и счастья.

Приятно было итти по полям, любуясь зеленью, подснежниками и фиалками на межами, приятно было слушать щебетанье птиц. Но Герберту хотелось рассказать кому-нибудь о старом Чарли. Да, но кому? Отец и брат Артур не станут, конечно, слушать, к каким выводам пришел их старый пастух. Мать это тоже не интересует. Помимо всего прочего, она недолюбливала старого Чарли. Алан Стрит понял бы его, но Алан скрылся в Суэнсфорд и, вероятно, с головой ушел в таинственную жизнь обитателей помостья (Герберту, впрочем, плохо верилось, что это так). И снова в памяти всплыла девушка с желтым шарфом, Дорис, — и, сам не зная почему, Герберт почувствовал желание рассказать ей о старом Чарли.

Сначала он презрительно отбросил эту сумасшедшую мысль, но тотчас же снова вернулся к ней, и это вызвало в нем раздражение и беспокойство. Но вокруг него были поля, кусты с набухшими почками, цветы и птицы, — чудеса, твердившие ему, что наконец он дома, чудеса, которые были ему так близки, — и под раздражением и беспокойством где-то в нем просыпались неясные желания и порывы, которым не было названия. А к самому раздражению и беспокойству примешивалось странное ощущение какой-то утраты.

На обратном пути к ферме на тропинке его обогнали два всадника. Мужчина остановил лошадь и обернулся. Женщина также натянула поводья. Герберт узнал их. Это были полковник Саусэм и его дочь Бетти. Девушка окинула его острым, любопытным взглядом и тотчас же вычеркнула его из своего поля зрения, принялась смотреть в пространство и думать о чем-то другом. Герберт не был одержим самомнением и прекрасно знал, что ничто в нем не может заинтересовать это красивое нежное создание дольше, чем на секунду; и все же в ее манере была какая-то дерзость, которая раздражала его. Он перевел свой взгляд на жесткое лицо полковника. У Саусэма вид был очень подтянутый, но он казался сильно постаревшим. Голос у него стал еще более хриплый.

— Послушайте, — сказал он, вы ведь молодой Кенфорд из Бэнфордширского?

— Так точно. Вернулся домой. Демобилизован.

— Здорово! А я к вам. Поговорить с вашим отцом надо, — продолжал полковник, — полагаю, он дома?

— Нет. Уехал в Лэмбюри.

— Гм! Тогда передайте ему вот что. Капитан Спирс-Вуд приедет, вероятно, пятнадцатого, мы устроим собрание, и я хотел бы, чтобы ваш отец взял на себя председательство — местный фермер и все такое прочее. Ясно?

С тщательностью, которая не лишена была иронии, Герберт повторил поручение.

— Совершенно верно, — проговорил полковник Саусэм. — Приходите и вы.

Ладно? Умеете ворочать языком на людях?

— Нет, — ответил Герберт.

— Почему? Робеете?

— Нет, не думаю. Хотя все может быть. Только не хочу открывать рот на людях до тех пор, пока мне нечего сказать.

Полковник усмехнулся.

— Не беспокойтесь, Кенфорд. Мы найдем, что вам сказать.

— Благодарю вас. Только я хочу сам найти. А вернулся я всего лишь вчера.

— Так. Тогда поговорите с вашим отцом — он вам расскажет.

Саусэм повернулся к дочери, не скрывавшей своего нетерпения.

— Одну минуту, Бетти. Не натягивай так поводья.

Он пристально посмотрел на Герберта.

— Вы — сын фермера, у вас великолепное хозяйство, и вы сражались за родину, так ведь?

— Делал, что мог, — ответил Герберт.— Так что из этого?

— Что из этого? Нелепое выражение. Из американских фильмов. Моя дочь тоже так разговаривает. Так вот пришло время и вам позаботиться, чтобы страной управляли как следует.

— Я готов, — сказал Герберт.

— Везде полно опасных людей, — продолжал полковник, и голос его стал острым, как нож. — Всюду опасные идеи. Посмотрите на Европу.

— Смотрел.

— Да? Ну и что же вы увидели? А? Всюду красные. Но у нас этого быть не должно. Не так ли?

— Не знаю, — спокойно ответил Герберт.

Полковник Саусэм подпрыгнул.

— То-есть как так не знаете?

— Очень просто, — ответил Герберт, несколько секунд назад решивший, что ему незачем добиваться благоволения полковника. — В тех местах, где я был, люди, которых вы называете красными, взяли верх потому, что они все время сражались против гитлеровцев. Понятно? А люди другого сорта, те, что испугались красных, сотрудничали с гитлеровцами. Их и скинули. Вот как это там было. Как обстоят дела здесь, сказать не могу, не знаю. Только что вернулся.

— Дело не в гитлеровцах! — крикнул полковник. — С ними покончено. Теперь нужно думать о нашей собственной стране. И если вы, молодые, не расшевелитесь, страна попадет в руки бюрократов, длинноволосых сумасбродов и всяких подонков из промышленных городов. Рано или поздно они доберутся и до вашей фермы, если вы не примете мер. Поговорите с отцом. Он разбирается в этих вещах. И не забудьте о моем поручении.

В этот момент, к изумлению Герберта, девушка разразилась хохотом. Полковник уставился на нее.

— Едем! Едем! — крикнул он, трогая поводья, и даже не оглянулся больше на Герберта. Девушка все еще продолжала смеяться, и в ее смехе Герберт уловил что-то странное. Это был бессмысленный смех. Почти сумасшедший. Он был хуже, чем внезапное бешенство полковника, его потемневшее лицо и режущий голос. Смотря им вслед, Герберт старался понять, что все это значит.

Только вечером, перед самым ужином, Герберт смог выполнить поручение полковника. Его брат Артур тоже вернулся из города. Жена Артура, Филлис, и ее двоюродная сестра Эдна помогали матери на кухне. В этот вечер в воздухе так и чувствовалась торжественность. Герберт понял, что отец и Артур знают какой-то грандиозный секрет, который ему раскроют лишь в соответствующий момент, никак не раньше. За последние года два Артур сильно располнел, и его красная шея теперь слегка выпиралась из воротничка. Он все время ухмылялся и хитро подмигивал. Отец, высокий, костлявый старик, на лице которого обычно было выражение угрюмой усталости, имел теперь лукавый вид, и этот вид шел ему еще меньше, чем парадный костюм, специально надетый для поездки в Лэмбюри. Герберт вспомнил времена, когда отец как попечитель воскресной школы старался в Духов день казаться общительным и шутливым.

Мистер Кенфорд был набожным методистом-веслеянцем старой школы и неодобрительно или просто подозрительно относился ко всем видам человеческой деятельности, кроме обычной работы на ферме, купли и продажи, «дознания» денег, сбережения денег, выражения морального осуждения и еды. Так что сейчас он был выбит из колеи, и это можно было сразу заметить. Герберта злили повадки отца и Артура, но в то же время ему было немного стыдно за то, что он не заражается в должной мере духом вечера, его вечера,— это-то он отлично понимал, — и он всячески старался скрыть свои чувства.

Явным облегчением для всех трех было появление румяного лица Филлис, заглянувшей в дверь с сообщением, что ужин готов. На столе было столько блюд, сколько Герберт давно уже не видал. Кажется, хватило бы на целый взвод. Стоял целый окорок, огромный кусок свиной корейки — и это было только начало. Словно все изобилие и богатство земли было собрано и брошено сюда, в эту комнату. Войн, революций, голода — и всего этого не существовало. Три женщины, сияющие и торжествующие, казалось, олицетворяли ту жизнь, изобилие и богатство. Эдна была моложе Филлис, но и в ней чувствовалась массивность, солидный вес плоти, спелое белорозовое девичество, грандиозное блюдо пудинга с вареньем и сливками. Она была безусловно красивой девушкой. Ее ясные голубые глаза посматривали на Гер-

берта с дружеской лаской, можно даже сказать с восхищением, и она всегда нравилась ему, но в этот вечер Герберт не мог ее переварить, как не мог он переварить весь этот ужин. Слишком много на его вкус было еды и слишком много Эдны.

— Вот это уже на что-нибудь похоже! — воскликнул отец, взглянув сначала на стол, а потом уже на Герберта. — Ты посмотри сюда, — он указал на несколько бутылок пива и сидра. — Вы, мальчики, знаете, что я никогда к этому не притрагиваюсь. Не притрагивался и не буду. Но мать сказала, что вам сегодня полагается. Так что получайте!

— Спасибо! — сказал ухмыляясь Артур. —Нужно будет только следить за Филлис. Что до Эдны, то ничего сказать не могу, не знаю.

— Ну-ну, Артур, — проговорила Филлис с пухлой, сонной улыбкой. — Если уж за кем и нужно следить, то не за мной и не за Эдной.

— Еда поставлена не для украшения, — вмешалась миссис Конфорд. — Занимай свое место, отец. Герберт, садись рядом с Эдной. Прямо не знаю, чтобы я делала без нее.

Герберт почувствовал, что его утощают ветчиной, корейкой и Эдной. Бедная девочка, это не ее вина, и он довольно охотно отвечал на ее робкие расспросы, рассказал, где побывал, и кое-что из того, что видел. Но он даже не пытался дать ей почувствовать пережитое. Оно просто не могло быть втиснуто в эту комнату.

— Заметь, Герберт, — несколько вызывающе проговорила Филлис. — Хотя Артур и оставался в тылу, помогая отцу на ферме, ему приходилось совсем не легко. Всякие обязательные работы, отряд внутренней обороны и прочее. Не правда ли, Артур?

Артур подтвердил, что это было совсем не весело, и так как от Герберта, повидимому, ожидался какой-то ответ, он поспешил сказать, что никогда и не думал иначе.

— Но к чему это напоминание, Филлис? — добавил он.

— О, просто мне показалось... — начала она и остановилась в нерешительности. — Ну, просто показалось, что ты косо посмотрел на нас раза два. Вот и все.

— Напрасно показалось, — сказал, улыбаясь, Герберт.

Он забыл исключительную способность женщин перехватывать ваши невысказанные мысли и отзываться на ваше настроение. Он слишком долго жил в последние годы среди мужчин. Вероятно все три женщины отлично понимали, что он чувствовал себя не в своей тарелке, хотя и старался всячески показать обратное.

— Крестьянская работа, — сказал его отец, поднимая глаза от огромной порции свинины (как и многие большие косматые люди, по наружному виду никак этого не скажешь, он обладал волчьим аппетитом), — крестьянская работа — трудная работа, если ее делать по-настоящему, как делаем ее мы. Без нее мы бы не выдержали войну. И это в конце концов начинают понимать. Сельское хозяйство больше в загоне не будет.

— Правильно, — подтвердил Артур. — Страна не должна сокращать производство продовольственных продуктов, и жители городов должны платить за них приличную цену.

— Всякое благоразумное правительство настоит на этом, — сказал отец.

— Давайте сегодня без политики! — поспешно вмешалась миссис Конфорд.

— Согласна! — воскликнула Филлис. — Все спорят, спорят, спорят. Просто ужас! Вам бы Сиднея послушать. Верно, Эдна?

— Сидней невозможен. Как-то я не выдержала и попросила его заткнуться. Потом, правда, раскаивалась — не следовало быть такой резкой. Но просто сил нет...

Эдна посмотрела в сторону двух других женщин. Те, поддакнув, улыбнулись.

Но мистер Конфорд, — он был человек упрямый, — хотел докончить свою мысль.

— Мои воззрения известны всем. И спорить тут не о чем. Я только хочу сказать, что при том положении, в котором находится наша страна, всякое разумное правительство, знающее, что оно делает, должно поддержать сельское хозяйство. Должно!

— Обязательно! А если городские думают иначе, — добавил Артур, который видимо не любил жителей городов, — будут неприятности, вот и все.

— Какие же неприятности? — спросил Герберт.

Артур посмотрел на брата. Такого взгляда Герберт никак не ожидал. Это был пугающий взгляд. Так мог смотреть злобствующий недоброжелатель. Но тотчас же это выражение исчезло с лица Артура и он ухмыльнулся.

— Не твоего ума дело, малыш. Ты пируй и наслаждайся. Чувствуй, что ты теперь дома.

Артур оглянулся на остальных, ища поддержки, которую и получил.

И Герберт принялся пировать и честно пробовал наслаждаться. Но он все еще чувствовал беспокойство и непонятную грусть. Все держали себя уверенно и добросовестно уписывали горы снеди, а он, член семьи, один из них, отнюдь не считавший себя лучшим, чем они, или иным, не похожим на них, сидел здесь и наполовину отсутствовал. Словно часть его существа витала где-то между небом и землей. Мать чувствовала это и порою бросала на него испытующий взгляд — полувызов, полупризыв.

Сделав над собой усилие, Герберт, по примеру вчерашнего вечера, стал расспрашивать о соседях. Что сталось с этим? Как живет тот? Маневр удался. Отец и Артур

давали все разъяснения о фермах и ремесленных мастерских, а женщины с видимым удовольствием сообщили обо всех рождениях, свадьбах и смертях. Это заняло все время, пока они ели пудинг, крем, пирог и сыр, вплоть до того момента, когда никто, наконец, не мог больше есть. Сидр и пиво сделали круг, минуя мистера Кенфорда, который выпил немного крепкого чая, выразив при этом надежду, что остальным не придется пожалеть о своей «слабости».

— Мы остаемся здесь, отец, — сказала миссис Кенфорд. — А уберем и посуду помоем потом, когда вы кончите ваше дело.

— Как хочешь, мать, — сказал отец, который стал теперь очень серьезен и преисполнен собственного достоинства. — Я только схожу за бумагами.

Герберт не догадывался, что должно сейчас произойти, но ясно было, что наступил великий момент, и вся первая половина вечера, а может быть даже и весь этот день были только подготовкой к нему.

— Мне тоже остаться? — смущенно спросила Эдна.

— Конечно, Эдна, — ответила улыбаясь миссис Кенфорд. — Ты же не чужая. Мы тебя считаем своей.

«Ах, вот как! Ну да, впрочем, она ведь двоюродная сестра Филлис, напомнил себе Герберт. Но у Филлис немало двоюродных сестер и братьев, теток и дядей, и прежде всего у нее есть отец и мать. Так почему же вдруг удочерили Эдну?».—Ему это совсем не нравилось. Герберт обернулся, поймал устремленный на него застенчивый и ласковый взгляд Эдны и почувствовал себя глупым и грубым, когда что-то в его взгляде разом стерло эту застенчивую ласку, сменившуюся выражением испуга.

— Вы не возражаете, Герберт? — прошептала девушка, наклоняясь к нему. Она была такая цветущая, румяная и взволнованная, что на один момент им овладело желание схватить и обнять ее.

— О нет, нисколько! Только я не понимаю, что все это значит, — ответил он довольно резко, его злило, что Эдна возбудила в нем это желание.

Отец отодвигал в это время тарелки, чтобы освободить место для большого, имеющего официальный вид пакета, с которым он обращался почтительно и осторожно. В этом пакете все дело. Ясно.

— Герберт, — начал мистер Кенфорд так, словно давал команду «смирно!»,—мы рады видеть тебя наконец дома.

— Еще бы! — воскликнула мать.

— Ты выполнил свой долг, — продолжал отец, не обращая внимания на восклицание миссис Кенфорд. — Мы выполнили свой. Стыдиться нам нечего. Наоборот, есть все основания для гордости. Ты наверно удивляешься, почему я вчера же вечером не поговорил с тобой серьезно. А?

— Да нет, собственно... — начал было Герберт.

Но когда мистер Кенфорд брал слово, он любил произносить вполне законченную речь.

— Я не хотел говорить заранее, потому что мало ли что могло помешать. Видишь ли, надо было еще кое-что сделать сегодня. Потому-то мы и ездили сегодня с Артуром в Лэмбюри. Теперь все в порядке, мы сделали дело даже лучше, чем рассчитывали. А для тебя, Герберт, это очень важно. Конечно, ты задумывался над тем, что тебе готовит будущее, если и ты, и Артур останетесь оба в «Четырех Вязах». Так вот. Знаешь ты ферму Джо Эллерби по дороге отсюда в Суэнсфорд?

— Конечно, знаю, — отозвался Герберт.— Как он живет, старый Джо?

— Джо — конченный человек. Удар был. Но и так ему не под силу было сеять пшеницу. Сегодня я купил эту ферму со всем, что там есть. Артур переедет туда, как только мы вступим во владение.

— Артур! Ты все это скрывал от меня!— воскликнула его жена.

Артур ухмыльнулся.

— Приказано было молчать. А местечко прекрасное, если только смотреть за ним.

— Я говорю сейчас с Гербертом, — строго сказал мистер Кенфорд. — А вы можете побеседовать о ферме Эллерби попозже. Ты понимаешь, Герберт, что это значит? Артур переедет туда. Ты останешься здесь. Конечно, буду здесь и я, хотя придется помогать и Артуру, но рано или поздно «Четыре Вяза» перейдут к тебе. А лучшей фермы, не забывай этого, здесь нигде нет. Ну, вот теперь ты знаешь.

Все выжидательно смотрели на Герберта. Он видел доброту во всех взглядах. Родные подумали о его будущем, позаботились о его судьбе. И ему стало стыдно за самого себя. Дело было не в ферме. Он еще не перевел свои мысли на язык работы, собственности и денег. Но его тронула их заботливость, которой он совсем от них не ожидал (разве только от матери) и которой он, казалось ему, не заслужил хотя бы уже потому, что он вернулся к ним, как чужой человек, холодный и подозрительный. Но через мгновение стыд уступил место чувству облегчения, и глаза его затуманились: да, да, он дома, среди своих.

— Это замечательно... — запинаясь пробормотал он. — Я не ждал ничего подобного. Я даже об этом не думал... Я очень благодарен...

Миссис Кенфорд бросила вокруг торжествующий взгляд. «Вы видите!», — говорил этот взгляд.

— Никогда не думал, что ты имеешь возможность купить вторую ферму... Особенно такую большую. Вы, наверное, здорово подработали.

— Н-да, неплохо, — отозвался самодовольно Артур.

Инициативой снова завладел отец.

— Жаловаться, действительно, не при-

ходится. Ферма у нас хорошая. И новая, если потрудиться, тоже не хуже, будет. Какие бы глупости у нас в Англии ни проделывали, человек, у которого хорошая ферма, не пропадет. Мы имеем возможность жить, и жить хорошо, а вот другим глядит голод в глаза, и они теперь начинают приходить в себя. И помни, именно так и надо рассуждать всегда. Каждый должен заботиться о себе и своем достоянии. Мы в лучшем положении, чем другие. А почему, спрашивается?

Мистер Кенфорд обвел взглядом всех присутствующих, не столько ожидая ответа, сколько бросая вызов любому, кто осмелился бы его прервать.

— Импортные продукты, — продолжал он, — могут быть дешевле наших, но за них надо платить. Не правда ли? А теперь не так легко платить, как прежде. Это ясно. Пусть попробуют. Увидят сами. Мы же можем производить бо́льшую часть того, что населению необходимо, и продавать за справедливую цену.

— Ты не поверишь, когда мы тебе кое-что расскажем, — вмешался Артур со своей обычной ухмылкой. — Совсем не так, как было раньше. Совсем не так!

— Многие из парней, которые вернулись, как и ты, Герберт, — продолжал отец, — собираются требовать то да се — необыкновенных домов, спокойной, легкой работы, оплаченных отпусков и так далее, и чтобы все это им поднести на блюде. Но пройдет несколько лет, и кое-кто из них будет справляться, куда можно эмигрировать, хотя бы там не было необыкновенных домов и спокойной, легкой работы и прочего. Когда мы научимся смотреть правде в глаза, все эти дурацкие разговоры покажутся нам еще глупее. Но тебе нечего беспокоиться, Герберт. Мы позаботились и о тебе, и о себе — сделали, что должны были, и я вовсе не собираюсь этим хвастать, — но зато ты обеими ногами стоишь на земле, а скоро эта земля будет твоей. Ну, вот и все, хватит...

Да, верно. Этого было более чем достаточно. Исчезло чувство облегчения, чувство воссоединения со своими. Герберт смотрел на них холодный, как камень. Не говоря уже об уцелевших, о тех, кто, как и он, надел новый штатский костюм, было еще по меньшей мере полсотни убитых, похороненных в пустыне, во Франции, в Германии, и Герберт чувствовал сейчас, что они ему ближе, чем эти люди здесь, дома. Он слышал их голоса: «Я тебе говорю, дружище, после войны все будет по-другому». «Полно тешить себя. Будет та же чортова канитель». «Ты как думаешь, капрал?» А капрал «стоит обеими ногами на земле». На какой земле? В зыбкой могиле, в окопе, где земля каждую минуту может внезапно осыпаться, и вы увидите направленный на вас костлявый палец скелета и зияющие впадины пустых глазниц.

— Что с тобой, Герберт? — спросила мать. — Тебе нехорошо?

— Нет... я... — он поспешно поднялся.— Будет лучше, если я выйду на воздух.

— Слишком сытно поел, — вставил Артур. — Верно желудок отвык, еще переварить не можешь, а?

— Да, еще переварить не могу.

Ночь выдалась тихая и прохладная. Слабо светили звезды. Но Герберту они ничего не говорили. В одиночку человек ничего не значил в этом холодном мире, он ничего не мог добиться. Нужно, чтобы было много бойцов, нужно, чтобы они шли по определенной дороге, двигались колонной к определенной цели, пусть молча, не поддерживая связь, глубоко чувствуя друг друга и предстоящее им совместное дело, и тогда они сумеют противостоять ночи без страха в сердце. А сейчас он был одиноким. И, отдав себе строгий приказ молчать о том, что делалось в его душе, — пусть вечер пройдет так, как они хотели,— Герберт вернулся в дом...

4

Эдди Мольд, коренастый парень в коричневом костюме, все еще немного отуманенный пивом, которое он выпил накануне, проснулся утром и не сразу сообразил, где он находится. Он ведь перебывал в стольких местах — в лагерях, на транспортных судах, в квартирах, отведенных для постоя, в щелях и воронках. Но потом он вспомнил, что лежит в собственной постели, в собственном коттедже. И притом один. Он повторил себе все это снова, так как мозг его работал медленно и требовал тщательного и всестороннего продумывания беспокойных мыслей. Он вернулся домой и нашел свой коттедж пустым. Нелли, его жена, покинула дом. Телеграмма, которую он ей послал, — это ему посоветовал сержант, так как сам Эдди не привык пользоваться услугами телеграфа, — лежала нераспечатанная. Никакой записки Нелли не оставила, она ведь не могла знать, что он приедет так скоро. С другой стороны остатки продуктов, из которых Эдди приготовил себе нечто вроде обеда, говорили, что Нелли уехала не больше, чем дня за два до его возвращения.

Две вещи потрясли Эдди вчера вечером: во-первых, пустой коттедж и отсутствие Нелли. Нет, это не называется вернуться домой. Эдди вовсе не так представлял себе эти мгновения. Во-вторых, фотография — увеличенная копия той, с которой он никогда не расставался, — снимок их девочки, умершей во время его отсутствия. Было тяжело получить это известие на фронте, но еще тяжелее оказалось пережить потерю здесь, в пустом коттедже, где должна была бы бегать его маленькая дочурка. Разглядывая фотографию, Эдди сильно расстроился. Он пошел повидать Берта

Росса, с которым вместе работал в каменоломне. Берт работал там по сей день. Они зашли в «Руно» и выпили несколько кружек пива.

Теперь наступило утро. Эдди пришлось самому себе приготовить завтрак, а это было несправедливо, особенно если человек так давно не был дома. Коттедж выглядел не так привлекательно, как когда-то, несмотря на то, что Нелли купила кое-какие новые вещи: две вазы, часы и симпатичный маленький радио-приемник; это стоило ей, вероятно, немало денег. Уж не получила ли она наследства от кого-нибудь из родственников? В семье Нелли деньги водились, и там всегда смотрели свысока на Эдди, простого парня из каменоломни.

Поджарив последние ломтики бекона с хлебом, выпив большую чашку чая (без молока, конечно), он вышел на крыльцо и закурил. Утро выдалось чудесное, и деревня выглядела неплохо. Берт Росс сказал ему, что со следующей недели он сможет приступить к работе в каменоломне, так как мистер Уотсон уже послал на него заявку на биржу труда. Так что с этой стороны все было в порядке. Эдди решил улучить сегодня минутку и зайти к мистеру Уотсону. А пока он стоял на крыльце в своем новом коричневом костюме, очень хорошем костюме, который был только немного узок на него, курил и поглядывал по сторонам.

Вскоре открылась дверь миссис Моггсон, жившей рядом вместе с дочерью, которая работала на почте. Это была противная старуха, похожая на сгорбленную, ехидно скалящую зубы ведьму. Эдди еще не видел ее после приезда и не чувствовал в этом никакой потребности.

— Вот и вернулись? Э?

— Совершенно верно, миссис Моггсон. Вчера вернулся.

— Да, слышала. Дочь мне сказала, что вы возвращаетесь. Она приняла вашу телеграмму. Но вы, кажется, в одиночестве?

— Да. Жена, повидимому, уехала к матери в Банчестер. Она там часто бывает. А телеграмма верно пришла уже после ее отъезда.

— Ах, так...

— Так и есть, — нахмурившись, сказал Эдди.

— Да?

— Ну да, ясно, — повысил он голос.

— Нечего кричать, — сказала миссис Моггсон. — Я не глухая, хотя некоторые и ведут себя так, словно считают меня глухой. Я прекрасно слышу. Превосходно слышу.

Эдди не обратил внимания на ее слова, отвернулся и окинул взглядом улицу.

— Значит вернулись. Во-время, можно сказать.

Что с ней такое, с этой маленькой противной старушонкой? Он пристально посмотрел на нее и подумал, что она ничем не отличается от многих старых женщин, которых он встречал в Северной Африке, Нормандии, Голландии. Да, все они похожи друг на друга.

— Да, многим из вас пора было вернуться и заняться Кроуфильдом, а не Гитлером.

— Что ж, мы не огорчены, что вернулись, миссис Моггсон.

Она захихикала. Глупая старая сука! Что она с ума сходит?

— Красивый костюмчик дали вам. Смотрите не изорвите его, молодой человек. Ваши плечи так и выпирают из него. Будьте осторожнее. Здоровенный какой вы стали, Эдди Молыд. И, наверное, вспыльчивый. Ну, здесь было немало здоровенных парней, пока вы там воевали. Большинство — американцы. А некоторые — даже черные.

— Да, слышал уже, — отрезал Эдди.

— Услышите и не то, — проговорила миссис Моггсон, явно наслаждаясь собственными словами.--Только не затыкайте ушей, больше ничего не требуется. Надеюсь, вы не очень чувствуете одиночество? Надо полагать, ваша жена скоро вернется.

— Погодите, — остановил ее Эдди.—Что вы тут мелете? Что вы хотите сказать? Никто вас, кажется, не обидел...

— Вот именно, — отпарировала она. — Только не давали мне спать по ночам. И моей дочери, которая утром должна итти на работу, а не валяться полдня в постели, а потом опять гулять до рассвета, моей дочери тоже не давали спать.

— О чем вы говорите? Кто вам не давал спать?

— Узнаете. Тогда не будете так разговаривать. Тоже мне, герой! Новый костюм!

Она презрительно хихикнула и захлопнула свою дверь.

Раздумывая над ее странными намеками, Эдди, который во всем любил порядок, вернулся в дом и принялся за уборку. Потом он решил сходить за газетой, чтобы узнать, что вообще делается дома, и по дороге встретил жену Фреда Розберри, вернее его вдову, вышедшую со своей младшей дочкой, хорошенькой маленькой девочкой, за покупками.

Это была неприятная встреча. До войны Эдди мало встречался с Фредом Розберри. Зато в полку они подружились, и Фред сказал ему, когда родилась эта девочка. Эдди находился всего в десятке метров от того места, где был убит снарядом бедняга Фред. Разумеется, Эдди рано или поздно собирался повидать жену Фреда, но он рассчитывал сделать это попозже. И вот она стояла перед ним — высокая женщина с серьезными глазами, бледная, с темными волосами, на вид привлекательная, аккуратно одетая. Эдди вспомнил, что жена Фреда работала в бакалейном магазине в Лэмбюри, и Фред не раз говорил ему,

что очень удачно женился. Да, много удачи видел Фред!..

Он почувствовал, что встреча была неприятна и миссис Розберри. Фред, конечно, писал ей о нем, и теперь она не знала — улыбнуться ей или заплакать.

— Я не знала, что вы вернулись, мистер Мольд, — произнесла она, беря себя в руки.

— Вчера вечером, — ответил он грубовато и не глядя на нее.

Девочка что-то сказала, Эдди не разобрал что.

— Она говорит, что вы не военный, — пояснила миссис Розберри, слегка улыбнувшись.

Эдди, любивший детей, весело подмигнул девочке:

— Был, да весь вышел.

Он перевел взгляд с девочки на мать, которая не успела согнать странное жалобное выражение с лица и почувствовала, что Эдди его заметил. Бледные щеки миссис Розберри разом вспыхнули. Она поспешила что-нибудь сказать:

— Вы, наверное, рады, что вернулись. Как миссис Мольд?

— Представьте себе, не знаю. Она не знала, что я возвращаюсь, и уехала — скорее всего, к своей матери.

Тема была исчерпана. Девочка увидела другую девочку, свою знакомую. Она вырвала свою руку из руки матери и убежала. Миссис Розберри посмотрела ей вслед.

— Фред часто упоминал о вас в своих письмах. Вы были ведь вместе?

— Совершенно верно. Были друзья. Мы... все любили Фреда... и... очень жалели, когда... Ну, одним словом...

— Да... — тихо сказала она. — Сержант Стрит написал мне... Очень теплое письмо...

Эдди ухватился за это.

— Да, замечательный товарищ — сержант Стрит. Он ведь из этого большого поместья в Суэнсфорде, но не хотел получать офицерский чин, остался с нами. Я что угодно для него готов сделать. Он, я и Герберт Кенфорд, — знаете Кенфордов, у них ферма, — вместе приехали. Герберт Кенфорд. — тоже превосходный парень. Тихий, много не говорит, а лучшего трудно найти. Вчера и вернулись все вместе, втроем.

— Да, — сказала она с горечью. — Втроем...

— Простите, миссис Розберри... Я не хотел... вы понимаете...

— Ничего, ничего... Дора, иди сюда, — позвала она девочку. Потом обратилась к нему, немного спокойнее. — Сейчас не хочу вам докучать, но как-нибудь вы зайдете и расскажете все... о Фреде... и вообще все... Как-нибудь... Я еще не говорила ни с кем из товарищей Фреда А вы были с ним там... Мне станет легче

— Я не очень-то умею рассказывать, миссис Розберри. Я человек простой. Сержант Стрит или Герберт Кенфорд, особенно сержант, куда лучше сделают это, но если вы хотите, чтобы именно я...

— Да, чтобы вы... и... и... мистер Мольд, если я могу вам быть в чем-нибудь полезной, — может же быть такой случай, — обещайте, что вы обратитесь ко мне. Обещаете?

— Охотно, — заявил он, хотя никак не мог себе представить, чем может быть ему полезной миссис Розберри и почему ему может понадобиться помощь. Но ясно, что миссис Розберри настроена к нему дружески. Эдди был теперь даже рад встрече с ней, хотя бы потому, что он не чувствовал больше противного вкуса во рту от разговора с этой старой жабой — миссис Моггсон.

— Я только что говорил с миссис Моггсон.

— Какая ужасная старуха! — воскликнула миссис Розберри. — Надеюсь, вы... — она оборвала фразу.

Но Эдди ждал окончания. Щеки миссис Розберри *снова* вспыхнули.

— Я хочу сказать... надеюсь вы не стали слушать ее.

— Что ее слушать, такую дуру...

Она кивнула ему и улыбнулась. Эдди пошел дальше. Да, приятная женщина — жена бедняги Фреда. Вот женитесь вы на такой, идете на фронт и погибаете от мяукающей «минни», а другие выкарабкиваются из всех передряг и возвращаются домой к женам, от которых только одни неприятности. Где тут смысл, где справедливость?

Купив газету, Эдди побродил по деревне, чувствуя себя как-то неуютно в новом штатском костюме. Он встретил нескольких знакомых и перебросился с каждым двумя-тремя словами. Встретил также многих, которых не знал или не мог припомнить. Сама деревня мало изменилась, так как немцы ее не бомбили, и новых построек здесь не было. Единственным признаком войны были многочисленные следы, оставленные американскими войсками. И все же Кроуфильд казался Эдди чужим. Вот он снова там, куда так спешил, а не чувствует, что вернулся. Может быть потому, что Нелли нет. Мысль о доме была тесно связана с Нелли, потому что, ясно ведь, человеку хочется увидеть жену. Не послать ли ей с кем-нибудь записку или самому съездить в Банчестер? Может быть заболела ее мать?

— Как дела, Эдди? — спросил Томми Лофтус, демобилизованный из артиллерии еще в сорок втором, а сейчас водитель автобуса.

— В порядке. Томми. Только странно немножко. Отрык от Большой земли.

— А я тебе скажу, Эдди, в чем тут штука. Той Большой земли, о которой мы столько говорили, ее здесь нет. На счет этого не обманывай себя. Нет ее здесь, той Большой земли.

Эдди не мог понять, куда он клонит. Томми всегда любил пошутить.

— Где же она, Томми?

— Где всегда была. В наших дурьих головах, — и Томми невесело засмеялся.

— Что-то я тебя не пойму.

— Слушай, Эдди. Я много раз говорил, как и ты, конечно: «Дайте мне литер и дело с концом». Так вот. Получил я его, этот самый литер.

— Да, — хмуро сказал Эдди. — Но если бы ты побывал в таких переделках, как я после сорок второго, ты сказал бы: «Литер и хорошую работу». Понятно?

— Понятно. Только раз я уже получил литер, не мог я быть там, где ты. Но я знаю, что ты хочешь сказать. И я тоже тебе скажу, что думаю. Когда получаешь этот самый литер и возвращаешься домой, находишь ты там совсем не то, что ждал. Ясно? Большая земля! Погоди, увидишь!

— Но ты уже к ней привык, Томми.

— В том-то вся штука, что не привык,— резко сказал Томми. — А ведь два с половиной года, как вернулся. Знаю, что ты скажешь: военное время, а не мир. Хорошо, согласен. Янки здесь были. И бабы превратили деревню в сплошной публичный дом...

— Ну, ну, полегче! — проворчал Эдди.

— Полегче? — воскликнул Томми. — Посмотрел бы ты, как они себя вели! Скажи мне кто-нибудь — не поверил бы. Но я сам видел, собственными глазами. Да не в этом дело. У меня самого все благополучно. Я во-время приехал. А дело в том, Эдди, что ты ждешь чего-то — и не получаешь, ждешь, что будет не так, как прежде, и, конечно, лучше. Что теперь не так, это верно. Но будь я проклят, если в чем-нибудь лучше. И видов на это никаких.

— Да ты большевик, Томми.

— Я? Скоро стану больше большевиком, чем сами большевики. Иди, Лиззи, — крикнул он нетерпеливой молодой женщине — кондуктору его автобуса. — Сейчас иду. Томми ткнул в ее сторону пальцем и понизил голос. — Толстушка Лиззи скоро уезжает в Канаду. И правильно делает. Дело не в Канаде. Но она, как и все мы, чертовски хочет перемены. Вот и едет туда за переменой. А скоро и ты захочешь, Эдди.

— Не захочу. Слишком много у меня было перемен.

— Погоди. Ты еще не знаешь, чего скоро захочешь. Сам удивишься. Ну, всего, Эдди!

— Всего, Томми!

Эдди смотрел вслед удалявшемуся автобусу. Не следует придавать слишком много значения словам Томми Лофтуса, хотя он и славный парень. Вредно, видно, сидеть за рулем: заумничаешь. Все эти парни, водящие машины, настроены на один лад. Слишком много переводов скоростей и внезапных торможений.

Решив дождаться открытия бара, Эдди топтался на главной улице, недалеко от «Солнца», обмениваясь замечаниями с проходившими мимо знакомыми. Но вскоре он почувствовал какое-то беспокойство, усталость, скуку, не хотелось даже итти в «Солнце», и внезапно он принял решение вернуться домой. Может быть Нелли уже дома. Но Нелли все еще не было. Вид пустого коттеджа произвел на Эдди тяжелое впечатление. Казалось, что коттедж издевался над ним, как старуха Моггсон. Он ходил по комнатам, открывал шкафы, выдвигая ящики, перебирал вещи, заглядывал во все углы, словно он потерял что-то и даже не знал что.

За домом был небольшой сарай, который Эдди построил вскоре после их переезда сюда, за год до войны. Эдди вошел в сарай, освещая себе путь спичками и отбрасывая ногой разную рухлядь. В дальнем углу оказалась куча пустых бутылок. Нет, это не были пивные бутылки. Эдди нагнулся и извлек на свет более дюжины бутылок из-под джина и виски. На некоторых он прочел странные названия, в стиле янки. Эдди забрал бутылки в дом и расставил их на столе. Как раз когда он кончил, на пороге появилась чья-то фигура.

На сей раз перед ним стояла дочь миссис Моггсон, работавшая на почте и в половине второго приходившая домой обедать. Это была заносчивая, злоязычная женщина, с головы до ног — старая дева. И сейчас она строго уставилась на него и на бутылки. А, чтоб ее!

— Думаю, что вам не мешает знать, мистер Мольд, — сказала она самым изысканным тоном работника почтово-телеграфного ведомства, — что миссис Мольд уехала только вчера днем. Мать видела, как она уезжала.

— Еще бы! — проворчал Эдди. — Ну, и что из этого?

Мисс Моггсон взглянула на него еще строже.

— Уехала после того, как телеграмма была ей вручена. Я говорю на случай, если бы собирались подать жалобу.

— Какие там жалобы!—крикнул Эдди.— Не лезьте не в свои дела!

— Телеграмма — это мое дело. И она была вручена адресату немедленно, до того, как миссис Мольд уехала. Вот и все.

И она ушла.

Эдди схватил ближайшую к нему бутылку, высоко поднял руку и изо всей силы швырнул бутылку наземь; бутылка разбилась на мелкие осколки, но легче ему не стало. Хлопнув дверью, Эдди вышел на улицу. Он уже не чувствовал голода и, не думая больше о еде и питье, он проходил милю за милей, полный растерянности и гнева. Иногда им всецело завладевала растерянность, словно его мучил сон, в котором знакомые места и лица изменялись до неузнаваемости и станови-

лись совсем чужими. Иногда верх брал гнев, и тогда он один восставал против огромного заговора. В конце концов Эдди очутился у каменоломни и задумчиво смотрел на огромную скалу, словно только в ее изломанных чертах он мог узнать лицо друга.

Там его и обнаружил директор — маленький, нервный старичок, мистер Уотсон.

— А, Мольд! Рад видеть вас. Довольны, что вернулись?

— Не знаю, — пробормотал Эдди. — Неприятностей у меня по горло.

Мистер Уотсон удивился.

— Правда? Что ж, у всех есть свои неприятности. Во всяком случае, Мольд, со следующей недели можете выходить на работу. Работы много и очень важной. Нам не повредит такой крепкий парень, как вы. — Он понизил голос: — Если вы будете вести себя хорошо, — то будущее для вас обеспечено, Мольд. Вы знаете работу и вы еще молоды, а... некоторые из наших людей уже не так молоды, как были. Понимаете?

— Да, — без всякого выражения проговорил Эдди. — Понимаю.

Мистер Уотсон строго посмотрел на него.

— Кутили?

— Нет. — И Эдди в свою очередь строго посмотрел на директора. — А вы?

— Ну-ну-ну! — воскликнул мистер Уотсон. — Это что за разговоры! Разве можно так?

— Нет, нельзя, — медленно произнес Эдди. — Разве только это говорится по-дружески... Но если вы спрашиваете меня, то и я спрашиваю вас.

— Вы забываетесь, Мольд!

Эдди поспешно обдумал это предложение.

— Нет, не забываюсь. Но сдается мне, что другие меня забывают. Я не о вас говорю, мистер Уотсон.

— Еще бы! — ответил мистер Уотсон.— Я еще бог знает когда дал заявку на вас, чтобы вы могли вернуться к нам поскорее. Можно ли было сделать больше? Так можете начинать в понедельник.

— Ладно, посмотрим.

— Посмотрите? Что вы хотите этим сказать? Чего смотреть? Я вас не понимаю, Мольд.

Эдди безнадежно развел руками.

— Вы тут не при чем, мистер Уотсон. Не обращайте на меня внимания. Но только... ведь и я живое существо. Не так ли? Чувства у меня есть или нет? И я человек, а не проклятая машина какая-нибудь...

— Я не желаю слушать такие разговоры! — возмущенно воскликнул мистер Уотсон. — Вы не в полку! Конечно, надо относиться к вам снисходительно, и я так и делаю но в самом деле, Мольд...

— Послушайте, мистер Уотсон, — перебил его Эдди. — Я против вас ничего не имею, и вы, пожалуйста, не думайте... И против каменоломни тоже. Так что не обращайте на меня внимания. Я ведь вам сказал — неприятностей у меня по горло. И с утра я ничего не ел, — добавил он, внезапно ощутив пустоту в желудке. — И в глазах у меня круги... Лучше уж я пойду...

Там, где дорога в Кроуфильд пересекала шоссе Лэмбюри—Бэнчестер, стояла небольшая закусочная, посещаемая главным образом шоферами грузовых машин. Здесь Эдди выпил большую чашку чая и поел жареной колбасы с картошкой. Он сидел в углу, не замечая никого и ничего, хмурый огромный человек в новом аккуратном коричневом костюме, немного узком на него. То же повторилось позже в баре «Солнце», где Эдди взял свою пинту пива в угол и предался размышлениям. Бар наполнялся людьми, и вскоре Эдди уже нельзя было различить в толпе, среди шума и дыма. Но зато Эдди мог слышать кое-что. В двух шагах от него сидели, например, две пожилые женщины, оживленно говорившие между собой, и он слышал большую часть разговора, значительно больше, чем ему хотелось бы. Когда наступило время закрытия, Эдди стал проталкиваться к выходу.

— Ба, кого я вижу!—воскликнул Джордж Фишер, успевший вволю удовлетворить свою жажду. —Будь я проклят, если это не старина Эдди Мольд, знаменитый правый защитник «Кроуфильд Роверс»! Мы опять собираем прежнюю команду, Эдди. Что ты на это скажешь? Или ноги уже не те?

— Не те, Джордж, — пробормотал Эдди, стараясь высвободиться от него. — Стар стал.

— Рассказывай! Да ты замечательно выглядишь! А, ребята? Вы только посмотрите на него!

— Отстань! — Эдди сделал новую попытку освободиться.

— Слушай, Эдди, так как ты один из наших храбрецов...

— К чорту!.. — и внезапно потеряв самообладание, Эдди так толкнул Джорджа, что тот не только сам завертелся волчком, но и едва не сбил с ног с полдюжины других посетителей.

— Держите его! Что за безобразие! Драться вздумал!

Все кричали, все угрожающе смотрели на Эдди.

Эдди нагнул голову и медленно поднял свои огромные кулаки. Он чувствовал, что стоит один против всех.

— Кто-нибудь хочет попробовать? — спросил он. — Кто хочет, может получить. Ну?

— Вон!—крикнул хозяин «Солнца».

Эдди сказал ему, что он может сделать с ним, потом медленно вышел. Но в ночной темноте, на дороге, он почувствовал себя очень несчастным и был себе противен не

меньше, чем эти там в баре. Все не так, все плохо. И становится все хуже.

У своего коттеджа он остановился. Шторы были спущены, из-под них пробивалась полоска света. Нелли вернулась! Эдди не был пьян, но и не был вполне трезв. Он был в том состоянии, когда вещи и звуки кажутся более отчетливыми, резче очерченными, когда человек замечает больше, чем обычно. Темный фасад коттеджа, полоску света, не сбещавшую ничего, кроме новых тревог и огорчений, аромат запущенного маленького сада, гуть холодного ночного воздуха, все это Эдди принял, как нечто само собою разумеющееся.

Нелли была не одна. Когда он распахнул дверь, он услышал еще один голос. К его удивлению, гостьей оказалась жена Фреда, миссис Розберри, которая показалась ему сейчас еще более бледной, чем утром, и взволнованной. Нелли только что плакала. Глаза ее распухли. Она выглядела старше, грубее, толще, чем была в его воспоминаниях. Увидев Эдди, Нелли снова заплакала.

— Мистер Мольд! — начала миссис Розберри, словно собираясь просить Эдди о каком-то одолжении. И остановилась, не зная, что говорить дальше. Эдди шагнул в комнату, оставив дверь открытой, и указал на нее рукой. Миссис Розберри поняла и полуобернулась к Нелли, словно ища у нее поддержки, но передумала и, бросив последний безнадежный взгляд сначала на жену, потом на мужа, вышла, не сказав ни слова, и закрыла за собой дверь.

— Эдди... — плача проговорила Нелли.

Он стоял, глядя на нее, и молчал. Чего-то нехватало в комнате! Ах да, бутылок. Они убрали их. Эдди совершенно отчетливо представил себе, как это происходило. Они вынесли их обратно в сарай и шептались. Вероятно думали, что он дурак. Ладно, сейчас она увидит!

— Эдди! — Нелли бросила на него быстрый, испуганный взгляд, но тотчас же отвернулась и прижала платок к заплаканному лицу. Она была для него, как чужая. Нет, он вернулся не для того, чтобы жить с этой женщиной.

— Только не ври! — сказал он. — Успел уже все узнать. Хорошенький тут был публичный дом. И ты — одна из таких. Слышал сегодня в «Солнце» и больше не намерен слышать! Янки! Если не бесплатно, так для белого цена фунт, а для черного — два. Проклятые бутылки! — крикнул Эдди. — Они мне все рассказали. Больше мне ничего и не надо было. Так вот к чему я вернулся. А крошка моя умерла...

— Не припутывай ее! — сверкнула глазами Нелли. — Оставь ее в покое. Я ничего не делала плохого, пока она была жива... А когда она умерла, я была так несчастна... я не знала, куда мне девать себя, что мне с собой сделать...

— Отлично знала! — крикнул он. — Пошла и сделала. Ладно. А теперь иди и делай это где-нибудь в другом месте.

— Эдди, что ты хочешь сказать? — Нелли смотрела на него, широко открыв рот.

— Гм, коронки поставила. Вероятно, на те деньги, что заработала в кровати. Как что я хочу сказать? Я вернулся не для того, чтоб питаться объедками. Выметайся!

— Нет... нет... Я не вынесу... — начала она, всхлипывая.

Это еще больше его разозлило.

— Ты слышала? Вон! Живо! Пока я за тебя не взялся...

Она выпрямилась — обида пересиливала страх.

— Ты не посмеешь тронуть меня, Эдди Мольд!

— Тронуть тебя, — повторил он. Его злоба передавалась в руки, трепетала в его пальцах, поднималась к его горлу, почти душила его. И вдруг он почувствовал тошноту. — Если я тебя трону, то сверну тебе шею. Когда вернусь, чтоб тебя здесь не было. Говорю тебе это!

Он вышел во двор, и там его стошнило, все пиво вылилось зловонным потоком. Часть попала на новый костюм. Унизительные стороны жизни, с которыми солдат знаком лучше, чем большинство людей, и от которых, как думал Эдди, он уже избавился, снова показывали свою власть. Эдди постоял с минуту, дрожа мелкой дрожью, потом медленно вернулся в дом. Злоба его утихла.

Нелли ушла. Возможно, что к миссис Розберри. Он запер дверь, не желая видеть ни Нелли, ни кого-либо на свете. Сел у пустого камина, в старую качалку, которая принадлежала еще его матери, и тщательно восстановил в памяти всю сцену с Нелли, а потом все, что он слышал за день. Он углубился еще дальше в прошлое, к своим отпускам, к дням, проведенным вместе с Нелли до войны, к временам, когда они только что поженились, к еще более давним, бесконечно далеким временам, когда они ходили вместе гулять; он ездил автобусом в Лэмбюри, где Нелли работала, или встречал ее на перекрестке, и они шли по полям, тесно прижавшись друг к другу, а в воскресный день и теплые безветренные ночи лежали обнявшись на холме над каменоломней. Было так, словно существовали две Нелли. Одна — молодая, свежая, смеющаяся, сладостная, как летняя трава, с танцующими, искрящимися светлокарими глазами и надутыми губками, которые твердили, что он слишком сильный и страстный, пусть возьмет себя в руки и ведет себя, как следует. И другая — распухшая проститутка с испитым лицом, преждевременно постаревшая, то хнычущая, то через миг визжащая, со всеми ее похождениями в «Солнце», с бутылками из-под виски. Эта Нелли где-то здесь недалеко, вероятно кому-нибудь жалуется:

а та другая, за которой он ухаживал и на которой женился, взяла и исчезла, пока он отсутствовал. Проходил час за часом. Эдди сидел у камина, машинально качаясь в качалке, и ему казалось, что эта Нелли еще существует где-то, но только потеряна для него. Иногда казалось также, что существуют два Эдди Мольда. Один — беззаботный, счастливый... и другой, сидящий в качалке, зябнущий холодной ночью, вернувшийся домой и нашедший все иным, ни чуточки не похожим на то, как он себе представлял — не приветливым, дружелюбным и главное лучшим, значительно лучшим, чем прежде, но черствым и гадким, запачканным, осмеянным, с Моргонами, которые жадно следят за ним, с Томми, который говорит: «Ты тоже скоро захочешь перемен, Эдди», с отвратительными рассказами в «Солнце», со следами чужих людей и его собственной блевотиной во дворе....

5

Это было в пятницу, около половины седьмого. Алан Стрит и его сестра Диана сидели одни в старой детской. За окном было сразу все, что угодно: яркие снопы солнечных лучей и потоки дождя, черные тучи и голубое небо, радуга в нескольких местах. Словно изысканная акварель классического периода! В комнате было пыльно, но так хорошо и уютно. Издавна установилось, что когда брат и сестра беседовали, Диана свертывалась в клубочек, делаясь совсем маленькой, в старом кожаном кресле. Алан, наоборот, старался занять как можно больше места и раскидывался во-всю на кривобоком диване. Так сидели они и теперь. Алан курил длинную трубку, которая пропахла никотином и издавала неприятный булькающий звук. Все было так, как и многие годы назад, и это попеременно то раздражало, то подбодряло Диану.

— Что это за пластинку ставит дядя Родней? Помнишь, когда мы спускались вниз... Ужасная вещь. Страшно тягучая, монотонная и тоскливая. Ты слышал?

— Да. Это анданте из четвертой симфонии Брюкнера, — ответил Алан, хорошо знавший музыку. — Скулит и ноет без конца, как и большинство вещей Брюкнера.

— Просто отвращение. Я была бы счастлива, если бы он перестал ставить ее.

— Так попроси его, — сказал Алан. — Он, наверное, исполнит твою просьбу. Дядя Родней совсем неплохой человек. Мы с ним уже несколько раз побеседовали по душам. Он, конечно, против всего на свете и полон решимости превратиться в музейный экспонат, но он никому не делает зла. Кажется, думает, что в любой момент может переселиться в иной мир.

— Я бы на него за это очень рассердилась, — серьезно сказала Диана, — хотя бы потому, что он так забавлял нас в детстве... Но я в это не верю! Наоборот, я думаю, что он будет жить и жить и делаться все большим чудаком, — Диана на мгновение задумалась.

— Хотела бы я больше любить людей, Алан. Я говорю не о дяде Роднее и других родственниках, но о людях вообще. Если бы я больше любила их, мне было бы куда легче.

Алан догадывался, почему ей было бы легче, но решил дать высказаться ей самой.

— Почему? — спросил он.

— Тогда я могла бы делать что-нибудь для людей, — ответила она. — Я хочу что-нибудь делать. Я не могу больше сидеть здесь сложа руки. Маме я не нужна. А я знаю — есть вещи, которые я могла бы делать. Но, чтобы делать их хорошо, нужно любить тех, для кого это делаешь. А этого я и не могу. Пробовала, и не могу.

— Когда и где ты пробовала? — спросил Алан. Он задал вопрос в вызывающем тоне, чтобы побудить ее продолжать.

— Не будь глупым, Алан. Не сидела же я, бездельничая, все эти годы. Я пробовала женщин и детей, когда помогала устраивать эвакуированных. Пробовала мужчин — в солдатской столовой. И не люблю ни тех, ни других. Ничего не могу с собой поделать. Я знаю, это нехорошо, но я ничего не могу с собой поделать. Они кажутся мне такими тупыми, невежественными, бестолковыми. Это не имело большого значения, пока у меня был Дерек и я ждала его, но теперь я просто не знаю, что делать.

— Ничего не могу сказать насчет женщин и детей, — медленно проговорил Алан, — но мужчин я знаю. Прожил с ними бок-о-бок больше пяти лет. Да, правда, они бестолковы, невежественны, тупы. Иначе и быть не может. Их все время отталкивают и загоняют в тупик. Как-нибудь я познакомлю тебя с моим приятелем Эдди Мольдом, и, если удастся заставить его разговориться, ты поймешь, что я хочу сказать. Но с другой стороны, — и я уверен, что это относится также к их женам, — у них есть несомненные достоинства, свойственные именно им изумительные качества, которые на первый взгляд можно и не заметить.

— Ну, например? Только не раздражайся и не сердись. Я ведь не глупый сноб. Я просто хочу знать.

Он вынул изо рта трубку и повертел ее в руках.

— Хорошо. Начнем с того, что под поверхностной грубостью, которая вероятно тебя возмущает, у них есть своеобразная, им одним присущая чуткость. Они не сделают и не скажут многого, что люди нашего круга ничуть не постесняются сделать или сказать.

— Если бы ты слышал и видел половину того, что слышала и видела я, — начала

было она, но тотчас же остановилась. — Прости меня. Продолжай.

— Кто-то, кажется, какой-то американец однажды сказал: «Власть — это яд». Так вот, они не отравлены этим ядом. Думаю, что это чрезвычайно важно, Ди. Это придает им некоторую мягкость. Они никогда не бывают безжалостными, они никогда не бывают, как бы это сказать, высокомерными, как умеют быть безжалостными и высокомерными люди, ну, хотя бы вроде мамы, не говоря уже о настоящих сильных мира сего. Ты можешь сказать, что у них нет для этого случая. Это, конечно, правда. Но верно и то, что большинство из них ни за что не стало бы так поступать. У них есть свое представление о добропорядочности, которое глубоко в них вкоренилось. В армии любой начальник, даже самый строгий и взыскательный, ладил с ними, если у него было такое же чувство добропорядочности. Я говорю не о юридической справедливости, это — понятие абстрактное, понятие образованных людей. Я говорю о добропорядочности; это то, что, повидимому, недоступно пониманию немцев, и в этом одна из причин, почему наши ребята никак не могли понять фрицев и считали их просто помешанными.

— Оставим немцев в покое, — сказала Диана. — Я устала от разговоров о них. Но люди, о которых ты рассказываешь... ты был вместе с ними на фронте, вместе сражался, и, естественно, что тебе понятна их точка зрения. Но, Алан, они кажутся мне такими глупыми, они готовы поверить во что угодно и будут говорить, что угодно... и при этом... даже не пытаются попробовать...

— У них не так много возможностей, Ди, — мягко возразил Алан. — У них достаточно всяких забот. Им приходится думать о хлебе насущном.

— Ерунда! — воскликнула она раздраженно. — Все это я слышала тысячу раз, и не верю ни одному слову. Уж если на то пошло, то о хлебе насущном приходится думать многим из нашего класса. Те же, о ком ты говоришь, тратят в мгновение ока все, что имеют — на выпивку, футбольное пари, собачьи бега и прочую ерунду. Они не заглядывают и на неделю вперед. Большинство женщин, которые были сюда эвакуированы, просто ни на что не способны.

Алан усмехнулся.

— Не думаю, чтобы здесь было что-нибудь смешное, — огрызнулась она. — И их мужья тоже смеяться не станут, разве только и они такие же.

— Вероятно, такие же, — согласился Алан. — Но дело в том, что заглядывать вперед мы научаемся, когда у нас есть собственность, крупное состояние. Тогда мы очень часто не живем, а только планируем нашу жизнь. Против этого были, кажется все религии. Ты лучшая христианка, чем я, Ди, скажи же...

— Не думаю, чтобы религия имела к этому какое-либо отношение, — поспешила ответить она.

— Я хочу сказать только одно — что именно эти люди, добрые, терпеливые, умеющие прощать, не знающие высокомерия, не отравленные властью, кажутся мне христианами. Если хочешь, они в некоторых отношениях даже слишком христиане. Они готовы терпеть слишком многое. Они выходят из себя реже, чем следует. Они ворчат, но этим дело и ограничивается.

— Потому, что они не знают ничего лучшего и не хотят знать ничего лучшего. Женщины разговаривают о кино-звездах, а мужчины — о футболе. Сама слышала. Женщины здесь не интересовались даже войной, хотя на фронте сражались их собственные мужья и отцы. Они даже не давали себе труда следить за радиосводками.

— Знаю, — прервал ее Алан. — Но ты должна понять их точку зрения и попробовать стать на их место. Женщины, о которых ты говоришь, считают, вероятно, что передачи по радио предназначаются не для них. И голос не тот и стиль не тот. Никаких объяснений. Одни сплошные названия городов и районов и непонятные сообщения о военных операциях. Вроде того, как если бы ты попала на лекцию по теоретической физике. А вот людей, с которыми я воевал, война интересовала. Послушать их, так они только и думали, как бы вырваться из армии, вечно одни и те же глупые нескончаемые разговоры о том, как бы изловчиться и получить литер, как они это называли, но все это были одни разговоры. Суть была не в том, что они говорили, а в том, что они делали. Эти люди редко говорят так, как говорим мы...

Алан оборвал фразу и поспешно сполз с дивана.

— Идет старый Тальгарт.

— Ты не ошибся? — воскликнула Диана, вскакивая с кресла. — Он никуда теперь не ходит... и едва ли пойдет к нам...

— Но я видел его совершенно ясно! Тише! Слышишь?

— Я не в состоянии. Выйди к нему ты, Алан. Вряд ли кто еще захочет. Он не в своем уме, и от него пахнет, — она бросилась к двери, ведущей на черную лестницу. — Отделайся от него как-нибудь, — уже стоя в дверях бросила Диана.

Мистер Тальгарт был викарием в Суэнсфорде, сколько помнил себя Алан. Это был очень высокий человек с длинной шеей, на которой у него смешно моталась голова. Он всегда отличался странностями, а теперь, когда он состарился и остался одинюким, мистер Тальгарт имел просто фантастический вид. Впалое, небритое лицо обрамлялось длинными седыми волосами. Костюм у него был рваный и запачканный. Мистер Тальгарт напоминал сейчас Алану средневекового отшельника из подаренного ему в детстве кукольного

театра. Но голос мистера Тальгарта не изменился. Он был попрежнему приятным, мягким, отчетливым и убеждающим. Сейчас мистер Тальгарт вежливо, но очень решительно отказывался покинуть холл.

— Надеюсь, вы помните меня, сэр? — сказал Алан. До сих пор старик ничем не показал, что вспомнил его. — Я — Алан Стрит.

— Ах, да! Младший сын леди Стрит. Правильно, правильно. Вы были за границей?

— Да, сэр. В армии.

Мистер Тальгарт мотнул головой, и вдруг, к удивлению Алана, сказал:

— И вас, значит, разгромили? А?

— Вначале было и это. Но потом, самособой разумеется, стало иначе.

Алан испугался — уж не придется ли ему объяснять мистеру Тальгарту весь ход войны на последнем этапе.

— Вас разгромят здесь, — сказал мистер Тальгарт и плотно сжал губы. — Меня разгромили.

Да, правда, его разгромили время и одиночество. Он явно говорил не об этом. Алан не считал, что должен что-нибудь ответить.

— Если вы интересовались этим, — мягко продолжал мистер Тальгарт, — то могли заметить, что четвертое царство в первом видении Даниила безусловно похоже на четвертую печать в апокалипсисе.

— Вы говорите о коне бледном?

— Да, конь бледный, и на нем всадник, и имя ему смерть, — процитировал мистер Тальгарт без особенного подчеркивания — и ад следовал за ним, и дана ему власть над четвертою частью земли — умерщвлять мечом, и голодом, и мором...

И он, казалось, снова погрузился в какой-то постоянный сон.

Алан переждал несколько мгновений, потом счел, что настало время, когда ему надо что-нибудь сказать.

— Вы считаете, сэр, что четвертое царство и четвертая печать отображают теперешний период?

Мистер Тальгарт широко открыл свои глаза. Только теперь, впервые Алан заметил, что они не были ни серыми, ни карими, а странно сочетали оба оттенка. Что происходило по ту сторону этих глаз?

— Вне всякого сомнения, — проговорил мистер Тальгарт.

— И ничего нельзя с этим сделать?

— Милый молодой человек, — начал старый викарий с некоторым раздражением. — Я не жду, чтобы вы поверили в истинно-пророческий характер этих библейских текстов. Это значило бы ждать слишком многого. Вы, конечно, знаете все лучше. Ясно, ясно! Но я немало думал над этими вещами. Забудем на некоторое время библию ,чтобы вы чувствовали большую уверенность. — Он поднял вверх длинный и очень грязный указательный палец с обгрызанным ногтем. — Мы вскоре начнем уничтожать друг друга. Это неизбежно, так как не осталось ничего, чтобы объединяло нас.

Алан пробормотал что-то насчет «общих интересов».

— Ваши общие интересы не стоят и маного гроша, — резко возразил мистер Тальгарт, постукивая указательным пальцем по галстуку Алана. — Люди помнят теперь только то, что их разобщает, а не то, что их связывает. Одна из групп стоит на пути другой, более многочисленной и спаянной. И она уничтожается. Но затем внутри победившей группы обнаруживаются противоречия, новые раздоры, новые разрушения. В конечном счете мы распадаемся на отдельные единицы...

— Но этого же нет! — запротестовал Алан.

— Пока нет. Но будет. Распадение неизбежно будет продолжаться. Мы разделяемся для того, чтобы в конечном счете уничтожить самих себя. Это разъединение, начавшееся с отделения от бога, и является началом ада. И мы, разумеется, сейчас в аду, — закончил он недопускающим возражения тоном.

Алан не мог придумать достаточно вежливой и вместе с тем достаточно решительной отповеди и оставил слова викария без ответа. На несколько мгновений воцарилось молчание. Мистер Тальгарт осмотрелся кругом.

— За домом следят теперь меньше, чем прежде, — нахмурившись заметил он. — То же самое у меня — запущено, даже грязно. У вас не грязно, но далеко не то, что было прежде. Большинство коттеджей, кажется, в таком же состоянии

— Понятно. Война, — сказал Алан.

— Война в широком смысле слова — со всем тем, что она несет, с ленью, безответственностью, пьянством и прелюбодейством. Все это, конечно, неизбежно. Вы с равным успехом можете проповедывать против восхода солнца или юго-западного ветра. Вы знакомы с епископом?

Нет, Алан не был с ним знаком.

— Упорно лезет в политику,—резко проговорил мистер Тальгарт. — Посылает мне воззвания, брошюры и всякий вздор, словно мы с ним два общественных деятеля. Он не служитель церкви. Ему бы заведывать каким-нибудь благотворительным учреждением — сиротским приютом, женской богадельней или убежищем для отставных гувернанток. И он, и я—мы в аду, но он даже не знает об этом. Я вас задерживаю?

— Нет, нет, я просто задумался. Хотите, может быть, видеть маму или дядю Роднея?

— Вашего дядю Роднея, наверное, нет, — решительно, но очень любезно ответил мистер Тальгарт. — Он всегда был в некотором роде вертопрахом, если разрешите так выразиться, а в последнее время стал к тому же еще и чрезвычайно

эксцентричным. Пришел ко мне и наговорил какой-то чепухи насчет музыки. Что касается вашей матери, то всегда рад ее видеть.

И мистер Тальгарт выжидательно посмотрел на Алана.

— Она нужна вам по делу?

Мистер Тальгарт стал размышлять вслух.

— Я не мог притти сюда ради вас, — хотя я счастлив вас повидать, — так как не знал, что вы дома. Да, понимаю. Очевидно, я пришел повидать вашу мать. Но по какому же делу? Ах да, по поводу утренних богослужений. Да вот и она.

Леди Стрит появилась в вечернем туалете, и Алан только теперь вспомнил, что она, Энн, Джеральд и он сам должны были ехать в Харнворт на обед к лорду Дарральду.

— Здравствуйте, мистер Тальгарт. Какая приятная неожиданность!

Воскликнув это, леди Стрит повернулась к Алану.

— Алан, дорогой, поспеши переодеться. Мы ведь приглашены на обед. Разве ты не помнишь?

— Помню. Но я не собираюсь переодеваться.

— Фрака не нужно. Но не можешь же ты поехать в этом ужасном костюме.

— Могу, мама. И даже хочу.

— Не будь нелепым, дорогой. Ты же знаешь, что он на тебя не годится и потом этот покрой. Где-нибудь да лежат твои хорошие костюмы. Пойди, поищи, а я пока поговорю с викарием.

Но он не стал искать. Приведя себя в порядок в ванной, Алан, чтобы убить время, заглянул к дяде Роднею, который, покончив с Брюкнером, лежал на диване, читая «Игрока в раю».

— Кто этот лорд Дарральд, у которого вы обедаете? — спросил дядя Родней.

— Он купил Харнворт...

— Безумец. Я бы не взял эту проклятую казарму даром. Что он еще купил?

— Он контролирует «Дейли Газетт», «Санди Сэн» и несколько других газет.

— Никогда не читаю их. Промышленные предприятия и прочее?..

— Промышленные предприятия и прочее, — подтвердил Алан. — Мама говорит, что он несметно богат, влиятелен и довольно вульгарен. Она берет меня с собой в надежде, что его милость заинтересуется моей особой и предложит мне работу.

— Он не заинтересуется твоей особой, если ты будешь в костюме страхового агента, — сказал дядя Родней.

— Значит он не заинтересуется мной, — ответил Алан. — И весьма вероятно, что я им тоже не заинтересуюсь.

— Правильный способ. Я лично считаю, что единственная возможность получить работу у этих господ — это плевать на то, дадут они ее тебе или нет. Так что ты, вероятно, получишь. Но, слушай мальчик мой, не стань одним из этих сплетников, которые только тем и занимаются... что все время где-нибудь завтракают или обедают, а потом описывают эти трапезы.

Алан засмеялся.

— Это было прежде.

— Не обольщай себя, мой мальчик. Ты не в курсе дела. Только вчера получил письмо от Дженни Дельмэна. Он пишет, что его младший сын подписал договор на изготовление таких сплетен. Полторы тысячи в год и полное возмещение всех расходов. Вот тебе!

— Бог ты мой, неужели все начинается снова? Надо будет разузнать. Кстати, внизу старик Тальгарт. Я говорил с ним.

— С ним невозможно говорить, — отозвался дядя Родней. — Совершенный безумец. Четвертая печать и так далее?

— Он говорит, что мы попали в ад. И я должен сказать, что в последнее время были моменты, когда я мог бы с ним согласиться. Тальгарт считает, что мы уничтожим друг друга.

— Чепуха! Скорее расплодимся, как кролики. Вот увидишь. Мы уничтожим, — строго говоря, уже уничтожили, — жизнь, достойную этого имени. Будут только фабрики, машины и солодовое молоко... Ты будешь передвигаться со скоростью четырехсот миль в час, но только в этом будет мало смысла, потому что там, куда ты приедешь, жизнь окажется такой же идиотской и тоскливой, как и там, откуда ты выехал. А вообще американцы позаботятся обо всем, что человеку надо. Если тебе не улыбается конференция цементной промышленности, ты сможешь поехать на состязания танцоров — исполнителей «Джиттербога» в Лос-Анжелосе или на конкурс лодыжек продавщиц готового платья в Нью-Йорке.

— Вы бы поехали на конкурс лодыжек, — усмехнулся Алан.

— Конечно, — отпарировал старый джентльмен, — но только в том случае, если бы знал, что в тамошних лодыжках кроется какая-то доля подлинной индивидуальности, какая-то доля женской грации, огня и дьявольщины. Но не когда все низводится к одной и той же дурацкой полоумной безвкусице.

— Послушайте, — серьезно сказал Алан, — как по-вашему, я менее интересный человек, чем были вы в моем возрасте? Как у меня — меньше характера, индивидуальности и всего такого прочего?

— Безусловно, — ответил дядя Родней. — Ты не знал меня, когда я был в твоем возрасте, так что я прощаю тебе подобный вопрос. Ты, конечно, славный паренек, храбрый, как лев, очень развитой и все такое. Но никто из моего поколения не скажет, что ты человек красочный, что в тебе много огня и ярко выражена индивидуальность. Ничего подобного. Они скажут, как говорю и я, что ты человек положительный, вполне приличный, но скучноватый.

— Вот как! Чорт подери! — негодующе посмотрел на дядю Алан. — Но вы же ничего не знаете обо мне. Вы не знаете, чем и как я на самом деле живу. И если я прихожу сюда и вежливо выслушиваю...

— Мои глупости...

— Да, ваши глупости.. И это действительно глупости, дядя. Я могу вдребезги разбить все ваши утверждения.

— Но ты этого не сделал, — спокойно сказал дядя, — что очень показательно. Нет, нет, не начинай сейчас. Да и времени нет, если ты собрался обедать в Харнворте. Хватит на сегодня и не забудь завтра рассказать мне об этом Дарральде.

Ни один молодой человек с искоркой не захочет, чтобы его считали положительным, вполне приличным, скучноватым! Алан спустился вниз, возмущенный этой характеристикой. Правда, дядя Родней чудовищный старый позер, с мнением которого считаться нечего, но Алан не мог отделаться от чувства оскорбленного самолюбия. Скучноватый!

— Послушай, Джеральд, ты меня считаешь скучноватым? — спросил он, как только машина вышла за ворота. Джеральд сидел за рулем, Алан расположился рядом с ним.

— Нет, старина, не считаю, — ответил Джеральд. — Я бы сказал, что ты парень чудаковатый, это да. И всегда был таким. Взять хотя бы твой отказ от офицерского чина. А потом носить этот дурацкий костюм, ты и сейчас в нем, кажется? Ну и все эти твои писания...

— Они немного стоили.

— Вот именно. Я же тебе в свое время говорил. Но ты упорствовал. А вскоре у тебя будет какая-нибудь новая затея. Живопись или что-нибудь еще...

— Положительный, вполне приличный, скучноватый — вот кто я такой, Джерри!

— Никогда не слышал, чтобы о ком-нибудь так по-свински отзывались, — пробурчал Джеральд. — Едва ли можно назвать тебя вполне приличным. Ты совсем не положительный. И повторяю, не скучноватый. Они вероятно думали обо мне, а не о тебе, мой мальчик. Я действительно вполне приличен, положителен и, зачастую, чертовски скучен. Кстати, мать считает, что ты должен обработать Дарральда.

— Произвести на него хорошее впечатление?

— Вот именно, старина. Я же намерен произвести впечатление на его кушанья и напитки. Говорят, у него это дело хорошо поставлено, значительно лучше, чем у нас в Сузнсфорде.

— О чем ты говоришь, Джеральд? — наклонилась к ним его жена.

— Надеюсь, что Дарральд угостит нас хорошим обедом, — проревел Джеральд.

— Ты говорил что-то другое.

— Но подразумевал это. Кто-то сказал Алану, что он скучный парень.

— Глупости! — воскликнула леди Стрит. — Кто это тебе сказал, дорогой? Мне кажется, лорд Дарральд любит занятных людей, но будь я на твоем месте, дорогой, я бы вела себя сегодня вечером осторожно. Узнай его сначала поближе.

— Возможно, я и не захочу узнавать его поближе, мама, — попробовал Алан перекричать шум машины. — И мне не очень хочется быть сегодня вечером осторожным.

— Я бы перешел на другую тему, старина, — пробурчал Джеральд. — Эта — опасна и ни к чему хорошему не приведет... Смотри-ка, машина Саусэма. Тоже вероятно едет в Харнворт. Кто это с ним? За рулем. Бетти, что ли? Ты бы посмотрел.

— Бетти меня не интересует, — ответил Алан.

— Ну, и меня она сейчас не будет интересовать. Я его просто обгоню, Саусэма. Так будет безопаснее для всех. Готово. А теперь в Харнворт. Бокал, другой перед обедом не повредит, а?

Напитки, в том числе замечательные розовые коктейли, ожидали их в библиотеке, очень красивой продолговатой комнате в стиле XVIII века, где стояла благородная мебель красного дерева и виднелись бесчисленные ряды старинных кожаных переплетов. Стриты приехали раньше лорда Дарральда и его лондонских гостей, приглашенных на «уик-энд». Это дало Алану возможность говорить с Бетти Саусэм, о которой доложили под странным именем миссис Илминстер.

— Я вас сначала даже не узнала, Алан, — сказала она, улыбаясь своей загадочной глуповатой улыбкой. — Я вас приняла за одного из этих унылых секретарей лорда Дарральда. Интересно, почему вы показались мне унылым? Вы вовсе не унылый, никогда не были и никогда не будете. Но что-то изменило вашу внешность. Что?

— Армейская стрижка. Костюм. Быть может мое настроение... Еще бокал?..

— Не откажусь. А как я? Какой я вам показалась?

— Такой же, как и прежде. Красивой, чуть загадочной. Какой-то неземной.

— Наоборот, моя беда в том, что я слишком земная. Вы говорите то же, что говорили всегда. Как вы меня раньше называли?

— Ундиной. Тогда я был очень молод. Так что выпустим это название, — сказал Алан, продолжая разглядывать ее. — Но я знаю, что я подразумевал. Дело в овале вашего лица, Бетти, в расположении ваших глаз, широко расставленных и немного раскосых, в широком порочном рте и изломе губ. И к этому бледная маска. И длинная шея — очень красивая шея Бетти. Да, все тот же облик — молодой ведьмы, морской богини, Наяды, бело-золотой феи, дочери короля гномов...

— Алан! Теперь я понимаю! Мне вас все время недоставало! Никто, кроме вас, со мной так не говорил.

— Никто и не имеет права говорить с вами так, миссис Илминстер. За исключением, конечно, мистера Илминстера. Как он выглядит, Бетти?

— Широкоплечий, богатый, моряк. Капитан 2 ранга, прошу иметь в виду.

— Чем он командует?

— Эсминцем где-то в Тихом океане. А вы только что вернулись? Женаты или что-нибудь в этом роде?

— Нет.

Держа бокал у самого лица, она подмигнула ему. Бетти была волшебным созданием... когда спала, и притом вы держались на почтительном расстоянии от нее.

— Слава богу! А я уже думала, что вас зацапала какая-нибудь особа вроде жены Джеральда. Она считает меня отравой, хотя богу известно, что я не имею ни малейших видов на беднягу Джеральда. Я чуть не столетие прожила около Портсмута, угощая розовым джином десятки добродушных парней вроде Джеральда. Боб всех их знает. Ну ладно, бросим это. Я уверен, что теперь будет весело.

— Весело? — недоумевающе переспросил Алан — Ваше замечание, надеюсь, не относится к этому обеду?

— Конечно, нет. Обед будет вроде похорон. Очень обидно, что нельзя ускользнуть в какой-нибудь кабачок и там спокойно напиться. Вы могли бы тогда рассказать мне все обо мне. Когда вы порядком напьетесь, у вас это чудесно выходит. Вот чего мне нехватало все время с этими добродушными увальнями.

— Может быть и я стал теперь таким же добродушным увальнем.

— Не глупите, дорогой. Выпьем быстренько по бокалу, пока еще не началось представление гостей и прочая чепуха.

Времени хватило как раз на третий бокал. Бокалы были большие, коктейли — крепкие.

Приехали лорд Дарральд и лондонские гости. Алан представлял Дарральда другим. Он ожидал встретить грубого, массивного бандита с красной шеей. Дарральд же оказался невысоким и совсем не полным человеком. Было в нем что-то выцветшее и сухое, и он показался Алану похожим на могущественного князя церкви в штатском. Лорд Дарральд обошел всех и добросовестно пожимал руки, бросая на каждого испытующий взгляд, словно проверял караул, после чего следовала медленно расплывающаяся улыбка. Улыбка была самой приятной его чертой. Самой неприятной, решил Алан, была его манера говорить — его голос и стиль речи. Он говорил отрывисто, короткими фразами, с поддельным американским акцентом, как не особенно хороший английский актер, который пытается изобразить редактора отдела хроники из чикагской газеты.

Лорд Дарральд привез с собой четырех гостей и своего секретаря — осторожного мужчину средних лет по фамилии Ньюби. Приехала миссис Пентерлэнд, считавшаяся, повидимому, знаменитой красавицей. Крупная выхоленная блондинка, она действительно была по-своему красива, но Алан воспринимал ее скорее как красивый исторический монумент, чем как живого человека. Казалось, что она открыта для обозрения в будни с десяти утра до наступления темноты, а по воскресеньям с 2 часов 30 минут до наступления темноты, входная плата шесть пенсов и столько же стоит маленький путеводитель. Она почти не говорила, но непрерывно дарила окружающих неопределенной улыбкой. Вторая дама оказалась в совершенно другом роде. Это была худая, темноволосая, мужеподобная особа, которая говорила, не закрывая рта. Ее звали Билли Аррэн. Ни Алан, ни Бетти никогда о ней не слышали, но, повидимому, предполагалось, что они должны ее отлично знать. Судя по ней, сама она бывала всюду и знала всех. Двое мужчин так же резко отличались друг от друга. Один из них, сэр Томас Стэнфорд-Райверс, деятель консервативной партии, был розовый, мягкий и нежный, как мятный крем. На каком-то, более раннем, этапе своей успешной карьеры сэр Томас очевидно решил, что он должен подмигивать. Теперь глаза его только и делали, что подмигивали... У второго мужчины глаза не подмигивали, а щурились и бегали. Это был Дон-Мэркинч, один из директоров-распорядителей Дарральда, газетчик высокого давления в американском стиле, весь состоящий из сигарет и нервов, ронявший пепел на еду и питавшийся попеременно вероналом и строфантом. По крайней мере такое впечатление он произвел на Алана, недоумевавшего, как сможет этот человек прожить здесь два дня без войны, революции или нового плана рекламы...

Но тут Алан почувствовал, что немного пьян. Три бокала непривычно крепкого коктейля на пустой желудок, встреча с Бетти и эта атмосфера «большого приема» были повинны в том, что у него начала кружиться голова. Алан находился в таком состоянии, когда в любой момент жизнь может показаться полной радужных обещаний или просто невыносимой.

Со стен столовой портреты XVIII века искоса смотрели на него и обретали таинственное значение. Ньюби, безупречный секретарь, ловко рассадил всех за столом, и Алан оказался сидящим между Бетти (что отнюдь не было случайным совпадением) и гальванизированным скелетом газетного мира — Мэркинчем. За столом прислуживали величественный дворецкий — это мог быть и актер, приглашенный для исполнения роли из театра, — и три широкоскулых горничных-иностранки. Блюда были такие, каких Алан не видел уже много лет. Он пил кларет. Бетти пила шампанское. Мэркинч, повидимому, вместо

обеда довольствовался минеральной водой, белыми таблетками и сигаретами.

— Как вы себя чувствуете, дорогой? — спросила Бетти.

— Немного странно, — ответил Алан. — Эти два портрета как-то участвуют в игре, но в чем дело — я еще не разобрал.

— Не мелите вздор. Говорите обо мне. Это вы делаете лучше всего, и я ощущаю в этом острую потребность.

— Не теперь и не здесь. Похоже на то, что моя мать пытается заинтересовать Дарральда моей особой. Я перехватил его взгляд.

— Конечно. А вы сомневались?

— Это ни к чему. Я против.

— Вы идиот. Лучше посмотрите на миссис Пентерлэнд, которая улыбается неизвестно почему. Секрет в том, что она слепа, как летучая мышь, а носить очки не хочет.

— И правильно делает. С равным успехом можно нацепить очки на национальную галлерею.

Бетти засмеялась. В это время к ней обратился сэр Томас Стэнфорд-Райверс, сидевший напротив, Алану теперь не с кем было говорить, так как Мэркинч обменивался быстрыми репликами с Билли Аррэн. Эта пара завладела разговором на своем конце стола. Разговор был, конечно, только для посвященных. Имена (даже без фамилий) или прозвища виднейших деятелей. Лондон, Вашингтон, Москва, Чунцин. Нью-Йорк, Париж, Рим. Век авиации, мировые масштабы. Расстояний не существует. И Алан почувствовал себя отодвинутым на свое место, он стал одним из сотен миллионов, которые смотрят невеселыми глазами и думают, что же будет дальше. Он взглянул через стол на Джеральда, которому здесь все явно нравилось — и еда, и напитки, и великосветскость, и у которого был еще более тяжеловесный и еще более невинный вид, чем всегда. Добрый славный Джеральд! Но, черт возьми, кто же такие были Мэркинч и Билли Аррэн, что они все знали? Почему этого не знали Герберт Кенфорд, и Эдди Мольд, и девушка из кабачка в Лэмбюри, та самая, что работала на авиазаводе и так ожесточенно нападала на Герберта, и, наконец, он сам — Алан Стрит?

Но тут Мэркинч повернулся к нему.

— Простите, не расслышал вашей фамилии.

У него был хриплый, усталый голос.

— Стрит. Моя мать говорит сейчас с лордом Дарральдом. А это мой брат. Мы живем неподалеку. В Суэнсфорде.

— Местная аристократия?

— Никогда не мог понять, что означает этот термин? — отозвался Алан. — Впрочем, полагаю, что вы можете нас так называть.

— Я родился в Ливерпуле, — сказал Мэркинч. — Недалеко от Скотлэнд Род. Жуткие трущобы. Ушел из школы, когда мне было тринадцать. А эти чревовещатели из лейбористской партии утверждают, что в нашей стране нельзя подняться наверх, если вы не принадлежите к правящей верхушке. Взгляните на меня: из самых низов!

— Понимаю, — ответил Алан.

— Они не знают, о чем говорят. Любой человек, неважно какого он происхождения, может подняться у нас наверх, если только он хочет.

— И готов заплатить надлежащую цену, — докончил Алан, который не мог понять, почему он должен выслушивать поучения этого газетчика.

— Какую цену? — подозрительно спросил Мэркинч.

— Ту, которую назначают за места на верхах. Не знаю, что это стоит. Я ведь не на верхах. Я даже и не на полпути.

— Чем вы занимаетесь?

— Только что демобилизовался. Так что пока ничем не занимаюсь — разве что валяюсь до полудня в постели.

Энн, сидевшая по другую сторону Мэркинча, наклонилась к ним.

— Он не хотел никакого другого чина, кроме сержанта. Был в пехоте, прошел насквозь всю Северную Африку, Сицилию, Нормандию и так далее. И он...

— Хватит, Энн, — остановил ее Алан. — Никого это не интересует.

— Вы ошибаетесь, — сказал Мэркинч. — Меня это интересует. А почему, скажу позже.

Ему пришлось прервать разговор, так как Билли Аррэн визгливо требовала, чтобы он подтвердил что-то, только что высказанное ею. Через мгновение пара снова погрузилась в переброску фразами для посвященных.

— Бог мой, надо было слышать премьера, когда Мучи принял это сообщение из Вашингтона!..

И так далее в том же роде...

Алан отказался от портвейна, но согласился выпить коньяку. Выпила коньяку и Бетти.

— Как дела, Алан? — вполголоса проговорила она.

Он слегка нагнулся к ней.

— Боюсь, что это на мне плохо скажется, — прошептал он. — Прежде я, как вы помните, был очень добродушен в пьяном виде, а сейчас, кажется, превращаюсь в сварливого, агрессивного типа.

— Жаль, — прошептала Бетти. Она тихонько протянула руку и больно ущипнула Алана за мизинец.

— Когда же мы будем говорить обо мне?

— А зачем? В былые дни, когда я заговаривал вас до потери сознания, вы очень скоро начинали зевать.

— Только не тогда, когда речь шла обо мне. Помимо того, я теперь изменилась. Стала старше. И несколько лет имела де-

ло с добродушными увальнями, которые разговаривать по-человечески не умеют. А женщине нужно, чтобы с ней разговаривали, чтобы ее уговаривали.

Она сделала движение своей изумительной длинной шеей и серьезно посмотрела на Алана.

— Не пытайтесь уверить меня, что в армии вы огрубели и стали человеком действия и считанных слов. Не пытайтесь меня уверить, дорогой.

— Хорошо, не буду. Ваш отец следит за вами, Бетти. Он вероятно думает, что вы пьяны.

Бетти сверкнула в сторону отца блестящей улыбкой. И затем прошептала:

— Нет, он не думает. Вся штука в том, что он скорее всего сам напился. Отец не может забыть Мориса. Бедному старикану нельзя много пить. У него очень высокое кровяное давление. А он еще все время горячится. Ему достаточно малейшего повода. Едем мы, например, вчера днем. Он останавливается, чтобы поговорить с сыном Кенфорда — нудным молодым человеком с вытянутым лицом и длинным носом.

— Герберт Кенфорд! — воскликнул Алан с тем радостным чувством, какое бывает, когда два мира внезапно наплывают один на другой. — Мы вместе были в армии. Это мой большой друг.

— Гм, очевидно и вы становитесь нудным, дорогой. Придется принять против этого меры. Так вот, этот самый Кенфорд стоял на своем, — они говорили, кажется, о политике, — и папа немедленно пришел в бешенство. Я невольно расхохоталась. Но потом было не до смеха, так как он несколько часов не мог успокоиться. И ничего сделать нельзя — всегда что-нибудь есть, не одно, так другое. Ведь это ужасно, а, Алан? Скажите, что это ужасно.

— Это ужасно. Смотрите, дамы поднимаются.

— А чтоб их... Теперь начнется дамская канитель. Не оставайтесь за столом слишком долго.

Наблюдая, как она изящно выплывала из комнаты вместе с остальными дамами, Алан почувствовал внезапную и необъяснимую боль в сердце. Нет, он ни чуточки не был влюблен в нее. Все давным давно кончилось. Но Бетти все еще была изумительным образом любви, воплощавшим контуры и краски былого очарования, и вместе с ней уходила как бы вся прелесть жизни. Мужчины, оставшиеся за столом, казались неуклюжими, тяжелыми чурбанами. По приглашению хозяина, Алан с мрачным видом пересел к нему. Он принял предложенную рюмку коньяку, но отказался от сигары. Вместо того, он закурил свою трубку.

Лорд Дарральд испытующе взглянул на него, затем медленно улыбнулся. Думает, что я еще совсем желторотый, — мелькнуло в голове у Алана, которому, впрочем, было все равно, что думает о нем лорд Дарральд. Он приготовился к новой порции закулисных новостей и разговоров «не для печати», новой дозе кличек великих мира сего, новой серии завтрашних заголовков и передовиц ближайшего воскресенья. Сэр Томас Стэнфорд-Райверс пересел к полковнику Саусэму и Джеральду. Ньюби исчез — вероятно, к дамам. Алан живо представлял себе, как он осторожно сплетничает с ними Дон Мэркинч, рядом с Аланом, дергался и кашлял. Алан был теперь вклинен между великим человеком и одним из его ближайших приспешников.

— Послушайте, Дон, — отрывисто проговорил лорд Дарральд. — Сей молодой человек только что демобилизовался. В армии был рядовым. Что вы на это скажете?

— Только что сам собирался вам об этом сказать, хозяин, — ответил Мэркинч. — И хочу с ним побеседовать. В виде пробы.

Дарральд кивнул и сквозь дым сигары посмотрел на Алана. На лице его медленно появилась улыбка.

— Ну, так как же, Стрит? Можете нам что-нибудь рассказать? Человеку вашего круга, жившему среди солдат, есть немало чем поделиться с нами. И не только с нами, но и с читателями, если это можно им рассказать. Как по-вашему, Дон?

— Моя мысль, — отозвался Мэркинч, — Послушайте, мистер Стрит. О чем они думают? О чем говорят? Чего хотят эти парни, возвращающиеся теперь по домам?

Дарральд кивнул и снова улыбнулся.

— Выкладывайте, молодой человек. Аудитория слушает вас. Лучшей — вы не можете и желать.

Алан все еще не мог решиться. Эти двое думают, вероятно, что он застенчив. Он, конечно, застенчив, но совсем не так, как они это понимают. В данный момент и именно с ними Алан просто не хотел говорить на эту тему. Они не видели того, что видел он, не переживали того, что переживал он. У Алана было большое желание сказать что-нибудь очень короткое и очень резкое. Но он был в гостях, приходилось с этим считаться.

— Знаете, так сразу и не скажешь, — медленно начал он. Из разговоров с большинством парней, получалось впечатление, что они — апатичны, и довольно циничны в своих рассуждениях. Просто рады вернуться домой. Они говорили, что многого не ждут; хорошо уже, что не будет никаких смотров, будет уютная жизнь на Большой земле, будут рядом жена, дети, а то и любимая девушка — словом, как полагается. Ест и все, что они говорили. Но, понимаете, они не высказывают вслух свои настоящие мысли и чувства. Во всяком случае, большинство. Я не говорю — все. — Алан остановился и посмотрел по очереди на своих слушателей: нет ли каких вопросов?

— Продолжайте, — сказал лорд Дар-

ральд. — Это интересно. Только не очень растягивайте.

— Я и не собираюсь, — ответил Алан, сразу меняя тон. Хотят короче, будет короче. Посмотрим, как это им понравится.— Так вот, в глубине души большинство этих парней ожидает, что произойдет нечто чудесное, что начнется новая жизнь. И если этого не случится, тогда начнется веселье.

Как реагировал на эти слова Мэркинч, Алан не знал, его внимание было поглощено лордом Дарральдом, принявшим их очень спокойно.

— Какое веселье? — спросил Дарральд.

— Не знаю, — ответил Алан с оттенком раздражения. — И никто не знает. Они сами не знают. Они едва ли даже знают, что ожидают чудес. Но они ждут их.

— И рассчитывают, что им подадут их на блюде? — вставил Мэркинч.

— Конечно, — проговорил Алан. — Их этому учили или, по крайней мере, к этому поощряли: «Вы, ребята, воюйте, а мы сделаем все остальное». Такая проводилась линия, не правда ли, все время после Дюнкерка. Ну что ж, они воевали до конца.

— Одну минуту, — прервал его Мэркинч. — Понимают ли они, в каком положении находится сейчас страна?

— Затянитесь, Дон! — сказал лорд Дарральд в лучшем американском стиле. — Нечего сейчас вдаваться в это. Продолжайте, Стрит.

— Продолжать? Я кончил. Я сказал вам, что думаю.

— Вы нам пока еще ничего не сказали.

— Ну, значит, мне нечего вам сказать.

— Хозяин, — вмешался Мэркинч, также любивший показать себя американцем. — Он над нами смеется.

— Похоже на то.

— Могу добавить лишь одно, — сказал Алан, — в последнее время много говорили о конце прошлой войны. Я слишком молод, чтобы знать это по собственному опыту, но я беседовал с людьми, которые помнят то время, и я пришел к выводу, что сходство между людьми прошлой и людьми этой войны только поверхностное. Есть вполне реальная и весьма существенная разница.

— Заключающаяся в том, что... — подсказал его милость.

— Как только они поймут, что их ждет разочарование, что самые сокровенные их надежды,— а то, что они сокровенные, очень важно, — не оправдались, наши парни не ограничатся только угрозами, как то было в начале двадцатых годов, но перейдут к делу. Они становятся нетерпеливыми. И в этой войне они видели гораздо больше, чем их предшественники — в прошлой.

— Гораздо больше — чего? Боев?

— Нет. Белого света, и того, что на нем делается. Квислингов. Черную биржу. Реакционные банды. Движение сопротивления. Многие сами разобрались в том, кто любит гитлеровцев, а кто их не любит. Курс наглядного обучения,— добавил Алан.

— И прекрасно. Ничего не имеем против, — сказал Мэркинч.

Лорд Дарральд поднял руку. Он окинул Алана своим испытующим взглядом, но на этот раз задержал на нем взгляд значительно дольше. В конце концов появилась и медленная улыбка, но Алану пришлось дожидаться ее. Несмотря на то, что старый коньяк переливался огнем в его жилах, Алан почувствовал себя зеленым, беспомощным юношей, а лорд Дарральд показался ему необычайно могущественным, чем-то вроде императора. Где-то были легионы, ожидавшие только его приказа, чтобы выступить в поход. Это был уже не богач, купивший Харнворт и желавший познакомиться с местным обществом. Это было олицетворение власти.

— Послушайте, Стрит. Вы рассказали нам очень немного и кругом ошибаетесь. Эти парни не затеют волнений. Будет спокойнее, чем в прошлый раз. Тогда поднимали шум тред-юнионы. Но всеобщая забастовка показала, что это блеф. Теперь они стали умнее. Они в полном порядке. С ними забот не будет. Что же касается ваших ребят, которые чего-то ждут, то я знаю, что им нужно. Они хотят развлечений. И я их не осуждаю. Нужно, чтоб им было куда пойти. Собачьи бега, дешевые пари, футбол, сколько влезет, лучшие фильмы, хорошие ресторанчики, где можно выпить и закусить и куда можно взять жену, поездки в отпуск. Мы сейчас ведем за это кампанию, не так ли, Дон?

— И еще какую! — отозвался Мэркинч.— И она встречает живейший отклик.

— Они хотят большего, — сказал Алан. Настроение у него упало. Уверенный в себе молодой боец, решивший сказать несколько поучительных слов этому старикашке, исчез.

— Да-а, постоянной работы, обеспеченного заработка, — спокойно пояснил лорд Дарральд. — И жилищ, которые мы будем строить, когда сможем. Вот и все. Мы это знаем.

Алану пришлось сделать над собой усилие.

— Простите, никак не могу согласиться. Это не все. Они сами точно не знают, чего хотят, но во всяком случае хотят больше, чем хлеба и зрелищ.

— Еще коньяку, — предложил лорд Дарральд. — Прекрасная марка. Могу поручиться за качество... А теперь, Стрит, я вам скажу, в чем ваша ошибка. Стыдиться ее нечего. Мы все делали такую же ошибку, пока у нас не было опыта. Вы видите, что эти парни чего-то хотят, а чего собственно, они и сами не знают. И вы вкладываете в них свои мысли. А отсюда вывод, что они хотят того же, что хотите вы.

— Не в бровь, а в глаз, хозяин! — воскликнул Мэркинч.

– Мы не можем пойти на это, – продолжал лорд Дарральд. – Мы торгуем газетами. А значит не можем морочить сами себя. И вот вам факты: «Дейли Газетт» расходится ежедневно в тираже, вдвое большем, чем любая другая распространенная газета, и в десять раз большем, чем газеты того типа, которые вам нравятся. То же и «Санди Сэн». Вот вам ответ. Мы говорим им, что они хотят. Мы ведем большую кампанию, чтобы добиться этого для них, мы хотим, чтобы они тоже имели свои удовольствия. Никаких волнений не будет. Волноваться станет только обычная кучка. И мы можем доказать, что эта кучка стоит поперек дороги парням, заслужившим право на постоянный труд и разумные развлечения. Да ну же, будет вам киснуть, молодой человек!

– Простите! Не знал, что произвожу такое впечатление, – Алан выпил коньяк.

– Ваша мать рассказала мне, что до войны вы немного пописывали. Что вы теперь собираетесь делать?

Алан ответил, что не знает.

– Я работал в конторе по покупке и продаже недвижимостей. Но возвращаться туда не собираюсь.

– И правильно делаете. Там вам не место. Скажу вам, что сделаю я. Слушайте и вы, Дон. Я беру вас в «Газетт» в качестве специального корреспондента. Очерки – за вашей подписью. Будете беседовать с ребятами, вернувшимися, как и вы, из армии, выяснять, чего они хотят. Вы будете им объяснять, что мы стараемся для них сделать, и если это именно то, чего они хотят, они так и скажут.

– А если не то? – спросил Алан.

Дарральд усмехнулся.

– Думаете, меня поймать? Вы рассказываете им, что мы стараемся для них сделать, и если это не то, чего они хотят, и они прямо так и скажут, – что ж, мы напечатаем. Поняли? Вы удивлены, не правда ли? Таково мое предложение. Дон договорится с вами об оплате. Это его дело.

Он резко повернулся всем телом в другую сторону, полностью разделавшись с Аланом.

– Том, – обратился он к Стэнфорд-Райверсу. – Идите-ка сюда. Сегодня утром в палате я слышал забавный анекдот.

Дон Мэркинч отвел Алана в сторону, чтобы за столом их не слышали.

– Таков наш хозяин, – начал он с какой-то мрачной гордостью. – Такой случай может выпасть раз в полгода. Очевидно, он хорошо себя чувствует сегодня. Приехал отдохнуть на лоне природы. Хотел бы и я когда-нибудь отдохнуть... Но к делу. Через минуту мне нужно звонить в редакцию. Мы платим вам 35 фунтов в неделю и возмещаем расходы. Вам придется поездить. Об этом вы подробно договоритесь с Фэрли в редакции. На выполнение задания вам дается три месяца. Если мы вас оставим по истечении этого срока, – а я уже предвижу другие задания, – будете получать денег не меньше, а легко может случиться, что и больше. Явитесь в середине будущей недели. Что скажете?

Алан не знал, что ответить. Он чувствовал опьянение. Пулеметный стиль Мэркинча действовал на него оглушающе. Впечатление всемогущества, произведенное на него лордом Дарральдом, еще не рассеялось. От одной мысли, что он сможет зарабатывать такую кучу денег, у него поднялось настроение. Но, наряду с приподнятостью, был тяжелый туман в голове, предвестие тошноты и беспомощности, точно дождливая ночь окружала фейерверк и готова была его загасить. А разобраться во всем у него не было времени, так как вот здесь в углу стоял Мэркинч, который, мигая и подергиваясь, нетерпеливо ждал ответа.

– Так что вы скажете, а?

– Очень вам благодарен, – пробормотал Алан. – Но мне надо подумать. Могу я сообщить ответ позднее?

Мэркинч сделал гримасу.

– Мы любим работать быстро. Так вот, я уезжаю завтра днем. Можете мне сюда позвонить.

Едва Алан появился в гостиной, мать быстрым незаметным знаком подозвала его.

– Он что-нибудь сказал тебе? – прошептала леди Стрит.

Алан не пытался скрыть досаду.

– Да, расскажу потом...

Леди Стрит попробовала прочесть новости на его лице, решила, что все прошло благополучно, и, словно маленький маяк, обвела комнату лучом сияющего взгляда.

– Мы должны скоро ехать. Где вы оставили лорда Дарральда, мужчины?

– Он и этот Мэркинч, один из его подручных, вероятно звонят сейчас в Тегеран и Сан-Франциско, – сказал Алан.

Он осмотрелся по сторонам и обнаружил Бетти, которой Джеральд втолковывал что-то скучное. Она была похожа на сказочную деву под вечно-цветущей яблоней, но тотчас же испортила впечатление, подмигнув Алану.

– Тебе понравился прием, дорогой? – спросила мать. – Доволен, что приехал?

Понравился ли ему прием? Второй вопрос он оставил без ответа, чтобы лучше обдумать его.

– О да, очень шикарно.

– Кажется, Энн начинает беспокоиться. Как только придет лорд Дарральд, – честное слово, он мог бы найти другое время для своих телефонных разговоров, – мы поедем.

Двадцатью минутами позже они медленно спускались по большим каменным ступеням, которые вели к площадке, где стояли машины. Где-то была луна и над холмами сверкали звезды, но здесь над домом висели тучи, а на террасе уезжающих обступила ночь, темная, холод-

ная, хотя и пахнущая весной. Вокруг раскинулся парк, за которым следили по меньшей мере двадцать первоклассных специалистов. Не удивительно, что здесь так ощущалось древнее колдовство.

Джеральд и полковник Саусэм возились с машинами. Леди Стрит и Энн успели уже глубоко погрузиться в обсуждение подробностей приема.

— Послушайте, — тихо сказала Бетти, увлекая Алана за вполне подходящий угол здания. — Помните, я вам подмигнула? Что вы подумали обо мне тогда?

Он обнял ее, крепко прижал к себе — восхитительный комочек! — и жадно поцеловал.

— Не сейчас, скажу потом.

— Хорошо, — быстро проговорила она.— Приезжайте завтра, часам к двум. Вы мне все расскажете. Мы будем вдвоем. Папы не будет весь день. Я должна скоро уехать. И я действительно уеду и, если вы не явитесь завтра, вы не увидите меня целую вечность.

— Приеду, — сказал Алан, полный сладостного волнения.

Они скользнули обратно и присоединились к остальным. Машины уже ждали их.

— Неплохой вечерок, старина, — заметил Джеральд, выезжая из парка вслед за машиной Саусэмов.

Алан посмотрел на пляшущий красный глазок, шедший впереди машины.

— Неплохой вечерок, — согласился он. Усевшись поглубже, Алан постарался сосредоточить свои мысли. Но думать оказалось трудным делом.

6

Герберт заглянул в кухню.

— Я еду в Лэмбюри, — сказал он матери. — Вам ничего там не нужно?

— Кое-какие мелочи, — ответила миссис Кенфорд, — А зачем ты едешь?

— Отец просил. Несколько небольших поручений.

— А!.. — она не сумела скрыть свое облегчение. — Значит не по своим делам. Герберт?

Герберт сделал вид, что не заметил ее беспокойства.

— Нет, по отцовским. Почему ты спрашиваешь?

Миссис Кенфорд улыбнулась.

— Я боялась, что ты хочешь повидаться с какой-нибудь девушкой.

Даже самому себе он не признался в этом, тем более не собирался признаваться ей. Но он снова имел возможность убедиться в существовании такой вещи, как женская интуиция.

— Вы забыли, мама, что я не был здесь несколько лет. Я же никого теперь не знаю в Лэмбюри. А еще девушек... откуда вы взяли?

— Я ничего не говорю, — спокойно ответила миссис Кенфорд. — Но Эдна вчера мне сказала, что по ее мнению у тебя там кто-то есть.

Вот тебе раз! Еще и Эдна! Охватывающее движение с обоих флангов.

— Она сама не знает, что говорит, — ответил он немного резко.

— Зато я знаю, о чем я говорю, — заметила миссис Кенфорд, окинув его проницательным взглядом. — И вот что я тебе скажу, Герберт. Хотя я тебя вчера оправдывала перед отцом и другими, но я не считаю, что это было хорошо, когда ты вдруг встал и ушел из-за стола.

— Я же объяснил...

— Да, я знаю. И я так же объяснила. Но это дела не меняет, Герберт.

И она снова бросила на сына испытующий взгляд.

Можно ли объяснить ей то, что он вчера чувствовал? Нет, момент был неподходящий. Кроме того, скоро отходил автобус.

— Послушайте, мама, мне нужно двигаться, иначе я опоздаю на автобус. Так есть у вас поручения?

— Собственно говоря, нет. — Она улыбнулась, словно у нее переменилось настроение. — Поезжай и можешь не возвращаться к ужину, если не захочешь. Сходи в кино. Я бы сама пошла В Лэмбюри теперь отличный кино-театр. И по пятницам есть кажется ночной автобус. Развлекайся, Герберт.

Он сразу почувствовал огромное, необъяснимое облегчение, которое мужчина чувствует, когда внезапно освобождается от зонда женской интуиции.

— Постараюсь, мама! — крикнул Герберт и поспешил к дверям.

В маленькой группке, ожидавшей автобус на перекрестке, стоял Пеллит, парень, который любил слышать собственный голос.

— Алло, Герберт! Не знал, что ты вернулся.

— Вернулся, — ответил Герберт, которому вовсе не улыбалось слушать Пеллита всю дорогу до самого Лэмбюри.

— Вот так штука, — проговорил Пеллит. — Послушай, ведь Эдди Мольд был вместе с тобой?

— Да. Вместе вернулись. А что такое?

— Разоряется малость, вот что, — ответил Пеллит.

Герберт заинтересовался.

— Непохоже на Эдди. Не раз видел его в передрягах. Скромный, тихий парень. Если, конечно, никто его не заденет и он не выйдет из себя. И в таком виде видал его разок-другой, — медленно продолжал Герберт. — Задирам это приходилось совсем не по вкусу. Что нибудь произошло?

— Был вчера вечером в «Солнце».— Тотчас приступил к объяснениям Пеллит. — Наконец-то автобус. Расскажу, когда сядем.

Автобус оказался переполненным, и им пришлось стоять. Но это не отразилось на Пеллите, который вслед за Гербертом про-

толкался между корзин и полных женских колен и затем качался и подпрыгивал бок-о-бок с ним.

— Так вот, был я вчера вечером в «Солнце», — прокричал он с таинственным видом. — Джордж Фишер — ты помнишь Джорджа? — увидел Эдди как раз, когда тот уходил. Оба были на взводе. Джордж говорит: «Кого я вижу? Старина Эдди!» Ну, и все прочее, очень добродушно, ну, немножко фасоня по своему обыкновению. А Эдди и говорит ему, чтобы он отстал, да так пхнул его, что тот чуть не упал замертво, и перевернул весь бар. Я даже подумал, что начнется драка. У Эдди был такой вид, словно он собирался кого-нибудь отправить на тот свет — ты можешь легко себе представить на что он был похож, тогда подошел Джо Финч, — он держит теперь «Солнце», — и попросил Эдди уйти. Эдди сказал ему несколько теплых слов и ушел. И я не огорчился.

Автобус гремел и качался. Разговаривать было трудно. Но Герберт постарался придвинуться к Пеллиту еще ближе и спросить его, не крича:

— Эдди был с женой?

Пеллит ехидно ухмыльнулся.

— Нет, ее не было. О ней и некоторых других говорят всякое. Думаю, что и до Эдди кое-что дошло. Он просидел в углу один часа два и пил, — плохой признак, правда? — и он легко мог слышать всякие разговоры, потому что в «Солнце» не слишком следят за своими словами.

— Словами о чем?

Пеллит подмигнул и осклабился, но минуту-другую не проронил ни слова, так как автобус бешено мчался вперед, и говорить было просто невозможно. Потом автобус остановился, предоставив Пеллиту долгожданную возможность.

— Ты же знаешь, что здесь стояли некоторое время янки, — сказал он тихо. — Каждый вечер они бывали в «Солнце» и разбрасывали деньги, а вместе с ними приходили некоторые женщины. Пили все, что попадалось под руку. Спроси меня, и я тебе скажу — тут-то и корень беды.

— Понимаю, — проговорил Герберт. Автобус снова тронулся, грохоча и тряся их еще сильнее, чем прежде, и тем самым давая Герберту повод прервать разговор. Он не хотел ни говорить, ни слышать больше ничего. Он думал об Эдди, вспоминая, как тот ждал раздачи почты, как тщательно царапал он письма домой. Вспомнил довольную усмешку на лице Эдди, когда он впервые надел свой новый коричневый костюм. А теперь Эдди сидел в «Солнце» в таком состоянии, когда недолго и человека убить. У Герберта появилось неясное ощущение собственной вины, словно он должен был следить за Эдди, но не следил, словно он отправил Эдди в глубокую разведку без боеприпасов и продовольствия. Пеллит снова пытался заговорить с ним, но Герберт сделал вид, что ничего не слышит. Он должен был подумать и во всяком случае не собирался больше слушать Пеллита.

Но когда автобус вкатил на рыночную площадь Лэмбюри, Пеллит захватил Герберта прежде, чем тот успел ускользнуть.

— Думал, что тебе будет приятно услышать о бедняге Эдди, — сказал он, как бы извиняясь.

Теперь Герберт не пытался больше ускользнуть.

— Да, спасибо за сообщение.

— Дело в том, — заметил конфиденциально Пеллит, — и я это всегда говорил, что парням вроде Эдди нелегко будет устроиться.

— В каком смысле устроиться?

— Ну... вернуться к мирной жизни и приспособиться.

— Было бы лучше, — резко проговорил Герберт, глядя Пеллиту прямо в глаза, — если бы приспособлялись не парни вроде Эдди, а кое-кто из вашего брата.

— Что ты хочешь сказать? — уставился на него Пеллит.

— Я сам не знаю как следует, — откровенно ответил Герберт. — Только не нравится мне этот тон «бедняга Эдди». И особенно в ваших устах. Я видел, как Эдди отдал свое место в лодке, когда мы эвакуировались с предмостного укрепления, которое нельзя было держать, потому что нас дьявольски обстреливали артиллерией и минометами. Я видел Эдди... Да ну, и говорить не стоит, — оборвал он нетерпеливо.

— За что же ты меня ругаешь? — сказал Пеллит. — Я ведь ему ничего не сделал.

— Знаю. Только тон у тебя неподходящий, на мой вкус. Видишь ли, я знаю Эдди Мольда, а вашей публики из «Солнца» не знаю. Или скажем иначе: я тоже здесь чужой. Всех благ.

Вид «Короны», открывшийся его взору на противоположной стороне площади, сразу вытряхнул раздражение из Герберта. Тот факт, что бар прочно стоял на своем месте, доставил ему огромное удовлетворение. Придирчивый к себе не меньше, чем к другим, Герберт не пожелал пропустить это чувство без рассмотрения. Все дело в этой девушке — Дорис Морган. Форменное идиотство. К чему опять заводить споры?

Тем не менее, исполнив поручения отца и наскоро закусив в кооперативном кафе, Герберт направился обратно к площади и с решимостью человека, который делает то, чего он хочет, больше, чем позволяет себе признаться, вошел в «Корону». На этот раз здесь было значительно людней, чем тогда, но не было Дорис Морган. Он сказал себе, что был дурак, рассчитывая встретить ее здесь, потом назвал себя еще большим дураком за то, что желал увидеть Дорис здесь и сам оказался здесь.

же. И все же он старался протянуть как можно дольше за кружкой пива. Сидевшие в «Короне» посетители показались Герберту неинтересными, а их разговоры — идиотскими.

По счастью, у него были еще кое-какие поручения, и они заняли время, пока не пробил час, когда пора было выпить чаю. Сеансы в кино-театре начинались в половине шестого, но в помещении театра было кафе, которое открывалось раньше. Герберт выпил там чашку чая, чувствуя себя неловко и глупо среди сидевших за столиками женщин и девушек. За время войны Герберт видел в ближнем тылу немало фильмов, но, казалось, целые века прошли с тех пор, как он сидел последний раз в кино-театре в Англии. Конечно, он был не в настроении, но, когда он сидел теперь в английском кино-театре, он внезапно открыл, что театр находится не в Англии, а в Америке. У Герберта не было никаких предубеждений против Америки и американцев. Всякий раз, когда ему приходилось бывать в расположении американской армии, он наслаждался и восхищался свойственными ей чертами: странным сочетанием развязности и непринужденности с великолепной техникой и деловитостью в бою; способностью упорно сосредоточить все усилия на выполнении задания и бешено, хотя и тщетно, стремиться к чертовски веселому времяпрепровождению, когда с заданиями покончено. Нет, янки — люди, как люди. Но Герберт не мог понять, почему Лэмбюри, получив наконец свой кино-театр, должен иметь такой театр, которому по-настоящему место в Соединенных Штатах.

Некоторые номера кино-хроники были английские. Но веселый шутливый голос диктора звучал так, словно он извинялся в этом. Вся остальная программа была американская. Сначала дали короткометражку, серьезный документальный фильм, объяснявший зрителям города Лэмбюри, как им повезло, что удалось отстоять американский строй жизни, который именовался также Демократией с большой буквы. За этим последовала легкая комедия о заморочennом зубном враче, его надоедливо-придирчивой жене, огромной теще и невыносимом шурине, что в целом давало небольшой, но сочный сколок с американского строя жизни. И, наконец, пришла очередь серьезного художественного фильма. Это была длинная, хотя и несложная история о группе бойцов морской пехоты, вовлеченных в несколько странные, но бурные операции, и о их девушках, которые были ангелоподобными медицинскими сестрами днем и довольно шумными королевами танцев ночью. Если кто-либо из действующих лиц возвращался вообще домой, он или она взбирались по нескончаемым лестницам, шли длинными коридорами и, наконец, оказывались в уютной маленькой комнате, длиной футов в полтораста. Когда морские пехотинцы не потели в полутемных джунглях и не пытались уйти от преследовавших их по пятам тропических ливней, они старались забыться в колоссальных ночных ресторанах, у которых в зале могли бы поместиться футбольные площадки. Иногда девушки измеряли температуру и с грустными лицами изящно взбивали подушки. Но нельзя было себе представить их с окровавленным бельем или ночными горшками в руках, и вероятно именно поэтому они казались такими веселыми и неутомимыми по ночам, когда потряхивали своими безупречными локонами под звуки джаз-оркестров. Все это было слишком непохоже на войну и военное время, чтобы Герберт мог этому поверить, и если фильм являлся просто дорогостоящей чепухой, а не образчиком американского строя жизни, то Герберт не видел оснований, почему этот вздор надо было везти из Голливуда в Лэмбюри. Он не мог выяснить, разделяют ли его чувства другие зрители, так как они не аплодировали, не шикали и вообще ничем не выражали ни одобрения, ни неодобрения, а просто тупо сидели, смотрели и слушали. Вместо того, чтоб искать здесь развлечения, эти люди могли с равным успехом сидеть в приемной врача. Но быть может они и не пытались развлечься, а стремились лишь, как и он, убить время? Это английский строй жизни. Но к чему ввозить для этого всякую чушь?

Герберт вернулся в «Корону» в начале девятого. В зале было теперь очень шумно. Вечер пятницы, все с получкой. Бар походил на жаркую, битком набитую пещеру. Слишком много табачного дыма, слишком много шума, слишком много людей. Герберт с трудом пробрался к стойке, и ему пришлось подождать, пока до него дошла очередь. И тогда Герберт увидел ее, Дорис Морган. На ней был все тот же желтый шарф. Она сидела в большой компании — молодые парни и девушки и несколько пожилых людей. Все они, очевидно, хорошо знали друг друга. Вероятно, все были с авиазавода. Они так старались веселиться, что можно было с уверенностью сказать: отмечается какое-то событие. Дорис Морган тоже вносила свою лепту, то перебраниваясь с одним, то смеясь с другим. Герберт догадывался, что Дорис не отставала от других и в выпивке. Продолжая рассматривать девушку, он задавал себе вопрос, чего он, собственно, хочет от нее?

— Послушайте, мистер, не собираетесь ли вы захватить всю стойку? — услышал Герберт незнакомый голос.

— Собираюсь, — ворчливо ответил он и сердито поглядел на стоявшего рядом мужчину.

— Ну-ну, — сказал тот уже другим тоном. — Я только...

— Ладно, угощайтесь, — подвинулся Герберт. — Только в другой раз не разговаривайте таким тоном...

Он снова посмотрел на девушку, и на этот раз Дорис увидела его. Герберт заметил, как сдвинулись ее брови, словно она пыталась вспомнить, где видела его прежде, а затем ее лицо просветлело — она вспомнила и улыбнулась ему. Герберт кивнул головой, выпил глоток пива и отвел взгляд в сторону. Волноваться не из-за чего.

Двумя минутами позже она сидела рядом с ним, почти приплюснутая к нему. Глаза ее не были черными, как казалось издали. Они были блестящие и темнокарие.

— На сей раз один? — спросила она.

— Да, — ответил Герберт. — Зашел выпить пива.

— Я и не думала, что вы пришли сюда умываться и причесываться. Хотите подсесть к компании?

— Спасибо, нет. Слишком большая.

— Ладно, в таком случае... — она повернулась, стараясь поймать взгляд буфетчицы.

Помолчав, Герберт сказал:

— Я уже заходил сюда сегодня.

— Правда? — Это ее не заинтересовало. Но надо же было ее заинтересовать и это нужно было сделать сейчас, или никогда.

— Искал вас. Потому-то и вернулся сюда опять.

— Рассказывайте! — но теперь она внимательно посмотрела на него. — Так я вам и поверила!

— Раз я говорю, значит так и есть, — сказал он с некоторым раздражением.

— Но я верю не всему, что слышу. А если вы меня искали, то почему?

— Потому, что думал о вас и о том, что вы говорили прошлый раз. Помните?

Голос его звучал теперь ласково и дружелюбно. Но это не произвело желаемого впечатления.

— Нет, не помню, — ответила она хмуро, не откликаясь на его призыв.

— Ну, не важно, — сказал Герберт и сердито отвернулся. — Возвращайтесь к своим и накачивайтесь. Времени до закрытия хватит.

— Что вы все злитесь? — воскликнула девушка. — И прошлый раз были такой же. Пристали ко мне и сердились.

— Вы, кажется, сказали, что не помните?

— Я помню, какой вы были тогда. Ведь я бы к вам не подошла, если бы не помнила. Вас зовут Герберт Кенфорд и вы живете на ферме в Кроуфильде. Правильно?

— А ваше имя — Дорис Морган и вы работаете на авиазаводе, который сейчас закрывают. Я вам тогда сказал, что у вас скверное настроение, а вы ответили: «Когда начнете раскидывать мозгами, учтите все это». Правильно?

Теперь она улыбалась, и улыбка ее была дружеская и теплая.

— А вы спросили: «Что именно?». Я ответила: «Все. Увидите сами». Правильно?

— Правильно, — подтвердил он. — Рад, что вы помните.

— Ладно. Так что же мы будем делать? Значит не хотите подсесть к нашей компании?

— Понимаете, нет настроения.

— Представьте себе, что у меня тоже нет. Но так мы с вами не поговорим. А потом тут будет еще хуже.

— Я знаю, — мрачно проговорил он. — И вообще эта дыра мне уже порядком надоела. Ненавижу переполненные кабачки.

Сделать следующий ход он предоставил ей.

Она на мгновение задумалась.

— Вот что, если вы подождете меня минут десять, мы уйдем отсюда и сможем поболтать. Сейчас я уйти не могу, потому что моя очередь поставить угощение. Подождите снаружи. А я придумаю какой-нибудь предлог, чтобы не было всяких шуточек насчет того, что я ухожу с незнакомым парнем. Идет?

И она занялась попытками привлечь внимание буфетчицы.

Десять минут в сумерках на улице были долгими, такими долгими, что Герберт начал уже думать, не одурачила ли она его. Но, когда, наконец, дверь открылась, и Герберт увидел Дорис в полосе света, веселую и улыбающуюся, он почувствовал внезапно безраздельное счастье, словно к нему слетела синяя птица. Герберт радостно и благодарно встретил девушку.

— Я знаю, что заставила вас ждать больше десяти минут, — призналась она, когда они тронулись в путь. — Но хорошо, что вообще удалось вырваться. Я поступила, конечно, немного по-свински. Многих я больше вообще не увижу, а ведь мы вместе работали. Куда мы пойдем?

— Мне все равно. Куда угодно, лишь бы там было тихо.

— Хорошо. Но, смотрите, когда я сказала, что мы поговорим, я именно и думала поговорить и больше ничего. Мне надоели всякие щупанья. Так что не жалуйтесь потом, я вас предупредила.

Это было сказано так скоро после волшебного мгновения перед «Хороной» и было так несправедливо, что Герберта взорвало.

— А когда я сказал поговорить, я тоже имел в виду поговорить. Щупать вас, как вы это называете, я не собираюсь. Очень огорчен, что другие парни усиленно занимались этим.

— Я этого не говорила. Я сказала только, что мне это надоело. И не злитесь, пожалуйста, все время. Вот человек! Никогда не видала такого. Это что, канал?

— Канал, — хмуро отозвался Герберт.—

Мы можем пройтись по берегу, если вы не боитесь, что я вас скину в воду.

— Придется рискнуть! — весело сказала Дорис таким тоном, словно они стали уже старыми друзьями. Когда они проходили узкой боковой улочкой, где было уже совсем темно, она взяла его под руку самым естественным и непринужденным жестом.

— Чтобы не забыть: вы поедете последним автобусом?.. Я тоже... Я еду до перекрестка.

Герберт был этому рад и так и сказал ей. Он сможет проводить ее, хотя бы она жила у чорта на куличках, а потом дойдет домой пешком. Вся задача не пропустить автобус, вот и все. Но только не может он вдруг вдруг взять и не выпалить в один час все, что хочет сказать ей. Он объяснил ей и это.

— Правильно, — спокойно сказала Дорис. — Но и я не могу являться домой на рассвете, хотя и кажусь на вид бесшабашной. А когда мы будем беседовать, помните, что вы выпили кружку пива — не так ли? — а я шесть рюмок джина с лимоном.

— На четыре больше, чем следует, — серьезно отозвался он.

— Помолчите! — предупредила она.

Герберт не ответил. Спустя мгновенье пальцы, покоившиеся на его руке, слегка сжали ее. Герберт тихо и радостно засмеялся и сам удивился своему смеху. Они шли теперь вдоль канала, здесь было тихо и спокойно, в воздухе стоял смешанный запах краски, прогнившего дерева и воды.

— Вы ведь серьезный парень? Правда?

— Правда, — не задумываясь, ответил он. Впрочем, она знала это и сама.

— Я так и решила сразу. Совсем не такой, как тот красивый, что улыбался все время.

— Совсем не такой. Он замечательный — Алан Стрит. Все девушки влюбляются в него.

— Только не я, — быстро сказала она. — Что касается вас, то я чувствую, что либо очень вас полюблю, либо возненавижу. Пока еще не знаю, что именно. Давайте сядем и покурим.

Они присели на старое бревно и закурили. И Герберт начал говорить, сначала запинаясь, а потом все более и более уверенно. Рассказал он и об ужине накануне вечером.

— Как она выглядит, эта Эдна? — прервала его Дорис.

— Совсем недурна. Только не мой стиль...

— А что же ваш стиль?

— Не знаю. Знаю только, что не она... — нетерпеливо буркнул Герберт. — Но дело не в ней.

— Дело не в ней, — медленно повторила Дорис, как бы не желая оставить эту тему. — Ну, продолжайте.

— Понимаете, когда я услышал, что все это — покупка фермы для брата Артура и сохранение «Четырех Вязов» в неприкосновенности — все это для меня, мне стало стыдно за самого себя.

— И напрасно, — без колебаний решила Дорис. — Они ведь вас не спрашивали. Просто хотели, чтобы вся семья была обеспечена.

— Потом, когда они разоткровенничались, особенно отец, у меня появилось иное ощущение. Понимаете, им лишь бы у нас в семье все было благополучно, а до остальных — никакого дела.

— Как это мне знакомо! — воскликнула она.

— Но ведь это же чорт знает что! Я совсем не того ожидал. Конечно, армия другое дело — там дисциплина, боевые задания и все такое, но все равно, если бы там мы держались правила «Пропади ты пропадом, было бы мне хорошо!», мы бы никогда не достигли победы, и дух у нас был бы совсем иной. Нам все время говорили, что здесь, в тылу, люди совсем переменились.

— Некоторые переменились, — вставила она.

— Я, конечно, рассчитывал заметить эту перемену сразу, как только попаду домой. Кое-что по дороге несколько смутило меня. Впрочем, я не обратил на это особенного внимания. Но вчера, когда все сидели за столом такие довольные, что отхватили жирный кусок, и готовые во что бы то ни стало удержать его, чтобы ни случилось с другими, я был возмущен до глубины души. Я знаю, с моей стороны нехорошо так говорить, — запинаясь добавил Герберт. — Это мои родные... и они очень любят меня... и по существу хорошие люди... и я не хотел бы, чтобы у вас создалось неправильное представление...

Его голос беспомощно замер.

— Я вовсе не собираюсь отказываться от того, что сказала в самом начале — что мы будем говорить и больше ничего. Даже хотя я немножко пьяна... Так что, не придавайте этому значения, но я должна это сделать. — Она повернулась и ласково его поцеловала. — Вы мне нравитесь... Нет, это все. На сегодня все. Ну, говорите же, говорите...

— Не знаю, как себя чувствует другой парень, которого вы видели, Алан Стрит, — начал Герберт, несколько задыхаясь после неожиданной интермедии. — Собираюсь его спросить. Но о третьем из нас — помните, такой коренастый, здоровенный парень? — до меня дошли кое-какие слухи.

И Герберт рассказал ей то, что слышал насчет Эдди Мольда.

— Я могла бы многое рассказать вам на эту тему, — сказала Дорис спокойно. — Хватило бы на целый десяток книжек. Я сама бывала в тех местах, где можно было все видеть. Ну да, гадость, я ничего не говорю. Но в действительности дело не так уж плохо, как кажется. Понимаете, многие женщины могут устоять против тоски и

одиночества год-два, но не больше, им нужно чем-нибудь заполнить жизнь. Ваш приятель — и другие — должны попытаться простить, забыть и начать все сначала. Всем нам свойственна слабость, а пережить пришлось немало... Но, послушайте... — Дорис вскочила, маленькая ее рука ожесточенно сжала борт его пальто. — Не это меня тревожит. С этим можно справиться, и все быстро пройдет. Меня волнует то, о чем говорили вы. Этот проклятый, глупый, жадный эгоизм, снова вылезающий наружу. Понимаете, как только угроза миновала и люди почувствовали себя в безопасности, он снова всплыл наверх. То, что было, словно людей не коснулось. Они не изменились. Они ничему не научились — разве только делать бомбы все большего размера и ненавидеть, как дьяволы. Но куда это нас приведет? Что дальше? О, будь они прокляты!..

— Вы плачете? — пораженный, спросил Герберт.

— Да, глупая вы голова. Обнимите меня и помолчите. Ну да, я вам не разрешила, но это другое дело. И вы тоже другой.

Так они сидели у тускло отсвечивающего канала, кругом была ночь, Дорис чуть всхлипывала, а у него громко стучало сердце. Для Герберта все происшедшее явилось полной неожиданностью. Он забыл, если вообще знал когда-нибудь, какими странными и неожиданными могут быть девушки. Он не мог бы сказать, доволен он или нет. Это следовало рассматривать как-то по-иному, не с точки зрения удовольствия.

— Который час? — спросила, отодвигаясь, Дорис. — Нам пора к автобусу.

Они поднялись. Девушка молчала и пальцы ее не легли как прежде на его руку. Маленький просвет между ними казался огромным. Это было неприятно Герберту, и он взял руку Дорис и продел ее под свою. Теперь все снова было в порядке.

— Расскажите что-нибудь о себе, — неуверенно произнес он. — Я знаю, что вас зовут Дорис Морган, что вы работали на авиазаводе, а раньше работали в магазине и жили в Кройдоне. И я помню, что вы сказали о ваших братьях, — тихо добавил Герберт.

— Неужели вы все это помните! — как бы с благодарностью воскликнула она.

— Конечно, помню. Но я хотел бы узнать значительно больше. Я вам наговорил с три короба, а вы мне ничего не рассказали о себе.

— Много рассказывать не приходится, — неопределенно сказала она и, к его удивлению и немалой досаде, Дорис неожиданно вернулась к Эдне. — Эдна выросла, вероятно, на ферме?

— Да, отчасти. Но чего вы о ней вспомнили? Причем она тут?

Новый неожиданный скачок:

— Вы любите сельское хозяйство, Герберт?

— Ничего против него не имею. Хотя работа и тяжелая, но я привык к ней...

Этим он и хотел ограничиться.

— Продолжайте. Расскажите подробнее...

— Сказать по правде, я еще ничего не решил, — проговорил он медленно, взвешивая каждое слово.— Работа приятная. Думаю, что предпочел бы ее чему-нибудь другому. Сельское хозяйство — хорошее дело. Получаешь какое-то удовлетворение. Поживи вы на ферме — вы бы поняли.

— Никогда бы не поняла, — печально заметила она. — Уверена, что места себе не находила бы.

Это повергло его в уныние. Они говорили так, словно принадлежали к двум различным народам. На мгновение Герберт увидел ее на чуждом фоне больших заводов, блестящих магазинов, улиц, толпы, залитых светом кабаков Кройдона, Лондона.

— Думаю, что эта Эдна... — начала она.

— К черту Эдну! Я же сказал, что о ней речи нет! Забудьте ее!

Она сжала его руку.

— Ах, вы, хитрец! Хорошо, забудем ее. Продолжайте. Что же плохого в жизни на ферме?

— Я никогда не говорил, что в ней есть что-нибудь плохое.

— Вы не сказали, но говорили так, словно думали это. Скажите же вслух.

— Что ж, до армии я этого никогда не чувствовал, — он вернулся к своей прежней манере говорить, — обдуманной и спокойной. — Но теперь я чувствую. Ферма слишком уединяет вас. Пройдет некоторое время, и вам станет совершенно безразлично, что происходит с другими. Вы не являетесь частью чего-то. Вы — сами по себе. Ваша семья — ваш мир. Видите ли, это так понятно: работа тяжелая, она отнимает почти все ваше время, и вы не сталкиваетесь постоянно с людьми разных профессий, как в городе. И это неправильно. Этого не должно быть. Довольно, хватит. Вы верно сказали, если опять пойдет все как прежде, не знаю, что с нами будет.

Автобус уже стоял на площади, и они побежали, чтобы успеть к нему. Будет ли в автобусе кто-нибудь из ее компании? — мелькнуло в голове Герберта. — Если да, как поведет себя Дорис? Он чувствовал, что это очень важно — нечто вроде экзамена. Едва они влезли в автобус, как Герберт увидел там с полдюжины ее приятелей, рассевшихся веселой, шумной кучкой на задних местах. Они встретили Дорис восклицаниями и приветственными жестами. Девушка, однако, ограничилась только улыбкой и коротким кивком, затем села на ближайшее свободное сидение, где было место и для Герберта. И на него снова нахлынуло огромное чувство облегчения, переходившее в ощущение безраздельного счастья, которое он испытал, когда она выходила из «Короны».

В автобусе, с тряской и грохотом мчав-

шемся в ночи, они говорили очень мало. Дорис выглядела усталой, почти обессилевшей. Верхний свет обесцвечивал ее лицо, стирал с него всякую жизнерадостность. Она стала маленькой, хрупкой, драгоценной. Дорис улыбалась Герберту когда глаза их встречались, быть может для того, чтобы какие-то нити связывали их и в молчании. Но улыбка эта казалась Герберту далекой, неестественной, даже пугающей. Он также был утомлен, но не хотел, чтобы вечер прошел даром, чтобы она ускользнула от него, ибо он чувствовал, что она может исчезнуть навсегда, скрытая навеки в далеком мерцании заводов и магазинов, улиц и баров...

— Я выхожу здесь, — сказала она.

— Я выйду с вами.

— Так поспешим, а то кто-нибудь из них меня подхватит...

Минуты две они быстро шагали по темному шоссе. Потом повернули в проселок, где перед самой войной, — вспомнил Герберт, — отстроили несколько коттеджей. Там они шли уже медленно, тесно прижавшись друг к другу в сладостно-пахнущей ночи. И это было лучше всего.

Как отличалась она от резкого, вызывающего создания, на поиски которого Герберт отправился в Лэмбюри. Просто поразительно, как она быстро менялась. Но он понимал уже, что не она была странной, а просто женщины устроены иначе, чем мужчины. На ее примере Герберт начал, наконец, убеждаться в этой великой знаменательной истине.

— Слушайте, Герберт, — тихо сказала девушка, — я много болтаю, про меня говорят, что я слишком много о себе воображаю и все критикую. Но я не думаю, чтобы я действительно на многое годилась. Можете спросить в «Короне» у этой женщины с кислой физиономией. Она вам скажет.

— Я не намерен о чем-нибудь с ней разговаривать — ответил Герберт. — Особенно о вас. Оставьте ее в покое.

— Я вспомнила о ней потому, что потратила немало времени и денег, — так как я сама плачу за себя, — в «Короне» и еще двух-трех таких же местах, чтобы как-нибудь убить вечера. И я говорю, что все прогнило, и нужно сплотиться, чтобы устроить лучшую жизнь, и я действительно это думаю. Но что я для этого сделала, кроме разговоров и одного или двух выступлений на заводских собраниях? Я очень мало знаю и даже не пытаюсь учиться. На заводе я работала хорошо, но это было легко.

— Даже если это и было легко, — ответил Герберт, защищая Дорис против нее самой, — то не легко было все это время быть вдали от дома и знать, что все там разбомблено и... и ваши братья и прочее... Приехать сюда работать, ничего здесь не зная, нет, Дорис, это не могло быть легко...

— Вы прелесть, Герберт! Нет, правда! Я не думала, что вы такой. Я знала, что вы надежный, положительный человек, но что такой!.. Вот вам за это! — Она остановилась, схватила его обеими руками за пальто и поцеловала, как тогда у канала.— Нет, дайте мне сказать. Мне двадцать шесть. Сколько вам?

— Двадцать семь, — ответил он быстро и тотчас засмеялся. — Вы сказали так, словно вам пятьдесят.

— Так я себя иногда чувствую. Кажется, что все ушло, пока я работала в этом сборочном цехе и болтала и выпивала в кабачках, вроде «Короны». Кажется, много лет минуло с тех пор, как я жила дома и работала в магазине. Я тогда совсем ничего не знала.

— Вы же говорите, что и теперь немного знаете.

— Нет, это другое, глупенький. Я не знаю того, что нам надо знать — политику, экономику и все такое...

— Как и я, хотя в армии кое-чего и наслышался. Но мы можем учиться.

— Я уже должна была бы учиться, — с ожесточением сказала она. — Вот что я раньше хотела сказать. А сейчас я говорю, что до Лэмбюри я ничего не знала о жизни вообще. Что люди думают, что чувствуют, к чему стремятся, как парни ведут себя...

— Мне совсем не нравятся эти слова о парнях,— торжественно провозгласил он.— Нет, я не шучу...

— Я знаю, Герберт. Но я не могла не засмеяться — вы сказали это с таким несчастным видом... Здесь я живу, как вселённая, второй дом, у миссис Томпсон. Сначала она меня ненавидела, а сейчас мы прекрасно уживаемся. Большинство людей совсем не так плохи, когда узнаешь их поближе. Если они делают и говорят то, что вам не нравится, то вы понимаете, почему это происходит. Миссис Томпсон думает, что если она не выберет в палату общин прежнего старого глупого тори, то все вообще будет разделено между всеми, и, вероятно, ее соседка, миссис Фленнаган, получит одну из двух ее розовых ваз. Вы ее не переубедите... Но оставим миссис Томпсон. Постоим минутку, и потом мне пора.

Так они стояли, и каждый глядел на странный, расплывающийся овал лица другого, глядел и ждал какой-нибудь близости и ласки.

— Итак... — прошептала она. Это был почти вздох.

— Итак...

Даже это короткое слово выдало напряжение в его голосе.

Вот и все, что они сказали, но пространство между ними было насыщено невысказанными вопросами. Кто я? И кто вы? Что вы обо мне думаете? Что мы будем делать?

И снова ее настроение изменилось, и она неожиданно опять заговорила резко и вызывающе.

— Слушайте, Герберт. Что бы вы ни

предприняли, не отступайте от того, что вы сейчас чувствуете. Не позволяйте им закутать вас в удобную жизнь. Не позволяйте им лишить вас права на собственные мысли. Не дайте им убедить себя, что мы можем продолжать жить по-старому, не заботясь о том, что происходит с другими. Мы все связаны вместе, Герберт. И ничего не поделаешь — так устроена наша жизнь. И если мы не будем вместе, не будем работать и думать друг за друга, тогда будет ненависть, горе и кровь. Ей-богу, так будет.

— Вы вероятно правы, Дорис. Я этого еще не продумал как следует, просто времени не было, но чувствовать это — я уже чувствую. Но, понимаете, вернуться домой...

— Понимаю, понимаю! — кричащим шопотом возбужденно перебила она. — Вы были на фронте. Вам хочется хоть ненадолго тишины и покоя.. Не оправдывайтесь — это ведь так естественно. Но пока вы будете предаваться покою, они выпотрошат из вас вашу душу. Не беспокойтесь обо мне... если вам не захочется, но, бога ради, держитесь крепко, будьте живым человеком и повоюйте еще немного — за нас всех. Может быть, на первый взгляд мы этого и не заслуживаем, но это не так. Хотя бы потому, что наша жизнь — это ваша жизнь. И если вы сами отрежете себя от нас, вы начнете умирать. Так-то, Герберт. Мне пора...

Он тихонько взял ее за плечи.

— Я не хочу в поисках вас рыскать по кабачкам...

— Я этого и не требую. Вы знаете, где я живу. Номер пять. Хотя останусь я здесь уж недолго...

— Могу я видеть вас завтра? Завтра суббота.

— Нет, — сказала она тихо и очень торжественно. — Не потому, что я чем-нибудь занята или не хочу вас видеть. Наоборот. Но это слишком скоро. Вы меня понимаете, Герберт? Мне хочется чуточку подумать о вас. И я хочу чтобы вы подумали обо мне. Нельзя так, сноскока.

— Верно, но вы говорите, что не останетесь здесь долго. Ну хорошо, тогда в воскресенье? В воскресенье, после обеда. Прошу вас.

Мгновение она помедлила.

— Хорошо. Около половины третьего, здесь. Спокойной ночи, Герберт!

— Спокойной ночи, Дорис!

Он подождал, пока за ней захлопнется дверь. Отсюда было всего лишь несколько миль до «Четырех Вязов», и он почти не заметил их, он шел как бы во сне. Но и во сне он чувствовал смятение и замешательство, всегда охватывающее человека, когда он переходит из одного мира в другой, от обрывка ночи, который мог бы быть, но еще не был домом, — только смутно видимое лицо и шопот под звездами, — к очагу и постели, которые были когда-то, но больше никогда не будут домом. Молодой человек в сером костюме, вернувшийся с войны и уже пропавший без вести...

7

В пятницу, около десяти часов вечера, Эдди Мольд тяжело шагал по дороге, направляясь домой. Он не был ни пьян, ни трезв. Ему просто было не по себе. Весь день Эдди провел вне дома, вне Кроуфильда, скитаясь без цели, растерянный и озлобленный. Кончилось тем, что он выпил несколько кружек пива в маленькой мрачной и грязной пивной, неподалеку от Банчестерского шоссе. Там он долго и путанно пререкался с двумя батраками и, когда они стали грубить, он наговорил им еще больше грубостей, и предложил им выйти и померяться силами. Хозяйка, противная толстая женщина, не взлюбившая Эдди с первого взгляда, сказала ему, чтобы он убирался подобру-поздорову, и все в пивной были на ее стороне. Никто не вступился за Эдди.

Дома его не ожидало ничего веселого. Все здесь выглядело еще хуже, чем утром, казалось более заброшенным и жалким, словно какие-то темные силы, какие-то посланцы таинственного нового врага, угрожавшего ему теперь со всех сторон, целый день хлопотали над тем, чтобы коттедж как можно меньше был похож на жилище. Эдди с отвращением огляделся кругом: неужели это его дом?

Проблуждав целый день, Эдди устал, но ко сну его не клонило. Ему хотелось поговорить с кем-нибудь, с приличным и серьезным человеком, который относится к нему по-дружески. Но в голову ему не приходил никто, кроме вдовы бедного Фреда Розберри, жившей в нескольких шагах отсюда. Проходя мимо, Эдди заметил свет в ее окнах, и, хотя время было позднее, он решился попробовать.

Когда она показалась перед ним в освещенном прямоугольнике открытой двери, аккуратно одетая и спокойная, удивленная и немного испуганная, он подумал, что может быть сделал ошибку.

— Ах, это вы, мистер Мольд? — сказала она с облегчением. Секунду она колебалась. — Ну, раз пришли — заходите...

Эдди последовал за ней, чувствуя себя большим, неуклюжим и не слишком опрятным. Он не брился уже два дня, а его новый коричневый костюм, подумал он, наверное, имеет такой вид, словно в нем спали в канаве. Миссис Розберри слушала радио и шила. Пока она выключила приемник, Эдди быстро оглядел комнату — чистенькую и уютную, совсем непохожую на только что покинутую им холодную, запущенную квартиру.

— Садитесь сюда, мистер Мольд, — сказала она и села сама, снова взявшись за шитье. — Вы, наверное, пришли узнать о своей жене?

— Совершенно верно, — пробормотал Эдди, бросив смущенный взгляд на ее бледное, серьезное лицо.

— Она ночевала у меня, — с расстановкой ответила миссис Розберри и строго посмотрела на него. — Сегодня утром она уехала к своей матери. Все это ужасно ее потрясло.

Не так-то просто было свободно говорить здесь, а Эдди к тому же еще и устал, и голова работала плохо после пива, и на душе было тяжело.

— И меня так же... То же было бы и с вами... Сама виновата...

Миссис Розберри отложила в сторону свое шитье.

— Я не говорю, что она права, мистер Мольд. Наоборот. Я ей так и сказала. Когда я видела, как некоторые ведут себя, мне становилось стыдно до отвращения. Но она — другое дело, мистер Мольд. Я это серьезно говорю.

Она немного торжественно взглянула на него. У нее были красивые, темные глаза, щеки слегка порозовели, и выглядела она сейчас значительно лучше, чем обычно.

— Почему? — спросил он угрюмо.

Миссис Розберри помедлила секунду.

— Потому что она потеряла ребенка. Это она мне сама говорила, и я верю, что так и есть. Меня тоже поддерживали именно дети. Не будь их, не знаю, что бы я сделала. Когда потеряешь ребенка, а муж далеко, и война продолжается — есть от чего притти в отчаяние. У женщины должен быть кто-нибудь, а если у нее никого нет, и она несчастна, и ей нечего ждать, она может пойти на что угодно, лишь бы на минуту забыться. У вашей жены действительно есть некоторое оправдание, мистер Мольд.

Он не сразу ответил: голова его работала очень медленно.

— Будь это раз, можно найти оправдание, — сказал, наконец, Эдди. — Но если это повторялось без конца, тогда нет.

— А откуда вы знаете, что это повторялось без конца?

— По бутылкам, — ответил он. — И по разговорам, которые я слышал...

— Я бы не придавала значения разговорам, — возразила она. — Некоторые из наших готовы набрать с три короба.

— Что с ними случилось? — с озлоблением воскликнул Эдди. — Мне в тысячу раз тяжелее от их болтовни и лицемерных взглядов исподтишка. Что я им сделал? Переменились они? Или я стал другим?

Она с сочувствием посмотрела на него, но промолчала.

— Вот что я вам скажу, миссис Розберри, — проговорил Эдди значительно спокойнее. — Если бы она меня встретила, если бы она мне сказала то, что, повидимому, сказала вам, или по крайней мере то, что вы сейчас сказали мне, то-есть, что она приняла близко к сердцу потерю крошки и все такое, сказала бы: «Эдди, я поступила нехорошо, прости меня» или что-нибудь в этом роде, тогда все было бы иначе. Но ее даже не было дома. Она открыла мою телеграмму и снова заклеила ее, чтобы притвориться, будто вовсе не видела ее. А потом вернулась и сделала вид, что ничего не случилось...

— Знаю, знаю! — воскликнула миссис Розберри. — Она поступила не так как нужно. Она это потом поняла.

— Я думаю!..

Эдди не мог дольше сидеть. Он поднялся и стоял, чуть покачиваясь, глядя в пол и пытаясь подобрать слова, которые дали бы ей понять, что он чувствует. И по мере того, как все в нем начинало кипеть, он стал шагать по комнате и несколько раз прошелся к дверям и обратно, прежде чем заговорил опять.

— Хотел бы я, чтобы вы слышали наши разговоры в полку насчет того, как будет, когда мы вернемся домой. Мы говорили об этом часами. О чем бы ни заходил разговор, мы всегда возвращались к одному и тому же: «Подождите, ребята! Вернемся и тогда..» И вот возвращаюсь домой, никогда в жизни у меня лучшего настроения не было. Я опять на Большой земле, каждый мне друг. И все это пошло на смарку, все как есть, и, знаете, миссис Розберри, порою, когда на меня находит, я готов кого-нибудь убить.

— Перестаньте! Перестаньте!

Она вскочила, и голос у нее звучал страдальчески.

— Простите за грубые слова, миссис Розберри. Обидеть вас я не хотел. Извините меня!

— Не в этом дело, мистер Мольд! — воскликнула она, с жалостью смотря на него. — Я понимаю ваши чувства. Но все не так плохо, как вы думаете, вовсе нет, уверяю вас!

Возможно, это сделала жалость, которую Эдди прочел в ее глазах. А может быть, просто облик стоящей перед ним приветливой и ласковой женщины. Он шагнул к ней, сам не зная, что хочет сделать с протянутыми руками. Он увидел, как она отшатнулась, как в глазах ее мелькнул страх, или то было отвращение? — и остановился, как вкопанный.

— Я хотела бы поговорить с вами о Фреде, — запинаясь произнесла она. — Но сегодня уже поздно. Вам лучше пойти уже, мистер Мольд.

— Да, мне лучше пойти, — пробормотал он, не поднимая больше глаз на нее. — Спокойной ночи.

Эдди поплелся обратно к своему коттеджу, чувствуя себя глубоко несчастным. Все, что он делал, было неправильно. Нет, очевидно, места, где бы он мог чувствовать себя хорошо. Любой вечер на посту в каком-нибудь вшивом доме за линией артиллерийского огня был лучше, чем все, с чем он столкнулся здесь. Бог свиде-

тель, что даже в щели, когда дрожь пронимала его насквозь, он чувствовал себя куда спокойнее, чем теперь. Измученный, истерзанный Эдди свалился в постель. Спать, спать, поскорей бы заснуть!.. Но сон не приходил.

Наступило субботнее утро, а Эдди так и не смыкал глаз. Есть было нечего, он ничего не купил. Он не мог заставить себя пойти в деревню и, хотя был очень голоден, обошелся без еды и удовольствовался крепким чаем и куревом. После этого он сумрачно огляделся кругом и решил навести в доме порядок. В самый разгар уборки, которой Эдди занимался старательно, но со злобой, некстати появился первый посетитель. Он постучал в полуоткрытую дверь и вошел. Это был местный священник мистер Драуден, пожилой, но все такой же румяный и улыбающийся. Он-то уж не пропустил своего завтрака!

— Рад, рад! — воскликнул мистер Драуден, так радушно, как только мог. — Не успели вернуться, как уже занимаемся хозяйством. Впрочем, что это для ребят, прошедших школу в армии? Ну, как живете?

— Ничего, — пробормотал Эдди.

— Миссис Мольд, надо полагать, ушла за покупками?

— Нет. Уехала к матери.

Мистер Драуден присел, положил шляпу на пухлые колени, пристроил широкие белые руки по обе стороны шляпы, удалил улыбку со своего лица и торжественно взглянул на Эдди.

— Сожалею. Слышал, — правда, в общих чертах, — что у вас неприятности, и это одна из причин моего прихода. Я надеялся, что слухи не соответствуют действительности, — мало ли какие глупые росказни ходят теперь по деревне, — но очевидно это правда.

— Правда, — ответил с окаменевшим лицом Эдди. — Были кое-какие неприятности.

Мистер Драуден вернул улыбку на свое лицо.

— А что если мы закурим по доброй трубочке и побеседуем?

— Закурите, если хотите, — сухо проговорил Эдди. — У меня трубки нет.

— Тогда сигарету? Где-то у меня есть...

— Благодарю, не надо. Не хочется.

По поведению Эдди можно было понять, что он не расположен к продолжению разговора.

Мистер Драуден начал манипулировать с трубкой и кисетом так, словно демонстрировал правила пользования ими.

— Да, все это следует продумать, обсудить... Война для всех нас надолго прервала жизнь...

— Не для всех.

— Почему? Я вас не совсем понимаю, Мольд.

— Я знал на фронте немало парней, которым война не прервала жизнь, а оборвала... Вчистую.

— Не могу согласиться, что она оборвала ее. Меня огорчает, что вы держитесь такого мнения, но я понимаю, что вы хотите сказать. И все же для большинства из вас, как я сказал, война на длительный срок прервала жизнь...

— И еще одно, — упорствовал Эдди. — Я считал, что после войны мы начнем жить по-новому.

— Да... да... Конечно, — поспешил подтвердить мистер Драуден. — Мы все надеемся, что это станет возможным... в известной мере. У правительства имеются определенные планы. Вы, наверное, слышали о них.

— Да, я слышал о них.

— Но сейчас мы говорим о делах, так сказать, личного характера, — поспешно продолжал мистер Драуден, словно ему не понравился тон Эдди. — У вас здесь были кое-какие неприятности, но я надеюсь, что это удастся очень скоро уладить. Немножко терпения. Немножко больше снисхождения к чужим трудам и заботам. Дух прощения и христианского милосердия с обеих сторон. А?

Эдди не ответил. Мистер Драуден постарался выбраться из неловкого положения продолжительным раскуриванием трубки.

— Мы вас понимаем, молодые друзья, вернувшиеся к нам, — заставил себя улыбнуться мистер Драуден. — Герои-победители...

— Мы не герои-победители! — крикнул Эдди. — Я не герой. И никогда не хотел им быть.

— Понимаю. Наша британская скромность...

— Бросьте это, мистер Драуден! Я не вижу, чем британцы отличаются по своему поведению от других, за исключением гитлеровцев. Те — настоящие помешанные. Я видел города, где все так исковеркано, что не знаешь, смотришь ты на муниципалитет или на загон для свиней. Видел людей, сожженных заживо. До этого нельзя было доводить.

— Конечно, конечно... — успокоительно сказал мистер Драуден. — Но, видите ли, эти нацисты...

— Знаю. Все слышал! — воскликнул Эдди. — И видел их. Помешанные. Но меня удивляет, что находились люди, хоть когда-нибудь смотревшие на них иначе. Кто спустил их с цепи? Кто дал им время окрепнуть? Почему не заперли своевременно Гитлера, Гиммлера и всех прочих в сумасшедший дом или не повесили их, как подлых убийц? Кто сделал так, чтобы я потом целые годы охотился за ними?

— Это политический вопрос, — сказал мистер Драуден. — Мы, разумеется, допустили ошибки...

— Хорошо. Но я что-то не слышал, чтобы все эти важные политики признавались в своих ошибках. Старый... как его

там зовут, нашего члена парламента, он не пришел ко мне и не сказал: «Послушай, Эдди Мольд, я допустил кучу ошибок, я сожалею о них». Ничего подобного! Но все это теперь позади, говорите вы, мы начинаем жить по-новому. Но кто эти начинатели? Укажите мне их здесь, в Кроуфильде. Что они делают и как делают? Хотите я вам расскажу о том, что кое-кто делает, но нового в этом нет ничего. Чего мы хотим, чего я хочу...

Он остановился на мгновение, чтобы собраться с мыслями.

И именно в это мгновение появился Паркинсон, сержант полиции графства Банфордшир. Когда Эдди уходил в армию, Паркинсон был констеблем, теперь он стал сержантом. Эдди давно знал его, но никогда не любил. В Берте Паркинсоне чувствовалось что-то враждебное и колючее еще в те времена, когда он был простым констеблем и едва ли он стал лучше теперь, получив повышение. К тому же он прервал Эдди в тот самый момент, когда Эдди пытался сказать нечто важное.

— Что ж, — саркастически произнес Эдди. — Вошли, так садитесь.

— Дверь была открыта, — сказал сержант Паркинсон. — О, доброе утро, мистер Драуден. Не знал, что вы здесь.

— Ну, еще бы. Понятно! — воскликнул негодующе Эдди, гневно уставившись на широкое сухое лицо полисмена. — Вам совсем неинтересно было узнать, кто здесь есть. Ладно, что вы хотите?

Сержант взглянул на мистера Драудена, как бы апеллируя к нему, но тот ничем не поддержал его.

— Несущественно. Как-нибудь в другой раз.

— Ладно, выкладывайте, — сказал Эдди.

— Если вы полагаете, что без меня.. — начал мистер Драуден.

— На мой взгляд, — ответил сержант Паркинсон, — будет лучше, если вы останетесь и послушаете, мистер Драуден.

— В таком случае... — сказал мистер Драуден, улыбаясь.

Эдди раздраженно переводил взгляд с одного на другого. Они очень хорошо себя чувствуют здесь, можно сказать, располагаются, как дома. Ну, а он-то что здесь такое?

Сержант Паркинсон откашлялся, строго посмотрел на Эдди и начал высокопарным тоном:

— Ко мне поступило несколько жалоб на вас, Эдди Мольд. Одна касается вашего поведения в «Солнце» несколько дней назад. Сквернословие и угроза насилия. Я не придал ей значения. Но вот другая жалоба. На сей раз из «Колокола», где вы были вчера вечером. Опять такое же поведение.

— Да, и я тоже имею кое-что сказать.

Эти слова донеслись с порога. Там стояла миссис Моргсон.

— А, и вы! Валяйте! — крикнул Эдди, изумленный и разозленный этим новым вторжением. — Ну, живо!

— Вы видите! — воскликнула старуха, взывая одновременно и к Государству и к Церкви. — Я тоже могу подать жалобу. Ругался всякими словами поздно ночью и разбудил меня и мою дочь. Стыд! Сначала мы терпели одно безобразие, а теперь другое...

Она взвизгнула и отшатнулась, когда Эдди внезапно рванулся к двери. Единственное, чего он хотел, это захлопнуть дверь перед злобной сморщенной физиономией старухи, но миссис Моргсон вела себя так, словно он намерен был уложить ее на месте. Сержант Паркинсон поспешил на помощь, но Эдди удалось уже вытеснить старуху.

— Вот и все, чего я хотел, — пояснил он. — Выгнать ее. Не потерплю, чтобы эта старая ведьма вопила у меня на пороге.

— Возможно, что в данном случае вы и правы, — авторитетно согласился сержант. — Но это еще одна жалоба. Вы понимаете, мистер Драуден?

— Да, да, да, — поспешно сказал мистер Драуден. — Очень жаль. Очень, очень жаль. Так что же вы хотели сказать, сержант?

— Я собирался сказать ему следующее, — начал сержант Паркинсон так, словно Эдди совсем не было в комнате.

— Да ну же, говорите, наконец! — крикнул Эдди. — Говорите и убирайтесь.

— Опять недопустимый язык. Забываете, кто здесь с нами находится. — Сержант был оскорблен в своих лучших чувствах. А сказать я хотел вот что. Вы теперь не в армии, Эдди Мольд. Вы теперь штатский и должны вести себя, как полагается штатскому. А если не хотите, то будете иметь неприятности. Серьезные неприятности. Не думайте, что вы приехали и можете делать, что вам угодно...

— Что мне угодно? — Эдди был взбешен. — Что мне угодно? Пока я не сделал еще ничего из того, что мне бы хотелось сделать. Ни на вот столько!

Мистер Драуден поднял свою большую белую руку, чтобы остановить и Эдди и сержанта Паркинсона, который собирался уже ответить резкостью.

— Ну, ну, не надо выходить из себя. Сержант Паркинсон дает вам добрый совет, для вашей же пользы, делает дружеское предупреждение...

— Пусть делает свои дружеские предупреждения кому-нибудь другому, — заорал Эдди. — А я не желаю, чтобы ко мне врывались полицейские сержанты. И священники тоже...

— О, прекрасно! Прекрасно, прекрасно, — сказал мистер Драуден, поднимаясь с необычайным достоинством. Он повернулся к сержанту. — Здесь были некоторые семейные недоразумения, сержант, и я надеялся, что мы сможем выкурить трубоч-

ку-другую и побеседовать как мужчина с мужчиной...

— А я не желаю курить с вами трубку и беседовать как мужчина с мужчиной! — прокричал Эдди из джунглей озлобления и безнадежности.

— То, что вы хотите делать и что вы должны делать — две очень разные вещи, — сурово произнес сержант Паркинсон. — Вы не желаете выслушать мистера Драудена, не желаете послушать меня...

— Верно. И слушать соседку — старую миссис Мотсон, тоже не намерен. Итак, вас трое. И нет сомнений, что есть еще чортова пропасть тех, кого я не хочу слушать. Так что проваливайте! — Мгновение он смотрел на них, сверкая глазами. И вслед затем точно взорвалось все его невыносимое, страшное горе:

— Что с вами со всеми происходит? Вы все свихнулись? Или я? Честное слово, я просто не знаю, на каком я свете. И, если так пойдет дальше, я не знаю, что сделаю.

— Никому вы ничего не сделаете, — сказал сержант Паркинсон, открывая дверь и пропуская вперед мистера Драудена. — Помните, больше предупреждений не будет. Следом за вами, мистер Драуден.

Мистер Драуден обернулся, чтобы бросить на Эдди последний укоризненный взгляд.

— Постарайтесь успокоиться и подумать. Вспомните ваши новые задачи. Мольд. И, если вам захочется...

— Всего хорошего! — крикнул Эдди и повернулся к ним спиной. Он был зол на них, в особенности на Паркинсона. Но он был зол и на самого себя. Он знал, что вел себя не так, как следовало, но у него было такое ощущение, словно он и не мог вести себя, как следует, словно существовал какой-то гигантский заговор, имевший целью сделать его неправым, даже в отношении к самому себе.

Посидев и поразмыслив над всем случившимся, он вновь занялся уборкой кот-теджа. Работы было немало. И если он не мог привести в порядок свои мысли и чувства, то мог по крайней мере привести в порядок хоть кухню. И там, в кухне, когда он вынул все содержимое большого буфета, Эдди сделал открытие. В глубине, за двумя небольшими жестянками, он обнаружил виски в плоской бутылке походного типа. Бутылка была почти полная. Взяв ее в руки, он предварительно понюхал, желая убедиться, что это действительно виски. Затем глотнул, чтобы убедиться уже окончательно. Да, это было виски и притом хорошее виски. Что ж, можно выпить, и так он и сделал. Он выпил всю бутылку большими, терпеливыми глотками.

Когда он появился в «Руне», чтобы промочить горло пивом, — виски вызвало у него неутолимую жажду, — и съесть пирог с мясом, сэндвич или еще что-нибудь в этом роде, посетители начали глазеть на него. Что ж, пусть глазеют. Некоторые, впрочем, отворачивались от него. Ладно, пусть отворачиваются. Он был занят своим делом, а они пусть занимаются своим. Но если кто хочет поругаться с ним,, пусть попробуют. Эдди высказал это соображение двум парням, которые ответили, что у них нет ни малейшего желания связываться, и ушли. У пивной стойки было немало других парней, но они ограничились тем, что бросили несколько взглядов в его сторону. И он тоже бросил несколько взглядов в их сторону. Проклятые трусы!

И вдруг он увидел знакомое лицо. Старое, морщинистое, улыбающееся. Эдди всю свою жизнь, с малых лет, видел это лицо, но сейчас никак не мог вспомнить, кому оно принадлежит.

— Я ведь вас знаю, правда? — пробормотал он. Говорить оказалось почему-то нелегко. В этой проклятой дыре можно было охрипнуть. Язык отказывался служить.

— Знаешь, знаешь, Эдди! — воскликнул старик, еще больше обнажая свои беззубые десны. — Чарли. Старый Чарли Шэттль с фермы «Четыре Вяза». Я помню тебя, когда ты еще был вот таким...

— Правильно! — обрадовался Эдди. — Старый Чарли. Добрый старый Чарли. Выпьем, Чарли?

— Спасибо, — ответил старик. — Не откажусь от бокальчика пива.

— Получите кружку, — сказал Эдди и крикнул: — Кружку пива старому Чарли, поживее!

Это здесь не понравилось, опять на Эдди глазели, но пиво старику принесли.

— За твое здоровье, — произнес старый Чарли. — Как ты живешь, Эдди, в наше тяжелое время?

— Не знаю, Чарли, — неопределенно ответил Эдди. — Только вернулся. Понятно? Еще не знаю, как живу. Не слишком замечательно, надо думать, нет, не слишком замечательно.

Старик подмигнул.

— Нагрузился сегодня, малыш? Перехватил малость, а?

— Верно, Чарли. Но не пьян. Не скажете же вы, что я сейчас пьян?

— Нет, нет, Эдди, — тихо засмеялся старик. — Только повадки такие, скажу я, только повадки.

Эдди не был уверен в том, что это значило, и оставил слова старика без ответа. Так или иначе подозревать старого Чарли в недружелюбии не приходилось. Добрый старый Чарли! И тут он вспомнил о нем нечто важное.

— Знаю, Чарли! — радостно воскликнул он. — Вы работаете у Кенфордов и всю жизнь там работали. Верно? Верно! Как Герберт?

Чарли прищурился над своей кружкой и окинул его проницательным взглядом.

— Говорил с ним раз-другой. О теперешних временах и прочем. Парень с голо-

вой — молчит, но думает, по лицу видно. Ну, и я еще заставил его призадуматься.

И старик удовлетворенно заклохтал.

— Его и заставлять нечего, — ответил Эдди. — Мы были там вместе, и я знаю Герберта. Лучшего капрала у нас не было.

— Хороший, крепкий парень, — согласился старик. — В свое время мы с ним часто беседовали. Совсем не то, что старший брат. С тем я не могу говорить. Мистер Артур сам все знает и не желает ничего слушать. А мистер Эрберт слушает и мотает на ус.

— И кроме того, — продолжал Эдди, слишком поглощенный какой-то неясной мыслью, чтобы отозваться на слова старика, — здесь много такого, что всякого парня заставит размышлять. Я тоже начал задумываться...

— О чем, Эдди?

Эдди нахмурился. Вопрос был задан слишком рано. Ему нужно было время, чтобы отдать себе отчет в собственных мыслях.

— Обо всем. Понятно? — буркнул он. Тут надо много думать, Чарли. Пытаюсь разобраться — что к чему, — не очень вразумительно пояснил он.

В это время, совсем некстати, в разговор вмешалась одна из самых громких глоток в Кроуфильде — возчик Эрни Вилльямс.

— Вижу, что ты вернулся, Эдди. Все в порядке, а? Осторожнее, не залей свой новый костюм, парень. Что такое тебе рассказывает старый Чарли?

Старый Чарли, недолюбливавший Эрни Вилльямса, только поежился, предоставив ответ на усмотрение Эдди.

— У нас серьезный разговор, — нахмурившись, сказал Эдди, недовольный вмешательством.

— Заметно по вашему виду.

— Тебе-то какое дело? — вызывающе воскликнул Эдди. — Если уж на то пошло, то и у тебя вид вовсе не блестящий. И вообще, убирайся во-свояси.

— Ну-ну! Не ты здесь хозяин!

— Нет. Но и не ты.

Когда двое здоровенных парней начали препираться, старый Чарли счел за лучшее убраться в сторонку.

— Нечего ссориться, молодые люди, — повторил он несколько раз, но ни один из них его не слушал.

Эдди никогда не любил Эрни Вилльямса, и между ними произошла ссора несколько лет назад. Кроме того, Эдди чувствовал, что так или иначе у него сегодня с кем-нибудь непременно будет скандал. И все-таки, когда они оба стояли с горящими глазами и выжидающе следили друг за другом, у Эдди было смутное чувство, что нет никакого смысла в теперешней ссоре. Все это было частью грандиозной и загадочной несправедливости вокруг него.

Эрни Вилльямс сделал шаг назад, допил свое пиво и поставил бокал на стойку. И Эдди допил свое пиво и поставил кружку на ближайший столик. Повернувшись, он увидел, что Эрни Вилльямс ждет его. И Эдди сразу забыл всю бессмысленность ссоры. Внезапно ему стал нестерпимо противен один вид толстого, мясистого лица Эрни Вилльямса.

— Заруби себе на носу, — говорил Эрни Вилльямс, — Можешь нахальничать где угодно, но не там, где нахожусь я. Понял?

— Так?

— Да, так.

Больше взбешенный насмешливым взглядом Эрни Вилльямса, чем его словами, Эдди неуклюже рванулся к нему, но был отброшен ударом в грудь. Это вывело Эдди из странного состояния, когда он говорил и действовал точно во сне, и он, очертя голову, ринулся в бой. Хозяйка и ее дочь подняли визг, посетители окружили дерущихся, пробуя их разнять. Эрни Вилльямсу удалось нанести несколько ударов. Но Эдди бешено накинулся на противника, его огромные кулаки вздымались и опускались, били и молотили, и вскоре Вилльямс превратился в окровавленную, задыхающуюся руину.

Тогда, пока пивная еще шумела и волновалась, Эдди, шатаясь, вышел, прикрывая рукой подбитый глаз, еле видя, направился прямо домой.

Кто-то тронул его за плечо. Это был старый Чарли.

— Не стоило с ним связываться, Эдди, — сказал старик. — Эрни Вилльямс меня терпеть не может, и я его, но я уж давно не могу постоять за себя в кулачном бою. — Он хихикнул. — Здорово ты его отделал, мальчик. Как нельзя лучше. Рубленую котлету — вот что ты из него сделал. Рубленую котлету!

Эдди не наслаждался победой.

— Не нужно этого было, Чарли, — пробормотал он. — Не нужно. Новые неприятности. Опять и опять неприятности.

— Такова жизнь, — торжественно провозгласил Чарли. — И так будет, Эдди, пока мы не раскинем как следует мозгами.

— Похоже, что теперь Паркинсон придет ко мне с ордером на арест. Нужно с кем-нибудь посоветоваться. Я совсем запутался.

— Я скажу мистеру Эрберту, если он дома, — сказал Чарли.

— Да, скажите, — угрюмо согласился Эдди. — Но поговорить мне нужно с сержантом Стритом.

Вечером в тот же день, трезвый, но весь разбитый, все еще чувствуя себя безысходно запутавшимся, Эдди свернул на проселок, который вел через холмы к Суэнсфорду. Там он и встретил Герберта Кенфорда.

— Эдди! — воскликнул Герберт. — Что с тобой?

Эдди покачал головой.

— Всякое, Герберт.

— Глаз у тебя здорово распух. Эрни

Вилльямс, да? Старый Чарли рассказал мне.

— Да, Эрни Вилльямс. Но не в этом дело, Герберт. Не в этом.

Герберт тревожно и участливо взглянул на товарища.

— В чем же дело? В чем беда, старый дружище?

Эдди снова покачал головой.

— Не могу тратить время на разговоры, Герберт. Мне нужно повидать сержанта. Обязательно нужно.

— Алана Стрита? Ты идешь к нему? Возможно, что его нет дома, Эдди.

— Может, повезет, — пробормотал Эдди. — Нужно повидать его. Рассказать все...

Герберт положил ему руку на плечо.

— Таким, Эдди, я тебя никогда не видал. Выкладывай. Дело наверное не так уж плохо.

— Очень плохо. И скоро может стать еще хуже, — ответил Эдди, продолжая покачивать головой. — Все не так, как надо. Мне теперь недолго и человека убить. Честное слово.

— Эдди, я пойду с тобой.

— Будет очень хорошо, Герберт. Только, знаешь, не нужно этого. То-есть...

— Нет, — решительно сказал Герберт. — Я пойду с тобой, Эдди. Я тоже хочу повидать Алана Стрита. Хочу с ним кое о чем поговорить. Так что, если не возражаешь, пойдем вместе. Ладно?

Эдди старательно изобразил на лице тень своей прежней широкой улыбки.

— Ты и я, капрал Кенфорд, вместе пойдем и доложим сержанту. Пусть уж конец будет или пусть что-нибудь случится, иначе я не знаю, что натворю.

— Идем, — сказал Герберт.

Эдди тяжело шагал своей хорошо знакомой Герберту медвежьей походкой. Вечер был ясный и золотистый. Дорога извивалась между кустами сирени и золотого ракитника. Деревья были словно вырезаны из усыпанного золотыми блестками зеленого бархата. Небо было бесконечно далеким, прозрачным и чистым. Этот вечер, казалось, принадлежал совсем иной жизни, не той, которой они теперь жили. И он, посмеиваясь, расстилал свою красоту над их разочарованиями.

— Совсем как тогда в Сиракузах, — сказал Герберт и, так как Эдди не ответил, добавил: — Поговорим сейчас или оставишь до Алана?

— Оставим на после, — продолжая переваливаться на ходу, ответил Эдди. — Если его нет, попробую рассказать тебе. Но я надеюсь, что он дома... Думал, что сержант никогда больше не понадобится... Но ошибся, Герберт, ошибся! Он мне чертовски нужен!

— Кажется, и я могу сказать то же самое, — задумчиво отозвался Герберт.

— Почему? У тебя-то все в порядке?

— Не знаю, Эдди... Во всяком случае я очень рад видеть тебя. Собирался зайти к тебе и посмотреть, что ты поделываешь. Слышал, что у тебя неприятности. Да... Но неизвестно, дома ли Алан, чем он занят и захочет ли он нас видеть. Возможно, что мы ему порядком надоели...

— Ты ведь не думаешь этого? — тревожно спросил Эдди.

— Не хочу думать. Нет, не думаю! Это был бы удар для меня, если бы он порвал с нами.

— Удар! Не знаю, чем это было бы для меня — при том положении, в какое я попал. Весь день только и твердил себе: «Пойди, поговори с сержантом Стритом, как ты всегда делал там!» Больше мне ничего не остается. Или я окончательно свихнусь.

И тут они заметили шедшую навстречу машину, и Герберт, увидя, кто едет, крикнул и поднял руку.

8

— Что с тобой сегодня? — подозрительно спросила Диана.

В этом вопросе не было ничего особенного. Диана всегда спрашивала, что с ним. Но новым, убийственным и несправедливым был подозрительный тон. Ее устами говорило теперь не прежнее беспокойство, а самое настоящее подозрение, нечто более глубокое и злое, чем все, что когда-либо испытывала бедная Ди. Жизнь дала ей Дерека, а потом отняла его у нее. Теперь Ди не верила ей ни на грош. Каждый, даже Алан, может быть членом пятой колонны.

— Выпивка, — небрежно ответил Алан, — после пира похмелье. Его милость основательно напоил нас вчера. Спроси Джеральда, он тоже принимал участие в этом деле. Если столько выпьешь, то в девяти случаях из десяти на утро просыпаешься трезвым и грустным, с обычной головной болью. Но в одном случае из десяти, а может быть даже и реже, просыпаешься в каком-то переходном состоянии, еще навеселе, под хмельком... И на сей раз, — закончил он, — выдался именно такой случай. Сказать по правде, я все еще немного пьян.

— Не верю, — сказала Диана.

— Клянусь, Ди. Это сущая правда.

Она внимательно посмотрела на него.

— Как Бетти?

Милая, славная Ди, подумал Алан. Знает ведь куда целить. Придется проявить осторожность.

— Прекрасная Бетти все так же красива и так же глупа. Ее посадили рядом со мной за столом, и она подробнейшим образом рассказала мне о своем муже.

— Вполне на нее похоже.

— Я собираюсь к ней сегодня завтракать, — как бы невзначай бросил Алан.

— Мама придет в бешенство. Ты ей сказал?

Алан отрицательно покачал головой.

— Если она спросит, куда я собрался, я ей скажу. Но если не спросит, обойдем вопрос молчанием. И когда я говорю во множественном числе «обойдем»...

— Да, я понимаю, — не скрывая своего недовольства, перебила его Диана.

— Джеральд искал маму после какого-то телефонного разговора. Возможно, что у него какие-нибудь волнующие новости, и это займет маму на продолжительный срок.

Диана пристально посмотрела на брата.

— Мама надеется, что ты будешь работать у этого лорда Дарральда.

— Весьма возможно, — игриво ответил Алан. — Эта мысль меня забавляет. Должен дать им сегодня ответ.

— Я бы на твоем месте не принимала сегодня никаких серьезных решений, — ухо сказала Диана.

— А почему бы и нет?

— Ты в дурацком настроении. Не отрицай, Алан. Я ведь тебя хорошо знаю.

В комнату вошел Джеральд. На лице его играла широкая улыбка.

— Ну что сидите, уставившись на остатки завтрака? Сообщаю вам, что у нас будет сегодня весьма аристократический гость. Заедет около двенадцати выпить бокал по дороге на завтрак к Дарральду. Подающий надежды молодой государственный деятель. Товарищ министра или что-то в этом роде в министерстве имперского сотрудничества. Мой старый приятель — Тубби Ариклифф. По-моему, вы с ним не знакомы.

Нет, они не были с ним знакомы.

— Кто он такой? — спросил Алан.

— Тубби? Его папаша — лорд Бэннерзаль. Слышал о таком? Тубби — младший сын. Мы вместе учились в школе, а потом — в военном училище в Сэндхерсте, старые приятели. В начале войны он служил в моей дивизии, а потом чем-то заболел, надел котелок и занялся политикой. Так или иначе, он приедет сегодня. Джин у нас есть?

— Нет и не предвидится до конца следующей недели, — ответила, вставая, Диана.

— У дяди Роднея, наверное, есть. Где-нибудь припрятан.

— Не думаю, — сказала Диана, беря в руки поднос. — Но если у него и есть, вряд ли мы его получим. Вам придется обойтись одним хересом.

— Отвратительный херес, — проворчал Джеральд, открывая дверь сестре. — Не понимаю, откуда его берут. Ладно, поглядим.

Он закрыл за сестрой дверь, вернулся и с беспокойством взглянул на Алана, который раскуривал трубку.

— Будешь дома, старина, когда приедет Тубби?

— Не знаю. Я должен испариться вскоре после двенадцати. Почему ты спрашиваешь?

— Видишь... Будь к нему снисходителен. Идет? Он не слишком мозговит, бедный Тубби. А мне очень не хочется, чтобы у него создалось неправильное представление о нашей семье.

— Но, послушай, Джеральд, если он достаточно мозговит, чтобы представлять правительство его величества в таком исключительно важном вопросе, как имперское сотрудничество...

— Верно, верно, старина, — нетерпеливо ответил Джеральд. — Но это же политика. У них в семье все занимались политикой. Нужно было найти место и для Тубби. Он чертовски славный малый, только не слишком умен, надо с этим мириться. Итак, поосторожнее с ним, старина. Без твоих штучек. Все — в односложных словах и так далее. Ясно?

Алан улыбнулся и вдруг начал смеяться, смеяться так, что слезы побежали по его щекам. Засмеялся и Джеральд. Его красное лицо стало пурпурным. Так продолжалось минуты две.

— Я пытался объяснить Ди, — прогоготал, задыхаясь, Алан, — только она никак не может понять. Вчера я перепил, а сегодня, вместо обычной тяжести в голове, мной овладело веселье. Я все еще немного пьян, на душе легко... ну, ты понимаешь.

— Отлично понимаю, старина. И у меня такое бывает. Только не сегодня. Рюмка-другая и все в полном порядке. Бедного Джека Стоверса помнишь? Вот у него это часто бывало. Ну, с тобой такого не случится. Но у него это была просто беда. На утро он чувствовал себя так же паршиво, как и накануне вечером. Помню...

Но едва Джеральд начал углубляться в дебри повествования о странной судьбе Джека Стоверса, как послышался голос почтальона, и Алан вышел к нему. Получилась посылка для дяди Роднея — явно с граммофонными пластинками, и Алан понес сверток наверх.

В старом, но все еще роскошном халате цвета красного вина дядя Родней походил сейчас на римского императора.

— Тиберий на Капри, — сказал Алан.

— Почему ты вспомнил его?

— Вы похожи на него.

— Счастлив слышать это, — сказал дядя Родней. — Если бы у нас был театр для взрослых, кто-нибудь мог бы написать чудесную пьесу о Тиберии. Версия, согласно которой он уехал на Капри, чтобы предаваться там оргиям, конечно, совершенная чепуха. Если бы он пожелал, то мог бы по уши погрязнуть в разврате в самом Риме. Кроме того я сомневаюсь, чтобы какой-нибудь здравомыслящий человек предавался оргии больше, чем один раз, для этого надо быть идиотом. Нет, Тиберий покинул Рим потому, что Рим ему опротивел, и именно этого тамошние высокопарные ослы не могли ему простить.—

Родней начал деловито распаковывать пластинки. — Концерт для скрипки Делиуса.. Золотые сумерки прощания и все такое. В ближайшее время проиграем его. Садись, мой мальчик. Что слышно?

Алан рассказал о Тубби Арнклиффе и повторил предупреждение Джеральда о необходимости быть осторожнее.

— Думаю, что Джеральд совершенно прав, — заметил дядя Родней. — Я не знаком с этим молодым человеком, но знавал в свое время его отца — Бэннервала. Он мне всегда казался полоумным. Его жена, мать этого молодого человека, — она дочь старого лорда Глэндестри, — питала поразительную страсть к гвардейским солдатам, ловила их и зазывала к себе днем и ночью. Вероятно, заразилась от своей няньки, когда была еще маленькой. Психо-аналитиков, которые могли бы дать объяснение этому, в те времена не было. Но семья сгорала от стыда, как ты можешь себе представить. Нет, трудно рассчитывать, что этот молодой человек обладает большим умом. Обязательно спущусь вниз поглядеть на него.

— Есть у вас джин?

— Капля. Зачем тебе?

— Внизу нет. А Джеральд говорит, что херес у нас не особенный. Я бы хотел, чтобы напитки были приличные, даже если этот Тубби Арнклифф и не замечает, что он пьет.

— Вероятно, не замечает. Ладно, я тебе дам немного. Что было вчера вечером у Дарральда? Как ты его обработал?

Алан рассказал о вчерашнем вечере в легком и непринужденном тоне, вполне соответствовавшем как его настроению, так и вкусам его слушателя. Дядя Родней, изголодавшийся по таким разговорам, хихикал от удовольствия.

— Ты сегодня великолепен, мой мальчик. Видимо, этот обед принес тебе пользу.

— Вчера, если помните, вы назвали меня человеком приличным, но скучным.

— Правильно, — хладнокровно сказал дядя Родней. — Я сделал это, чтобы немного подогреть тебя, мой мальчик. Испробовать твой темперамент. Как видишь, это дало результаты. Знаешь, я бы не стал отказываться от его денег.

— От дарральдовских? Взять работу в его газете?

— Да. Конечно, тебе придется изготовлять немало вульгарной чепухи — для подсобных рабочих из гаражей и горничных. Но в этом мире тебе приходится жить, так почему же не извлечь из этого выгоды? Если бы был подходящий выбор, я бы, разумеется, указал тебе на него, но такого выбора нет. А если надо выбирать между гангстерами и теми, кто остается в дураках, то лучше присоединиться к гангстерам. Я бы на твоем месте присоединился. Слава богу, я не на твоем месте. Теперь Делиуса, а?

Они прослушали весь концерт. Алан — не очень внимательно. У него не было настроения для музыки. Она доходила до него откуда-то очень издалека.

— Так, — сказал, поднимаясь, дядя Родней. — Через несколько дней я смогу сказать об этом концерте побольше. Но если мне надо одеться, чтобы взглянуть на этого молодого человека, то пора приступить к операциям. Открой кран в этой отвратительной старой ванне, мой мальчик. Пока она наполнится, пройдет добрых полчаса. А про джин я не забуду.

Отчасти для того, чтобы не встретиться с матерью, Алан пошел побродить. Утро благотворно подействовало на его настроение, и он сумел взять себя в руки. Дул легкий ветерок, в глазах рябило от солнечных лучей, всюду были яркие краски. Казалось, что он бродил по добротному академическому пейзажу 1912 года — холмы, поля, сараи, ограды, все четко выписано — отличный тон, здравый английский импрессионизм, никаких глупостей, стоит своих денег, продано в конце первой же недели за триста пятьдесят гиней. Забавляясь, Алан мысленно сидел вместе с художником и его друзьями в «Кафе Ройяль», а потом пересекал Ламанш, ехал в Дьепп... Это дало ему возможность приятно провести время и не думать о себе и своих делах, которым надо было предоставить пускать ростки и цвести, как им будет угодно. А ясное безобидное утро пусть расцветает по-своему. Он же не будет считать золото дня и вечера до тех пор, пока не почувствует его в своих руках.

...У подъезда — великолепная машина. Голоса. Да, из гостиной, которую в это утро, наверное, лихорадочно приводили в порядок, специально для Тубби, Алан скромно вошел в продолговатую комнату, имевшую очаровательный, несколько, впрочем, призрачный вид. Мать встретила его с видом любезной хозяйки. Дядя Родней сидел приветливый и огромный, снова став дипломатом в отставке. Никаких признаков Дианы... Были, разумеется, Джеральд и Энн, общительные и оживленные, словно они устраивали прием в горах на Востоке. Был, наконец, и гость, пивший херес, как подобает мужчине.

Товарищ министра по делам имперского сотрудничества, младший сын лорда Бэннервала, член палаты общин (консерватор) от Слэдберри, и таким образом не только мудрый представитель всех интересующихся судьбами страны жителей Слэдберри, но и надежда (или товарищ надежды) миллионов далеких канадцев, австралийцев, новозеландцев, южноафриканцев и прочих, был довольно высоким и довольно пухлым, золотисто-розовым человеком, казавшимся на первый взгляд лишенным всяких забот, но затем производившим такое впечатление, как будто он только сейчас начинает приходить в себя от какого-то глубокого потрясения. Тубби

страшно хотел нравиться, но не совсем твердо знал, что для этого надо сделать.

— Мой младший брат Алан, — представил его Джеральд, который исполнял обязанности церемониймейстера.—Только что вернулся из армии. Рюмку джина, старина?

— Да, пожалуйста, — поспешил согласиться Алан. Джеральд, который никогда не отличался скупостью, налил огромную рюмку джина. — Молодчина, Джеральд!

— Джеральд рассказывал мне о вас, — медленно и внятно произнес Тубби, словно его могли слушать доминионы. — Мы с ним, знаете, старые приятели. Вы, кажется, обедали вчера у лорда Дарральда?

— Да, — ответил Алан. — Ваше здоровье!

— Дарральд приглашает Алана в одну из своих дурацких смешных газеток, — сказал дядя Родней.

— А, вот как! — ответил Тубби, улыбаясь с виноватым видом — он явно был терроризован дядей Роднеем. — Они не так уж плохи, эти газетки...

— Абсолютно плохи, — строго сказал дядя Родней. — От них пахнет... постелью горничной.

— Откуда вам известен этот запах? — вмешалась Энн со свойственной ей бесцеремонностью мадрасской мэм'сааиб.

Леди Стрит обвела окружающих быстрым взглядом и изобразила на лице улыбку, означавшую, что она не ответственна за разговор и считает его не совсем подходящим.

— У меня есть кое-какое воображение, — ответил дядя Родней. — Возможно, впрочем, что я обижаю горничных, к которым я не чувствую ни склонности — в том смысле, как вы предполагаете, — ни антипатии. А если газеты Дарральда не дурацкие, смешные листки, то что ж они такое, позвольте вас спросить?

— Наиболее могущественные и влиятельные органы нашей печати, свободной и не знающей цепей! — с нарочитой напыщенностью воскликнул Алан. Он только что залпом выпил половину налитой ему огромной порции джина, и теперь сказывались результаты.

— Знаете, в известном отношении вы правы, — сказал Тубби. — Они действительно... гм... очень влиятельны. И мы считаем их... — Тубби приостановился и обвел взглядом комнату, словно новый Флобер, ищущий блестящего и точного определения, — очень полезными. И самого Дарральда тоже. Он всегда... гм... готов к сотрудничеству.

— Полагаю, тебе приходится иметь дело с массой всяких планов и тому подобного, — сказал Джеральд с видом глубокого и лучезарного мыслителя.

— Уверена, что у вас очень интересная работа. — вмешалась леди Стрит.

— Да, пожалуй... — проговорил Тубби.— Мы безусловно должны... гм... установить тесные связи с доминионами.

— Конечно! — подтвердила Энн или Джеральд, или леди Стрит, или все трое вместе.

— А для чего? — спросил Алан.

— Выпей еще, старина, — поспешно предложил Джеральд.

— Спасибо, с удовольствием, — весело ответил Алан.

Тубби почувствовал облегчение, но ненадолго.

— По-моему, это резонный вопрос, — сказал дядя Родней. — Для чего?

— Гм... это как будто ясно... разве не так, сэр? Я хочу сказать... мы объединились во время войны... большинство доминионов... гм... держаю себя превосходно... а теперь мы должны подумать... гм... и объединиться во время мира. Благо империи и все такое, — пробормотал Тубби.

— Совершенно справедливо, — заметил Алан, который после второй порции джина готов был согласиться с чем угодно. Он взглянул на дядю Роднея. — Я не думаю, чтобы вы заботились о благе империи.

— О, как можно так говорить, Алан! — запротестовала леди Стрит, инстинктивно чувствуя, что готовится какой-то подвох. Она бросила на Алана быстрый предостерегающий взгляд и повернулась к Тубби.

— У вас, должно быть, очень много работы?

Но леди Стрит опоздала.

— Конечно, не забочусь, — начал дядя Родней, завладевая инициативой. — Каждый раз, как мне говорили о благе империи и о наших обязанностях по отношению к ней, неизменно оказывалось, что империя означала для говоривших личную выгоду. Но так как для себя я никогда не мог извлечь из империи выгоду, то я вижу это дело в ином свете. Что же касается самих колоний или доминионов, если это название вам больше нравится, то они, по-моему, существуют с целью увековечить самые неприятные черты английской жизни и английского характера — вечерний чай с закуской, шерстяное белье, отсутствие остроумия, веселости и подлинной утонченности, пристрастие к пустякам и лицемерие. Поскольку мне не доставляет удовольствия мороженая баранина, фальсифицированное бургундское и прочая такая же дрянь, нельзя требовать, чтобы я с энтузиазмом относился к их коммерческой предприимчивости. Если они когда-нибудь и присылали нам что-нибудь прекрасное или изысканное, то я лично не имел счастья видеть и оценить это. Что же касается людей, то за исключением хорошенькой девушки из Ванкувера, на которую я однажды наткнулся в Антибе, не помню, чтобы я встретил хоть одного человека из доминионов, который не был бы бесцветной, а то и просто противной посредственностью. Так что боюсь, Арнклифф, — закончил он, глядя на гостя

сверху вниз с любезной снисходительностью, — что вы только напрасно теряете свое время. Еще хересу?

Послышались протестующие восклицания. Бедный Тубби, ярко пунцовый, тоже, запинаясь, бормотал нечто вроде протеста.

— Ну знаете, сэр... Я не могу поверить, что вы говорите серьезно... Я хочу сказать... некоторые из них, конечно, ужасны... Это верно... но дело не в этом... разве не так? Я хочу сказать... мы действительно должны сблизиться, что бы мы о них ни думали... Я слышал, как премьер сам говорил...

Но Алан уже не слушал. Ему было пора спешить, так как предстояло добираться до Саусэмов пешком. Два больших бокала джина и этот идиотский разговор, когда каждый играл какую-то комедийную роль, воскресили и закрепили настроение, в котором он сегодня проснулся, и сейчас он достиг высшей точки веселой безответственности. Он чувствовал себя одним из героев (если их можно так назвать) какого-нибудь захватывающего романа — из тех, что пользовались успехом в период между двумя войнами, одним из этих одаренных, обаятельных молодых людей, добросердечных, но забронированных, собственной безответственностью, которые странствовали из дома в дом, от любовницы к любовнице, как гости с другой планеты. Кто знает, быть может, это единственный способ сделать жизнь терпимой? Делать вид, что вы попали на землю с другой планеты, рассматривать ее как колоссальный зеленовато-синий пузырь, переливающий всеми цветами глупости, блистающий ценными призами для тех, кто может видеть хоть на дюйм дальше, чем дураки.

— Я должен итти, — коротко объявил он, пожимая все еще протестующую руку Тубби. — Очень приятно было познакомиться,—искренним тоном добавил он и исчез, прежде чем кто-нибудь успел задать ему какой-нибудь вопрос, и через минуту шагал в Кроуфильд.

— У вас странный вид, — сказала Бетти.

— И не только вид, — ответил Алан. — Я выпил два огромных бокала джина в честь старого приятеля Джеральда—Тубби Арнклиффа, ныне члена правительства его величества, бог да поможет ему! Затем мне пришлось наддать хода, чтобы попасть к вам во-время. И затем я увидел вас. Сложите все это вместе.

— Хотите еще джина? Боюсь только, что нет льда. Как я выгляжу сегодня?

На ней было зеленое платье и волосы подобраны кверху.

— Очень экзотично. Восточная блондинка. Нечто весьма капризное и дорогое, импортированное Кубла Ханом. И немного от русалки, — добавил он, серьезно рассматривая ее. — Загадочная женщина моря. Применяя терминологию аналитической психологии Юнга— анимистический комплекс.

— Вы — прелесть! — счастливым голосом сказала Бетти.—Я не понимаю ни одного слова из того, что вы говорите. Но это звучит захватывающе.

— Это и в самом деле захватывает.

— Завтрак будет не такой захватывающий. Предупреждаю вас. Гадость будет. Дом имеет ужасный вид, правда?

Он осмотрелся.

— Очень похож на наш, — решил Алан. — Несколько лет назад мне бы это и в голову не пришло, но, вернувшись после длительного отсутствия, я вижу, что ваш дом и наш почти совсем одинаковы. Оба они пережили, так сказать, свое время и обоим не предстоит ничего, разве что пойти на слом.

— Ну, не так уж все плохо, — запротестовала Бетти, не понимая Алана.

— Я говорю совсем о другом. — Он снова бросил взгляд кругом. — Некоторые вещи здесь очаровательны. У нас тоже кое-что сохранилось. В самом деле, оба дома похожи на музеи.

— Вы должны посмотреть мой коттедж. Я завела себе. Он чудный.

— Превосходно. Приглашайте, Бетти.

— Вы приглашены, дорогой.

На мгновение взгляды их встретились. На лице ее появилась медлительная и загадочная улыбка. Он может болтать любой вздор о ее экзотичности, таинственности и анимистичности, но нельзя отрицать, что Бетти действительно может взволновать человека. Алан был сейчас взволнован.

— Ну, пейте же и сядем за стол! — весело воскликнула она.

Столовая была небольшой темноватой комнатой, битком набитой вещами, говорившими о полковнике Саусэме и других предшествовавших ему Саусэмах, и Бетти ярко выделялась на этом фоне. Прислуживала пожилая горничная, которая с некоторых пор почувствовала к Бетти явную антипатию и рассматривала этот завтрак с неодобрением. Через несколько минут Бетти отпустила ее.

— Я предупреждала вас, что еда будет бредовой, — сказала Бетти. — Это моя вина. Я хотела приготовить для вас что-нибудь сама, — вы, конечно, не поверите, но я, честное слово, умею готовить, — только я забыла и проспала. Должно быть я была вчера немножко пьяна.

— А я все еще немного пьян, — заявил Алан.

— Это идет вам. Некоторые мужчины интереснее, когда они на взводе. Вы принадлежите к их числу. Что вы делаете сегодня?

— Сегодня мне нужно только позвонить этому Мэркинчу, — помните, вчера у Дарральда? — и сказать, что я принимаю их предложение. Он и так на меня косо посмотрел, когда я попросил ночь на раз-

мышление. Так что позвонить ему просто необходимо.

— Вы можете сделать это отсюда.

— Это было бы очень хорошо.

— О чем говорить! Расскажите мне, что вам предложили.

Он объяснил ей, что ему придется делать и сколько ему будут платить, и добавил:

— Вчера я не мог сказать «согласен». Я очень колебался. Но сегодня решил согласиться.

— Вы будете последним дураком, если откажетесь, дорогой.

— Если Тубби может быть товарищем министра имперского сотрудничества, то единственное, что я могу добавить к комедии, это писать всякую чушь для «Газетт». Если все мы паясничаем, то и я имею право извлечь из этого некоторую выгоду. А когда-нибудь, чего доброго, вылезти из заднего ряда статистов в первый ряд комиков. Что это вы намешали мне в бокал, крошка?

— Порядочно джина и какую-то имитацию апельсинного сока. Пейте и не огорчайтесь. Ну, а что вы намерены делать после телефонного разговора?

— Если вы меня не выгоните, усядусь где-нибудь поудобнее и буду восхищаться вами, сравнивая вас с летним днем, и все такое.

— Нет, я вас не выгоню. Рисовый пудинг, не возражаете? Никогда не прикасаюсь к нему. А я пока покурю. И мне не надо будет курить позже, когда я стану летним днем и все такое. Что это такое анимистический комплекс?

— Это довольно сложная штука, — ответил Алан. — И трудно объяснимая, когда занимаешься рисовым пудингом.

— Тогда не трудитесь напрасно, только объясните как-нибудь потом. Я хочу знать. Не думайте, что я уж совсем безмозглая. Я, конечно, не образована, как чорт, но я не дура. Да, да, я знаю, что вы никогда со мной не обращались, как с дурой. И это мне тоже нравится в вас. Я для вас не забава. И потом, Алан, — она торжественно посмотрела на него, и глаза ее были темнее, чем обычно. — Теперь, когда вы стали старше и немного опытнее, вы более интересны, чем прежде. Знаете вы это?

— Нет, но я в восторге, — сказал Алан, и он действительно был в восторге.

Он улыбнулся ей. Как он отчаянно был влюблен в нее, когда был юношей (теперь — во всяком случае в данный момент — он чувствовал себя веселым, но старым).

— Вы знаете моего дядю Роднея? Вот кому вы понравитесь.

И Алан начал рассказывать ей о дяде Роднее.

Но она вскоре встала:

— Лучше идите и позвоните.

— Верно. — сказал он и, обойдя стол, оказался рядом с ней. Бетти не сделала никакого движения. Она ждала, покорная, с широко открытыми глазами. Алан обнял ее с еще более восхитительной легкостью, чем накануне вечером, и губы ее открылись, отвечая на его поцелуй. Потом она осторожно высвободилась из его объятий.

— Лучше позвоните.

— Что-то не хочется, — проворчал он.

— Но вы должны, дорогой. Кроме того вы не можете ухаживать за мной здесь. Это не безопасно. У меня есть другая идея.

— В чем она заключается?

Он чувствовал, что совсем одурел.

— Скажу потом, — весело ответила Бетти, ведя его к телефону. — Телефон здесь. А я пока приготовлю кофе. На кухне они делают просто бурду.

Ему не сразу удалось дозвониться. Должно быть, они там все еще говорили с Парижем, Римом и Вашингтоном. Что ж, может быть и он скоро будет делать то же самое. Сегодня он относился к этим людям и их фокусам совершенно иначе, чем вчера, он чувствовал себя почти «внутри круга». Когда вы вне круга, когда вас посылают туда и сюда и приказывают вам и то и это, вы неизбежно бываете подавлены, но сейчас Алану казалось, что он знает, как они это делают. Это было ничуть не труднее, чем ухаживать за Бетти, если только не принимать ее всерьез и не приходить в отчаяние. Когда он, наконец, добился Мэркинча, он говорил коротко и довольно небрежно.

— Говорит Алан Стрит. Насчет работы, которую вы мне вчера предложили. Помните?

— Угу. Принимаете ее?

Алан тоже ответил звуком, приближающимся к «угу».

— Отлично, Стрит. Мы платим вам тридцать пять в неделю плюс расходы. Срок-три месяца. Вы имеете право подписывать ваши вещи. Во вторник или в среду позвоните в редакции с Фэрли. Лучше во вторник. Идет?

— Идет, — ответил Алан, который считал, что пора начать изъясняться на таком же диалекте. — Во вторник буду в «Газетт».

— Прекрасно. Вчера, когда вы уехали, хозяин готов был держать пари, что вы откажетесь, — засмеялся Мэркинч. — А я с ним спорил. Одно очко в мою пользу. Внимательно выслушайте Фэрли. Весьма вероятно, что вам захочется дать ему коленом под зад, но он знает свое дело и может вас научить. Увидимся в Лондоне, Стрит.

Вот и все. Так просто. Стоит только, чтобы вас познакомили с одним-двумя нужными людьми, стоит только перебросить несколькими фразами между двумя рюмками джина — и вот вы уже внутри круга. Отправившись на поиски Бетти, Алан внезапно почувствовал негодующее презрение к миллионам близких людей, разоряющих

рот и глазеющих, ждущих, чтобы им устроили жизнь.

— Очень хорошее кофе, — сказал он Бетти.

— Я же вам говорила. Ваше дело верить или не верить, но я могу быть вполне хорошей хозяйкой, если хочу. Пришлось выучиться во время войны. Уговорились насчет работы? Когда вы начинаете?

— Должен явиться в газету во вторник.

— Такое дело надо отметить.

— Отлично. Как и где?

Она улыбнулась своей особенной улыбкой, и Алан должным образом ее оценил.

— Слушайте, — сказал он. — Нечего всплывать из таинственных зеленых глубин и улыбаться мне так, если эта улыбка не означает чего-нибудь.

— У меня явилась одна мысль, — медленно произнесла Бетти. И, заставив его прождать несколько секунд, она бросила ему широкую откровенно-порочную усмешку, устоять против которой было невозможно.

— Что бы это ни означало, я говорю: «Конечно, да, Бетти»!

— Вот, что я придумала. Едем ко мне. Я так или иначе собиралась сегодня в свой коттедж. Машина в моем распоряжении до среды. Поедем вместе. Во вторник вы отправитесь в Лондон, а я вернусь сюда. Мы будем одни. Там есть неплохой кабачок, недалеко — мили полторы по шоссе, сможем выпить и закусить, если захочется. Поживем несколько дней в свое удовольствие. Вы заслужили это. И я тоже. Так как?

Он качнул головой, улыбнулся ей, подошел вплотную и взял ее пальцами за подбородок.

— Один раз хватит, — прошептала она.— Здесь, честное слово, опасно. Подождите, пока приедем туда.

Когда Алан вернулся в свое кресло, он слегка дрожал, необычайно тщательно набивая трубку табаком.

— Мне нужно заглянуть домой, сунуть кое-какие вещи в чемоданчик. Когда мы выедем?

— Предлагаю после чая, — ответила Бетти. — В половине шестого или в шесть. Сделаем так: я вас подвезу, юркну за угол и подожду, а потом — поехали! Дорога не больше часа. Райское местечко, дорогой. А теперь давайте поговорим спокойно. Расскажите мне толком, как я действительно выгляжу. Только вы один и умеете со мной говорить по-настоящему.

И все время до чая он любовался изысканной маской ее лица, изломанной еле заметной, тонкой улыбкой и говорил всякий вздор, из которого не мог потом вспомнить ни слова. В праздной болтовне и многозначительных взглядах день проходил, как сон, но где-то за сном билася пульс, кровь Алана отсчитывала часы. Подали чай и убрали его, словно тень прошла по стене.

— Так и кажется, что мы сидим в летнем дворце какого-нибудь забытого китайского императора, — заметил Алан.

Она улыбнулась и вдруг вскочила, вся полная энергии и целеустремленности.

— Время ехать. Помогите мне снести вещи в машину.

... Она остановила машину ярдах в двухстах от поворота в Суэнсфорд. Кругом не было никого.

— Не задерживайтесь. Никаких семейных излияний и тому подобного. Если меня поймают с поличным, я скажу, что обещала подвезти вас к станции.

— И пяти минут не прождете, — пообещал Алан и развил максимальную скорость. В холле было пусто. Он добежал до своей комнаты, напихал мелочей в чемодан, выбежал и на верхней площадке лестницы столкнулся с Дианой.

— Куда ты едешь?

— Я принял работу в «Газетт». Должен явиться в редакцию.

Ему было очень неприятно лгать Диане, но ничего лучшего он придумать не мог.

— Сегодня? Где ты остановишься?

— Не знаю. Это неважно.

Она пристально взглянула на него.

— Ты что-то не договариваешь, Алан.

Диана отступила в сторону, видя его нетерпение.

— Хорошо, поезжай. Ты не обязан отдавать мне отчет.

Она больше не обвиняла его. Она примирилась, сложила оружие. Она отступила не на шаг, а куда-то далеко, далеко. Казалось даже, что она стала меньше, старше, бессильнее.

Это было из другого мира, не того, в котором Алан прожил весь день. И внезапно, словно кто-то надавил на обнаженный нерв, сердце его болезненно сжалось.

— Сейчас я должен бежать, Ди, — мягко произнес он. — Это был удивительный день. Я тебе потом все объясню. Мы ведь с тобой еще не поговорили по-настоящему. Подожди, мы еще поговорим. И не будь такой грустной, Ди. Ты не потерпела никакого поражения.

Он прыгал вниз по ступенькам так, словно должен был догнать сбежавший от него зеленовато-синий пузырь земли. В холле попрежнему не было никого. Он побежал по аллее. Бетти предусмотрительно оставила дверцу машины открытой.

— Нам придется проехать назад по Кроуфильдской дороге, — сказала она, когда машина тронулась, — и повернуть на Банчестер. Движение сейчас небольшое. Через час будем на месте.

Она стала напевать что-то странным бесцветным маленьким голоском, гораздо более молодым и гораздо менее оформившимся, чем все остальные ее черты, словно он не мог их догнать. В ней было что-то трогательное. Но сейчас не совсем подходящее. Вроде того чувства, которое вызвала в Алане Диана.

— Мне становится весело, — сказала Бетти.

— Я был весел весь день, — ответил он. — А теперь становлюсь еще веселее.

Так ли это было? Он решительно сказал себе «да, так». И в этот момент увидел двух людей на дороге. Серый костюм, коричневый костюм. Герберт Кенфорд и Эдди Мольд.

— Бетти, остановитесь! Остановитесь! — крикнул он.

— Зачем? Что случилось?

— Эти два парня... Они, вероятно, ко мне. Остановитесь же!

— Хорошо, хорошо! — сказала она раздраженно, останавливая машину в нескольких ярдах от пешеходов. — Только поскорее... и смотрите не болтайте. Один из них знает моего отца. И во всяком случае не размазывайте!

После того, как Герберт крикнул ему и поднял руку, оба остановились. Алан пошел к ним навстречу.

— Здравствуйте, ребята! Вы ко мне?

Он заметил, что у Эдди вид такой, словно он побывал недавно в серьезной переделке, а у Герберта более сосредоточенный, чем всегда. И Алан догадался, что они шли к нему не просто с дружеским визитом.

— Да, — ответил Герберт. — Эдди очень хотел вас видеть.

— Надо с вами поговорить, сержант, — пробормотал Эдди, и Алан прочел в его взгляде отчаянный призыв на помощь. — Иначе я чорт знает, что натворю.

— И я тоже хотел вас видеть, — продолжал Герберт. — Потому и пришел вместе с Эдди. Но вы куда-то уезжаете?

— Да. Что у вас случилось?

Алан взглянул на Эдди.

— Так сразу не скажешь, — тихо ответил тот. — Началось с кое-каких неприятностей с женой. Она шаталась с янки, когда меня не было. И все знали... Но это только начало. Что делать, ума не приложу. Голову потерял, честное слово...

— А с тобой что, Герберт?

Герберт угрюмо усмехнулся.

— Со мной не так плохо, как с Эдди. Но и я потерял голову. Выхода не вижу. Вот почему мы пришли посоветоваться с вами, Алан. Но если нельзя, значит нельзя.

Оба они посмотрели на Алана. Тот знал этот взгляд. Он не раз ловил его, и часто это было при очень тяжелых обстоятельствах. На мгновенье ему показалось, что он возвратился в пот и пламя боя. И он знал, что должен делать.

— Сказать по правде, и я потерял голову. Ладно, побеседуем. Идет?

— Само собой, сержант, — сказал Эдди с невыразимым облегчением.

— Хорошо. Подождите минутку, ребята. — попросил Алан. — А затем я ваш.

— У вас странный вид, — сказала Бетти, открывая дверцу машины. — Что случилось?

— Простите меня, Бетти, — очень спокойно ответил Алан, — но я не могу ехать. Я должен остаться и поговорить с этими парнями.

— Вы с ума сошли! — она была взбешена. — Не хотите же вы сказать, что бросаете меня.

— Простите меня. Но я должен. Видите ли, Бетти, мы вместе были на фронте...

— Плевать мне на то, где вы были! — со злобой выкрикнула она. — Я вам одно скажу: между нами все кончено. Вот, держите ваш проклятый чемодан.

Машина сорвалась с места, ринувшись прямо на Герберта и Эдди, которым пришлось лихо отпрыгнуть в сторону, бешено загудела и скрылась из вида. Алан взял свой чемодан. Двое других подошли к нему.

— Поскольку меня высадили с вещами, — проговорил Алан, смущенно улыбаясь, — полагаю, что нам придется отправиться ко мне, чтобы я мог освободиться от этой обузы. В саду у нас есть старая беседка, и там мы можем посидеть, пока не станет холодно. А потом переберемся в дом и будем продолжать разговор. Сдается, что у нас есть о чем поговорить. Итак, пошли...

9

— Как насчет пива? — спросил Алан. — В доме, наверное, найдется.

— Что касается меня, то благодарю, — ответил Эдди. — Последние два дня пил больше, чем полагается.

— И я тоже не хочу, спасибо, Алан, — проговорил Герберт. Голос его звучал немного мечтательно. Он выглянул из беседки, где они сидели на потрепанных соломенных стульях. — Хорошо как у вас.

Через маленький просвет в зелени был виден ручей, заливные луга, осоки и камыши, густые кусты боярышника и нежные ивы. Все было озарено и подернуто золотистой дымкой заката. Все было знакомо и близко, и в то же время имело очарование некоей обетованной земли. Это чувство очарования не покидало всех троих до конца.

— Ну, Эдди, — тихо сказал Алан, — что же у тебя произошло? Расскажешь нам?

— Конечно, — ответил Эдди. — Если только смогу. — Тщательно подбирая слова, он начал рассказ с того момента, когда попал домой и нашел свою телеграмму на полу. Слова ему давались нелегко, но и Алан, и Герберт поняли все, что с ним произошло.

— Вы не подумайте, что я кого обвиняю, — закончил Эдди. — Жену, и ту теперь не виню. Но я совсем взбесился, особенно, когда хватил лишнего, а этого делать не следовало. Но они меня загнали в тупик, вся эта проклятая компания. Если так будет продолжаться, сержант, я не знаю, что сделаю. Похоже, лучше мне проситься обратно в армию. Я думал, что вое-

вращаюсь домой, а попал неизвестно куда. И я не могу найти выхода. Я виноват или они? Если я, что мне делать? Если они, то что с ними со всеми случилось?

На несколько секунд водворилось молчание. Герберт бросил вопросительный взгляд на Алана. Эдди отвернул в сторону свое распухшее от кровоподтеков лицо.

— Эдди, — мягко сказал, наконец, Алан, — можно тебя кое о чем спросить?

— Можете спрашивать что вам угодно, дружище. Что вы хотите знать?

— Видишь ли, речь идет о тебе и твоей жене, — проговорил Алан с некоторой запинкой.—Предположим, об этом знали бы только вы двое — о том, что она сделала. И никто больше. Простил бы ты ей?

— Она не должна была этого делать, конечно, — задумчиво сказал Эдди. — Когда я был там, на фронте... Это просто нечестно. Но у нее умер ребенок... и вообще... как сказала жена Фреда Розберри... одно к одному...

— И в результате человек приходит в такое состояние,—закончил за него Алан,— когда ему все кажется неважным и ненастоящим, и на все ему наплевать. Как когда он напьется.

— Я мог, конечно, отругать ее как следует, а потом сказать: «Ладно, кто старое помянет, тому глаз вон». Мог, безусловно, — ответил Эдди.

— Если ты спросишь моего мнения, Эдди, — медленно сказал Герберт, — то этого ты и хочешь. Мне кажется, что ты сейчас раскаиваешься.

Эдди ответил не сразу.

— Может быть ты и прав, Герберт, — согласился наконец он.

— Не может быть, а так и есть, — поправил Алан.

— Я хочу поступить по-честному, — сказал Эдди. — И если это честно, я так и сделаю. Но в Кроуфильде мы оставаться не можем. Да я и не хочу. Что с нами со всеми сталось? Скажите мне.

— Я думаю, что могу тебе объяснить,— ответил Алан. — Ты возвращаешься из армии, где привык к другим ребятам, делавшим вместе с тобой общее дело, суть которого была вам понятна. Верно? А здесь люди иные. Одно время и они были такие — после Дюнкерка, пока они опасались вторжения. Но когда ощущение опасности, спаявшее их, исчезло, они снова начали расползаться и, пожалуй, залезали в свои щели глубже, чем раньше, именно потому, что им пришлось некоторое время держаться вместе. Они сейчас почти такие же, какими были до войны. Но ты стал иной, и в этом вся штука. И ты ждал здесь чего-то такого, чего не нашел. А они говорят, что тебе надо устроиться, и большинство из них подразумевает под этим, что ты не должен ждать чего-то особенного.

— Что же выходит? Должен я взяться с ними за ручку, или что?

— Нет, не должен! — горячо воскликнул Герберт. Это было так непохоже на Герберта, что двое других уставились на него с изумлением. Герберт смутился. — Я считаю, — сказал он, — что Алан прав. Но они не все такие. Некоторые из них понимают нас. И они на нашей стороне. Нашелся человек, который сказал мне, чтобы я ни за что не отказывался от своих убеждений, не позволял устроить мне спокойную жизнь, отучить меня мыслить, убедить меня в том, что опять можно жить по-старому, не заботясь о других. Она... то-есть, этот человек... сказал, что все мы теперь крепко связаны, нравится нам это или нет, и если мы не будем работать и думать друг за друга, опять будет ненависть, кровь, нищета.

Эдди уставился на него.

— Так со мной никто не разговаривал. А многие беседовали — директор, и священник, и полисмен, всякий народ.

— Кто это был, Герберт? — спросил Алан.

Герберт замялся.

— Девушка. Та самая, с авиазавода, что спорила с нами тогда в кабачке.

Эдди был поражен.

— Что? Эта черненькая, смазливая, которая все время лезла в бой?

— Да, только она совсем не такая. Ее зовут Дорис Морган, помните? И она высказала тогда несколько мыслей, которые... гм... ну, заинтересовали меня. Позавчера мы с ней встретились, потоворили по душам. Очень хорошая девушка.

Он взглянул на них с вызовом.

Алан широко улыбнулся.

— Я так сразу и подумал. Немножко резкая и не совсем в моем вкусе, но тебе, Герберт, очень подходит. В самый раз. И она все это сказала?

— Да, и еще многое другое. Думаю, что она действительно мне подходит. Я должен встретиться с ней завтра. Трудно только все это.

— Что трудно? Да ну же, Герберт, выкладывай все как есть. Стесняться нечего. В свое время мы с Эдди прошли через все это.

— Что правда, то правда, — отозвался Эдди, впервые расплываясь в улыбке.

— Собственно говоря, — продолжал Алан, — не знаю, на каком я сам свете. Я веду себя, как дурак...

Герберт искоса взглянул на него.

— Кажется, в машине сидела дочь полковника Саусэма?

— Да. Но забудем ее. И сейчас мы говорим о тебе и о твоей девушке. Так что же трудного?

— Конечно, слишком рано сейчас говорить, — несколько унылою начал Герберт,— но все как-то не то. Она — городская, работает на заводе и все такое. А я земледелец. Если она переберется ко мне, она

пропадет. А если я к ней, я пропаду. По крайней мере так нам сейчас кажется.

— Понял, — проговорил торжественно Эдди. — Ты прав, Герберт. Славная девушка, только я не представляю себе, как это она встанет в пол-шестого и будет печь булки и пироги для дюжины косарей.

— Постой, постой!—воскликнул Алан.— Начать с того, что раз она работала на заводе, значит, привыкла вставать в любой час и знает, что такое тяжелая смена. И я не верю в противоречия между городом и деревней. Эти разговоры уже устарели. Мы построили заводы в сельских местностях, и эти заводы должны будут работать. И нам придется сохранить фермы на окраинах города. Вы договоритесь. Мне кажется, что ты сокрушаешься напрасно... Но как начался между вами разговор на такие темы, Герберт? Я думал, что ты спокойно устроишься на ферме и ни о чем не будешь задумываться. Что произошло?

Смущение Герберта рассеялось. Он рассказал об ужине в четверг вечером и обо всем, что перечувствовал тогда.

— Вы не думайте, что я плюю на своих. Я к ним очень привязан. А они позаботились обо мне и тепло меня встретили, так что я не мог отделаться от чувства, что веду себя, как неблагодарная свинья. Но я знал, что все это не то, что нужно. Дорис права. Я говорил ей, что на ферме легко замкнуться в собственной скорлупе. А она сказала — если ты замыкаешься, ты начинаешь умирать. Война нам это показала. И я просто не в состоянии был слушать, как отец и брат разговаривают, словно на свете нет никого, кроме нашей семьи, и вся задача в том, чтобы вспахать наш клочок земли и вырастить урожай, а из остальных вытянуть сколько сможем. Все это было и раньше. А куда это нас привело?

— Чего же ты хочешь, Герберт? — спросил Алан. — Коллективных хозяйств, колхозов?

— Я еще не знаю, чего хочу, Алан. Не было времени подумать как следует. И я человек неученый. Но я постараюсь выяснить, что лучше. Ясно только одно: не то хорошо, что хорошо для меня, а то хорошо, что хорошо для всех. Я знаю фермерский труд и люблю его, но мне все равно, буду ли я работать в своем собственном хозяйстве или объединюсь с другими в каком-нибудь кооперативном товариществе или пойду работать в коллективное хозяйство русского типа. После всего пережитого невыносима прежняя отвратительная алчность и злобный визг, словно голодные собаки дерутся из-за куска падали. Не для того я вернулся, не за это я сражался на фронте. А если теперь, когда опасность миновала, наши собираются жить опять так, то я лучше уеду и попытаю счастья где-нибудь в другой стране. Но я не хочу этого делать. Я хочу жить здесь и помочь нашей стране пробиться вперед. За это стоило воевать, и мы должны позаботиться, чтобы в Англии стоило жить.

— Верно, — заметил Эдди. — но разве от нас, фронтовиков, зависит это?

— Нет,—ответил Алан.—Так дела не решить.

— Я этого и не говорю, — согласился Герберт. — А кроме того, есть много ребят, вернувшихся из армии, которые не согласны с этим. Вы слышали их, Алан? И, наоборот, многие, кто даже близко к армии не был, думают как мы.

Алан подмигнул Эдди.

— Его Дорис.

— Она не моя. Но она, конечно, из таких. Вот почему она злилась тогда в Лэмбюри. А с ней можно говорить так, как я сейчас говорю с вами.

— Тогда тебе чертовски повезло, — сказал Эдди. — Держись за нее крепко. И не задумывайся о том, где вы будете жить.

Минуты две все трое молчали. Золотая дымка сгустилась, в длинных тенях появилась синева, предвестник ночи, яркая зелень лугов потемнела. Время от времени проносилось дуновение холодного ветерка. Алан зябко передернул плечами.

— Не зайти ли в дом?

— Если вы не хотите, то и я нет, — отозвался Герберт.

— Мне и здесь хорошо, — сказал со своей стороны Эдди. — Тут очень приятно.

— Тогда посидим еще немного. И я полагаю, вы хотите теперь послушать меня. Так вот, вы появились как раз во-время. Я собирался поступить, нет, я поступил как самый последний идиот. Я ехал, чтобы начать работу в «Газетт».

И Алан рассказал об обеде у лорда Дарральда и изобразил в лицах свою беседу с Дарральдом и Мэркинчем. Опустив все, что касалось Бетти, он закончил рассказ своим сегодняшним телефонным звонком.

— Я вас не понимаю, Алан, — ворчливо сказал Герберт. — Как вы можете работать на этих людей? Вы же знаете, каких статей они от вас потребуют.

— Конечно, знаю. И если бы дело дошло до писания, я бы, вероятно, писать не смог. Но я хочу вам объяснить, почему я принял эту работу и куда я ехал в этой машине.

— Нет необходимости объяснять, если вы не хотите, — сказал Эдди. — С меня достаточно и того, что вы сказали. Я же знаю, что товарища вы никогда не подведете. И Герберт тоже знает это...

— И все же я объясню, — решительно проговорил Алан. — Я должен это объяснить не только вам, но и себе. И поэтому я, может быть, буду говорить слишком долго.

Как бы для того, чтобы выиграть время, он раскурил трубку и следил за вьющимся из нее дымом.

— Вы оба ждали дома одного а нашли

другое. Возможно, для тебя, Герберт, это было не так заметно, как для Эдди. Но помогла эта девушка. А что случилось со мной? К чему вернулся я? Сказать по правде, к своего рода безумию. У меня здесь есть старый дядя, фантастическая музейная редкость, но далеко не дурак. Он-то мне и объяснил, что происходит. Распад, полный распад. Класс, к которому все эти люди принадлежат, и их общественный строй просто-напросто разваливаются на части. Каждый из них — в тупике. Каждый обвиняет другого в том, что он свихнулся. И правильно. Как особому классу, делать им больше нечего. Но они не могут или не хотят выйти на дорогу, смешаться со всеми и двигаться с ними куда-то. И они остаются на месте и тихо, благопристойно сходят с ума. Я старался убедить себя в том, что это не имеет большого значения и даже довольно забавно. А затем, для пущей верности, я должен был убедить себя, что вообще ничего на свете не имеет значения и вся жизнь довольно скверная шутка. Сделать это нетрудно, особенно, если вы выпили несколько рюмок джина и перед глазами у вас хорошенькая соблазнительная бабенка...

— Вроде той штучки, в машине, — перебил Эдди. — Я рассмотрел ее. Паршивый у нее характер, должно быть.

— Подождите, — вмешался Герберт. — Какое касательство ко всему этому имеет лорд... как его... Дарральд и «Газетт»? Вы же не будете утверждать, что эти люди тоже сумасшедшие.

— Строго говоря, сумасшедшие... — ответил Алан. — Но в другом роде. У них масса хлопот, и они знают что делают — до известной степени. Они получили власть и намерены сохранить ее, пока мы не зададим им перца. Но вы понимаете, почему я попался на удочку? После людей, которых вы знали всю жизнь, людей, близких вам, но зашедших в тупик и бормочущих всякий вздор, вам интересно встретиться с другими, которые думают, что они знают, что делают и куда идут. И когда все начинает вам казаться смесью скверной шутки и жульничества, вы решаете, что имеет смысл стать партнером в жульническом предприятии. Был у нас сегодня утром один тип, друг приятель моего брата. Он полез в политику потому, что его семья всегда занималась политикой, и сейчас он уже товарищ министра, и не успеем мы оглянуться, а он обзаведется мозгами, как этот тип может стать членом кабинета. И остается одно из двух — либо подпевать ему в надежде урвать что-нибудь для себя, либо встать и разоблачить его и всех тех, кто поставил его на высокое место.

— Что ж, меня это устраивает, — заметил Герберт. — Отчего бы не встать и не послать его куда следует? Что мешает?

— Ничто! — воскликнул Алан. — Я готов на это в любой момент. Но утром я рассуждал иначе. Утром мне это казалось нестоящим. Все на свете шумный фарс — вот как я это воспринимал.

— Жизнь — серьезная штука, — возразил Герберт. — Мы живем только раз и не имеем права играть с ней.

Эдди ухмыльнулся.

— Ты и раньше принимал все всерьез, Герберт?

— Да, и это вовсе не казалось тебе смешным сегодня днем, когда мы встретились, — ответил Герберт с оттенком раздражения. — А сейчас ты такой храбрый, потому что немного успокоился.

— Это верно, я немного успокоился, — сказал Эдди и добавил в виде извинения. — Я только хотел подразнить тебя, Герберт. А вообще ты прав.

— Понимаешь, Герберт, что я хочу сказать? — продолжал Алан очень серьезно. — Вы столкнулись с другим, а я с джентльменской пустоголовостью, с лишними людьми. Они держат шляпу в руках, но им некуда итти. Вопреки всему они надеются, что время ради них повернет вспять и на следующей неделе они могут внезапно оказаться в тысяча девятьсот пятом году. Они отсекают себя от ствола и корней, и их ждет смерть. Оставаться с ними я не могу. Я это знаю. И сейчас... когда я пришел в себя, я понимаю, что не могу писать всякую чушь для Дарральда и ему подобных, которые подметили, что люди в большинстве ограничены, близоруки, ленивы, и намерены пустить в ход все средства, чтобы сделать их еще более ограниченными и близорукими.

— Такой, значит, замысел? — спросил Герберт.

— Именно такой. И я почти ввязался в это дело, хотя я бы долго не выдержал. Нет, с ними я итти не могу. И здесь оставаться тоже не могу. Не хочу обманывать и не хочу гнить. Спрашивается, что же я должен делать?

— Дорис говорит «сражаться!», и я вижу, что она права, — воскликнул Герберт.

Наступившее молчание было прервано женским голосом.

Алан удивленно вскочил.

— Диана!

Двое других также встали, стараясь рассмотреть ее в сумерках.

— Простите меня за вторжение, — сказала она. — Я сестра Алана.

— Познакомься, — сказал Алан. — Это — Герберт Кенфорд. А это — Эдди Мольд. Мы вместе были на фронте и вместе вернулись. Я тебе о них рассказывал. Ты помнишь?

— Да, помню. Я нечаянно слышала конец вашего разговора. Услышав голоса, я подошла, удивляясь, кто бы это мог быть здесь: все наши уехали в гости, и мне казалось, что и ты, Алан, уехал. Ну, а прерывать вас мне не хотелось. Простите меня, если я не должна была слышать.

— Прощать нечего, — сказал Алан. — Наоборот, я лично даже доволен.

— Обо мне ты не говорил, — продолжала Диана, — и я не могу сказать, чтобы это меня огорчало. Но я думаю, что и для меня есть место в твоих планах?

— Да, есть, Ди. Ты помнишь, что ты говорила вчера насчет того, чтобы заняться чем-нибудь и быть ближе к людям?

— Помню. — Она вопросительно взглянула на Эдди и Герберта, немного оробевших в ее присутствии. — У меня погиб муж-летчик. И я очень тяжело это переживаю. Не знаю, что с собой делать. Я сказала Алану, что не могу больше здесь оставаться. Мы говорили об этом вчера. — Голос ее немного дрожал. — А потом мне показалось, что Алан стал другой, и я очень огорчилась. Мы всегда делились нашими горестями и радостями. Теперь я знаю, Алан, почему ты мне показался другим, и теперь я чувствую себя иначе. В тот момент, когда ты сбегал по лестнице с чемоданом, я ненавидела тебя. Я знала, что ты делаешь какую-то ошибку.

— И я знал, — признался он, — хотя и старался всячески убедить себя в противном. Вот почему по мне было видно, что игра у меня неважная. А по дороге я встретил Герберта и Эдди. Они хотели со мной поговорить. И я понял, что не должен был ехать. Прости, Ди, если я огорчил тебя.

Диана улыбнулась и кивнула головой. На несколько секунд водворилось молчание. Можно было слышать плеск и журчанье ручейка, последнее чириканье птиц.

— Если я правильно поняла, — неуверенно начала Диана, — все вы разочарованы, недовольны, пожалуй, даже несчастны, хотя причины у каждого совершенно другие. Быть может, это случилось просто потому, что вы ждали слишком многого. Я не хочу, чтобы мои слова действовали на вас охлаждающе, но я должна сказать, что не вижу ничего такого, что вы все хотели бы сделать, не вижу того, что вы могли бы сделать все вместе.

— Мы должны сначала это обдумать, — медленно произнес Алан. — Ведь знаем-то мы пока немногое. Все, что мы узнали, наверное это то, чему научили нас последние несколько дней. Я, например, узнал то, что наш класс, как класс, выжить не может, и лучше ему и не пробовать. Дело не в стариках, вроде дяди Роднея. Он просто фантастический пережиток. Быть может, он никому не сделает особенного добра, но и зла не сделает. Вот такие разбойники, как Дарральд и его подручные — это другое дело. И еще я уверен, что если мы, молодые, не будем держаться вместе, мы сгнием и умрем на корню.

— Да, может быть, — отозвалась она. И помедлив, Диана взглянула на Герберта. — Эта девушка... ваша знакомая... Я хотела бы встретиться с ней и поговорить...

— Она вам, вероятно, сначала не понравится. И вы ей, вероятно, не понравитесь.

— Я знаю. Я готова к этому, во всяком случае постараюсь быть готовой. Но я хочу поговорить с ней, как с женщиной. Она сама поймет некоторые вещи...

Когда голос Дианы замер, Эдди набрался храбрости.

— У меня произошли неприятности с женой. У нас был ребенок, который скоропостижно умер, и это очень повлияло на нее. Поговорите с ней. За меня...

И у Эдди тоже медленно замер голос.

— Охотно, если вы думаете, что я могу помочь. — Она порывисто повернулась к Алану. — Ты сказал, что мы конченые люди. Но как будто не похоже на это. Вот они пришли к тебе. Мистер Мольд просит меня побеседовать с его женой. Значит, мы вовсе не лишние.

— Мы не лишние, — ответил Алан, — и не конченые, если не отгораживаться от народа. Мы ведь тоже народ. Некоторые из нас, — вроде тебя, Ди, — на редкость симпатичный народ. Но мы должны думать о себе, как о самых обыкновенных людях. Мы должны итти столбовой дорогой, а не копошиться в тупиках. Мы не должны пытаться сохранить для себя нечто особенное — такое, чего не будет у главной массы народа. Эту ошибку делали в оккупированных странах коллаборационисты. Мы видели, как расправились с некоторыми из них. Они шагали в ногу со смертью, пытаясь сохранить кое-что для себя. Они думали, что очень хитры и ставят верную карту. И это до сих пор еще делают многие. А я знаю теперь, что этого делать нельзя. Застраховать только себя невозможно.

— Правильно, — подтвердил Герберт. — А если и можно, то все равно не надо. Я понял это, когда слушал за ужином разговоры отца. В этом весь корень зла.

— Они старались для вашей же пользы, — заметила Диана.

— Знаю, — согласился Герберт. — Это-то мне и больно. Но это не настоящая польза, поймите меня. Отдельные маленькие кучки людей, старающиеся застраховать свой кусок, не заботясь ни о ком другом, это уже не пройдет. Хватит.

— Он прав, — вмешался Алан. — Мы не можем больше заботиться только о себе. Все мы плывем теперь на одном корабле и либо вместе пристанем к ближайшему берегу, либо вместе пойдем ко дну.

— То есть куда? — спросил Эдди. Он был по-настоящему растерян и вовсе не пытался шутить.

— Понимаешь, Эдди, — ответил Алан, — если мы попробуем жить по-старому — хватать, отнимать и кусаться, попробуем опять применять изжитые, прогнившие истины, то у нас будут тягчайшие кризисы, безработица, полуголодное существование. Люди станут озлобленными, раздраженными. Борьба за рынки будет

ще более ожесточенной, чем прежде. А то означает новые войны, новые кровавые потрясения и, весьма возможно, появление сумасшедших диктаторов. И тогда очень скоро мы все превратимся в полуголодных и полупомешанных людей, и будем жить в подземельях и изготовлять летающие бомбы весом в тысячу тонн.

– Только не я! – воскликнул Эдди. – Лучше пусть мне дадут семь футов земли на веки вечные и пусть из меня растут маргаритки. Только мне кажется, у людей еще есть голова на плечах...

– Должна была бы быть, – неуверенно сказала Диана.

– Прежде чем люди сообразят, что случилось, они окажутся зажатыми в тиски простой силой обстоятельств, – сказал Алан и помедлил секунду. – Если бы двадцать пять лет назад рассказать людям, что для них приготовлено в девятьсот сороковом, они бы смеялись. А вот ведь – дожили.

– Что же, значит, мы полоумные, или что? – от отчаяния и растерянности Эдди поднял голос до крика. – Вот я, например. Я честно сражался и все, что я хочу, это вернуться домой и пожить немного в покое. А дома нет. И покоя нет.

– Да, не повезло, – сказал Алан, – Но тебе придется сделать себе дом. Всем нам придется заняться этим. Нам предстоит превратить земной шар в один дом. Никогда еще по-настоящему этого не пытались сделать. Да, Эдди, нам снова придется попотеть.

– Выходит, что так, – ответил Эдди, вытирая подбородок. – Только скажите мне, почему теперь, когда мы дома, вы, ребята, лучшим словом поминаете солдатскую жизнь, чем я. Я ею сыт по горло. И хочу чего-нибудь другого.

– Все мы хотим, – нетерпеливо воскликнул Герберт. – Но только это возвращение домой, что ни говори, не дало нам того, что мы ждали. Иначе мы бы не сидели сейчас здесь и не разводили бы разговоров. Значит, что-то не так. А солдатчина как-никак научила нас желать лучшего. Вот в чем дело. А, Алан?

Алан кивнул, но ответил не сразу. Он задумчиво смотрел на холмы, тонущие в сгущающихся сумерках. Когда он заговорил, речь его сначала текла очень медленно.

– Армии – это гигантские машины, которые ничего не создают. Их только передвигают с места на место для разрушения. Но если это здоровая армия, в ней есть и нечто хорошее. Она объединяет людей. Они, во всяком случае, движутся к одной цели. Это лучше, чем была до сих пор наша Большая земля. Никто не фабрикует подложных приказов, чтобы получить в собственность яхту или завладеть маленьким заповедником. Никто не продает шифр, чтобы стать полным хозяином в газете и в банке. Никто не сдает опорный пункт из-за дорого стоящей любовницы или для приобретения старинной мебели. Вот в чем разница.

– Да, ведь расстреляли бы всякого, кто попробовал бы сделать это, – сказал Эдди.

– Что ж, может дойти и до этого, – угрюмо проворчал Герберт.

– Не обязательно, – сказал Алан. – Если мы можем вместе разрушать и убивать, то, безусловно, можем вместе строить и создавать новую жизнь. А если нет, то мы недолго протянем. Перед нами выбор – уклониться от него нельзя. Как было в девятьсот сороковом. Тогда приходилось выбирать: либо просить о перемирии и, может быть, на короткое время кое-что спасти, либо продолжать борьбу, рискуя здесь всем и каждым во имя спасения всего и всех всюду. Мы выбрали, и выбрали правильно, правоту нашу можно осязать. Мы вели себя, как подобает великому народу. Теперь мы снова должны выбирать. Поступим ли мы опять как великий народ или погрузимся во тьму, лая и грызясь между собой?

– Но это ведь совсем другое, Алан, – запротестовала Диана. – После Дюнкерка выбор был ясен и понятен для всех. Англия должна была или сдаться или продолжать борьбу. Тогда решать было не трудно. Но тот другой выбор, о котором ты говоришь, совсем не так прост. Что мы должны делать? Ты же сам не знаешь.

– Я знаю, чего мы не должны делать, – резко отозвался Герберт. – И это уже кое-что для начала.

– Правильно, – подхватил Алан. – Мы не должны делать того, что снова делают многие, когда кровь еще не высохла на земле. Мы не должны возвращаться к довоенному хаосу. Мы не должны думать и действовать так, как прежде. Если это было пагубно тогда, это будет пагубно и теперь. Мы не хотим, чтобы нами правили люди того же сорта. Мы будем действовать, как люди, которые кое-что поняли. Мы не станем кричать: «Это мое – убирайся!» Мы не можем заботиться только о своей норе, посылая к чорту всех остальных. Мы не должны разглагольствовать о свободе, понимая в действительности под этим возможность стричь публику. Мы не смеем отрекаться от того, что говорили, когда страна была в опасности. Мы положим конец охоте за легкой наживой. Мы будем честно работать для общества, делая ту работу, на которую оно нас поставит. Мы не будем больше ленивы и глупы, равнодушны и жадны. Мы не забудем, что гораздо важнее и гораздо интереснее создавать, чем обладать. Гораздо лучше жить без обычных удобств, на ограниченные пайки, как жили русские, если живешь в обществе, которое знает, что оно делает и куда идет, чем наслаждаться – еще недолго! – роскошным существованием в обществе, катящемся от одной катастрофы к

другой. Вместо того, чтобы гадать и хватать, мы планируем. Вместо того, чтобы конкурировать, мы сотрудничаем. Мы выходим из детской и делаем первые шаги в жизнь.

Алан стоял выпрямившись, как бы выросший, взволнованный, преображенный. Он смотрел в сумеречную даль, словно даль эта таила в себе незримых слушателей.

— Кто-то однажды написал, кажется Гейне, — продолжал он, — что каждая эпоха это сфинкс, который низвергается в бездну, как только его проблема разрешена. И я знаю теперь, в чем проблема нашей эпохи. Она не в том, как создать несколько блестяще одаренных личностей, как обеспечить одному малочисленному классу величайшую роскошь и утонченность, как дать нескольким группам огромную власть, как создать два-три грандиозных памятника искусства или науки. Современный человек прежде всего человек сотрудничества и коллектива. Лучше всего, лучше, чем люди когда-либо делали раньше, мы делаем не то, что под силу отдельному человеку, а то, что надо делать сообща. Задача, которую мы должны решить — или сфинкс уничтожит нас — заключается в том, как привести теперешнюю дробь коллективного труда к наибольшему единому человеческому знаменателю. Есть в нас нечто, что не успокоится, не найдет прочного удовлетворения, пока большинство рода человеческого будет жить в нужде, в невежестве, в отчаянии. Мы должны обрести, наконец, веру в людей, сострадание к людям, безразлично — белые ли у них лица, коричневые или черные. Эта надежда на дом на земле, эта вера, это сострадание являются теперь основой нашей жизни. Если мы будем движимы этими чувствами, если на них будем строить все свои действия, мы начнем жить, мы почерпнем силу в источнике живой воды. Но если мы забудем о них, если мы оставим в пренебрежении свою великую задачу, тогда мы сами низринем себя в мир жестокости и убийства, погрязнем в безумии, превратимся в камни. Политика, экономика, психология, философия, религия, хотя они и говорят разными голосами, указывают все сейчас один и тот же путь. Выбор только один: либо земля будет вскоре жалкой могилой нашего рода, либо станет наконец нашим домом, где человек сможет жить в мире и работать для блага других.

— Вот это здорово! Так держать! — крикнул Эдди. — Честное слово, либо вы станете проповедником, либо попадете в парламент.

— А почему бы и нет! — воскликнула Диана, и в голосе ее слышалась новая жизнь...

Алан рассмеялся.

— Ди, нет ли чего покушать?

— Как обычно, не густо. Могу приготовить чай и сделать сэндвичи.

— Я сам сделаю сэндвичи. — сказал Алан. — А ты вскипяти чай. Идемте, ребята.

И он повел их через темнеющий сад к открытой двери дома, к манящему теплу и свету.

ВОСПОМИНАНИЯ О ХУДОЖНИКАХ

ВСЕВОЛОД МАМОНТОВ

★

(Савва) Мамонтов хорошо чувствовал талантливых людей, всю жизнь прожил среди них. Многих, как Федор Шаляпин, Врубель, Виктор Васнецов, не только этих, поставил на ноги, да и сам был исключительно, завидно даровит.

М. Горький

I

Лето 1878 года. Абрамцево. Наша любимая игра — в войну — в полном разгаре. Мы с братом, мальчики 7 и 9 лет, пробираемся разведчиками на Таньонов нюс, задача овладеть которым возложена на наш отряд. Тесно прижимаясь к стене «большого» дома, крадемся мы вокруг выходящей в сад большой террасы. Вдруг сверху раздается голос отца, ясно и громко призывающий нас к себе на террасу. Как внезапно облитые холодной водой, возвращаемся мы из мира грез к действительности и с обычным для нас примерным послушанием смиренными пай-мальчиками пробегаем полтора десятка ступеней ведущей на террасу лестницы. Здесь за чайным столом сидят отец, мать и незнакомый нам крупный, величавый старик с белой седой бородой; на коленях у него уютно примостилась наша двухлетняя сестра Вера и, видимо, чувствует себя как дома на руках этого страшного нам старца.

Отец представляет нас своему гостю, тот ласково, приятным и странно тонким для своей величавости голосом говорит нам несколько приветственных слов, и мы снова свободны, летим на театр своих военных действий.

Таким образом удалось мне единственный раз в жизни видеть И. С. Тургенева.

Навсегда запечатлелись у меня в зрительной памяти его рослая, могучая фигура, его ясный, добрый взгляд и белые-белые волосы.

В те детские годы своей жизни мы, мальчики, еще не были знакомы с произведениями Тургенева и потому, конечно, своевременно не оценили этой встречи.

Зима 1886 года. Москва. Мы уже гимназисты. В доме отца, в самой его просторной комнате — «большом кабинете» — художник В. Д. Поленов пишет свою огромную картину «Христос и грешница». Вход в большой кабинет в часы работы там Поленова нам строго заказан, а без него мы любим пробираться к его картине, любуемся дивным пейзажем, жалеем маленького ослика, на спину которого взгромоздился такой большой балбес, смеемся над физиономией хихикающего рыжего саддукея.

Как-то, вернувшись из гимназии домой, узнаем, что к Поленову пришел Л. Н. Толстой и что уже давно беседуют они в большом кабинете.

Мы несемся со всех ног в переднюю и подробно осматриваем короткое пальто-куртку Льва Николаевича и наперерыв суем руки в правый рукав ее, где привыкла покоиться рука, написавшая «Войну и мир». С этой книгой мы уже знакомы, мать читала нам и читала с особенной любовью — скажу больше: с трепетом — доступные нашему пониманию отрывки этого гениального произведения. На этот раз мы дорого ценим счастливую возможность видеть Толстого.

Итти в большой кабинет нельзя, и мы только украдкой разглядываем Льва Николаевича, когда он, провожаемый Поленовым, спускается по лестнице к выходной двери. И эта фигура осталась у меня в памяти на всю жизнь. В то время нас

впечатлила простая, длинная блуза Толстого, его большая борода и внимательное участие, с которым слушал он Поленова.

Вспомнились мне эти две встречи с великими моими современниками, разворошил я свою слабеющую память, и встали передо мной многие из выдающихся людей, которых посчастливилось встречать мне в благодатные дни моей юности. Тут и художники во главе с В. Д. Поленовым, В. М. Васнецовым, И. Е. Репиным и М. М. Антокольским, а также и более молодые — В. А. Серов, М. А. Врубель, К. А. Коровин; и музыканты с Н. А. Римским-Корсаковым и С. В. Рахманиновым; и певцы, возглавляемые Марией Ван-Зандт, Анжело Мазини, Франческо Таманьо, Н. Н. Фигнером и вышестоявшим моим отцом Ф. И. Шаляпиным; и драматические артисты во главе с Г. Н. Федотовой и К. С Станиславским, двоюродным братом моей матери. Его-то я хорошо помню еще мальчиком-подростком. В черной суконной курточке, подпоясанный широким ременным поясом, приходил он со старшим братом своим В. С. Алексеевым по большим праздникам поздравлять моих родителей. Не могу забыть, как заботливая наша нянюшка всегда ставила нам в пример этих двух рослых, стройных, красивых молодцов и тут же рассказывала, что вышли они такими видными молодцами потому, что мамаша старательно откармливала их особым способом: давала им ежедневно в обязательном порядке по большому бифштексу, и что мы де должны во-всю стараться стать такими же героями.

Этот нестройный, беглый рассказ о виденных мной замечательных людях нашей родины, конечно, не может показать этих людей во весь их рост. Все-таки, мне кажется, и мелочи из их жизни, запечатлевшиеся в моей памяти, могут быть интересны для нового поколения.

II

Начну с самого старшего по возрасту — художника И. В. Неврева, он был много старше отца, так по крайней мере считали мы в детстве.

Высокий, худой, стройный старик, всегда очень аккуратно и чисто одетый, неизменно мрачно-серьезный и только под влиянием вина, которое он очень любил, приходивший в веселое общительное настроение — вот каким запечатлелся Неврев в моей памяти с детства, а помню я его с той самой поры, как и себя самого. Неврев был дружен с отцом, были они на «ты».

Летом Николай Васильевич частенько приезжал в Абрамцево, но подолгу не гащевал. Вспоминается его неизменный ответ на обычный вопрос о здоровье: «Да что мне, псу окаянному, делается», произносил он своим глубоким басом, всегда с немного напускной, так казалось нам, мрачностью.

В зимнем сезоне московской жизни он постоянно появлялся в нашем доме по воскресеньям, помню его по крайней мере неизменным участником «чтений». Так назывались у нас, детей, литературные вечера, устраивавшиеся моими родителями каждое зимнее воскресенье. Происходили эти вечера довольно торжественно: все в том же большом кабинете за длинным столом, покрытым темнокрасным сукном, усаживались все участники — человек двадцать — и по ролям, заранее в предыдущее воскресенье распределенным, читали какое-нибудь классическое драматическое произведение.

Мы, маленькие дети, — «чтения» происходили в конце семидесятых годов прошлого столетия — понятно, не присутствовали на этих вечерах и лишь из соседней комнаты порывались, слушать это очень интересовавшее нас занятие. Помню хорошо, как гремел могучий бас Неврева, читавшего по большей части ответственные роли, среди которых ярче других мне помнится роль короля Лира.

В особо праздновавшиеся у нас в доме дни — какие-нибудь именины — Неврев, непременный гость у нас, всегда заведывал по просьбе отца послеобеденным угощеньем. В маленьком кабинете отца на небольшой стол ставился особый погребец с ликерами, поступавшими в полное распоряжение Николая Васильевича. Он очень настойчиво и ласково уговаривал каждого проходящего выпить с ним по рюмочке. Надо сознаться, что мы любили нарочно пробегать через маленький кабинет, так как были крайне заинтересованы радушием Неврева, а больше всего тем, что он всегда называл нас, мальчишек, по имени и по отчеству. Это обстоятельство удивляло не только нас, но и отца. На вопрос последнего, к чему такое почетное величание детей, Николай Васильевич как-то при мне невозмутимо ответил: «Да ведь не успеешь оглянуться, как эти малыши вырастут, и тогда изволь приучаться звать их по-новому. Нет, уж лучше я загодя привыкну называть их как полагается».

Странно, что я решительно не помню Неврева за работой, с кистью в руке, а художник он был сравнительно плодовитый и каждый год выставлял свои новые картины на очередной выставке передвижников. В собрании отца я с детства знал две больших картины Николая Васильевича, а именно «Василиса Мелентьева», на которой нас всегда интересовала фигура Ивана Грозного, проходящего на заднем плане картины, и «Воевода», где мы, незнакомые еще со сти-

хотворением Пушкина, жалели молодого красавца-поляка, в которого нацелился из-за кустов слуга старого воеводы. Обе эти картины находятся теперь в Абрамцеве. Там же, в церкви, имеется прекрасная большая икона Николая Чудотворца работы Неврева.

Когда на передвижной выставке появилась нашумевшая в свое время картина Куинджи с яркими белыми стволами берез, освещенными вечерним солнцем, отец с Невревым затеяли интересную шутку. За один вечер они сообща написали подобную куинджиевской картину с такими же стволами берез на первом плане и в ближайшее воскресенье демонстрировали перед всеми собравшимися на «чтение» гостями эту «новую картину Куинджи». Выставленная в отдельной комнате, затянутая с боков коричневым коленкором и эффектно освещенная особой лампой с рефлектором, эта картина произвела должное впечатление и многих ввела в заблуждение. Интересно отметить, что среди этих обманувшихся оказался и начинающий в те времена художник И. С. Остроухов, впоследствии один из общепризнанных знатоков и ценителей живописи.

В рождественский сочельник, день смерти нашей бабушки, мать всегда брала нас с собой навестить могилу бабушки, в Новоспасском монастыре. Оттуда мы обычно заезжали к жившему возле Краснохолмского моста Неврееву, так как это был день его рождения. Николай Васильевич был холостяком и жил со своим племянником, полуидиотом лет двадцати-тридцати, и слепой старухой-кухаркой. Удивительно странное и немного жуткое впечатление производил на нас образ жизни Неврева. Сам он с утра одевался для своего праздника в старинный боярский костюм (его специальностью в живописи были картины на сюжеты из старого русского быта, почему у него всегда под рукой были эти костюмы) и так принимал гостей. Хозяином Николай Васильевич был очень приветливым и радушным и гостей своих настойчиво потчевал кулебякой и запрещенной нам наливкой. Но боярский костюм хозяина, постоянно шмыгающий мимо молодой чудачок-племянник и ощупью бродящая по комнатам слепая старуха производили на нас необычное впечатление, и мы чувствовали себя не в своей тарелке.

Николай Васильевич непонятно-странно окончил свою долгую жизнь: на рубеже столетий, уже на восьмом десятке прожитых лет он застрелился.

Серой, скромной тенью, мало заметной среди других ярких величин, промелькнул в моем детстве ровесник Неврева художник Иван Александрович Астафьев. Высокого роста, широкоплечий, сутуловатый, с серыми от проседи шевелюрой и бородой, с тихим, плохо слышимым голосом, одетый неизменно в серый костюм, появлялся он изредка в Абрамцеве и ничем особенным не привлекал нашего детского внимания. В московском нашем доме я его положительно не помню. В «чтениях» и в домашних спектаклях он никогда не принимал участия, но на нем покоился ореол личного знакомства с В. Г. Белинским, ничего, конечно, не говоривший нам, детям, но вызывавший у взрослых особое к себе внимание и уважение.

Астафьев оставил в собрании отца три мастерски исполненных карандашом рисунка. И сейчас еще находятся в Абрамцеве его работы.

III

Марк Матвеевич Антокольский — знаменитый русский скульптор прошлого столетия: сам И. С. Тургенев, придя в восторг от его статуи Иоанна Грозного, написал об этом произведении Антокольского хвалебный очерк.

Познакомился Антокольский с моими родителями в Риме в начале семидесятых годов, так что и он сохранился у меня в памяти с самых юных лет. Виленский еврей по происхождению, он жил постоянно в Париже, но в Россию приезжал почти каждый год и главным образом в Петербург, где обыкновенно устраивал выставку своих работ.

В каждый свой приезд в пределы России он обязательно заезжал в Москву или в Абрамцево — в зависимости от времени года — повидаться с моими родителями, с которыми очень дружил. С отцом я их помню всегда на «ты», а с матерью он вел очень оживленную регулярную переписку. Отец с молодых своих лет дилетантски занимался скульптурой, и тут, конечно, Антокольский являлся авторитетнейшим судьей его работ. Помню, какой гордостью переполнились наши детские сердца, когда Марк Матвеевич на одной из работ моего отца — барельефе его двоюродной сестры З. Н. Якунчиковой — написал карандашом «превосходно». Барельеф этот, между прочим, должен быть сохранен с помянутым автографом Антокольского все в том же Абрамцевском музее.

Появление Марка Матвеевича у нас в доме всегда производило известной степени оживление и вносило в атмосферу дома какую-то смутно чувствуемую и нами, детьми, струю иностранной жизни.

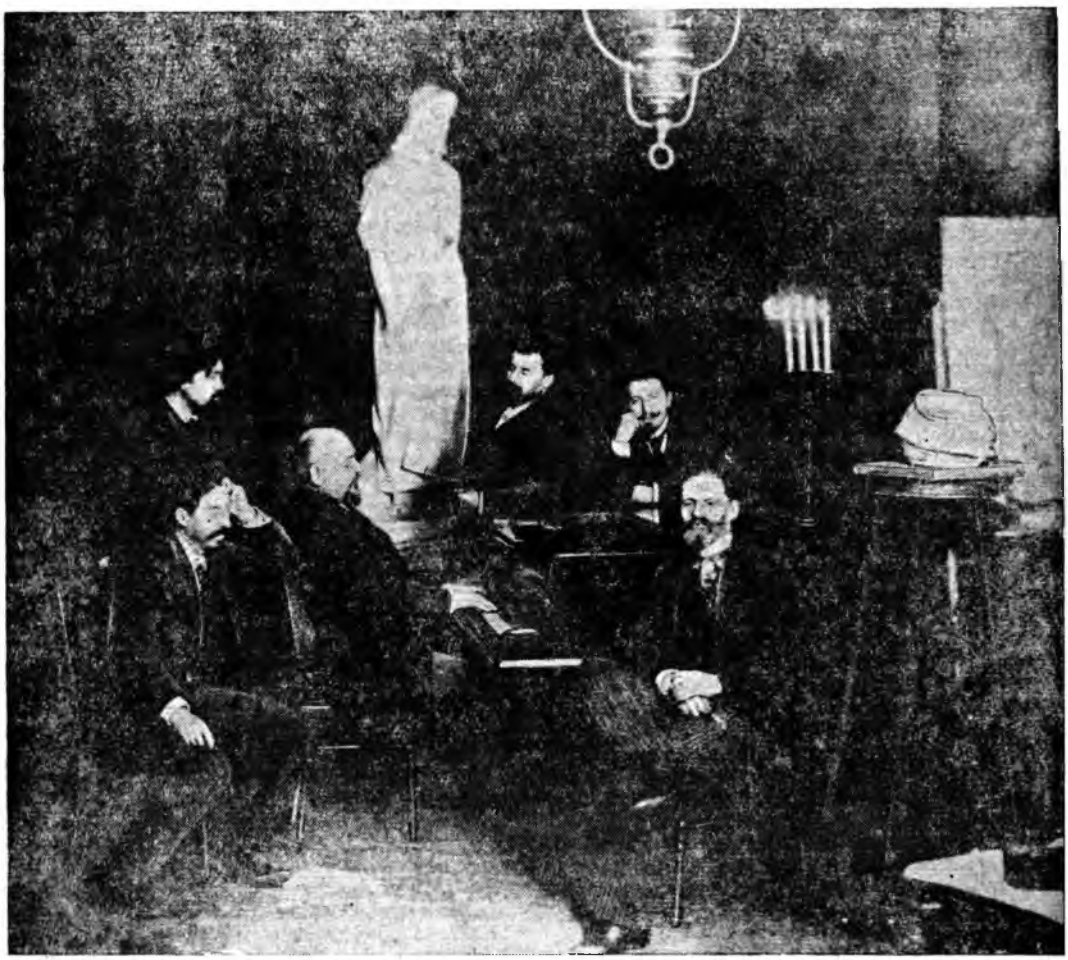
Небольшого роста, щупленький, болезненный на вид брюнет, одетый всегда в какие-то особенные, возбуждавшие в нас сильный интерес заграничные фуфайки, он резко отличался своим наружным

франтоватым видом и изысканными манерами от обычных гостей нашего дома.

К нам, детям, он относился на редкость внимательно и часто заходил в нашу комнату со специальной целью повидать нас. Мы уже заранее знали его любимую шутку, повторявшуюся каждый раз при его посещении. Войдет бывало к нам, поздоровается аккуратно с каждым из нас, затем встанет среди комнаты и торжественно громко спросит: «Милые детки, хотите быть умными?» — «Хотим, конечно, хотим, Марк Матвеевич». — дружным хором отвечали мы. — «Так будьте!» — Этой фразой завершал свой визит к нам очень довольный собой Антокольский.

Обращали мы также внимание на то, что среди взрослых при Антокольском всегда начинались исключительно оживленные беседы, зачастую переходившие в горячие споры. Тут-то особенно поражал нас Марк Матвеевич своей малограмотной русской речью. Свободно говоря на нескольких иностранных языках, он все же вел свои разговоры предпочтительно на русском языке, как на родном.

Отец, будучи горячим поклонником Антокольского, имел в своем собрании большую мраморную статую «Христос перед Пилатом», мраморный же бюст Ивана Грозного и бронзовую голову Мефистофеля. В абрамцевской церкви имеется барельеф головы Иоанна Крестителя на



Группа художников у С. Мамонтова
Слева направо: Стоят: В. И. Суриков, К. А Коровин, В. А. Серов.
Сидят: И. Е. Репин, С. И. Мамонтов, М. М. Антокольский

блюде, высеченный на камне собственноручно Антокольским.

Дружеские отношения между Марком Матвеевичем и моими родителями оставались незыблемыми до его смерти, и в бумагах отца сохранился черновой набросок речи, произнесенной им в Петербурге на свежей могиле Антокольского.

IV

Василий Дмитриевич Поленов был одним из самых близких старинных друзей моего отца вплоть до самой смерти последнего. Объединяла их одинаково бескорыстная любовь к искусству во всех видах его проявления и главным образом к искусству эллинскому. Оба они страстно увлекались последним и на этой почве неизменно сходились после неизбежных за долголетнюю их дружбу размолвок. Через жизнь обоих красной нитью проходит это увлечение.

Моих родителей познакомил с Поленовым так же, как и с Антокольским, профессор А. В. Прахов. Знакомство это произошло в Риме, где оба этих молодых художника жили пенсионерами Академии художеств. Было это в семидесятых годах.

Первое мое яркое воспоминание о Поленове — это день, когда, возвратившись с театра военных действий русско-турецкой кампании, куда он ездил в качестве художника, Василий Дмитриевич пришел к нам в дом с каким-то большим ранцем и среди нескончаемых рассказов своих о войне показывал моим родителям написанные им в армии этюды, по очереди вытаскивая их из своего ранца. С этого дня Василий Дмитриевич не сходит с моих глаз.

Помню его полным энергичной инициативы: минуты не мог он, казалось, посидеть без дела — неизменно проявлял свои разнообразные таланты.

Следующее за первым яркое воспоминание о Поленове — это домашний любительский спектакль в нашем московском доме. Ставили драму-поэму А. Н. Майкова «Два мира», и Василий Дмитриевич играл в ней главную роль — приговоренного Нероном к смерти римского патриция Деция. Остальные главные роли исполняли: моя мать — христианку Лиду и близкий в те времена приятель Поленова петербургский художник Р. С. Левицкий — Марцелла. Кроме них среди остальных многочисленных участников назову М. Н. Климентову, впоследствии известную примадонну Московского Большого театра, и К. С. Станиславского, тогда еще пятнадцатилетнего зеленого юношу, игравшего совсем небольшую роль — молодого патриция.

Это был первый домашний спектакль в нашем доме. Василий Дмитриевич принимал непосредственное горячее участие во всех подробностях постановки; сам он написал декорацию (шла одна последняя картина драмы), сам с моей матерью налаживал костюмы и с моим отцом режиссировал и заботился о бутафории. Мы, дети, страшно интересовались репетициями и всеми подготовительными работами, а я, младший из братьев, мучительно завидовал двум старшим, изображавшим негритят, сопровождающих выход на сцену Лезбии — Климентовой. Спектакль произвел на нас большое впечатление; до сих пор — спустя шестьдесят с лишним лет — я ясно слышу первый монолог Деция — Поленова и помню его наизусть.

Перечислить все любительские спектакли в нашем доме, в которых принимал участие Василий Дмитриевич, трудно. Упомяну о сочиненной отцом «Каморре», веселой комедии из неаполитанской жизни. Для нее Поленов написал изумительную декорацию с видом Неаполя и неизбежно с ним связанного Везувия и играл в ней роль одного из членов Каморры, мрачного старика «папа Джеронимо», исполняя при этом глубоким басом свои куплеты. Этот спектакль состоялся в Абрамцеве летом 1881 года в только что отстроенном большом сенном сарае, ныне снесенном. Среди прочих исполнителей дебютировал в этой комедии художник И. Е. Репин, с большим комизмом изображавший молодого русского путешественника, попавшего в хищные лапы Каморры.

Нельзя обойти молчанием и московский спектакль «Алую Розу», драму-сказку отца. Для этой пьесы Поленов опять самолично написал дивные картины-декорации. Город Кордова, освещенный вечерним солнцем 1-го акта, и сад с замком принца-чудовища, освещенный лунной ночью последнего акта, так и стоят у меня перед глазами. Василий Дмитриевич участвовал также и в этом спектакле, играя роль пылкого мавра Бен-Саида, одного из женихов дочери богатого купца. А его декорации к абрамцевскому спектаклю — сад Маргариты для третьего акта оперы «Фауст» Гуно, а Кавказские горы для комедии «На Кавказ» — все это словно чудный сон. Эти декорации, равно как и другие, написанные В. М. Васнецовым для «Снегурочки», В. А. Серовым для «Черного Тюрбана», М. А. Врубелем для «Царя Саула», конечно, погибли безвозвратно, остались только фототипические снимки с них в изданном когда-то отцом альбоме «Наш художественный кружок». Для заглавного листа этого альбома все тот же Поленов написал прекрасную акварель, изображающую вход в большой кабинет нашего московского дома, где обычно происходили спектакли, с

гипсовой Венерой Милосской, стоявшей всегда в этой комнате.

Холостяком Василий Дмитриевич каждое лето гостил в Абрамцеве. Мы, мальчики, любили его за его кипучую энергию и предприимчивость. Проведя свою юность на большой реке и озере Олонецкой губернии, Поленов был большим любителем и знатоком плаванья на лодке. Одно лето он занялся приведением в порядок речной флотилии Абрамцева и создал из нас, четырех мальчишек, носивших к тому же постоянно матросские костюмы, дисциплинированную лодочную команду. Под его руководством и при его, разумеется, ближайшем участии нами были приведены в надлежащий порядок пристань на речке Воре! и все три лодки: «Лебедь», «Рыбка» и «Кулебяка». Последнюю мы от души ненавидели и презирали за ее тяжесть и плохой ход. Лодки эти были устанавливаемы нами у пристани в раз навсегда назначенном Поленовым порядке — перпендикулярно к площадке пристани, для чего корма каждой из них удерживалась на назначенном для нее месте особым якорьком. Весла, уключины и рули после каждого плавания аккуратно уносились в дом для бережного там хранения. Когда предполагалась прогулка на лодках, мы, матросы, по приказанию Поленова, отправлялись заранее на пристань со всеми принадлежностями и подготовляли назначенную им к плаванью лодку. Затем, уже по команде своего капитана, Василия Дмитриевича, подавали лодку к пристани для погрузки пришедших участников прогулки.

Любимым нашим удовольствием было плавать под командой Поленова к железнодорожному мосту, версты за три от усадьбы, для встречи вечернего шестичасового московского поезда, с которым обычно возвращался из Москвы в Абрамцево отец. Помню трепетное ожидание приближающегося поезда, строгую команду Василия Дмитриевича: «на валек!» и усердие, с которым мы, быстро вынув из воды весла, ставили их стоймя, отдавая этим честь проходящему поезду. Одно лето Поленов завел даже на абрамцевской речушке Воре плаванье на лодке под парусом, приспособив для этого самую быстроходную, «Рыбку». На веслах доезжали мы до большого фабричного пруда запруженной у деревни Репихово Вори и тут переходили на парус. Жутко бывало нестись при свежем ветре в сильно накренившейся набок лодке, но мы слепо верили в опытность капитана, Василия Дмитриевича, и неустанно рвались прокатиться с ним под парусом.

С вдохновенным увлечением отдался Поленов затеянной моими родителями постройке церковки в Абрамцеве. Без его энергии и пыла едва ли было бы осуществлено это дело. Церковь эта, кстати сказать, цела и теперь, но после того, как с ее звонницы, составляющей передний фасад всего здания, сняты были колокола, она стоит как ослепшая. Сам Василий Дмитриевич под свежим впечатлением только что им посещенной Палестины сделал для царских врат церковки поэтичную икону Благовещенья, несколько мелких образов для иконостаса и майоликовую икону Нерукотворного Спаса, помещенную снаружи, над входной дверью.



В. Д. Поленов

Икона эта, простреленная несколькими хулиганскими пулями, не разбилась и цела до сих пор.

Причудливый, деревянный, резной, в духе старинных северных церквей иконостас исполнен по рисунку Поленова, причем всю резьбу деревянных царских врат и рам для образов выполнили большей частью сами участники постройки, равно как ими же высечены на камне орнаменты отделки внутренних и наружных наличников окон и дверей. Во время производства самой постройки, проходившей с особым подъемом и небывалым увлечением, Поленов близко сдружился с выши-

вавшими по его эскизу шелковые хоругвии моей матерью и с ее двоюродной сестрой Натальей Васильевной Якунчиковой и вскоре женился на последней. Свадьба их была первой в только что освященной новой абрамцевской церкви. И сейчас, как живая, стоит у меня перед глазами любимая стройная фигура Василия Дмитриевича во время венчания с венцом на голове. Он не захотел иметь шаферов, которые по обычаю того времени держали во время венчания над головами венчающихся венцы, а надел себе на голову венец скромного вида, исполненный по древнему образцу специально для абрамцевской церкви.

После женитьбы «молодые» Поленовы провели лето в Абрамцеве в только что отстроенном доме, с той поры так и носящем название Поленовского. В доме этом одна комната была с огромным, выходящим на северо-восток, окном, так как предназначена она была для мастерской художника. Помнится, как при Поленовых все стены этой большой комнаты были увешаны свеженаписанными этюдами, результатом плодотворной работы Василия Дмитриевича.

На следующий год Поленовых постигло большое горе — умер их сын-первенец. Потеря первого ребенка сильно удручила Василия Дмитриевича, и он сразу как-то утерял добрую половину своей животворящей энергии и предприимчивости. Тем не менее дом их вскоре стал центром, где собирались молодые художники, среди которых ярко выделились И. И. Левитан, К. А. Коровин и М. В. Якунчикова-Вебер.

В одну из московских зим нам подарили большой ящик, «кирпичиков» для игрушечных построек. Кирпичики эти были самых разнообразных форм — были тут и кубики, и кирпичи, и колонки, и даже готовые арки, при чем все они были формованы из цемента. Поленов как-то увидел нас за постройкой из этих кирпичиков разных зданий и тотчас же с присущей ему находчивой изобретательностью предложил нам устроить конкурс строительства на заданную им тему. Начавшееся между нами соревнование заинтересовало взрослых, и в результате загорелось новое дело — почти все близкие нашего и Поленовского домов увлеклись нашими кирпичиками, и тотчас же был организован правильный конкурс между взрослыми, к которому были допущены и мы — дети. В определенный день недели участники являлись к Поленову со своими готовыми проектами на заданную Василием Дмитриевичем тему. Среди этих проектов бывали и средневековые замки, и наши русские деревенские дома, и церкви, и костелы — много самых разнообразных сооружений. Проекты появлялись преинтересные — да оно и неудивительно, если учесть состав соревновавшихся. Естественно, захотелось сохранить наиболее удачные из проектов, снимали с них фотографии, а у сестры моей до сих пор хранятся исполненные Е. Д. Поленовой акварельные рисунки наиболее приглянувшихся ей построек.

Когда отец в 1885 году основал в Москве свое любимое детище—Частную оперу, Поленов и здесь всей душой помогал ему в художественной стороне этого нового, интересного дела. Прежде всего он привлек к исполнению декораций по его и В. М. Васнецова эскизам своих молодых учеников, столь прославившихся впоследствии, а именно: И. И. Левитана и К. А. Коровина. Из первых постановок Частной оперы по рисункам Василия Дмитриевича явились на сцену «Фауст» Гуно, «Виндзорские кумушки» Николаи и «Аида» Верди. Для «Фауста» декорации писал Левитан, а для «Аиды» — Коровин. Работа по постановке «Аиды» была первой пробой в декоративном искусстве этого большого мастера, произведшего через 15 лет целую революцию в постановочном деле Императорских театров и составившего себе этим громкое имя. Во втором периоде Частной оперы — в девяностых годах — при ближайшем непосредственном участии Поленова был поставлен «Орфей» Глюка, в работу по постановке которого оба они с отцом вложили всю свою любовь к эллинской красоте. Спектакль вышел из ряда вон выходящий, незабываемый. Много любовного труда внес Василий Дмитриевич и в постановку «Орлеанской девы» Чайковского. Увлеченные исключительно талантливым исполнением главной партии в этой опере Е. Я. Цветковой, они с отцом потратили на эту постановку немало сил и времени. Интересный костюм и оригинальный грим Мефистофеля в опере «Фауст» Гуно создал Поленов для первого дебюта Ф. И. Шаляпина в этой партии в Москве (1896 г.). Тот, кто имел особое счастье слышать и видеть Шаляпина Мефистофелем в этом сезоне Частной оперы, никогда, я уверен, не забудет созданного им жуткого Мефистофеля-блондина, которым начал завоевывать себе свое всемирно-известное имя наш несравненный русский певец.

В последний раз посчастливилось мне видеть Василия Дмитриевича в 1924 году в день его восьмидесятилетнего юбилея. Проживал он тогда в бывшем своем, предоставленном ему советской властью в пожизненное пользование, имении Бехово на Оке, недалеко от города Таруссы. Там в настоящее время устроен музей имени В. Д. Поленова и дом отдыха артистов Государственного Академического Большого театра. Приехал я в Бехово на лошади за тридцать километров, и всю дорогу меня тревожили мысли, в каком состоянии здоровья, бодрости и ясности

головы найду я Василия Дмитриевича. Встретившая меня у подъезда Наталья Васильевна решила ввести меня к мужу неожиданно, не предупредив его, кто приехал. Ей хотелось видеть, узнает ли меня сам Василий Дмитриевич, не видавший меня более десяти лет. Какова же была наша общая радость, когда он без всякого замешательства сразу узнал и назвал меня.

Кроме съехавшихся на этот день в большом числе родственников и близких знакомых, приходили для приветствования юбиляра и делегации из Таруссы и многочисленные группы школьников, исполнявших хоровые песни. Всех с одинаково приветливым вниманием выслушивал и ко всем обращал свои радушные слова неутомимый Василий Дмитриевич.

Мне же на память он подарил этюдик белой лошадки с русско-турецкой войны со своей надписью. Бережно храню я этот ценнейший для меня подарок, по странному совпадению всегда напоминающий мне и о последнем свидании с Поленовым, и — по сюжету своему — о первом дне знакомства, с которого на всю жизнь запечатлелся в моей памяти светлый образ этого большого русского человека.

V

Илья Ефимович Репин познакомился с моими родителями также в незапамятные для меня времена — в 1874 году — в Париже, где он одновременно с Поленовым, получив за дипломную работу золотую медаль от Академии художеств, проживал пенсионером последней. В моей памяти он сохранился больше в Абрамцеве, хотя он, проживая в Москве, часто бывал у нас в доме и был постоянным участником «чтений».

Среднего роста, худощавый, с длинными кудреватыми волосами, малословоохотливый, смотрящий на окружающих всегда с какой-то лукавой улыбкой, он, надо признаться, не привлекал наших детских сердец, тем более, что мало уделял нам внимания и всегда относился к детям с полным равнодушием. Ярко запомнился мне только один случай, когда Илья Ефимович увлекся нашей любимой игрой в войну, — а по праздникам зачастую и взрослые принимали участие в этом нашем увлекательном занятии, конечно, на ролях командиров в наших малолетних армиях. Так вот Репин, предводительствуя одним из отрядов, увлекся, вошел в раж и с азартом бежал во главе своих солдат при атаке неприятельской позиции, возбуждая бодрость подчиненных ему ребят какими-то странными, резкими выкриками.

Как-то летним вечером в Абрамцеве мы, мальчики, занялись увлекавшей нас игрой в городки. Подошедшие взрослые сначала смотрели на нашу игру, приветствуя каждый ловкий, удачный удар, а затем и сами втянулись в нашу компанию, разбились на партии и приняли участие в нашей забаве. В числе новых игроков были между прочими В. М. Васнецов и И. Е. Репин. С наступлением темноты игра была прекращена, но взрослые, собравшись за вечерним чаем и остро переживая еще не остывшую борьбу, затеяли ее продолжение, и началась игра в «литературные городки». Каждая партия громила своего противника стихами, тут же иллюстрируемыми Васнецовым и Репиным. Эти литературные городки были увековечены в абрамцевской «летописи», как назывался у нас дневник абрамцевской жизни.

Гостя летом в Абрамцеве, Репин со своей семьей жил в «Яшкином доме». Так назывался совершенно отдельно от прочих построек стоявший, в полуверсте от усадьбы, небольшой домик, затененный с одной стороны молодыми липовыми аллеями. В этом доме Репин писал эскизы к своим картинам «Проводы новобранца» и «Крестный ход», а позже В. М. Васнецов работал над своими «Каменным веком» и «Тремя богатырями». Одно лето Илья Ефимович снимал в Хотькове возле самой станции железной дороги, на берегу речки Пажи, дачу Ертова, где и начал работу над своей знаменитой картиной «Не ждали». Изображенная на этой картине комната взята им как раз с этой дачи. Отворившая дверь возвратившемуся домой ссыльному служанка написана со служившей у него тот год девушки Нади, которую я хорошо помню. Так же отлично знал я бродившего по окрестностям Хотькова и часто забредавшего и к нам в Абрамцево блондина-горбуна, идущего со своим костылем на первом плане репинской картины «Крестный ход», равно как знал я и едущего верхом в том же крестном ходу хотьковского урядника.

Картину «Проводы новобранца» Илья Ефимович тоже начал писать в Абрамцеве, и мы, конечно, прекрасно знали изображенный на этой картине двор Матвея Дмитриевича Рахмановского, крестьянина соседней с Абрамцевом деревни Быково.

В Абрамцеве же Репин на моих глазах написал несколько портретов и между прочим два портрета отца: на одном, находящемся ныне в Московском Театральном музее, отец в домашней белой блузе полулежит на диване. Другой, входящий в состав Абрамцевского музея, написан был Репиным урывками по утрам. Отец ежедневно с утренним семичасовым поездом уезжал в Москву и вот перед отъездом из Абрамцева он вплоть до самого последнего момента позировал Илье Ефимовичу каких-нибудь 10—15 минут в день.

Из прочих написанных в Абрамцеве

портретов я помню работу Репина над портретом моей матери, находящемся в Абрамцевском же музее, и еще одну из удачнейших ранних работ его — датирована она 1878 годом — портрет моей двоюродной сестры, девочки-подростка, сидящей в русском сарафане среди цветов на террасе.

Однажды в Абрамцеве мать получила от какого-то журнала — если не ошибаюсь, от «Нивы» — обычную для тех времен премию подписчикам — довольно большую, размером вершков шестнадцать на двенадцать, олеографию в раме, изображавшую какую-то сентиментальную парочку пейзан. Помню, как все взрослые во главе с отцом возмущались этим произведением искусства и как Репин взялся загладить эту неприятность и в какой-нибудь час поверх этой олеографии написал масляными красками с натуры стоявший в той же комнате на столе большой букет цветов. Этот оригинальный этюд Репина находится все в том же Абрамцевском музее.

В работах по постановке домашних спектаклей, захвативших всех близких к моим родителям друзей-художников, Илья Ефимович участия не принимал, на сцене же выступал три раза. Помню его Бермятой в «Снегурочке» Островского, где он изобразил недалекого добродушного боярина хитрым, себе на уме царедворцем. Вот когда пришелся очень кстати свойственный Репину лукавый взгляд. Прекрасно сыграл Илья Ефимович в «Каморре» — о чем я уже упоминал выше — комическую роль молодого русского простачка в Неаполе. В этой роли он нам очень нравился, при чем мы особенно удивлялись тому, что на сцене он — блондин.

В постройке абрамцевской церкви Репин также не принимал такого горячего непосредственного участия, как Поленов и В. Васнецов, но все же написал для ее иконостаса большой образ Спаса Нерукотворного, исполненный с необычайным для церковной живописи реализмом, а также и небольших размеров образ Софии, Веры, Надежды и Любви, очень трогавший нас, детей. Кроме того, Илья Ефимович оставил в абрамцевских альбомах много карандашных рисунков, по большей части портретов.

Занимался он изредка и скульптурой. В скульптурной мастерской отца всегда была наготове глина и все принадлежности для лепки.

И вот в один прекрасный день Репин, В. Васнецов и отец одновременно занялись совместной работой. Васнецов вылепил бюст Репина, Репин — отца, а отец — Васнецова. Все эти три бюста, отличающиеся редким сходством с натурой, всегда стояли в столовой абрамцевского дома, где надо надеяться, сохранились и теперь. В то же лето Илья Ефимович вылепил достаточно известный бюст знаменитого хирурга Н. И. Пирогова.

В восьмидесятых годах Репины всей семьей переселились в Петербург на постоянное жительство, и Илья Ефимович только в редкие приезды свои в Москву появлялся в нашем доме. Семья его после этого переселения все-таки провела одно лето в Абрамцеве, в девяностом году, но сам Репин не приехал и из числа постоянных участников художественного кружка моих родителей выбыл окончательно.

VI

Довольно часто упоминаемые мною «чтения», происходившие регулярно каждое воскресенье зимнего сезона нашей московской жизни, привлекали все большее и большее число новых участников и в конце концов переросли в домашние любительские спектакли, главным режиссером и постановщиком которых был отец, а художественную часть — декорации и костюмы — брал на себя один из близких друзей-художников. Спектакли эти происходили обычно на святках — рождественских каникулах, — подготовка же к ним начиналась много раньше; сначала по воскресеньям шли считки, затем приступали к репетициям и одновременно возникали работы по изготовлению костюмов, а там и декораций.

Промежуточной стадией между чтениями и спектаклями явились живые картины. В одной из первых таких картин, поставленных на святках 1879 г., начале детское внимание привлек высокий худощавый блондин с несколько угловатыми движениями, изображавший Мефистофеля в картине «Фауст».

Таково мое первое воспоминание о Викторе Михайловиче Васнецове, оставившем впоследствии исключительно большой след в жизни художественного кружка нашего дома. Познакомился он с моими родителями незадолго до этого и в орбиту нашего детского зрения еще не попадал.

Приблизительно в это же время в нашем московском доме появились большие картины В. Васнецова, и тут уже мы вплотную заинтересовались нашим новым знакомым. Картины эти были написаны по следующему поводу: отец в конце семидесятых годов закончил сооружение Донецкой Каменноугольной железной дороги, и у него родилась мысль украсить центральный вокзал этой дороги художественными картинами, написать которые он и уговорил Виктора Михайловича. Сначала в те времена талант Васнецова, открывшего совершенно новый жанр живописи, не был оценен тогдашними знатоками и любителями искусства (подобное явление отцу пришлось пережить через пятнадцать лет с творчеством Врубеля).

Поэтому картины эти на вокзал не попали, а две из трех заказанных Виктору Михайловичу, а именно: «Стычка русских со скифами» и «Ковер-самолет», очутились в большой столовой нашего московского дома, а третья — «Три царевны подземного царства» — у дяди моего А. И. Мамонтова. Все эти картины были созданы Васнецовым как бы сказочными иллюстрациями к пробуждению новой железной дороги богатого Донецкого края, нынешнего Донбасса. Первая из картин показывала далекое прошлое этого края, вторая — сказочный способ передвижения и третья — царевну золота, драгоценных камней и каменного угля — богатство недр пробужденного края.

Мы, дети, сразу полюбили эти заманчивые большие полотна и подолгу простаивали перед ними, разглядывая вновь находимые нами подробности и обмениваясь впечатлениями и мечтами. Вспоминается по этому поводу старинный швейцар нашего дома Леон Захарович, который любил, выпроваживая нас из столовой, ворчать: «Ну, чего вы ждете? Приходите завтра и увидите, кто оказался победителями — русские или татары».

Первое лето, что я помню Виктора Михайловича в Абрамцеве, он со своей семьей жил в трех верстах от нашей усадьбы в селе Ахтырке и очень часто приходил к нам оттуда пешком. Ярко почему-то запечатлелся у меня в зрительной памяти один вечер, когда отец с нами, мальчишками, пошел по дороге в Ахтырку встречать Васнецова. Ясно вижу и сейчас, как мы, выйдя из усадьбы в чистое поле, заметили вдалеке отчетливо выделявшиеся на светлом горизонте две приближающиеся к нам длинноногие человеческие фигуры — это был Виктор Михайлович со своим младшим братом Аполлинарием.

Начиная со следующего года Васнецовы прожили четыре лета подряд в абрамцевском Яшкином доме. Здесь Виктор Михайлович работал над своими большими картинами из жизни каменного века для Московского Исторического музея, здесь же он, окончив этот цикл работ, приступил к одной из своих капитальнейших вещей — «Три богатыря». Помню, как по утрам к Яшкиному дому поочередно водили то рабочего тяжелого жеребца, то верховую лошадь отца «Лиса», с которых Васнецов писал коней для своих богатырей. Помню, как мы завидовали моему брату Андрею, на которого смахивал лицом Алеша Попович этой картины.

Все картины, что писал Васнецов эти четыре года, не помещались в комнатах Яшкиного дома, почему на второй год его проживания в Абрамцеве из сарая, смежного с Яшкиным домом, была сделана просторная с верхним светом мастерская, где Виктор Михайлович и писал эти грандиозные по размерам картины. В настоящее время Яшкин дом, в стенах которого создавали свои шедевры Репин и Васнецов, с обрамлявшими его липовыми аллейками, уже не существует.

В повседневной жизни Виктор Михайлович всегда привлекал наше детское внимание оригинальным складом своей речи и неиссякаемым остроумием. Во всех спорах взрослых, а таковые не были редкостью, Виктор Михайлович неизменно принимал горячее участие, и мы, безмолвные свидетели этих словесных битв, в душе постоянно держали сторону Васнецова.

Когда возник разговор о постройке в Абрамцеве церкви, Виктор Михайлович отдался этому делу всем своим существом. Мысль соорудить новую церковь в типе новгородского храма Спаса Нередицы подал Поленов, но детальный проект выработал Васнецов. Он неутомимо и безотказно работал над выполнением этого сооружения. Для иконостаса он написал большой, во весь рост, образ Сергия Радонежского и несколько мелких икон; среди последних небольшого размера Божья Матерь с младенцем. Эта икона впоследствии послужила Виктору Михайловичу эскизом для создания его лучшей работы в киевском Владимирском соборе.

Коснулось дело клиросов — к Виктору Михайловичу!, — и он расписывает небольшие деревянные стенки обоих клиросов самыми разнообразными цветками. Вышла задержка с полом, долго не могли решить, каким его делать — то ли каменным, то ли уложить чугунными плитами. Васнецов и тут выручил — предложил испробовать мозаику, через день набросал рисунок ее, а затем самолично работал с мастерами, укладывавшими этот мозаичный пол. Одним словом, вся абрамцевская церковка, куда ни сунься, говорит об участии Виктора Михайловича в ее создании.

Через десять лет после освящения церкви, когда умер и был похоронен рядом с церковью, в Абрамцеве, мой брат Андрей, юноша двадцати двух лет, по проекту Васнецова над его могилой была пристроена часовенка, под которой через двадцать семь лет — весной 1918 года — был погребен и мой отец.

Зимой 1882—83 года в нашем московском доме была поставлена на домашней сцене весенняя сказка А. Н. Островского «Снегурочка». Художественную часть постановки взял на себя В. М. Васнецов — и вот когда он развернул во всю ширь свои таланты. При этом он не только сам проникся поэзией этой дивной сказки, почувствовал ее русский дух, оценил несравненный, чистый, подлинно русский язык ее, но, думается мне, заразил своим увлечением и всех участников этого спектакля.

Сам Виктор Михайлович играл в «Снегурочке» деда Мороза. Своим русским говором на «о», своей могучей сценической фигурой он создал незабываемый образ старого хозяина русской зимы. Как живой, стоит он и сейчас у меня перед глазами в белой, длинной, просторной холщевой рубахе, кое-где прошитой серебром, в рукавицах, с пышной копной белых, стоящих дыбом волос, с большой белой лохматой бородой... «Любо мне, любо, любо», — слышится мне его увлекательный голос.

Через 2—3 года после помянутой домашней «Снегурочки» отец в своей Частной опере ставил впервые в Москве оперу Римского-Корсакова «Снегурочку», и Васнецов во всем помогал ему по художественной части. Музыка Римского-Корсакова, по вдохновенной фантазии не уступающая тексту Островского, декорации и костюмы сроднившегося с последним Виктора Васнецова создали несравненный спектакль. К сожалению, тогдашняя публика, вообще мало ценившая художественные новшества Частной оперы, не оценила и этой постановки, так что «Снегурочка» недолго продержалась в репертуаре и после 18 спектаклей была снята, с тем чтобы больше уже никогда не появляться в таком тесном единении трех могучих талантов нашей родины.

В 1885 году Виктор Михайлович переселился с семьей в Киев для выполнения грандиозной работы по росписи Владимирского собора. Работа эта, составляющая наиболее капитальный труд Васнецова, заняла десять лет, так что он за эти годы, хотя и наезжал отдохнуть в Абрамцево, выбыл из художественного кружка моих родителей. В 1891 году Виктор Михайлович перебрался снова в Москву и с семьей своей прожил в Абрамцеве еще десять летних сезонов, затем в 20 верстах от него приобрел небольшую простенькую поэтическую усадебку, где и жил летом. В 1894 году он построил себе в Москве дом, конечно, совершенно особенного, чисто русского стиля, и до конца жизни моих родителей оставался их верным, близким другом.

VII

Более редкими гостями нашего дома были не менее известные русские художники — Василий Иванович Суриков и Михаил Васильевич Нестеров.

Память моя сохранила о них из дальних лет всего два-три эпизода, не больше, но и эти эпизоды, думается мне, довольно любопытны.

В. И. Сурикова я больше помню в нашем московском доме. В Абрамцеве он никогда не гостил, а приезжал обыденкой, да и то не часто.

Припоминается, как Суриков, посмотрев поставленную впервые в Москве отцом на сцене его Частной оперы «Снегурочку» Римского-Корсакова, красочно перебирал в разговоре детали этой так любовно сделанной постановки и восторгался между прочим пляской скоморохов, при чем тут же прозвал одну из танцовщиц, лихо отхватывавшую мужскую пляску, «бабцом». Это крылатое слово Василия Ивановича — «бабец» — с той поры вошло в обиход нашей разговорной речи для обозначения мужеподобной женщины.

Как-то в один из приездов Сурикова в Абрамцево при виде нашего увлечения верховой ездой в нем заговорила казацкая кровь, и он заявил моей сестре, страстной любительнице этого дела: «Коня, коня, давайте и мне коня!» Конечно, коня ему дали, и с той поры в памяти осталась характерная фигура Василия Ивановича на казацком седле, — это для нас, ездивших всегда на английских седлах, было совсем непривычно. Подпершись левой рукой в бок, возвышался Суриков над своей лошадью и, не отставая ни в чем и нигде от молодежи, смело проделал с сестрой всю ее поездку.

В 1891 году, по случаю исполнившегося пятидесятилетия со дня смерти Лермонтова, вышло в свет новое издание его сочинений, иллюстрированное лучшими современными русскими художниками. Суриков для этого издания дал только один рисунок — палача в «Песне о купце Калашникове». Как-то в коснувшемся этого рисунка разговоре Василий Иванович оригинально и образно рассказывал, как он в детстве в одном из сибирских городов видел палача. С засученными рукавами своей красной кумачевой рубахи расхаживал палач по помосту и в ожидании «работы» отпускал шутки окружавшей лобное место толпе. Переживая в воспоминании свой рассказ, Василий Иванович сам засучил свои рукава и большими шагами ходил по комнате, как-то особенно дико озираясь вокруг и откидывая со лба свои густые, остриженные под скобку волосы. Таким и изобразил он палача на своем рисунке.

М. В. Нестеров по своему возрасту принадлежал к младшему поколению художников, сверстниками его были тогдашняя молодежь — В. А. Серов и К. А. Коровин. Но Нестеров всегда держался особняком от них, живших дружно, компании с ними никогда не водил. За эту отчужденность Серов и Коровин недолюбливали Михаила Васильевича, часто выражали нам свое неудовольствие по поводу появления его в Абрамцеве и дали ему прозвище «трехлобый», ввиду оригинального строения черепа Нестерова.

В московском нашем доме Михаил Васильевич бывал крайне редко, лишь в дни

особенных сборищ. В конце восьмидесятых годов он прожил одно лето на даче в селе Ахтырке, где когда-то жил и В. М. Васнецов. Оттуда он частенько захаживал в Абрамцево, где любил проводить время в беседах с моей матерью. Под влиянием этих бесед, абрамцевских пейзажей и абрамцевской церковки Нестеров писал первые картины того периода: «Пустынник» и «Отрок Варфоломей». На последней картине Нестеров впервые написал тот поэтический русский пейзаж, подобные которому нередко повторял он и в других своих картинах (пейзаж с «нестеровскими» березками). Эту одинокую молодую березку Михаил Васильевич заимствовал с пейзажа иконы Сергия Радонежского, написанной В. М. Васнецовым для абрамцевской церкви.

Мимолетным гостем нашего дома был известный скандинавский художник Андреа Цорн, посетивший Россию осенью 1896 года. Мой отец познакомился с Цорном в Париже, где тот писал с него большой портрет по заказу Московско-Ярославско-Архангельской железной дороги. Когда по окончании работы отец, изображенный во фраке, позволил себе сделать художнику деликатное указание на то, что на портрете жилет остался без пуговиц, Цорн отрезал: «Это меня не касается, я не портной».

В театральный сезон года, когда Цорн приезжал в Москву, на сцене Частной оперы начал выдвигаться извлеченный отцом из петербургского Мариинского театра прозябавший там в безвестности Ф. И. Шаляпин. Высоко ценя из ряда вон выходящее дарование еще не вполне оперившегося в те времена несравненного артиста, отец, понятно, пожелал показать его Цорну и повез однажды своего гостя послушать «Фауста» Гуно. Я сидел в ложе с Цорном — отец по своему обыкновению хлопотал на сцене — и отлично помню, какое потрясающее впечатление произвел на Цорна Шаляпин своим Мефистофелем, в то время еще по-поленовски, блондином. «Такого артиста и в Европе нет! Это что-то невиданное! Подобного Мефистофеля мне не приходилось видеть!» — неоднократно повторял мне восхищенный Цорн.

Не могу не помянуть добром еще художника Николая Дмитриевича Кузнецова, одного из верных, постоянных членов Товарищества Передвижников. Проживал он на юге России и ко дню открытия передвижной выставки, в которой он ежегодно аккуратно участвовал, неизменно приезжал в Петербург, где по заведенному раз навсегда обычаю открывалась для публики эта выставка. Оттуда вместе с ней Кузнецов приезжал в Москву — бывало это по большей части на Пасху — и жил у нас в доме.

В начале 80-х годов он по заказу отца написал большой портрет моей сестры Веры, будущей серовской «Девочки с персиками». Портрет этот, отличающийся редким сходством, находится в Абрамцевском музее, где также имеется и небольшой поясной портрет моей другой сестры Шуры, написанный тем же Николаем Дмитриевичем по собственной инициативе в два-три сеанса. Над первым же большим портретом, написанным в Москве, Кузнецов работал долго. Помнится, как нас поразила процедура работы его над этим портретом. Предварительно с сестры была снята фотография в той позе и в той обстановке, как собирался писать портрет художник. Затем фотографическую карточку эту Кузнецов разлиновал квадратиками, после чего разлиновал так же холст, приготовленный для портрета, и до работы с натуры нарисовал углем по этим квадратикам и фигуру сестры и весь антураж. Проделав описанную подготовку, он приступил к работе красками уже с натуры.

Николай Дмитриевич в описываемые годы был ярким, атлетического сложения брюнетом с красивыми чертами лица. Недаром В. М. Васнецов написал портрет Н. Д. Кузнецова, обнаженного до пояса. Носил он усы, роста был выше среднего. С нами, мальчиками, он занимался охотно и, будучи сам хорошим гимнастом, постоянно интересовался нашими физкультурными способностями. Мы в ту пору увлекались ездой на велосипеде и даже участвовали в гонках, и Николай Дмитриевич требовал, чтобы мы обязательно написали ему в Одессу о результатах нашего участия в этих гонках. Ну уж и любили мы его за это отношение к нам и нашим интересам!

VIII

Илья Семенович Остроухов в 80-х годах прошлого столетия был постоянным гостем в Абрамцеве и настолько своим человеком у нас в доме, что мы звали его попросту «Ильюхаюшка».

В эти давние времена он не имел положительно ничего общего с тем тучным, преисполненным важности и самоуверенности, общепризнанным авторитетом в вопросах живописи, каким он, покинув пост директора Третьяковской галлереи, доживал свой век при музее своего имени в Трубниковском переулке в Москве. Мне, коротко знавшему Илью Семеновича с молодых его лет, казалось невероятным, чтобы так радикально мог измениться человек.

Остроухов несколько летних сезонов подряд прожил в Абрамцеве. Тогда это был худой, как жердь, сильно стесняющийся своего непомерно высокого рост,

неловкий в движениях, слегка суетливый и вместе с тем нерасторопный, застенчивый начинающий художник. Хорошо образованный, знающий несколько иностранных языков, начитанный, он был для всех нас интересным собеседником. У нас в семье он дружил больше всего с матерью. С ней, преодолевая свою конфузливость, он любил поиграть в четыре руки на фортепиано. В этом своем часто повторяемом занятии они придерживались исключительно классической музыки, и у меня в памяти особенно крепко сохранился в их исполнении септет Бетховена. Но стоило во время их игры появиться в той же комнате кому-либо из малознакомых, как Илья Семенович моментально опускал руки и, не сдаваясь ни на какие увещевания и просьбы, решительно прекращал свое любимое занятие.

Сходясь также в своем увлечении итальянским искусством и литературой, — а мои родители вообще были поклонниками всего из Италии исходящего, — мать моя и Остроухов, решив твердо прочитать в подлиннике Данте, в одну из зим брали совместно уроки итальянского языка. Отчетливо засела у меня в памяти манера, с которой Илья Семенович, шепелявя — этот изъян речи был у него природный — нараспев декламирует первые стихи дантовского «Ада».

Пейзажист в живописи, Остроухов, проживая в Абрамцеве, работал много и плодотворно. При первой возможности отправлялся он куда-либо писать этюды для своих будущих картин, при чем предпочитал проделывать это в компании с кем-нибудь из товарищей-художников. Боязнь его отправляться на этюды в одиночку доходила до того, что, уступая его настойчивым просьбам, молодая няня моих сестер, Акулина Петровна, иногда сопровождала его и во время работы Ильи Семеновича над этюдами даже читала ему что-либо вслух. Зрительная память моя твердо сохранила эти две направляющиеся на этюды фигуры: впереди высоченный Ильюханция, нагруженный мольбертом, зонтом и ящиком с красками, а за ним легкая, веселая Акулина Петровна с «Русской мыслью» подмышкой.

Илья Семенович был несомненно очень балован своей семьей в детстве как младший сын. Оттого он и на протяжении всей своей жизни требовал особого внимания и имел болезненно развитое самолюбие. Как-то утром в Абрамцеве, когда мы все уже собрались за чайным столом, появляется опоздавший Остроухов, обходит всех сидящих, здороваясь с каждым из нас, кроме моей матери. Конечно, эта выходка Ильи Семеновича всех озадачила, а он на вопрос матери о причине такой немилости к ней невозмутимо заявил: «Вчера вечером, уходя спать, вы со мной не простились. Зачем же я буду здороваться с вами сегодня?» Конечно, это была шутка — и шутка, как и все остроуховские, безобидная и забавная, но вызвана она была без сомнения неподдельной обидчивостью.

Из молодых художников, завсегдатаев Абрамцева, Остроухов ближе прочих сошелся с Серовым. Дружба их была прочна и продолжительна. В Москве они нанимали общую мастерскую на Ленивке, и только женитьба Ильи Семеновича расстроила это рабочее сожительство.

Непосредственное горячее участие принимал Остроухов в первой абрамцевской постановке «Черного тюрбана». Для этой пьесы он собственноручно написал декорацию 2-го акта, для 1-го акта декорацию писал Серов. Акварельные эскизы этих декораций, а именно серовский внутренний дворик ханского дворца и остроуховская ханская опочивальня хранятся в Абрамцевском музее.

Неуклонно присутствуя на всех репетициях «Черного тюрбана», Илья Семенович переживал со всеми участниками азартный интерес к этой комедии-шаржу, подготовка которой шла живейшим и дружным темпом, и в конце концов так увлекся талантливым исполнением главных ролей своими друзьями, профессором Спиро и Серовым, что согласился и сам выступить на сцене в бессловесной роли палача. Палач этот появляется на сцене всего один раз в конце пьесы. Он входит молча, ставит посреди сцены плаху и стоит, ожидая приказания приступить к делу. Эффект от участия Остроухова был исключительный. Когда, после слов Селима, произнесенных звучным, красивым баритоном М. Д. Малинина:

«Скорее плаху приготовь —
И ханская прольется кровь».

из правой кулисы медленным мерным шагом выступила бесконечно длинная, вся в красном, невозмутимо спокойная фигура Ильи Семеновича, зрительный зал сначала замер от изумления, а затем разразился громом аплодисментов и неудержимым хохотом. Успех Остроухова был колоссален... Интересно отметить, что при повторении постановки «Черного тюрбана» ближайшей зимой в нашем московском доме Илья Семенович наотрез отказался участвовать и не сдался ни на какие просьбы, уговоры и убеждения своих друзей.

Видный след оставил Остроухов в абрамцевской жизни и своими литературными способностями. В «Летописи» Абрамцева увековечена его шутливая, написанная гекзаметром поэма «Юльядо-Ильяда», в которой он повествует об одном из своих любовных увлечений.

IX

С каким-то особым душевным трепетом перехожу к воспоминаниям о младшем поколении выдающихся друзей-художников, о В. А. Серове и К. А. Коровине. Они ведь были почти моими сверстниками. Они были на «ты» уже не с отцом, а с нами. К каждому из них еще живы в сердце моем нежные чувства дружбы и глубокого преклонения перед их яркими талантами. Как-то боязно касаться их памяти, тревожить их образы при ясном сознании своего бессилия очертить, как того бы хотелось, их исключительно одаренные натуры.

Валентина Александровича Серова в нашей семье все звали Антоном, да и не только все мы — домашние, но и родственники наши и близкие друзья. Как и когда родилось это имя «Антон», я не помню. В дом наш Серов появился «Тошей» и затем уже Тошу перекрестили Антошей — Антоном. Любопытно подчеркнуть, что сам Серов никогда не протестовал против этого нового имени и как будто даже любил его, по крайней мере в память его одного из своих сыновей назвал Антоном.

Первое мое воспоминание о Серове рисует мне его толстым, мешковатым мальчиком лет десяти-одиннадцати в черной курточке, на которой ярко белеет чистый, выправленный наружу отложной воротничок. Затем вижу его уже учеником 1-й Московской классической прогимназии, куда в это время собирались определить моего старшего брата Сергея. Припоминается первый рассказ приготовишки-гимназиста Серова, уже тогда, в свои отроческие годы, ярко и образно передававшего свои впечатления. В данном случае он с возмущением жаловался на добродушнейшего директора своей прогимназии А. Г. Кашкадамова, который как-то на заявление Антона о дурном запахе в их классе, не задумавшись, ответил: «Не выдумывай глупостей — это у тебя в носу воняет».

Если Остроухова можно было считать в нашем доме своим человеком, то Серов попавший к нам в семью почти ребенком, всю свою жизнь был для нас, как родной. Недаром он, будучи особенно привязан к моей матери, неоднократно говаривал, что любит ее не меньше своей родной матери. Близко дружен был Антон не только с членами нашей семьи, но и с большинством наших многочисленных двоюродных братьев и сестер, с которыми он был с детства на «ты» и сохранил эти близкие отношения до конца своей жизни.

На вид всегда задумчивый, хмурый и суровый, Серов скрывал под этим своим как будто напускным видом редкую живость и веселость нрава. Между тем эта внешняя мрачность никогда не покидала его, и все свои остроумные, меткие словечки и неподражаемые шутки он отпускал с невозмутимым, неизменно спокойным хмурым видом.

Я не помню подробностей того, когда и при каких обстоятельствах Серов, вскоре после покинутого им первого класса гимназии в Москве переселившийся со своей матерью в Петербург, снова появился в Москве — у меня осталось чувство, будто он постоянно проживал у нас. Все, какие ни возьми, наши мальчишеские подвиги неразрывно связаны с Антоном. Когда в одну из абрамцевских зим мы все поголовно увлекались катаньем с гор на лыжах, да еще с каких крутых гор-то — теперь на них и глядеть страшно — Антон, конечно, был в первых рядах наших, а на устроенных на масленице состязаниях в этом спорте занял первое место. Вернувшись после этого своего триумфа домой, Серов тут же вечером сгоряча нарисовал в большом абрамцевском альбоме превосходные карикатурные портреты всех участников состязаний, замечательно уловив сходство каждого.

Одной весной у нас в Абрамцеве возникла новая увлекательная, но и рискованная забава — катанье по речке Воре на льдинах во время ледохода. Стоя на мосту через Ворю, мы поджидали подплывавшую под него подходящую по величине льдину, спрыгивали на эту льдину и плыли на ней вниз по быстрому течению версты две до того места, откуда Воря после впадения в нее речушки Яснушки становится более широкой. Не доплывая до Яснушки, мы ловили руками ветки густо растущих по берегам Вори ольх, притягивались к берегу и соскакивали со льдины на берег. Один раз эта легкомысленная забава чуть не кончилась серьезной катастрофой. Брат Сергей и Антон — оба наших коновода — вместе спрыгнули с моста на льдину, оказавшуюся уже совсем рыхлой, так что оба они моментально провалились сквозь нее. Хорошо, что глубина Вори в этом месте оказалась не столь велика и Сергей сразу стал ногами на дно. Бедняга же Антон из-за своего малого роста окунулся с головой и, только повиснув на плечах Сергея, мог выбраться невредим на берег. После этого случая катанье наше на льдинах было властью родительской прекращено, по крайней мере я не помню, чтобы оно возобновилось следующей весной.

Серов страстно любил лошадь — этот венец создания, по словам арабов. При всяком удобном случае рисовал он ее с натуры, а нет — так из головы. Любя лошадь всем сердцем, он всесторонне «чувствовал» ее, почему на всех его рисунках и картинах она так прекрасно, безукоризненно изображена. Часто Антон устраивал себе особое забавное удовольствие: возьмет, бывало, лист бумаги, карандаш и заставляет поочередно каждого из при-

сутствующих нарисовать лошадь, в каком тот желает виде и положении. Некоторых он ставил в тупик своей просьбой. И рисунки получались у большинства невероятные, а Антон, бывало, радуется и ото всей души хохочет.

В верховой езде, как я уже вспоминал выше, Серов был нашим неизменным спутником, а вначале и руководителем. Чаще всего ездил он на «Узелке», маленьком, шустром и нарядном жеребчике, очень подходившем ему по росту. Сохранился отличный фотографический снимок Антона верхом: героем, подбоченившись, сидит он в полосатом жокейском пиджачишке на любимом своем «Узелке». Отец как-то привез из Англии каждому из нас, мальчиков, и Антону, конечно, в том числе, по фланелевому жокейскому полосатому пиджаку, при чем каждому своего цвета: у Серова он был белый с синими полосами.

Трогательно дружил он с моими сестрами, которые были много моложе его, и при этом удивительно добродушно переносил всяческие их проказы. А они чего только не вытворяли со своим другом Антоном! Только бывало усядется он спокойно на большом диване — а при своем маленьком росте он не доставал ногами до полу — девочки тут как тут, налетают на него бурей, хватают его за висящие ноги, задирают их кверху и опрокидывают Антона на спину... А то пристанут к нему: «Антон, Антоша, покажи руку». Надо сказать, что у Серова была очень оригинальная кисть руки, в особенности забавна она была при взгляде на вертикально поставленную ладонь — небольшая, широкая, с непомерно короткими пальцами. Так пристанут девочки, что Антон в конце концов, чтобы отвязаться от них, молча протягивает им руку ладонью к ним и сам с ними весело смеется.

На почве этой дружбы и явилась на свет знаменитая серовская «Девочка с персиками», один из перлов русской портретной живописи. Только благодаря своей дружбе, удалось Серову уговорить мою сестру Беру позировать ему. Двенадцатилетнюю жизнерадостную бойкую девочку в летний погожий день так и тянет на волю, побегать, пошалить. А тут сиди в комнате за столом, да еще поменьше шевелись. Эта работа Серова потребовала много сеансов, пришлось сестре долго позировать для нее. Да Антон и сам признавал медленность своей работы, очень этим мучился и впоследствии говорил сестре, что он ее неоплатный должник.

Одним из сильных увлечений Серова были всякие дикие звери. Часами просиживал он в зоологическом саду перед клетками хищников, внимательно изучая их позы, движения, повадки. Ну и рисовал же он зато всех зверей с исключительным проникновенным мастерством. Изданная несколько лет тому назад серия открыток с рисунками Серова к басням Крылова — это яркий образец вдохновенного изображения зверей, птиц и животных... Изучив досконально обличие и характер зверей, Серов убежденно утверждал, что всякий человек непременно напоминает какое-нибудь животное. Для доказательства этого своего утверждения он однажды устроил в нашем московском доме любопытное зрелище. Среди многочисленных, не помню по какому случаю собравшихся гостей Серов выбрал несколько подходящих ему и с ними демонстрировал зверинец, при чем сам он изображал хозяина этого зверинца. Поочередно выводил он на показ публике своих зверей, среди коих М. А. Врубель был каменным бараном, при чем обязательно давал соответствующее объяснение. Почему-то из всего состава серовского зверинца мне особенно запомнился северный олень. Хозяин зверинца громогласно объявляет: «Северный олень, совершенно ручной, живет на севере, сена не ест», а выводит при этом К. И. Осипова, друга нашего детства. Северный олень стоит, уныло глядя на публику, и только когда Серов поднес ему к носу клочок сена мрачно качает отрицательно головой. В заключение показа своего зверинца сам



В. А. Серов и И. С. Остроухов

Антон преобразился во льва. На четвереньках, энергичными упругими звериными прыжками, помахивая косматой головой, выскочил он на сцену, и весь дом огласился мощным победоносным ревом царя зверей.

Прочно засел у меня в памяти красочный рассказ Серова об его работе над двумя портретами, написанными им в совершенно различных условиях.

Еще малоизвестным художником писал он в Москве портрет А. И. Абрикосова, основателя известной русской кондитерской фабрики под фирмой «А. И. Абрикосов сыновья», человека уже преклонных лет. Сеансы начинались с утра, почему Серов к 10 часам утра являлся уже на дом к Абрикосову и начинал свою работу. В 12 часов аккуратно приходили звать Алексея Ивановича завтракать, старик сейчас же поднимался с места, просил Серова обождать немного и удалялся. Минут через тридцать—сорок он возвращался и как ни в чем не бывало продолжал позировать, ковыряя зубочисткой зубы. Рассказывая это, Серов сам усаживался в кресло, принимал важную позу надутого Абрикосова и изображал, как тот, пресыщенный завтраком, сонными глазами глядел на художника. Затем он не выдерживал, вскакивал и, болезненно переживая старую обиду, жаловался на хамское отношение московского купца к художнику.

Второй портрет Серов, в те времена уже общепризнанный мастер, писал с самого царя Александра III в Петербурге. С неумолимой точностью он должен был являться к назначенному часу в Аничков дворец, где царь ему позировал, уделяя на сеанс не более 20 минут времени. Один раз Серов, явившись, как то требовалось, к указанному часу, не застал царя во дворце, и ему было предложено обождать немного в одной из комнат, окна которой выходили во двор. Ждать долго не пришлось, скоро во дворе раздались резкие звуки трубного сигнала. Серов бросился к окну и видит: выбегающие из караульного помещения солдаты с молниеносной быстротой строятся в ряды для встречи царя. Тут же на полной рыси влетает во двор пара взмыленных рысаков, как вкопанная останавливается у подъезда дворца, и из саней подхваченная под руки выскочившими из дворца служителями медленно поднимается высокая, громоздкая фигура Александра III. «Я почувствовал себя в Вавилоне или в древней Ассирии, — кончал свой рассказ Серов, — ни дать, ни взять Навуходоносор какой-то — даже холодок у меня по спине пробежал».

Из художников-сверстников Серов ближе прочих был дружен с Константином Коровиным, талант которого он очень высоко ценил. Когда он расстался по совместной мастерской с Остроуховым, из-за женитьбы последнего, он сошелся с Коровиным, и около года они оба работали в этой мастерской на Ленивке. Там между прочим написан им находящийся в Третьяковской галлерее портрет Коровина в жилете, полулежащего на диване.

Странно было видеть тесную дружбу этих двух художников, столь различных по характеру, по привычкам и образу жизни. Серов, неизменно аккуратно одетый, тщательно причесанный, всегда был обаятелен и на вид угрюмо серьезен, а Коровин отличался непостоянством, в достаточной степени легкомыслием, малоприятной «художественной» небрежностью в костюме. «Паж времен Медичисов» — прозвал его Серов за вечно торчавшую у него между жилетом и брюками белую рубашку. Серов был выдержанного, стойкого характера и очень определенного образа мыслей, Коровин же метался по ветру, как былинка: сегодня он на похоронах Баумана в 1905 году, под впечатлением увлекательного подъема масс, дает сто рублей в кассу революционеров, а завтра с излишней почтительностью заискивает перед директором Императорских театров.

Никогда не забуду характерной для обоих друзей сцены, свидетелем которой я был. В 1907 году от всех служащих казенных учреждений отбирали подписку-обязательство не состоять членом противоправительственных политических партий. Серов и Коровин в это время были профессорами «Школы живописи, ваяния и зодчества», где им и было предложено дать эту подписку. Серов резко, наотрез отказался, несмотря на то, что за этот отказ ему грозило увольнение от службы. Коровин, безропотно подписавший обязательство, всячески уговаривал и упрашивал друга последовать его примеру: «Ну, Тоша! Милый! Голубчик!», — жалостным, слезливым голосом умолял он Серова: «Ну не ходи в пасть ко льву — подпиши эту прокламацию. Чорт с ней. Ну что тебе стоит? Подмахни, не упрямься». Никакие увещания, никакие слезы не подействовали — Серов остался непреклонен, подписки не дал и со школой расстался.

А как талантливы, всесторонне, насквозь талантливы были оба. Когда в хорошем расположении духа сойдутся они, бывало, — конца края нет их остроумным шуткам, блестящим рассказам, метким имитациям. Сколько веселых часов провели мы с ними в столовой нашего московского дома, где находилось небольшое выпуклое зеркало, до неузнаваемости искажавшее черты смотревшегося в него лица. Серов и Коровин наперерыв начинали изображать различные типы. Особенно ярко запомнились мне «московский извозчик» Серова и «доктор» Коровина. «Прокатайте, барин, привенничек», — хрипел первый. «Да, есть маленькое затверденьи-

це-с», — цедил снисходительно сквозь зубы второй.

Удивительно, что выросший в семье композиторов, сам от природы очень музыкальный, обладавший на редкость тонким слухом, Серов не играл ни на каком инструменте, даже на фортепиано. Единственный музыкальный инструмент, что я помню в его руках, это бубен, настоящий испанский бубен, на котором он в период нашего общего увлечения оперой «Кармен» неподражаемо сопровождал исполняемый мной на фортепиано антракт перед 4-ым актом этой оперы.

В спектаклях нашего дома Серов, если только он в это время жил в Москве или в Абрамцеве, всегда принимал самое деятельное и горячее участие и в каждой порученной ему роли создавал интересную характерную фигуру. В первый раз на сцене выступил он со всеми нами, детьми, в 1881 году в пьесе отца моего «Иосиф», написанной на библейский сюжет. Пятнадцатилетним мальчиком — взрослым среди нас — он играл роль измаильтянского купца, покупающего Иосифа в пустыне у его братьев. Изо всего исполнения Серовым этой роли ярко сохранился у меня в памяти его жест в сцене разговора, торга купца с братьями — я играл старшего брата Рувима, предлагающего купцу купить в рабы Иосифа. «Рабов не нужно мне — вся черная ватага», — блистая белыми зубами, — произносил высокомерным тоном Антон, превращенный гримом в смуглого брюнета, араба, и при этом указывал большим пальцем левой руки на стоящую сзади него толпу своих чернокожих рабов...

Главной же специальностью и любимым делом Серова в этих наших спектаклях были закулисные звуки. Неподражаемо, изумительно ржал он конем, вздыбившимся под ханом Намыком и выбившим его из седла в «Черном тюрбане». Трогательно в этой же пьесе ворковал он голубком в сцене монолога томящейся в гареме хана Намыка несчастной Фатимы...

В «Женитбе» Гоголя Антон играл моряка Жевакина, одного из женихов, и вместе с тем ни за что не уступал никому другому закулисную реплику извозчика, а изображать извозчика он всегда как-то особенно любил, о чем я уже поминал раньше. Только что уйдя со сцены за кулисы, Антон опрометью выскакивал наружу и кругом обегал поленовский дом в Абрамцеве, где летом шла «Женитьба», и там, снаружи, присев почему-то на корточки, ожидал прыжка Подколесина из окна — выпрыгивал Подколесин в настоящее окно, — чтобы произнести буквально пять слов реплики извозчика.

Нельзя сказать, чтобы Серов очень охотно соглашался принимать участие в наших спектаклях, приходилось сильно его раскачивать и уговаривать. Приходилось нажимать на него даже отцу, но раз взявшись за дело, он уж весь целиком отдавался ему.

С трудом поддаваясь уговорам принять участие в спектаклях, Антон сам рвался в бой, как только дело доходило до костюмированных вечеров. Тут он всегда раскрывал свою богатую фантазию. Ярким воспоминанием остался в памяти показанный им игрушечный зайчик. На специально сооруженной для этого его трюка тележке-платформе сидел на стульчике Антон в белом меховом одеянии и в маске зайца с длинными ушами. Перед ним на скамеечке стоял барабан, по которому он бил палочками в такт вращающимся колесам. Все это сооружение один из моих двоюродных братьев, одетый маленькой девочкой. Успех этой презабавной шутки Антона был колоссален, хохот кругом него стоял несмолкаемый.

В 1889 году Серов женился и, оказавшись ревностным семьянином, уже много реже бывал у нас.

Отдавшись целиком своей домашней жизни, Серов, конечно, навсегда сохранил с нашей семьей свои тесные дружеские отношения и трогательную любовь к моей матери, неизменно выказывавшуюся им в трудные дни ее жизни.

КОК-САГЫЗ

А. ПОПОВСКИЙ

★

Филиппов явился на свет с любопытством, не знающим границ, и руками, способными все сделать и перекроить. Мы не знаем, как протекало его раннее детство, Филиппов не склонен об этом говорить, но к пятнадцати — шестнадцати годам он научился столь многому, что поражал своих соседей.

— До чего шустрый малый, — говорили о нем, — за что ни возьмется, все смастерит.

— И дотошный какой, — рассказывал кузнец, — все ему растолкуй да показывай. И не так, чтобы вперебивку, а по порядку.

— Уставится на тебя, — подтверждал плотник, — часами глаз не отводит. «Тебе чего, — спрашиваю я паренька, — времени много, девать его некуда?» «Хочу,—отвечает, — поглядеть, как это делается».

Простаивая таким образом у бондарной и слесарной мастерской, мальчик порой забывал, куда и зачем его послали.

Когда плотник впервые дал обстругать ему брус, он был изумлен искусством парнишки.

— Тебя кто учил топором управлять-ся? — спросил его мастер.

— Я все больше глядел, — ответил мальчик, — я дома старался то же самое сделать, чтобы крепче запомнить.

Он все то, что видел, так крепко обдумывал, прежде чем приступал к делу, что новое ему казалось привычным. После года ученья Филиппов умел рубить дома и возводить хозяйственные постройки.

Ремесло плотника не удовлетворило его. Он продолжал учиться всему, был гостем у мастеров-специалистов. Вначале мальчишку неохотно терпели и даже выгоняли подчас, затем к нему привыкли. Особенно изменилось отношение к нему, когда стало известно, что он дома оборудовал маленькую кузню и плотницкую, в которых копирует все, что подметит в мастерских... Пятнадцатилетний парнишка ладил телеги, бороны и кадки, чинил кровли и колодцы, а втайне мечтал стать агрономом. Он проводит прививки в саду, искусно копирует сельского садовника. За шесть лет он насадил шестьдесят корней яблок, триста вишен и столько же слив, обратив отцовскую усадьбу в сплошной сад.

Сын крестьянина мечтал о настоящей учебе на школьной скамье. Он мысленно видел себя в Сельскохозяйственной Академии, первым агрономом в районе... Мечтам, увы, не дано было осуществиться: семья нуждалась в работнике, некому было поддерживать ее. Да и где уж так поздно поступать в семилетку, ему будет трудно в шестнадцать лет сидеть в пятом классе рядом с двенадцатилетними.

Призванный в армию, Филиппов и там обнаружил свои способности: он сконструировал стол для механической чистки винтовок и усовершенствовал сигнализацию. Командование отметило таланты бойца и послало его учиться. Ему шел двадцать пятый год. Двадцати шести лет Филиппов окончил рабочий факультет и поступил в Сельскохозяйственную Академию.

Случилось, что с четвертого курса его направили на практику к Лысенко. Он много слышал об известном экспериментаторе и мечтал познакомиться с ним. В ту пору Лысенко только что провел свой замечательный опыт, обратил «кооператорку» — озимую пшеницу — в яровую.

Первая встреча ученого с практикантом была очень своеобразной. Молодой человек копался в вазонах с «кооператоркой», когда в дверях показался Лысенко. Было позднее время, в теплицах никого уже не оставалось: ушли ассистенты, лаборанты, рабочие. Ученый сердито взглянул на студента и недовольно спросил:

— Что вы тут делаете так поздно?

— Кончаю работу, — смущенно ответил студент.

Ответ, видимо, не удовлетворил Лысенко.

— Сверхурочно работать не надо.

«Кому я здесь мешаю в теплице? — думал Филиппов. — День слишком короток и хочется его продлить. Не всякую работу отложишь, не с каждым делом расстаться легко».

На другой день они встретились там же, и Лысенко его снова спросил:

— Что вы здесь делаете так поздно?

— Кончаю работу, — повторил студент.

Ученый был опять недоволен тем, что застал практиканта в теплице.

При следующей встрече Лысенко уже ничего не сказал. Он примирился с присутствием постороннего в то время, когда ему хотелось быть одному.

Шли дни. Ученый неизменно находил практиканта на месте, и между ними установилась своеобразная связь. Один бродил между стеллажами, рассматривал зеленею-

щую поросль и размышлял вслух, а другой напряженно слушал его. Ученому пришелся по вкусу молчаливый студент.

Однажды практикант по заданию ученого проводил на поле эксперимент. Он кастрировал пшеницу, лишив растения способности оплодотворяться собственной пыльцой, и рядом поставил другие растения, прикрыв те и другие одним стеклянным колпаком. По мысли экспериментатора, кастраты должны были опылиться чужой пыльцой.

Лысенко, взглянув на обстановку эксперимента, заметил:

— Под вашим колпаком нет движения воздуха. Пыльца осыплется, но не попадет на соседний колосок.

На другой день ученый с удивлением увидел, что изнутри колпака вырос высокий откованный прут, увенчанный флюгером наружу. Он вращался от движения ветра и приводил в действие вентилятор под колпаком.

— Что это? — спросил Лысенко, догадываясь о затее студента.

— Для ветра поставил,—объяснил тот.— Вы вчера говорили, что пыльца на колосок не попадает.

— Ну, а арматуру где раздобыли? — смеялся ученый.

— В кузне отковал, — ответил студент.

Однажды Лысенко положил перед студентом горсть корней кок-сагыза, мелких и щуплых, как мышиные хвосты, и сказал:

— Посадите их в землю, посмотрим, как они растут.

Как растет кок-сагыз? Превосходно, это также интересует и Филиппова. Наконец-то у него будет своя работа. В последнее время он сиживал подолгу в кабинете Лысенко, в былой гербовой зале под геральдическими львами и щитами крестоносцев, и слушал речи учителя, обращенные к ученикам. Время шло незаметно, на душе было радостно, легко, только руки Филиппова тосковали по труду.

— Расскажите, как вы будете вести свои опыты? — начал было Лысенко. — Надо сделать кок-сагыз культурным растением, выяснить, отчего гибнут в колхозах посевы и почему так низок урожай... Если вам для этой цели придется стать химиком, понадобятся знания механизатора — становитесь тем и другим. У вас одна лишь задача: привить кок-сагызу аппетит и вырастить крупные корни.

Нагрузив помощника задачами и загадками, ученый не удержался и все-таки принялся его экзаменовать:

— Вы займетесь, конечно, отбором, будете среди тысяч искать лучший корешок, чтоб получить от него семена на потомство? Так ведь, я угадал?

У аспиранта был опыт, он недаром провел время в гербовой зале. Вопрос заставил его насторожиться

— Обязательно отбором, — согласился он.

— Точно так, как отбирали сахарную свеклу? Искать случайные полезные изменения в корнях?

Филиппов знал, что так до сих пор велась работа над кок-сагызом. Селекционеры высевали миллионы семян и отбирали крупные корни для получения совершенного потомства. Сеяли густо, не учитывая нужд организма. Наследственные свойства, — полагали экспериментаторы, — проявят себя независимо от питания и условий среды. Слишком добрая почва может помешать правильному отбору. Селекционер примет временное за неизменное, случайный рост корня под влиянием удобрения—за его стойкие наследственные свойства. Следуя по такому пути отбора, человечеству понадобилось почти двести лет, чтобы из дикого корня вывести нынешнюю сахарную свеклу.

Филиппов обо всем этом успел передумать, прежде чем дать Лысенко ответ.

— Вы учили, Трофим Денисович, что полезные признаки следует не искать, а строить. Прямо-таки заранее планировать... Откармливая кок-сагыз на хорошей земле, удобренной всем необходимым, мы получим более сытые растения, у которых и корни будут больше и каучука достаточно...

Ученик не ошибся, учитель тут же подтвердил это своим заключением:

— Природа за нас работать не станет. Каучук нужен нам, и мы должны это растение переделать.

Кок-сагыз имеет свою историю. В горах Тянь-Шаня он издавна служит жевательной смолой. Его каучуконосные свойства открыл крестьянин Сиваченко в тридцать первом году в одной из высокогорных долин Казахстана. Более знаменит сородич кок-сагыза одуванчик-сорняк, прозванный садовниками «чумой газонов». Одуванчик обладает целебными свойствами и упоминается еще Теофрастом, как лечебное средство при родах, запорах и «каменной болезни». Для крестьян кок-сагыз был сорняком,усугубляющим тяжелый труд земледельца и отравляющим своей горечью молоко коров...

Чем больше Филиппов проникал в биологию каучуконоса, тем больше он удивлял его. Питомец был в равной мере наредкость живучим и до крайности хрупким; склонным к сообществу и гибнущим от него; дико растущим и беспомощным против полевых сорняков. Устойчивый перед болезнями, холодами и морозами, он погибал, чуть под почвой убавлялся кислород. Порождая обилие легкокрылых семян, способных в любой трещинке произвести новую жизнь, кок-сагыз умирает без потомства, если тучи не ко времени закрыли небеса, — в пасмурную погоду кок-сагыз отказывается оплодотвориться.

Филиппов начал свои опыты в Ленин-

ских Горках под Москвой. Здесь, в тридцати километрах от столицы, между холмами, окаймленными лесом, среди березовых и липовых рощ, аспирант пустился разведывать тайну природы тянь-шанского корня. Он твердо помнил наказ учителя: «привить кок-сагызу аппетит», сделать его культурным, отбором создать богатое каучуком растение.

С чего начинать, ему было ясно: он даст земле все, чего спросит кок-сагыз, а затем... Затем исследователю предстояло тяжело потрудиться и пройти через круг испытаний. Прихотливое творение Тянь-Шаня разбило уже немало надежд и принесло многим разочарование.

Чего стоит одно его свойство отказываться давать дружные всходы, как славно бы над ним ни потрудились. Одни семена дают ростки, которые идут стремительно вверх, а другие не показываются из-под земли.

Те из растений, которым удается прорасти, вскоре почему-то останавливаются в росте и дают сорным травам себя заглушить. В результате нередко поля остаются без всходов, до трети посевов не выживает, а то, что удается собрать, не превышает трех центнеров корней с гектара. Семь лет изысканий специалистов почти не изменили положения вещей. Разведение кок-сагыза продолжало оставаться делом нелегким и неблагодарным. Возникало даже сомнение: стоит ли внедрять его в сельское хозяйство, вообще заниматься им? Сможет ли тянь-шанский одуванчик стать серьезным источником каучука?

Филиппов провел первый посев и двадцатого мая тридцать девятого года мог убедиться, что тянь-шанский одуванчик остался верным себе: большинство семечек не дало всходов, его густо окружали сорняки. Надо было поспешить выполоть травы, прежде чем они окрепнут. Затем оказались новые трудности.

Наблюдая однажды за прополкой, Филиппов заметил, как одна из работниц с сорняком вырвала несколько корешков кок-сагыза. Он обрушился упреками на девушку и встал на ее место, чтобы собственным примером побудить ее лучше работать. У Филиппова было хорошее зрение и превосходная память, среди множества всходов, он легко мог различить кок-сагыз. Теперь эти способности ему изменили. Он пригибался к земле, вставал на колени и все более убеждался, что нежные росточки каучуконоса положительно тонут среди сорняков. Прополоть такое поле руками было делом нелегким, а машиной совсем невозможно.

Все-таки тянь-шанский одуванчик к концу лета поспел. Филиппов с тревогой и восхищением озирал покрытые пухом поля. Он утолил свое любопытство, близко увидел круг развития каучуконоса, но как теперь подступиться к нему? Миллионы маленьких растений с мелкими корешками, подобными мышиным хвостикам, с шарами семян, готовых упорхнуть при первом дуновении ветра, ждали уборки. Как собрать семена? Ведь здесь придется поставить несчетное множество сборщиц. Урожай оказался удачным, корни сильно отличались от тех, которые росли на Тянь-Шане, первый опыт воспитания в двадцать раз увеличил их вес. Но сколько это стоило средств и сил? Среди корней был один в сто шестьдесят граммов, такого великана еще не видел мир но что значит девять центнеров с гектара в сравнении с урожаем сахарной свеклы в четыреста — пятьсот центнеров с гектара.

Лысенко все время навещал аспиранта. Он приезжал в Горки и целыми днями бродил по полям. Его взор переходил от растения к растению, пальцы выкапывали корень и наощупь исследовали каучук.

— Плохо, неудачно, — заключил он, — мы сеяли слишком густо. Надо было реже... Значительно реже высевать...

Ученик удивился:

— Тогда бы и корней у нас было меньше.

— Нет. Главная причина неурожая — слабые всходы, корешок не выходит из-под земли. У него сил нехватает. Над этим стоит подумать.

Изучая причины неудач в своей работе, Филиппов однажды заметил нечто глубоко удивившее его. На двух смежных участках земли были высеяны семена каучуконоса. На одном легли они густо, друг подле друга, на втором ложились семена очень редко. На первом выросло большое число корешков, а на другом вовсе не было всходов. Ростки не вышли из-под земли и погибли. Аспирант раскопал их и убедился, что стебельки вились долго под почвой и, не пробившись наружу, задохлись. Филиппов много думал над этим, но так и не нашел тогда объяснения. Мог ли он допустить, что дикое растение, способное вынести сорок градусов холода, прорастающее под снегом, под ледяной коркой, так приспособившееся, что может годами сохраняться глубоко под землей, окажется беспомощным в момент прохождения сквозь почву.

— Надо ему помочь выбиваться, — продолжал Лысенко размышлять вслух. — То, что трудно дается семени в одиночку, может оказаться легче группе семян, будем в каждую лунку бросать несколько семян и делать эти ямки пореже. Тогда и с сорняками будет легче воевать. Сорные травы не обгонят его...

Аспирант внимательно слушал ученого. То, что тот предлагал, казалось невероятным. Каждое слово противоречило элементарным основам биологии.

— Сеять так, чтобы всходы появлялись букетами? По щепотке семян в каждую лунку?

— Да, — спокойно ответил учитель.

— Какой в этом толк? — не сдержался Филиппов, — растения задавят друг друга.

— Не задавят. Как вы себе представляете объем такого букета? С крупную свеклу?

— Меньше, конечно.

— Ну с крупную морковь?

— Примерно.

— Площадь, которую отводят для семечек моркови, меньше той лунки, которую вы делаете для щепотки семян кок-сагыза?

— Нет.

— Значит у наших растений будет достаточно питания. Каждый корень тем более получит свое, что между букетами вы оставите большое пространство.

— Из учебников известно, — настаивал дотошный ученик, — что если в лунку положить не одно семечко сахарной свеклы, а шесть или восемь, общий вес этих растений будет значительно меньше одного корнеплода, выращенного отдельно от других. Кто не знает, что теснота приводит к взаимному угнетению и ослаблению организмов.

— Нельзя культурную свеклу, — парировал учитель возраженье ученика, — ставить рядом с дикарем кок-сагызом.

Ученый любил такого рода дискуссии, в споре оттачивалась его собственная мысль и углублялась идея.

— Свеклу мы приучили расти в одиночку, теперь она в этом нуждается. Кок-сагыз, наоборот, привык к коллективу. Семена его веками падали рядом и развивались друг подле друга. Мне кажется даже, — после некоторого раздумья добавил Лысенко, — что эта близость полезна растению.

Ученый помолчал и заговорил о другом.

— Вы еще что-то хотели, кажется, сказать, — напомнил ему аспирант.

На Лысенко был обращен такой настойчивый взор, столько любопытства этот взгляд выражал, что ученому пришлось уступить:

— Обратили вы внимание на то, как скверно чувствует себя кок-сагыз среди чужих видов растений и как он мирится со своими, сколько бы их ни было вокруг него? Чем это объяснить? Как вы полагаете?

— Совершенно очевидно, — продолжал он, — что между растениями данного вида существует взаимосвязь, которой нет между ними и другими. Вот вам несколько примеров. Корни каучуконоса любят вентиляцию. Чем больше их друг подле друга, тем лучше взрыхляется ими же почва и больше поступает воздуха к корням. Еще один факт. Кок-сагыз питает склонность к влажному грунту. В тесном кругу, там, где множество розеток тесно прикрывают листьями почву, влагу легче сохранить. Или такого рода пример. Растение, как вам известно, извлекает из минералов питание, растворяя подчас скалы. И подобный процесс осуществляется легче в компании... Дикие растения, — заключил он, — нуждаются в обществе, такова их природа. Учтите этот урок, смелей идите навстречу запросам растения, и вы получите тридцать центнеров корней с гектара.

Объяснения ученого доставили Филиппову удовлетворение и в то же время взволновали его. Как это ему самому не пришло в голову? Факты были у него перед глазами, находились буквально в руках. Они лежали мертвым грузом, пока Лысенко их не оживил. Однако ученый далеко не все разъяснил. Филиппов мог бы с ним, пожалуй, и поспорить. Мы затем лишь изучаем природу каучуконоса, чтоб извлекать нужный нам материал. Не будь у растения благодетельного свойства накапливать нужный нам материал, никто не стал бы гадать, что ему полезно и вредно. Какая цена всему что здесь говорил ученый, когда неизвестно основное: какими средствами возможно усиливать накопление каучука в корнях? Делать так, как полагает Лысенко: путем направленного отбора вырастить вид с наиболее крупными корнями? На первый взгляд это просто и логично. Более крупные корни будут всасывать энергичней минеральные продукты, пускать их по стеблю и листьям и оттуда получать органические вещества. Чем больше поступит из зеленых розеток питания, тем больше каучука будет в корнях.

Верен ли этот расчет? Можно ли свойства сахарной свеклы механически приписывать кок-сагызу? Мы знаем, что сахар откладывается в корнеплод как запас питательных средств растения. Можно ли с уверенностью сказать, что каучук — предмет питания кок-сагыза? Верны ли утверждения, что каучук — отброс организма, что-то вроде патологии его, или правильна теория, что каучук — секрет против болезнетворных микробов; кто поручится, что хорошее питание приведет к умножению в корне каучука, а не наоборот — к уменьшению его?

Усомнившись в расчетах учителя, Филиппов прибегнул к свидетельству опыта. «Допустим, — сказал он себе, — что каучук, подобно сахару в свекле, служит для одуванчика питанием. В таком случае запас его тем скорее иссякает, чем интенсивней растение будет голодать».

Опыт был нагляден и прост. Корни одного и того же урожая разделили на равные части. Одну — положили в подвал на хранение, а другую часть посадили в вазоны, лишив растение света. Из корней образовались листья, но к корешкам не было обратного движения соков — и одуванчики стали голодать. В продолжение месяца корни боролись за жизнь, питаясь запасами и клетками собственных тканей.

Филиппов не был спокоен за исход зате-

янного эксперимента. «Неужели, — спрашивал он себя, — этот опыт не нужен и Лысенко задачу давно разрешил?»

Эксперимент над корнями был проведен до конца, результаты оказались интересными. Высаженные в теплице и лишенные света корни утратили большую часть каучука. Он был съеден растением. В сравнении с корнями, отложенными в подвал, подопытные выглядели тощими.

Не довольствуясь этим наглядным примером, Филиппов извлекает весь каучук из тех и других корешков кок-сагыза и убеждается, что у голодавших одуванчиков его в два раза меньше. Лысенко был прав. Каучук — продукт питания одуванчика, откладываемый в корнях про запас. Увеличив отбором корни растения, можно поднять добычу каучука...

★

Решение высевать семена кок-сагыза по нескольку семечек в лунке навело Филиппова на мысль придумать аппарат для такого посева. Существующие приспособления для этого не годились, они либо высевают мелкие зернышки, либо семена покрупней, но всегда по одному, отнюдь не щепотками.

— Сумеете приладить, — сказал ему Лысенко, — будет хорошо. Машина всегда выгодней человеческих рук.

Но какой агрегат нароет сто тысяч ямок на каждом гектаре и насыплет в них по щепотке семян?

Филиппов придумывает аппарат, в котором обычный горох, обмазанный клеем, обволакивается семечками кок-сагыза. Все было учтено и рассчитано, но подвели семена. Мокрые после долгого пребывания в воде, как этого требуют условия посева, они отказывались приставать к смазанному клеем гороху.

— Попробуем другое, — сказал себе аспирант, — жаль расстаться с горохом, его высокий стебелек среди сорняков был бы истинным маяком во время прополки.

Филиппов заделывает щепотку семян в маленькие катышки глины и высаживает их в вазоны. На черноземной поверхности букетами встала зеленая поросль.

— Превосходно, — поздравил Филиппов себя, — остается решить, как мы эти катышки будем готовить?

— Вот что, Дмитрий Иванович, — подсказал было Лысенко, — сходите на конфетную фабрику и узнайте, как там производят драже.

Но аспирант уже сконструировал станочек, который каждым движением выбрасывал наружу пятьсот катышек, начиненных семенами. Заготовив много тысяч «глиняных драже», Филиппов высеял их на опытном поле. Для контроля упорный искатель засеял несколько грядок щепотками семян, не заделывая их в глину и не склеивая между собой. Судьба не была милостива к экспериментатору, из девяти гектаров, засаженных катышками, половина погибла и не дала всходов. На остальных, кок-сагыз пророс с опозданием. Зато контрольные грядки принесли неплохой урожай. Глиняный чехол, видимо, не дал семенам прорасти, они умерли от жажды в своем каменном мешке.

— Попытайтесь ваши катышки прижать к земле, — посоветовал Лысенко помощнику, — заставьте их тянуть для семечек влагу.

Ученый не ошибся: прижатые к земле, они лучше вбирали в себя воду, но все же для семян ее нехватало. Мы не станем рассказывать о всех ухищрениях Филиппова, о том, как в поисках средств сделать пористой глину и привлекать влагу к семенам, он катышки насытил химическим составом, заставил их так жадно захватывать воду, что из капелек росы в течение ночи вокруг комочков вырастали обширные лужи. Увы, не помогло и это — пересоленный раствор не только не отдавал, но отбирал последнюю влагу у семечек.

Филиппов в отчаянии терялся.

— Что за упрямый дикарь, — бранился аспирант, — он цветет под слоем снега, под ледяной корой, в трещинах асфальта, среди елочек в лесу, — всюду, где мы его случайно роняем, и не растет там, где нам необходим его урожай.

Все попытки механизировать посев с помощью ли катышек или другим каким-либо путем не дали никаких результатов. После нескольких лет трудов и исканий ученый и его помощник стояли у исходных позиций. Попрежнему гибли посевы, семена сплошь и рядом не прорастали, сорные травы глушили кок-сагыз, а мотыгой нельзя было к ним подступиться. Первая копка корней открыла новые трудности.

Наблюдая уборку каучуконосов, Лысенко как-то заметил своему аспиранту.

— Вы больше половины корня оставляете в почве, приглядитесь хорошенько, как это делается при уборке.

Филиппов не удивился замечанию ученого: что поделаешь, корешок достигает метра и больше длины.

— Вы не поняли меня, — возразил Лысенко, — боковые отростки корней остаются в пласте, поднятом плугом. Взгляните сюда, почва полна корешками. Сколько собрано на этом гектаре?

— Семнадцать центнеров с лишком.

— На другом у вас будет в два раза больше. Выкопайте корни садовыми вилами и проверьте каждый комочек земли.

Предсказания ученого оправдались: с гектара было собрано сорок четыре центнера корней. Зато на уборку ушло четыреста двадцать рабочих дней, все прочие работы — от возделывания почвы до копки корней — потребовали только полтораста дней. Убрать урожай оказалось труднее, чем вырастить его.

— Сколько в вашей катышке семян? — спросил однажды Лысенко помощника.

— Десять—пятнадцать, — ответил аспирант.

— А букетов на гектаре сколько наберется?

— Двести тысяч примерно...

— Попробуем увеличить семечек в лунке до пятидесяти. Это позволит уменьшить количество букетов. Вы догадываетесь, к чему это я говорю?

— Что ж тут мудреного? Высеяв культуру редкими гнездами, можно будет мотыгой свободно полоть сорняки.

— Ну так вот, — продолжал Лысенко, — сорняки нам не будут страшны. Мы перейдем к ручному посеву и корни станем выкапывать садовыми вилами.

К ручному посеву? Корни выкапывать не плугом, а вилами? Нет. Лысенко не мог сказать такую ересь.

— Могли бы вы сконструировать машину, — словно угадав мысль Филиппова, спросил ученый, — которая сеяла бы щепотками и вырывала корни без потерь? Ведь нет, не могли бы? Что же остается другого?

— Но вы говорили, — продолжал удивляться аспирант, — что надо уменьшить затраты сделать дешевым отечественный каучук. Это возможно лишь путем механизации труда... Ручной посев означает огромные затраты денег и сил. Где колхозам добыть такую уйму людей?

— Я не понимаю, что вас смущает, — недоумевал Лысенко, — ведь и картофель сажают руками, притом, как известно, миллионами гектаров.

— Но ведь там на гектаре лишь сорок тысяч кустов. И наших букетов будет не больше. Будем сеять по полсотни семян в одну лунку. Букеты будут большими, междурядья — обширными, прополка не потребует много труда... Сейчас мы распахиваем весь пласт земли, а тогда лишь придется выкопать сорок тысяч кустов.

Лысенко предложил аспиранту засеять несколько участков по новому методу и изучить результат.

Тяжелое бремя взвалил ученый на плечи помощника. Надо было обдумать и решить для себя, что верно и неверно в идеях Лысенко Допустим, что ручной посев кок-сагыза лучше прочих других, но как примирить это с тем, что новая культура — замечательное достижение родины — будет возделываться примитивным путем? Вместо сеялки — руки, вместо плуга или свеклокопателя — обыкновенные садовые вилы. К этому ли стремится наука?

В долгие зимние ночи Филиппов много передумал.

Близилась весна второго года Отечественной войны, предстояли эксперименты, а он все еще размышлял и сомневался. Больше всего его волновала неопределенность в самом себе. Чего ему желать? Что считать поражением и успехом при обстоятельствах подобного рода?

Осень рассеяла опасения аспиранта: с гектара были выкопаны двадцать шесть центнеров превосходных корней. Они обошлись в сто семь трудодней вместо двухсот при машинном посеве. Излишнее время, потраченное на ручную посадку, окупилось экономией труда на прополке. В состязании с сеялкой мотыга подтвердила расчеты ученого.

В течение зимы, вплоть до начала весны Горки были местом паломничества. Сюда стекались колхозники учиться гнездовому ручному посеву.

★

И все-таки с катышками не все было покончено. Известен обычай Лысенко вновь и вновь возвращаться к отложенным планам, чтобы их возродить. Так случилось и на этот раз. Ученый вдруг заявил аспиранту:

— Катышки не будем бросать, они могут нам пригодиться. На полусухой почве они могут сыграть свою роль.

Объяснения ученого сводились к тому, что семена кок-сагыза, приспособленные природой размножаться с помощью ветра, содержат крайне ничтожный питательный запас. Нельзя быть легким и сытым одновременно. Виды, которые имели более крупные заряды питания, уступили свое место менее сытым, способным на своей летучке одолевать большие пространства. Отсюда требования: семечко не заделывать глубоко, учесть его невозможность долго обходиться собственным кормом... «Не бросайте меня в слишком взрыхленную почву, — просит семечко нас, — она быстро просыхает. Дайте мне твердый грунт, способный кормить и проводить влагу...» Теперь вообразите, что мы наши катышки намного увеличили, сделали их стаканчиками. Дали им перегноя и влаги, одним словом, всего. На этих катышках мы высеваем семена кок-сагыза и высаживаем их в почву уже с ростками. Этой рассаде ничего на свете не страшно: ни глубина борозды, ни сухость земли, ни ограниченность запасов у зернышка. У него и влаги и питания на первое время достаточно, а остальное — забота природы.

Эти мысли взбудоражили Филиппова, подняли бурю новых планов и идей. Стаканчики явились его мысленному взору как новое чудо на свете. Удобренные навозом, обогащенные водой, они как бы становились биологическим довершением для бедного питанием семечка. Точно так же поступают микробиологи, когда хотят вырастить колонию микробов. Они создают им искусственную среду, сытую, удобную, соответствующую их природным потребностям.

Филиппов принимается механизировать процесс производства стаканчиков. Их понадобится миллионы в каждом колхозе,

где нет ни станков, ни моторов. Способ изготовления должен быть прост, орудие производства доступно.

Среди хлама в сарае аспирант находит брошенную кем-то мясорубку. Он удаляет из нее нож и дырчатую сетку, заполняет машинку смесью из почвы и удобрения и приспосабливает ее к динамо-мотору. В «аппарат» непрерывно поступает материал, а наружу выходит цилиндрическая лента «колбасы». Ее можно резать на небольшие отрезки — стаканчики. Филиппов высевает на их поверхности семечки и с появлением всходов высаживает в почву эту рассаду. Через несколько дней корешки пройдут через катышки насквозь и доберутся до влажной земли. Никакие сорняки их тогда не обгонят и не заглушат.

Лысенко по-своему оценил механику Филиппова.

— Где ж колхозники возьмут мясорубки? Берегитесь, они их потребуют у вас.

Аспирант разработал другую методику образования рассады. Она напоминала изготовление слоеного пирога. Внизу выстилался толстый слой почвы и перегноя и затем накрывался землей. Засеяв эту обширную поверхность, экспериментатор рассекал «пирог» на кусочки и высаживал его по частям.

Это было зимой, а весной колхозники у себя на участках уже проверяли идею Лысенко. Урожай подтвердил расчеты ученого и его неутомимого ученика.

Особенно трудным был год девятьсот сороковой. Было время, когда Филиппов увлекался идеей разводить кок-сагыз черенками; получать из кусочка корешка, посаженного в почву, крупные мясистые корни. Лысенко по этому поводу заметил: «Кок-сагыз из черенков будет так же отличаться от семенного, как картофель, выросший из клубней. От высеянного из семян клубня растет картофельное изобилие. В нашем деле надо следовать по тому же пути».

Скоро в вазонах взошли необычайные всходы: мощные листья, во сто раз более крупные, чем те, которые вырастают из семян. Растения из черенков развивались стремительно, сулили крупные, богатые каучуком корешки.

— Что это за всход? — спросил Лысенко, запуская пальцы в вазоны.

— Из черенков, — ответил аспирант.

Ученый выкопал несколько черенков, присмотрелся и обнаружил недостаток в работе природы:

— У них нет корней. Они поедят свои запасы и помрут.

Аспирант побледнел от неожиданности. Одним замечанием Лысенко перечеркнул то, что казалось огромным успехом.

Следуя своему правилу помогать, вдохновлять, но не решать за другого, Лысенко нагрузил аспиранта задачами, дополнив этот груз длинным перечнем тяжелых сомнений. Филиппов должен, во-первых, добиться корешков у растения, во-вторых, выяснить, в какое время года и в какой именно месяц лучше высаживать в почву черенки. Добившись успеха, заняться отбором, варьировать опыты и различными средствами их видоизменять...

— Как это делать? — неосторожно спросил аспирант.

— Как хотите, — последовал спокойный ответ. — Ставьте опыты, думайте, решайте. Корней не жалейте. Экспериментов побольше. Черенки — наше будущее, именно они нам дадут каучук.

Филиппов начал опыты решительно и спокойно, словно давно эту работу продумал и мысленно проделал не раз. Он нарезал черенков из корешков кок-сагыза и стал высаживать их в почву на различную глубину, в разные условия температуры и питания. В вазонах появились прекрасные всходы, крупные листья и... без малейшего признака корней. С наступлением весны растения загнивали. Они отказывались добывать себе соки из почвы, и, исчерпав все запасы, погибали. Черенки должны пускать корни в почву. Что-то мешает им это делать, надо найти причины.

— Как вы полагаете, — спросил аспиранта Лысенко, — не высадить ли нам черенки эти в поле?

Рискованно, конечно,— условия теплицы более благоприятны для эксперимента, зато на делянке истина скорее всплывает. В искусственной обстановке черенки могут страдать от неправильного способа хранения. Он пробовал держать их по-разному: оставляя открытыми, присыпал землей, давал им различную температуру. Тысячи причин, на первый взгляд незначительных, могли угнетать развитие корней. В естественных условиях помехи эти не будут заслонять истину.

Филиппов наготовил черенков, высадил их в поле, сделал все, что он мог для их благополучия, и в результате даже всходов не получил. Черенки сгнили в земле. В теплицах успехи куда были выше, там хотя бы появлялись ростки. Что бы это значило? Все живое на свете прорастает весною, от чего могли погибнуть черенки?

Лысенко выкапывал из почвы корень за корнем, допытываясь, какие причины сгубили их. Время от времени он выбирал из земли корешки кок-сагыза, высеянные семенами в прошлом году и оставленные в почве на второй год. Ученый долго рассматривал те и другие, долго сравнивал и размышлял, пока не добился ответа.

— Не во-время сеем, — рассудил он, — над этим надо серьезно поработать.

Проницательный взор его заметил, что не одни лишь черенки загнивали. Перезимовавшие в земле двухлетние корни также несли на себе известную печать умирания.

— Мы упустили из виду, — уже понял

Лысенко, — критическое значение весенней поры в жизни кок-сагыза. Растение в это время сбрасывает с себя кору и каучуковую паутинку, от всего корня остается лишь стерженек древесины. Растительный организм как раз нуждается в поддержке, а мы его режем и крошим.

— Почему же он в теплице давал пышные всходы, — недоумевал аспирант, — почему он на делянках даже не прорастал?

В вопросе помощника слышалась ирония. Филиппов не скрывал своего недоверия к заключению ученого.

— Опыты в теплицах, — ответил тот, — проводились не весной, а в осеннюю пору. Не следует смешивать осень с весной... Надо нащупать, в какой именно момент черенок, высаженный в почву, сможет выжить и давать корешки. Попробуйте заложить еще такого рода опыты. Высадите на поле партию черенков и повторяйте эти посадки каждые пять дней, в течение нескольких месяцев. Те черенки, которые до конца разовьются, подскажут нам этим, когда их сажать.

Это было в мае сорок первого года. Двадцать восьмого июня Филиппов ушел на фронт. Прежде чем оставить Ленинские Горки, аспирант передал свое дело лаборантке.

Спустя год, весной, Филиппова с фронта командировали в Москву. Из столицы аспирант первым делом поспешил в Горки.

— Что с черенками? — спросил он лаборантку.

Ничего путного, — махнула она рукой, — не было и всходов, погибли.

Филиппов бросился к делянкам и убедился, что девушка ошиблась. Погибло все, что он сам посадил, но то, что было посажено после него, начиная с двадцать пятого июня, благополучно перезимовало. Лучшее время для посадки черенков граничило с серединой лета.

Корни, собранные с урожая, как предвидел Лысенко, не могли итти в сравнение с теми, которые выросли из семян. Вышедшие из черенков, они были крупнее и содержали значительно больше каучука. Были среди этих растений экземпляры, невиданные еще на земле, один из них весил больше двухсот двадцати пяти граммов.

Наряду с посевом семян стало возможно разводить каучуконос вегетативно — черенками из его же корешков.

Работа с кок-сагызом в то же время проводилась и другим неутомимым ассистентом академика Лысенко — Колесником.

Успехи учителя вдохновили его: он засеял под Киевом семена кок-сагыза и насадил черенки. Собрать урожай ему не привелось — Украину заняли немцы. Тогда он с энергией устремился на север разводить там кок-сагыз.

Он — всюду, этот неутомимый помощник, где есть хоть малейшая возможность найти сторонников и друзей. Его призывы звучат на совещаниях и съездах, везде, где собираются члены колхозов, агрономы и специалисты технических культур. Всякий, кому дороги интересы страны, кто считает себя патриотом, должен насаждать кок-сагыз. Тот, кто не знает, как важен каучук, пусть запомнит следующие факты: нельзя построить самолет без полутонны резины, танк требует его в два раза больше, а военный корабль шестьдесят восемь тонн...

Успех пропаганды разведения кок-сагыза превзошел ожидания: лишь в одном Юрьев-Польском районе пять тысяч хозяйств посеяли кок-сагыз на своих огородах. Три тысячи семей горожан внесли в фонд обороны свой первый урожай корешков. Таково было начало. Колесник на этом не успокоился. Он призывает словом и делом насаждать оборонную культуру. Он печатает об этом материалы в газетах и добивается от редакций решительных статей.

Слава о кок-сагызе перешагнула границы страны. Журнал «Агрикультура в Америке» писал в 1942 году:

«... Крепкий маленький новобранец из растительного мира прибыл только что в Америку и записался на военную службу. Его имя Кок-Сагыз. В прошлом году его выращивали в России... Ныне, в целях укрепления рессурсов объединенных наций, он высевается впервые на северных и южных почвах Америки...

«Новый пришелец — одомашненный родственник семейства американских одуванчиков — достиг западных берегов при помощи ковра-самолета, в соответствии с лучшими традициями его родных мест — центральной Азии... Ранним летом по воздуху была переброшена из временной столицы Союза Советских Республик — Куйбышева первая партия семян в Вашингтон. Они прибыли в Америку восьмого мая. Об озабоченности департамента Штатов можно судить по ряду инструкций, которые передавались по двухпутному кабелю, и ежедневных запросов относительно судьбы двух непредставительных джутовых мешков с семенами во время их путешествия вокруг половины земного шара. После совершения определенных церемоний семеноводческого ритуала, семена были самолетом отправлены на шестьдесят приготовленных заранее участков в Канаду, Аляску и Соединенные Штаты Америки. Успех этих опытов определит, где будут в дальнейшем заложены плантации больших размеров...»

Год спустя другой журнал «Таир Ревью» написал:

«В корнельском университете Соединенных Штатов Америки на средства фирмы Гудрич исследовались две тысячи растений западного полушария на каучуконосность. Из них русский одуванчик признан наиболее многообещающим...»

★

После первой же уборки, когда сборщицы, потрудившись до изнеможения, собрали лишь по пятьдесят граммов семян, Филиппов задумал построить уборочную машину и заявил об этом Лысенко.

Ученый спокойно заметил ученику:

— Нам нужны сейчас корни. Семена дело второе. Думайте над машиной, если хотите, я этим делом заниматься не хочу.

Спустя некоторое время, однажды в воскресенье по широкому шоссе спешил на велосипеде Филиппов. У дома Лысенко он позвонил.

— Поедемте со мной, — сказал аспирант, — машина готова. Убирает превосходно, ничего не придумаешь лучше.

— Какая машина?—удивился ученый.— Вы все-таки сделали ее?

В Горках Лысенко долго разглядывал грубо сколоченный аппарат, весьма напоминающий тачку, и не слишком уверенно покатил его к опытному полю. Было еще рано, кок-сагыз не созрел, только дикий одуванчик выбросил местами свой семенной шар. Ученый провел машину по расцветшим сорнякам и убедился, что ни одна летучка не ускользнула от аппарата. Он сделал несколько указаний помощнику и одобрительно покачал головой.

— Теперь и потрудиться не жаль, — согласился с поправками плотник, помогавший Филиппову в осуществлении его конструкции, — Лысенко сказал, что машина хороша, значит моя работа будет полезна.

Это подтвердила еще одна инстанция — специальная комиссия, постановившая выпустить творение Филиппова массовым тиражом.

Другая машина, сконструированная аспирантом, стирала пушок с каждого семечка и просеивала чистые зерна.

— Я хотел бы поручить вам серьезное дело, — сказал однажды Лысенко помощнику.

Они бродили по опытному полю, где кучками громоздились выкопанные корешки. Ученый был чем-то озабочен.

— Сейчас время военное, — продолжал он, — железной дороге не до наших корней, она перевозит нечто более важное и нужное. Да и незачем занимать вагоны под груз, состоящий на девяносто восемь процентов из отбросов и воды Мы должны научиться извлекать каучук на месте. Никаких агрегатов и ничего сложного — методика и средства должны быть доступны любому колхозу. Надо без лишних мудрствований сгнаивать корни и промывкой выделять каучук.

Мудреная задача! «Сгнаивать корни», «выделять каучук» и конечно, без химикалий, центрофуг и котлов. Ведь не в каждом хозяйстве все это найдется. Счастливы те, кто добывает каучук из млечного сока насечкой деревьев гевеи. Им не страшны сорняки, они не знают корней с мертвыми стержнями и нет нужды их сгнаивать их. Наши каучуконосы хранят свое сокровище не в сокопроводящих сосудах и не под корой, а в самых тканях. Извлечь этот клад можно, только разрушив растение.

Филиппов несколько ночей провел без сна, в размышлениях, затем солнечным утром отправился к свалкам и долго там копался у дымящейся кучи навоза. Он разворачивал ее и с видимым удовольствием погружал в нее руки, словно грел их. В лаборатории он на плитке вскипятил воду и обдал кипятком несколько корешков кок-сагыза.

— Вы понимаете, — объяснил аспирант лаборантке, — живое не гниет... Придется их предварительно обваривать.

Филиппов отнес свои корни на свалку и сунул их в дымящуюся кучу навоза, отметив место захоронения еловым сучком. Пять дней аспирант строил планы и догадки, бродил вокруг свалки, едва подавляя желание отрыть погребенные корешки. На шестой день рано утром Филиппов примчался на место, дрожащими от волнения руками отрыл закопанный клад и убедился, что он почти сгнил. Счастливец запел от восторга. То была неподдельная радость. Аспирант благоговейно положил корни в перегной, чтобы снова сюда приходить и предаваться здесь размышлениям.

Еще миновало пять суток. На шестой день он явился чуть свет к навозной «лаборатории», заглянул в ее недра и нашел все, чего так страстно желал — разложившуюся массу, полную нитей каучука. Чернобурая жижа очутилась затем на сетке под водопроводной струей. Филиппов вглядывался во все более светлевшую воду, тревожно взирая на каждую крошку органической ткани, уходящей из его глаз. Так золотоискатель ревнивым оком следит за каждой песчинкой, уносимой потоком, готовый признать в ней благородный металл...

Экспериментатор отжал то, что осталось от прежних корней, сунул сгусток под железные вальцы и получил пластинку каучука.

Лысенко долго и любовно мял рожденную в навозе упругую ткань и, не отводя от нее взора, сказал:

— Сделайте этот опыт еще раз, я приеду и посмотрю... Кстати, корни вы клали вареными? Попробуйте — сырыми теперь.

В тот день аспирант заложил одну партию обваренными, а другую — сырой.

Лысенко приехал на другой день и, не заходя в помещение, направился к месту эксперимента.

Он раскопал руками навоз и вытащил несколько потемневших корней. Закопанные «живыми», они были убиты высокой температурой и успели уже загнить.

— Хорошо, — резюмировал Лысенко, — заложите порцию побольше, с полцентнера, центнер. Я завтра уезжаю, телеграфируйте, как пойдут у вас дела.

Дела, как назло, вели себя скверно. Напрасно Лысенко посылал телеграмму за телеграммой. Никто не отвечал ему на вопрос: «Как подвигается дело?», потому что оно не подвигалось и прочно стояло на месте.

Вот что случилось в Ленинских Горках.

После отъезда ученого Филиппов еще жарче принялся за работу. Он начал с того, что передвинул навозные массы ближе к лаборатории. Они теперь находились в пяти шагах от нее и на таком же расстоянии от кабинета Лысенко. Подготовив экспериментальное поле, он отвесил сорок килограммов корней и заключил их в навоз.

Однако то, что спустя десять дней предстало взору Филиппова, было неутешительно: корни кок-сагыза не разлагались. Он снова и снова раскапывал корешки и к своему огорчению не находил ни малейших перемен.

Филиппов обратился к литературе, касавшейся сроков и способов хранения навоза. Надо было решить, какими средствами вернее расплавить клетчатку корней, и высвободить каучуковые нити. Один из ученых рекомендовал дать бактериям, вызывающим этот распад, больше свежего воздуха, заливать перегной навозной жижей и, вытеснив этой влагой накопившиеся газы, открыть кислороду путь.

Филиппова словно осенило: так вот почему его корни не загнивают! Ему все ясно теперь. В дни прежних опытов перепадали дожди, а в последнее время стоит сухая погода Залить навозную горку водой — и гниение пойдет...

Аспирант не ошибся, через несколько дней после первой поливки от корней осталась лишь бурая каша.

«Теперь, — обратился Филиппов к себе, — подумаем, как механизировать промывку корней... Лысенко советовал «так построить систему обработки, чтоб она была по средствам любому колхозу».

Был жаркий солнечный день, когда Филиппов, засучив рукава, стал протирать сквозь сетку чернобурую массу. Его сильные руки двигались быстро, все разминая, что уцелело от тления навоза. Прошел час — другой, а результаты оставались ничтожными.

Филиппов переменил инвентарь. Место сетки занял полотняный мешок. Аспирант набивал его сгнившими корнями, и сквозь стенки отжимал разложившиеся вещества... Перемена не принесла облегчения. Мешок заменили небольшой кадкой, специально оборудованной для отмывки корней.

Однако обработка не налаживалась. Вдруг Филиппов вспомнил о барабане, брошенном где-то на чердак, изготовленном некогда для другой цели. Теперь он сослужит великую службу, пригодится, как никогда. Наполненный доверху остатками корней, промываемых струею воды, аппарат, приведенный в движенье, будет через отверстие выбрасывать отмытые частицы, разрушенные гниением и водой.

Аспирант не ошибся, после первой же промывки на дне барабана остались белые нити каучука... Вот когда Филиппов стал отвечать на телеграммы Лысенко.

— Все идет хорошо, переработано полцентнера корней.

Ученый вернулся в Москву и при первой же встрече с помощником спросил:

— Как ваши успехи?

Филиппов словом не обмолвился о своих неудачах. Он сказал, что переработал сто килограммов, две тонны заложены и готовы к промывке.

— Мало, — произнес недовольный ученый, — надо бы больше.

Он догадывался, что аспиранту было нелегко, и ждал когда тот сам об этом расскажет.

— Как вы промываете? — спросил Лысенко.

Этого вопроса Филиппов очень боялся.

— На барабане, — нетвердым голосом ответил он.

— Слыхали? — обратился вдруг ученый к окружающим. — А руками не пробовали мыть?

— Пробовал, — виновато промолвил помощник.

— Сколько? — домогался строгий судья.

— Два с лишком центнера. Не получилось. Трудно и малопроизводительно.

— Поспешили с заключением, — резюмировал учитель, — надо бы раньше тонны две пропустить... Пробовали песком промывать?

— Говорят, что песчинка в каучуке, что осколок в ноге, — губит, разрушает ткани.

— Ладно, — сказал Лысенко, — приеду и посмотрю.

Он прибыл в Горки, прошелся по штабелям дымящегося навоза, прощупал гниющую массу корней и, не взглянув на барабан, стоявший тут же, сказал:

— Покажите, чем вы пробовали отмывать корни.

Академик засучил рукава и не успокоился, пока не испытал весь инвентарь аспиранта. Ни сетка, ни мешок и ни кадка не удовлетворили его.

— Попробуем теперь барабан, — добродушно произнес он. — Вы будете мыть, а я помогать вам.

Он вынул часы, заметил время и спустя полчаса вытер руки и сказал:

— Дело хорошее, можно внедрять в колхоз...

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ПУБЛИЦИСТИКА В ГОДЫ ВОЙНЫ

О. РЕЗНИК

★

1. ТОРЖЕСТВО СОВЕТСКОГО НРАВСТВЕННОГО ЧУВСТВА

Невозможно передать все разнообразие чувств, с которыми произносит советский человек слово «победа». Окропленная кровью, выстраданная, долгожданная, она пришла, новая весна человечества. Миллионы охвачены единым ощущением гордости за свой народ. И чувства тем ярче, что каждый выражает их по-своему, глубоко и просто. Но в общем потоке мыслей выделяется главная — о Родине. Ей, взрастившей героический народ, — первое слово сыновней преданности.

И я,
как весну человечества,
рожденную
в трудах и в бою,
пою
мое отечество,
республику мою!

Эти строки Маяковского по-новому заискрились в лучах победы. Они прекрасно передают живое чувство поколений, выигравших Отечественную войну с фашизмом.

Но самоуспокоенность и ослепление успехами чужды нам. В боевом пути народ возмужал, испытания закалили его, он стал еще проворливей, и, может быть, поэтому каждый испытывает непреодолимую потребность обозреть и вновь осмыслить пережитое, чтобы заглянуть в будущее.

Мы знаем, как ни велика роль техники в современной войне, ход и исход войны решили люди. Социалистический строй духовно вооружил народ самыми передовыми воззрениями, воспитал высокие нравственные принципы. С ними пришли мы на поля справедливой битвы.

Отечественная война уготовила нам неслыханно суровые испытания. Равных им еще не знала история.

Все это пройдено, преодолено. В сверкании ракет, возвестивших нам победу, виделся не только отблеск артиллерийских залпов, но и сияние совести, разума, правды.

Восторжествовали духовные принципы, которые составляют исторические сокровища советского народа. Прав был замечательный русский писатель Алексей Толстой, когда в статье «Четверть века советской литературы» писал:

«Нынешняя война — ато война моторов. Это так, но это не точное определение, — моторов и силы преодоления страданий, нравственной силы.

В этой войне не счастье, не случай и не талант полководца принесут победу; победит та сторона, у которой больше моторов и тверже нравственный дух народа.

Нравственные категории приобретают решающую роль в этой войне. Глагол — уже не только уголь, пылающий в сердце человека, глагол идет в атаку миллионами штыков, глагол приобретает мощь артиллерийского залпа.

Вот почему особенно уместно в наши дни говорить о литературе, о каменщиках крепости невидимой, крепости души народной».

Отечественную войну советские люди встретили не только во всеоружии великих политических идей, но и с теми дорогими сердцу образами, чувствами и мыслями, которыми обогатила их передовая русская литература.

Литература пришла на поля сражений в первые же дни войны. Советский человек бережно хранил в своей памяти великие имена Пушкина и Толстого, Лермонтова и Гоголя, Белинского и Горького. Вольное русское слово! Его прелесть незабываема, его человечность, мудрость и правда не покидали нас в самые тяжелые минуты.

Правильно было бы сказать, что, пожалуй, не отдельные образы, не памятные строки, а самый дух литературы оказал глубокое воздействие на поведение советского человека. Мелодия пушкинского стиха, его горделивая возвышенность, страстная влюбленность поэта во все русское («Здесь русский дух, здесь Русью пахнет») — в характеры, природу, язык, — вот что влекло нас к Пушкину. В минуту боя вряд ли кому-нибудь доводилось читать на память строфы бессмертных пушкинских поэм, но Пушкин занимал свое особое место в чувстве истории, которое связывает лучшие ее традиции с нашей современностью.

Русская литература всегда была проникнута нравственно возвышенными целями. Герой ее рвался к свободе. И не случайно в дни Отечественной войны в литературе нашей так явственно прозвучали лермонтовские мотивы. Вни-

мание поэтов привлекло одно из самых глубоких мест поэмы «Мцыри» — крик души, рвущейся на волю.

Я мало жил, но жил в плену.
Таких две жизни за одну,
Но только полную тревог,
Я променял бы, если б мог.

Нельзя не заметить, как перекликаются замысел и мелодия этих стихов с поэмой Николая Тихонова «Слово о 28 гвардейцах». Рядовой боец Красной Армии, исполненный решимости стоять насмерть, вспоминает Москву, любимый солнечный Казахстан, и, обращаясь к своему другу, такому же верному воину, говорит:

Я — грузчик, я простой рабочий,
Я жизнь люблю, я жил, Иван.
Но дай сейчас две жизни сразу —
Не пожалею их в бою,
Чтоб бить немецкую заразу
И мстить за родину свою.

В пьесе М. Алигер «Сказка о правде» героиня пьесы Зоя Космодемьянская читает исповедь «Мцыри»:

Ты хочешь знать, что делал я
На воле? Жил, и жизнь моя
Без этих трех блаженных дней
Была б печальней и мрачней
Бессильной старости твоей.

Лермонтовский монолог в устах юной советской героини звучит свежо и знаменательно.

Это ключ к пониманию сложной, богатой чувствами и запросами внутренней жизни Зои.

Как-то естественно случилось, что в моменты самых тяжелых испытаний Отечественной войны тысячи людей стали перечитывать произведения Л. Н. Толстого, в особенности его «Севастопольские рассказы» и «Войну и мир». Дело тут не в тяге к прямой исторической аналогии и уже, конечно, не в том, что война, описанная Львом Толстым, тоже называлась отечественной. Образы этих бессмертных творений стали нашими спутниками оттого, что Толстой, как ни один художник России, сумел показать особенности русского народного характера в моменты наивысшего напряжения нравственных сил. Капитан Тушин, рядовые солдаты, офицеры времен севастопольской обороны 1854—56 гг., партизаны Отечественной войны 1812 года, люди как будто весьма далекие нам по характеру, воззрениям, психологии, — остаются необычайно близкими и дорогими для нас, как носители русской воинской доблести, самоотверженности, терпения.

В художественной литературе смысл передовых политических идей выступает особенно наглядно, осязаемо. В художественных произведениях эти идеи выражены в движении характеров, в поступательном развитии их, в чувствах и поступках героев.

Но как бы дороги ни были советскому воину образы далеких предков, ближе и поучительней для нас судьба отцов и братьев — бойцов революции, героев гражданской войны, созидателей социалистического общества.

В лучших произведениях советской литературы их черты запечатлены красочно и проникновенно. Факты свидетельствуют, что в Отечественной войне литературные герои помогали героям реальным воевать. Нередко советником бойца в трудных случаях становился образ из любимой книги.

Как бы ни были серьезны недостатки нашей литературы, как бы ни чувствовалось порой, что размах ее отстает от завоеваний действительности, мы вправе и обязаны сказать, что самое существенное все-таки уловлено и отражено в ней. Это остается справедливым и в отношении литературы периода Отечественной войны.

Когда мы думаем о значении советской литературы, мысли прежде всего обращаются к самому главному, составляющему ее душу, — социалистической идейности.

В литературных образах социалистическое мировоззрение выражено как нравственный стимул советского человека. Основоположник советской литературы Максим Горький не раз подробно разъяснял именно этот характер выражения политических основ нашей жизни в образах искусства. Он писал:

«Молодые писатели должны знать, что история вполне убедительно доказала бесплодность борьбы за свободу единицы и властно диктует необходимость борьбы за освобождение всего трудового народа. Особенно хорошо надо понять, что действительность создает человека, и если она плоха, в этом никто не виноват, кроме нас...» «И если уж надобно говорить о «священном», — так священно только недовольство человека самим собой и его стремление быть лучше, чем он есть; священна его ненависть ко всякому житейскому хламу, созданному им же самим, священно его желание уничтожить на земле зависть, жадность, преступления, болезни, войны и всякую вражду среди людей, священен его труд».

Высказывания Горького раскрывают существо моральных принципов советского человека. Ему чужды эгоистическая ограниченность, поиски обособленного мещанского покоя. Подобные устремления бесплодны, они внутренне обедняют, ослабляют волю, разум, фантазию людей.

Художественная литература не только освещала поступательный ход внутренней борьбы нового со старым, не только показала закономерную и неминуемую победу нового, но при этом дала нам возможность увидеть сложное переплетение дорог, которыми представители различных слоев народа шли к большой социальной правде.

Исключительную роль в нравственном воспитании нашего народа сыграло творчество А. М. Горького. В нем начало начал советской литературы. Благотворным горьковским влиянием отмечены лучшие страницы современных произведений. По выражению Ал. Толстого, Горький «живой мост между нашим классическим наследием и нами... В классический русский реализм Горький внес те новые революционно-романтические черты, которые в советской лите-

ратуре развились в целое направление социалистического реализма».

В годы военных испытаний с новой силой прозвучала горьковская вера в Человека с большой буквы. Гневный, предостерегающий, призывный голос великого писателя-публициста звал к беспощадному уничтожению фашистских душителей свободы, к защите социалистической родины. Горький стал знаменем художественной публицистики периода Отечественной войны. Герой нашей эпохи, образ которого он художественно утверждал, «новый человек, свободный от расовых, национальных, классовых предрассудков», вступил в яростную битву за самое существование истинной человечности. И пафос горьковского воинствующего гуманизма вновь ожил в патриотическом слове советских писателей.

Мир политических идей, составляющих основу нравственного чувства народа, раскрыт в книге товарища Сталина «О Великой Отечественной войне Советского Союза».

Для писателя особенно интересен и важен в ней характер и тон обращения к народу. Они свидетельствуют о том, что моральный фактор с первых же дней войны расценивался мудрым сталинским руководством, как одно из решающих условий победы, что во всех прогнозах и планах войны была учтена сила претворения передовых политических идей в нравственные принципы, когда самоотверженное служение гражданскому долгу целиком отвечает душевной потребности.

В речи товарища Сталина, произнесенной 3 июля 1941 года, читаем:

«Великий Ленин, создавший наше государство, говорил, что основным качеством советских людей должно быть храбрость, отвага, незнание страха в борьбе, готовность биться вместе с народом против врагов нашей родины. Необходимо, чтобы это великолепное качество большевиков стало достоянием миллионов и миллионов Красной Армии, нашего Красного Флота и всех народов Советского Союза».

Знаменательно, что и славу нашей литературе принесли те произведения, главными героями которых были передовые люди эпохи — коммунисты. В их образах читатель черпал силу вдохновляющего примера, они подкупали его своей правдивостью, неиссякаемым оптимизмом, волей, широтой устремлений.

Народ еще ничего не знал о подвигах Зои Космодемьянской, Лизы Чайкиной, двадцати восьми панфиловцев, Матросова и Гастелло, но он духовно как бы предвидел их. Имена героев были еще неведомы, но самоотверженность советских людей, нашей молодежи была ясна. Она уже не раз проявлялась на лесах новостроек, в борьбе за освоение Арктики, в завоеваниях науки и культуры.

Когда мы хотим ответить на вопрос, что воспитало наших людей, вдохнуло в них невиданную силу, на память приходят дневники героини советского народа Зои Космодемьянской. В них — выписки из статей Белинского и Чернышевского, полные тонкого чувства афоризмы Чехова и лаконичные призывные строки Маяковского. Зоя записала слова Астрова: «В человеке все должно быть прекрасно — и душа, и одежда, и мысли». Ее обрадовали и поразили слова Маяковского. «Быть коммунистом значит дерзать, думать, хотеть, сметь». Она нашла отклик своему пониманию любви у Чернышевского.

Что могло свести героев разных эпох, не сходного уклада жизни? Противоречиво ли, что они очутились в одном дневнике, в одном сердце? Нет, это была закономерная перекличка в душе советской девушки нравственных стремлений честных и благородных душ, искавших путей к чистой, доброй жизни.

За восторженно юношескими стремлениями Зои угадывается черта, которую мы назвали бы романтикой революционных дерзаний.

2. ПЕРЕКЛИЧКА ПОКОЛЕНИЙ

В духовном воспитании советского поколения существенную роль сыграли образы героев гражданской войны и социалистического строительства: Левинсон из «Разгрома» Фадеева, Чапаев из книги Фурманова, Павел Корчагин из повести Николая Островского «Как закалялась сталь», Глеб из романа Ф. Гладкова «Цемент», Давыдов из «Поднятой целины» М. Шолохова. К этим образам, чье влияние отложилось в нашем сознании, следует прибавить героев «Железного потока» А. Серафимовича, «Партизанских повестей» Вс. Иванова, поэм и стихов Багрицкого, Тихонова, Сельвинского, Асеева, Суркова, «Педагогической поэмы» Макаренко, повести Крымова «Танкер Дербент». Чувство и память подскажут каждому и другие книги, иные имена, стоящие рядом и вровень с названными.

Дело не в полном перечне, а в том, что эти герои представляют существо советской литературы. В судьбе каждого из них, в их страстях, надеждах, борьбе мы узнаем драгоценные черты нового в советском человеке.

Образ Чапаева живет в нас, как романтика революционной юности, отваги народа, переживающего зарю свободы. Чапаев — самородок, натура незаурядная и самобытная, но вместе с тем удивительно простая и доступная. Мы видим в нем, как сила справедливой всенародной цели дает выход всем заложенным в человеке талантам, вооружает бесстрашием, повышает самоуважение и чувство ответственности. Чем яснее понимает Чапаев смысл ленинских идей, тем отчетливее становится стиль его воинского умения. В Чапаеве нам дорого его отвращение ко всему мелкому, хищному, что может опорочить революционное дело.

Благородство подвига порождает презрение к опасности, к смерти. Чапаев весь в дерзании, в поисках новых путей к боевым успехам. И пусть порой эти поиски наивны, пусть внутренний кругозор героя ограничен, пусть нехватает ему культуры, военных знаний, но он на верном пути. Его несовершенства не пугают нас, ибо они исторически обусловлены, как исторически обусловлена его жажда преодолеть их неустанным движением вперед.

Отечественная война советского народа с фашизмом резко отличается от войны гражданской по обстановке, стратегии и тактике, технической оснащенности и боевому руководству, а главное по морально-политическим качествам ее участников. Но несмотря на это было бы близоруким игнорировать ту внутреннюю преемственность боевых революционных традиций, которая объединяет отцов и детей — защитников советского государства.

Образ Левинсона раскрывает нам процесс вызревания советского характера. «Разгром» А. Фадеева — поэма о нравственном величии революционного подвига. Левинсон — образ стойкости, которая дается политическим прозрением, когда идея освещает каждое чувство и каждый поступок человека. В Левинсоне характерно умение разглядеть свет во тьме, вести людей уверенно и непреклонно там, где иным кажется, что дальше тупик. В нем восхищает способность подчинить личное горе и страдания революционному долгу, умение во временном поражении провидеть будущую решающую победу.

Советская литература выросла как литература боевая. Главные ее герои —люди воинской славы и судьбы. Это объясняется не только тем, что литература наша родилась и окрепла в период между двумя мировыми войнами, но еще и тем, что каждый шаг в развитии советского государства был завоеванием. Мы не только строили, учились, создавали города, памятники и песни, мы вынуждены были завоевывать возможность благоустраивать жизнь. Мы не забудем и не можем забыть, что вступили в советскую эру с мечом в руках. Будущие строители Кузнецков и Магнитостроев, ученые, изобретатели, инженеры, скульпторы и поэты, организаторы и руководители партии и государства сперва были воинами — бойцами, командирами, комиссарами.

Это была суровая школа испытаний. Но именно потому, что советские люди отстаивали в боях свободную мирную жизнь, не стремились к захватам чужих территорий и порабощению народов, мы и в войнах оставались самым миролюбивым народом на земле.

Так возник облик народа-рыцаря, не менее самоотверженного в труде, чем на войне. Боевая напористость героев гражданской войны стала энтузиазмом строителей пятилеток. Отвага и мужество победных атак сказались в невиданных темпах соревнования и трудовой доблести.

Социалистические черты творческой индивидуальности нашего человека особенно ярко сказались в труде. Он по-новому осветил отношения людей, определил суть их характера, психологии, определил этические и эстетические принципы.

А. М. Горький поэтому утверждал, что «именно труд должны мы избрать героем своих произведений». Трудовое воспитание, через которое прошли советские люди, во многом определило особенности советского патриотизма.

Наших воинов вдохновляла мысль о возвращении к мирной жизни, к любимому делу. Тревога за родину была одновременно тревогой за дело рук человеческих, за то, что создано было во имя жизни и разрушено врагом.

Вот почему читателям близки созданные нашей литературой образы рядовых людей, тружеников.

Когда Федор Гладков написал свой роман «Цемент» — первое произведение о переходе к мирной жизни после гражданской войны, о ликвидации разрухи, о закладке крепкого фундамента социалистического государства, — читателей увлек в книге пафос созидания. В сомнениях и трудностях героя романа, Глеба Чумалова, в ломке личных отношений, которую он пережил, в той страстной настойчивости, какую проявил этот вожак рабочих, для того чтобы построить очаг мирной жизни, многие находили отклик своим устремлениям.

В «Цементе» показаны первые шаги восстановления, еще озаренные отблеском битвы. Наблюдателям со стороны казалась неестественной, немыслимой созидательная страсть людей, усталых от войны. Но наши руки, держа оружие, тосковали по инструментам и станкам. Люди, опаленные дыханием смерти, видели славу победителя в том, чтобы отстоять для мирного труда собственную землю.

Стремление к созиданию во имя человеческого счастья рождало отвагу, несравнимую с любым азартом наживы и захватничества.

Глеб Чумалов на заводе—командир, не знающий страха и усталости. Он перенес в новые условия навыки сознательной дисциплины, боевого содружества. Глеб Чумалов — воспитатель: он заражает других глубоким пониманием цели, ради которой следует преодолеть недостатки, лишения, голод. Чумалов — рыцарь свободного труда. Его воображением владеет мечта, в которой слились любовь к родине и жажда свершений.

«Вот оно — и горы, и море, и завод, и город, и дали, уходящие за горизонты —вся Россия — мы.. Все эти громады — и горы, и завод и дали — поют в недрах своих о великом труде. Разве руки наши не дрожат от предчувствия упорной работы? Разве сердце не рвется от напора крови?»

Подобные мысли, вероятно, не раз посещали людей, прошедших страдный путь от Сталинграда до Берлина, от Одессы до Вены, от Ленинграда до Будапешта.

Но у участников Отечественной войны мечта о возвращении к мирной жизни глубже, богаче чумаловской, ибо она освещена успехами трех сталинских пятилеток.

В образе героя повести «Танкер Дербент» писатель Ю. Крымов удачно показал характер человека сталинской эпохи—стахановца.

Басов — прообраз победителей в Отечественной войне. Его взгляды на жизнь не оставляют сомнения в том, что из любых испытаний он выйдет, не уронив чести советского патриота. В его образе нашли воплощение черты тысяч энтузиастов, строителей нашего государства, тех обыкновенных людей без особых чинов и званий, которых Сталин назвал винтиками, которые держат в состоянии активности

весь государственный организм. Это они в одежде летчиков, танкистов, артиллеристов и пехотинцев проявили чудеса героизма.

Им помогли в боевом деле не только умелые руки, но то закаленное верой в торжество свободного труда сердце, та широта разума, которая дерзает, ищет, опрокидывает старые нормы, подсказывает науке пути дальнейшего развития, укрепляет в людях «чувство локтя».

Война была суровой проверкой жизненности колхозного строя. Фашисты надеялись, что им удастся разжечь собственническую жадность, отколоть значительный слой крестьянства от союза с трудящимися города, раздуть давно преодоленные жизнью противоречия. Но миллионы крестьян, оружием и трудом отстаивая родину, защищали именно колхозный строй. За годы коллективного хозяйства в крестьянстве укоренилось новое социалистическое отношение к труду, окрепло патриотическое чувство. Не прошла даром борьба за коллективизацию, которую с таким художественным мастерством отразил в своем романе «Поднятая целина» М. Шолохов.

Эту книгу в свое время не только прочли, но и пережили миллионы крестьян, которые, подобно одному из героев романа Майданникову, не сразу и не легко разобрались в преимуществе колхоза, но в конце концов именно в нем нашли осуществление исконной мечты.

«Поднятая целина» помогла тысячам тысяч собратьев Майданникова утвердиться на новой жизненной колее. И в дни войны, вспоминая покинутый и разоренный врагами дом свой, советские воины, вероятно, не раз вспоминали о борьбе, в которой завоевали и укрепили они колхозный строй. Шолохов создал типический образ рабочего-коммуниста, олицетворяющего партийное руководство колхозным движением.

Давыдов — один из наиболее выразительных во всей советской литературе характеров рабочего-большевика.

Для него партийность — синоним истинной человечности. Давыдову чуждо догматическое наставничество. Он вдумчиво изучает людей, умеет отличать ошибающихся от врагов и применяет особый подход к различным людям. Давыдов идет к своей цели уверенно и настойчиво, агитируя, когда нужно, личным примером. Его скромность, простота, строгая требовательность к себе и другим невольно вызывает личную симпатию. Он организатор и воспитатель одновременно. Такие люди оставляют глубокий след в сознании тех, кому они помогли понять себя. И, вероятно, многие в трудную минуту войны вспоминали Давыдова как наставника и учителя, старались равняться по нему.

Советскому крестьянству, подпавшему под иго оккупантов, довелось вновь воочию столкнуться с охвостьями хищнической кулацкой породы, которую во всей ее злобной, мстительной и лисьей хватке увековечил Шолохов беспощадным пером реалиста в образах кулака Островского и белогвардейца Половцева, этого «патриота без отечества», жалкого отщепенца и выродка. Враги появлялись в новых личинах — старост и полицейских. Теперь ухищрения их никого не могли обмануть. Народ знал цену вражеским наветам и посулам.

И уж совсем по-особому прозвучала в дни войны книга писателя-бойца Николая Островского. Имя героя романа «Как закалялась сталь» Павла Корчагина сделалось знаменем героической стойкости.

Павел Корчагин стал излюбленным героем советского юношества. Его именем называли себя лучшие, отличившиеся в жестоких боях подразделения. Книга эта не раз становилась своеобразным переходящим знаменем для бойцов, прославившихся своей отвагой. Они с гордостью заявляли: «Мы — корчагинцы!» Неисчислимы свидетельства влияния созданного Островским замечательного образа. Он витает над бессмертным подвигом краснодонцев. Героиня советского народа Лиза Чайкина бережно хранит в своем сердце имя Павла Корчагина. Оно становится святыней для лучших бойцов партизанского отряда, который возглавляла мужественная комсомолка Чайка.

Приведенные примеры говорят об участии советской литературы в формировании нравственных качеств советского характера. Они не возникли внезапно в дни войны, а были той основой народного духа, которая вызрела за четверть века. Ее учел в своих гениальных планах победы полководец и вождь народа Сталин.

Уверенностью в духовных возможностях народа проникнуты речи Сталина. Из его уст мы услышали в первые же дни войны, что она будет неслыханно трудной и кровавой, что враг жесток и бесчеловечен, что победу придется взять напряжением всех сил, завоевать пядь за пядью в непрерывных боях. «Прежде всего необходимо, чтобы наши люди, советские люди, поняли всю глубину опасности, которая угрожает нашей стране, и отрешились от благодушия, от беспечности, от настроений мирного строительства, вполне понятных в довоенное время, но пагубных в настоящее время, когда война коренным образом изменила положение. Враг жесток и неумолим».

Вспоминая теперь эти слова из речи Сталина 3 июля 1941 г., мы вновь испытываем чувство огромной гордости. Они были выражением оптимизма, уверенности в стойкости народа, который воинской и трудовой доблестью заслужил, чтобы к нему обращались со словами неумолимой правды, как к непревзойденному по силе духа отряду человечества.

«... моральное состояние нашей армии, — говорил товарищ Сталин, — выше, чем немецкой, ибо она защищает свою родину от чужеземных захватчиков и верит в правоту своего дела... Не может быть сомнения, что идея защиты своего отечества, во имя чего и воюют наши люди, должна породить и действительно порождает в нашей армии героев...»[1]

Идея советского патриотизма, как источника всенародного героизма, вера в ее правоту составляют сокровенную суть нашей военной литературы.

[1] Доклад 6 ноября 1941 г.

3. СЛОВО О РОДИНЕ

Среди тех, чье перо публициста оставило горячий след в нашем сердце, хочется назвать Алексея Толстого и Михаила Шолохова, Николая Тихонова и Илью Эренбурга, Леонида Соболева и Константина Симонова, Василия Гроссмана и Леонида Леонова, Всеволода Вишневского и Б. Горбатова, В. Кожевникова и В. Василевскую. Среди поэтов, писавших о войне, выделяются имена А. Суркова, П. Антокольского, С. Маршака, А. Твардовского, М. Алигер, И. Сельвинского, Евг. Долматовского, П. Тычины, М. Рыльского, Первомайского, С. Вургуна, Г. Гуляма, Арк. Кулешова, О. Бергольц, В. Инбер и многих других.

Не будет преувеличением сказать, что в меру своих дарований, темперамента и таланта подавляющее большинство писателей в дни Отечественной войны использовали нержавеющее оружие публицистики. Пафос ее звучал в статье и очерке, в короткой заметке, стихотворении, песне, поэме.

И если для одних писателей публицистика была временной стезей, то для других она стала основным жанром на весь период войны. Но даже те, кто не так часто прибегал к публицистике, находя иные творческие возможности и пути, чтобы поделиться продуманным, наблюденным, прочувствованным, даже они не отказывались от публицистики, от того чистого пафоса гражданственного чувства, которое позволяет в нужную минуту сказать всеми ожидаемое слово, еще не переплавленное художественным воображением, не обросшее плотью образов.

Публицистика не заглохла и в дни победы.

Так вдохновенные статьи и очерки Ник. Тихонова, речи и статьи Всеволода Вишневского, донесшие до нас голос осажденного Ленинграда, вновь зазвучали, когда наступила счастливая пора разгрома врага в его берлинском логове.

Растущее ощущение победы передал Соболев в своих полных наблюдательности зарисовках «Дорогами побед». Десятками очерков и статей откликнулись писатели на праздник победы, и читатель нашел в них отзвук своим радостным чувствам. Но неизмеримо важней была роль художественной публицистики в наиболее трудную пору боев.

Родина в опасности! Эта мысль с первой же минуты фашистского вторжения полностью овладела советским человеком, и писатели откликнулись на тревожное биение миллионов сердец. Алексей Толстой в статье «Родина», опубликованной 7 ноября 1941 года, писал:

«За эти месяцы тяжелой, решающей борьбы мы все глубже познаем кровную связь с тобой, еще мучительнее любим тебя, родина... Гнездо наше, родина возобладала надо всеми нашими чувствами... Все наши мысли с ней, весь наш гнев, ярость — за ее поругание, и наша готовность — умереть за нее. Жертвенность, как тень, всегда сопутствует напряженной и большой любви. Как юноша говорит своей возлюбленной: дай мне умереть за тебя! Родина — это движение народа по своей земле из глубин веков к желанному будущему, в которое он верит и создает своими руками для себя и своих поколений».

Отечественную историю призывает в свидетели славы и справедливости нашего дела Алексей Толстой. В его статьях и выступлениях военных лет прошлое и настоящее органично переплетаются.

Из этого не следует, что минувшее столь же близко современникам, как то, что построено своими руками для настоящего и будущего. Толстому в равной мере чуждо и слепое преклонение перед традициями и равнодушие к ним. В исторических достижениях писатель видит фундамент духовной стойкости народа, определяющих черт русского национального характера.

Статьи Алексея Толстого — публицистика не только высокого гражданского накала, но и огромной художественной выразительности, той большой правды, которая дает уверенность и ясность предвидения. Пожалуй, ни в одном представителе советской литературы после М. Горького слияние прогрессивных тенденций русской классики с мироощущением художника советской эпохи не было выражено столь ярко.

Эта особенность Алексея Толстого, как писателя, определила и своеобразие его публицистики. Начала ее восходят к героическим былинам, воспевавшим честный ратный подвиг, могучий дух добра, который, переборов все препятствия в многовековой борьбе, стал в нашу эпоху господствующим принципом жизнеустройства народа.

«Напрасно думать, — пишет он, — что эта литература была лишь плодом народного досуга. Она была достоинством и умом народа. Она становила и укрепляла его нравственный облик, была его исторической памятью, праздничными одеждами его души и наполняла глубоким содержанием всю его размеренную жизнь, текущую по обычаям и обрядам, связанным с его трудом, природой и почитанием отцов и дедов. Ни один из европейских народов не владеет таким художественным богатством».

Писателю важно подчеркнуть, что в течение многих веков красота и сила народных стремлений были необычайно высоки, жажда справедливости и добра неистребима. В исторической борьбе выковывалась стойкость, способность к возвышенному подвигу. Сущность русского характера составляют именно эти черты, а не мнимая пассивность и непротивленчество, о которых кричали питлеровские головорезы и японские самураи, натравливая в угоду своих легких побед свои армии на Советский Союз.

Толстой к месту вспоминает слова Пушкина:

Иль мало нас,
Или от Перми до Тавриды,
От финских хладных скал
До пламенной Колхиды,
От потрясенного Кремля
До стен недвижного Китая,
Стальной щетиною сверкая,
Не встанет русская земля?

Как бы продолжая мысль поэта, Толстой говорит:

«В русском человеке есть черта — в трудные минуты жизни, в тяжелые годины легко отрешаться от всего привычного, чем жил изо дня в день. Был человек — так себе, потребовали от него быть героем — герой... А как же может быть иначе?»

«А как же может быть иначе»—не вопрос, но выражение непреложной истины, подтвержденной всем ходом истории и в наибольшей мере нашим, резолюционным веком.

И Алексей Толстой обращается не только к историческим документам, но и к живому воображению. «Вот уже больше полвека я вижу мою родину в ее борьбе за свободу... Вглядываюсь в прошлое, и в памяти встают умные, чистые, неторопливые люди, берегущие свое достоинство».

Картины вдохновенного труда, расцвет науки и культуры, грандиозный размах промышленного и колхозного строительства, новые города, театры, музеи, — прекрасный лик освобожденной земли наполняет сердце каждого решимостью. И все мы готовы повторить вслед за Ал. Толстым слова, прозвучавшие клятвой:

«Это моя родина, моя родная земля, мое отечество. В жизни нет горячее, глубже и священнее чувства, чем любовь к тебе».

Чувство патриотизма ярко разгоралось в горестных испытаниях войны. Народ крепко верил в победу, и вера эта была словом и делом.

Незабываемы дни обороны Москвы. К пережитому тогда не раз будет возвращаться память художника. Баллады и песни, повести и эпопеи откроют грядущему эту тревожную и величественную пору нашей истории.

Но будущим книгам, как бы великолепны они ни были, не перечеркнуть газетные страницы, где все мы жадно искали и находили верное братское слово.

В те дни Ал. Толстой напечатал статью «Москве угрожает враг». Вот первые ее строки:

«Ни шагу дальше. Пусть трус и малодушный, для кого своя жизнь дороже родины, дороже сердца родины — нашей Москвы, гибнет без славы. Им нет и не будет места на нашей земле».

Опоясанная кольцом укреплений, Москва ощущалась каждым, как самое светлое и прекрасное в жизни. Память воскрешала пушкинские строки о Москве:

Москва... Как много в этом звуке
Для сердца русского слилось!
Как много в нем отозвалось!

Казалось порой, что знаменитое лермонтовское «Бородино» повторяют про себя пехотинцы, артиллеристы, танкисты, все вставшие насмерть на подступах к столице.

Умремте ж под Москвой,
Как наши братья умирали.
И умереть мы обещали
И клятву верности сдержали.

Толстой привел эти строки...

Вера в победу зрела и ширилась вопреки, казалось бы, самому неблагоприятному стечению военных обстоятельств. Враг занял подмосковье, сея смерть и опустошение, а в статье Алексея Толстого мы читаем: «Нет, только победа и жизнь!»

Голос всенародной совести, ополчившейся в справедливой ярости против темных сил, подсказал писателю исполненные чудесного лиризма слова о торжестве добра.

«Родина моя, тебе выпало трудное испытание, но ты выйдешь из него с победой, потому что ты сильна, ты молода, ты добра. Добро и красоту ты несешь в своем сердце. Ты вся в надеждах на светлое будущее, его ты строишь своими большими руками, за него умирают твои лучшие сыны.

Бессмертная слава погибшим за родину. Бессмертную славу завоюют себе живущие».

Товарищ Сталин в дни победы в выступлении на встрече с маршалами — командующими советских армий, поднимая тост за советский народ, выделил русский народ среди всех остальных.

«Я поднимаю тост за здоровье русского народа, — сказал товарищ Сталин, — не только потому, что он руководящий народ, но и потому, что у него имеется ясный ум, стойкий характер и терпение».

Эти свойства русского народа, его выдающаяся роль в Отечественной войне подчеркнуты всей нашей художественной публицистикой. Но у Толстого вопрос о национальной судьбе русского народа, о вызревании в нем советского патриотизма — одна из главнейших тем художественного его творчества. Это позволило писателю особенно проникновенно высказать сыновнее слово о Родине.

4. ГУМАНИЗМ ВОЗМЕЗДИЯ

О справедливой ненависти и превращении ее в могущественную силу отпора рассказал Михаил Шолохов. Его небольшая книжка «Наука ненависти» запоминается надолго, как страстное слово писателя-гражданина, советского патриота.

Само название книжки знаменательно. Оно, несомненно, навеяно воспоминаниями о суворовской военной науке. Суворов остался в памяти потомков не только как великий полководец, упрочивший славу русского оружия, но и как воин-ученый, запечатлевший своеобразие передовой русской военной мысли. Суворов, как никто из полководцев своей поры, понимал душу и характер русского солдата и, в соответствии с их особенностями, строил стратегию и тактику боевых операций. Он справедливо полагал, что качества русского воина, его отвага, выносливость, воля являются решающими условиями победы. Со свойственной ему энергичностью стиля и афористической меткостью суждений Суворов изложил эти мысли в своей книге «Наука побеждать».

Красная Армия постигла секрет этой науки в неслыханных трудностях. Ненависть к врагу играла в ней немалую роль. Шолохов показывает, как возникает это жгучее, будоражащее

чувство в советском воине, как наука ненависти учит побеждать.

Свой замысел Мих. Шолохов подтверждает избранным им эпиграфом из приказа товарища Сталина от 1 мая 1942 года: «...Нельзя победить врага, не научившись ненавидеть его всеми силами души».

Публицистичность книжки Шолохова сочетается с поэтическим проникновением в характер и психологию героя ее — лейтенанта Герасимова, в котором воплощены лучшие черты советского человека. Не случайно автор — тонкий и вдумчивый художник — начинает повествование поэтической метафорой: «На войне деревья, как и люди, имеют каждое свою судьбу»...

Найденный художником образ могучей жизни, спаянной десятками корней с родной землей, вросшей в нее навеки, олицетворяет крепость народной души, русского характера. К этому образу писатель не раз обращается, обдумывая и переживая историю жизни и военной судьбы лейтенанта Герасимова. Автор знакомит нас с этим обыкновенным, заурядным советским человеком в тот момент, когда Герасимов рассказывает о сегодняшней танковой атаке противника, успешно отбитой батальоном. Лейтенант спокоен, сдержан, внутренне сосредоточен и ничто не выдает его затаенного горя, душевного потрясения.

«Но вдруг он умолк, и лицо его мгновенно преобразилось: смуглые щеки побледнели, под скулами, перекатываясь, заходили желваки, а пристально устремленные вперед глаза вспыхнули такой неугасимой, лютой ненавистью, что я невольно повернулся в сторону его взгляда и увидел шедших по лесу от переднего края нашей обороны трех пленных немцев и сзади — конвоировавшего их красноармейца».

О прорастании этого опалившего сердце чувства Шолохов рассказал с той сосредоточенной и разительной простотой, которая сильнее всяких горячих и непомерно возвышенных слов. «Наука ненависти» — повесть о том, что сделала война с советскими людьми, как выпестовала и возвеличила она в их сознании чувство ненависти и готовность к подвигу.

До войны лейтенант Герасимов жил в светлом и просторном мире нашей родины. И, пожалуй, самое примечательное из того, что рассказал нам писатель о довоенной судьбе героя — глубокая человечность, которой проникнуты каждая мысль, каждый поступок этого человека. Механик одного из сибирских заводов, он жил с семьей — женой, двумя детьми и отцом-инвалидом, не помышляя ни о каких исключительных подвигах, трудясь честно и напряженно, принимая этот труд как нечто обычное, само собою разумеющееся. Натура цельная, прямая, лишенная излишней чувствительности, Герасимов даже несколько настороженно относился ко всяким возвышенным ее проявлениям. О проводах его в армию, о прощании с родными и друзьями он рассказывает с оттенком той здоровой иронии, которая свойственна крепким русским людям, гордо несущим свое человеческое звание, умеющим прямо и устойчиво держаться на земле.

«Ну, на проводах, как полагается, жена и поплакала и напутствие сказала: «Защищай родину и нас крепко. Если понадобится — жизнь отдай, а чтобы победа была нашей». Помню, засмеялся я тогда и говорю ей: «Кто ты мне есть, жена или семейный агитатор? Я сам большой, а что касается победы, так мы ее у фашистов вместе с горлом вынем, не беспокойся!»

Прощание с отцом, потомственным рабочим, который напоминает Герасимову о старинной пролетарской гордости их фамилии, тоже сдержанно и немногословно. На его наказ Герасимов отвечает: «Будет сделано, отец».

Но как-то больше всего запомнилось Герасимову прощание не с родными, а с секретарем райкома. Растроганность его привела Герасимова в смущение, и вспоминает он об этом с особенной теплотой.

«Первый раз в жизни расцеловался я со своим секретарем, и, черт его знает, показался он тогда мне вовсе не таким уж сухарем, как раньше...

И до того мне тепло стало от этой его душевности, что вышел я из райкома радостный и взволнованный».

В этом небольшом эпизоде Шолохову удалось показать ту спаянность единой семьи, которая стала настолько привычной в советской жизни, что мы как бы перестали ее замечать.

Шолохов сумел выразить то глубокое понимание ответственности перед коллективом, которое придает силу и стойкость каждому в отдельности, повышает самоуважение и в трудную минуту рождает героизм. И даже по тому, что рассказано о последних днях довоенной жизни Герасимова, рождается в читателе доверие к герою, уверенность, что на таких людей можно положиться.

Есть еще одна черта в лейтенанте Герасимове, которая делает его образ олицетворением характера советского поколения. Этот человек привык жить не стихийными настроениями и впечатлениями дня, а сознательно и честно разбираясь во всех событиях жизни. Герасимову довелось участвовать в сборке немецких машин, и он оценил по достоинству добротность и сноровку, с которой они сделаны: «Ничего не скажешь — умные руки эти машины делали».

Герасимов не скрывает того, что он любил многие книги немецких писателей, в нем нет и тени высокомерия или пренебрежения к чужому народу. Даже естественная для каждого свободолюбивого человека нетерпимость к фашизму лишена националистической ограниченности: «Правда, иной раз обидно становилось за то, что такой трудолюбивый и талантливый народ терпит у себя самый паскудный гитлеровский режим, но это было, в конце концов, их дело».

К предстоящей войне с Германией Герасимов, по свойственному советским людям трезвому и справедливому взгляду на вещи, относится как к трудной неизбежности, которая, однако, не выйдет за пределы понятий о человеческом, да-

же в самом трагическом, кровавом. Рассуждения Герасимова на эту тему интересно привести:

«И вот я еду на фронт и думаю: техника у немцев сильная, армия — тоже ничего себе. Чорт возьми, с таким противником даже интересно подраться и наломать ему бока. Мы-то тоже к сорок первому году были не лыком шиты. Признаться, особой честности я от этого противника не ждал, какая уж там честность, когда имеешь дело с фашизмом, но никогда не думал, что придется воевать с такой бессовестной сволочью, какой оказалась немецкая армия. Ну, да об этом после...»

Как мы видим, в Герасимове, — и это было очень типично для Красной Армии в целом, — нет никакой злобной предвзятости, никакого шовинистического угара. Герасимов вспоминает, как после одного из ожесточенных первых боев наши бойцы проявляли к пленным немцам даже известное дружелюбие, делились с ними щами, табаком, угощали их чаем и даже, похлопывая по спине, называли камрадами, незлобиво сетовали: «За что, мол, воюете, камрады?»

А когда один из бойцов, уже не раз сталкивавшийся с немцем, сказал: «Слюни вы распустили с этими друзьями. Здесь они все камрады, а вы бы посмотрели, что эти камрады делают там, за линией фронта, и как они с нашими ранеными и с мирным населением обращаются», то это сразу не дошло до сознания, а ошеломило, как внезапно опрокинутый на голову ушат холодной воды.

Но когда Герасимов, как и миллионы ему подобных, увидел воочию злодеяния гитлеровцев, не стало меры возмущению, дух занимало и нехватало слов, чтобы выразить возникшее чувство. Изуродованные трупы пленных красноармейцев, груды расстрелянных стариков и детей, изнасилованные женщины, девушки, над телами которых надругались злодеи, рвы с заживо погребенными — такова была школа ненависти, которую довелось пройти советским людям.

Как вопль души, оскорбленной в самых лучших чувствах, звучат гневные слова Герасимова: «Вы думаете, можно рассказать словами обо всем, что пришлось видеть? Нельзя! Нет таких слов. Это надо видеть самому. И вообще хватит об этом!»

Только вдохновение боя, только истребление врага, только возмездие, творимое ежечасно, ежедневно, без устали, не щадя жизни, только оно могло утолить горечь, сохранить в советском человеке сознание своей высокой человечности.

«Все мы поняли, — говорит Герасимов, — что имеем дело не с людьми, а с какими-то осатаневшими от крови собачьими выродками. Оказалось, что немцы с такой же тщательностью, с какой когда-то делали станки и машины, теперь убивают, насилуют и казнят наших людей».

Перед лицом творимых врагами зверств нестерпимой болью становилась сама мысль об отступлении хотя бы на шаг. Родина гнездилась в сердце каждого бойца, она была там, где он стоял. И мы понимаем чувства лейтенанта Герасимова, когда он рассказывает о том, с каким отчаянным упорством защищали сибиряки украинскую землю.

История пленения и побега лейтенанта Герасимова трагически величава. Никакие пытки и муки не в силах сломить его волю, не в силах убить и заглушить в нем преданность родине. Сознание правоты, глубокая убежденность в смысле и целях борьбы делают нашего воина как бы неуязвимым для физических страданий.

Об этом много раз писали советские художники, к этой теме еще тысячи раз будут возвращаться, но все равно не остынет в читателе волнующее чувство любви, сострадания и гордости духовным бессмертием советских патриотов.

И как бы лаконичен и суховат ни показался нам теперь этот рассказ Шолохова, нельзя забыть в нем тех живых искр человеческой доблести, тех особенных характерных черт сознания и чувств, которые свойственны героям нашей эпохи, людям особого, сталинского, большевистского племени. Нельзя без трепета и дрожи читать о том, как лейтенанту Герасимову посчастливилось сохранить партийный билет. Казалось, никаких шансов на спасение уже не было у этого искалеченного побоями и пытками большевика. Но внутренне Герасимов не сдался, мысль о побеге не покидала его даже в ожидании неминуемого расстрела. По случайности партбилет не нашли при обыске. И среди сложных переживаний, о которых рассказывает Герасимов, сознание выделило эпизод, так сердечно и правдиво переданный автором:

«Все же человек — удивительное создание: я твердо знал, что жизнь моя — на волоске, что если меня не убьют при попытке к бегству, то все равно убьют по дороге, так как от сильной потери крови я едва ли мог бы итти наравне с остальными, но когда обыск кончился, и партбилет остался при мне, — я так обрадовался, что даже про жажду забыл!»

Что это, внешняя дисциплинированность, показная добродетель, фетишистское отношение к красной книжечке? Нет, весь рассказ Герасимова, детали и оттенки его поведения в плену говорят о другом. Для Герасимова партийный билет — символ гражданской чести, советского достоинства. Эти качества помогали ему держаться под пытками, они наполнили его гордостью, когда он увидел, что никто из окружающих его бойцов, несмотря на истязания, не изменил своему воинскому долгу, не выдал и не предал товарищей. Эти чувства были его моральной опорой, они связывали его с вольным, чистым, справедливым миром, который остался по ту сторону. Партбилет был клочком родины, лежащим у сердца. Главное было — не потерять себя, не дать растоптать свое достоинство, постараться сохранить жизнь, чтобы бороться, мстить, побеждать закаленной в испытаниях ненавистью.

Идеи партии вели народ к победе. Партия была боевым ее знаменем. Вот откуда это чув-

ство безмерной радости тому, что уцелел партийный билет.

Читая в «Науке ненависти» о том, через какие немыслимые муки довелось пройти лейтенанту Герасимову, а тысячный раз задаешь себе вопрос — как удалось ему уцелеть?

На этот вопрос отвечает Шолохов устами героя: «Вы спрашиваете, как я выжил?» И лейтенант Герасимов рассказывает не только о физических силах, на которые не приходится жаловаться этому бывшему камскому грузчику, но он одновременно подчеркивает: «Главное — это то, что не хотел я умирать, воля к сопротивлению была сильна. Я должен был вернуться в строй бойцов за родину, и я вернулся, чтобы мстить врагам до конца!»

Воля к жизни, пройдя школу ненависти, как бы преобразила Герасимова. Теперь всем его существом безраздельно владеет жажда воинского подвига. И, услышав его правдивую историю, мы уже не удивляемся словам политрука: «Мне с ним пришлось два раза ходить в атаку; силища у него лошадиная, и вы бы посмотрели, что он делает... Всякие виды мне приходилось видывать, но как он орудует штыком и прикладом, знаете ли, — это страшно!»

Шолохову удалось показать, что испытаниям не сломить дух советского воина. Они лишь закалили его, ибо если народ наш может быть уподоблен тому могучему дубу, который, пережив все грозы и ураганы, остается несокрушимым и глубокими корнями вновь черпает соки земли, продолжая расти, то справедливая ненависть не убивает человеческое, а невидимой нитью скрепляет воедино все лучшее, сильное и светлое в людях, обращая их волю к победному бессмертию.

Именно такой смысл книжки оттеняет поэтическая ее концовка: «Тяжко я ненавижу немцев за все, что они причинили моей родине,— говорит Герасимов, — и мне лично, и в то же время всем сердцем люблю свой народ и не хочу, чтобы ему пришлось страдать под немецким игом. Вот это-то и заставляет меня, да и всех нас, драться с таким ожесточением, именно эти два чувства, воплощенные в действие, и приведут к нам победу. И если любовь к родине хранится у нас в сердцах и будет храниться до тех пор, пока эти сердца бьются, то ненависть всегда мы носим на кончиках штыков. Извините, если это замысловато сказано, но я так думаю, — закончил лейтенант Герасимов и впервые за время нашего знакомства улыбнулся простой и милой, ребяческой улыбкой».

5. ЛИЦО ВРАГА

В публицистике Ильи Эренбурга одной из важнейших тем является последовательное и всестороннее разоблачение фашизма, его «идеологии», нравов, человеконенавистничества, изуверско-провокаторских методов, тупости, жадности, блудливости, циничной корысти.

Фельетоны и очерки Эренбурга отличает особенный, присущий ему, лаконичный и острый стиль, выражающий злободневность и вместе с тем художественно возвышающий ее.

Палитра Эренбурга неиссякаема. В сборниках «Война», где собраны почти все выступления писателя за годы войны, развертывается перед нами потрясающий по силе убедительности обвинительный акт гитлеровцам, тем более грозный и неоспоримый, что пафос каждого слова в нем опирается на высокую идейность и мораль советского общества.

Среди многих свойств эренбурговской публицистики поражает и волнует беспрестанное горение, внутренняя неисчерпаемость автора. Иным поверхностным и хладнокровным литературным гурманам виделось в этом простое повторение, настойчивая перелицовка одних и тех же тем. Но при внешней схожести иных фельетонов и очерков Эренбурга, в них никогда не бывает простого повторения. Пусть разговор зачастую шел об одном и том же, но это страстная каждодневная исповедь о самом главном, о том всеобщем чувстве народа, которое ни на миг не угасало, разгораясь с каждым днем войны все яростней.

Да, у Эренбурга есть целая серия статей, которую можно было бы объединить одним заголовком — «Выстоять». Эти статьи написаны в тревожные и величественные дни обороны Севастополя, Ленинграда, Москвы, они несут в себе все признаки и особенности породившего их времени. Печать времени здесь определяет не дата под статьей, не внешние признаки. Можно опустить дату, пренебречь определяющей деталью, и все равно останется в них самое главное, характерное для этого месяца, года и дня, настроение, которым жил каждый, то самое, то, что искало выхода, ответа.

Выстоять! — в этом слове была и решимость, и клятва, а главное — предощущение наступательного порыва.

Разве таким уж простым и односложным было это чувство, чтобы, высказав один раз, единым словом, пройти мимо, поставить точку? Нет, выстоять надлежало сегодня и завтра, в первом бою и в пятидесятом, под Киевом, Севастополем или в безвестном селе. Выстоять надо было во что бы то ни стало и тогда, когда силы противника были вдвое больше наших, и в полном окружении, в дальнем и ближнем бою, в одиночной схватке. И не просто выстоять, но в то же время контратаковать гитлеровцев, изматывать их силы, накапливая собственные, чтобы ринуться вперед к победе. Каждый новый день боевой страды не был похож на вчерашний. Да что там день. Порою все менялось мгновенно. Мы часто читали: «решающая минута, решающая секунда», а из таких решающих минут и секунд складывались долгие месяцы тягостных кровопролитных боев.

«Слово — оружие», — так назвал Эренбург одну из своих статей, где писатель говорил о долге художника в дни войны, говорил о себе, о внутренней потребности каждодневно бить насмерть врага оружием слова. Оружие должно работать безотказно в такой страшной, напряженной войне, какой была минувшая битва с фашизмом, чтобы разгромить до конца армию противника.

Вот откуда возник в статьях Эренбурга лейтмотив: «Убей немца!», призыв к беспощадной расправе, к истреблению фашистов. Враг был силен и коварен, подл и злобен. Свою реальную силу гитлеровцы стремились раздуть истошной лживой пропагандой, всеми видами авантюристских трюков и фальшивок.

Для советского бойца непререкаемой, как клятва, оставалась решимость выстоять. Но каждый день приносил все новые и новые ухищрения врага. Он усиливал напор. Менялась обстановка. Красная Армия вынуждена была оставлять рубеж за рубежом, город за городом. Казалось, смысл клятвы — выстоять — нарушился.

В тягостные месяцы отступлений статьи Эренбурга были воюющей речью будущих победителей.

Писатель умел день за днем показывать все новые, сперва чуть-чуть приметные, а затем все более ясно обозначившиеся признаки уязвимости, слабости и даже растерянности в лагере врага, который не только казался, но и оставался еще грозной силой.

Существенно, что при всей памфлетной афористичности Эренбург умел оттенить суровую правдивость факта, отказываясь от эффектных, но иллюзорных обобщений и посулов, способных хоть на минуту размагнитить советских людей. Речь шла не только о том, что выстоять необходимо. Нет, статьи уверенно подчеркивали, что это сделать возможно. Возможность эту видел писатель во внутренних силах народа, которые умел показывать просто, наглядно, весомо.

С другой стороны, статьи Эренбурга, как правило, помогали понять усложнившуюся обстановку войны. Поэтому каждый боец как бы читал в них о себе, о своем подразделении, о тех трудностях, которые сродни многим, но даны в их необщем, а потому более доходчивом и понятном ему выражении.

Накапливался боевой опыт. Пропагандистский бред фашистских людоедов обернулся омерзительной практикой. И в каждом советском человеке на фронте и в тылу возникала насущная потребность воочию увидеть, чем кишит подлое логово фашизма, распознать весь его ядовитый арсенал, чтобы противопоставить ему решающее противоядие.

Одной из важнейших тем публицистики Эренбурга стали ответы на вопрос о том, что являют собой враги человечества из гитлеровской грабьармии. Наибольшей жестокостью отличались отряды СС. Среди фашистских головорезов это были самые отъявленные. Вдохновителем и начальником отборной гвардии бандитов был главный палач Германии, ближайший соратник Гитлера — Гиммлер. Личность его, как и характеристику этих отрядов, не обошел писатель, изображая фашистский зверинец. В статье, озаглавленной «СС», он писал: «Гиммлер известен в Германии, как тупой садист. Это изобретатель пыток». «Гиммлер — лицо гитлеровской Германии. Это палач с невыразительной физиономией чиновника, кувшинное рыло с деревянным, скрипучим голосом, мелкий страховой агент, на казнях скопивший миллионы, человек, который сказал: «Все люди — скрытые стервятники». Но он не скрытый, он официальный стервятник Германии».

Писатель напомнил, что отрицание совести является руководящим принципом кровавой банды, изуверской заповедью, с неслыханным цинизмом провозглашенной Гитлером: «Я освобожу человека от уродливой химеры, которая называется совестью...»

«Мы должны быть жестоки со спокойной совестью — время благородных чувств миновало».

Современному цивилизованному человеку страшно и страшно произнести слово «раб» не в историческом его понятии, а применительно к современному мыслящему, свободолюбивому человеку, низведенному до положения бессловесной, униженной скотины. Но именно этот античеловеческий смысл имели в виду фашисты, говоря о рабах.

Эренбург даже не стал комментировать выдержку из речи гитлеровского проходимца, министра земледелия Дарре:

«Новый немецкий народ-властитель будет иметь своих рабов. Эти рабы будут его собственностью. Не относитесь к слову «раб», как к какой-то притче. Мы действительно создадим новую форму рабства, которая будет нами введена в жизнь».

К прискорбию человечества, это была не притча. Фашистское рабство пережили миллионы советских людей, освобожденных Красной Армией из гитлеровской кабалы. Но пусть слова о новом рабстве, изобретенном гитлеровцами, не изгладятся в памяти свободолюбивых народов.

С гневом и горечью показывает Эренбург натасканную на убийства фашистскую банду СС. Убийцы носили на своем рукаве эмблему смерти. Но она не напугала советских людей.

«Советские люди не боятся смерти. Они смело идут ей навстречу, чтобы восторжествовала жизнь, чтобы их дети жили высокой, достойной человека жизнью».

Такая жизнь несовместима с существованием на земле бессовестных изуверов-рабовладельцев. Не могут жить рядом убийца и творец ценностей, садист и носитель высокой морали. Правда должна взвести курок и, нацелившись в череп врага, поразить его.

Перед цивилизованным миром всяческие фюреры и подфюреры расточали медоточивые речи о расовом превосходстве, о «новом порядке», культуре, цивилизации, исконной честности германского народа.

Не было ни одного высокого человеческого чувства, которое не попытались бы они имитировать. Тут были и стремление к науке, и сердечность, и любовь к детям, и семейственность, и склонность к благодеянию.

Эренбург нашел точные эпитеты для развенчания ханжества и лицемерия рекламных добродетелей. В портретах, набросанных уверенной рукой памфлетиста-художника, мы увидели фрицевскую галлерею: куроеда и обжору, блудодея, истаскавшегося по всем домам терпимости Европы, венерика, несущего по миру заразу, дикого эгоиста, проклинающего своих

соотечественников-беженцев, которые потеснили его в берлинской квартире.

Мы увидели в этих фельетонах пресловутую немецкую «культуру», о которой и сейчас не могут без омерзения и гадливости вспомнить простые советские колхозники, в избах которых перебывали арийцы.

Но как ни сильно было разоблачительное устремление публицистики Эренбурга, срывавшей с врага все личины, истинным пафосом очерков и статей было воспевание моральной стойкости, героизма, духовной красоты советского человека.

Мы запомнили не только то, о чем писал Эренбург, но и то, как он писал. Многие из эпитетов, которые создало гневное воображение писателя, стали синонимами лиц и событий.

Мы не беремся точно утверждать, откуда пошло слово «фриц», оно уже давно стало всеобщим для определения гитлеровского воинства. Но в литературе оно узаконено Эренбургом.

«Бесноватый фюрер», «тирольский шпик», «взбесившийся ефрейтор», «колченогий выродок», «пьяница», «тупой садист», — эти эпитеты стали вторыми именами главарей бандитской шайки: Гитлера, Геббельса, Лея, Гиммлера.

Эти характеристики, метко выражая духовную сущность фашистских заправил, одновременно отвечают потребности в злой издевке над подлейшим врагом. Писатель сумел найти для нее точное слово.

Как мы уже говорили, пафос разоблачения — лишь производное от горячей патриотической преданности. Ее Эренбург выражает сдержанно и лаконично.

В статье «Свобода или смерть» читаем:

«Советские люди — хозяева в своей стране. Мы не заносчивы. Много труда мы положили, чтобы сколотить новый дом. Мы знаем, что впереди еще много работы. Но мы знаем, что на земле нет такого второго дома, что мы — молодость мира, его надежда. Мы дорожим человеческим достоинством.

Много веков России. Мы дорожим ее историей, ее культурой, ее славой».

О высоких целях советского понимания жизни, о превосходстве истинной культуры, носителями которой являемся мы, в противовес культуре мнимой, показной, внешней,—не раз писал Эренбург.

В самые тяжкие периоды войны, когда враг был у сердца родины — Москвы, окружал Ленинград, рвался к Волге, голос писателя звучал особенно искренно, приподнято, бодро.

«Москва теперь превратилась в военный лагерь. Она может защищаться, как крепость. Она получила высокое право рисковать собой. Я видел защитников Москвы. Они хорошо дерутся. Земля становится вязкой, когда позади тебя Москва, нельзя отступить хотя бы на шаг. Враг торопится. Он шлет новые дивизии. Он говорит каждый день: «Завтра Москва будет немецкой». Но Москва хочет быть русской, и Москва не сдается».

«... Я ничего не хочу приукрашивать. Русский никогда не отличался методичностью немцев. Но вот в эти грозные часы люди, порой бесшабашные, порой рыхлые, сжимаются, твердеют. За Волгой, на Урале уже работают эвакуированные цеха. Ночью устанавливают машины. Рабочие зачастую спят в морозных теплушках и, отогревшись у костра, начинают работу... Народ понял, что эта война — надолго, что впереди годы испытаний. Народ помрачнел, но не поддался. Он готов к кочевью, к пещерной жизни, самым страшным лишениям. Война сейчас меняет свою природу, она становится длинной, как жизнь, она становится эпопеей народа. Теперь все поняли, что дело идет о судьбе России — быть России или не быть. «Долго будем воевать», говорят красноармейцы, уходя на запад. И в этих горьких словах — большое мужество, надежда.

Нельзя оккупировать Россию, этого не было и не будет».

Сейчас мы с удовлетворением перечитываем эти строки, они напоминают нам об очень многом. То, что говорит Эренбург о родине, звучит, как заклинание, идущее от самых сокровенных глубин памяти о святом и прекрасном в нашей истории, написанное с верой в неколебимость и великое будущее советской страны.

«Нельзя уничтожить «знаки величия русского государства», — писал Эренбург, — они в сердце каждого русского. Они неистребимы в захваченных немцами городах. О славе прошлого, о вольности, о высоком искусстве говорят камни Новгорода. О великой борьбе русского народа шумит скованная льдом Березина. Партизаны в русских лесах — это «знаки величия». И спокойные лица русских героев, которых немцы везут на виселицу, это тоже священные «знаки величия русского государства».

Они хотят, чтобы русские перестали быть русскими — мыши пусть изгрызут Арарат! Из кровавой метели Россия выйдет с высоко приподнятой головой — еще выше, еще прекрасней.

«Знаки величия»! Русский язык не тот, на котором пишут свои приказы полоумные немцы, нет. Тот, на котором писал бессмертный Пушкин».

Вскрывая суть гитлеровской пропаганды, Эренбург наглядно показывает грандиозную фабрику лжи. В ее организации все та же тупая методичность, бздулливая тенденциозность и расчет на низкие инстинкты людей. Эренбург находит убедительнейшие доводы тому, что для гитлеровцев ложь стала нормой поведения, продуманной системой.

«Чем проще вздор, которым мы наполняем наш обман, чем больше он рассчитан на примитивные чувства, тем успешнее результаты».

Статья, озаглавленная «Ложь», вводит нас в лабораторию колоссальной «деятельности» гитлеровского министерства пропаганды. Эренбург говорит о Геббельсе:

«Этот колченогий выродок с заячьей губой день и ночь врет — на конвейере. Вот образцы его творчества:

«Берлин. 27 июля. После вчерашней бомбардировки Москва горит. Уничтожены восемьсот домов. Кремль представляет собой дымящиеся

развалины. Разрушен Могас. В Москве нет больше электричества и трамвай не работает».

«Берлин. 8 августа. Москва опустела. Половина министерств уже выехала в Горький, другая половина будет отправлена в Нижний Новгород».

Тысячу раз прав писатель, когда говорит о том, что гитлеровцам страшна правда.

Он приводит слова вожака «гитлеровской молодежи» Бальдура фон Ширах, который сказал: «Лучше германская ложь, чем человеческая правда».

Смысл многих статей на эту тему сформулирован остро и точно:

«Когда они подписывают договор о мире, они думают о войне. Когда они жмут руку, они прикидывают, куда бы кинуть бомбу. Когда они говорят о культуре, это значит, что через час они будут грабить, а через два—вешать».

Казалось бы, давно прошло время, когда Геббельс мог безнаказанно врать о падении Москвы, а немецкие унтер-офицеры наслаждаться слухами об окружении трех миллионов русских. Но и сейчас публицистика Эренбурга, его рассуждения о сути гитлеровского обмана, его обращение к совести мира от имени советского народа не утратили своего значения. Особенно в той части, которая разоблачает казуистику запоздалого самооправдания. Передовое общественное мнение не забыло меткого наблюдения писателя о том, что рядом с немецкими факельщиками, поджигающими мирные города, шагают плакальщики, которые «пытаются растрогать мир рассказами о страданиях Германии». Ханжество и насилие соседствуют в гитлеровской душонке. «Когда немец попадается в краже, как простой карманник, он вопит, что это у него на нервной почве». И Эренбург справедливо опасается, что когда придет час расплаты, немецкие заправилы, на манер попавшейся уличной воровки, завопят: «я клептоманка», станут взывать к состраданию, гуманности, которая требует не наказания воровки, а ее лечения.

Эренбург приводит в своих статьях каннибальский метод самозащиты, уже примененный одним из мелких садистов на харьковском процессе, где один из громил с высшим юридическим образованием, Ганс Риц, заявил в свое оправдание, что «если бы хотел, он мог бы убить куда больше невинных».

С чувством глубокого омерзения писатель издевается над иезуитской юриспруденцией, усиливая эту издевку великолепным по остроумию домыслом о перспективах подобных увертюр:

« Я предвижу, что аргументации Ганса Рица предстоит большое будущее. Нам еще не раз придется услышать подобные речи. Командир дивизии «Мертвая голова» скажет: «Хорошо, я расстрелял двенадцать тысяч. Но разве я не мог расстрелять сто двадцать тысяч?» Гестаповцы, замучившие в Бабьем Яру больше ста тысяч невинных, вынут карандаши и начнут подсчитывать, сколько киевлян осталось в живых. Факельщики, уничтожившие Либице, заявят: «Зато мы не сожгли Брно». Штюльпнагель возмущенно воскликает: «Мне ничего не стоило объявить всех французов заложниками». Гиммлер прикинется неудачником: «Я ведь стольких прозевал». Даже Гитлер скромно пролепечет: «Я не посылал душегубок в Патагонию, и я не вешал эскимосов. Значит, меня следует причислить к гуманистам и выдать мне Нобелевскую премию».

Статьи Эренбурга своевременно вспомнить сейчас, когда происходит суд международного военного трибунала над главными военными преступниками стран Оси.

Призыв к возмездию фашистским убийцам, напоминание об их зверствах, за которые придет расплата, — один из лейтмотивов статей Эренбурга, — принимался как должное и справедливое. Но при этом каждый понимал, что речь идет не о расовой нетерпимости к немцам, а об искоренении гитлеризма во всех его видах. В статьях Эренбурга, к сожалению, нередко стирались грани между понятиями «немецкий народ» и «гитлеровцы». И это ослабляло позиции писателя в его борьбе против «теории» расовой исключительности.

Советский человек на войне не изменил своим гуманистическим принципам, своей нравственной философии, не поддался ослеплению шовинистической ограниченности.

Товарищ Сталин писал: «Сила Красной Армии состоит, наконец, в том, что у нее нет и не может быть расовой ненависти к другим народам, в том числе и к немецкому народу, что она воспитана в духе равноправия всех народов и рас, в духе уважения к правам других народов»...

Эти слова были сказаны вождем народов 23 февраля 1942 г., когда вся земля наша стонала от неслыханных злодеяний гитлеровцев.

Истинный патриотизм обостряет зрение, он позволяет даже за грозовым мраком видеть проблеск надежды, солнце грядущей победы. Он способствует широкому взгляду на исторические судьбы народов. Непродуманность обобщений порой мешала Эренбургу разграничивать явления, что великолепно удалось Ал. Толстому, исходившему из того же непримиримого к фашизму народного чувства. В статье «Фашисты ответят за свои злодеяния» Ал. Толстой говорит о садизме эсэсовцев и всей германской армии. Писатель призывает к уничтожению всей системы озверения гитлеровской военной машины, «начиная с потрясучего Гитлера». Но в этой же статье, которая дышит беспредельным гневом, писатель отмечает: «Мы верим, что в Германии есть люди, которые в отчаянии от позора и стыда закрывают руками лицо, слушая о деяниях своих соотечественников». Эти слова, ни в малейшей мере не ослабляя ненависти к фашизму, правильно разграничивают гитлеризм и немцев, как нацию. Они выражают высокое историческое сознание советского, русского народа.

Расовому человеконенавистничеству советский строй противопоставил великую дружбу народов, в которой ширится и крепнет национальная гордость. Национальная гордость русского народа, не отделяющего себя стеной от других народов, не стремящегося подавить их самостоятельность и культуру, облагораживает созна-

ние, порождает бережное отношение к человеку, подымает дух братства в труде и бою.

Советский человек и в ненависти прекрасен. Он не каратель, а мститель, не захватчик, а освободитель.

Эренбург не раз писал обо всем этом в своих статьях, но рядом с такими утверждениями и наперекор им имела место упрощенность в трактовке серьезнейшего вопроса об отношении победителей к немецкому народу. Партийная печать справедливо поправила Эренбурга, не умаляя этим его существенных заслуг как одного из лучших писателей-публицистов в дни войны.

6. ЛЕТОПИСЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ

Среди немногих, «придавших очерку форму высокого искусства», Максим Горький первым назвал имя Н. Тихонова, как художника, владеющего «подлинным искусством изображения жизни словом».

В дни войны общественный темперамент поэта проявился с особенным напряжением. Тихонов — летописец ленинградской эпопеи, свидетель всех грандиозных и трагических дней обороны города-героя. В ленинградцах поэт разглядел весь духовный мир советской эпохи. Разделяя с другими корреспондентами труд обозревателя событий, Тихонов не ставил своей главной задачей хронику боевых операций или выдающихся подвигов воинов Красной Армии, защищавшей город Ленина. Здесь он был одним из многих. Но его очерки запомнились нам своей профессиональной военной четкостью, широким охватом событий, стремлением к лаконичности, к неприкрашенной деловой прозе.

Взгляд Тихонова был прикован к самому процессу кристаллизации черт советского человека в наитруднейших условиях. «Черты советского человека».—назвал он серию рассказов. Они вошли затем в книгу, уже дополненную после ее издания многими новыми рассказами, да и сейчас еще не завершенную.

Даже не зная, какой будет книга в окончательном виде, мы имеем возможность судить об этих рассказах, как о ценном вкладе в художественную публицистику военных лет. Они несомненно несут в себе зерно современного эпоса.

М. Горький, предвидя титанические задачи, которые будут поставлены перед искусством ходом исторических судеб нашей родины, сказал на съезде писателей: «Мы включены в огромное дело, дело мирового значения, и должны быть лично достойными принять участие в нем. Мы вступаем в эпоху, полную величайшего трагизма, и мы должны... преображать этот трагизм в тех совершенных формах, как умели изображать его древние трагики. Нам нельзя ни на минуту забывать, что мы работаем перед читателем и зрителем, каких еще не было за всю историю человечества».

Тихонов всегда помнит о новом читателе и пытается раскрыть перед ним его же собственные, замечательные черты.

Эпический талант и политический темперамент подготовили Тихонова к встрече, с «эпохой величайшего трагизма» во всеоружии.

Глубина и зрелость тихоновского мастерства в его ленинградских рассказах сказались в том, что писатель показывает подвиг, как чувство миллионов. Он не задается целью изображать особенные поступки, а пытается раскрыть в обыденно-героическом естественное стремление души.

Литература, главным образом, западная, знала немало произведений, подвергавших сомнению стойкость человеческих добродетелей. В них довольно настойчиво прокламировался тезис о том, что превратности судеб ведут к одичанию и падению нравов, когда сильные отталкивают слабых, вооруженные вырывают последний кусок у безоружных. При этом авторы рисуют своих героев не без душевной сложности, многие из них до решающего часа испытания считали себя людьми широкой души, отзывчивыми романтиками. И писатели, изображая таких героев, стремились показать, что трагедия одичания гнездится вне человека и возникает там, где начинается всесильная власть обстоятельств.

В советском читателе подобные книги рождают обиду за принижение человека. Наша действительность давно опровергла эту мнимую неустойчивость моральных основ.

Тихонов своими рассказами о страшном времени, о событиях, равных которым по трагизму не знал мир, показал, насколько прочно избавлены миллионы советских людей от пресловутой власти обстоятельств и низменных инстинктов. В ленинградских рассказах героизм выступает как неотъемлемая внутренняя потребность. Герои ленинградских рассказов ведут себя самоотверженно, без малейшей тени любования своим добрым делом, не задумываясь и как бы не осознавая красоты их подвига. Но тем яснее эпическая глубина раскрывшихся перед нами человеческих свойств.

Писатель не сторонится горького, тревожного, трагического. Ленинград в его рассказах наполнен гулом канонады, отблесками нескончаемых пожаров, он закован в лед, лишен света и тепла. Герои рассказов, изможденные, голодные люди, ежечасно сталкивающиеся лицом к лицу со страданием и угрозой смерти. Но они не безоружны. В невиданных испытаниях их опора — социализм, его нравственные законы, ощущение единства со всей страной. И эта опора нерушима.

Вот почему нет и тени противоречия в том, что при всей суровой реалистичности и трагическом фоне рассказы получились оптимистичные, возвышенные, человечные. Естественная эпичность их в том, что писателю удалось показать самую коренную особенность людей советской эпохи, она заключается в том, что чем сложнее и, казалось бы, настойчивее вторгаются в нашу жизнь исторические бедствия, тем выше поднимается моральный дух над всем мелким и случайным, тем сильнее в каждом противоборство себялюбию и обособленности.

Читая рассказы Тихонова, понимаешь, что город Ленина и ленинградцев спасли не только

пушки и танки, автоматы и самолеты, но прежде всего непоколебимая воля отстоять родину и не поступиться до последнего вздоха ни каплей человеческого достоинства.

Тихонов акцентирует эти черты не как особенность одних ленинградцев, а как общенародные свойства, и поэтому, давая своей книге подзаголовок «Ленинградские рассказы», он определил всю широту ее замысла и дыхания заглавием — «Черты советского человека». Публицист Тихонов раскрыл перед нами духовную силу воинского гражданского подвига эпически глубоко и сильно, тем самым наметив один из важнейших путей будущей большой литературы об Отечественной войне.

★

Статьи и очерки Константина Симонова ответили жадному стремлению советских людей каждодневно и ежечасно присутствовать на решающих участках битвы. Острым и точным оказался круг наблюдений писателя, который со всем азартом молодости окунулся в пучину бурных событий.

Героическая защита Одессы, оборона Севастополя, бои за Сталинград, сражения в Арктике, незабываемые встречи Красной Армии с партизанами маршала Тито, советские воины-освободители за рубежами нашей родины — таков далеко не полный перечень тем и событий, затронутых очеркистом, корреспондентом, поэтом.

Симонов назвал четыре сборника своих очерков и корреспонденций «От Черного до Баренцова моря». Этот обещающий заголовок не обманывает. Перед нами своеобразная биография войны и ее география, которая удивительным образом оказалась в поле зрения одного человека.

Перечитывая сейчас эти книжки, удивляешься порой способности автора поспеть всюду в момент наивысшего напряжения и обо всем написать. Объяснимо ли это только даром молодости? Конечно, нет.

Секрет писательского успеха Симонова, его роли в литературе наших дней — в особенностях писательского дарования, которое сочетает, мы бы сказали, сейсмографическую восприимчивость к дыханию жизни и литературный профессионализм. В Симонове уменье наблюдать нераздельно с потребностью выразить увиденное тотчас же, горячо и настойчиво.

Творчество Симонова одно из наглядных опровержений тезиса «о пафосе дистанций», который дескать мешает писателю серьезно отразить еще не отстоявшиеся явления быстро текущей современности. Мы вовсе не отрицаем значения для художника перспективы, создаваемой временем. Она безусловно способствует всестороннему, объективному, художественно полноценному изображению.

Но читая Симонова, невольно вспоминаешь слова Маяковского о том, что писатель может сократить дистанцию творческим воображением, и в этом смысле Симонов идет по стопам Маяковского. Далекий от него по стилю, манере, характеру творческих исканий, Симонов унаследовал от Маяковского острое чувство нового, актуального.

Если основная задача наших писателей в том, чтобы во-время сказать нужное слово, в трудную пору вооружить народ, помочь ему преодолеть все препятствия, то Симонову по праву принадлежит видное место в осуществлении этой миссии советского искусства.

Публицист часто подавляет в нем художника. Известно, что крайняя рассудочность многих стихов Симонова лишает их непосредственной поэтической привлекательности. В его драматургии духовный мир героев обеднен логистикой, к тому же многие из его персонажей, почти не изменяясь, кочуют из пьесы в пьесу. Эти недостатки творчества очевидны и существенны, но они не могут заслонить главного в его публицистике. О Симонове хорошо сказал Н. Тихонов: «Его интересует борьба, жизнь и победа. Он разговаривает со временем его голосом... Главное в том, что он — голос своего поколения».

Нет нужды пересказывать содержания отдельных, даже лучших очерков и корреспонденций Симонова. Боевой эпизод, газетная информация, хроника событий — все это добротно, подлинно, порой свежо и неожиданно. И все-таки не это выделяет Симонова среди многих других военных журналистов.

Симонов помог читателю разобраться в своей публицистике, обнародовав недавно выдержки из военных дневников. Записи в нем напоминают многие из опубликованных очерков, хотя и не повторяют их. Но для нас дневник интересен не столько как свидетельство очевидца, сколько как декларация и творческая лаборатория советского военного журналиста.

В предисловии от автора Симонов с большой искренностью заявил о своей тенденциозности — патриотической, партийной. Авторское вступление подчеркивает нераздельность чувств патриотического долга и писательского служения в качестве газетчика.

Симонов пишет: «В те дни мы отступали... Отступление происходило по всему фронту и было фактом общеизвестным, о котором меньше всего, конечно, приходилось умалчивать военным корреспондентам. И однако задачей нашей... как военных корреспондентов, патриотов своей родины и, наконец, писателей, было найти в огромной массе военных событий не то, что говорило о трудностях сегодняшнего дня и говорило не в нашу пользу, а то, что говорило о возможностях лучшего будущего, о конечной нашей победе... В душе человеческой мы стремились подметить не те стороны, которые были слабей, а те стороны, которые были сильней в минуту испытания... Найти эти факты, подтверждающие нашу веру в победу, было не только нашим гражданским долгом, но и душевной потребностью».

Избранный путь оказался не только общественно наиболее верным, но и внутренне соответствующим писательскому призванию автора. Поэтому в очерках и статьях писатель, не от-

ступая от правды, как бы горька она ни была, помогает читателю пережить и превозмочь вместе со всеми тяжкое несчастье, не поддаваясь самообольщению, хрупкой и необоснованной надежде. Какие бы темы ни затрагивал Симонов, его очерки всегда насыщены тем чувством духовного превосходства и нравственной правоты нашего народа, которые, как стальная пружина, распрямляют волю и рождают героизм.

Симонов многое видел на войне. Рядом с ним в походах было много других писателей. Они также принимали все близко к сердцу и совсем неплохо писали о виденном, но Симонова отличали от остальных две особенности. Симонов-журналист не разрешал Симонову-писателю отложить хоть что-нибудь из наиболее важных наблюдений для будущих больших полотен. Это была не жадность газетчика и не погоня за сенсацией, а зов гражданской творческой совести, соизмеряемой с потребностью читателя. Автор всегда готов был поступиться художественной завершенностью во имя того, чтобы слово работало оперативно и безотказно, как оружие в грозный час и день.

Вторая особенность заключается в том, что внутренний мир Симонова целиком заполнен теми проблемами, которые в данный исторический момент главенствуют в сознании его поколения. Он стоит вровень со своими современниками и как гражданин, и как писатель и как боец. Но одновременно он опережает их умением привести в ясность чувства о происходящем и выразить их в слове. Симонову часто удается первому сказать нужное слово. Такая чуткость к общественным запросам — дар необходимый и редкий. Это определяет значение его публицистики, перекрывающее все ее промахи и несовершенства.

При всем разнообразии явлений и обстоятельств, заполняющих творчество Симонова за время войны, в нем выделяются несколько основных тем, которые знаменуют стремление выразить главное в общественных настроениях.

Так возникла пьеса «Русские люди» — знаменательная веха на творческом пути Симонова. Пьеса насквозь публицистична, и лиризм ее проникнут пафосом общественного долга. Пьеса перекликается со многими рассказами автора. Она — итог исканий, ответ самому себе и своим боевым друзьям на простой и вместе с тем наиболее насущный вопрос «кто мы есть и в чем наша сила». Думается, что это имел в виду автор, когда записал в своем дневнике: «...и в русском характере мы искали и находили именно те черты, которые говорили о стойкости, выносливости русского человека, о его уменье не отчаиваться ни при каких обстоятельствах». «Русские люди» помогли очень многим понять глубокие корни советского патриотизма, опирающегося на великие традиции русской истории, культуры, искусства, нравственного существования.

Лиризм души советского человека, его мечту о близких и родных, силу и чистоту чувств, пронесенных сквозь самые жестокие испытания, Симонов высказал проникновенно, просто и нежно в стихотворении «Жди меня». Оно трогает глубиной чувства, рожденного в боях. И вместе с тем лиризм стихотворения перекликается с симоновской публицистикой, он в том же русле социалистического гуманизма, который питает патриотическую самоотверженность. Общая основа делает естественным соседство стихов о большой любви и непреклонной ненависти.

Симонову принадлежит одно из наиболее сильных произведений лирической публицистики — стихотворение «Убей его». Это поэтический манифест боевого гуманизма, которым, как щитом, заслонил советский человек свою историю, национальную зрелость, право на чистоту чувств, на будущее.

Очерки и корреспонденции Симонова ответили желанию читателя увидеть Красную Армию в ее победном шествии в роли освободительницы, протягивающей дружескую руку помощи славянским народам.

Так возникла одна из последних публицистических книг автора «Югославская тетрадь». В ней особенно примечательны заключительные слова рассказа «Ночь над Белградом». Героиня его, русская девушка Дуся Желябова, до войны работала в одной из киностудий, эвакуировалась с ней на восток, и в конце концов, добившись отправки на фронт, попала в одну из дивизий, сражавшихся в Югославии. Здесь Дусе Желябовой довелось выступить в концерте, чтобы заменить только что убитую подругу, и тогда она неожиданно вместо песни, которую пела погибшая Оля Соломина, запела другую из фильма «Ночь над Белградом», который снимался в далекой эвакуации в тяжком 1942 году. Песня вызвала взрыв восторга. Казалось, ничего лучшего никогда не слышали окружавшие Дусю люди. Она пела вторично, и все плакали. Плакали впервые от песни те, кто долгие месяцы ежечасно глядел в глаза смерти. Плакали, хотя в дуэтном исполнении не было ничего особенного. Заканчивая рассказ, Симонов говорит: «... когда я сейчас вспоминаю об этом, я тоже думаю, что она пела, быть может, и не очень хорошо. Но люди плакали. Вот собственно и все... Еще вот что: когда будут посылать наши кинофильмы в Югославию, пусть непременно пошлют туда боевой киносборник, в котором есть картина «Ночь над Белградом». Может быть она и не очень хорошо снята, но в ней есть сила надежды и дар предвидения.

А это трогает людские сердца, как самое большое искусство».

Сказанное целиком относится к публицистике Симонова. Если иные его очерки написаны слишком поспешно, то его публицистику в целом отличает «сила надежды и дар предвидения». Они позволяют ему сейчас напечатать дневники четырехлетней давности, ничего в них не изменяя. Горячее слово современника, его бесхитростный рассказ о пережитом еще долго будут способны трогать людские сердца, как большое искусство.

★

Борис Горбатов — представитель того поколения советских людей, которое начинало свою сознательную жизнь в период советской власти.

Его путь в литературе в основном определили уже сложившиеся традиции советской прозы.

С первых дней Отечественной войны Горбатов — ее непосредственный участник, свидетель многих решающих битв. В качестве писателя фронтовой газеты, а затем корреспондента «Красной звезды» и «Правды», Борис Горбатов прошел вместе с армией по многим военным дорогам. Это был путь его сверстников и современников, тех, чей душевный мир был и до войны сродни ему, как писателю и гражданину.

Борис Горбатов наблюдал своих героев в трудных переходах, в пылу боя и на отдыхе, он был участником его задушевных бесед, тревог и маленьких радостей. Все это дало ему внутреннее право обращаться к воинам, как к близким друзьям, любимым товарищам, говорить полным голосом от их имени, угадывать невысказанное, порою отвечать на непроизнесенные вслух вопросы.

Горбатов одним из первых ощутил писательскую потребность поделиться с боевыми друзьями размышлениями о самом насущном и близком.

«Родина — большое слово. В нем 21 миллион квадратных километров и двести миллионов земляков, но для каждого человека родина начинается в том селении и в той хате, где он родился».

Это выдержка из первого «письма к товарищу», земляку из Донбасса. Но у этого письма бесконечное разнообразие адресов. В нем находили отзвук своим настроениям и уроженцы степей Казахстана, лесов Белоруссии, Кавказских гор и побережья Тихого океана. Мысль о родине безраздельно владела и теми, кто продолжал трудиться на фабриках, заводах, в колхозах, и теми, кто лежал в окопах, изготовясь к атаке. Всех согревало солнце истории, осветившее великие деяния предков, о которых в решающий час напомнил нужным словом Ал. Толстой. В душе каждого не умолкала прелесть родной речи, могучая мелодия литературы.

Горбатов говорит, напоминая товарищу о доме и родине:

«Там ее начало, а конца ей нет. Она безбрежна. Чем больше мы росли с тобой, тем шире раздвигались ее границы».

Горбатов передает то широкое, хозяйское ощущение советских людей, которое делает их патриотизм всенародным, государственным чувством. Колхозник, никогда не бывавший в Ленинграде, в момент, когда бой идет за его родное село, спрашивает: «Ну, как там Ленинград, а? Стоит, держится?»

Горбатов подметил, что его боевые друзья тревожатся за далекий Ленинград не менее горячо, чем за родное свое село. Наблюдение подсказало писателю правильный вывод:

«И тогда я понял, вот что такое родина — это, когда каждая хата под седым очеретом кажется тебе родной хатой и каждая старуха в селе — родной матерью. Родина — это, когда каждая горючая слеза наших женщин огнем жжет твое сердце. Когда каждый шаг немецкого кованого сапога по нашей земле — точно кровавый след в твоем сердце».

С каждым новым письмом Борис Горбатов все шире показывает торжествующую поступь любви к отечеству.

Мы и до войны знали о своих богатствах, говорили о них, ими гордились.

«Война выплеснула все на дорогу. Какие огромные стада у нас! Какие могучие, откормленные кони! Сколько птицы! Какие хлеба, какие сады шумят под ветром!»

Но фашизм посягал не на одни лишь наши богатства. Ведь Родина—не только огромные сады, тучные поля, богатые недра, это — свободная, трудовая жизнь миллионов. И когда Горбатов рассказывает о встрече с крестьянином, у которого невольно, как крик души, в момент боя вырвалось: «Крушение жизни выходит», — вступает в письма новая волнующая тема о том, как отзывается в сознании народа смертельная угроза государству.

Этот крестьянин был единоличником, он не раз брюзжал на советские порядки и ревниво охранял хозяйское право на собственный надел. Но в час испытания в его сознании произошло обратное тому, на что рассчитывали враги. Все мелкое и наносное было забыто, на первый план выступило главное.

«Вот где горе-то, — говорит он, — не можу я теперь без колхоза жить, чуете, не можу».

Писатель прав, объясняя эти слова, как большую думу о судьбах родины, когда миллионы Игнатов немногословно, но вместе с тем глубоко выразили свою приверженность к коллективному строю жизни, советской власти, большевистской партии.

Каждое из писем Горбатов кончает страстным призывом к яростному, беспощадному бою за родину. Этот зов тем более доходчив, чем непререкаемой рисуется беспощадная правда о гитлеровском нашествии.

«Очень хочется жить, — пишет Горбатов, — жить, дышать, ходить по земле, видеть небо над головой, но не всякой жизнью хочу я жить, не на всякую жизнь согласен».

Обрисовав мерзостную картину рабства, которое несут с собой гитлеровские двуногие автоматы, писатель восклицает:

«Я такой жизни не хочу, нет, не хочу. Нет, лучше смерть, чем такая жизнь. Нет, лучше штык в голову, чем ярмо на шею. Нет, лучше умереть героем, чем жить рабом».

Эти чистые решительные слова не противоречат советскому жизнелюбию, наоборот, они его утверждают. Все нравственные чувства советских людей устремлены к жизни. Но для нас жизнь — не любое существование, не прозябание без радости, творчества, надежд. Стремление к жизни вольной и широкой отличает наш народ, осознавший себя творцом истории.

Посылая в немца каждую пулю толчком сердца, любой боец мог воскликнуть словами одного из писем:

«Не отдерешь, слышишь, не отдерешь нас от родины: кровью, сердцем, мясом приросли мы к ней, ее судьба — наша судьба, ее гибель — наша гибель, ее победа — наша победа... Будем драться, жизни своей не щадя. Может, умрем,

но никто не скажет о нас, что мы струсили, что шкура наша была нам дороже отчизны».

В письмах звучит музыка боя. Они рождены страданием и мукой, через которые прошел советский народ в пору отступлений. Но одновременно в них виден облик будущей победы, которую, как великую мечту человечества, несут на своих штыках задымленные битвой воины.

«Мы войдем в города и села, освобожденные от врага, и нас встретит торжественная тишина, тишина переполненных счастьем душ. А затем задымят восстановленные заводы, забурлит жизнь... Замечательная жизнь, товарищ! Жизнь на свободной земле, в братстве со всеми народами. За такую жизнь и умереть не много, это не смерть, а бессмертие».

Когда в наше время перечитываешь «Письма к товарищу», думаешь о том отклике, который вызвали они в миллионах сердец, — понимаешь, это были слова правды о самом сокровенном, отвечающие жизненной потребности народа, едва вступившего в войну. В те дни «Письма» помогли многим осознать патриотический долг и правоту нашего дела. В этом немалая заслуга писателя.

7. СТАЛИНГРАДСКОЕ «ЧУДО»

Патриотический пафос советского, русского человека, с особенной силой сказался в сталинградской эпопее.

Среди всего, что написано о Сталинграде в период битвы, пожалуй, наиболее примечательны и интересны некоторые корреспонденции Константина Симонова и, в особенности, очерки писателя Василия Гроссмана, собранные в книге «Сталинград».

В первом очерке Гроссман приводит своеобразную легенду, отвечающую тогдашним настроениям бойцов Красной Армии.

«Этот торжественный грохот напоминает людям о том, что война вступила в решающую полосу, что отступать дальше нельзя, что Волга — это главный рубеж нашей обороны. И по ночам старухи в волжских деревнях рассказывали одну и ту же сказку о пленном немецком генерале, который сказал захватившим его бойцам: «У меня приказ такой: возьмем Сталинград — дальше за Волгу пойдем. Не возьмем Сталинграда — придется нам обратно за свою границу итти, не удержаться нам тогда в России».

Конечно, это сказка, но в этой сказке, как во всякой сказке, придуманной народом, больше правды, чем в другой были».

Очерки Вас. Гроссмана не только дают представление об отдельных эпизодах боев за сталинградскую твердыню. Они приближаются к той художественной публицистике, где мера эмоционального воздействия и чисто художнических наблюдений органически слита с достоверностью факта, журналистской добротностью и обобщенностью описаний.

Мы не хотим сказать, что такие свойства присущи одному Василию Гроссману. Говоря о советской литературе в годы войны и выделяя в ней публицистику, мы должны подчеркнуть, что речь идет о публицистике художественной, где, наряду с выражением общественных взглядов, принципов и убеждений, отражающих суть советского мировоззрения, наличествует и то живое воображение художника, которое позволяет ему передать детали и оттенки непосредственных впечатлений и тем приблизить читателя к событиям. Такая публицистика — мостки, ведущие от сердца к сердцу. Она связывала армию и тыл, далекие от боя города с передним краем войны. Значение ее не столько в выводах и рассуждениях, сколько в ярком воспроизведении жизненных обстоятельств, порою мелочей, которые сами подсказывают вывод.

Особенность дарования Вас. Гроссмана в постоянных поисках того, что воздействует на характер. Стремление писателя искать решения самых важных вопросов в душе человеческой, попытка нащупать в поступках советского воина новые, раскрывшиеся в нем духовные возможности — эти свойства сказались в сталинградских очерках.

Подводя читателя к преддверию сталинградской битвы, Вас. Гроссман сразу окунает нас в атмосферу всепоглощающего господства войны. Все пропитано и окрашено ею, и чем ближе к месту сражения, тем яственнее свидетельствует об этом сама природа.

«Степь коричневая, жаркая; она поросла пыльным бурьяном и полынью, тощим, жалким ковылем, льнущим к потрескавшейся земле. Волы тащат телеги, вот и двугорбый верблюд стоит среди степи. Все ближе Волга. Физически ощущается огромность захваченного врагом пространства, страшное чувство тревоги давит на сердце, мешает дышать. Это война на юге, война на Нижней Волге, это ощущение вражеского ножа, зашедшего глубоко в тело, эти верблюды и плоская выжженная степь, говорящие о близости пустыни, — вызывают чувство тревоги».

Каждому советскому человеку битва за Сталинград чем-то напоминала о гражданской войне. Ведь и тогда оборона Царицына была решающим звеном боев за революцию.

«Оборона Царицына и оборона Сталинграда. Кровопролитные бои снова идут в тех же местах, где красные войска обороняли Царицын. Снова в сводках называются деревни и хутора, известные по обороне Царицына, войска идут мимо поросших травой старых окопов, описанных историками гражданской войны; немало участников обороны красного Царицына, рабочих, партийных работников, рыбаков, крестьян добровольцами идут оборонять красный Сталинград».

Очерк «Волга—Сталинград» напоен ощущением предгрозья. Оно в каждом слове и движении людей. Но Гроссман и здесь показал себя как художник, не ограничившись только реальным и выразительным описанием обстановки. Он, как бы мимоходом, обронил драгоценную деталь наблюдения, говорящую об очень многом, вернее, о самом главном.

«Один из военных товарищей поднимает с земли полуобгоревшую книгу. «Униженные и

оскорбленные» — читает он вслух, оглядывая сидящих на узлах женщин и вздыхает. Подошедшая школьница, поняв ход его мыслей, говорит сердито: «К нам это не относится, мы оскорбленные, но не униженные. Униженными мы никогда не будем».

Автору чуждо бесстрастие репортера, поглощенного фактами, именами, статистикой итогов. Каждое мгновение писатель ставит себя в положение участника боя — солдата, офицера, генерала, решающего одновременно задачу операции и судьбы страны. Наблюдения и размышления о происходящем спаяны единым чувством бойца, для которого запись — воинский долг. Точность, искренность и правда каждого слова должны выразить хотя бы первую дань той всенародной любви, которая окружала защитников крепости славы.

Мы видим, как строг и придирчив к себе автор, словно пуще всего боится он оскорбить бессмертную человечность сталинградского подвига легковесным сравнением, умильностью, слезливой участливостью или риторическим восторгом... Какая собранность видна в его внешне неторопливом, но напряженном рассказе.

Один из наиболее впечатляющих очерков В. Гроссман озаглавил с военно-уставной четкостью «Направление главного удара». Опубликованный в конце ноября 1942 года, он крепко запомнился очень многим, как долгожданное предвестие перелома в момент грозный и трудный.

Писатель сумел показать одну из боевых операций в той внутренней полноте художественного наблюдения, которая охватывает мгновенно и всепроникающе картину в целом и одновременно десятки честных эпизодов и оттенков, проясняющих обстановку и смысл события.

«Направление главного удара» — зеркало сталинградской битвы. Это рассказ об экзамене на стойкость, который учинила жестокая война бойцам Красной Армии. Успех сражения решается умением, предельным напряжением физических и моральных сил, стойкостью воли и нервов. С неумолимой достоверностью показана автором обстановка боя, где «грохот плотен, как земля», а «тишина зловещей грохота битвы», где «днем темно» от дыма пожарищ, а десятки часов подряд тысячи тонн металла бушуют над позициями сталинградской твердыни. Самый кошмарный вымысел не в силах нарисовать зрелище более дикое и адское, чем то, которое возникает из простого перечисления средств войны, собранных немцем под Сталинградом. Сто семнадцать вражеских атак за месяц выдержал один из полков дивизий. Это не считая двадцати трех танковых атак в день и ежедневной бомбежки по десять-двенадцать часов. Острой болью отзывается в сердце каждая страница этой хроники. Муки, горе, кровь, смерть подстерегают на каждом сантиметре земли. Кажется, нет ничего естественнее отчаяния: да ведь это непереносимо. Но словно угадав такой возглас, автор с порога раскрывает нам вражеский замысел. «Немцы полагают, что человеческая природа не в состоянии выдержать такого напряжения, что нет на земле таких сердец, таких нервов, которые не порвались бы в диком аду огня, визжащего металла, сотрясаемой земли и обезумевшего воздуха».

Великое «чудо» сталинградской битвы в том, что ставка врагов на ограниченность выдержки человеческой была бита советским народом. Писатель с неопровержимой внутренней логикой объясняет «чудо». Победа тем более значительна, что проложила себе путь сквозь неведомые в истории войн препятствия. Выстоять было не просто и далось не легко. Каждый участник боя помнил об этом. «Грозные эти слова для военного человека: направление главного удара, жестокие страшные слова. Нет слов страшнее на войне...»

Немцы стремились посеять панику, а встретили бесстрашие. О том, как оно родилось в советских людях, об истоках непреклонности Красной Армии рассказал писатель. Битва показана как высшее жизненное испытание, где проверяется все заложенное в человеке, добытое им за прожитые годы.

Для пожилого полковника Гуртьева, отдавшего военному делу больше четверти века, «пришел час, когда все принципы военной науки, морали, долга, которые он с суровым постоянством преподавал сыновьям своим, ученикам, сослуживцам, должны были получить проверку».

Для тех, с кем сулила ему судьба отражать удары врага, наступала проверка боевой зрелости, где ошибка грозила смертью, а колебание позором. И если старшие офицеры черпали силы в доверии к воспитанным ими бойцам и командирам, то доблесть и стойкость каждого воина питали патриотическое чувство, узы братского фронтового содружества.

В обстановке многодневных боев, ожесточенность которых день ото дня возрастает, автор уверенно выделяет бесценные, едва уловимые для самих бойцов, внутренние в них перемены. Если в первые недели сверхчеловеческое напряжение не оставляло уже никаких сил на естественную для человека в любом положении разрядку — песню, смех и шутку, если уже не хотелось даже есть..., то к началу второго месяца советские воины преодолели оцепенение, вжились в немыслимый быт. Они обрели обычное состояние: вспоминали о довоенных заботах, оживленно обсуждали письма, зло подшучивали над врагом. «Героизм стал бытом, героизм стал стилем дивизии и ее людей, героизм сделался будничной, каждодневной привычкой. Героизм всюду и во всем».

Здесь внутренний опыт войны высказан автором просто, ясно. Но было бы наивностью не задуматься над столь упрощенной формулой, не попытаться представить себе слагаемые и ход такого заключения. Это было бы тем более непростительным, что творческой манере В. Гроссмана абсолютно чужды аксиомы. Для него, как писателя, нет готовых ответов. Он допытывается, вопрошает, ищет или порой только угадывает. Творческой мукой постижения оплачивает художник право вписать в очерк совсем не ошеломляющие итоговые слова:

«Невольно думаешь о том, как выковывалось

это великое упорство. Тут сказался и народный характер, и высокое сознание великой ответственности, и угрюмое, кряжистое сибирское упорство, и отличная военная и политическая подготовка. Но мне хочется сказать еще об одной черте, сыгравшей немалую роль в этой великой и трагической эпопее, — об удивительной целомудренной морали, о крепкой любви, связывавшей всех людей сибирской дивизии».

Казалось бы, автор попросту записал то, что само напрашивается как итог сражения... Битва за Сталинград неопровержимо доказала, что для советских людей в их справедливой борьбе не существует невозможного, что Красная Армия превзошла врага в стойкости, воинском умении, чувстве долга... Теперь это общепризнанный факт истории.

Очерки В. Гроссмана писались, когда судьба Сталинграда не определилась. Соотношение сил еще во многом благоприятствовало врагу. Чтобы уловить победный перелом в ходе войны, донести его до сознания и чувства каждого в тот момент, когда перелом назревал, писателю надо было глубоко проникнуться судьбой сталинградцев, внутренне изведать все их помыслы, лишения и муки.

Этим путем шла наша военно-художественная публицистика.

Д. Заславский в короткой заметке о книге военного корреспондента «Правды» Б. Полевого отметил, как существенное достоинство автора, что «в газете он не хроникер, а писатель... Военный человек, а не штатский созерцатель». Ценность фронтовых очерков Б. Полевого Заславский справедливо усматривает в том, что они рисуют боевые операции в общих очертаниях, в движении их общего замысла, а не как серию эпизодов. Подобные черты действительно отличают наиболее удачные военные очерки наших писателей. Они обогащают представление читателя о войне. Сталинградскую книгу В. Гроссмана, пожалуй, в наибольшей мере отличает мастерство художника, который задался целью передать не только общий замысел битвы, но главным образом то, как постепенно совершенствуется воинское чувство ее участников. Поэтому в самых очерках можно разглядеть единое устремление, то, что составляет писательское «направление главного удара». Это раздумье о советской стойкости. «Да, настоящие люди стояли на направлении главного удара, их нервы и сердца выдержали»,—пишет Гроссман. Эта горделивая интонация — ключ к раскрытию пафоса книги.

Сталинградская победа предстает в ней как торжество русского характера, советской человечности. С благоговейным изумлением наблюдает автор неистребимый оптимизм, нерушимое товарищество, высокое чувство долга, справедливый взгляд на жизнь — будничную оболочку святого героизма.

Привычные определения людских свойств как бы утрачивают свой смысл. Немыслимое становится нормой поведения. Человека, не испытавшего Сталинграда, способны ошарашить слова зам. командира батальона по политической части Перминова: «Да, народ привык к вечному огню, сам удивляешься». Но для этого стоит вглядеться в образ героя одного из очерков, сержанта Власова, вдуматься в его биографию. За спиной у Власова долгие годы добросовестного колхозного труда, честная, прямая жизнь. Она воспитала в нем суровую простоту, чувство ответственности перед коллективом, стремление во что бы то ни стало оставаться чистым перед товарищами и собственной совестью.

Бескорыстная преданность труду, долгу и правде, которые отметил во Власове писатель,— сколок моральных принципов нашего общества. Их воспитала, взрастила атмосфера общественной и личной жизни в советскую эпоху. Внутренние силы, столь полно раскрывшиеся в дни испытаний, только людям с короткой памятью кажутся возникшими нежданно и внезапно. На самом деле духовное добро за долгие годы накоплено героями нашего времени. Писатель не зря об этом напомнил: «Некоторым людям теперь, во время войны, прошедшее мирное время кажется спокойной безоблачной идиллией. Это неверно, конечно. В суровых условиях напряженного труда прошло это время, немало бурь перенесла наша страна, нелегко далось ей выполнение великих планов коллективизации и индустриализации».

Трудности войны были новым, неслыханно жгучим, но не первым огнем, в котором закалялся характер. В годы революции шло вызревание того особого психологического типа, которому чужды пассивное проживание, безвольность и доктринерство, умиление словесными пустоцветами, автоматизм, покорность судьбе, испуг перед стихией. Нелепо предполагать, что все эти замечательные свойства в равной степени стали состоянием каждого, что они проявляются механически или однообразно в любом случае. Всякое общее свойство, идея, чувство, склонность в личном переживании богаче, сложней и причудливей, чем в общем своем выражении. Так извечное чувство страха перед опасностью, смертью пережито и преодолено миллионами советских людей. Но каждым в отдельности по-своему.

Сержант Власов подбадривает на переправе молодого бойца, попавшего под сильный обстрел: «Ничего, сынок. Хоть бойсь, хоть не бойсь, — нужно». В этом мудро-ласковом обращении по-своему высказано торжество долга и воли над страхом. Герой очерка «Глазами Чехова» — юноша, вступивший в жизнь перед самым началом войны. По складу характера, по биографии и личным склонностям он во многом противоположен сержанту Власову. Умственный кругозор и духовные запросы снайпера Чехова шире власовских. Но если согласиться с писателем, который увековечил боевое вдохновение сержанта, назвав его великим человеком, то в неменьшей мере заслуживает такой же наивысшей похвалы юный снайпер. Психологически тонко прослежен автором внутренний перелом, который превратил нежного и отзывчивого юношу в расчетливого и жестокого мстителя. В Чехове не было того рассудительно продуманного отношения к миру, с которым встре-

тил войну Власов. Разными пришли они к Сталинграду. Но осознание народной беды, впервые проникшее в молодое сердце, накалило в нем пыл воинствующего добра до беспощадности мщения.

Храбрость снайпера кажется автору особенной: «Ему органически от природы было чуждо чувство страха смерти — так же, как орлу чужд страх перед высотой. Тут дань восхищения может быть намеренно перекликается со знаменательным изречением одного из героев Антона Чехова: «Человек создан для счастья, как птица для полета». Не будет ничего неестественного, нарушающего мысль великого писателя, если мы, заменив последние слова, напишем: вместо «для счастья» — «для подвига».

Безмерна отвага Власова и Чехова, командира роты Калеганова, полковника Гуртьева и многих других бойцов и офицеров, описанных Вас. Гроссманом. За ними угадываются тысячи тысяч равных им в доблести. Грозное несчастье, постигшее нашу родину, они пережили каждый по-своему, сообразно характеру, возрасту, воспитанию, темпераменту. Немало разнотипных путей прослежено в сталинградской книге, и тем разительней возникающая в ней властная сила общей цели, объединившей массы в подвиге и содружестве. Очерки обогащают и самое представление наше о подвиге на войне. В сталинградской битве он уже почти не различим, да и трудно себе представить, что по-сталинградски называли этим словом. Писатель показал нам товарищество, неколебимое и трогательно-обыденное в проявлениях своих, постоянную готовность к доблести, еще более прекрасную оттого, что герои в прямодушной щедрости не замечают происходящих в них перемен. Сталинградские чудо-богатыри, пренебрегая смертельной опасностью, ежечасно расточают любовь и участие к боевым друзьям. Удачно найденное писателем слово передает неповторимый миг во многих оттенках разных человеческих настроений— от всепроникающего трепета до шутливой улыбки или иронии. «Ад—самое спокойное место рядом со Сталинградом», «Тишина — вздох перед атакой», — подобные лаконичные определения художника оживляют и приближают к нам картину минувшей битвы.

«Сталинград» — книга духовного величия народа, где даже в отдельных штрихах человеческого поведения, в контурах портретов заложены основания будущей, широкой и правдивой художественной эпопеи сталинградского бессмертия».

★

Ни в одну эпоху современникам не удавалось так глубоко осмыслить историческое значение и масштабы быстро текущих событий, как в период Отечественной войны. Верное чувство истории одно из тех завоеваний ленинско-сталинской общественной науки, которое определило широту горизонта социалистического реализма. Эти черты нашей литературы сказались уже на первом этапе войны, когда писатели выступали главным образом, как военные корреспонденты, очеркисты, публицисты, авторы политических памфлетов, песен, агитационных стихов, сатирических плакатных текстов. Преобладание публицистики в писательской работе первого периода войны закономерно и плодотворно. Это было русло наиболее жизненного и широкого участия в войне. Значение его точно и верно определил Н. Тихонов: «Голос писателя-публициста был слышен всему советскому народу... Все разнообразие публицистического жанра взяли на вооружение писатели. Многие из этих статей станут документами эпохи».

Художественная публицистика занимает особое место в летописи Отечественной войны.

Мы, естественно, не видим здесь детального изображения характера, не находим полнокровного образа героя нашего времени. И все-таки изображение событий в очерках и корреспонденциях писателей не заполняет людей. В лучших очерках описания событий помогают разглядеть общезначимые свойства человека нашей эпохи. С другой стороны, уже в публицистике с большой силой выражены коренные особенности социалистической литературы нового периода — воинствующий гуманизм, широта охвата решающих событий в их движении и перспективе, глубокое проникновение в суть духовной жизни советского человека, умение разглядеть, запечатлеть новое, рожденное войной в сознании и чувствах наших людей.

Вот почему так неразрывно связаны с публицистикой беллетристические произведения последних лет, написанные на войне и о ней — от повести В. Гроссмана «Народ бессмертен» до романа А. Фадеева «Молодая гвардия».

ЛЕНИН И „ТОЛСТОВСКИЕ ДНИ“ 1910 г.

Б. МЕЙЛАХ

★

Лев Николаевич Толстой был, как известно, одним из самых любимых писателей Ленина. Глубокий интерес к личности и творчеству Толстого Ленин проявлял на протяжении всей своей жизни. Отдельные упоминания о Толстом в различных ленинских работах и статьи, специально посвященные Толстому, — все это говорит о величайшем внимании, с которым Ленин следил за деятельностью великого писателя.

В данной работе мы ставим своей задачей охарактеризовать отношение Ленина к борьбе различных общественно-политических направлений, развернувшейся в дни «ухода» и смерти Толстого, к борьбе, изучение которой существенно для нас с точки зрения не только истории литературы, но и истории русской общественной мысли начала XX в.

★

«Умер Лев Толстой»... Этими взволнованными словами начинается вторая из серии статей Ленина, посвященных великому писателю. В атмосфере огромного общественного возбуждения, которое вызвала во всем мире смерть Толстого, коей предшествовали столь трагические обстоятельства его ухода из Ясной Поляны, тяжелая болезнь на заброшенной железнодорожной станции, назойливая попытка синода «примирить» его с церковью, полицейская слежка за умирающим, лицемерие правительства и прессы, — в этой атмосфере писал Ленин свой некролог, полный горячей любви к художнику, мировое значение которого «... отражает, по-своему, мировое значение русской революции» (XIV. 400). С негодованием писал Ленин о том, что «Толстой-художник известен ничтожному меньшинству даже в России». В то время как либеральные деятели придумывали всякие паллиативы для более широкого распространения Толстого «среди простого народа», Ленин утверждал: «Чтобы сделать его великие произведения действительно достоянием в с е х, нужна борьба и борьба против такого общественного строя, который осудил миллионы и десятки миллионов на темноту, забитость, каторжный труд и нищету, нужен социалистический переворот» (XIV, 400). В то время как либеральные критики и публицисты ограничивали значение Толстого религиозно-нравственной проповедью, Ленин видел это значение в том, что Толстой «...сумел с замечательной силой передать настроение широких масс, угнетенных современным порядком, обрисовать их положение, выразить их стихийное чувство протеста и негодования» (XIV, 400).

В корректуре ленинской статьи-некролога, хранящейся в архиве ИМЭЛ, она имеет заголовок, более полно выражающий ее тему: «Значение Л. Н. Толстого в истории русской революции и русского социализма». В «Социал-демократе», большевистской газете, издававшейся в Париже (№ 18, 29 (16) ноября 1910 г.), она озаглавлена «Л. Н. Толстой». В этой статье Ленин ставил своей задачей показать великое мировое значение Толстого и значение его наследия. Развивая идеи своей первой статьи «Лев Толстой как зеркало русской революции» (1908), он дает в этом некрологе новый образец применения теории отражения к литературному анализу. Рисуя в своих гениальных произведениях дореволюционную Россию, Толстой, по словам Ленина, сумел поставить «... столько великих вопросов, сумел подняться до такой художественной силы, что его произведения заняли одно из первых мест в мировой художественной литературе. Эпоха подготовки революции в одной из стран, придавленных крепостниками, выступила, благодаря гениальному освещению Толстого, как шаг вперед в художественном развитии всего человечества» (XIV, 400). Мировое значение Толстого определяется взаимодействием двух моментов: з н а ч е н и е м р у с с к о й р е в о л ю ц и и, исторических процессов, нашедших отображение в его произведениях, и в ы с о к о й х у д о ж е с т в е н н о й ф о р м о й, в которой эти процессы отражены. Великая историческая действительность, являвшаяся содержанием творчества Толстого, обусловила и его силу гениального художника. Развертывая аргументацию тезиса своей первой статьи о Толстом, как зеркале русской революции, Ленин не ограничивается выяснением происхождения про-

тиворечий Толстого, но устанавливает значение его наследия для общественного развития, для современного этапа освободительной борьбы. Ленин пишет в этом некрологе о необходимости разъяснения массам значения толстовской критики государства, церкви, частной поземельной собственности, капитализма—«...не для того, чтобы массы ограничивались самоусовершенствованием и воздыханием о божецкой жизни, а для того, чтобы они поднялись для нанесения нового удара царской монархии и помещичьему землевладению», а для того, чтомы массы «...научились сплачиваться в единую миллионную армию социалистических борцов, которые свергнут капитализм и создадут новое общество без нищеты народа, без эксплуатации человека человеком» (XIV, 403).

Таким образом, Ленин вскрыл прогрессивную роль творчества Толстого, совершенно бесспорную, несмотря на то, что у Толстого «обличение капитализма и бедствий, причиняемых им массам, совмещалось с совершенно апатичным отношением к той всемирной освободительной борьбе, которую ведет международный социалистический пролетариат» (XIV, 402). Вполне понятно, что в статье-некрологе основное внимание было направлено на освещение великого прогрессивного значения творчества Толстого — национальной гордости русского народа. Но и здесь, в статье, посвященной трагическому событию русской культуры, Ленин дал всесторонний анализ и потрясающе сильных и до парадоксальности слабых сторон творчества и взглядов Толстого. И снова, как в предыдущей своей статье, «Лев Толстой как зеркало русской революции», написанной более двух лет назад, Ленин восстал против фальшивых и лицемерных статей о Толстом, напечатанных в казенной прессе.

«Посмотрите на оценку Толстого в правительственных газетах, — писал Ленин. — Они льют крокодиловы слезы, уверяя в своем уважении к «великому писателю» и в то же время защищая «святейший» синод. А святейшие отцы только что проделали особенно гнусную мерзость, подсылая попов к умирающему, чтобы надуть народ и сказать, что Толстой «раскаялся» (XIV, 402).

Лицемерие официозных и полуофициозных газет в отношении к Толстому достигло в эти дни невиданных размеров. Наиболее ярко это лицемерие появилось, конечно, в «Новом времени», газете, линия которой по отношению к правительству определялась формулой «чего изволите». 6 ноября в ней появилась сладкая до приторности статья М. О. Меньшикова «Выход из плена», в которой утверждалось, что «ни государство, ни церковь ничем не возмутили тишины гениальной жизни». В изображении Меньшикова Толстой бежал из мира не от церкви и государства, а «от сектантов религиозных и политических», от «духа революционного ажиотажа», от антитосударвенной и антихристианской интеллигенции. По словам Меньшикова, Толстой вообще не был врагом церкви, идеал его заключался в патриархальной верности древним исконным устоям, православию, христианству, «государственности» (т.-е. самодержавию). Политический смысл этой примечательной статьи становится вполне ясным лишь при учете тех усилий, которые делались правительством и синодом для инсценировки «примирения» Толстого с церковью, «примирения», которое должно было символизировать отказ великого писателя от всех своих «заблуждений». Поэтому легальная пресса, с первого же дня ухода Толстого из Ясной Поляны, была полна утверждений, будто он ушел от «борьбы мирских страстей», от «мировой скверны», для «успокоения мятущегося духа», ушел искать... землю обетованную, где в «чистоте хранятся старозаветные правила». О том, что Толстого, «блудного сына», «нельзя считать совершенно погибшим для церкви» газеты сообщили со слов «компетентных лиц» уже 1 ноября. На другой день в печати появились первые отклики официального духовенства на уход Толстого; утверждение архиепископа Арсения о том, что «церковь должна ликовать» по поводу ухода Толстого, перекликалось с мнениями об уходе, высказанными В. Розановым («Радостная весть облетела Россию. Все этой вести улыбнулись»), Д. В. Философовым («Останется чистая легенда в смысле личного поступка Толстого поразительной чистоты») и Д. Мережковским («...радость такая и красота ослепляющая, почти невыносимая...»). 3 ноября газеты опубликовали интервью с Парфением Тульским, заявившим, что «Толстой несомненно ищет сближения с церковью», и бывшим тульским викарием Митрофаном, который сказал, что уход Тостого он рассматривает «как акт обратного возвращения его к церкви». Так как оба эти иерарха были лично знакомы с Толстым, то их мнениям газеты пытались придать особое значение. 4—5 ноября было опубликовано сообщение о закрытых заседаниях синода, посвященных вопросу о возможности возвращения Толстого к церкви, и намекало на имевший место нажим П. А. Столыпина на синод. 6 ноября, в отчете о заседании совета министров, уже прямо указывалось, что правительство настаивает на снятии отлучения, но синод противится, ожидая тех признаков раскаяния Толстого, установления которых упорно, но тщетно добивался выехавший в Астапово игумен Оптиной Пустыни Варсонофий. Сущность всех этих маскировавшихся печатью интриг между правительством и синодом выболтала с обывательским простодушием «Копейка». 7 ноября в редакционной заметке она сообщила, что правительство, требуя от синода «решительного примирения церкви с ее лучшим и достойнейшим сыном», совершает «акт мудрой государственной предусмотрительности».

Статья Меньшикова «Выход из плена» являлась подготовкой к тому грандиозному извращению облика Толстого, которое имело бы место, если бы игумену Варсонофию удалось осуществить свою «миссию», целью которой было, как отметил Ленин, «... надуть народ и сказать, что Толстой «раскаялся» (XIV, 402). О том, что правительство и синод верили в возможность ее успеха, можно было судить и по другим органам черносотенной прессы, где нововременские идеи находили более грубое и откровен-

ное выражение. 5 ноября «Колокол» напечатал статью В. Скворцова «Трагедия больной, раздвоенной души», где Толстой, для которого ранее подбирались слова лишь из жаргона самых отъявленных погромщиков, именовался «великим писателем земли русской». «По всему видно, — писала газета, — что граф Л. Н. Толстой находится на пути примирения с церковью». В другой заметке, «Газетные хамы», носившей грубо лицемерный характер, эта же газета выступала на защиту семьи Толстого от обвинения в том, что одной из причин ухода писателя явилась семейная обстановка. 6 ноября в редакционной статье «От кого он бежал» развивается та самая мысль, которая легла в основу статьи Меньшикова «Выход из плена»[1]. Но в особенности отчетливо позиция реакции выразилась в газете «Русское знамя». Снисходительно замечая по адресу Толстого, что «большому человеку свойственны и большие ошибки», газета призывала его сбросить «великий грех» и «всенародно раскаяться» (статья «О грехе», 6 ноября). А на другой день, когда стала очевидной малая вероятность «раскаяния», эта же газета, взбешенная неудачей инсценировки, напечатала хулиганские вирши «Еретику Льву Толстому», где Толстой именовался автором «талантливого вздора», которым он «много и долго служил сатане». Уже не веря в возможность «раскаяния» Толстого, газета, через посредство автора этих виршей, явного черносотенного погромщика, заклинала писателя «исчезнуть навеки с ученьем своим».

Царское правительство, однако, было благоразумнее, чем те верноподданные круги, позиции которых представляло «Русское знамя». Несмотря на провал предприятия с «раскаянием», оно решило «в интересах государства» продолжать пропаганду фальсифицированного облика Толстого. 9 ноября газеты опубликовали резолюцию Николая II на рапорте министра внутренних дел о смерти Толстого: «Душевно сожалею о кончине великого писателя, воплотившего во времена расцвета своего дарования в творениях своих родные образы одной из славных годин русской жизни. Господь бог да будет ему милосердным судьей». Резолюция эта явилась директивой не только для правительственной, но и почти для всей легальной русской прессы, которая, говоря словами Ленина, начала лить «...крокодиловы слезы, уверяя в своем уважении к «великому писателю»...» (XIV, 402). Вся эта пресса, следуя формулировке Николая II, сводила значение Толстого, главным образом, к созданию романа «Война и мир» (в свою очередь извращенно освещавшемуся) и, отвергая все написанное им после «перелома», фарисейски отпускала ему грехи, указывая на «милосердие божье».

«Правительственный вестник» в статье, напечатанной 9 ноября («Граф Лев Николаевич Толстой»), видит выражение «миросозерцания русского народа» в образе Платона Каратаева, а период творческой биографии, последовавший за «Анной Карениной», характеризует как «безграничный религиозный анархизм, полнейшее разрушение государства и общества и возвращение в первобытное состояние». Статья «Правительственного вестника» в особенности любопытна стремлением автора провести аналогию между эволюцией Толстого и фальсифицированного реакционной дворянской историографией Пушкина. «События последних дней показали с большей или меньшей достоверностью, — читаем мы в этой статье, — что Толстой на закате своих дней сознал свою ошибку, почувствовал пустоту в своей душе, которую не могло заполнить все это причудливое учение, и испытал то чувство, которое испытывал Пушкин в последние годы своей жизни, когда писал жене:

> Пора мой друг, пора! Покоя сердце просит.
> .....
> Давно завидная мечтается мне доля,
> Давно усталый раб, замыслил я побег
> В обитель дальнюю трудов и чистых нег».

Аналогия эта не нуждается в комментариях. И если правительству Николая II не удалось создать легенду о смирившемся Толстом — на подобие существовавшей ранее легенды о «смирившемся» Пушкине, — то в этом заслуга мощной силы передового общественного мнения, которое сложилось в России в ходе развития революционного движения, его влияния на демократические массы.

Нет необходимости останавливаться на других статьях правительственной прессы. Характеристика ее Лениным в равной мере может быть отнесена и к «России»[1]. Быть может, стоит отметить только «Заметки» А. Столыпина в «Новом времени» 9 октября, которые вероятнее всего имел в виду Ленин, говоря о сочетании в казенной прессе уверений в «уважении» к великому писателю с одновременной защитой синода. В «заметках», содержавших фразы о «скорби народов», о «дорогом покойнике» и т. д., мы читаем: «Св. Синод не мог допустить и не допустил чина православного погребения и заупокойных молитв потому, что этот чин относится непосредственно к «чадам православной церкви», и к таковым сам Л. Н. Толстой себя не причислял и из общества верующих в то, во что веруют члены церкви, вышел добровольно».

Такова была позиция правительственных газет по отношению к Толстому в дни его ухода и смерти. Не менее лицемерной, хотя и более изощренной тактики придерживалась либеральная пресса. «Посмотрите на оценку Толстого либеральными газетами, — писал Ленин. — Они отделываются теми пустыми, казенно-либераль-

[1] Наличие в статье «Русского знамени» формулы, аналогичной «Новому времени» («Толстого держит в плену известная революционно-антихристианская клика»), дает основание предполагать, что формула эта была выработана в официальных сферах.

[1] Статья «Памяти великого писателя», напечатанная в «России» 9 ноября 1910 г., № 1527 по содержанию совпадает с некрологом «Правительственного вестника».

ными, избито-профессорскими фразами о «голосе цивилизованного человечества», о «единодушном отклике мира», об «идеях правды, добра» и т. д., за которые так бичевал Толстой — и справедливо бичевал — буржуазную науку. Они **не могут** высказать прямо и ясно своей оценки взглядов Толстого на государство, на церковь, на частную поземельную собственность, на капитализм,— не потому, что мешает цензура; наоборот, цензура помогает им выйти из затруднения!—а потому, что каждое положение в критике Толстого есть пощечина буржуазному либерализму; — потому, что одна уже безбоязненная, открытая, беспощадно-резкая **постановка** Толстым самых больных, самых проклятых вопросов нашего времени **бьет в лицо** шаблонным фразам, избитым вывертам, уклончивой «цивилизованной» лжи нашей либеральной (и либерально-народнической) публицистики» (XIV, 402—403).

Эта характеристика весьма близка к характеристике либеральных писаний о Толстом, которую Ленин дал ранее в статье «Лев Толстой как зеркало русской революции». За два года в оценке Толстого как либеральными, так и казенными публицистами почти ничего не изменилось. Недаром «Новое время» 8 ноября 1910 г. перепечатало статью А. Суворина о Толстом, опубликованную в той же газете в 1908 г. И в самом деле, для экономии места и времени можно было бы не давать новые варианты тех лицемерных фраз, которые произносились в дни 80-летия Толстого. Однако либеральная пресса такие варианты дала. Снова лишенные внутреннего содержания слова о «совести человечества», о «великом богоискателе» и снова полный отказ от рассмотрения тех вопросов, которые Толстой поднимал в своих произведениях. Весь смысл передовой статьи «Речи» 8 ноября 1910 г. заключался в том, чтобы представить трагическую смерть Толстого не как событие общественно-политического значения, а как акт предопределенный и вполне закономерный: «Эта смерть есть освобождение, высшее торжество духа, полная победа свободы. Покойный хотел ее, шел ей навстречу». Статья Д. Мережковского «Памяти Толстого», а также статья на специальную тему «Толстой и церковь», помещенные в том же номере «Речи», доказывали, что Толстой никогда себя от церкви не отделял. В том же духе были выдержаны и траурные номера «Русских ведомостей» и «Современного слова». «Либералы выдвигают на первый план, что Толстой — «великая совесть», — писал Ленин. — Разве это не пустая фраза, которую повторяют на тысячи ладов и «Новое время» и все ему подобные?» (XIV, 403). И действительно, «Новое время» совпадало с «Речью» не только фразеологией, но даже утверждением, что в «смерти Толстого есть нечто прекрасное, исключительное». «Речь» отличалась в освещении смерти Толстого лишь мерой подлости. Конечно, никто кроме Меньшикова не решился в день похорон Толстого сопоставить его как «великого богоискателя» с Иоанном Кронштадтским. Но реакционную легенду о Толстом с одинаковым рвением создавали и «Речь» и «Новое время».

Если в трактовке Толстого либеральные публицисты не дали ничего нового, то в политической оценке общественного движения, возникшего в связи с его смертью, они отчетливо проявили свое контрреволюционное ренегатство. «Либералы горой за Толстого, горой против синода—и, вместе с тем, они за... веховцев, с которыми «можно спорить», но с которыми «надо» ужиться в одной партии, «надо» работать вместе в литературе и в политике. А веховцев лобызает Антоний Волынский», — писал Ленин (XIV, 403). Контрреволюционное перерождение русского либерализма нашло выражение, в частности, в отношении к забастовкам, сходкам и уличным демонстрациям, происходившим в связи со смертью Толстого. По этому вопросу либералы оказались в согласии с нововременцами и черносотенными публицистами.

Номер выходившей в Париже газеты «Социал-демократ» был, по словам Ленина (XIV, 387), уже сверстан, когда он получил петербургские и московские газеты от 25 (12) ноября, сообщавшие о возникших в связи со смертью Толстого антиправительственных демонстрациях и сходках в Петербурге, Москве, Туле, Киеве, Харькове, Варшаве. Особенно внушительные демонстрации произошли в Петербурге. Даже «Русские ведомости», настроенные, как заметил Ленин, «совершенно по-октябристски», в подборке телеграмм «В Петербурге на улице», не могли не отметить массовый характер процессий: «Несмотря на то, что путь на Невском у адмиралтейства был закрыт и на всех углах полиция усиленно фильтровала публику, к началу 1 часа дня на Невском было не менее 10 000 студентов и студенток разных учебных заведений». Демонстрации происходили и в других местах. «Жандармы верхом врезались с шашками в ряды Перинной линии, преследуя убегавших. Но рассеянная толпа собиралась снова в разных местах. Так продолжалось до вечера» [1]. На все эти события Ленин откликнулся статьей «Не начало ли поворота?», вставленной в уже сверстанный номер «Социал-демократа». Откладывая до следующего номера оценку этого «несомненного демократического подъема», Ленин в данной статье сосредоточил свое внимание на отношении разных партий, к петербургской демонстрации.

С возмущением писал Ленин о подлой подножке, подставленной демократии кадетами,— о воззвании депутатов-кадетов к студентам. Текст этого воззвания гласил:

«Вчера в 12 час. ночи, в экстренном заседании фракции народной свободы в присутствии представителей фракций прогрессистов, мусульман и беспартийных членов Думы, при обсуждении вопроса о предполагающейся на 11-ое число демонстрации учащейся молодежи, единогласно всеми присутствующими было постановлено обратиться к учащимся со следующим воззванием:

Гг. учащиеся высших учебных заведений Петербурга.

Мы, представители вышеупомянутых оппози-

[1] «Русские ведомости», 12 ноября 1910, № 261.

ционных групп Государственной Думы, считаем своим нравственным долгом обратить к вам нашу горячую просьбу: не устраивать предполагаемой демонстрации.

Мы считаем ее вредной, нежелательной.

Мы призываем вас всячески воздерживать и ваших товарищей от опасных шагов, идущих в руку врагам студенчества и высшей школы.

Пусть скорбные дни национального горя не омрачатся необузданным порывом молодого чувства.

Пусть ваш порыв не послужит поводом для торжества врагов свободы.

Не предавайтесь голосу увлеченных. Остановитесь во-время»[1].

В таком же духе была выдержана и передовая статья номера «Речи», в котором было опубликовано воззвание. В начале ее говорилось об «утрате гения», которым гордится все человечество, о трагизме обстоятельств, при которых умер Толстой. Вместо анализа этих трагических обстоятельств и их причин, газета отделалась общей фразой, что «эти обстоятельства... мы сами давно и упорно создавали, уродуя своими шаблонами исключительную индивидуальность». Однако более всего возмутила Ленина «поистине подлая», как он писал, мотивировка призыва прекратить волнения. Стремление демократических кругов русского общества выразить свой протест против так называемых «обстоятельств», сопровождавших смерть Толстого, т. е. против всего строя царской России, «Речь» охарактеризовала словами: «...в воздухе пахнет тревогой, напряжением, тяжелой и смутной неизвестностью». Устраивать в связи со смертью Толстого манифестацию означало, по мнению «Речи», «омрачать светлую скорбь», обнаруживать «отсутствие искренней любовности к священной памяти». Так писала кадетская газета, как отметил Ленин, «...в чисто-октябристском духе» (XIV, 388). И в самом деле, октябристский «Голос Москвы» также сетовал на то, что «демонстрации толпы» испортили «величественную картину всерусской скорби», восклицая: «Так ли выражают уважение к памяти великого человека?»[2] Характерно, что тактика «Речи» в толстовские дни совпадала с линией не только «Голоса Москвы», но и официозной «России», которая призывала к прекращению демонстраций по тем же самым мотивам необходимости соблюдения тишины, как «дани уважения» к смерти писателя. Недаром в Думе черносотенец В. Шульгин одобрительно отметил, что кадеты — «противники демонстрации». Все это свидетельствовало еще раз о трогательном единении либералов и царского правительства, сказавшемся и в отношении к волнениям в толстовские дни. Резкое недовольство и либералов, и октябристов, и крайних правых объяснялось тем, что в этих волнениях обнаруживались признаки нового революционного подъема. Перечисляя в статье «Начало демонстраций» факты, показывающие, что «русский народ просыпается к новой борьбе, идет навстречу новой революции», Ленин указывает также и на то, что «...смерть Льва Толстого вызывает — впервые после долгого перерыва — у л и ч н ы е д е м о н с т р а ц и и с участием преимущественно студенчества, но отчасти также и рабочих. Прекращение работы целым рядом фабрик и заводов в день похорон Толстого показывает начало, хотя и очень скромное, демонстративных забастовок» (XIV, 393).

Политические демонстрации, вызванные смертью Толстого, были для Ленина симптомом революционного подъема, симптомом нового пробуждения широчайших демократических слоев общества. Для либералов же этот факт был симптомом того, что «общество очень плохо»[1]. Так вопрос об отношении к памяти Толстого связывался с вопросом о судьбах русской революции.

Русский народ в своих откликах на смерть Толстого — в демонстрациях, забастовках, телеграммах — выразил величайшее уважение к памяти великого писателя и любовь к его гениальным художественным произведениям. Социал-демократическая фракция Государственной Думы послала в Астапово на имя В. Г. Черткова телеграмму следующего содержания: «Социал-демократическая фракция Государственной Думы, выражая чувства российского и всего международного пролетариата, глубоко скорбит об утрате гениального художника, непримиримого и непобежденного борца с официальной церковностью, врага произвола и порабощения, громко возвысившего свой голос против смертной казни, друга гонимых». Большинство телеграмм, в которых трудовой народ выражал свое отношение к Толстому, было выдержано в таких же тонах. В день смерти Толстого рабочие различных предприятий Петербурга обратились в Государственную Думу с требованием почтить его память немедленным обсуждением вопроса об отмене смертной казни. 9 ноября, в день похорон Толстого, в Москве забастовали рабочие на заводах и фабриках Бромлея, Листа, Вестингауза, Менделя, Гивортовского, Рогаткина, Бари и др. В телеграммах, посылавшихся на имя С. А. Толстой и В. Г. Черткова, рабочие подчеркивали в деятельности Толстого его роль великого художника, обличителя лжи и насилия, врага «фарисеев и мракобесов», проповедника «освобождения человечества от вековых пут угнетения и рабства», «борца за идеалы лучшей трудовой жизни».

Ряд фактов свидетельствовал, однако, о том, что в атмосфере народного преклонения перед гением Толстого может иметь успех (даже в некоторых слоях пролетариата) пропаганда либералами слабых сторон учения Толстого, его теории непротивления злу насилием, представлявшей серьезную опасность для дальнейшего развития революционного движения. Возможность успеха этой пропаганды, которая нередко велась в классово-эгоистических целях, становилась особенно реальной в условиях столыпинской реакции и идейного разброда среди интеллигенции. Наряду с приведенными выше теле-

[1] «Речь», 24 (11) ноября 1910, № 310.

[2] «В дни скорби». «Голос Москвы», 24 (11) ноября 1910, № 260.

[1] «Речь» 24 (11) ноября 1910, № 310 (передовая).

граммами и письмами рабочих, правильно оценивавших значение Толстого, были и отклики, говорившие об известном проникновении в рабочую среду идей, принадлежащих к отрицательным сторонам идеологии Толстого. Либеральная пресса тенденциозно выбирала среди множества откликов рабочих на смерть Толстого именно те, которые возвеличивали слабые стороны его учения. Но даже в откликах, печатавшихся на страницах рабочей печати, нередко сказывалось несомненное влияние реакционной легенды о Толстом. Так например, в газете «Наш путь» встречались телеграммы, в которых Толстой оценивался, как «великий учитель, проповедывавший мир и любовь», «пророк», «проповедник царства божия внутри нас», заветам которого рабочие приглашались следовать. В телеграммах подобного рода многое было созвучно той фальсификации облика Толстого, которой усиленно занимались публицисты и «Речи», и «Русских ведомостей» и даже «Нового времени» вкупе с «Россией». Вопрос о борьбе с проникновением этой фальсификации в широкие народные массы становился все более актуальным.

Вскоре Ленин узнал о новых, еще более показательных фактах. В своем извращенном толковании творчества и учения Толстого казенные и либеральные публицисты получили поддержку в лице ряда бывших социал-демократов. В октябрьском номере журнала «Наша заря», легального органа меньшевиков-ликвидаторов, появились статьи о Толстом, которые по существу, пропагандировали отказ от революционной борьбы и оправдывали толстовщину. Журнал открывался статьей М. Неведомского «Смерть Льва Толстого». Отказываясь от оценки отношения различных классов и партий к смерти Толстого, «Наша заря» прославляла якобы имевшее место «единство» всех общественных кругов в скорбные дни. Отвлекаясь от конкретных политических и экономических вопросов, поставленных Толстым, игнорируя противоречия в его взглядах, автор статьи утверждал, что толстовская «цельность миросозерцания» и «абсолютная последовательность» являются противовесом всякому «скепсису и критицизму». «Вобрав в себя, — говорилось в этой статье, — и воплотив в законченном виде основные аспирации и стремления великой эпохи падения рабства в России, Лев Толстой оказался и чистейшим, законченнейшим воплощением общечеловеческого идеологического начала — начала совести»[1]. Столь выспренно выраженная мысль об отсутствии каких бы то ни было противоречий в мировоззрении Толстого развивалась и конкретизировалась в статье В. Базарова «Толстой и русская интеллигенция», напечатанной в той же десятой книжке «Нашей зари». Статья Базарова представляет собою, в сущности, скрытое выступление против ленинских статей о Толстом[2].

[1] «Наша заря», 1910, № 10, стр. 7.

[2] Имени Ленина Базаров не называет, повидимому, потому, что ленинские статьи, опубликованные до выхода в свет десятого номера легальной «Нашей зари», появились в нелегальной прессе.

Именно по адресу Ленина направлены слова Базарова о несправедливости «резкой критики» Толстого «со стороны радикальной интеллигенции». Прямым возражением Ленину является и следующее утверждение: «...идеализация патриархально-крестьянского быта, тяготение к натуральному хозяйству и многие другие утопические черты толстовства, которые в настоящее время выпячиваются на первый план и кажутся самым существенным, в действительности являются как раз субъективными элементами». Базаров, призывая «учиться у Толстого», заявлял, в противовес Ленину, что «непротивление злу насилием или, общее, гармония средств и цели... есть необходимая составная часть всякого цельного миросозерцания».

Главную силу Толстого Базаров видел в том, что он, «пройдя через все ступени типичного для современных образованных людей разложения, сумел найти синтез» и создал «чисто человеческую «религию» не только для себя, но и для других». В своем стремлении представить значение Толстого одинаковым для различных социальных слоев, Базаров дошел до веховского утверждения, что хлопоты «духовных и светских администраторов» о примирении писателя с церковью были вызваны их пониманием «нравственного обаяния одинокого человека Толстого и его чисто человеческого учения». Заканчивалась статья призывом «каждому из нас» учиться у Толстого, «к какому бы общественному лагерю мы ни принадлежали»[1].

Сложившаяся ситуация заставила Ленина обратить особое внимание на необходимость усиления пропаганды научной социалистической оценки творчества Толстого: нужно было объяснить широким массам истинную ценность наследия Толстого и предостеречь от опасности тех сторон его идеологии, за которые либералы и меньшевики объявили Толстого «великой совестью» и «учителем жизни». Вот почему Ленин в статьях, последовавших за его работами «Лев Толстой как зеркало русской революции» и «Л. Н. Толстой», уделяет больше внимания разъяснению практического вреда, который может принести всякая попытка идеализации и оправдания «непротивленства» Толстого.

Пропаганда в массах марксистского истолкования творчества и учения Толстого становилась, таким образом, задачей непосредственного политического разоблачения либерально-меньшевистского извращения его творчества. Ленин написал специально для массового рабочего читателя две статьи: «Л. Н. Толстой и современное рабочее движение» (напечатана в полулегальной московской газете «Наш путь», предназначенной для профсоюзов) и «Л. Н. Толстой и пролетарская борьба» (напечатана в «Рабочей газете», популярном органе большевиков, издававшемся в Париже). Обе статьи конкретизируют и развивают мысли, высказанные Лениным ранее. В первой из этих статей Ленин характеризует значение и своеобразие толстовской критики современных порядков и указывает на ее отличие от критики тех же порядков «у пред-

[1] «Наша заря», 1910, № 10, стр. 48, 49, 51, 52.

ставителей современного рабочего движения» (т. е. у большевиков). Поскольку статья эта была предназначена для полулегальной газеты, Ленин был вынужден избегать некоторых формулировок и терминов, которые имеются в его работах о Толстом, опубликованных ранее в нелегальных газетах. Во второй статье отмежевание учения Толстого от идеологии революционного пролетариата проводится еще резче. «Только тогда добьется русский народ освобождения, — писал Ленин, — когда поймет, что не у Толстого надо ему учиться добиваться лучшей жизни, а у того класса, значения которого не понимал Толстой и который единственно способен разрушить ненавистный Толстому старый мир, — у пролетариата» (XIV, 408). Кроме краткой характеристики Толстого, статья содержит указание на то, что идеализация толстовщины либералами имеет преднамеренный характер. Призывая весь русский народ изучать Толстого для того, «чтобы итти вперед», Ленин пишет: «Этому-то движению вперед мешают все те, кто объявляет Толстого «общей совестью», «учителем жизни». Это — ложь, которую распространяют либералы, желающие использовать противореволюционную сторону учения Толстого. Эту ложь о Толстом, как «учителе жизни», повторяют за либералами и некоторые бывшие социал-демократы» (XIV, 408).

«Бывшие социал-демократы» — это, несомненно, В. Базаров и М. Неведомский. В данной статье Ленин не назвал их имена. Но их лжи о Толстом Ленин посвятил особую статью «Герои «оговорочки» (журнал «Мысль», 1910. № 1). Композиционным стержнем ее является суммирование всех оговорок, содержавших в ликвидаторской «Нашей заре» (редакция оговаривает свое несогласие «с отдельными положениями» статьи Базарова, хотя дело в самой сути ее, а не в «отдельных положениях», Потресов оговаривается, что не согласен с махистами, хотя защищает их[1], Мартов оговаривается, что не вполне согласен с Потресовым и т. д.). Характеризуя ликвидаторов, как «героев «оговорочки»», Ленин показывает их перекличку не только с либералами, но и с участниками сборника «Вехи». Статья Ленина была напечатана в первом номере легального большевистского журнала «Мысль», и поэтому он не смог оперировать здесь многими партийно-политическими терминами[2]. По существу же выступление Ленина против писаний ликвидаторов о Толстом разоблачало их стремление фальсифицировать облик писателя в непосредственно политических целях. В отвлеченных, казалось бы, рассуждениях Базарова на «модную литературную тему» Ленин зорко подметил стремление отвлечь внимание от конкретных исторических экономических и политических вопросов, которые выдвигались в произведениях Толстого и сохранили свою актуальность для современности. Поддержка легенды о «монолитности» Толстого и найденном им «синтезе», игнорирование сильных сторон творчества Толстого, признание учения о непротивлении злу «составной частью всякого цельного миросозерцания», все это, как показал Ленин, означало уход ликвидаторов «в лагерь поворачивающих вспять», т. е. переводя эти слова с эзоповского на обычный политический язык, — означало измену революции.

Упоминание Ленина о том, что фразеология Базарова являлась вполне достойной «Нового времени», опиралось на точные факты. Статьи Суворина и Меньшикова, напечатанные в этой газете в связи со смертью Толстого, также содержали фразы о «совести» и «общечеловеческой религии». Более того, своим ограничением значения Толстого Базаров перекликался даже с официозной «Россией», которая приглашала читателя «следовать заветам Толстого», т. е. «отбросив временное», обратиться к тому, чтобы «неуклонно и неустанно совершенствовать в себе внутреннего человека»[1].

Отсюда становится понятной та страстность негодования, с которой Ленин обрушился на статьи о Толстом, напечатанные в «Нашей заре».

★

Так разоблачал Ленин разнообразные попытки фальсификации облика Толстого, предпринятые после смерти писателя представителями и официозных, и либеральных, и меньшевистских кругов. Своим тонким диалектическим анализом противоречий Толстого Ленин разрушил реакционную легенду о нем как угоднике, елейном старце, каким представляли его толстовцы и либералы, и установил революционную, отражающую народные чаяния, сущность толстовского протеста. «Горячий протестант, страстный обличитель, великий критик», устами которого говорила многомиллионная масса русского крестьянства, — таким предстает перед нами Лев Николаевич Толстой в гениальных ленинских статьях.

---

[1] Ленин подразумевал здесь «Критические наброски» А. Потресова, напечатанные в «Нашей заре», 1910, № 4, стр. 89—98.

[2] В одном месте своей статьи Ленин подчеркивает невозможность вести в данном случае открытый политический спор. Касаясь утверждения Базарова о полной приемлемости идеи «непротивления злу», Ленин замечает: «Разбирать его рассуждения мы здесь не можем» и ограничивается репликой: «это — чистейшая веховщина» (XV, 52); характерно для стиля подцензурной статьи Ленина и то, что он прибегает здесь к иносказанию, метафоре: «Задача дня—копать, хотя бы при самых тяжелых условиях, руду, добывать железо, отливать сталь марксистского миросозерцания и надстроек, сему миросозерцанию соответствующих» (XIV, 54).

[1] А. Агов «Гр. Л. Н. Толстой», «Россия», 9 ноября 1910, № 1527.

БИБЛИОГРАФИЯ

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ ЗЕМЛЯКИ*

Великая Отечественная война воочию показала, как дорога русским Родина, ее славное прошлое и великое будущее, ее культура.

Русский народ по праву гордится своими великими людьми, своими замечательными соотечественниками и земляками; понятно стремление узнать их ближе, изучить их жизнь и дела, прославить свою землю, свой край, в котором они жили и работали.

В этом отношении характерно, что книги монографического характера о наших великих людях, наряду с центральными издательствами, стали выпускать и на местах.

Примером этого служит предпринятый пензенским издательством газеты «Сталинское знамя» выпуск небольших монографий о замечательных земляках, связанных с Пензенским краем рождением, воспитанием или работой.

В прошлом году издательством была выпущена одна такая книжка — о Белинском, в этом году — три: о Радищеве, Лермонтове и Лажечникове. На первой из них имеется заголовок, под которым, очевидно, должна была итти вся серия «Замечательные люди Пензенского края», однако с последующих выпусков он предусмотрительно снят по той, конечно, причине, что значение этих писателей выходит далеко за пределы Пензенского края. Они принадлежат всей России, всему Советскому Союзу, несмотря на то, что родились, росли, воспитывались или работали в Пензе или неподалеку от нее.

Общее для всех этих книг — это серьезный подход издательства к своей задаче, стремление дать в сравнительно небольших очерках доброкачественный материал и, насколько это возможно, осветить подробнее Пензенский период жизни каждого писателя

Между писателями-земляками, как это будет видно в дальнейшем, существовала очевидная связь и до некоторой степени преемственность. Самому старшему из них — Радищеву Д. Благой посвятил обстоятельный очерк, разделенный на три части. В первой из них автор говорит о Радищеве как о человеке, во второй дает характеристику «Путешествия из Петербурга в Москву» и в заключительной части освещает судьбу этой книги.

Прослеживая жизненный путь Радищева, его детство, проведенное в Пензенском крае, ту обстановку, в которой он жил и развивался, Благой вместе с тем показывает, как создавалась эта книга, и подводит читателя непосредственно к ее содержанию. Оно изложено весьма обстоятельно, иллюстрировано многочисленными, толково подобранными цитатами и дано так, что у читателя, даже никогда не державшего в руках эту книгу, создается о ней ясное представление.

«Путешествие из Петербурга в Москву», — пишет Благой, — самое беспощадно-обнаженное, самое бичующее изображение самодержавно-крепостнического строя во всей нашей дореволюционной литературе. Неудивительно, что царские правительства — от Екатерины II до Николая II — делали все от них зависящее, чтобы не дать этого изображения в руки читателю» (стр. 63).

Вот почему Екатерина II в одном из своих примечаний на «Путешествие» писала: «Сочинитель не любит царей, и где может к ним убавить любовь и почтение, тут жадно прицепляется с редкою смелостию».

Благой отмечает горячий патриотизм автора, широту книги, насыщенность образами русской действительности, живой реализм, типический характер выведенных персонажей и обстоятельств, влияние Радищева на писателей последующих поколений.

Прочитав очерк Благого, читатель получит представление не только о «Путешествии из Петербурга в Москву», но и о таких малоизвестных работах Радищева, как «Отрывок из путешествия в***», «Житие Федора Васильевича Ушакова», «Беседа о том, что есть сын отечества», «Письмо к другу, жительствующему в Тобольске» и др.

К недостаткам очерка следует отнести то, что у читателя создается представление о Радищеве, как о человеке, проводившем жизнь за письменным столом. В образе Радищева мало живых черт, которые бы приблизили автора «Путешествия» к читателю, сделав его человечески проще и понятнее.

---

* Серия изд. газеты «Сталинское знамя», Пенза: 1) А. Нечаева «Виссарион Григорьевич Белинский», 1944, стр. 52, 2) Д. Благой «Александр Николаевич Радищев», 1945, стр. 67, 3) В. Мануйлов «Михаил Юрьевич Лермонтов», 1945, стр. 58, 4) В. Нечаева «Иван Иванович Лажечников», 1945, стр. 58

«Ледяной дом» — один из первых русских исторических романов младшего современника Радищева — известен широкому кругу читателей. Этого нельзя сказать о биографии его автора — И. И. Лажечникова, жизнь и деятельность которого известна разве лишь литературоведам да особенным любителям литературы, между тем она является примером честного и бескорыстного служения русскому народу. Тем более своевременным является выход книжки В. Нечаевой, книжки, если не восполняющей этот пробел, то во всяком случае дающей представление о писателе-патриоте, участнике походов 1813—1815 гг.

Очерк Нечаевой представляет интерес не только для читателя, но и для специалиста, поскольку, как она сообщает в предисловии, ею использован «ряд неопубликованных архивных документов, хранящихся как в Пензенском областном архиве, так и в архивохранилищах Москвы».

Лажечников не был уроженцем Пензенской губернии. Он пробыл в этом крае на посту директора гимназии и народных училищ совсем недолго, тем не менее для просвещения края сумел сделать много полезного, оставил о себе хорошую память.

При ревизии чембарского уездного училища Лажечников впервые увидел двенадцатилетнего Белинского, экзаменовал его, по достоинству оценил его способности.

Сам автор «Ледяного дома» оставил весьма любопытную запись об этой знаменательной встрече. В худеньком и маленьком подростке — Белинском он уже тогда усмотрел будущего бойца, его ум, самостоятельность мышления. Вот что Лажечников пишет об этом: «На все делаемые ему вопросы он (Белинский.—*Б. А.*) отвечал так скоро, легко, с такою уверенностию, будто налетал на них, как ястреб на свою добычу... и отвечал, большею частью, своими словами, прибавляя ими то, чего не было даже в казенном руководстве... Я... признаюсь, старался сбить его... Мальчик вышел из трудного испытания с торжеством» (стр. 21).

Книжка Нечаевой интересна в первой своей части, которая посвящена жизни и деятельности Лажечникова, вторая часть, содержащая анализ его романов — «Басурман», «Последний Новик» и «Ледяной дом» — написана книжно и не дает достаточно ясного представления об этих романах, сохранивших и до сих пор, через сто с лишним лет после своего выхода, интерес для читателя.

Мы также думаем, что явно поверхностно такое заключение Нечаевой: указав, что в 1819 году Лажечников сумел предотвратить дуэль Пушкина с каким-то майором, Нечаева пишет: «Посторонний человек, случайный свидетель, он (Лажечников.—*Б. А.*) сумел для начинающего поэта сделать то, что не сумели сделать близкие друзья Пушкина в 1837 году» (стр. 33). Вывод соблазнительный, но поверхностный. На самом деле нельзя же сравнивать те причины, которые вели к случайной дуэли юного Пушкина с каким-то неведомым майором, с теми трагическими причинами, которые обусловили убийство Пушкина.

Сравнительно с первыми двумя писателями говорить о Белинском значительно легче, потому что о нем накоплено материала неизмеримо больше. Однако это обилие материала вместе с тем и сковывает, ограничивая возможность сказать что-либо новое.

Детство и юность Белинского прошли в Пензенской губернии, и автор очерка о нем, та же В. Нечаева, отводит «сравнительно много места... раннему периоду жизни Белинского, на котором обычно мало останавливаются его биографы». Кроме того Нечаева посвящает отдельную главу высказываниям великого критика «о патриотизме, о России, ее прошлом и будущем» — той важной теме, которая до Великой Отечественной войны сравнительно слабо освещалась в литературе.

Такой подход обновляет очерк, читатель с интересом следит за рассказом о семье и родственниках Белинского, его учении в чембарском уездном училище и в пензенской гимназии, о том, как, будучи «Двенадцатилетним мальчиком, он выступил возмущенный против систематической порки учителем его младших товарищей», о том, как он дружил с единственным крепостным гимназистом, Дмитрием Калининым, «сыном дворового человека Егора» и «демонстративно отсутствовал на уроках закона божьего в гимназии».

В высказываниях Белинского о патриотизме, о Родине для нас, свидетелей и участников величайшей социальной революции и Великой Отечественной войны, особо примечательно следующее:

«Завидуем внукам и правнукам нашим, которым суждено видеть Россию в 1940 году, стоящею во главе образованного мира, дающею законы и науке, и искусству и принимающею благоговейную дань уважения от всего просвещенного человечества».

Белинский стоит в центре писателей-земляков: в своей юношеской драме, названной по имени гимназического друга «Дмитрий Калинин», идейно он связан с «Путешествием из Петербурга в Москву» Радищева, с Лажечниковым его соединяет многолетняя дружба, с Лермонтовым — наблюдения над одним и тем же кругом чембарских помещиков, чиновников и крепостных.

В книжке Нечаевой указано, где родился Белинский, где он провел первые годы своей жизни и в каком возрасте переехал с родителями в Пензенскую губернию, опущено только одно — когда он родился. Промах тем более досадный, что Нечаева, в предыдущей своей работе, забыла указать дату смерти Лажечникова.

Книжку о Лермонтове написал В. Мануйлов. Он построил ее по иному плану, чем два предыдущих автора. Если Благой и Нечаева первую половину своих очерков посвящали жизни, а вторую — творчеству писателей, то Мануйлов говорит о том и другом одновременно, прослеживая по годам: где, как жил и что писал Лермонтов—патриот, воин и поэт.

Рассматривая отдельные его произведения, автор сравнительно подробнее говорит о патриотических стихотворениях, в частности о «Боро-

дине», а также о «Герое нашего времени». Интересно указание о влиянии Лермонтова на развитие грузинской и армянской поэзии, на то, что переводы многих его стихотворений распеваются в казахской степи, как народные песни. Интересны также страницы, посвященные военной жизни Лермонтова, бесстрашного боевого офицера, чьей храбрости дивились старые кавказцы и известные джигиты.

Лермонтов, как и Белинский, в значительно большей степени, чем Радищев и особенно Лажечников, принадлежит Пензенскому краю: в Тарханах (теперь село Лермонтово Чембарского района. — *Б. А.*) прошли детские годы поэта, здесь началось его поэтическое творчество и здесь же он похоронен. Поэтому Мануйлов имел все основания в книге, принадлежащей к подобной серии, остановиться на пензенском периоде жизни Лермонтова. Этот период освещен им довольно подробно, но не указан ряд характерных деталей. К таким деталям и деталям важным относятся, например, заботы Лермонтова о крепостных бабушки. Мануйлов также не дает хотя бы перечня тех произведений, над которыми поэт работал в Тарханах, между тем сюда относятся, кроме мелких стихотворений, «Маскарад», «Песня о купце Калашникове», «Боярин Орша». Первая юношеская поэма «Черкесы» имеет характерную пометку Лермонтова — «в Чембаре, за дубом».

Недостаточно освещена Мануйловым крупнейшая поэма «Демон» и те причины, которые привели к гибели поэта, между тем, как писал Луначарский, «Если дуэль Пушкина была не случайной, если она была подлейшей формой убийства, то то же самое нужно сказать и о дуэли Лермонтова».

★

Писателей-земляков объединяет не только рождение, жизнь, или работа в одной губернии, не только их идейные и литературные связи, их объединяет главное—горячая любовь к Родине, к русскому народу, любовь, о которой так хорошо сказал Лермонтов:

Но я люблю — за что, не знаю сам? —
Ее степей холодное молчанье,
Ее лесов безбрежных колыханье,
Разливы рек ее, подобные морям...
Люблю дымок спаленной жнивы,
В степи ночующий обоз
И на холме, средь желтой нивы,
Чету белеющих берез...

В заключение отметим издательские недостатки книжек о писателях-земляках — временами слепую печать текста и иллюстраций, отсутствие пояснительных указаний к иллюстрациям, серо-коричневые, невзрачные обложки.

К общим редакционным недостаткам относится отсутствие указателей важнейшей литературы о писателях и важнейших хронологических дат их жизни и творчества, которые бы значительно облегчили работу читателя над книгой.

Однако все это легко устранимо и, надо думать, будет учтено при выпуске последующих книжек этой хорошей серии о замечательных земляках.

Борис Анибал

★

МОРСКАЯ БИБЛИОТЕЧКА*

Морской флот нашей страны в годы Великой Отечественной войны вписал много славных дел в историю родины. Поэтому, естественно, усилился интерес к тому, что сказано о русских моряках и истории флота в художественной литературе.

Военно-морское издательство выпустило серию книг, включающую наиболее популярные произведения о русских моряках.

Список произведений в предпринятом издании еще далеко не исчерпан, вернее сказать, он только открыт, но значение систематического ознакомления читателей с морской художественной литературой настолько велико, что дело, задуманное Военно-морским издательством, заслуживает уже сейчас одобрения и пристального внимания. Нужно сказать, что выход книг данной серии не отличался хронологической последовательностью (о чем нельзя не пожалеть). Например, повести Бестужева-Марлинского вышли в свет гораздо позже, нежели книга «Алые паруса» А. Грина. Но характер и содержание серия уже ясно определились. Ее задача в том, чтобы дать читателю представление о морской теме в истории русской литературы.

Как видно из заглавий книжек, каждая из них посвящена творчеству одного писателя. Исключение составляет сборник избранных стихов «Море в русской поэзии». В этой книге собраны стихи наиболее выдающихся русских поэтов — от Ломоносова, Державина, Пушкина до Горького, Бунина, Брюсова, Маяковского и Багрицкого. Целостное представление о море, как мощном поэтическом факторе, действовавшем многие столетия, в этой книжке скрепляется превосходной вступительной статьей П. Антокольского.

Море всегда влекло к себе художников слова. В мировой литературе немало вдохновенных страниц, посвященных морской стихии и смелости героев, покорявших ее. Очень немногие из крупных писателей не отозвались так или иначе на эту тему.

Наша страна — великая морская держава. Ее берега омывают два океана и тринадцать морей. Море сродни широкой и смелой натуре русского человека. Мореплавание с древних времен — излюбленное занятие русских, оно развивает

---

* «Море в русской поэзии». Избранные стихи, стр. 166, А. Бестужев-Марлинский «Лейтенант Белозор», стр. 199, К. М. Станюкович «Утро», К. М. Станюкович «В шторм», стр. 103, Л. Толстой «Севастопольские рассказы», стр. 103, А. Грин «Алые паруса», стр. 120.

твердость, решительность, храбрость, силу характера.

«Синее море»,—говорится в предисловии к книге «Море в русской поэзии», — давнишний друг русской песни и сказки, стало быть и русской души. Древнейший памятник нашей письменности «Слово о полку Игореве» полон упоминаний о морских пределах Киевского государства. Черные тучи идут с моря. Ветры, стрибожьи внуки, веют с моря стрелами на храбрые полки Игоря. Дева — Обида плещет лебедиными крыльями на Синем море у Дона. Ярославна обращается к ветру, лелеющему корабли на синем море, с просьбой о заступничестве за ее милого. Это не только поэтические образы, это органическая для русского воина и человека память об огромной стране, окруженной морским простором».

Высказывалось мнение, что морская художественная литература не может претендовать на широкие социальные обобщения. Слишком своеобразной, замкнутой и отдаленной казалась жизнь властителей моря. Слишком узким представлялся корабельный мир для того, чтобы вместить в нем многообразие вопросов, занимающих человечество. Поэтому произведения морских писателей часто воспринимались как в высшей степени увлекательная, но обособленная область литературы, стоящая в стороне от развития мирового искусства. Это справедливо в отношении писателей, которые ограничиваются исключительно воспроизведением занимательных сюжетов и отодвигают на второй план главную задачу искусства —познание человека. Сила и значительность литературного произведения проявляется в изображении любой области жизни. Все дело в талантливости, идейности, правдивости, в силе чувства. Белинский, разбирая романы из морской жизни Фенимора Купера, причисляет их к величайшим созданиям мирового искусства, не уступающим историческим романам Вальтер Скотта.

«Купер,—пишет Белинский, — нисколько не ниже Вальтер Скотта, уступая ему в обилии и многосложности содержания, в яркости красок, он превосходит его в сосредоточенности чувства, которое мощно охватывает душу читателя, прежде чем он это заметит; Купер превосходит Вальтер Скотта тем, что повидимому из ничего создает громадные, величественные здания и поражает вас видимой простотой материалов и бедностью средств, из которых творит великое и необъятное. Яркая пестрота и многосложность деятельной, кипучей европейской жизни — сами подавали Вальтер Скотту готовые и богатые материалы, но Купер на тесном пространстве палубы умеет завязать самую многосложную и в то же время самую простую драму, которой корни иногда скрываются в почве материка, а величавые ветви осеняют девственную землю Америки. Эта драма невольно изумляет вас своей силой, глубиной, энергией, грациозностью, а между тем в ней все так повидимому спокойно, неподвижно, мелко и обыкновенно! — Вспомните его «Лоцмана» и «Красного Корсара». Говоря ближе к истине, Вальтер Скотта не должно и сравнивать с Купером так же, как Купера с Вальтер Скоттом: каждый из них велик по своему, каждый самобытен и оригинален в высшей степени, а по силе творческой деятельности оба они принадлежат к величайшим мировым явлениям в сфере искусства».

Русская литература тоже создала свою морскую традицию.

Наша литература о моряках обладает всеми характерными особенностями русской литературы. Своеобразные черты, рожденные характером нашего народа, выдвигают ее на одно из первых мест в мировой литературе. Западноевропейские маринисты главное внимание обращали на занимательность сюжета и описание морского быта. У русских писателей изображение морской жизни обогащено интересом к человеку, к его душе, любовью к нему и высокими общественными идеалами. Благодаря этой черте русская морская литература занимает особое место среди произведений литераторов-маринистов всего мира. Описание событий и подвигов озарено светом гуманных общественных идеалов, что в такой степени не было присуще даже крупнейшим зарубежным реалистам.

Общественная направленность русской литературы сказалась как главная черта «морских» произведений русских писателей.

Наши писатели-маринисты не сразу овладели своим предметом. Они постепенно шли ко все более и более глубокому, правдивому и всестороннему отображению жизни.

Значение мореплавания в России особенно усиливается со времени Петра Великого. Эпоха Петра замечательна укреплением русского национального государства, его военно-морской силы и международных связей. Издаются книги по навигационному делу, выходит первая русская газета «Ведомости о военных и иных делах» (1703). Литература проникается духом проводимых государственных преобразований. Расширяется кругозор русских людей. Герой литературных произведений этого времени обычно «россиянин», путешествующий по Европе, овладевающий науками. Петр гордился своими моряками:

«Кому из нас, братцы мои, хоть во сне снилось лет 30 тому назад... что мы доживем до того, что увидим таких храбрых и победоносных солдат и матросов русской крови, таких сынов, бывавших в чужих странах и возвратившихся домой столь смышленными».

Морские сюжеты естественно становятся на одно из первых мест в литературе. Ломоносов— «Петр Великий русской литературы», как называл его Белинский, — воодушевленный блестящими победами Петра и своих выдающихся современников, создавал торжественные оды, в честь русского флота. Он отметил значение флота в развитии просвещения, международных связей и национальной мощи русского государства.

Премудрость тамо зиждет храм;
Невежество пред ней бледнеет,
Там владычный флота путь белеет,
И море тщится уступить,
Колумб Российский через воды

Спешит в неведомы народы
Твои щедроты возвестить[1].

Оды Ломоносова — восторженный дифирамб народу, стране, способной рождать «собственных Платонов и быстрых разумом Невтонов».

С этого же времени усиленно развивается русский морской роман и повесть. Начиная со второй половины XVIII века, морские путешествия становятся значительной частью русской прозаической литературы.

Типичным образцом русской морской повести XVIII века можно считать «Историю о российском матросе Василии Кориотском и о прекрасной Королеве Ираклии Флоренской земли». Герой повести — матрос Василий Кориотский взят из действительности. Рисуется эпоха петровских реформ, когда в интересах государства стали практиковаться морские командировки за границу. Следуя литературным приемам того времени, повесть с самого начала знакомит читателя с героем, лицом «зело прекрасным». Василий прибывает в Петербург и записывается в матросы. Очень быстро он прославился знанием «наук матросских» и был сделан на корабле старшим. Для совершенствования знаний его посылают в Голландию, затем — во Францию. По дороге домой его застигла «неукротимая буря», корабль был разбит, и Василия прибило на доске к неизвестному острову. С этого момента начинается ряд приключений на суше, а затем опять на море. Повесть завершается благополучно. Реальное в ней перемешивается с фантастическим. Такова обязательная в произведениях того времени романтическая история, где фигурирует королева Ираклия. Несмотря на наличие вымысла, повесть о Василии Кориотском хорошо передает дух времени, энергичные и серьезные искания русских людей, тягу к просвещению и познанию мира. Сюжет «Василия Кориотского» много раз повторялся в переработанном виде в других произведениях. Известна его обработка в виде былины «Женитьба Пересмякина племянника». К сожалению, морская проза XVIII века в рецензируемой библиотечке не представлена. Следует пожелать, чтобы повесть о «Василии Кориотском» также была издана.

Наряду с национальными сюжетами и героями, русская литература XVIII века чрезвычайно богата «морскими» романами, в которых сюжеты заимствованы из иностранных произведений. Таковы романы Ф. Эмина — «Непостоянная фортуна или похождения «Мирамонда», «Награжденная постоянность или приключения Лизарка и Сарманды»; М. Хераскова — «Кадм и Гармония», «Полидор сын Кадма и Гармонии»; П. Захарьина «Приключения Клеандра»; Д. Зиновьева — «Торжествующая добродетель или Жизнь и приключения гонимого фортуною Селима».

Все эти произведения носят подражательный характер. Однако за нерусскими именами мы часто угадываем характер мышления и образы, рожденные русским обществом той эпохи.

Произведения Эмина, Хераскова, Захарьина и др. отмечены определенными литературными приемами, присущими псевдоклассической школе. Герои обычно рисуются односторонне, воплощением какой-нибудь черты—они либо сплошная добродетель, либо порок. Реальности морской жизни очень мало. Как правило, в произведениях обязательны вещие сны, романтические истории со знатными дамами, борьба с коварными соперниками.

Писатели-романтики требуют от искусства свободы художественных приемов изображения, в первую очередь бурных человеческих переживаний. Типичным образцом романтической прозы явились повести А. Бестужева-Марлинского, бывшего в свое время «кумиром читателей». Хронологически с Марлинского начинается в рецензируемой библиотеке русская художественная морская проза. Несомненно, для своего времени повести Марлинского «Фрегат Надежда» и «Лейтенант Белозер» были выдающимися явлениями литературы. Историко-литературная ценность их бесспорна. Их автор по праву считается выдающейся личностью: он вошел в историю, как талантливый литератор с замечательной биографией, декабрист, соредактор К. Рылеева по альманаху «Полярная звезда». Повести «Лейтенант Белозер» и «Мореход Никитин» и сейчас читаются с интересом. Но Марлинский был плохо знаком с морским бытом. Интерес к морю в нем пробудили рассказы его брата Николая Бестужева, декабриста, профессионального моряка, автора «Рассказов и повестей старого моряка» (1860).

Увлекла Марлинского, конечно, романтическая сторона морской жизни — бури, опасности, посещение тропических стран, открытия новых земель и т. д. Когда же он начал готовиться к экзамену на гардемарина, то очень скоро убедился, что для того, чтобы быть хорошим моряком, нужно прежде всего погрузиться в ненавистную ему математику, а она надоела ему в Горном корпусе. Так распались его воздушные замки. Юный Марлинский убедился, что настоящим моряком он стать не может.

Позже у Марлинского созревает желание использовать морской материал для выражения своего пылкого романтизма. В одном письме к братьям он сообщает, что заканчивает «Фрегат Надежду»: «Вторая половина «Фрегата Надежды» должна Вам понравиться, ибо я чувствую, что моей чернильницей было сердце». Повесть Марлинского пользовалась в свое время огромным успехом у читающей публики, пока развитие реализма и влиятельные статьи Белинского не подрезали корни такого романтизма. Действительно, «сердца» в морских повестях Марлинского много, но подлинного морского быта нехватает.

Об этом следовало бы для правильной ориентировки читателя сказать во вступительной статье. К сожалению, автор вступительной статьи написал ее в односторонне апологетическом тоне, не совсем точно представив точку зрения В. Г. Белинского на творчество Марлинского, по поводу которого было некогда высказано много серьезных критических замечаний.

Последующее развитие литературы, по выражению Белинского, приблизило ее к жизни. Н»

[1] «Ода на день восшествия на всероссийский престол ее величества государыни императрицы Елисаветы Петровны 1747 года».

первое место ставится реальная жизнь, глубокие человеческие чувства. Кто не помнит замечательных стихотворений Пушкина и Лермонтова о море? Слова «твой щит на вратах Цареграда» из «Песни о Вещем Олеге» — дифирамб отваге первых русских мореплавателей, еще со времени Киевской Руси совершавших крупнейшие морские походы.

Достаточно простого перечисления некоторых стихов, помещенных в сборнике «Море в русской поэзии», чтобы увидеть неисчерпаемое многообразие эмоций и размышлений, вызванных общением людей с морем. Здесь и прославление торжества человеческого разума, победившего стихию («Флот» Г. Державина), и полное философской глубины лирическое раздумье («К морю», «Погасло дневное светило» А. Пушкина, «Непонятная песня» Н. Некрасова), и гордый вызов природе, уверенность в победе дерзаний и смелости («Парус» М. Лермонтова), и изображение прелести морского пейзажа («Как хорошо ты, о море ночное» Ф. Тютчева, «Когда не свищет вихрь в истерзанных страстях» А. Фета), и воспроизведение переживаний моряков («Песня матросов», «Голос в тучах» А. Блока), и слава русскому флоту («Разговор в Одесском рейде десантных судов» В. Маяковского), и гордая хвала смелости, свободе («Песня о буревестнике» М. Горького).

Автор предисловия к сборнику «Море в русской поэзии» оттенил еще одно очень важное обстоятельство, влекущее художников к картинам моря: «Созерцание прекрасной природы, — пишет он, — может и углубиться. Недаром человек наделен пытливым, ищущим умом, недаром с первобытных времен стремится он проникнуть в загадки природы и мироздания. Изменчивый, крутой нрав морской стихии издавна влечет человека на борьбу, на преодоление, на высокий труд. Вчитываясь в стихи русских поэтов, мы видим, что поэзия моря была для них поэзией борьбы с природой и победы над ней». Особенно развиты в советской поэзии мотивы труда и победы над стихией — в произведениях Горького, Маяковского, В. Брюсова, Багрицкого.

В прозе и драматургии начала XIX века морская тема была еще мало развита. Но уже рождалось реалистическое искусство. Гениальный русский актер М. С. Щепкин потрясал сердца зрителей и, выступая в роли простого и в высшей степени благородного матроса, заставлял их плакать. Об этом упоминает в одной из заметок Белинский. Правда, в успехе пьесы был больше повинен, повидимому, талант исполнителя, чем достоинства пьесы — может быть поэтому Белинский не счел нужным упомянуть ни ее названия, ни фамилии автора.

Сравнительно близка к морской действительности автобиографическая повесть В. И. Даля «Мичман Поцелуев». В пятидесятых годах, когда Даль находился на полупокое, в Нижнем Новгороде, великий князь генерал-адмирал Константин Николаевич обратился к нему с предложением написать книжку для матросов. В 1851 году появились «Матросские досуги», состоящие из ста одиннадцати статей. «Матросские досуги» написаны первейшим знатоком русского народного быта и языка. Основное содержание «Матросских досугов» составляют поучительные эпизоды русского флота. Еще в бытность во флоте Даль собрал большое количество народных пословиц, поговорок, загадок, морских рассказов. Эта работа и послужила для Даля стимулом к созданию величайшего труда — «Словаря великорусского живого языка», прославившего его имя.

Будем надеяться, что произведения Даля войдут в серию Воениздата.

Побеждающий реализм все глубже проникает в литературу. Появляются «Корабль Ретвизан» Григоровича, «Фрегат Паллада» Гончарова, «Путевые очерки» Писемского.

«Фрегат Паллада» — это дневник Гончарова во время экспедиции в Японию. Писатель принял в ней участие в качестве секретаря начальника экспедиции, вице-адмирала графа Путятина. В своем дневнике Гончаров записывал все, что обращало на себя внимание. Гончаров не был моряком, но его произведение правдиво и серьезно рисует суровый быт и морскую службу на военном корабле, тяжелую борьбу людей со стихиями. Разбросанные по книге картины моря, например, классическое описание заката солнца под экватором, своей удивительной роскошью красок возвышается до непревзойденной красоты. Талантливый писатель отметил яркость и меткость народного языка матросов, смело заявив в конце книги, что многие морские выражения сами просятся в обиходную русскую речь. «Корабль Ретвизан» Григоровича, в котором описано его плавание вокруг Европы, имеет очень много общего с записками Гончарова.

В это же время заинтересовался морской темой и Писемский. В начале 1856 года Писемский был командирован морским министерством на Каспийское море для изучения быта местных жителей, занимающихся рыболовством и судоходством. Почти одновременно на север России, на Волгу и на юг для тех же целей были направлены А. Н. Островский, С. В. Максимов, А. С. Афанасьев-Чужбинский и другие русские писатели.

Впечатления от путешествия на Каспийское море Писемского отчасти отображены в его серии «Путевых очерков». Позднее в художественной переработке, впечатления эти отложились в большом романе «Взбаламученное море», центр действия которого находится в портовом городе К. (несомненный отзвук астраханской жизни писателя).

Григорович и Гончаров обогатили очень популярный вид литературы — морские путешествия. Произведения, посвященные увлекательному описанию морского труда, его опасностей и радостей, будней и романтики, знакомившие с жизнью чужеземных народов, будили чувство и воображение читателя, расширяли умственный горизонт, воспитывали тягу к военной деятельности.

Значение описания морских путешествий, как особого вида художественной литературы, определял Гончаров. В предисловии к «Фрегату Паллада» он писал:

«Я решился возобновить только издание очерков кругосветного плавания «Фрегат Паллада» по причинам, о которых сказано в предисловии к этому изданию. Путешествия в дальние концы мира имеют вообще привилегию держаться далее других книг. Всякое из них оставляет надолго неизгладимый след или колею, как колесо, пока дорога не проторится до того, что все колеи сольются в один общий широкий путь. Кругосветным путешествиям еще далеко до того».

Через десятилетие после выхода в свет «Фрегата Паллада» в литературу приходит настоящий моряк, отдавший свой талант русскому военно-морскому флоту, — К. М. Станюкович.

За участие в революционной журналистике Станюкович был сослан в административном порядке в Томскую губернию. В Сибири им написаны первые серьезные морские рассказы, сразу обратившие всеобщее внимание, — «Василий Иванович» (1886 год, «Вестник Европы») и «Беглец» (1886 год, «Северный Вестник»), с 1892 года Станюкович в Петербурге—сотрудник многих журналов и газет, в которых печатаются «Грозный адмирал», «Нянька», «Матроска», «Пассажирка», «Беспокойный адмирал» и т. д.

«Путешествием вокруг света на «Коршуне»— любимой книгой юношества — Станюкович отдал дань жанру морских путешествий. В то же время он углубляет сюжетную занимательность своих произведений проникновением в психологический мир и быт героев-моряков.

Станюкович представлен в рецензируемой библиотеке пятью книжками. В них включены «Утро», «Морской волк», «В тропиках», «Ужасный день», «Чайка», «Гибель ястреба», «Между своими», «Отчаянный», «Первогодок», «В шторм». Бесспорно, что рассказы отобраны составителем очень удачно и дают ясное представление о творческом облике их автора.

Станюкович по праву считается родоначальником и «флагманом» русской морской литературы. Он как бы открыл для читателей морскую жизнь, быт и душу русских моряков.

Согретое любовью отношение к душе русского простого человека — матроса, придающее его рассказам особую душевность и ясность, воспитано в Станюковиче идеями его учителей — революционных демократов Чернышевского, Добролюбова.

Станюкович создал богатейшую галлерею образов русских моряков всех рангов—от адмирала до матроса. Сторонник революционных идей, писатель не мог не показать жестокости морского быта, отражающей устои крепостничества. В то же время Станюкович любит море, военные корабли, морскую службу. Автор знает и любит моряков, в первую очередь — матросов. Он ярко показывает, как военно-морская служба, борьба с опасностями закаляют молодых парней, пришедших из деревни, воспитывают их, пробуждают свободолюбие. Сильные, волевые люди вызывают особое внимание и восхищение писателя. Особая ценность рассказов Станюковича в том, что жизнь русского флота изображена в них с общественной точки зрения. Заслуга писателя в его умение понять в матросе типичные свойства характера русского человека.

Станюкович не только изобразил жизнь и душу русского матроса, но создал великолепные картины морской стихии.

Западноевропейская литература достигла большого искусства в разработке занимательного морского сюжета. Произведения этого рода имеют ярко выраженную военную окраску. С течением времени содержание расширяется. Байрон ввел тему моря в круг больших общественных вопросов своей эпохи. Странствования Чайльд Гарольда, загадочный образ Корсара, морские скитания Дон-Жуана отличаются огромной, невиданной до тех пор одухотворенностью, силой изображения внутреннего мира человека. В дальнейшем эти свойства достигли наивысшего развития в русской литературе. Классик исторического романа Вальтер Скотт написал только один морской роман, но и это произведение не осталось бесследным. Оно обогатило этот жанр живым историзмом. Нужно сказать, что к этой стороне нашла свое наиболее полное выражение в русской литературе. Одухотворенный историзм «Севастопольских рассказов» Л. Толстого и последующих произведений неподражаем. Он рожден своеобразием истории России—духа нашего народа и его национального развития.

В литературе прошлого века Л. Толстой достиг наибольшей силы в освещении внутреннего мира человека — матроса и солдата.

Конечно, содержание «Севастопольских рассказов» Толстого гораздо шире темы русского моряка; это произведение глубоких общечеловеческих проблем. Тем не менее одной из важнейших сторон рассказов Толстого являются образы героических защитников Севастополя. Он с невиданной глубиной раскрыл душу скромного и часто незаметного героя войны.

В «Севастопольских рассказах» матросы и офицеры представлены в боевой обстановке: здесь показан русский матрос в горячие дни обороны Севастополя 1854—1855 годов. Не случайно сейчас в Англии и Америке, по свидетельству ряда журналистов и издателей, на книгу Толстого необычайно поднялся спрос. Объясняется это всеобщим интересом к психологии русского солдата и матроса, победителей многих войн.

В наши дни участие в Великой Отечественной войне не стерло, а, напротив, развило и расширило лучшие особенности русского духовного склада, внутреннего облика советских людей.

К изображению морской жизни писателей привлекали не только чувства, вызванные красотой моря, жаждой познания, не только увлекательные сюжеты, яркость жизни людей флота, но и важнейшие государственные идеи, рожденные всей историей нашей родины. Исторические судьбы народа во многом зависят от морских сражений. Идея господства России на прилегающих морях не только плод мысли дипломатов. Это насущная потребность существования нашей страны, выдвинутая всем ходом исторической жизни, созревшая и укрепившаяся в народных массах. И все великие люди русской истории осуществляли эту идею в своей государственной деятельности. Государства, враждеб-

ные России, с постоянным упорством старались отодвинуть ее от морских берегов, в глубь степей и лесов. И с неослабевающим постоянством и энергией выдающиеся правители России боролись за жизненно необходимые ей морские пути. Еще Иван Грозный стремился отвоевать захваченные иноземцами исконно русские берега Балтийского моря. Петр Великий «прорубил окно в Европу». Созданный в дальнейшем Черноморский флот открыл нашей стране исстари принадлежавший ей путь «из варяг в греки». Опять Русь стала хозяином и в исконно русском море. Вся история войн и дипломатической борьбы связана с существенным для русских вопросом безопасности морских границ и путей. Государственный разум народа выразился в любви к морю и способности к морскому делу русских людей. Для русского человека наши морские берега — неприкосновенная часть его отечества.

Еще больше усилилось государственное значение морского могущества для Советского Союза.

На первой сессии Верховного совета Союза ССР товарищ Молотов говорил:

«Мы должны считаться с тем, что страна наша большая, что она омывается морями на громадном протяжении, и это нам всегда напоминает о том, что флот у нас должен быть крепкий, сильный. У могучей советской державы должен быть соответствующий ее интересам, достойный нашего великого дела морской и океанский флот».

Морская тематика в литературе развивается советскими писателями. Обогатилось идейное содержание флотской литературы. Она проникнута социалистическим патриотизмом, проявившим свою мощь в годы Отечественной войны.

Нельзя сейчас полно представить советскую литературу без таких произведений, как «Капитальный ремонт» и «Морская душа» Соболева, «Севастополь» Малышкина, «Цусима» Новикова-Прибоя, «Севастопольская страда» Сергеева-Ценского, «Оптимистическая трагедия» и «Мы из Кронштадта» Вс. Вишневского, «Гибель эскадры» А. Корнейчука, «Десант» Э. Фурманова, повестей и рассказов А. Грина, Б. Лавренева, С. Диковского, Л. Соловьева. Из них в рецензируемой серии пока вышла в свет только повесть А. Грина «Алые паруса» с превосходным предисловием К. Паустовского. Нужно пожелать, чтобы библиотека художественной литературы о моряках скорее пополнилась произведениями советских писателей, рассказывающих о духовном облике советских моряков и их героических делах.

В. Щербина.

★

ДВА АЛЬМАНАХА*

Наши областные издательства более или менее систематически выпускают альманахи, составленные из произведений местных авторов. Это большое культурное дело. Когда-нибудь исследователь советской литературы поблагодарит издателей этих книг не столько потому, что они содержат безупречные художественные произведения (это далеко не так!), сколько потому, что в той или иной форме они отражают процессы, происходящие в литературном развитии военных лет.

Историк же, знакомясь с этими книжками, узнает, как боролись советские люди с немецким нашествием в отдельных краях и областях, как восстанавливали свои разрушенные города и села. В этом отношении областные издания дают ценный познавательный материал. К сожалению, художественное значение произведений, публикуемых в этих альманахах, часто весьма невысоко.

Очевидно редакции подходят к вещам, предложенным для печати, с некоторой скидкой. Обычно ссылаются при этом на то, что, мол, издание областное, не московское, спросу тут меньше. Подход совершенно неправильный. Все наши книги — и московские, и краснодарские, и смоленские — предназначены одному и тому же советскому читателю и распространяются повсеместно. Почему же читатель альманаха «Кубань» должен получать произведения, заведомо менее доброкачественные, чем читатель изданий «Советского писателя». Это заблуждение! И редакторы должны это понять. Тогда мы перестанем встречать здесь такое количество сырых, недоработанных, поверхностных произведений, которыми альманахи пока еще изобилуют.

В альманахе «Кубань» напечатан рассказ Е. Смеречинского «Голубой цветок». Сюжет рассказа тривиален. Героиня, находящаяся в тюрьме, встречает предателя, который под видом заключенного пытается выведать у нее партизанские тайны. Известно, что после «Русских людей» К. Симонова этот сюжет был переписан сотни раз. Не удержался и Е. Смеречинский. Но дело не в сюжете. Были бы правдиво изображены люди, их чувства, переживания... К сожалению, этого нет. Посудите сами:

«— Ты не ушел с нашими?

— Да... Пришлось остаться.

В тоне, каким были сказаны эти слова, девушка прочла досаду, почти обиду».

Это все, что может сказать автор о переживаниях своих героев, оставшихся на территории, оккупированной врагом. Или такая характеристика:

«Он был также одноклассником Наты и даже когда-то дружил с ней. Сейчас сразу стал чужим, далеким и противным».

* Литературно-художественный альманах «К у б а н ь». Кн. I. Краснодарское краевое газ.-книжное изд-во «Советская Кубань», 1945; «С м о л е н с к и й а л ь м а н а х». Кн. I. ОГИЗ, Смоленское обл. гос. изд-во, 1945.

Может ли эта поверхностная отписка заменить изображение душевной жизни людей. Стертые, невыразительные слова должны дать представление о чувствах девушки, возненавидевшей предателя. Но получилось ли что-нибудь из этого?!..

Когда же речь идет о внешнем выражении чувств, автор целиком во власти штампа. «Упрямо сдвинул волевые брови юноша». «Горькая усмешка искривила тонкие губы девушки». «Ната поднялась, переполненная негодованием». «Острая мысль, рожденная ненавистью, оживила девушку». «Гневом горели глаза» и т. п.

Автор обнаруживает отсутствие художественного чутья, когда, например, пишет:

«Вся отдалась Ната созерцанию, забыв о сидевшем рядом палаче». Или: «Немец двумя выстрелами покончил васькины жизненные счеты на земле». Перо редактора не коснулось этих мест, и в серьезном рассказе на важную тему вдруг появились пародийные строки...

Мы могли бы привести аналогичные «образцы» и из рассказа А. Татьянина «Батькин план».

В предисловии сказано, что Е. Смеречинский и А. Татьянин «молодые начинающие писатели». Очевидно редакция надеется на снисхождение. Но ведь на 135-й странице этого же альманаха «Кубань» приведены слова Горького, которые можно прямо адресовать этим авторам.

«Ребятам, если они не могут не писать, если писательство для них внутренняя необходимость, нужно взяться за это дело серьезно, нужно учиться». Такого отношения к писательскому труду мы и ждем от молодых авторов «Кубани».

«Смоленский альманах» не содержит рассказов, подобных только что разобранным, но и он не блещет высокими художественными достижениями. Сюжеты и здесь затасканные. Достаточно прочитать первую страничку рассказа Н. Новикова «Староста из Новой Вербы», чтоб догадаться о том, что произойдет на следующих тринадцати страницах. Конечно, староста не настоящий предатель, а человек, поставленный партизанами, и, конечно, они его спасут, когда немцы попытаются с ним расправиться... Рассказ схематичен, поступки людей не мотивированы, а поведение «старосты» Егора Лучникова почти не объяснено, хотя он находится в довольно сложном переплете и душевные переживания этого человека были очевидно непростыми. Но именно потому, что эти переживания не раскрыты, всему происшедшему в Новой Вербе не веришь, а белые нитки, которыми сшита история, все время на виду.

Рассказ В. Ардаматского «Архангел» был бы уместен на страницах армейской газеты в 1942 году. Сейчас же, да еще в серьезном альманахе помещать такую вещь не стоило. Эпизоды с актерами, участвующими в войне, столь многочисленны, что повторять зады ни к чему. Только художественное изображение могло бы оживить интерес к этим эпизодам.

Лучше других в этом альманахе рассказы В. Шурыгина. Они построены на фронтовом материале, не слишком новом, однако искренность повествования, свежесть диалога и отдельные яркие зарисовки придают рассказам новизну.

Лицо обоих альманахов определяют не эти вещи, которым мы уделили столько внимания лишь потому, что недостатки, подчеркнутые здесь, типичны. Лицо этих альманахов определяет то, чем связаны они со своим краем, своей землей. В «Кубани» эти черты ощущаются слабо. В «Смоленском альманахе» больше. Жизнь и страдания Смоленщины под немецким игом, самоотверженная борьба народа с оккупантами, первые шаги восстановления — вот темы альманаха. Удачно раскрыты эти темы в народном творчестве, собранном И. Кац-Понорским и опубликованном в разделе «Народ о немцах».

Здесь напечатаны песни, припевки, частушки, сказки, пародии и поговорки, сложенные народом в тяжелые подневольные годы. Настроения и чувства народа, его ненависть к захватчикам и великая страсть к борьбе ярко выражены в этом творчестве.

Вот строфы из песни «Не поет соловушка», записанной в Смоленске у В. Н. Афонина:

Не поет соловушка
Рано по зарям,
Он слушает, как вдовушка
Плачет по ночам.
Слушает, как плачет мать,
Чьи сыны убиты.
Их кости до сих пор лежат
В поле не зарыты...

В сатирических строчках народ выражает презрение к людоеду Гитлеру:

Немка Гитлера рожала,
Вся Германия дрожала:
Ждите горя, ждите бед —
Народился людоед.

(Записано у Н. Т. Свириденковой, Кардымовском районе).

Материал, опубликованный в этом разделе, многое расскажет тем, кто будет интересоваться умонастроением народа в годы оккупации, его заботами, думами, идеалами. Этот антифашистский фольклор отражает могучую силу духа, которая была одним из моральных факторов нашей победы.

Эту силу духа видим мы и в мужестве партизан братьев Игнатовых, о которых рассказывает в своих записках в альманахе «Кубань» П. К. Игнатов. Редакция правильно поступила, напечатав эти записки, хотя они и были опубликованы ранее. Братья Игнатовы — гордость Кубани, и записки отца героев украшают альманах.

Центральные вещи сборников: повесть Семена Бабаевского «Гусиный остров» («Кубань») и главы из повести Н. Антонова «Город на Днепре» («Смоленский альманах»).

«Гусиный остров» — история гибели и возрождения «гусиного» хозяйства колхоза «Сталинская пятилетка». Гуси жили на небольшом острове между рукавами Кубани. Пришедшие

немцы безжалостно истребляют птицу. Они стреляют в гусей из автоматов... Эти сцены удались автору. Картины безмятежной жизни гигантского гусиного стада на лоне кубанской природы, изображение прихода немцев и жестокой расправы с птицей составляют сильные страницы повести. Неплохо показано автором и воскрешение гусиной семьи. Но это, конечно, повесть о людях, а не о птице, и многие страницы этой вещи написаны с чувством и тактом настоящего художника.

Для того, чтобы восстановить гусиное стадо, гусятница Дарья разъезжает по соседним местам. Она достает сохранившуюся у отдельных хозяев птицу. Всеми средствами пользуется энергичная колхозница для того, чтобы возродить «Гусиный остров». Труден этот «гусиный поход», но Дарья не сдается. И она находит сочувствие во многих хуторах. Ей дают гусей, дают яйца, а в одном месте...

«Поужинали и уже собрались спать, когда неслышно отворилась дверь и вошла Марфа Зотова...» Она «молча подошла к лавке, развернула полы тулупа и поставила гнездо, в котором сидела наседка.

— Это я для вас, — сказала Марфа, кутаясь в широченные полы шубы. — Вы не слушайте насмешницу Глашу. Она завсегда насмехается, а толком ничего и не знает. А я вам так скажу: из-под курицы гусята вылупливаются куда лучше. В один день все яйца полопаются, гусята выскочат и уже бегают... А наседка у меня хорошая. В субботу посадила. Думала, для себя, да уж лучше пускай все идет до гурта. Если вернутся мои казаки — разбогатеем, а не вернутся... — Марфа укрыла лицо полой тулупа, постояла так секунду, а потом сказала:—Если б они только вернулись».

Вот уже лето следующего года. «Гусиный остров» полон птицы. «Радуйтесь, люди добрые! Жизнь свое берет!» Это последние слова повести.

Впрочем, самый конец вещи немного испорчен. Чересчур благополучно кончаются дела у всех героев и это не мотивировано. Ведь одного авторского желания для такого конца мало. Важна еще логика повествования. Ее автор как раз и нарушил. Все же повесть Бабаевского явление значительное. Послевоенная жизнь советских людей, их стремление отдать все силы восстановлению разрушенного немцами хозяйства изображаются правдиво и искренно.

Главы из повести Николая Антонова «Город на Днепре» оставляют благоприятное впечатление. Достоинство вещи в ярких и довольно точных описаниях. Тяжелые дни начала войны, первый вражеский приступ, первые вражеские бомбы — все это дано со свежестью и своеобразием. Автор хорошо показывает, какое смятение в жизнь народа вносят первые раскаты военной грозы. Но когда автор пытается проанализировать душевные переживания героев и хочет показать изменение характеров, вызванное войной, ему это удается в меньшей степени.

Люди у Антонова лишены полнокровия и многогранности, какая присуща им в жизни. Они одноплановы, схематичны. Таковы Семен Ефимов, жена его Ксана и другие. Впрочем, окончательное суждение о повести следовало бы вынести, прочитав ее целиком, а не отдельные главы, опубликованные в «Смоленском альманахе».

Поэзия представлена в рецензируемых книгах довольно широко. Мы затруднились бы выделить особо хорошие и особо плохие стихи. Все они в общем находятся на том среднем уровне, который оставляет желать лучшего.

Наиболее удачны, пожалуй, стихи Николая Рыленкова и Николая Грибачева в «Смоленском альманахе». Рыленков, вполне сложившийся поэт, представлен лирическим циклом, посвященным окончанию боя. Предчувствие победы и грядущего мира живет в этих стихах, помеченных 1944 годом.

Земля снарядами изрыта,
Черна, как скорбная жена,
И придорожная ракита
Вся, до корней, обожжена.

Но верь. На этом перекрестке
Времен связующая нить.
Здесь каждый корень даст отростки
В неистребимой жажде жить!

(«Сотворение мира»)

Хороши у Грибачева строфы в стихотворении «Осень»:

Летит в окоп багряный лист,
Скользит туман по плавням сонно.
И первый иней серебрит
Края пехотного погона.

В землянке курится дымок,
И копоти, и масла запах,
И сумерки на серых лапах
Уже ползут через порог.

У каждого, кто хоть раз побывал в окопе поздней осенью, эти строки вызовут острые ощущения...

Наряду с такими стихами в обоих альманахах много хотя и грамотных строф, написанных по всем законам стихосложения, но лишенных своего лица, своей интонации. Стихи эти не останавливают внимания и потому мы не говорим о них.

Читатель будет с интересом ожидать последующих выпусков этих альманахов. Созданные в атмосфере честной дружеской критики и строгого редакторского отбора, наши краевые и областные альманахи могут занять не последнее место в текущих изданиях советской литературы.

Г. Бровман.

★

РОМАН О ЕРМАКЕ*

Летопись почти всегда скупа на детали. Драматический остов событий, две-три живописных черты, короткая, но образная и пластическая речь — излюбленная летописцем форма исторического повествования. Но особою скудостью отличаются записи о Ермаке. Упорный труд историков дал не так уж много. Биография великого покорителя Сибири все еще не существует, но зато прочно живет Ермак в памяти народной, в народной песне и, наконец, в искусстве.

Эта бедность исторических сведений дает художнику своеобразное преимущество домысла. В то же время в таком преимуществе заключена и опасность исказить историческую истину. Эта опасность в романе о Ермаке особенно реальна. Художнику приходится самостоятельно решать исторические задачи.

Прежде чем проникнуть в тайну характера Ермака и открыть в нем те непосредственные национальные особенности, какие сделали именно его вождем казацкой массы, отважным и дерзким покорителем огромного края, художнику необходимо определить, какое место занимает Ермак в истории России. Был ли он русским Пизарро и Кортесом? Благостным и чинным предводителем казаков? Или, быть может, приказчиком Строгановых?

Трудность задачи, поставленной перед собою В. Сафоновым, состоит и в сравнительно малой изученности истории Сибири, и в противоречивости и несходности мнений о Ермаке, и особливо в поразительной скудости сведений о нем.

Сафонов избрал единственно верный путь: Ермака и его дело он осмысливает в духе народного понимания. Вслушайтесь в народные песни, — говорит здесь Сафонов, — и вы поймете, «что с в о е г о видит народ в Ермаке— могучего сына и заступника, одного из тех немногих, в ком как бы воплощена сила и правда народная». Писатель хочет показать в своем романе особый подвиг Ермака: подвиг во славу земли русской. Поиски правды народной, не поход завоевателя-колонизатора, а строительство земли русской, — вот путь исторического дела Ермака в изображении В. Сафонова. И нам придется решить, в какой мере В. Сафонову удалось художественно воплотить свой замысел.

Жанр исторического романа сложен и трудоемок. По словам Белинского, в этом жанре слияние искусства и науки предельно. Исторический романист должен обладать знанием эпохи, умением критически разбираться в исторических материалах, тонким проникновением в человеческую психологию и глубоким знанием тайн и истории родного языка. В годы Отечественной войны советская литература с напряженным интересом стала вглядываться в туманную даль прошлого. Чувство национальной гордости, ощущение величавой красоты исторического прошлого нашей родины естественно привели к необычайному расцвету исторического жанра в советской литературе. Как превосходно выразился Ал. Толстой: «Чтобы понять тайну русского народа, его величие, нужно хорошо и глубоко узнать его прошлое: нашу историю, коренные узлы ее, трагические и творческие эпохи, в которых завязывался русский характер»!

Сам Ал. Толстой, давший нам классические образцы советских исторических жанров, нашел новое соотношение между историей и современностью, между эпохой и героем, литературной речью и пластически выразительным языком наших предков. Он тщательно избегал утомительных историко-бытовых аксессуаров, стилизации под старинный и народный язык, стилизации, делающей ту или иную повесть трудночитаемой и малопонятной. Он, наконец, сохранил классический тип исторического романа, в котором сюжет неотделимо связан с характерами действующих лиц.

В последнее время появилось известное число исторических романов и даже драм, в которых писатели, идя по линии наименьшего сопротивления, отказываются от сюжета, преподнося читателю ряд более или менее тесно связанных сцен. Эти сцены можно иногда переставлять как угодно, а то и вовсе, без ущерба для целого, убрать из романа. Между тем, если внутренняя сторона жизни находит выражение в характерах, то внешняя — в тех особенных обстоятельствах и ситуациях, в тех коллизиях, которые составляют сюжет, а вместе с тем, по меткому замечанию Гегеля, «стимулируют характер».

Исторический жанр должен быть по преимуществу сюжетным. Даже тип «хроники» требует сюжета. И это естественно исходит из сущности самого жанра. Если припомнить ходячее со времен Аристотеля представление истории, как изображения того, что было, а поэзии, как изображения того, что могло быть, то придется признать за историческим жанром объединение этих двух качеств в новом виде.

Мы не случайно остановились на этих сторонах исторического жанра. Книга В. Сафонова бесспорно задумана правильно. Автор ее превосходно знает историю того времени, какое он избрал предметом своего романа, тонко и поэтически рисует картины природы Дона, Волги и Сибири. Пожалуй, пейзажи — динамичные и страстные — лучшие страницы его романа. Глубокое знание казачьего быта, казачьей песни, казалось бы, также обещает отличное выполнение замысла. И несмотря на все это, р о м а н а не получилось, в лучшем случае перед нами хорошо и добросовестно написанные исторические сцены.

В центре находится образ Ермака. По замыслу автора, насколько его можно уяснить из романа и особенно из послесловия, Ермак должен воплощать тип народного заступника, мудрого, целеустремленного и до дерзости отважного поборника за права голытьбы, казацкой бедноты и всего нищего и угнетенного люда. Таким мы и видим его в первой половине ро-

* В. С а ф о н о в. Дорога на простор. М., «Советский писатель», 1945.

мана. Мы видим казака «с бархатным умом», хитро и ловко ведущего все свои дела к излюбленной цели.

Вот он на Волге собирает разрозненные ватаги, сколачивает из них единое казацкое войско, обводит вокруг пальца хитрейших Строгановых, странствует по сибирским рекам. И вот наступает в его жизни час, когда он должен открыть свою заветную мечту. Не особенно вразумительно говорит Ермак, слишком уж кудряво автор заставляет его выражать свои мысли, но все же явственно зазвучала заветная мечта народная в словах Ермака: «Не в неволю к Строгановым путь лежит, а на такую волю, какой уж никто не нарушит. И выговорил слово. Неслыханное.

— Казацкое царство».

Казалось бы, дальнейшие события и должны показать, как растет мысль Ермака, как шире и смелее становится его план. Но вместо того, чтобы ярче, монолитнее стала фигура Ермака, она теряет в романе определенность. Читателю неясно, какой страдный путь привел Ермака от казацкого царства к великому русскому государству. Помимо своего желания, автор превратил героя чуть ли не в выполнителя воли Строгановых. И совершенно закономерно, что в борьбу с Ермаком вступают именно те, кто более всего ему был предан. Филька Рваная Ноздря — крепостной клейменый мужик, яростно ненавидящий помещиков и старшину, по-своему прав, когда ставит роковой вопрос:

«— Чье вершишь дело? Прямо скажи!.. За что велишь головы класть? Не крестьянское твое дело». И не находит Ермак разящих слов, чтобы ответить своему соратнику По существу же весь роман должен быть ответом на этот вопрос. Но ответа мы не находим, и автору приходится прибегать к публицистическим отступлениям и даже к целому пояснительному разделу.

Если двойственность, нечеткость, расплывчатость характера отличает главного героя, то естественно теряют определенность и лица, с ним сталкивающиеся. Тот же Филька, который в начале романа выступает положительным героем, типичным представителем крестьянства эпохи Грозного, в конце становится каким-то смутьяном, будоражащим казацкий круг своими злыми выходками. И уже из рассказа о бунтарях, протестантах роман превращается в повесть о законниках и беззаконной ватаге. Происходит это в силу того, что В. Сафонов не связал сюжета и характеров в единое поэтическое звено.

Если рассмотреть сцену за сценой роман В. Сафонова, то выяснится странное, почти невозможное для романа положение. В «Дороге на простор» нет завязки, это лишь ряд сцен, которые свободно могли бы быть и не быть в книге. Так, уже первый раздел «Рассвет» заставляет усомниться в необходимости его в романе. Вся сцена эта совершенно необъяснима с точки зрения дальнейшего развития действия. Назвать ее завязкой невозможно, ибо в ней не завязываются никакие конфликты. С точки зрения школьной поэтики, ее можно было бы назвать экспозицией, ибо здесь появляются два-три человека, которые принимают участие в дальнейшем действии. Но хуже всего то, что сцена представляет настоящую загадку. Например, для чего нужно появление князя Семена Волховского, для чего спасает его Ермак (очевидно, только для того, чтобы погубить его потом в Сибири, да еще для того, чтобы мелодраматически прервать разоблачения Ильина), откуда Ермак взял муку и для чего ему нужно устроить раздачу тогда, когда уже привезли московскую муку, и т. д. и т. п? Редко встретишь в другом романе главу, столь непонятную по своему назначению. Но хуже всего то, что уже здесь начинает проявляться неопределенность характера Ермака.

В дальнейшем мы также найдем ряд сцен, явно излишних и притом мешающих напряженности и драматизму в развитии действия. Так, весьма сомнительна необходимость главы о Бухаре, построенной по методу литературных цитат. Это, собственно говоря, конспективное изложение известного «Возмутителя спокойствия», которое меньше всего служит для развития действия в романе Сафонова.

Кстати сказать, этим увлечением В. Сафонова литературными реминисценциями следует объяснить появление таких ходовых образов, как мудрый столетний старец, с обязательной «нутряной» философией природы и постоянным повторением нелепого словечка «кзонь», или наемного воина-иностранца, с присущими ему глупостью, продажностью и трусостью, и т. п.

Так неопределенность главного героя, отсутствие связи между сюжетом и характером приводит к необходимости ввода штампованных типов, единственными признаками которых являются назойливо повторяющиеся словечки. Результат же всего этого — стилизация под древнюю речь. В. Сафонов слишком злоупотребляет областными, профессиональными и архаическими оборотами, затрудняя восприятие романа. И опять-таки следует вспомнить драгоценный совет Ал. Толстого об «алмазном» языке исторического писателя. Тончайшее проникновение в историческую речь, сплав современного литературного языка с архаическими элементами, а не стилизация, вычурная, грубоватая, — задача исторического беллетриста.

Мы строго отнеслись к книге В. Сафонова с точки зрения р о м а н а, иное дело, если мы будем смотреть на его книгу, как на ряд исторических сцен. С этой точки зрения удачей автора являются сцены казачьего быта, живо описанная Москва времен Грозного, прекрасно очерченные характеры Строгановых, размах их предприятий, алчность и богатство. Все это описано точно, анахронизмы здесь редки. Но с точки зрения исторического романа книга В. Сафонова требует большей ясности художественной идеи, четкости и напряженности сюжета, разработанности и законченности характеров главных действующих лиц.

М. Поляков

★

СТИХИ АНАТОЛИЯ ОЛЬХОНА*

Анатолий Ольхон стремится быть поэтическим выразителем советского Байкала. Он с искренним увлечением воспевает родной свой край, его природу, его людей,—и эта его неподдельная влюбленность в «первобытный мир чудес» Байкала составляет, несомненно, наиболее привлекательную и подкупающую черту его стихов. Ольхон старательно подбирает краски, передающие своеобразие дальневосточного пейзажа, и когда он говорит о своей «жадной памяти», он имеет на это право.

Вот характерные для него строки:

Бурый мех горностаи
Прячут в сутемь ложбин.
Осетровые стаи
Поднялись из глубин.
На кедровнике почки
Налились теплотой.
Топчет ржавые кочки
Мой олень молодой.
Путь на север, в кочевья,
Вешний ветер промял;
Расступились деревья,
Снег в сугробах опал.

Дуновение северной весны, столь непохожей на нашу, средне-русскую, отчетливо ощущается в этих строках.

С не меньшей увлеченностью и с не меньшим восхищением, чем о природе Байкала, рассказывает Ольхон о своих «байкальских знакомых»—охотниках и рыболовах, потомственных обитателях этих суровых мест. Любовно описывает он в своих стихах их обычаи, нравы, занятия. Следует отметить в числе этих стихов «Загон лося» и «Баргузинские соболя», в которых образ леса слит с образом человека и в которых живо воспроизводится охотничий азарт, охватывающий героев Ольхона, их уменье, упорство и отличное знание всех повадок зверя. Положительной оценки заслуживает также и большое стихотворение «Вечерины» (автор, должно быть, склонен считать его поэмой; однако он заблуждается: одним лишь размером произведения этот жанр не определяется). В этом стихотворении, певучем и задорном, особенности бытового уклада байкальцев переданы, если можно так выразиться, с изящным щегольством.

Из сказанного ясно, что можно поставить в плюс Анатолию Ольхону. Сильная сторона его творчества — поэтизация подробностей байкальской жизни, подробностей этнографических, географических и иных. Но помимо подробностей существует еще и целое. Смысл деталей художественного произведения в том, собственно, и состоит, что они помогают лучше оттенить и понять сущность образа, даваемого художником.

Люди Байкала, как и все советские люди, живут многообразной жизнью, — и, естественно, отзвуки ее хотелось бы уловить в стихах у поэта Байкала. Не уверен, впрочем, согласится ли А. Ольхон с тем, что его земляки живут сложной жизнью: ведь в своих стихах он восторженно пишет, что жизнь у них «чудесна и проста». Что ж, мне кажется, и с этим, пожалуй, можно бы не спорить, но необходимо подчеркнуть, что простота жизни отнюдь не обязывает к упрощенному ее показу.

А наш поэт именно упрощает своих героев, особенно тогда, когда речь заходит о более глубоких чувствах и переживаниях, чем те, о которых говорится в «Загоне лося» или в «Вечеринах». Духовный мир байкальцев очерчен у него подчас весьма примитивно и схематически.

Посмотрите, например, как он рисует в стихотворении «Баяндай» довоенный Байкал:

Богато, сыто, весело мы жили.
Душа росла — спокойна и сильна.

Таков общий тон его стихов о жизни до войны. Спокойствие и сытость выдвигаются в них на первый план. Ничто не омрачает всеобщего благополучия и благодушия, ничто не трогает «спокойной и сильной души», кроме разве довольно тривиальных сердечных невзгод молодежи, о которых упоминается почти мимоходом. Думается, однако, что на самом деле «знакомцам» Ольхона ведомы и порывы, и тревоги, и страсти, и стремление вперед — то благородное беспокойство духа, что отличает людей мыслящих и чувствующих.

Анатолий Ольхон повторяет ошибку (или, может быть, лучше сказать, с ним повторяется беда) многих областных поэтов и писателей. Внимание его обращено по преимуществу на воссоздание местного колорита, чем он в сущности и ограничивается. Но настоящая, большая поэзия глубоких, больших чувств и дум не сводится и не может сводиться к поэтизации подробностей, характеризующих особенности одного какого-либо края, пусть даже такого красочного и своеобразного, как Прибайкалье. Поэтизация подробностей, как сказано выше, сильная сторона А. Ольхона, но надо ему понять, что это лишь одна из сторон подлинно творческого изображения и осмысления действительности.

Узость подхода Анатолия Ольхона к своей литературной работе делает его обидно беспомощным во всех тех случаях, когда местный колорит не может притти к нему на помощь. Поэтический рассказ о колхозном труде заменяется наспех зарифмованной газетной заметкой:

Почетная награда вам знакома?
Отмечен ею
Победивший труд;
От имени райисполкома
За первенство ее передают.
Переходящим знаменем мы горды.
В колхозе нашем третий год

---

* Анатолий Ольхон. Байкал. Стихи и поэмы 1944 г. (Так указано на титульном листе; на самом деле в сборник включены произведения 1938—1944 гг.). М., «Советский писатель», 1945.

Гостит переходящая награда.
Руки тверды:
Надеемся, и дальше не уйдет.

Столь же мало убеждает и то, что Ольхон пишет о войне:

Пулями пробитое, родное
Знамя наше к подвигам зовет,
Знамя наше реет боевое...
С ним пойдем сегодня мы в поход.

Можно не сомневаться в волнении, которое испытывал поэт, складывая эти строки. Но в них не ощущается поэтической индивидуальности, и нет поэтому основания полагать, что они смогут как-то обогатить читателя.

Неумение выражать глубокие, большие чувства и думы зачастую ведет к неточности слова. А. Ольхон пишет:

Язык Сибири славился издревле,
От всех наречий был особняком,
Но говорит байкальская деревня
Советским, полнозвучным языком.
И я люблю колхозные собранья,
Где выступает с речью патриот,
Волнуя сердце яростью дерзанья
И призывая к подвигам народ.

«Ярость дерзанья», безусловно, качество чрезвычайно ценное. Но это никак не язык байкальской деревни. Такой оборот речи мы встретим скорее всего в публицистической газетной статье.

Другой пример неточности слова мы находим в «Песне», открывающей сборник стихов А. Ольхона:

Я хочу, чтоб голос мой
Не дрожал и не старел,
Чтобы песенный прибой
Маяком всегда горел.

«Песенный прибой» — метафора, вполне приемлемая. Можно также сравнить песню с горящим маяком. Но прибой сравнить с маяком нельзя — тут одна метафора уничтожает другую.

Так обстоит дело с достоинствами и недостатками стихов Анатолия Ольхона. Удачны те его стихи, где он сосредоточивается на специфически местной тематике, которую вдобавок берет в совершенно определенном плане. Разумеется, правильно поступит Ольхон, если он будет продолжать разрабатывать найденную им поэтическую жилу. Но если он хочет расти (а как об этом может не мечтать поэт?), он должен стремиться расширить свои творческие возможности, чтобы воспроизвести облик своих «знакомцев, кровных, родных» возможно полнее и ярче.

Р. Воинов

★

НОВАЯ БИОГРАФИЯ ЛЕРМОНТОВА *

Книга Бродского о Лермонтове — первый том большой биографии поэта, он посвящен описанию событий детства и юности Лермонтова и характеристике его раннего творчества. Свое изложение автор заканчивает 1832 годом. Этот год — переломный момент в лермонтовской биографии и в истории его творчества. Разделы книги: Детские годы Лермонтова; Лермонтов в Москве; 1827—1828 годы; В университетском благородном пансионе; В Средникове; В Московском университете; Студенческие годы (1830—1832).

Нельзя сказать, что наша литература бедна биографическими работами о Лермонтове. За последние годы вышло несколько популярных биографий поэта: Эйхенбаума, Дурылина, Мануйлова, Андроникова, Николевой, Иванова. Однако обстоятельной биографической книги о Лермонтове не существовало. Между тем, в работах о Лермонтове, посвященных отдельным проблемам, накопился такой значительный по своей новизне материал, который давал возможность по-новому осветить факты жизни и творчества поэта и служил обоснованием правильного взгляда на творчество Лермонтова. Работы, подводящей итог всем этим разысканиям, не существовало. Биография Лермонтова, написанная Н. Л. Бродским и включающая результаты ряда его собственных изысканий (об университетском периоде, о пансионских годах, о пребывании на Кавказе в 1825 году, о С. Раевском и т. д.), заполняет этот пробел.

Вполне законная задача изучения творчества любого писателя в сравнении и сопоставлении с предшествующим развитием литературы, задача, являющаяся логическим следствием признания взаимосвязи явлений в общем развитии культуры, соединялась, к сожалению, у некоторых исследователей лермонтовского творчества с идеей о его несамостоятельности. Эта идея, при первоначальном своем зарождении связанная с тенденциозным, реакционным истолкованием лермонтовского творчества, несовместима с прогрессивным взглядом на творчество нашего поэта.

В новейших работах о Лермонтове как раз и собраны такие материалы, которые показывают органическую связь лермонтовского творчества с реальной жизнью.

Значение книги Бродского заключается в том, что автор, поставив своей задачей исследование фактов биографии в их отношении к становлению творчества, воссоздает атмосферу, в которой неизбежно зарождался в сознании юноши-поэта взгляд на мир и на свое призвание, давший возможность возникнуть историческому самобытному лермонтовскому творчеству. Брод-

* Н. Л. Бродский. М. Ю. Лермонтов. Биография. Т. I. 1814—1832. Государственное издательство художественной литературы. Москва, 1945, стр. 347, ц. 7 р.

ский доказывает, что источник раннего лермонтовского романтизма и байронизма связан с общим культурным и литературным движением эпохи, а не вызван отсутствием творческой индивидуальности. Насколько верно это положение, показывает то, что в общем стилевом движении для Лермонтова важны были нормы, а не образцы. В дополнение к тому, что говорит Бродский, приведем следующий пример. Романтическая поэтика включала в числе других принципов положение о ценности произведений народного творчества. И вот обнаружилось, что ранние кавказские поэмы — «Каллы», «Аул Бастунджи», «Измаил-бей», — теории о «несамостоятельности» которых в последнее время, кстати сказать, утратили всякое значение, являются образцами использования народно-поэтического материала в поэзии той эпохи. Значение этих строк в поэме «Измаил-бей» —

Хребтов Казбека бедный уроженец,
Когда меня чрез горы провожал,
Про старину мне повесть рассказал...
Его рассказ, то буйный, то печальный,
Я вздумал перенесть на север дальный...—

самое прямое: действительно Лермонтов слыхал народное предание об Измаил-бее. В 1940 году от одного из знаменитых кабардинских джегуако (народный певец) записано то народное предание, которое знал Лермонтов. Основанными на народных преданиях оказались также «Аул Бастунджи» и «Каллы». Таким образом весь основной «корпус» кавказских произведений периода юности поэта связан с народно-поэтической стихией. Эта, возникшая в кругу романтических исканий юноши, близость к народному творчеству оказалась настолько плодотворной, что и впоследствии, уже зрелым художником, Лермонтов черпал свои вдохновения из этого источника. Так, например, «Спор» возник на основе использования одной из прометеевских легенд кавказского цикла, которые и до нашего времени живут среди народов Кавказа в устной передаче. В 1832 году Лермонтов написал «Черкесскую песню». Ее источник — народная поэзия. На то, что мысль, выраженная в «Черкесской песне», послужила основанием для создания одного из эпизодов поэмы «Аул Бастунджи», указал еще Висковатов. Плох тот молодец, который променяет волю и коня на женитьбу даже на самой лучшей девушке — поется в этой песне. До сих пор не было замечено, что сюжетообразующим фактором выраженная в «Черкесской песне» мысль явилась не только в «Ауле Бастунджи». На основе творческого использования ее создана Лермонтовым сюжетная ситуация в его шедевре — «Бэла».

Бродский большое значение для последующего поэтического развития Лермонтова придает пребыванию его на Кавказе в 1825 году. Будучи еще ребенком, Лермонтов в этом году получил столько глубоких впечатлений, что ими он пользовался в течение длительного времени, создавая впоследствии свои кавказские произведения. Кстати, именно в этом году на Горячих водах Лермонтов мог почерпнуть сведения о черкесской народной поэзии из самого достоверного источника.

Приехавшие на Горячие воды летом 1825 года хорошо знали кабардинца Шору, как для краткости называли Шору Бекмурзина Ногмова. Уроженец Пятигорья, Шора Ногмов был известен во всей округе. Его известности способствовало то, что это был весьма необычный человек и по своим личным данным и по своеобразной судьбе.

Мулла в ранней молодости, хорошо знавший к этому времени, кроме родного, кабардинского, языка, арабский, а также турецкий и персидский, хорошо овладевший позже русским, знавший и абазинский язык, Шора Бекмурзин Ногмов уже одними этими лингвистическими познаниями мог вызвать удивление.

В бытность Пушкина на Кавказе Шора был, как свидетельствуют современники, знаком с великим русским поэтом, помогал ему в собирании местных народных преданий, а Пушкин, в свою очередь, исправлял переводы черкесских песен на русский язык, которые делал Шора. Кроме всего Ногмов был еще и поэт.

Муллой Шора пробыл недолго. Вскоре он оставляет священнослужение для русской военной службы, и через несколько лет бывший мулла становится русским гвардейским офицером. Этим не ограничивается ряд необычных событий в биографии Ногмова. Через некоторое время он превращается в замечательного и своеобразного ученого, о котором писал и в сотрудничестве с которым работал академик Шёгрен. Ногмов написал знаменитую в истории кавказоведения книгу «История адыхейского народа». Эта книга необычна: исторические события в ней описаны на основании устных кабардинских преданий, являющихся произведениями художественного фольклора. Свой материал Ногмов использовал с таким совершенством, что книга эта признана кавказоведческой классической наукой. Между прочим Ногмов записал кабардинское предание о поединке Мстислава с Редедей. Таким образом, благодаря ему, стало известно это произведение кабардинского фольклора, сохранившее память о тмутараканском князе Мстиславе, «иже зареза Редедю пред пълки касожьскыми (т. е. черкесскими)». Кабардинское предание повествует о том же самом событии, о котором мы знаем из «Слова о полку Игореве», и из летописного известия. Итак, Шора Ногмов — замечательный знаток кабардино-черкесского фольклора. Данные, свидетельствующие, что Лермонтов пользовался материалами Ногмова, подкрепляются еще и передаваемым в Кабарде из поколения в поколение рассказом о том, что Ногмов был знаком с Лермонтовым и рассказывал ему о горских преданиях, сказках, легендах.

Утверждение Бродского о том, что Лермонтов свое описание байрама, включенное в поэму «Измаил-бей», создал на основании того, что он видел летом 1825 года в Аджи-ауле, близ Горячих вод, подкрепляется еще тем, что жителем именно этого аула являлся Шора Ногмов, о чем свидетельствует английский путешественник Гендерсон в своей книге, вышедшей в Лондоне в 1826 году (E. Henderson, Biblical researches

and travels in Russia, including a tour in the Crimea, and the passage of the Caucasus).

В своей книге Бродский упоминает о Хастатове (кстати, правильное написание не «Хостатов», а «Хастатов» — так в документальных данных). Сообщим дополнительно некоторые данные. До сих пор сведения в лермонтоведческих работах об Акиме Васильевиче Хастатове почти совершенно отсутствовали. Он даже ошибочно именовался: Аким Акимович. А между тем именно через него, наряду с некоторыми другими лицами из родственного круга Лермонтова (Александр Алексеевич Столыпин, Н. Д. Арсеньев, В. Д. Арсеньев), доходила до Лермонтова та традиция устных рассказов о Суворове и событиях того времени, которая отразилась в чрезвычайно любопытном преломлении на создании поэмы «Измаил-бей». Участник измаильского штурма[1] Аким Васильевич Хастатов — приближенный Суворова.

А. В. Хастатов — муж Екатерины Алексеевны Хастатовой, родной сестры бабушки поэта. От Екатерины Алексеевны Лермонтов, как давно предполагалось, получил много сведений, которые затем использовал в своих произведениях. Мария Акимовна Шан-Гирей, та самая, к которой Лермонтов чувствовал особое уважение и расположение, — дочь Хастатова. Ее сын Аким — тот самый Аким Павлович Шан-Гирей, который был ближайшим другом Лермонтова.

---

[1] В рапорте о взятии Измаила Суворов писал: «Отдавая полную Справедливость находящимся при мне чинам кои исполнив все приказания мои заслуживают особливое внимание Подполковники Стародубского карабинерного Аким Хастатов новгородского пехотного Владимир Горчаков, Малороссийского Гранадерского Степан Ширяй, посылаемы были от меня к колоннам вопаснейшие места превозмогая все трудности под картечными выстрелами доставляли мои повеления в точности...» Центральный Государственный Военно-исторический архив, д. № 2413, л. 39.

Не только для лермонтоведения важны те новые данные, которые сообщает Бродский о кружках Станкевича и Герцена, они имеют значение вообще для характеристики общественного движения тридцатых годов. Утверждалось, что Лермонтов оставался чужд сен-симонистскому кружку Герцена и шеллингианскому — Станкевича. Бродский на основании тщательного анализа исторических свидетельств доказывает, что во время пребывания Лермонтова в Московском университете герценовский кружок не был сен-симонистским, кружок Станкевича — шеллингианским. Поэтому тезис о том, что Лермонтов оказался чуждым этим кружкам, когда они являлись носителями передовой мысли, должен быть устранен из биографии поэта. Бродский выдвигает положение, что в Московском университете существовал еще один кружок, о котором до сих пор не было ничего известно, в этом кружке шла напряженная идейная жизнь — это кружок Лермонтова. Интересное утверждение Бродского, однако, нуждается еще в дополнительных обоснованиях.

Нам кажется, что при характеристике идейно-творческих настроений Лермонтова в 1830—1832 гг. следовало бы учесть наличие эволюции во взглядах поэта. Для Лермонтова проблема освободительного движения стояла конкретно-исторически. Творчество Лермонтова этого раннего периода, являясь своеобразным дневником, было для него еще и формой выработки мировоззрения. И вот анализ творчества этого периода показывает, что в складывавшемся мировоззрении поэта происходил глубокий идейный кризис, явившийся результатом его размышлений над вопросом о реальных путях и возможностях освободительной деятельности. На наличие этого кризиса, во многом определившего последующую жизнь и творчество поэта, следовало бы указать в биографической книге о Лермонтове.

Рассматриваемая нами книга, займет достойное место в лермонтоведческой литературе.

С. Андреев-Кривич.

НОВЫЕ КНИГИ

★

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА

БАКОВИКОВ, А.—На борту «Урагана». Рассказы. М.-Л., Военмориздат, 1945, 112 стр.— Герои десяти рассказов, составивших сборник,— военные моряки: катерники, подводники, минеры, артиллеристы, штурманы. Автор книги— флотский офицер хорошо знает быт и особенности рисуемой им среды. Баковиков пишет о боевых подвигах моряков, об их мужестве и флотском мастерстве, и о той благородной страсти к родному кораблю, которая безраздельно владеет сердцем истинного моряка. Кроме «На борту «Урагана», в основу которого положен трагический эпизод, в сборнике помещены юмористические безделушки: «Отпорный крюк» и «Сумасшедшая картушка».

ГОЛСУОРСИ, ДЖОН. — Собственник. Гослитиздат, 1945, 422 стр., ц. 6 руб. — Роман известного английского писателя Д. Голсуорси «Собственник» является частью нашумевшей в свое время трилогии «Сага о Форсайтах». Выбор именно этого романа для издания не случаен. Именно в нем с наибольшей силой раскрыты основные идеи Голсуорси.

Голсуорси — летописец и обличитель так называемого им «вышесреднего класса», т. е. буржуазии. Сам писатель в одном из своих высказываний о трилогии писал, что термин «сага» он употребляет в ироническом смысле, так как ничего героического в жизни Форсайтов никогда не было, и в романе «Собственник» мы видим, как все чувства и мысли Форсайтов определяются одной только целью накопления.

Доселе прочная семья Форсайтов вступает в полосу потрясений. Вслед за конфликтом между отцом и сыном Джолионами Форсайтами большую роль в жизни этой семьи сыграло появление архитектора Филиппа Босини. Отношения между ним и женой Сомса—самого устойчивого из Форсайтов—полны глубокого трагизма. Духовное превосходство Филиппа противопоставлено пустому и эгоистическому миру Форсайтов.

ГОЛУБОВ, С. — Доблесть. «Советский писатель», 1945, 191 стр., ц. 10 руб. — В книгу С. Голубова включены рассказы: «Дядя Ипат и Чайка», «Куортане», «Секрет славы», «Атаман и фельдмаршал», «Честный слон», «Стерегущий», «Бекетовка». Объединяющее начало книги выражено в ее заглавии—это тема воинской доблести русских людей. Все рассказы написаны на материале прошлого, главным образом из времен Отечественной войны 1812 года, русско-японской войны и гражданской.

«ДРУЖБА НАРОДОВ». — Альманах художественной литературы народов СССР, книга 11, Гослитиздат, 1945, 183 стр., ц. 6 руб. — Альманах «Дружба народов», издающийся на русском языке, знакомит читателей с литературным творчеством народов Советского Союза. Одиннадцатая книжка содержит весьма разнообразный материал.

В отделе прозы напечатаны рассказы: эстонской писательницы Деборы Веранди «Брат», латышского писателя Яниса Грантса «Истоки маленькой речки», азербайджанского писателя Мехти Гуссейна «Огненный меч». Кроме этого в отделе прозы можно прочитать отрывок из романа Берды Кербабаева «Решающий шаг», в котором повествуется о судьбе туркменской девушки, и отрывок из повести Ата Каушутова «Мехри и Вена».

Узбекская литература представлена пьесой Изата Султанова «Полет орла». Пьеса эта посвящена деятельности в Узбекистане славного советского полководца Фрунзе, занимавшего в 1920 году пост командующего Туркестанским фронтом и члена Туркомиссии ЦК РКП(б) и ВЦИК'а.

В поэтическом отделе особенно выделяются стихи Павло Тычины («Гроза»), Ашота Граши («Будь благословенен», «Возвращение») и Антона Белевича («В Полесье есть город такой»). Интересен в альманахе отдел поэтического фольклора. Отрывок из узбекского народного эпоса «Раушай» и «Песни непокоренной Украины» — народный эпический отклик на недавно происшедшие события Великой Отечественной войны. В традиционном украинском песенном стиле звучит «Сказ про Ковпака» — прославленного командира партизанских отрядов на Украине.

Критика и библиография в альманахе представлены очень скупо.

ЖАРОВ, АЛЕКСАНДР. — От моря и до моря. М.-Л., Воениздат, 1945, 104 стр. — «И письма, как летопись боя, как хронику чувств перечтем». Эти строки И. Уткина поставлены А. Жаровым эпиграфом к новому сборнику стихов. В него вошли стихи и поэмы, написанные в дни Великой Отечественной войны. Творчество А. Жарова этих лет было посвящено Военно-Морскому Флоту. Первый раздел сборника — «Героика» содержит стихи, написанные в связи с тем или иным событием во флоте. В них сказалось умение поэта оперативно откликаться на темы дня. Более ценным разделом сборника является «Лирика». В разделе «Поэмы» напечатаны поэмы, посвященные североморцам, Героям Советского Союза — морскому пехотинцу Ивану Сивкову, подводнику Гаджиеву и летчику Борису Сафонову.

ЗИНГЕР, М. — Магомед Гаджиев. Дагестанское государственное издательство, Махач-Кала, 1945, 133 стр., ц. 10 руб. — Доблестный сын народа Дагестана моряк-подводник Герой Советского Союза Магомед Гаджиев отдал свою жизнь в борьбе с немецкими захватчиками. Много славных подвигов совершил Гаджиев. Десять транспортов и военных кораблей пущены на дно подводными лодками под личным командованием Гаджиева (пять из них — в артиллерийском бою и пять — торпедами). Двадцать семь транспортов и военных кораблей уничтожено подводными лодками соединения, которым он командовал. Славен был и его последний бой. Когда подводная лодка получила повреждения, то до последнего снаряда, до последней капли крови сражались с врагом подводники, ведомые Гаджиевым. Они продолжали наносить удары врагу до тех пор, пока холодный океан навсегда не укрыл в своих волнах экипаж советского подводного корабля и его героического командира.

О жизни и деятельности Гаджиева рассказано в этой книге.

ИСААКЯН, АВЕТИК. — Избранные стихи. Гослитиздат, 1945, 235 стр., ц. 9 руб. — Имя Аветика Исаакяна известно далеко за пределами Армении. Задушевное лирическое слово Исаакяна ярко выражает заветные думы, чувства и мечты народа.

Уже в своем первом сборнике стихов «Песни и раны» (1898) Исаакян выступил как певец народного горя. В мире социальной несправедливости и национального угнетения поэт тщетно искал правду. Он нашел ее в Советском Союзе. Своими глазами увидел он чудесное возрождение Армении, творческий расцвет ее сил, осуществление своих заветных мечтаний. Об этом он говорил в речи на юбилейном собрании в день своего 65-летия: «Советская Армения расцветает с каждым днем, и я счастлив, что живу на моей освобожденной родине, в мире осуществленных моих заветных желаний».

В первые же дни Великой Отечественной войны прозвучал патриотический голос армянского поэта.

В книге «Избранные стихи» собраны произведения, написанные с 1893 по 1943 годы. Ознакомившись с этой книгой, читатель получит ясное представление о творчестве замечательного поэта.

В однотомнике наряду с известными всем прекрасными переводами А. Блока и В. Брюсова впервые опубликованы стихотворения и поэмы в переводах В. Державина, В. Звягинцевой, К. Липскерова, С. Мар, Б. Пастернака, О. Румер, Б. Садовского и других.

Книге предпослана вступительная статья С. Хитаровой. Она знакомит читателя с общим характером поэзии Исаакяна и сообщает основные биографические данные о нем.

КАРАВАЕВА, АННА.— Огни. Издательство «Правда», 1945, 272 стр., ц. 5 руб. 50 коп. — Трудовые подвиги советского народа в Отечественной войне еще не нашли полного отражения в нашей литературе. Роман А. Караваевой — одно из немногих произведений, освещающих самоотверженную работу советского тыла в дни войны.

Действие происходит на одном небольшом уральском заводе. По старинке, в небольших масштабах идет производство. Но наступает война, несоизмеримо вырастают требования, приезжают новые люди. На месте старого Лесогорья возникает новый большой танковый завод, предназначенный выпускать первоклассные боевые машины. Автор рисует образы рабочих и инженеров, их внутренний мир, их отношения. Некоторые из героев романа, как например, начальник строительства инженер Назарьев, парторг Пластунов, конструктор Костромин олицетворяют передовые новаторские силы общества. Другие, как директор завода Пермяков, под воздействием этих людей, перестраивают методы руководства и овладевают новым опытом. Заканчивается роман «Огни» картиной испытания первой выпущенной заводом мощной боевой машины.

КОМАРОВ, ПЕТР. — Хинганский родник. Дальгиз, 1945, 71 стр., ц. 2 руб. 50 коп. — Постоянный житель Владивостока поэт Петр Комаров избрал своей поэтической темой советский Дальний Восток. Жизнь, которую он любит и повседневно наблюдает, богата и многообразна. Поэта привлекает и величественная природа советского Дальнего Востока, и люди, покоряющие ее. Многие из стихов, помещенных в сборнике «Хинганский родник», уже известны читателю, так как они печатались в литературно-художественных журналах («Тигролов», «Золотая просека»», «На Волочаевской сопке», «Слышу голос»).

КОСТЫЛЕВ, В И. — Морская быль. Военно-морское изд-во, 1945, 356 стр., ц. 14 руб.— «Морская быль» — вторая часть трилогии «Иван Грозный». Тема романа — борьба Ивана Грозного за возвращение России прибалтийских земель, захваченных иноземцами, борьба за выходы к морю. Костылев изображает морские походы при Иване Грозном и сложную борьбу, которую пришлось вести царю с консервативными кругами боярства. Грозному не

удалось осуществить в этой части свои государственные замыслы, но начинания этого проницательного правителя были осуществлены последующими поколениями русских людей. Этим заключает автор роман. «Прошло много лет в борьбе с Польшей и Швецией за отвоевание лифляндских земель. Было много походов, много кровавых битв, были успехи и неудачи. На море Ивану Васильевичу не удалось утвердиться. Нарва пала. В сражениях за нее полегло на поле брани много доблестных воинов. Погиб во время штурма ливонской крепости Витгенштейн и Малюта Скуратов, первым ринувшийся на немецких рыцарей, взобравшись на крепостную стену.

Были нападения крымских татар на Москву. Унес в могилу множество народа страшный мор. Много горя, много слез выпало на долю народа. Царь Иван старился, снедаемый печалью и недугами, но мечта о господстве Российской державы на Балтийском море не покидала царя Ивана до последнего часа его жизни.

С этой мечтой не расставался он даже в самые страшные дни неудач и разочарования.

Эту страстную мечту он оставил в наследство будущим поколениям... И она пережила царя Ивана... Она стала достоянием потомков».

КРЫЛОВ, И. А. — Басни. Воениздат, 1945, 120 стр., ц. 2 руб. 40 коп. — В книге собраны наиболее популярные басни И. А. Крылова. Во вступительной статье «Великий русский баснописец» ее автор профессор Д. Д. Благой кратко освещает жизнь, литературную деятельность, анализирует язык и значение басен Крылова. Основное внимание автор вступительной статьи уделяет анализу крыловских басен, посвященных темам Отечественной войны. «В баснях 1812 года, — пишет профессор Благой, — с особой силой проявляется народность Крылова. В них полностью выражена народная точка зрения на войну. В своих баснях Крылов призывает к единству всего народа, к забвению перед лицом общей опасности всех мелких свар, всех частных, эгоистических интересов (басня «Раздел»). В знаменитой басне «Кот и повар» Крылов требует энергичных действий против вторгшегося врага. Две басни «Обоз» и «Волк на псарне» непосредственно связаны с ролью и личностью великого полководца Кутузова. Особенно прославилась басня «Волк на псарне», написанная в связи с попытками врага, почуявшего неизбежную гибель, заключить половинчатый, «почетный» мир. В уста седого ловчего басни Крылов вкладывает формулу народного гнева, сохраняющую всю свою силу и в наши дни борьбы с гитлеровскими людоедами: «С волками иначе не делать мировой, как снявши шкуру с них долой».

Образное, меткое, острое слово современника Отечественной войны 1812 года Крылова живет полной жизнью и в наши дни. В той суровой и праведной борьбе, которую вели против гитлеровской Германии и победоносно завершили наша Армия, наш Военно-Морской Флот и весь наш народ, великий русский баснописец Крылов — «честь, слава и гордость нашей литературы» — являлся боевым товарищем советского народа.

МУРАЦАН. — Георг Марзпетуни. Гослитиздат, 1945, 301 стр., ц. 9 руб. — Исторический роман «Георг Марзпетуни» является выдающимся произведением армянской литературы. Его автор — Григор Тер Ованнисян, писавший под псевдонимом Мурацан (1854—1908), по праву считается одним из виднейших писателей-классиков Армении. Действие романа относится к X веку, когда Армении пришлось вести ожесточенную борьбу за свою национальную и культурную независимость. В это время страну стремился завоевать арабский Халифат. Тема романа — освобождение Армении от арабского ига.

В предисловии к роману «Мурацан и его роман «Георг Марзпетуни» профессор И. Кусикьян пишет: «В борьбе с иноземными захватчиками решающую роль сыграл, конечно, армянский народ. Он поддержал династию Багратидов и в конце концов массовыми восстаниями заставил арабов отказаться от своих захватнических планов. Эта борьба осложнялась тем, что среди армянских феодалов находились такие, которые с помощью арабов надеялись получить земли своих противников: черной изменой и предательством пользовались арабские наместники для укрепления своей власти. Все эти исторические факты нашли свое отражение в романе Мурацана «Георг Марзпетуни». Мурацан с тщательностью и добросовестностью подлинного ученого изучил памятники армянской письменности и материальной культуры, в результате чего его роман получил серьезную научную базу. Большинство археологических памятников и бытовых материалов Мурацан изучал на месте.

Выдвигая в качестве основной идеи защиту отечества, Мурацан избрал проводником этой идеи Георга Марзпетуни. Именно Марзпетуни вместе с приближенными сумел объединить вокруг Ашота Железного военные силы и материальные средства. Он же повел за собой всех колеблющихся и сомневающихся в успехе вооруженной борьбы с арабами. Бесстрашная, полная убежденности и моральной чистоты фигура Марзпетуни, вдохновляющего окружающих личным примером героизма и беззаветной преданности родине,—это не только образ прошлого для самого автора, но и идеал борца за национально-освободительное дело».

Перевод романа с армянского принадлежит Анне Иоаннисиан.

ПЕДЕНКО, М. — Фронтовой дневник. Воениздат, 1945, 79 стр., ц. 2 руб. — Автор «Фронтового дневника» — не профессиональный писатель. Дневник Марии Педенко — это человеческий документ, написанный участником событий, о которых рассказано в этой книжке. В ней нет вымысла, здесь все — суровая боевая солдатская правда. В скупых, коротких фразах Мария Педенко рассказывает о незабываемых днях морского десанта в Станичку, о штурме Новороссийска и других боях, участником которых была эта мужественная девушка-патриотка.

Бывшая школьная учительница — с 1942 года стала политруком в морской пехоте. Бои, десанты, морские походы. В эти дни жизнь молодой девушки ничем не отличается от жизни лю-

бого десантника-моряка, в дыму пожаров, в огне и штыковых схватках. После того, как Черноморье и Крым были освобождены от врага, Мария Педенко в звании лейтенанта прошла в рядах Красной Армии по Западной Украине, Польше, Чехословакии и Венгрии.

ПОЭЗИЯ ТУРКМЕНИИ. — «Советский писатель», 1945, 94 стр., ц. 5 руб. 50 коп. — Эта книга несомненно поможет читателям ознакомиться с поэзией братской туркменской республики. Туркменская поэзия обладает своими долголетними традициями. Создатели этих традиций — народные певцы и выдающиеся поэты-классики, поэт-философ Махтум-Кули Фраги, Кеминэ, Зелили, Сеиди, Шабенде, Талиби. Октябрьская социалистическая революция раскрепостила творческие силы народа. Поэзия Туркмении получила все предпосылки для идейного и художественного расцвета.

В сборник вошли стихи Дурды Клыч, Нуры Ананклыч, Ата Салиха. Названные поэты являются шахирами—создателями и исполнителями песен. Эти песни — живой отклик на главные явления политической жизни страны, в них говорится об успехах колхозов, о Красной Армии. Особенно громко звучал патриотический голос шахиров в дни Отечественной войны. Из представителей книжной литературы в сборнике «Поэзия Туркмении» одно из первых мест занимают стихи старейшего писателя Туркмении Берды Кербабаева («Песня отважных», «Аму-Дарья», «Айлар»). Вошли в сборник и произведения других поэтов.

Дурды Халдурды, Рахмет Сеидов, Таушан Эссенова, Ата-Ниязов, Аман Кекилов, Шали Кекилов, Ходжа Шукуров, Дж. Монтон, Кемал Ишанов и целый ряд других поэтов начали свою творческую жизнь в годы, когда формировалась советская власть в Туркмении. Естественно, что основной темой большинства их ранних стихотворений стала борьба нового со старым: крушение адата и шариата, последние конвульсии байства, приход культурной революции в аул, строительство первых в Туркмении крупных заводов и фабрик, колхозный труд на полях.

Многие туркменские поэты с начала Отечественной войны ушли на фронт. Некоторые из них пали смертью храбрых. Но и те, кто находился на фронте, и те, кто оставался в тылу, по мере сил старались создавать произведения, помогающие народу вести борьбу против ненавистных захватчиков.

Перевод стихов сделан Е. Серебровской, В. Веселковым, В. Пермяковым, В. Левиком, Т. Стрешневой, Н. Манухиной, В. Стрельченко, Н. Вольтиным, Ю. Олешей, С. Липкиным, А. Кочетковым. Вступительная статья «Туркменская поэзия наших дней» написана П. Скосыревым.

СИМОНОВ, КОНСТАНТИН. — Стихотворения и поэмы. Гослитиздат, 1945, 255 стр. ц. 7 руб. — Большинство включенных в книгу стихов написаны в годы Отечественной войны, с 1941 по 1944 годы.

Первый раздел носит подзаголовок «Стихи военных лет». Этим определен характер поэтического материала, составляющего его содержание.

Это стихи, непосредственно затрагивающие тему войны. Открывается раздел популярным стихотворением «Убей его». Кроме него здесь напечатаны «Безыменное поле», «Слепец», «Через двадцать лет», «Бинокль», «Солдатский разговор», «Атака», «Пехотинец» и др. Второй раздел книги составляет «Лирический дневник». Третий раздел — это стихи «Из первых книг». К ним составителем сборника отнесено написанное поэтом в 1938—1939 годах: «Всю жизнь любил он рисовать войну», «Старик», «Изгнанник», «Мурманские дневники», «Что ты затосковал», «Я, наконец, приехал на Кавказ», «Куда ни глянешь — без призора», «Транссибирский экспресс» и др. Кроме этого в книгу включены первая, вторая и третья главы из поэмы «Первая любовь». Заканчиваются «Стихотворения и поэмы» К. Симонова поэмой «Суворов». Хотя поэтический материал книги расположен не в хронологическом порядке, читатель получит ясное представление о путях творчества популярного поэта. Книга открывается портретом автора.

СОЛОВЬЕВ, В. — Великий государь. Трагедия в пяти актах. Москва, «Искусство», 1945, 207 стр., ц. 7 руб. — В пьесе В. Соловьева мы видим Грозного в наиболее трудный период его царствования. Войска польского короля Стефана Батория с запада и крымского хана Гирея на юге, воспользовавшись напряженным положением, оказывают на русское войско сильное давление. Зашевелились и внутренние враги Московского государства. Боярская реакция во главе с хитрым Василием Шуйским плетет сеть интриг. Враги вторгаются и в личную жизнь царя, стараются оттолкнуть от него сына. Назревает глубокая личная трагедия — гибель любимого сына и наследника престола. В пьесе Соловьева мы видим, как прозорливо старается Иван Грозный преодолеть встающие на его пути препятствия, мы видим трагедию царя, не успевшего выполнить все задуманные планы. Пьеса Соловьева дает верное представление об историческом смысле событий

ФЕДИН, КОНСТАНТИН. — Свидание с Ленинградом, Л., Военное изд-во НКО, 1945, 62 стр., ц. 2 руб. — В книгу вошли очерки, написанные К. Фединым вскоре после ликвидации Красной Армией немецкой блокады Ленинграда. Заглавие «Свидание с Ленинградом» очень хорошо характеризует содержание книги. Очерки К. Федина — это впечатления писателя, после долгой разлуки посетившего любимый город, только что переживший тяжести блокады. Здесь и бытовые зарисовки, и портреты советских людей — освободителей Ленинграда, и картины страшных разрушений, причиненных величайшим культурным ценностям города фашистскими варварами. Главный пафос книги «Свидание с Ленинградом» — это размышления о судьбах русской культуры и искусства, об

их великой силе в укреплении духа народа, гневное обличение разрушителей-немцев, посягнувших на наши национальные сокровища. В книгу К. Федина вошли следующие зарисовки — «Партизаны на Невском проспекте», «Живые стены», «Во времена блокады», «Рассказ о дворце», «День немца в Гатчине», «Живая натура».

ИСТОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ — ЯЗЫКОЗНАНИЕ

БЛАГОЙ, Д. — Фонвизин. Гослитиздат, 1945, 112 стр., ц. 3 руб. — Брошюра, написанная проф. Д. Благим, — популярный очерк о жизни и деятельности знаменитого русского писателя Д. И. Фонвизина, отца русской сатиры. Фонвизин, по верному замечанию Горького, был зачинатель великолепнейшей и может быть наиболее социально-плодотворной линии русской литературы — линии обличительно-реалистической. Этими словами Горького автор открывает свою книжку.

В брошюре Благого две первые главы посвящены эпохе и биографии Фонвизина. На характеристику Фонвизина, как зачинателя русской сатиры, в анализе комедий «Бригадир» и «Недоросль» автор обращает главное внимание.

Кроме этого, автор выясняет связь сатиры с передовым общественным движением его эпохи и ее национальный характер. «Сокрушительный гневно-уничтожающий смех Фонвизина, — пишет автор, — направленный на самые отвратительные стороны самодержавно-крепостнического уклада, сыграл великую созидательную роль в дальнейших судьбах русской литературы».

В истории нашей драматургии «Недоросль» начинает собой тот славный ряд величайших созданий русского комического гения, в котором непосредственно за ним станут «Горе от ума» Грибоедова, «Ревизор» Гоголя, пьесы о «темном царстве» Островского.

Написана книжка живым, общедоступным языком.

ВИНОГРАДОВ, В. В. — Великий русский язык. Гослитиздат, 1945, 172 стр., ц. 3 руб. — Написанная превосходным знатоком истории русского языка книжка читается от начала до конца с неослабевающим интересом. Просто и живо изложен большой и серьезный литературный и языковедческий материал. Автор показывает истоки горячей любви народа к родному «великому и могучему» русскому языку, выразительно определяет его как важнейшее проявление и фактор национального творчества, национального самосознания. Популярно излагаются основные этапы истории родного языка и его широкое международное значение, особенно в славянских странах.

«Влияние русского языка и русской литературы, широкий интерес к ним в славянских странах являются лишь естественным результатом роста и расцвета русской культуры. Сознание ее величия и вместе с тем родства глубоко внедрилось в народные массы всех славянских государств. Русский язык и русская литература оказывали и оказывают великое оплодотворяющее действие на развитие национальных языков и литератур разных славянских народов».

Много места уделяет автор вопросу о взаимоотношении устного и литературного языка, письменной литературы и фольклора. Народность творчества великих русских писателей, по мысли автора, состоит в том, что они никогда не отрывались от животворной стихии народного языка. В. В. Виноградов показывает, как русский литературный язык со второй половины XVIII в. стремительно проходит сложный путь развития. Пушкинская реформа русского литературного языка синтезировала все жизнеспособные элементы предшествующей речевой культуры.

Всесторонне осваивая сокровища мировой культуры, русский язык в XIX в. и в начале XX в., а особенно активно после Октябрьской социалистической революции стал проводником новых, передовых идей.

ЛЕБЕДЕВ-ПОЛЯНСКИЙ, П. И. — В. Г. Белинский. Литературно-критическая деятельность. Изд-во Академии наук СССР, 1945, 389 стр., ц. 26 руб. — Тема монографии Лебедева-Полянского — жизнь и деятельность великого русского критика и революционера В. Г. Белинского. Автор определяет место Белинского в истории русской общественной мысли и дает характеристику его эстетическим воззрениям. Книга делится на следующие главы: «Время Белинского», «Биографические сведения о Белинском», «Романтизм и преодоление его Белинским», «Переход от абсолютного к действительности», «Белинский — материалист, революционер и социалист», «Эстетический кодекс Белинского». Одновременно с характеристикой деятельности Белинского Лебедев-Полянский подробно освещает общественные явления и работу писателей, с которыми приходилось критику сталкиваться (славянофильство, западничество, Надеждин, Полевой, предшественники Белинского, романтическая философия в России и т. д.). Кончается монография Лебедева-Полянского главой «Белинский в потомстве», в которой автор показывает воздействие деятельности «неистового Виссариона» на последующее формирование русской общественной мысли и литературы.

Книга снабжена подробным именным указателем.

СКОСЫРЕВ, ПЕТР. — Туркменская литература. «Советский писатель», 1945, 154 стр., ц. 6 руб. 25 коп., в переплете 8 руб. — Эта книга — попытка познакомить русского читателя с некоторыми особенностями развития одной из наиболее молодых советских литератур, какой по справедливости может считаться (наряду с башкирской, кара-калпакской, киргизской, бурято-монгольской и литературами народов Поволжья литература советской Туркме-

нии. Автора больше всего занимали процессы, приведшие туркменскую советскую литературу к нынешнему ее уровню.

Книга состоит из шести очерков. Первый — «Культурные традиции аула» — рассказывает об основных путях исторического формирования туркменской литературы. Общие положения, изложенные здесь, автор конкретизирует во втором очерке «Классика и фольклор», где разбирается творчество крупнейших туркменских классиков, чья поэзия, наряду с фольклором, стояла у колыбели советской туркменской литературы. О первых десятилетиях литературы советской Туркмении автор говорит в очерках «На заре советской культуры», «Развитие письменной поэзии» и «Проза и драматургия». В конце книги П. Скосырева помещен очерк «В дни Отечественной войны». Произведения, написанные в Туркмении за время войны, свидетельствуют, что туркменская литература в целом продолжает расти и мужать. Отметив это, автор завершил книгу критическими замечаниями по поводу существенных недостатков, которые мешают творческому развитию многих туркменских писателей.

ИСКУССТВО

ЛЬВОВ, МИХАИЛ. — Л. В. Собинов. Массовая биб-ка изд-ва «Искусство», 1945, ц. 2 руб. — Собинов — гордость русского вокального искусства. Его имя навсегда вошло в историю театра. Автор брошюры показывает основные вехи творческого пути артиста, основы поэтической правды его исполнительского мастерства, ставшей живой классической традицией русского реалистического оперного театра. «Вот уже сорок лет, — пишет М. Львов, — как ни один тенор, поющий эту партию, не в состоянии отрешиться от образа Ленского, который принес на русскую оперную сцену Собинов».

«Знамя русского вокального искусства Собинов крепко держал в своих руках на протяжении тридцати пяти лет. Ему было труднее, чем басам, раздвигать границы своего артистического амплуа. Он мечтал петь Германа («Пиковая дама»), Хозе («Кармен»), спел даже Каварадосси («Тоска»). Артистическая мудрость и культура подсказали, что увлечение образами великих и сильных страстей нарушит очарование лирического голоса. Именно поэтому лучшие партии Собинова — Ромео, Вертер, де Грие («Манон»), Надир, Вильгельм Мейстер, Альфред («Травиата»), князь Ионтек («Галька»), Орфей («Орфей и Эвридика»), Лоэнгрин и, конечно, прежде всего Владимир Ленский.

М. Львов раскрывает своеобразие Собинова — исполнителя этих партий. Лучше всего ему удался анализ образов Ленского и Лоэнгрина, созданных Собиновым.

Иллюстрации и внешнее оформление книги производит хорошее впечатление.

МАШКОВЦЕВ, Н. — Иван Николаевич Крамской. Массовая биб-ка изд-ва «Искусство», 1945, 36 стр., ц. 2 руб. 25 коп. — Популярный очерк жизни и деятельности Крамского написан, как и все книжки «Массовой библиотеки» издательства «Искусство», с расчетом на широкие круги читателей. Автор сумел в доступной форме изложить очень серьезные вопросы истории русской живописи. Творчество Крамского показано на фоне русского освободительного движения второй половины прошлого века.

«Но недостаточно сказать,—пишет Н. Машковцев, — что Крамского сотворила эпоха. В своей области, в области искусства, он сам сотворил ее. Он первый выступил как борец за русскую национальную живопись. Он возглавил борьбу молодежи с Академией художеств и вел эту борьбу с большим умом и методической последовательностью. Он стремился создать такие идеалы в искусстве, которые были бы идеалами народа, идеалами национальными. Он был замечательным педагогом. Это он воспитал гений Репина. Вынужденный всю жизнь существовать на портретные заказы, которые отнимали все силы и время, лишенный возможности свободного выбора моделей, вечно связанный сроками исполнений работ, Крамской все же сумел создать ряд таких портретов и картин, которые стоят вровень с лучшими творениями Перова и Репина и составляют гордость русского искусства.

МИХАЙЛОВ, А. — Иогансон. Массовая биб-ка изд-ва «Искусство», 1945, 28 стр., ц. 2 руб. — «Борис Владимирович Иогансон — один из наиболее известных советских художников. Он завоевал широкую популярность в первую очередь двумя замечательными своими картинами: «Допрос коммунистов» (1933) и «На старом уральском заводе» (1937). Эти картины принадлежат к числу наиболее значительных произведений всей советской живописи».

Эти две картины — центр художественного анализа в книге. На ряду с ними книга знакомит с последним крупным произведением Б. Иогансона «Вожди Октября».

«Действие происходит в небольшой проходной комнате Смольного. В центре композиции Ленин и Сталин, вокруг них рабочие, матросы, красногвардейцы, олицетворяющие народную революционную стихию Октябрьских дней. Ленин отдает распоряжение стоящему перед ним старому рабочему, который с глубоким волнением смотрит на Ильича. Рядом с рабочим, спиной к зрителю, стоит красногвардеец в полушубке и с маузером на боку. В нем воплощены черты тех народных борцов за революцию, из среды которых вырастали такие герои, как Чапаев. Сталин всматривается в лица красногвардейцев, как будто решает, кому из них дать важное поручение. Справа — революционные солдаты и матросы. Через раскрытую дверь видна часть зала с массой народа».

«С большим мастерством и психологической выразительностью обрисован старый рабочий, к которому обращается Ильич. Глубокая любовь

и безграничная вера в Ленина одухотворяют его лицо. Хорошо найдены также образы солдата, диктующего машинистке, солдата, говорящего по телефону, и юноши-красногвардейца.

Однако вместе с этим надо отметить, что центральные образы картины менее удались Иогансону».

Следует отметить хорошее качество печати и фоторепродукций в тексте. Рисунок на обложке воспроизведен очень грубо и далек от оригинала.

ОРЛОВА, М. — Тициан. Массовая биб-ка изд-ва «Искусство», 1945, 29 стр., ц. 2 руб. 25 коп. — «Произведения Тициана принадлежат той поре, когда, по выражению Энгельса, совершался «величайший прогрессивный переворот» в истории человечества, поре обновления культуры и искусства, называемой Возрождением».

«Своим творчеством Тициан завершил общий расцвет пластических искусств XIV—XVI веков и указал путь развития искусству живописи на много столетий вперед».

Автор сообщает основные, очень скудные биографические сведения о великом художнике, знакомит читателя с основными произведениями Тициана («Папа Александр I-й и Якопо Пезаро перед апостолом Петром», «Женщина перед туалетом», «Земная и небесная любовь», «Три возраста», «Празднество Венеры», «Вознесение Марии», «Молодой человек», «Герцог Урбинский», «Павел III, Александро и Оттавио Фарнезе», «Св. Себастьян» и др.). Источник художественного обаяния творчества Тициана автор видит в человечности его гения.

«Велика была слава Тициана у его современников. Как на учителя, с безграничным почтением смотрели на него художники конца XVI и следующего, VXII столетия.

«Отец искусства!», — восклицал Веронезе. «Тот, кто несет знамя живописи», — говорил о нем Веласкез.

Каждое передовое направление в искусстве отдавало ему дань уважения.

Под кистью Тициана, дерзавшей изображать многое, дотоле остававшееся недоступным живописи, все приобретало жизненность, яркость, значительность, потому что кисть эта служила великой прогрессивной идее утверждения человека как части вселенной, как господина природы. И долго будут жить его произведения, внушающие многим поколениям его потомков чувство собственного достоинства, волю и любовь к жизни».

РЕПЕРТУАРНЫЙ СБОРНИК. — Изд-во «Московский большевик», 1945, 222 стр., ц. 11 руб. — Учитывая огромную потребность в доброкачественном репертуаре для массовой эстрады, издательство «Московский большевик» выпустило репертуарный сборник. Материал в книге расположен по следующим разделам: 1) пьесы, 2) стихи и рассказы для художественного чтения. Первый раздел содержит в себе пьесы «Дядя Костя» В. Иванова, «Счастье» К. Паустовского, «Я вам пишу» В. Типот, «Где-то в Москве» (третья и шестая картины) В. Масса и М. Червинского, «Все хорошо, что хорошо кончается» Л. Саянского. Качество большинства из этих произведений наглядно демонстрирует невысокий уровень современной одноактной пьесы, отсталость этого участка драматургии по сравнению с другими литературными жанрами. В художественном отношении гораздо значительнее стихотворный отдел сборника, где собраны произведения лучших советских поэтов.

«ТЕАТР». — Сборник статей и материалов. Всероссийское театральное общество, 1945, 223 стр., ц. 30 руб. — Сборник дает представление о главнейших явлениях театральной жизни последних лет. Текущей театральной жизни посвящены отделы: «Театры и спектакли», «Актеры и роли», «Театр фронту», «Летопись советского театра». В данном сборнике летопись охватывает события в течение 1942 года. Основные постановки последнего времени подвергнуты рассмотрению в статьях Ю. Лукина («Спектакли вахтанговцев»), М. Григорьева («Ревизор» в Горьковском театре драмы»), Т. Родиной («Новые работы Ю. А. Завадского»), И. Бархина («Король-олень»), Г. Бояджиева («Последняя жертва»), К. Ломунова («Чехов на периферийной сцене»), Ю. Юзовского («Шекспировский турнир») и др. Эти статьи способствуют пониманию творческого состояния советского театра в настоящее время. Большое значение в годы Отечественной войны имела работа театров по обслуживанию фронта. О работе фронтовых театров и бригад рассказывается в статьях Н. Путинцева («Искусство проверяется на фронте») и С. Алексеева («По дорогам войны»). Статья Алексеева дает представление о деятельности фронтовых бригад Академического Малого театра.

Богатый опыт фронтовых театров и бригад, несомненно, будет и в дальнейшем внимательно изучаться. Изучение опыта крупнейших мастеров советской сцены — первейшая задача театроведения. В отделе «Актеры и роли» помещены очерки С. Дурылина («Иван Михайлович Москвин»), Х. Херсонского («Работа Б. В. Щукина над образом Ленина»), В Голубова («Галина Уланова»). Вопросы драматургии затронуты в статьях Л. Малюгина («Путь к зрелости», о пьесах А. Крона), Ю. Оснoса («Образ Ивана Грозного»), Д. Роскина («О драматургии Чехова») и С. Дурылина («Штампы историко-патриотической пьесы»). Автор последней статьи подвергает критическому рассмотрению пьесы О. Форш, О. Литовского, Осипова, Луковского.

Бесспорный интерес представляют публикации «Из литературного наследства К. Станиславского». Здесь опубликованы две речи великого театрального деятеля — «Речь на первом уроке ученикам, сотрудникам и актерам филиального отделения МХАТ'а» и речь «К двадцатой годовщине Великой пролетарской революции». Сказав о величайших перспективах, открытых перед страной и искусством социалистической революцией, Станиславский закончил эту речь следующими словами:

«Пусть человечество и мы, артисты, готовятся

к этим боям и победам! Пусть берегут достижения прошлого, традиции старого искусства, пусть познают законы, данные для этого самой природой! При такой перспективе и с помощью друзей искусства — партии, правительства, их вождя И. В. Сталина — нам не страшны трудности. Чудесное будущее манит нас к себе и дает невероятную силу в настоящем».

Напечатанные в сборнике фотоснимки все в равной мере вышли четкими и выразительными, многие из них выглядят убого, тускло.

ФОРЕСТЬЕ, ЛУИ. — «Великий немой». (Воспоминания кинооператора). Госкиноиздат, 1945, 111стр., ц. 10 руб. — Автор книги — известный кинооператор, француз по происхождению — в 1910 году переселился в Россию и с этого времени навсегда связал себя с развитием нашего кино. Вся созидательная жизнь Форестье связана с кинопроизводством. Он видел первые робкие шаги «самого массового из искусств».

Воспоминания Форестье не претендуют на полноту изложения истории русской кинематографии. Как пишет в предисловии автор, многое в книге опущено, многое стерлось в памяти, ряд дат неточен. Но с познавательной точки зрения здесь можно найти много нового и интересного. Это живой рассказ о том, как работали и создавали киноискусство мастера прошлых поколений. История показана такой, как ее видел автор, стоя у аппарата. Перед читателем развернута галлерея портретов выдающихся русских киноделтелей и предпринимателей, режиссеров, актеров (Ханжонков, Введенский, Иванов-Гай, Дранков, Гардин, Протозанов, Чердынин, Мозжухин, Лисенко, В. Холодная и др.) В книге даны картины кинопроизводства, условия работы киноактеров, характеристики наиболее выдающихся первых русских кинокартин. Рассказывает автор и о том, как он снимал В. И. Ленина.

Воспоминания Л. Форестье доведены до 1925 года.

ЩЕКОТОВ, Н. — Герасимов. Массовая библиотека изд-ва «Искусство», 1945, 31 стр., ц. 1 руб.— Брошюра Н. Щекотова посвящена творчеству одного из известнейших советских мастеров кисти — народного художника Сергея Васильевича Герасимова. Начинается книжка с определения своеобразия произведений художника. «Первое, — пишет автор, — что бросается в глаза в качестве характерной черты его творчества, это любовь художника к цвету, это его всегдашнее и обостренное внимание к решению колористических проблем.

Среди живописцев наших дней он один из самых тонких колористов, добившийся изящной и высокой техники в нахождении новых и притом правдивых цветовых сочетаний.

Другой важной задачей в области художественной формы, которую разрешает С. Герасимов, является проблема открытого света в картине.

Наиболее совершенное решение проблемы света Герасимовым автор книги видит в картине «Праздник в колхозе».

«Известно, что изображение крестьянина, его характера и трудовой жизни составляет одну из важнейших традиций русской живописи. Сейчас в современном звене этой традиции видное место принадлежит Сергею Васильевичу Герасимову. Крестьянская тематика — основная в его искусстве».

После изложения кратких биографических сведений о художнике Н. Щекотов в хронологической последовательности разбирает главнейшие произведения Герасимова («Сельсовет», «Октябрь 1917», «Клятва партизан», «На Волхове», «Зима», «Колхозный сторож», «Мать партизана»).

В книге Щекотова подчас заслуживает упрека безудержно хвалебный тон оценки работ С. Герасимова.

Книжка отпечатана на плохой серой бумаге. Качество фоторепродукции с картин Герасимова можно определить одним словом — брак.

ПАРОДИИ И ШАРЖИ

Сергей Михалков

НАЗОЙЛИВЫЙ КОМАР

Басня

*

Вот пишешь так о разных насекомых,
А попадаешь все в знакомых!..

Комар пиитом возомнил себя
(Пишать он в рифму научился!)
И вот, что было сил, в свой хоботок грубя,
Терпение зверей испытывать пустился.
Покоя нет от Комара:
Подумать, вредная какая мошкара —
С утра до вечера вокруг ушей кружится
То — над волом, то — над конем,
То, обнаглев, козлу на плешь садится
И все в свою дуду дудит не надудится!
Не знаю, сколько бы могло такое длиться,
Когда б однажды днем
Он не был до смерти напуган Воробьем.
Как Воробья благодарили!
Умолк назойливый пиит.
Дня не прошло, как все его забыли...

Захлопните журнал! В него Комар летит!

*

В. КАТАЕВ



Дружеский шарж худ Кукрыниксы

Я. Санин

РУКОДЕЛЬЕ

Л. Мартынов

Флейта, флейта!
Охотно я брал тебя в руки.
Дети севши у ног моих делали луки.
Но, намурившись, их отбирали мамаши:
— Ваши сказки, а дети то все-таки наши!

Л. Мартынов

Замечали —
По городу ходит писатель?
Вы встречали —
По городу ходит писатель?
Вероятно, каких-то редакций искатель.
То пройдет по земле, то взлетит в облака он,
В силу разных причин пьет в соседях какао.
И беседа одна у него повсеместно:
— Успокойтесь, утешьтесь — я скоро воскресну!

Это я!
Тридцать три мне исполнилось года.
На таких вот, как я, начинается мода
Я вам буду понятен, но несколько после...
— Да уж это не сам Иисус ли Христос ли?!
— Может быть.
— Но с другой стороны, что вы! Что вы!
— Где Христос?
— Где же здесь очертанья христовы?!
— Ничего! Все равно намекните замреду
Что я стану пророком в четверг или в среду,
Что стихи мои надо печатать курсивом,
Говоря мне при этом:
— Спасибо, мерси вам!
Но читатель сказал непреклонно и строго:
— Темновато у вас за чертою чертога,
И, заслушав дремучие сказочки ваши
Не напрасно на вас осерчали мамаши.
— О, читатель! Поймите, уразумейте —
Я не только пишу, — я играю на флейте!..
Что ж, быть может, на флейте играет он чисто.
Если так то пристройте к оркестру флейтиста.
Потому что давно обветшала та келья,
Где бы можно развесить сии рукоделья

*

Сергей Васильев

КАЗАКИ С БАГРОМ

А. Софронов

В погожий день в лампасах да в погонах
Казаки ехали над Доном табуном.
Глядят казаки: вниз плывет боченок...
Один кричит: — Да он никак с вином?! —
Поднялся шум, поднялся спор законный:
— Коньяк, братва!
— Какой коньяк, кагор! —
И подал тут команду эскадронный:
— Эгей, эгей! Давай сюда багор! —
Нашли багор. Догнали, запепили ловко.
Хорош боченок, весь в смоле на вид
Какие обручи, какая упаковка,
Клеймо на нем московское стоит
Ловки казаки Вскрыли днище дружно.
Отведал первым командир-степ.
Глотнул глоток и вымолвил натужно:
— Обман, братва! В боченке-то сырец!
— Ховай, казаки кружечки-жестянки! —
Весь эскадрон, как улей, загудел.
— Его не пить, а мыть бы в нем портянки!
— Ну, попадись нам этот винодел!
По коням, конники братишки да сестренки!
Цимлян-цимлянская виднеется вдали
Эгей, эгей, подшлейники-постромки,
Эгей, эгей, копыта-ковыли!

*

ПАРОДИИ НА ФЕЛЬЕТОНИСТОВ

А. Раскин

СДАЧИ НЕТ!

(Мелочи жизни)

Г. Рыклин

Просим читателя поберечь имеющиеся в его распоряжении вопросы типа: где? как? что? почему? зачем? для чего? для кого? Все эти вопросы еще пригодятся читателю. Герой нашего маленького фельетона товарищ Бубликов— самый обыкновенный гражданин в кепке. У него две ноги, две руки, два глаза и как раз между ними имеется средних размеров нос. Именно этот нос и не понравился, видимо, кондукторше троллейбуса № 10, гражданке Мясорубкиной Чем иначе объяснить тот факт, что упомянутая выше гражданка Мясорубкина набросилась на упомянутого еще выше гражданина Бубликова, как тигр на цыпленка? Едва Бубликов вошел в порядке очереди в троллейбус и скромно протянул кондукторше честно заработанный рубль, как произошло нечто совершенно неописуемое неудобочитаемое, невообразимое и недопустимое. Кондукторша ринулась на Бубликова, как паровоз на собаку, и с криком: — Вагон не резиновый! — ударила его кулаком в грудь и ногой в живот. Это бы еще ничего. Но затем она выкинула Бубликова на полном ходу из троллейбуса с криком: — Местов больше нет! — Это бы еще ничего. Но затем онз выпрыгнула из троллейбуса сама и всей своей тяжестью обрушилась на незадачливого Бубликова. Кровожадно восклицая: — Сдачи нет! Сдачи нет! Сдачи нет! — Мясорубкина принялась колотить Бубликова головой о мостовую.

Таковы факты. Еще минуту терпения, читатель Скоро уже можно будет задавать вопросы.

Факты эти автор фельетона выдумал сам. В природе нет ни Бубликова, ни Мясорубкиной, ни даже троллейбуса № 10. По крайней мере мы на нем ни разу не ездили. Но войдите в троллейбус № 9 или № 11 и попробуйте протянуть кондуктору рубль. Сдачи вы не получите. Правильно ли это? Нет, неправильно!

Мострамвайтрест, Коммунхоз, Госконтроль! Требуйте сдачу, граждане! Кондуктор, дайте сдачу!

Вот теперь читатель имеет полное право задавать нам любые вопросы. Впрочем, нам некогда Мы уже пишем следующий фельетон.

МУЖ СВОЕЙ ЖЕНЫ

Евг. Бермонт

Мне надоело писать фельетоны.

Пишешь, пишешь—и ни тебе удовольствия, ни людям Я сел за стол и задумался.

— Пойдем в театр! — сказала вдруг жена (у каждого писателя есть своя жена).

— Пойдем. — охотно согласился я, ибо люблю свою жену.

Едва мы подошли к театральной кассе, как жена забеспокоилась.

— Что ты делаешь? — шепнула жена. — Зачем ты вынул кошелек? Ведь тебе оставлены бесплатные места.

— Молчи, жена! — сказал я жене.

Жена замолчала.

— Сдача есть? — вежливо спросил я кассиршу.

— Сдачи нет, — быстро ответила кассирша, небрежно оглядев мою новенькую сторублевку.

— Пойдем отсюда, — сказал я жене. — Тут еще хуже, чем у Берсенева Там хоть сдачу дают.

— Куда же мы пойдем? — заплакала жена.— Ты уже все театры обругал, кроме этого Просили тебя...

— И этот обругаю!—мрачно сказал я.—Как они смеют говорить, что сдачи нет? Знаю я этот разговор. И пьес у них нет, и актеров нет, и помещения нет. Думают, что на нет и суда нет. Есть суд! Есть!

— Умоляю тебя! — зарыдала в голос жена.— Неужели мне придется ходить только в кино?

— И кино обругаю! — твердо сказал я.

Жена билась в истерике. Собралась толпа.

— Ваша фамилия, гражданин? — спросил меня подоспевший милиционер.

— Бермонт. — почему-то сказал я.

Милиционер дрогнул.

— Скажите, товарищ Бермонт, — спросил он подобострастно, — почему вы назвали отдел в «Крокодиле» «Таланты и поклонники»? Как это понимать?

— Таланты — это я! — ответил я, не задумываясь. — А кто поклонники, предоставляю вам догадаться. Ясно?

— Ясно! — радостно вскричал милиционер и, откозыряв, повел мою жену в свое отделение милиции.

— Сдачи нет? — думал я, спеша домой. — Я вам покажу, что она есть! Теперь мне никто не помешает. Ну Иван Николаевич, теперь держитесь!

★

СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА „НОВЫЙ МИР“ ЗА 1945 ГОД

★

Обращение тов. И. В. Сталина к народу. V-VI—2

РОМАНЫ, ПОВЕСТИ, РАССКАЗЫ, ПЬЕСЫ, ВОСПОМИНАНИЯ

Маргарита Алигер. Сказка о правде пьеса в 4-х действиях. I—17

Ник. Асанов. Волшебный камень, повесть. V VI—14

Анна Антоновская и Борис Черный. Ангелы мира роман. X—89; XI-XII—120

Семен Бабаевский. Белая Мечеть, рассказ. I—47

П. Бажов. Рассказы. VIII—75

Константинэ Гамсахурдиа. Давид-Строитель. исторический роман. Перевод с грузинского Элисбара Ананиашвили. Продолжение. I—56; II-III—61. (Начало см. 1944 г. №№ X, XI, XII)

Н. Емельянова. Весьегонские любители, рассказ VIII—20

Ив. Ефремов. Рассказы о необыкновенном. IV—64

Всеволод Иванов. Под Берлином, у Галльских ворот, рассказ. II-III—48

Анатолий Калинин. Товарищи, роман. X—2; XI-XII—2

Леонид Коробов. Украинские партизаны. (Из дневника военного корреспондента) IV—87

Борис Леонидов. Третья палата, повесть. VIII—31

Т. Логунова. В лесах Смоленщины. Литературная обработка А. Татаровой. X—59; XI-XII—73

Всеволод Мамонтов. Воспоминания о художниках. XI-XII—259

Сергей Михалков. Смех и слезы, пьеса. IX—31

Лев Никулин. Воспоминания о Шаляпине. II-III—138.

К. Осипов. Смерть фельдмаршала, рассказ VIII—54

Константин Паустовский. Далекие годы, повесть о детстве X—25

Андрей Платонов. Никита, рассказ. VII—82

Джон Б. Пристли. Трое в новых костюмах. Перевод с английского Ю. Шер. XI-XII—200

А. Рубакин. Французские записи. I—94; IX—86

Михаил Слонимский. Стрела, повесть. II-III—17

Алексей Толстой. Петр I, книга третья. Продолжение. I—2. (Начало см. 1944 г. №№ III, VI—VII, VIII—IX)

Конст. Федин. Первые радости, роман. IV—5 V-VI—82; VII—2; VIII—2; IX—2.

Конст. Федин. Гармонь, рассказ XI-XII—114

Аллан Хинд. Паспорт предателя. Перевод с английского М. Абкиной и Юр. Аксель. II-III—104

Карел Чапек. Рассказы из обоих карманов. Перевод с чешского Т. Аксель. V-VI—129

Борис Черный и Анна Антоновская. Ангелы мира, роман. X—89; XI-XII—120

Мариэтта Шагинян. Письма из Закавказья. IV—38

Мариэтта Шагинян. Челябинские колхозы. IX—60

Э. Шемплинская. На Варшавском фронте, повесть Перевод с польского В. Мотылевской и Е. Рифтиной. VII—35

ПОЭМЫ И СТИХИ

Луи Арагон, Жак Дестен. Стихи Перевод с французского Павла Антокольского. VII—85

Н. Асеев. Пламя победы, из лирического дневника V-VI—119

Антон Белевич. Наказ и клятва, поэма Перевод с белорусского Д. Осина. I—91.

Семен Гудзенко. Из новых стихов. IV—117

Семен Гудзенко. Стихи из дневника. X—57

Жак Дестен, Луи Арагон. Стихи Перевод с французского Павла Антокольского. VII—85

Евг. Долматовский. Берлинское шоссе, стихотворения IV—2.

Евг. Долматовский. Четыре стихотворения. X—23

Александр Жаров. Дальневосточные стихи. VIII—80

Вера Звягинцева. Лирика. XI-XII—72

Семен Кирсанов. 9 мая 1945, стихотворение. V-VI—4

Александр Кирсанов. Стихи. IX—55

А. Ковалевков. В лесу, стихотворение. IV—116

Петр Комаров. Стихи. VIII—19

Александр Кравцов. Картина, стихотворение XI—XII—111

А. А. Кюнле. Стихи. Перевод с якутского Анатолия Ольхона. X—123

А. Леонтьев. В освобожденном селе, стихотворение. II-III—103

Леонид Мартынов. Стихотворения. XI-XII—112

С. Маршак. Из Вильяма Шекспира. Сонеты. XI-XII—192

Вл. Назор. Вперед! Стихотворение. Перевод с хор-

Лев Ошанин. Победная дорога стихотворение. V—VI—13
Н. Панов. Баренцово море, глава из поэмы. VII—32
Николай Рыленков. Стихи. II—III—47
Николай Рыленков. Стихи. XI—XII—117
Максим Рыльский. Путешествие в молодость главы из поэмы. Перевод с украинского Николая Ушакова. II—III—2
Анатолий Софронов. Казачья песня, стихотворение. IV—86
Анатолий Софронов. Хмель-хмелек, стихотворение. XI—XII—118
Галактион Табидзе. Стихи. Перевод с грузинского Георгия Цагарели. VIII—73
Юлиан Тувим. Лирика. Перевод с польского Ник. Асеева. IX—70
Вероника Тушнова. Лирика X—86
Виктор Ураи. Стихотворения. VIII—96
Борис Филиппов. Предчувствие весны, стихи VII—80
Борис Филиппов. Месяц в Крыму, стихотворения. X—87
Лев Черноморцев. Стихи. IX—85
Марк Шехтер. Возвращение, стихотворение. I—40
Степан Щипачев. Три стихотворения. IV—37
Степан Щипачев. Строки любви. Из нового цикла. X—88
Илья Эренбург. Стихи. I—16
Илья Эренбург. Стихи. IX—29
Александр Яшин. Раннее утро, стихотворение. VII—81

КРИТИКА, ПУБЛИЦИСТИКА, БИБЛИОГРАФИЯ

С. Андреев-Кривич. Новая биография Лермонтова XI—XII—327
Борис Аннибал. Замечательные земляки. XI—XII—314
И. Астахов. «Испытание временем». VII—138
И. Астахов. Новая поэма Аркадия Кулешова. X—172
Лев Благинин. Загубленная идея. I—148
Лев Благинин. Болгарская поэзия. II—III—225
Лев Благинин. Славянская библиотека. VIII—121
В. Бонч-Бруевич. Ленин и Библиотека Академии наук. VIII—98
Ольга Боровкова. Стихи А. Суркова. VIII—127
Б. Брайнина. Лирика Степана Щипачева. X—179
Проф. О. М. Брейтбург. Роман Роллан и Максим Горький (По неизданному источнику). I—137
Г. Бровман. «Русские ночи». VII—132
Г. Бровман. Книжка о Грибоедове. IX—128
Г. Бровман. Два альманаха. XI—XII—321
Н. Венгров «Маяковский». II—III—204
Р. Воинов. Стихи Анатолия Ольхона. XI—XII—326
Ан. Волков. Новые материалы о Горьком. IX—113
Ф. Гладков. Заметки писателя. (Трибуна писателя). IV—148
Леонид Гроссман. Лесков и родина II—III—200
О. Грудцова. «На Бородинском поле». II—III—228
О. Грудцова. Рассказы Андрея Платонова. VIII—110
Л. Гумилевский. Проблема литературы и науки V—VI—189
А. Дерман. Военные книги для детей. IV—141
А. Дерман. Неутомимый искатель. V-VI—167
А. Дерман. Михаил Исаковский. IX—102
В. Дмитревский. Талантливая повесть. VII—133
В. Дмитревский. Роман Джемса Олдриджа. VIII—125
Александр Дроздов. Умер Алексей Толстой. II—III—160
Александр Дроздов. Живое и отжившее. VII—100
Б. Евгеньев. Братские голоса. I—144
Юрий Жуков. Русские и Япония. X—124
Н. Замошкин. Книга-свидетель. IV—157
Проф. Л. А. Зильбер. Великий русский ученый V—VI—151
О. Ивинская. У «Лукоморья» Л. Мартынова X—175
Н. Каринцев и В. Рубин. Обзор современной американской и английской драматургии. VII—109
Проф. Г. Кассиль. Путь через барьеры. VII—89
Акад. В. Л. Комаров, член-корреспондент Академии наук СССР П. А. Максимов, проф. Б. Г. Кузнецов. Жизнь и общественное мировоззрение К. А. Тимирязева. IV—131
Н. Коробков. Разгром Пруссии в войне 1756—1762 гг. IV—118
Проф. Б. Г. Кузнецов, акад. В. Л. Комаров, член-корреспондент Академии наук СССР Н. А. Максимов. Жизнь и общественное мировоззрение К. А. Тимирязева. IV—131
Б. Лавренев. Книга о русской доблести. I—140
Григорий Левин. Человек в природе. IX—120
А. Лейтес. Маленькие недоразумения в серьезном разговоре. X—156
Леонид Леонов. Судьба поэта. I—131
Леонид Леонов. Победа! V-VI—5
А. Макаров. Литературная забава. II—III—208
А. Макаров. Вечные памятники. IV—156
А. Макаров. По страницам журналов. V—VI—172
А. Макаров. По страницам журналов. X—148
Член-корреспондент Академии наук СССР Н. А. Максимов, акад. В. Л. Комаров, проф. Б. Г. Кузнецов. Жизнь и общественное мировоззрение К. А. Тимирязева. IV—131
Б. Мейлах. Ленин и Горький. V—VI—160
Б. Мейлах. Ленин и «Толстовские дни» 1910 г. XI—XII—307
М. Мендельсон. Уолт Уитмен. V—VI—183
М. Морозов. О сонетах Шекспира. XI—XII—198
Зденек Неедлы. Из истории связей советской и чехословацкой литератур II-III—217
И. Нович. Величие Герцена. II III—190
Новые книги. V—VI—205; VII—141; VIII—129; IX—130; X—181; XI—XII—330
Памяти А. Н. Толстого. II—III—159
З. Паперный. Поэт-патриот. IX—116
М. Поликов. Роман о Ермаке. XI—XII—324
А. Поповский. Кок-сагыз. XI—XII—276
О. Резник. Слово от души II—III—223.
О. Резник. Художественная публицистика в годы войны. XI—XII—286
В. Рубин и Н. Каринцев. Обзор современной американской и английской драматургии. VII—109
Я. Рыкачев. Неудачная повесть. IX—123
Я. Рыкачев Свершения и неудачи X—170

Л. Светлов. Четыре книжки о Крылове. X—176
В. Соловьев. Романтика мужества (В. Каверин «Два капитана»). VIII—103
Б. Соловьев. Гордое дело. X—168
А. Степанов. О книге «Порт-Артур». (Трибуна писателя) VIII—114
Людмила Толстая. Наброски третьей книги «Петр I». II—III—189
Х. Херсонский. Книга о Б. В. Щукине. VII—136
Х. Херсонский. Неумирающие актеры. IX—125
Осип Черный. Дмитрий Шостакович. X—140
В. Щербина. «Петр I» II—III—166
В. Щербина. Морская библиотечка. XI—XII—316
Илья Эренбург. Торжество света. V—VI—10
А. Югов. Право на рецензию. VII—130
Ю. Юзовский. «Гамлет». VII—118

ПАРОДИИ И ШАРЖИ

Сергей Васильев. Казаки с багром. (А. Софронов). XI—XII—339
Худ. В. Горяев. Рисунок. X—186
Худ. Кукрыниксы. Конст. Федин (Дружеский шарж). X—185.
Худ. Кукрыниксы. В. Катаев (Дружеский шарж). XI—XII—340
Сергей Михалков. Назойливый комар. Васня. XI—XII—338
А. Раскин. Прозаики (М. Пришвин, В. Каверин, Л. Никулин). X—187
А. Раскин. Пародии на фельетонистов. XI—XII—341
Я. Сашин. А. Ахматова (Из дневника). Заметки нерецензента. Не жизнь, а Тирсо де малина. Липовый тополь. X—184
Я. Сашин. Рукоделье. (Л. Мартынов). XI—XII—339

Редколлегия: М. М. Розенталь, А. А. Сурков, А. Н. Толстой, К. А. Федин, М. А. Шолохов, В. Р. Щербина (ответственный секретарь).

Редакция: Москва, 6 Пушкинская площадь, 5.
Издательство: «Известия Советов депутатов трудящихся СССР».

А 21179. Подписано к печати 18/I 1946 г. 21¼ печ. листов. Тираж 60.300. Зак. № 2886.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР». Москва, Пушкинская пл., 5.

ОПЕЧАТКИ

Стр.	Колонки	Строка	Напечатано	Следует читать
149	левая	10 снизу	Фельдмаршаш	Фельдмаршал
165	»	29 сверху	, а в Петергофе	Петербурге
177	»	26 сверху	Свободный поезд	Свадебный поезд
185	»	15 снизу	берлинский солдат	берлинский салат